Борис
ВАСИЛЬЕВ

УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ
•
ОТРИЦАНИЕ ОТРИЦАНИЯ



Утоли моя печали. Отрицание отрицания

Борис Львович Васильев

Аннотация
Борис Львович Васильев. Утоли моя печали
Утоли моя печали
- Глава первая
- Глава вторая
- Глава третья
- Глава четвертая
- Глава пятая
- Глава шестая
- Глава седьмая
- Глава восьмая
- Глава девятая
- Глава десятая
- Глава одиннадцатая
- Глава двенадцатая
- Глава тринадцатая
- Глава четырнадцатая
- Эпилог

Отрицание отрицания
- Отрицание первое, или Гунькина коза
- Отрицание второе

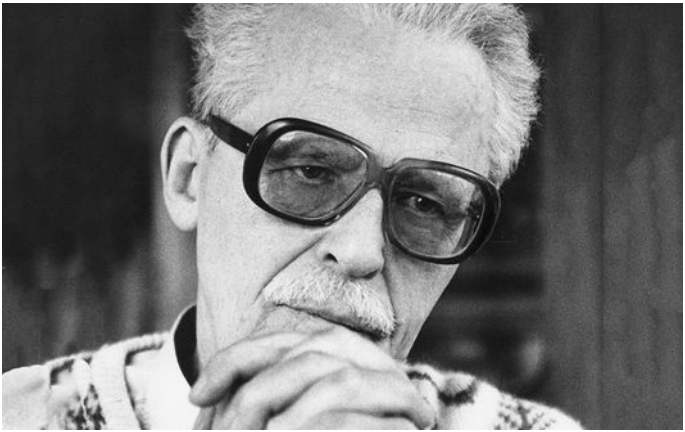
Отрицание третье
Отрицание четвертое
Отрицание пятое
Отрицание шестое
Отрицание последнее

Аннотация

В основе романа «Утоли моя печали» – Ходынская трагедия, унесшая не одну сотню жизней. Жуткая давка, возникшая на коронационных торжествах, стала мрачным предзнаменованием грядущих несчастий для династии и государства. В самом центре столпотворения оказывается и героиня романа Наденька Олексина…

Действие романа «Отрицание отрицания» охватывает период с революции 1917 года до Великой Отечественной войны. Герои книги – члены большой дворянской семьи Вересковских. Каждый из них выбрал свой путь: кто-то стал жертвой террора, кто-то его проводником. Дети разбрелись в разные стороны, родители потеряли их след. «Страной отрицания» называет Россию известный писатель, пытаясь найти истоки ее судьбы в далекой и близкой истории.

Борис Львович Васильев
Утоли моя печали



БорисВасильев
(1924–2013)

© Васильев Б.Л., наследники, 2025
© ООО «Издательство «Вече», оформление, 2025

Утоли моя печали

Глава первая

1

— Ну как, Наденька, прошел первый день в гимназии? — спросил Роман Трифонович сестру жены. Втайне он считал девочку своей воспитанницей. — Какие сделала открытия?

— Открытие одно, но зато огорчительное, — очень серьезно ответила восьмилетняя гимназистка.

— И что же тебя огорчило?

— Нам задали выдумать пример на сложение. Все девочки складывали яблоки, конфеты или плюшевых зайчиков с куклами, а я, дядя Роман, взяла да и сложила всех своих пятерых братьев и одну сестру. Знаешь, сколько им всем вместе лет? Сто сорок три года ровнёхонько, можешь себе представить? А потом, когда я разделила общую сумму на свои восемь лет, получилось, что семья старше меня в семнадцать с половиной раз. В семнадцать с половиной! Это же ужас какой-то…

Наденька была так потрясена собственным открытием, что тяжело вздохнула и угнетенно покачала головой. А Роман Трифонович с трудом

спрятал улыбку.

— И как же оценили твой титанический труд?

— Меня похвалили и поставили «пять», но я все равно очень и очень расстроена.

— Отчего же, Надюша?

— Как же трудно быть младшей в большущей семье, если бы ты только знал, дядя Роман! В семнадцать с половиной раз труднее, чем обычной девочке с одним братом.

— И в самом деле. — Хомяков удивленно пожал плечами. — Как же теперь быть?

— Надо поступать по-своему, вот и все.

Наденька и впрямь оказалась самой младшей во всей рано осиротевшей семье Олексиных — даже Георгий родился на четыре года раньше, хотя остальные братья и сестры были погодками. И явилась-то Наденька на свет нежданно-негаданно, получив все шансы стать балованной игрушкой для всей огромной семьи, если бы не чреда последовавших трагедий.

Наденьке исполнилось всего два года, когда внезапно скончалась мама. Умерла вдруг, мгновенно, упав лицом в грядку, которую так упрямо любила полоть на рассвете. Умерла одна, а осиротели все одиннадцать: десять детей и отец, оставшийся без нежного всепрощения и предан-

ной негромкой любви. А через год, защищая честь девушки, на дуэли погиб брат, портупей-юнкер Владимир. За ним вскоре последовал отец, потрясенный и этой потерей, и сообщением, что его тайная гордость и надежда старший сын Гавриил Олексин угодил в турецкий плен, сражаясь за свободу Сербии. Из того плена Гавриил бежал сам, а вот из плена собственной чести убежать не смог и пустил себе пулю в сердце, не пожелав разделить с императором Александром Вторым политического предательства болгарского народа. А спустя два года сестра Маша прикрыла собственным телом бомбу, которую сама же и намеревалась метнуть в уфимского губернатора. Только в тот морозный солнечный день в санях рядом с губернатором оказались дети, а бомба уже была приведена в действие, и у Машеньки не оказалось иного выбора…

Так уж случилось в их семье: пять смертей за четыре года. Но семейные трагедии Наденьку в общем-то пощадили. И потому, что она была еще очень мала, и потому, что старшие берегли ее, как могли и умели. Для них Наденька навсегда осталась маленькой: обстоятельство, способное беспредельно избаловать натуру бездеятельную, но вселяющее непреодолимую потребность дока-

зательств самостоятельности в натуре активной и весьма самолюбивой.

Из десяти братьев и сестер в живых осталось семеро, и шестеро из них покинули родимое гнездо. В родовом имении Высоком теперь жил только Ваня, ныне — Иван Иванович, с успехом закончивший Петербургскую «Техноложку» сразу же после русско-турецкой войны. Он получил весьма выгодное казенное место в Варшаве, но затем ушел со службы из-за трагедии уже личного свойства. Служил землемером при Ельнинской управе, учительствовал, а выезжал редко и, как говорили, начал попивать.

А воспитывала Наденьку старшая сестра Варвара, супруга миллионщика Романа Трифоновича Хомякова. Впрочем, она всех воспитывала, кроме Гавриила да, пожалуй, Василия, но всех — со строго сведенными бровями, а Надю — с улыбкой, просто потому, что Наденька попала в ее властные руки еще во младенчестве. Дело в том, что Варвара внушила себе сразу же после кончины маменьки, что ответственна за семью отныне и навсегда, что это — ее крест, и несла этот добровольно принятый крест с достоинством, но не без гордости. Она обладала редким даром не предлагать помощь, а — помогать. Подставлять

плечо под чужую ношу как-то само собою, без громких фраз, а тем паче — просьб. И когда ее единственная любовь — обобранный сановными казнокрадами Роман Трифонович Хомяков (еще в ту войну, двадцать лет назад!) явился к ней в Бухарест без копейки, сказав, что отныне она свободна от всех своих слов и обещаний, Варя не оставила его, не бросила одного в чужой стране и в чужом городе. Не просто потому, что любила, любила не по-олексински, не очертя голову, а так, как способна была любить только маменька, одна маменька, простая крепостная девочка — раз и на всю жизнь, до гробовой доски, — но и потому, что вдруг ощутила себя сильнее самого Романа Трифоновича и со счастливым, полным ответственности и надежд сердцем взвалила на свою душу и его судьбу. Тут же сама, не торгуясь, распродала то, на что еще не успели наложить лап вчерашние компаньоны, и увезла Хомякова в спасительное родовое гнездо. В Высокое.

Тихим был тогда повелительно громкий, неутомимо азартный и преданно влюбленный в нее бывший миллионщик. Только глаза ни на миг не угасали:

— Встанем, Варенька, поднимемся. Врешь, нас и с ног не собьешь, и скулить не заставишь!

Заложили имение в селе Высоком, всего-то год назад выкупленное из прежнего, первого заклада тем же Романом Трифоновичем. Переписали заводик племянника на Варю, продали в Москве отцовский дом и все драгоценности — свои и маменькины, — купили задешево, по случаю, большую партию хлопка у разорившегося поставщика — сработали старые связи и прежние миллионные обороты удачливого доселе предпринимателя Хомякова — и лишь тогда Роман Трифонович предложил Варе не только любящее сердце, но и супружескую руку.

— Раньше не мог, права не имел, ты уж прости меня. А за веру в меня и терпение твое я тебе такой дворец отгрохаю, что на наши вечера и великие князья в очередь записываться будут.

Обвенчались в старинной церкви села Уварова: мама очень любила эту тихую церковь, и Варя выбрала ее для самого счастливого дня своей жизни. Гостей было немного, только родные, но Варю это не огорчило. Она была на седьмом небе, да и Роман Трифонович прочно становился на ноги.

— Придется, Варенька, нам в мой городишко перебираться, в старый дом, — сказал он вскоре после свадьбы. — К фабрикам поближе: им глаз

да глаз нужен, дела в гору пошли.

К тому времени уже тихо отошла тетушка Софья Гавриловна, в их московском доме всем заправляла верная Дуняша, а Высокое можно было оставить без особых тревог на Леночку. И Хомяковы уехали к своим во все трубы дымящим заводам.

2

О Леночке Надя знала только то, что ее в последнюю войну спас Иван, а Маша переправила смертельно перепуганную девочку в Высокое. Только это, и ничего более. Никаких подробностей никто и никогда ей не сообщал, да Надя и сама не расспрашивала, сразу влюбившись в черноглазую гречанку, упрямо осваивающую русский язык. Была в Леночке какая-то притягательная тайна: она почти никогда не улыбалась, а в присутствии своего спасителя Ванички Олексина странно замыкалась, внутренне мучительно съеживаясь. Это, впрочем, не помешало ей стать хорошей заменой Варваре: она помнила и знала, что, как и в каком порядке следует делать в имении и, не обладая Вариной непререкаемой волей, восполняла ее неустанным вниманием. От ее огромных темных глазищ никогда ничего не

ускользало, напоминания были тихими, точными и на редкость своевременными, и к ее голосу все почему-то стали вдруг прислушиваться.

«Очаровательная книга приходов и расходов» — так определил ее Георгий, к тому времени уже юнкер Александровского училища. И попытался было за нею приволокнуться, но получил от Ивана такую отповедь, что тут же и угомонился…

Наденька любила листать семейный альбом и вспоминать детство. С толстых глянцевых паспарту на нее смотрели добрые, умные, юные лица ее братьев и сестер — живых и уже покойных. Нет, не покойных. Беспокойных погибших.

«Олексины не умирают в постелях», — говорил отец. Она не помнила его, но ясно представляла по рассказам. Отставной гвардейский офицер, богатый помещик, родовитый дворянин, до безумия влюбившийся в крестьянскую девочку. Настолько, что, презрев свет и все его условности, обвенчался с нею, заперев самого себя в гордыне полного одиночества. Никуда не выезжал, никого не принимал, ни с кем не приятельствовал и никого не признавал, кроме своей Анички и овдовевшей сестры Софьи Гавриловны. И мама любила его таким, каков он был, в любви и неж-

ности родив ему десять детей: семь мальчиков и трех девочек. И она, Наденька Олексина, завершила эту мамину щедрость.

Отец и мама тоже умерли не в постелях, но их фотографий в альбоме не оказалось: отец терпеть не мог новомодных штучек. Было два портрета хорошей кисти в большой гостиной их двухэтажного барского дома в Высоком. Суровый мужчина с горделиво вскинутым подбородком и милая синеглазая крестьяночка с ямочками на тугих, как антоновка, щеках. А фотографии братьев и сестер были все до единой: за этим очень следила Варя. Даже фотография Владимира, раньше всех погибшего на дуэли…

А потом Наденька переехала в Москву, и ее тут же отправили в самую дорогую частную гимназию мадам Гельбиг: на этом настояла Варя. В ней учились на целый год дольше, чем в обычных, и каждый день — два раза по получасу — занимались противной немецкой гимнастикой. Надя ее терпеть не могла, но старалась изо всех сил, потому что Николай — к тому времени уже юнкер — сказал:

— Гимнастика — тренировка воли, а не тела. Через «не могу», «не хочу», «не желаю».

— А зачем женщинам воля? — Наденька без-

мятежно пожала плечиком. — Женская сила в нежности.

— Воля — основа культуры. Животные ею не обладают, Наденька, потому что им незачем обуздывать свои страсти.

До страстей было, правда, еще далеко, но Надя совета послушалась. Может быть, потому, что любила Колю чуть-чуть, самую чуточку больше остальных братьев. За подкупающую непосредственность.

— Это у него от мамы, — говорила Варвара. — Наша мама, царствие ей небесное, была непосредственна, как сама природа.

Ваня тоже был непосредственным и увлекающимся, но… Все в нем сгорело, когда Леночка, уже дав согласие стать его женой, внезапно сбежала чуть ли не с первым встречным, и Иван недолго продержался после этого. Стал попивать, потом оставил службу, заперся в Высоком, как когда-то отец в Москве. Только отец за жизнь в добровольном затворе получил любовь и детей, а Иван — тоску и пьянство, постепенно превращаясь в «шута горохового».

Так называл Ивана Федор, и Наденька относилась к преуспевающему братцу Федору с прохладцей. О нем вообще избегали говорить в

семье, и она понимала почему. Федор Олексин определил смысл собственной жизни как восхождение по лестнице чинов и званий, полагая карьеру единственной высокой целью. Прочие же полагали целью жизни служение народу, личное достоинство или незапятнанную честь, хотя об этом и не говорили. А о карьере говорить приходилось, поскольку такая цель не выглядела самодостаточной в умах и настроениях общества и, следовательно, требовала объяснений. И Федор неустанно толковал о собственных успехах, скорее оправдываясь, нежели объясняясь.

— Понимаешь, товарищ министра попросил. Именно попросил ради пользы государства. Можно ли отказать было?

Карьера всегда оправдывалась только делами государственными, а все остальное — даже служба в армии — в оправданиях не нуждалось, воспринимаясь естественно, как воспринимался долг. Наденьке как-то сказал Василий, что отец очень любил повторять старшим — ему, Гавриилу, Владимиру и Федору:

— Занятия, достойные дворянина, — шпага, крест да книга.

Шпагу избрало большинство ее братьев: погибшие Владимир и Гавриил, теперь — Георгий

и Николай. А Федор, поначалу цепко ухватившись за нее, вскоре, однако, заменил шпагу мундиром, но Олексины внутренне не восприняли этой замены. И не могли воспринять.

Впрочем, не все одинаково. Николай скорее жалел брата, углядев в его выборе роковую ошибку, и всячески старался растопить образовавшийся семейный ледок:

— А так ли уж волен человек в своих желаниях? Иногда обман зрения манит ярче, нежели то, что есть на самом деле.

Генерал Федор Иванович изо всех сил сдерживал личные обиды, но от тесных семейных связей все же как-то отошел. Исключение было одно: теплее всех он относился к Николаю. И не только потому, что тот искренне стремился хоть как-то оправдать его карьерную целеустремленность, а скорее за саму искренность. И когда Николай, отнюдь не шедший под первым номером в училище, лишен был права выбора места службы по выпуску и довольствовался заштатным гарнизоном, Федор сделал все, чтобы через положенные два года службы по распределению перевести его в Москву.

Правда, с точки зрения Вари, это было сделано поздно. Николай успел жениться в той

Тьмутаракани, где служил, и привез с собою очаровательную провинциалочку из мещан. Ко времени возвращения этого семейства Хомяков уже успел отгрохать в центре Москвы особняк, поразивший своей оригинальностью не только горожан. И в светском обществе зашептались:

— Какая безвкусица!

— Что ж вы хотите, миллионы демонстрируются.

— Демонстрируется золотой зуб в белоснежной улыбке Первопрестольной.

— Фо па[1], господа. Фо па!

А мещаночка Анна Михайловна потеряла голову в первое же посещение:

— Я деткам своим буду рассказывать про ваше великолепие!

Варю это сразило наповал, однако брат оставался братом. Анна Михайловна приехала в Первопрестольную, как говорится, в интересном положении, но роды оказались не совсем удачными. Девочка Оленька получила легкую хромоту на всю жизнь, а ее родители — тяжкое ощущение вины.

А крест, о котором говорил отец, как о достой-

---

[1] Примечания: 1
Напрасно, зря (*фр.*).

ном дворянина занятии, достался Василию. Вольнодумцу, идеалисту, деятельному народнику в прошлом, искренне пытавшемуся заменить веру в Бога верой в людей. Замена не удалась, он вернулся к Богу, но иной, неофициальной тропой. Познакомившись и сблизившись с графом Толстым, уверовал в его учение и строго следовал ему примером личной жизни, без проповедей и колокольного звона утверждая заветы гениального своего друга и Учителя. И все в семье понимали, что избранный Василием крест был куда тяжелее всех прочих.

— Понимаешь, церковь взвалила крест на плечи Господа и стрижет купоны, пока Христос в муках тащит крест на Голгофу. А наш Вася взвалил этот крест на собственную спину и сам несет его на свою Голгофу.

Так сказал Наденьке Иван, умница Ваничка, когда она приехала в Высокое помечтать и подумать перед началом последнего гимназического года. Он и тогда выпивал, но еще не спился с круга и, как показалось Наде, еще способен был верить в чудо. Во внезапное, как в сказке, возвращение Леночки. Наденька поняла это ожидание и, зная, что чуда не будет, почему-то начала готовить брата с несколько необычной стороны:

— А зачем Бог, когда все пружины заведены?

— Извини, сестренка, что-то я не очень тебя понял.

— Дядя Роман подарил мне часы с фигурками: от одной до двенадцати. Когда я завожу пружину, они каждый час начинают вальсировать. А жизнь — это же и есть заведенный Божьей пружинкой вальс. И когда подходит твой час, ты просто начинаешь танцевать, и тебе уже не нужен никакой Бог.

— Батюшки, как же изящно ты мне все объяснила, — улыбнулся Иван.

Наденька была рада, что он улыбнулся. Уж очень редко теперь появлялась улыбка на его заросшем исхудалом лице.

А вот с книгой — в отцовском понимании — никто из Олексиных так и не встретился. Не стал ни писателем, ни мемуаристом, ни журналистом, ни даже книгоиздателем. И тогда, в Высоком, Надя часто думала об этом, хотя подружки по гимназии думали совсем о другом.

3

— А он что сказал?

— А он так посмотрел, так посмотрел!

Все девичьи интересы вертелись вокруг «что

сказал» и «так посмотрел», и Наденькины тоже. Но на нее почему-то никто из мальчиков «так» не смотрел, и это было обидно до слез.

Еще в четвертом, что ли, классе подружка пригласила ее погостить в их подмосковном имении, и Варя разрешила. Там было много детей, но самое главное — там был «Он». Тот, который просто обязан был, по ее разумению, «так посмотреть». Наденька томно вздыхала, кокетливо обмахивалась веером, закатывала глаза и даже мелко-мелко рассыпала смешок, как то советовали подружки.

— Ах, как это забавно! Право, забавно!

А он не смотрел. Приносил по ее просьбе лимонад, шоколад, зонтик, специально забытую книжку, но смотрел на другую девочку. Этакую толстую дылду, совершенно неинтересную, с Надиной точки зрения. Она отревывалась по ночам, а с утра начинала все сначала.

— Как вам нравится «Манон Леско»?

— Неопределенно, мадемуазель.

— Помните, там…

— Извините, не помню. И позвольте откланяться.

И тут же устремлялся на вызывающий хохот дылды. Катал ее на качелях, а Наденьку не катал.

Ни разу. Причем не катал именно «Он» — другие катали. Но другие, они другие и есть.

Требовалось предпринять нечто экстраординарное, и Наденька решила пропасть, потеряться. Пусть побегают, тогда заметят. И после ужина спряталась в саду.

Вечер был теплым, комары кусались как оглашенные, но Наденька терпела. Стали звать — все равно молчала. Темнело быстро, поднялся ветер, зашелестел сад, и все бросились на поиски.

Когда тебя ищут, значит, беспокоятся, и это — приятно. Сразу делаешься центром внимания без особых хлопот, если хорошо спряталась. А спряталась она очень даже хорошо, правда, к большому сожалению, не от комаров.

— Надя!.. Наденька!..

— Мадемуазель Надя!..

Надя терпела, пока возле ее куста не оказался «Он». Тогда воскликнула: «Ах!..» — и вывалилась прямо к его ногам.

— Боже, вы — мой спаситель!..

А спаситель, вместо того чтобы нежно поднять ее с земли, отскочил в сторону и стал кричать. Как паровоз:

— Тут! Тут! Тут! Тут!..

На другой день Наденьку отправили в Москву,

но она не долго расстраивалась. Как-то очень просто и быстро поняла, что подобные забавы не для нее, что в них она успеха не добьется и, следовательно, нужен иной путь для самоутверждения. Не общий для всех девочек, а — личный. Путь Надежды Олексиной, а не истоптанная вседевичья дорога. И вскоре нашла этот свой, особый путь.

— Но высший балл за домашнее сочинение «Мотивы Чарльза Диккенса в творчестве раннего Достоевского», как всегда, у Надин Олексиной, — почти торжественно начал вскоре провозглашать преподаватель русской словесности Константин Фролович Березанский.

А тет-а-тет убеждал:

— У вас явные способности к сочинительству, мадемуазель Олексина. И, как ни странно для вашего возраста, к прозе, а не к поэзии. Но прозе поэтической. Трудитесь на этом поприще, испытайте его. Оно потребует много труда, может быть, столько, сколько не требуют иные сферы приложения духовных сил, но я верю в вас, Надин.

Надя много писала в последних классах гимназии. Девочки тоже писали, но — стихи, и непременно читали их вслух, а потом переписывали друг другу в альбомы. Альбомы стихов

— собственных и посвященных — были непременным атрибутом женских гимназий, доброй старой традицией закрытых пансионов и институтов, и Наде пришлось-таки сочинить нечто, чтобы не обижать подружек. Но поскольку она не признавала рифм вроде «пошел — нашел» или «грозы — морозы», а искать новые не было времени, то и обошлась белыми стихами. Это произвело впечатление, и стихи старательно переписывали в каждый девичий альбом, особенно восхищаясь заключительными строками:

А соцветия черемух,
Точно гроздья винограда…
Может, лучше: «Винодара»?
Ведь вино надежды дарит.
Май в кипении черемух!..

Но альбомные стихи и оставались альбомными, а потому Надю удовлетворить не могли. Да и сочинялись уж очень легко и просто. А проза — трудно и медленно, с бесконечными помарками и переписываниями. И Наденька боготворила прозу, поскольку была самолюбива и жаждала достойной этого самолюбия победы.

В выпускном классе она в одну ночь неожиданно сочинила рождественскую сказку про бедного

мальчика, потерявшего шапку в лютый мороз. В изначальном варианте мальчику помогла добрая фея, но через неделю Надя решительно сожгла в камине свое первое творение, никому, к счастью, его не показав. И трудно, с бессонными ночами, слезами и напряжением до головной боли переделала благостную сказочку в суровый рассказ. Как загулявшие бездельники на пари на всем скаку кнутом сбили с мальчика шапку. Как мальчик бежал за ними, умоляя вернуть эту шапку, на беду свою попал в незнакомые богатые кварталы, где за каждым окном сверкали нарядные елки, а вокруг весело и беззаботно танцевали сытые карнавальные маски, и мальчик напрасно искал между ними обыкновенное человеческое лицо. Как мальчик, замерзая, робко стучался в равнодушные парадные подъезды, а самодовольные лакеи ругали его и гнали прочь. Как в конце концов он оказался в городском саду и заснул под елью в сугробе. И какой прекрасный рождественский сон снился ему в этой смертной постели. Какой мягкий, нежный, волшебный снег беззвучно сыпался на него всю ночь, и как нашли несчастного мальчика только через три дня, и как все удивлялись доброй улыбке, застывшей на его ледяных устах…

Конечно, Наденька понимала, что за ее плечом незримо присутствовал сам Некрасов: «А Дарья стояла и стыла в своем заколдованном сне…», но найти собственный финал не смогла и в таком виде рискнула показать рассказ Березанскому. И пока он читал, сердце ее стучало так часто и, как ей казалось, так громко, что она чуть не шлепнулась в обморок.

— Позвольте, мадемуазель, взять этот рассказ с собой, — как-то озадаченно, что ли, сказал Березанский. — Здесь есть над чем подумать.

— Сделайте милость, Константин Фролович, — сдавленным голосом еле выговорила Наденька.

— Благодарю вас, Надин. Верну в понедельник непременнейшим образом.

Вероятно, так бы оно и случилось, только от всех трудов и волнений Наденька заболела. Домашний врач определил очень модное в те времена нервное истощение, прописал успокоительное, рекомендовал отдых и даже постельный режим. Варвара тут же уложила в постель, отобрала книги и читала Наде сама. А вечерами ее сменял всегда по горло занятый Хомяков.

К Роману Трифоновичу у Нади было совсем особое, не родственное, что ли, а почти восторженное отношение. Она отлично представляла

себе, что Хомяков создал не просто капитал — это не считалось в семье Олексиных каким-то особенным достижением, о котором стоило бы упоминать, — нет, он создал нечто несоизмеримо большее. Роман Трифонович Хомяков создал самого себя практически без всякого трамплина. С нуля. А к подобным людям Наденька относилась не только с огромным пиететом, но с трепетом и восторгом. Вчерашний мужик обладал столь неординарными способностями, столь несгибаемой волей и жаждой триумфа, что, по девичьему разумению, являл собою образец нового «Героя нашего времени». Втайне она мечтала когда-нибудь (разумеется, когда подчинит себе непокорный, как степной аргамак, русский язык и станет настоящей писательницей) написать о нем роман. Иными словами, Роман Трифонович Хомяков уже оказался героем девичьего ненаписанного романа, не подозревая об этом ни сном ни духом. И еще он оказался единственным, кого Надя с детских лет называла дядей. А он сам — единственным, кто звал ее почти по-крестьянски: Надюшей, а не Наденькой, как то было принято в их кругу.

Самая крупная размолвка произошла между ними, когда Роман Трифонович решил отправить

сыновей-погодков учиться в Германию, вместо того чтобы подыскать им хорошую частную гимназию в Москве. Варвара умоляла и плакала, плакала и умоляла, а Наденька взорвалась и обозвала Хомякова бессердечным мужланом.

— Насчет мужлана это, Надюша, точно сказано, — вздохнул он. — Только ведь потому и отсылаю, чтобы ребята мои в свой адрес такого слова никогда не слыхали. А здесь — в Москве ли, в Петербурге ли — услышат, да и не раз. Я души их сберечь хочу, потому и от своей и от Варенькиной их отрываю.

И Надя все поняла. Принесла Роману Трифоновичу свои извинения, как могла, утешила Варвару, и погодки Хомяковы уехали в Германию с гувернером и двумя слугами. И в огромном хомяковском особняке опять воцарился мир.

— Русская литература, Надюша, оказала России неоценимую услугу. Она подготовила нас, как плебеев, так и патрициев, к реформам государя Александра Второго. Смелые начинания пошли сравнительно легко только потому, что Россия была готова к ним духовно. Литература приучила дворянство к мысли, что крепостной тоже человек, а простой люд — к пониманию, что дворянин не просто барин с плетью, а такой же русский

страдалец, только образованный и в мундире. Поэтому бородачу в сапогах, — Хомяков только так именовал императора Александра Третьего в приватных разговорах, — и не удалось повернуть Россию вспять, а лишь придержать ее развитие. Он, так сказать, взял Россию под уздцы, что сама Россия по своему крестьянскому представлению о строгом барине любит и всегда будет любить.

Как правило, Варя читала Наденьке прозу, а Роман Трифонович — только стихи. Он их очень любил (в особенности Некрасова), знал во множестве.

Вынесет все – и широкую, ясную

Грудью дорогу проложит себе.

Жаль только – жить в эту пору прекрасную

Уж не придется – ни мне, ни тебе…

Надя вернулась в гимназию лишь через десять дней: в обществе тогда любили болеть со вкусом. И Константин Фролович Березанский с улыбкой сказал:

— А рассказ «На пари» я верну вам, мадемуазель, в напечатанном виде.

Оказалось, что он показал ее первое творение редактору «Задушевного слова». И через некото-

рое время Наденька с невероятным торжеством притащила журнал домой. Он был еще не разрезан и хранил в себе необыкновенный, ни с чем не сравнимый аромат свежей типографской краски.

— Вот гонорар, — сказала Надя, высыпав из кулака на стол тринадцать рублей с копейками.

— Прокутить! — воскликнул Хомяков, сияя пуще Наденьки. — Сегодня же! Выбирай ресторан, Надюша!..

— «Эрмитаж»! Там собирается вся богема!

Покатили в «Эрмитаж», а на другой день Хомяков велел скупить сто двадцать пять экземпляров журнала. Одарили всю родню и всех знакомых, а двадцать пять номеров Роман Трифонович оставил у себя и вручал особо приятным ему людям.

— Приемная дочь написала. Жорж Санд растет, господа!

4

На волне этого внезапного успеха, успеха «вдруг», вроде бы ничем не подготовленного, Наденьку понесло со счастливой головокружительной быстротой. Она как-то очень поспешно, но тем не менее первым номером закончила в гимназии (и в аттестате официально отметили,

что закончила она именно «первым номером») и с невероятным подъемом принялась строчить рассказы. Ей казалось, что идей у нее — великое множество, что стоит только их занимательно записать — и успех обеспечен. И увлеченно писала то, что ей представлялось идеями, и сама потащила восемь таким образом сочиненных рассказов по редакциям, ничего, естественно, не сказав родным.

А рассказы не приняли. Где — вежливо, где — резко, не очень церемонясь. Обескураженная Наденька рыдала два дня, наотрез отказалась поехать в Высокое, чтобы развеяться и отдохнуть, и на четвертый день к ней заглянул Роман Трифонович, отменив три очень важных деловых встречи.

— Знаешь, почему это случилось? Потому что ты использовала в своем первом рассказе весь накопленный багаж. Литература — не сюжетики, литература — а русская в особенности — запас идей. А он тобою, Надюша, извини, исчерпан. Новые идеи ты можешь обрести только в жизни или мучительным путем самообразования. Не торопись, закончи курсы, и все образуется.

— Я лучше пойду в народ!

Хомяков грустно улыбнулся:

— Народ — это не миф, это — живые люди, и я — один из представителей. Но я учился. Сам. Мучительно, до головокружения, чтобы выйти из той массы, которую мы именуем народом. Выйти, Надюша, потому что масса эта закоснела и способна жить только по инерции. Чтобы понять причины этой закоснелости, необходимо получить хорошее образование — с налета, по интуиции ни в чем не разберешься, ничего не поймешь, и суждения заведомо окажутся неверными. И мой тебе совет: иди-ка ты на курсы, девочка.

Но Наденька была упряма, и так просто, по первому совету, изменить свою жизнь не могла. Все сожгла, пострадала, помучилась и в конце концов сочинила сказку, которую напечатал уж совсем малоавторитетный журнал.

А сказка была о том, как в половодье на сухой остров перебрались маленькие звереныши. Так сказать, дети взрослых. Медвежонок и Лисенок, Барсучонок и Зайчик, Волчонок и Сорока. И как ради выживания они решили, что у них будет справедливое содружество, чтобы никто никого не съел. Президентом выбрали Мишу-медвежонка, Лизонька-лисичка сама напросилась на должность главного поставщика продуктов,

Боря-барсук взял на себя строительство нор и убежищ, Зойка-зайчишка обещала доставлять овощи, Вовка-волчонок решил отвечать за всеобщую безопасность, а Серафима-сорока заверила всех, что будет регулярно сообщать, что творится в мире.

Естественно, ничего доброго из этого не вышло. Медведь спал и сосал лапу. Лисичка приносила четверть необходимого, лично съедая остальное. Барсук старательно рыл глубокие норы, в которые никак не могли влезть ни медведь, ни волк, а сорока влезать просто не пожелала. Зайчонок лопал всю морковку, которую должен был доставлять к общему столу. Волчонок гонял всех пришлых зайцев, с аппетитом похрустывая косточками тех, кто не смог от него увернуться, а сорока разносила только сплетни. Кончилось тем, чем и должно было кончиться: островная демократия перестала существовать, сожрав саму себя.

Эту сказку напечатали в «Гусляре», самолюбие было удовлетворено, и Наденька послушно поступила на курсы.

И эти курсы оказались частными по настоянию Варвары, и там учили на год дольше всех остальных. Учили по европейской системе, требуя

собственных рефератов, и у Нади не оставалось времени на сочинения просто потому, что она не желала да и не умела быть второй. И закончила первой, что и было отмечено в свидетельстве о ее праве преподавать русскую словесность в городских училищах и прочих им соответствующих учебных заведениях.

Но на курсах Надежда прослушала обширный цикл лекций о журналистике, и это произвело на нее огромное впечатление. Эти лекции подводили логический фундамент под слова авторитетнейшего ее советчика Хомякова о постижении народной души. И Наденька твердо решила, что сначала станет известной журналисткой, а уж потом, набравшись идей, и писательницей.

Выбор был сделан.

Выбор был сделан — только не сердцем, а умом, потому что сердце оказалось занятым приятелем Георгия еще по юнкерскому училищу. Доселе Наденьке не случалось влюбляться — не считать же объектом влюбленности «паровоз», закричавший «Тут! Тут!», вместо того чтобы бережно поднять с земли обретенную пропажу. Ну, были, конечно, девичьи увлечения, легкие и приятные флирты, кокетливые, ни к чему не обязывающие свидания. А тут вдруг — усы, шпоры, сабля и к

тому времени уже золотые офицерские погоны. Голова пошла кругом, и все мечты о сочинительстве мгновенно из нее выветрились. Осталась одна мечта, но зато вполне практическая — наконец-то впервые в жизни услышать самые главные, самые заветные слова: «Надин, дорогая моя Надин, я люблю вас!..»

Выражаясь девичьим альбомным стилем, Наденька впервые ощутила стрелу Амура на выпускном балу. Курсы, естественно, были женскими, но бал женским быть никак не мог, и поэтому курсовое начальство рекомендовало каждой курсистке самой позаботиться о танцевальных партнерах. Надя пригласила Георгия, а он притащил с собой приятеля, что в результате и привело к некоторым серьезным осложнениям. Как внешним, так и внутренним.

Бал, как и полагалось, открылся вальсом, и Наденька, как и полагалось, первый тур танцевала с приглашенным ею кавалером, в данном случае — с Георгием. Зато три последующих — с его приятелем, и это было восхитительно. Молодой офицер оказался живым и остроумным, легко шутил и легко болтал, и Наденькино сердце от тура к туру билось все чаще, а щеки горели все ярче. Но апофеозом бала, как и полагалось, должна была

стать мазурка, в которой Надя — все сокурсницы признавали это (естественно, не без столь же естественной зависти) — не знала себе равных.

По желанию раскрасневшихся курсисток была объявлена большая мазурка, предусматривающая выбор партнерши из двух предложенных «качеств» перед третьей фигурой. И Наденька подвела свою подругу к двум приятелям — подпоручикам.

— Вечная разлука или вечное одиночество? — чуть ли не хором спросили они.

Георгий, разумеется, вежливо уступил право выбора своему гостю, на что, собственно, и рассчитывала Надя. А гость не задумываясь брякнул:

— Вечное одиночество!

А это самое «вечное одиночество» было «качеством» подружки Катрин, особы довольно ветреной, но весьма симпатичной. И Наденька была вынуждена отплясывать с родным братом. Правда, Георгий танцевал отменно, и все же это оказалось первым уколом.

И второй не замедлил воспоследовать — во время выбора «качества» среди кавалеров. Офицеры пошушукались и дружно шагнули к девушкам:

— Награда или удача?

Более шустрый приятель опередил Георгия с вопросом и задал его Катрин, которой поэтому и надлежало выбирать.

— Удача!

И Наденьке вновь пришлось танцевать с братом, что было уж совсем обидно. Настолько, что она вдруг припомнила, как прозвучал сам выбор «качества»: неожиданный гость задал вопрос первым, не согласовав очередности с Георгием, что в известной мере противоречило общепринятым правилам, хотя и не возбранялось.

— Почему ты уступил своему приятелю право на выбор? — сердито спросила Наденька.

— Да просто потому, что меня твоя подружка не заинтересовала, а его, кажется, наоборот.

И Надя получила третий удар по самолюбию, уже от родного брата. Это было чувствительно настолько, что она даже сбилась с шага. К счастью, музыка смолкла, перед второй частью большой мазурки объявили перерыв, чтобы девушки могли поправить прически и туалеты, и Наденька сразу же прошла в дамские комнаты.

А симпатичная — ну, это, как говорится, дело вкуса — подружка Катрин появилась в них с непозволительным опозданием. Влетела, переполненная восторгом, так и сияя.

— Он угощал меня в буфете!..

— Волосы поправь, — суховато посоветовала Надя.

— А как он танцует, как танцует!

— Возможно, — сказала Наденька и вышла в зал.

Во второй части мазурки выбора «по качеству» уже не было. Надя оттанцевала две фигуры с братом, а от третьей отказалась, сославшись на усталость, и весь бал приобрел вкус лимона без сахара.

Вероятно, Георгий что-то все же сообразил, потому что уже на следующий день притащил своего приятеля на ужин к Хомяковым. И Наденька распустила перышки, намереваясь во что бы то ни стало взять реванш. Болтала, шутила, смеялась — словом, флиртовала вовсю.

А он молчал. Противный подпоручик Сергей Одоевский. Да, да, из тех самых князей Одоевских, только не князь, поскольку происходил из боковой ветви огромного развесистого генеалогического древа знаменитых потомков самого Рюрика. Молчал весь первый вечер и мало говорил в последующие. И Наденька частенько рыдала в подушку, вместо того чтобы размышлять о журналистской карьере.

— Наконец-то счастливые слезы, — с удовлетворением сказала Варвара, не вовремя войдя в спальню младшей сестры. — Слава тебе, Господи. Все естественное — разумно.

— Я его ненавижу!

— Ну и правильно делаешь.

— Он… Он — пшют и фанфарон!

— И здесь все правильно. Природа играет по отработанным правилам, сестричка.

— Идиотские правила!

— Возможно. Но, право, будет жаль, если их отменят. Для всех — жаль, а для девушек — катастрофа.

— Господи, о чем ты, о чем…

— Девушки все одинаковы, потому что они — дочери естества, самой природы, а юноши — продукт цивилизации, только и всего. Отсюда — женские моды: наша попытка подать свое естество в оболочке современности. И брак на небесах — это равновесие природы и цивилизации, гарантирующее его прочность и неуязвимость.

— А как же… — Надя всхлипнула. — Как же любовь? Хочешь сказать, что ее нет?

— Не хочу, потому что она есть. И слава богу, что есть. Только… Как бы тебе объяснить? Любовь — это всего лишь увлечение. В легкой форме

— увлечение, в тяжелой — ослепление. А строить семью на ослеплении по меньшей мере глупо. Семья, построенная на ослеплении, подобна плоскодонному кораблю, который непременно перевернется при первой же буре. Любовь есть невероятное по мощи влечение душ друг к другу. Душ, а не взыгравшей плоти, Наденька. Прости меня за столь грубое сравнение, но ты уже взрослая и должна понимать, что я имею в виду.

— А я не понимаю!

— Для плотского влечения существуют гетеры, а в просторечии — прости господи. Еще раз извини.

— Но я же…

— Не стоит утолять голод зелеными яблоками, лучше и полезнее погодить, пока они созреют. Воля, Надежда, только воля и одна лишь воля есть основа лучшей части человеческого общества. Умейте властвовать собой, мадемуазель.

— Но я не желаю…

— Воля и желание — антиподы. Необходимость и воля — синонимы. Об этом нельзя забывать людям, считающим себя образованными, если образование для них не просто набор знаний, а повышенная обязанность перед обществом.

На этом тогда и закончился разговор двух

сестер, старшей и младшей. Сказать, что Наденька во всем согласилась с Варварой, было бы неправдой: наоборот, она почти все отвергла, с легкостью отнеся Варю к возрасту, который просто не в состоянии понять современную молодежь. Но так случилось, что дней через пять, что ли, как-то сама по себе завязалась беседа с Романом Трифоновичем.

— Подпоручик Одоевский? — настороженно переспросил Хомяков, когда Наденька — естественно, вскользь, разумеется, между прочим — упомянула о Рюриковиче в разговоре. — Мне что-то днями рассказывал о нем наш Жорж. Что-то скверное, из-за чего Жорж и перестал с ним приятельствовать. Кажется, речь шла о передергивании в картишки.

— Неправда! — Надежда залилась гневным румянцем. — Это… это гнусная клевета. Георгий просто завидует ему, вот и все!

— Пылу много, а логики явно недостаточно. Из твоих слов вытекает, что твой брат способен на ложь?

— Вероятно, он проиграл Одоевскому крупную сумму и теперь чернит его на каждом шагу.

— Вероятно или достоверно?

— Оставьте меня! Вы все просто несовремен-

ные люди! Вы отстали, понимаете? Отстали на полвека с вашей моралью!..

Аргументов больше не оказалось, и Надежда прибегла к последнему, закатив громкую истерику с падением на пол. Это было так на нее непохоже, что Роман Трифонович очень испугался и позвал горничную Наденьки.

Об этой горничной, которую все в доме звали почему-то Грапой, а не Груней, следует рассказать особо. Она заменила долго служившую у них Полю, поскольку Поля вышла замуж, и в признание ее несомненных заслуг Хомяков купил молодым домик на окраине Москвы. Замена произошла как-то очень уж стремительно, по рекомендации через третьи руки; новая горничная казалась торопливо приветливой и поспешно услужливой, никто на нее не жаловался, почему она и прижилась в доме. Варвара считала, что Грапа способна оказать на Наденьку благотворное влияние, потому что ей было уже за тридцать, а Роман Трифонович ориентировался на отзывы Надежды, всегда находившей добрые слова о своей горничной. И все шло хорошо, пока через несколько дней после Надиной демонстративной истерики дворецкий Евстафий Селиверстович Зализо — старый и проверенный помощник

Хомякова еще со времен последней войны — не доложил своему патрону с глазу на глаз:

— Сегодня в пятом часу утра из нашего дома тайно вышел подпоручик Одоевский. Полагаю, что от Надежды Ивановны.

— Сам видел?

— Лично. А Мустафа ему ворота открывал.

Роман Трифонович переполошился не на шутку. Отправил Варвару к Надежде с категорическим приказом добиться разъяснений и лично допросил горничную Грапу. Горничная избегала смотреть в глаза, однако на все вопросы отвечала без запинки:

— Знать ничего не знаю. Спала я, барин.

Варе повезло больше, поскольку Наденька, быстро осознав, что она натворила, безостановочно плакала, тихо бормоча:

— Я преступница, преступница, но теперь он непременно женится на мне.

Выяснение отношений с бесчестным соблазнителем и проблематичным женихом решено было поручить подпоручику Георгию. Он ввел его в дом, он представил его Надежде, ему и должно было расхлебывать кашу. И пока Варвара всячески урезонивала грешницу, Георгий, бледный от накатившего бешенства, разыскивал бывшего

приятеля.

5

Разыскать подпоручика оказалось непросто, поскольку своего дома он не имел, а квартировал у многочисленных родственников, чередуя их по одному ему известной системе. В полку его тоже не оказалось, потому что он числился в краткосрочном отпуску по болезни. В конце концов Георгий, впустую потратив три дня, разыскал его в низкого пошиба биллиардной на Ильинке.

— А, Жорж! Рад тебя…

— Извольте выйти со мною, Одоевский.

— Боже, как торжественно!

— Извольте выйти со мной, — сквозь зубы повторил Георгий.

— А, собственно, ради чего? — Одоевский нагловато улыбнулся. — Твоя сестра, насколько мне известно, достаточно взрослая, чтобы решать, с кем и зачем…

Георгий молча ударил его в лицо. Это была не принятая в обществе пощечина, а увесистый удар кулаком сына крепостной крестьянки. Одоевский отлетел в угол, лицо его залила кровь.

— Присылай секундантов, подлец. Если струсишь, изобью до полусмерти.

Дуэли были запрещены, и Георгий отлично представлял, что рискует карьерой. Но он не только любил Надежду, но и отвечал сейчас за фамильную честь.

Секунданты — мало знакомый Георгию капитан и совсем незнакомый подпоручик — явились на следующий день. Сухо, но вполне корректно, как то и предусматривал дуэльный кодекс, договорились о месте и времени: речка Сходня, в полуверсте от Черной Грязи, шесть утра. Подпоручик Одоевский, как лицо оскорбленное, в качестве оружия избрал револьверы служебного образца.

— Чтобы труднее было найти следы дуэлянтов, если чья-то рана вынудит обратиться в госпиталь, — пояснил капитан.

Это было разумно: револьверная пуля относительно дуэльной оставляла иные последствия, которые к тому же легко было объяснить неосторожным обращением со служебным оружием. Кроме того, оскорбленная сторона брала на себя заботы о докторе, что выглядело не совсем обычно, но Георгий объяснил себе эту необычность заботливостью немолодого капитана.

Георгий ни словом не обмолвился о дуэли домашним, чтобы Николай — к тому времени уже

штабс-капитан — упаси бог, не оказался замешанным в противуправном поступке. Поэтому и секундантов нашел среди полковых приятелей, попросил их заехать за ним в старый олексинский дом, а вечером навестил Хомяковых. Затея была рискованной, но он чувствовал потребность побыть среди родных накануне пальбы боевыми патронами. Варвара оказалась у Нади, и Георгия встретил один Роман Трифонович.

— Нашел его?

— Нашел.

— Когда?

— Что — когда?

— Ну зачем же меня-то обманывать, Жорж? — усмехнулся Хомяков.

— Завтра. Смотри, Роман Трифонович, ни полслова.

— Завещание будешь писать?

— Нет.

— Правильно. Дурная примета.

К тому времени Роман Трифонович уже выгнал Грапу взашей и без рекомендаций: он был беспощаден к нечестным слугам. Но без горничной, а особенно сейчас, Надя обойтись не могла, и Хомяков нанял таковую лично, не прибегая к услугам даже верного когда-то помощника, а

теперь дворецкого Евстафия Селиверстовича. Взял сразу и без колебаний, потому что искомая горничная понравилась ему с первого взгляда: миловидная девушка, скромная и понятливая и — с толстой, пшеничного цвета косой ниже пояса. Звали ее Феничкой, она уже имела некоторый опыт, послужив в весьма приличном доме, из которого ее и сманил Роман Трифонович, предложив чуть ли не двойное жалованье. И, как ни странно, главным в его решении оказалась коса, хотя в этом Хомяков не признавался даже самому себе: он питал невероятную слабость к девичьим косам пшеничного цвета.

Утром следующего дня секунданты заехали за Георгием в назначенное время. Он молча трясся в наемной пролетке, и мысль о Владимире назойливо преследовала его, как осенняя муха. Вот так же точно, как сейчас, представлялось ему, двадцать лет назад его брат портупей-юнкер Владимир спешил на дуэль, с которой ему не суждено было вернуться. Мысли были не из приятных, но — не пугали: Георгий думал не о сходстве ситуаций, а об их принципиальной разнице. Он мучительно размышлял, как же отвести от Наденьки все светские сплетни и пересуды. Застрелить Одоевского? Но это только подогреет

слухи, заставит сплетниц копать глубже, через прислугу, подкупы, посулы. Кроме того, ему придется поставить на военной карьере жирный крест — крест, который перечеркнет все его мечты. Нет, убивать соблазнителя не следует ни в коем случае. Но тогда — что? Что?.. Как отвести позор от сестры? Как?.. Он думал и поэтому был спокоен, но разговаривать ему не хотелось.

— Господа, — сказал капитан. — Пока не случилось ничего непоправимого, прошу вас принести друг другу извинения, пожать руки и разойтись с миром.

— Это сложно, капитан, — криво усмехнулся Одоевский. — Я оскорбил Олексина нравственно, а Олексин меня — физически. Никакие извинения приняты не будут, хотя я, со своей стороны, готов признать, что был не прав.

— Только и всего? — спросил Георгий.

— Только и всего, Олексин, но первый выстрел — за мной. Надеюсь, вы не оспариваете моего права?

Олексин пожал плечами и молча пошел на свой номер, держа врученный ему револьвер в опущенной руке. «А ведь у него дрожал голос, — подумал он, заняв позицию и не поднимая револьвера. — Трусишь, Одоевский?..»

— Жорж, прикрой грудь! — крикнул кто-то из его секундантов.

— К черту! Командуйте, капитан!..

И не поднял револьвера, ожидая выстрела. Одоевский опустил револьвер, который держал у плеча, и начал медленно целиться. «Долго, дьявольски долго...» — успел подумать Георгий, когда наконец-таки сухо ударил выстрел. Пуля порвала погон на левом плече мундира, и секунданты шумно вздохнули.

— Выстрел за мной, Одоевский! — громко выкрикнул Георгий. — Живи и мучайся!..

Подошел к капитану, протянул револьвер.

— Браво, Олексин, — с огромным облегчением сказал капитан. — Вы поступили в высшей степени благородно.

Хотя дуэль прошла без кровопролития, санкции последовали незамедлительно. Дуэлянты — каждый, естественно, в своем полку — были преданы судам офицерской чести и решением их уволены из армии. Однако рекомендации судов вступали в силу только после утверждения государем, дуэлянтам-офицерам полагалось служить в прежних должностях до монаршего волеизъявления, но Одоевский сразу же подал рапорт об отставке. Этого ожидали, потому что на дуэли

он выстрелил отнюдь не в воздух. А подпоручик Олексин от своего выстрела отказался, и его благородство покрывало Одоевского несмываемым позором.

Георгий ни словом не обмолвился о дуэли, но о ней узнало все московское светское общество. Подробности дуэли живо обсуждали в полках, клубах и салонах, неизменно восхищаясь мужеством и выдержкой подпоручика Олексина. Московский Дворянский клуб послал петицию государю с нижайшей просьбой не гневаться на подпоручика Олексина, поступившего столь благородно да при этом еще и выказавшего личную смелость и отменное хладнокровие. Аристократические старцы, хранители традиций офицерской чести, писали знакомым генералам и сановникам при дворе, заклиная изыскать все способы воздействия на решение государя, а Хомяков тут же отправил курьера в Петербург к генералу Федору Олексину с письмом, в котором подробно рассказал о дуэли, не касаясь, однако, ее основной причины, но требуя использовать все свое влияние ради спасения офицерской карьеры Георгия.

Впрочем, об этой основной причине не упоминали даже записные кумушки из высшего

московского света. Не только потому, что не знали, — даже Одоевский помалкивал, — а потому, что поступок Георгия затмил причины вообще. Уж слишком мелкими казались все возможные поводы ссоры двух офицеров: ну, приревновали друг друга, ну, не сошлись во мнениях, ну, карточные недоразумения, ну… Да какая разница, господа, разве дело в причине, когда следствие этих причин несоизмеримо благороднее всех их, вместе взятых?.. И двери самых заветных московских домов широко распахнулись перед никому доселе не известным армейским подпоручиком, хотя сам подпоручик Олексин не пересек порога ни одного из них.

Но решение государь принять был обязан, и оно воспоследствовало. Всемилостивейшим распоряжением подпоручик Олексин переводился из Москвы в Ковно с повышением в чине, но запрещением служить в обеих столицах сроком на десять лет.

Хомяков устроил прощальный вечер лишь для своих. Надежда появилась, как только приехал Георгий. Печальная, виноватая, какая-то съеженная. Сказала тихо:

— Прости меня, брат. Бога ради.

— Да что ты, сестренка! — Георгий крепко обнял

ее, прижал к груди. — Тебе же все приснилось. Приснилось, понимаешь?.. Вот и улыбайся, как всегда.

А чуть запоздавший Николай — только что по совершенно уж необъяснимой причине пожалованный полным капитанским чином (а причина была проста: генерал Федор Олексин шепнул кому-то могущественному, что-де «родной брат того самого, который в воздух...») — первым делом бросился к подпоручику, облапил его, затормошил:

— Всем нам пример! Всем пример!.. Ура, господа, ура!..

— Почему бы тебе не раздеться? — с привычной строгостью поинтересовалась Варвара.

— Извини, но мне, к сожалению, пора бежать. С дежурства на полчаса улизнул. А бежать — добрых сорок минут.

— А как же... — начал было Георгий.

— Думай, герой, думай! — весело прокричал Николай и тут же умчался.

— Все Олексины малость с придурью, — добродушно проворчал Роман Трифонович. — Рвутся куда-то без расчета и логики.

Глава вторая

1

Надя и ее новая горничная Феничка не просто привыкли друг к другу, не только, как говорится, сошлись характерами, но и в определенной степени подружились, если в те времена можно было представить дружбу хозяйки и служанки. Отрыдавшись и отказнившись, Наденька растеряла прежний пыл, стала спокойнее и уравновешеннее. Однако Варваре это смирение показалось несколько подозрительным:

— В тихом омуте черти водятся.

— Стало быть, дружно молиться начнем, — буркнул Роман Трифонович.

Ему категорически не нравилась подозрительность супруги. Он верил своей любимице безоговорочно, зная основательность ее характера и его глубину. Происшедшее с нею он считал воплем угнетенной плоти, которой по всем возрастным меркам положено было познать свое естество. «В девках засиделась, только и всего, — как всегда грубовато думал он. — Стало быть, наша вина, а более всего — Варенькина. Она ей

мать заменила, с нее и спрос». Из этого размышления само собой напрашивался вывод: пора знакомить Надежду с достойными женихами. Следовательно, пора устраивать балы, приемы, рауты, музыкальные вечера и тому подобное, поскольку выезжать в свет ему, одному из самых богатых людей Москвы, но не дворянину, было как-то не с руки. И принять могли далеко не все, и сам он далеко не у всех желал показываться. В высшем свете должников хватало, и здесь следовало пять раз оглянуться, прежде чем шагнуть. Кроме того, старое московское дворянство, а в особенности дворянство титулованное, упорно видело в Олексиных губернских провинциалов, в лучшем случае относясь к ним с покровительственным снисхождением, что болезненно воспринималось Варварой. И это следовало учитывать с особым вниманием. Роман Трифонович знал не только свое место, но и свою цену, обладал собственным достоинством и не желал попадать в неуютные положения.

— Несколько преждевременно, — сказала Варвара, когда он изложил ей свою тщательно продуманную программу. — Ты совершенно прав, но Надя еще не успокоилась. Дадим ей время, дорогой.

— До конца года, что ли?

— Конец года — это прекрасная пора, Роман. Рождество, Святки — очень естественно для разного рода приглашений, и никто в этом ничего нарочитого не усмотрит.

— Пожалуй, ты права, Варенька, — согласился, основательно, правда, все взвесив, Хомяков. — Ничего нарочитого — это хорошо, достойно.

А тем временем в комнатах Надежды — спальне, будуаре и личном кабинете — шли долгие девичьи разговоры. Они, как правило, не имели определенной темы, как и все девичьи беседы, и часто возникали вдруг, без видимого повода, но всегда — только по инициативе хозяйки, как и полагалось в те времена.

— Ты когда-нибудь влюблялась, что называется, очертя голову?

— Не знаю, барышня. Влюбляться — барское занятие, а жених у меня есть. Тимофеем звать. На «Гужоне» подмастерьем работает. Говорит, на каком-то стане, что ли. Огнедышащем, говорит. Уж и родителей мы познакомили, и сговор был.

— А чего же не обвенчаетесь?

— Семьи у нас небогатые, барышня. За мною ничего дать не могут, вот я сама себе на приданое и зарабатываю.

— Я тебе на приданое дам, но с условием, что ты меня никогда не бросишь.

— Нет, барышня, спасибо вам, конечно. Только семья — это муж да детишки, сколь Бог пошлет. А я детишек страсть как люблю!

— Часто с женихом видишься?

— Да ведь как… Прежняя хозяйка два раза в месяц на целый день отпускала.

— Скажи, когда надо, и ступай целоваться.

— Ой, барышня!.. — Феничка зарделась больше от радости, нежели от смущения. — Спаси вас Христос, барышня.

— А мне с тобой хорошо, Феничка, — улыбнулась Надя. — Друг друга мы понимаем.

— И мне с вами очень даже распрекрасно, барышня. Дом — чаша полная, а все — уважительные. Даже сам Роман Трифонович очень уважительный мужчина, а ведь при каком капитале-то огромном!

— Мне сейчас трудно, Феничка, — вдруг призналась Наденька. — Трудно и на душе смутно. Уехать бы нам из Москвы этой опостылевшей куда-нибудь в тишину, покой…

— Так куда пожелаете, туда вас и отправят. Хоть в заграничные страны.

— Бывала я за границей, — вздохнула Надя. —

Суета там, чужая праздность и… и сытые все.

— Ну и слава богу, — сказала Феничка, умело приступая к прическе своей хозяйки. — Нам, русским, до сытости далеко.

— Другая у них сытость, Феничка. Не тела, а духа. Выучили правила и не желают более ни о чем ни знать, ни думать. Скука немыслимая, порой выть хочется.

— У нас пол-России воет, а вы не слышите.

— Как ты сказала, Феничка?

— Пол-России, говорю, воет, кто с обиды, кто с голоду. А господа и вполуха того воя не слышат.

— Как замечательно ты сказала, Феничка. Как просто и как замечательно!.. Заставить господ вой этот услышать — вот цель, достойная жизни. Если русская литература заставила понять, что есть холоп и есть барин, то русская журналистика обязана заставить господ народный вой услышать. Заставить, понимаешь?..

— Не-а, барышня, уж не обижайтесь. Неученая я.

— А ты подумай, подумай, Феничка. Ты отлично умеешь думать, когда хочешь.

— Ну если желаете, то так сказать могу. Никогда вы господ не заставите беду народную прочувствовать. Кто же сам себя добровольно огорчать

станет? Разве что дурачок какой юродивый… Нет, барышня, жизнь, она ведь колесом катится, чему быть, того не миновать.

— И это верное заключение, Феничка, — покровительственно улыбнулась Надя. — Только колесо-то ведь подпрыгивает иногда…

Разные у них случались беседы — с выводами и без, и не в них, в сущности, дело. Главное заключалось не в беседах, а в том, что под влиянием этих бесед душа Наденьки рубцевалась, а рубцы рассасывались.

Согрешить всегда легче, чем избавиться от ощущения собственного греха. О своей обиде она сейчас уже и не думала, разобравшись наконец, что вся эта история с Одоевским случилась совсем не по любви, а только лишь из-за очередного приступа самоутверждения. Теперь ее мучило другое: понимание, что своим поступком она поставила родного брата на край гибели. Ведь Одоевский целился в сердце Георгия и лишь чудом, Божьим провидением, промахнулся, прострелив погон на левом плече. Этот простреленный погон она вымолила у Георгия, когда он заехал попрощаться перед отъездом в Ковно. Вымолила, и подпоручик на следующее утро за час до отъезда принес его. И она при всех опустилась перед братом на

колени, поцеловала этот продырявленный погон и спрятала на груди.

— Ну что ты, что ты, Наденька! — Георгий поднял ее с пола, обнял. — Забудь об этом, забудь! Пустое это. Пустое.

А Наденька впервые разрыдалась облегчающими слезами, и все ее утешали и целовали.

Но это — при всех. А ужас, что брат чудом не погиб, продолжал жить в ее душе. Продолжал истязать ночами, не давая уснуть.

2

Распрощавшись с сестрами и Хомяковым, Георгий направился не домой, как все полагали, а к Николаю. Он узнал, что капитан задерживается на службе, а поговорить на прощанье было необходимо. Кроме того, ему хотелось попрощаться и с Анной Михайловной, которую скорее жалел, чем любил.

Жалел не потому, что супруга брата выглядела белой вороной не только у Хомяковых, но и в московском офицерском обществе. Анна Михайловна частенько неприятно поражала и его присущей ей на удивление естественной бестактностью, но это подпоручик научился сразу же прощать после рождения крохотной хромонож-

ки-Оленьки. Отчаяние матери оказалось столь безграничным, а убежденность, что в несчастии виновата только она, столь искренней, что он — тайком от Николая, разумеется, — бросился тогда к Варваре.

— Только не ставь Николая в щекотливое положение!

— Об этом ты мог бы меня и не предупреждать, Жорж.

Варя деликатно начала с того, что нанесла визит молодой чете. Вопреки ее опасениям, Анна Михайловна не раскудахталась по поводу неожиданно нагрянувших миллионщиков-родственников, а чисто по-женски показала несчастного младенца и поведала о своих горестях с глазу на глаз.

— В покаяние она ударилась, — говорил тем временем Николай, угощая Романа Трифоновича чем бог послал. — А это уж совсем ни к чему, мы второго ребенка ждем.

— Не убивайся преждевременно, Коля. Тут главное, что врачи скажут. Есть в Москве два больших знатока.

— Большие знатоки офицеру не по карману.

— Кабы такую глупость твоя супружница ляпнула, то и бог с ней, — рассердился Хомяков. —

Твоя дочка нам, между прочим, племянницей доводится, ты что, позабыл? Стыдно, Колька.

Вот это крестьянское «Колька» и умилило тогда Николая чуть не до слез. До поцелуев, правда, он не дошел, но от неожиданной просьбы не удержался:

— Если мальчик родится, будешь крестным?

— А если девочка? — улыбнулся Хомяков.

— Если опять девочка, Варю о том же попрошу.

— Столковались, Коля! — рассмеялся Роман Трифонович. — И чтоб все ладно было.

Но ладно не получилось. Самые известные в Москве (и самые, естественно, дорогие) детские хирурги в один голос заявили, что при подобных травмах медицина бессильна. Дали кучу рекомендаций, как разрабатывать, массировать и нагружать больную ножку Оленьки, и Анна Михайловна вновь осталась наедине со своим покаянием.

Это-то и послужило основной причиной позднего визита Георгия. Супруги искренне ему обрадовались, Анна Михайловна показала спящую дочку, посидела немного с братьями и ушла к себе, сославшись на усталость.

Молодые офицеры обменялись полковыми новостями, Николай вспомнил о дуэли, тут же

помянули портупей-юнкера Владимира и как-то само собой, незаметно перешли на воспоминания детства.

— Ты был, когда какая-то подчиненная Маше дама привезла в Высокое Леночку? Что-то, Коля, я тебя там не припоминаю.

— Я, младенец мой прекрасный, вступительные экзамены в гимназию сдавал.

— Да, да! — почему-то обрадовался Георгий. — И получил еле-еле тройку по арифметике. И Варя тебя пилила дня четыре.

— Неделю. Не бывать мне генералом, Жорж.

— Ну, это еще бабушка надвое сказала. Кто в семье ожидал, что непутевый Федор, которого, как тебе известно, жандармы искали по всей России, в тридцать лет наденет эполеты?

— В тридцать лет у Федора орденов целая грудь была. В том числе и солдатский Георгий, который на офицерском мундире светится совершенно особым светом.

— Его очень любил Михаил Дмитриевич Скобелев, — тихо сказал Георгий и вздохнул.

— Да! — коротко бросил Николай, решительно обрывая этот разговор.

Неожиданно всплывшая тема была весьма щекотливой и даже в известной мере опасной.

Русский национальный герой, славы которого хватало на весь мир, внезапно скончался в Москве в возрасте тридцати девяти лет. По этому поводу бродило множество как слухов, так и домыслов, а поскольку Михаил Дмитриевич умер через два часа после доброй офицерской попойки, на которой присутствовал и Федор, то и слухи, и домыслы в определенной мере коснулись и семьи. Тем более что государь Александр Третий, сурово наказав многих соучастников дружеского ужина с обильными возлияниями в «Славянском базаре», полковника Федора Ивановича Олексина не только не тронул, но, наоборот, перевел из Москвы в Петербург и приблизил ко двору. Никто этого тогда объяснить не мог, в том числе и сам Федор, и все списали на свойственную императору непредсказуемость. Но всем Олексиным стало неприятно тогда. Было неприятно и сегодня. И молодые офицеры, задумчиво помолчав, просто дружно выпили за одно и то же, ни словом при этом не обмолвившись.

— А генералом мне не бывать вовсе не из-за арифметики, — улыбнулся Николай. — В Академию Генерального штаба мне теперь дорога заказана. С чистыми капитанскими погонами туда не принимают, как тебе известно.

— Это я тебя подвел, Коля, — вздохнул Георгий.

— Тем, что я досрочно чином пожалован? — усмехнулся Николай. — Бог с тобой, брат, мне все офицеры в полку завидуют. Не успел приехать из глухого провинциального гарнизона и вдруг — здравствуйте, беззвездочные капитанские погоны.

— Думаешь, Федор расстарался?

— Не спрашивал, не спрашиваю и спрашивать не буду, — резче, чем хотелось, сказал Николай.

Помолчали.

— Ты прости, Жорж, за резкость, — неуверенно улыбнулся капитан. — Порою мне кажется, что мы несправедливы к Федору. Особенно почему-то Варя и Роман. Не находишь?

Георгий неопределенно пожал плечами:

— Может быть, Варвара считает его виноватым в том, что Хомяков потерял все свои капиталы в Болгарии?

— Не думаю. Варенька у нас мыслит логически. — Капитан помолчал. — Что-то тут посерьезнее, Жорж. А серьезное, как говорится, штаб-офицерам не по погонам. Давай еще по рюмке.

— За службу, брат?

— Скучно сказал, — улыбнулся Николай. — А

что же та девица, которой ты меня как-то представил? Грозит расставание навеки?

— Обещала ждать! — самодовольно улыбнулся подпоручик.

— Десять лет, что ли?

— Нет, собственного совершеннолетия.

— И велик ли срок?

— Через два года надеюсь встречать ее на вокзале в Ковно.

— Веришь в эту встречу?

— А я всегда верю, Коля. Я не умею не верить. Иначе жить скучно, понимаешь?

— Вот за это и выпьем. За веру во встречи через десять лет!

Братья улыбнулись друг другу и чокнулись полными рюмками.

3

Приближалось Рождество, а за ним и новый, тысяча восемьсот девяносто шестой год. Москва уже начала украшаться, на базарах появились первые елки. Год этот был совершенно особенным, потому что в мае намечалась коронация государя императора Николая Второго и государыни императрицы Александры Федоровны. Этот торжественный акт всегда происходил в Успен-

ском соборе Кремля, и москвичи ожидали Новый год с особым радостным нетерпением.

Однако Рождество Христово оставалось и при грядущих исторических событиях главным церковным праздником, и к нему, естественно, готовились заранее. Расписывали балы, рождественские благотворительные базары, маскарады, званые вечера, катание на тройках и санках с Воробьевых гор, а отцы города подумывали еще и о народных гуляньях. Москва полнилась слухами — что, когда, где и у кого именно, — и с этими пока еще черновыми списками слухов и намеков Варвара однажды пришла к Наденьке.

— Вот список. У кого бы ты хотела побывать?

— Ни у кого.

— Тогда давай решать, кого пригласим к себе. Роман Трифонович закатит бал с ночным катанием на тройках…

— Извини, Варенька, я понимаю, вы хотите, как лучше. А я хочу тишины и покоя.

— Но это же невозможно, Наденька. Это могут неверно истолковать, а нам совсем ни к чему…

— Так отправьте меня из Москвы, и толковать будет не о чем.

— Куда? — строго спросила Варвара, уже начиная сердиться. — Куда ты хочешь убежать? От

себя самой?

— Ох, если бы это было возможно…

— Пойми, тебе просто необходимо начать появляться в свете. А рождественские праздники — лучшее время для новых знакомств.

— Я поеду в Высокое, — неожиданно решила Надежда. — Да, да, к Ивану, в наше Высокое.

— Но там же… — растерялась Варвара. — Там же никого нет, кроме Ивана, который, ты это знаешь, вечно подшафе.

— Есть, Варенька, — грустно улыбнулась Надя. — Там два белых креста. Исповедуюсь маменьке, отрыдаюсь на ее могилке и вернусь другой. Верю в это!..

— Очередной каприз, Надежда?

— Скорее внеочередная необходимость.

— А ты знаешь, она права, — сказал Роман Трифонович, когда Варвара с возмущением поведала ему об «очередном капризе». — И это не каприз, это поиски спасения души.

— Но я не могу отправиться с нею в эти поиски, — резко возразила Варя. — У Николая днями ожидается прибавление семейства, он просил меня стать крестной матерью ребенка, и ты, кстати, об этом давно знаешь.

— Может быть, это и к лучшему, что мы не

можем поехать к Ивану, — поразмыслив, сказал Хомяков. — Надюша сейчас нуждается в одиночестве. Во всяком случае, на какое-то время мы с тобой ей, извини, не нужны. Но ты не тревожься, я все устрою.

Он все основательно продумал, поговорил с Надеждой и — отдельно — с ее горничной, а потом вызвал к себе верного и пунктуально исполнительного Евстафия Селиверстовича.

— Поедешь в Высокое, к Ивану. Передашь ему мое письмо и обеспечишь все, что потребуется для отдыха Надежде Ивановне. Хорошего повара, хорошую прислугу, тройку с умелым ямщиком на все время Надюшиного проживания, ну... Словом, не мне тебя учить, сам все знаешь и без моих советов.

И через неделю дворецкий, помощник и особо доверенное лицо Хомякова Евстафий Селиверстович Зализо выехал в Смоленск.

4

А за сутки до его выезда в Высоком ночью зло разбрехались собаки, и сторож Афанасий разбудил хозяина Ивана Ивановича.

— Гость к вам, барин.

— Проси.

Иван поспешно оделся, накинул теплый халат, спустился вниз. В прихожей стоял мужчина в далеко не модном, но явно заграничном костюме. Левый рукав старого, немецкого покроя сюртука был подшит по локоть, на что Иван сразу же обратил внимание.

— Аверьян Леонидович?

— Здравствуйте, Иван Иванович. Извините, что потревожил в столь неурочный час.

Иван молча, со странным щемящим чувством разглядывал мужа собственной давно погибшей сестры Маши Аверьяна Леонидовича Беневоленского. Правда, Аверьян Леонидович Беневоленский должен был отбывать бессрочную ссылку в Сибири за противоправительственную пропаганду, но сейчас почему-то стоял в прихожей. Со сна, отягощенного похмельем, голова была пустой, и Иван соображал туго.

— А как вы добрались?

— Пешком. Устал, замерз, два дня не ел. Проводите в столовую да велите подать водки да закуски поплотнее. Или пост соблюдать начали, Олексин? Тогда прошу прощения.

— Пешком из Сибири? — тупо спросил Иван.

— Из Ельни! — сердито ответил Беневоленский. — Я вас из дамской постели выдернул?

Виноват, простите великодушно. Обогреюсь, перекушу и уйду.

Иван крепко обнял Аверьяна Леонидовича.

— Это вы извините меня, дорогой мой, выпил вчера лишнего. Как всегда, впрочем. Рад, всем сердцем рад. И встрече рад, и что живой вы и… Признаться, спиваюсь помаленьку от одиночества.

— А где же Леночка? Девочка-гречанка, которую спасли вы с Машей?

— Лена вышла замуж, — помолчав, глухо сказал Иван. — Живет с мужем где-то… В Харькове, что ли.

— Извините, не знал.

— Никого в доме, кроме прислуги за все. Фекла!.. Фекла, спишь, что ли? Гостя встречай!..

Появилась немолодая заспанная служанка, накрыла на стол, раздула самовар, недовольно ворча:

— Сало жрут в Филиппов пост, безбожники…

На сало и ветчину налегал Аверьян Леонидович. Изголодался, промерз, устал до изнеможения. Ивану кусок не лез в горло, и закусывал он кислой капусткой. После того как опрокинули по второй, не выдержал молчания:

— Как же вы здесь-то оказались, Беневолен-

ский? Неужели помиловали?

— Черта с два они помилуют кого.

— В отпуске, что ли? — похлопал глазами ничего пока не соображающий Иван.

— Бежал.

— Из Сибири?

— Из Сибири. Точнее — из Якутии. Обождите, наемся — сам расскажу.

— Это ж через всю Россию?..

— Кругом. Да дайте же мне поесть, наконец!

Выпив еще две рюмки и основательно закусив, Аверьян Леонидович вздохнул с великим облегчением. Закурил, откинулся на спинку стула. Пускал кольцами дым, о чем-то размышляя. Фекла притащила самовар, накрывала к чаю, несогласно гремя посудой.

— Коли расположены слушать, Олексин, готов объяснить свое появление середь ночи и зимы.

— Может, поспите сперва? — с жалостью поглядев на него, вздохнул Иван. — На вас лица нет — одна борода.

— Не усну, пока все не расскажу. Вы знать должны, Олексин, чтобы решить, как вам поступать в отношении беглого ссыльного.

— Ну, это уж извините…

— Извиняться будете, когда выслушаете и, воз-

можно, укажете мне на дверь. Я — бессрочный ссыльнопоселенец, как вам, должно быть, известно. Определен был на жительство в якутский поселок, место жительства менять, естественно, права не имел, а раз в десять дней туда наезжал урядник для контроля за ссыльными. Вот так все и шло из года в год лет восемь, что ли, как вдруг — вспышка дифтерии. Да в самой глухомани, почти на границе с Чукоткой. Врачей нет, и меня как медика мобилизуют для борьбы с эпидемией среди местного населения. Лекарств, сами догадываетесь, никаких, лечи, как сам разумеешь. А тут у шамана — якуты хоть и православные, а в глубинке шаман по-прежнему большая сила — внуки заболели, и шаманский сын сам за мной приехал: «Спаси, мол, детей, ничего не пожалею!» — «Коли, говорю, уладишь с урядником, то поеду с тобой». Уладил: в той глухомани уряднику ссориться с шаманом совсем не с руки, да и куда я зимой денусь? Расстояния — тысячи верст в любую сторону. Поехал, жил с ними в яранге, от заразы спиртом да квашеной черемшой спасался. Больных четверо: два мальчика и две девочки. Одну девочку спасти не удалось… — Аверьян Леонидович вздохнул, покачал головой. — Тяжелая форма, не смог. А остальных вылечил.

— Без лекарств?

— Пленки отсасывал, чудом не заболел. Шаман, дед их, на седьмом небе от счастья. «Вот, говорит, тебе за спасение». И три золотых самородка мне протягивает. «Бери, говорит, для нашего народа это — страшное зло, а для вашего — богатство». Я ему: «Ты лучше бежать мне помоги». — «Ладно, говорит, к морю наши люди тебя выведут, а там — сам выходить должен. А золото возьми, в дороге пригодится». Взял я самородки, поскольку нищ был как церковная крыса. Якуты меня в свою одежду обрядили, перебросили своими тропами на берег Охотского моря и уехали. А уж весна была. Побродил я с опаской вокруг да около, пока на японских рыбаков не наткнулся. И за один самородок столковался, что они меня в Японию отвезут.

— А ведь могли и все отобрать да и в море выбросить, — сокрушенно вздохнул Иван.

— Могли, конечно, но… до Японии довезли. Там я на голландский корабль пересел, который и доставил меня в Амстердам за два последних самородка. Ну а дальше — пешком через всю Европу.

— Без гроша?

— Подрабатывал, где мог и как мог. Я ведь

немецким и французским владею, так что не очень это было сложно. На родине куда сложнее: документов-то у меня никаких. Крался, как тать в нощи, но до родимых мест дополз. В родном сельце, правда, показаться не решился, а в Высоком — рискнул.

— Одиссея…

— Сразу скажу, что мне нужно, а вы уж решайте. Мне нужно отдохнуть и в себя прийти. Полагаю, это несложно, поскольку вы тут в тягостном одиночестве пребываете, и я вас не стесню. Второе посложнее, Олексин. Мне паспорт нужен. Позарез, что называется, или опять — в Сибирь по этапу. Поможете?

— Все, что в моих силах, друг мой. Все, что в моих силах.

— Тогда еще по рюмке да и спать. Как, Иван Иванович? Продрог я до костей на теплой чужбине…

— Давай Машу помянем, Аверьян? — вдруг тихо сказал Иван, перейдя на «ты» неожиданно для самого себя. — Царствие ей небесное, Машеньке нашей…

— Светлая ей память, Иван, — дрогнувшим голосом сказал Беневоленский.

И оба встали, со строгой торжественностью подняв рюмки.

Через несколько дней из Смоленска на тройке, за которой следовал небольшой обоз, приехал Евстафий Селиверстович. Прибыл он весьма скромно — на тройке был подвязан колокольчик, а бубенцы вообще сняты — гонца вперед не посылал, держался с подчеркнутой почтительностью, полагая господами Ивана и Беневоленского, а себя — лишь представителем Хомякова, но привез с собою дыхание живой жизни, от которой в Высоком почти отвыкли. Сообщил, что на Рождество приедет Надежда Ивановна со своей горничной, и передал Ивану письмо от Романа Трифоновича. В коротком, по-хомяковски деловом письме, в сущности, содержалась лишь просьба хотя бы немного поосторожничать с питьем, учитывая прибытие гостей и плохое здоровье Надежды. Никаких причин ухудшения этого здоровья Роман Трифонович не сообщал, но рекомендовал во всем положиться на своего управляющего господина Зализу, а самому весело и беззаботно встречать Рождество и Новый год вместе с младшей сестрой. И письмо Ивана очень обрадовало, потому что он глубоко и искренне — впрочем, он все делал на редкость искренне, даже спивался, — любил Наденьку.

— Надя на Рождество приезжает, — немедлен-

но сообщил он Беневоленскому.

— Надя? — озадаченно переспросил Аверьян Леонидович. — Это кроха такая, что за коленки меня теребила?

— Наша кроха уж курсы кончила и, что главнее, писательницей стала. У меня рассказ ее имеется. «На пари» называется. Хочешь, дам почитать?

— Непременно. А что это за господин, который стал всем распоряжаться?

— Управляющий Хомякова, мужа Варвары. Между прочим, миллионщика… — Иван вдруг примолк, а потом, понизив голос, добавил: — Вот кто тебе, Аверьян, паспорт сделает. Фамилия у него такая, что в любую щель пролезет. Зализо его фамилия.

— А он не?..

— Не, — сказал Иван. — За ним — сам Хомяков, который эту власть больше тебя ненавидит. Вот и выход. Выход, Аверьян! Пойдем по этому поводу…

Тут Иван замолчал, глубоко и не без сожаления вздохнул и сказал:

— Ферботен[2]. Только за столом, только вино и только два… нет, три бокала. Этот Зализо воз

---

[2] Примечания: 2
Запрещено (*нем.*).

шампанского привез. Да не нашего, российского, а настоящего.

— Кому с ним лучше поговорить? Тебе или мне? — спросил Беневоленский, которого мало интересовало шампанское, а новый паспорт — весьма и весьма.

— Сам поговорю. Вот пригляжусь два денька…

Евстафий Селиверстович, испросив разрешения у Ивана, развил бурную деятельность. Приказал выскрести весь дом от чердака до подвалов, предупредив, что сам будет проверять чистоту. Велел разместить дорожки в саду, установить в зале елку и украсить ее игрушками и мишурой, которые привез из Смоленска. Распорядился вырубить пушистую ель, вкопать ее в центре села Высокого и увешать игрушками и свечами. Указал, какие именно дороги расчистить для безопасного катания на тройке, и велел привести в порядок могилы под двумя мраморными крестами и дорожки к ним. И все проверял лично. Однако Иван на третий день сумел вытащить его из вороха дел.

— Серьезная просьба, Евстафий Селиверстович. Очень и очень. Наш родственник господин Беневоленский, которого хорошо знает Роман Трифонович, прибыл из-за границы… мм… Не

совсем легально, а посему необходим паспорт.

— Сделайте милость указать, на какое имя.

— Он… — Иван растерялся от такого простого решения вопроса, казавшегося неразрешимым. — Он сам скажет.

— Завтра же выеду в Смоленск, чтобы успеть до Рождества, потому как далее воспоследствуют каникулярные дни.

— Благодарю…

— Польщен доверием вашим, Иван Иванович. Весьма польщен. Не откажите в любезности попросить господина Беневоленского передать мне все необходимые данные непременнейшим образом сегодня же. Если не затруднит вас просьба сия.

Все было сделано буквально в один день, и господин Аверьян Леонидович Беневоленский, бывший смутьян и вечный ссыльнопоселенец, стал мещанином Прохоровым Аркадием Петровичем. Зализо знал, как разговаривать с чиновниками, а хомяковские миллионы творили чудеса и почудеснее паспортных.

Заодно Евстафий Селиверстович привез фрачную пару, три приличных костюма для внезапного гостя и телеграмму от Варвары:

«НАДЕЖДА ВЫЕЗЖАЕТ 22 ВСТРЕЧАЙТЕ

НЕПРЕМЕННО ВАРЯ».

5

Встречать любимую сестру Иван выехал вместе с неутомимым господином Зализо в закрытой карете, учитывая рождественские морозы. Поезд пришел вовремя, Надя степенно вышла из вагона первого класса, но, увидев Ивана, совсем по-девичьи повисла у него на шее.

— Ваничка, дорогой! Я так рада… Это ведь я к тебе на Рождество напросилась, не сердишься?.. А это — Феничка.

Феничка церемонно присела, а Иван, зайдясь от счастья, чуть было не обнял и ее, но — опомнился и почему-то погладил по голове. Евстафий Селиверстович почтительно поклонился, приказал кучеру взять вещи и повел всех к карете.

— Ты, Наденька, знаешь этого господина, — сказал Иван, представляя Беневоленского. — Это Аверьян Леонидович, муж нашей покойной Маши.

Потом был обед по случаю приезда — в доме не придерживались строгого поста, как и в большинстве дворянских домов того времени, но рыбные блюда и деликатесы, естественно, преобладали, а привезенный Евстафием Селиверстовичем повар

в грязь лицом не ударил. Расспрашивали Наденьку, шутили, пили легкое мозельское вино, однако даже его Иван позволил себе ровно два бокала.

— У вас, Надя, бесспорное литературное дарование, — говорил Беневоленский. — Я читал ваш рассказ «На пари», и мне он понравился, несмотря на кричащую сентиментальность. Он остро социален, что делает его не только граждански значительным, но и современным в лучшем смысле. Каковы ваши планы на будущее?

— Я… Я скверно себя чувствовала, но очень надеюсь окончательно выздороветь здесь, где прошло детство. А что касается планов на будущее… Мечтаю заняться журналистикой.

— Прекрасная мечта. Россия вступает в новое столетие, которое обещает резкое обострение классовой борьбы, и роль журналистики трудно переоценить.

— Смена веков есть смена знамен. — Иван печально улыбнулся. — Так любил говорить наш отец. Поклонимся ему и маменьке на второй день Рождества Христова, Наденька.

— Я… Да, конечно, Ваня.

Вечером Надя притащила из кладовой множество елочных игрушек и украшений, которые скопились за добрых двадцать лет. Затем Фенич-

ка с помощью Аверьяна Леонидовича и Ивана заново перевешивали игрушки и украшения, а Наденька вслух читала им любопытные известия столичных газет и журналов, которые привезла с собой.

— «Во Франции вошла в большую моду забава, известная под именем bataille de confetti. Публика забавляется, забрасывая друг друга разноцветными фигурками из бумаги и лентами».

— Хорошо французам, — проворчал Беневоленский. — У них даже Сибирь — в тропиках.

— «В распоряжение московского Комитета грамотности поступило крупное пожертвование от лица, пожелавшего остаться неизвестным, — продолжала Наденька. — Согласно воле пожертвователя вся сумма в сто тысяч рублей должна быть употреблена на покупку библиотек для воскресных школ…»

— Интересно было бы узнать имя щедрого жертвователя, — улыбнулся Иван.

— А будто вы не знаете? — живо откликнулась Феничка. — Так то ж Роман Трифонович, не сойти мне с этого места!

Все рассмеялись, и Надя начала читать дальше:

— «В Москве открыты две столовые, в которых

будут бесплатно обедать пятьсот малоимущих студентов».

— Вот это славно, — сказал Аверьян Леонидович. — Ты много по урокам бегал, Иван?

— Достаточно. Хотя официально и не считался малоимущим. Как-то и времени вроде хватало, и сил.

И вздохнул вдруг, нахмурившись. Беневоленский посмотрел на Надю, и она тотчас же продолжила:

— «Весь мир облетело известие из Иркутска о том, что знаменитый норвежский исследователь Фритьоф Нансен, отправившийся три года назад на север на корабле “Фрам”, достиг Северного полюса, где и открыл новую землю».

— Вот куда в двадцатом столетии Россия своих каторжан ссылать будет, — сказал Иван. — Оттуда уж не убежишь. Ни при какой дифтерии с эпидемией.

— Невыгодно, — усмехнулся Аверьян Леонидович. — Проще всю Сибирь заборами огородить.

Так они шутили и смеялись допоздна, а на следующий день рано утром, еще до завтрака, Надя исчезла. Феничка тут же призналась, что знает, куда подевалась ее барышня, и для тревог решительно нет никаких оснований. Но все дружно

решили погодить с завтраком, пока Наденька не вернется.

А Наденька рыдала на могилах под двумя белыми мраморными крестами.

— Маменька, батюшка, простите меня, простите… Ради бога, простите меня…

Ей необходимо было покаяние, но не пред иконным ликом, а над прахом родителей своих, вспомнить которых живыми она так и не смогла. Но это, как выяснилось, было не столь уж важным. Важным оказалось откровение и искренние слезы.

Вечером в канун Рождества Надя и Феничка принесли из дома все оставшиеся игрушки и вместе с крестьянскими ребятишками по-своему перевесили украшения, цепи и мишуру на высокой елке, вкопанной в центре села Высокое. А потом все — и Беневоленский с Иваном в том числе — пошли по традиции в церковь. Вечером того же дня к детям в Высокое приехали на санях Дед Мороз и Снегурочка с подарками. Правда, Дед Мороз оказался без левой руки, но зато у Снегурочки была самая настоящая коса пшеничного цвета…

И начались Святки. До четвертого января — естественно, отметив дома Новый год с шам-

панским, — катались на тройке и на санках, по просьбе Наденьки расчистили снег на ближнем пруду, где и чертили лед коньками. И все это вместе с молодежью и детворой, с шутками, снежками, смехом и весельем.

В канун Крещенья Наденьке вздумалось погадать. Руководством к гаданию она избрала балладу Жуковского «Светлана» и велела Феничке раздобыть все, что упоминалось в ней в качестве подспорья для девичьего крещенского обряда. Башмачок, воск, зерно и курицу: драгоценности она решила попросить у Ивана.

— Вот уж не думал, что вас, образованного человека да еще и писательницу, могут увлечь девичьи гаданья. — Беневоленский явно разыгрывал удивление: просто хотелось поговорить.

— Я такая же девица, как и те, кто сотнями лет гадал в этот вечер, — улыбнулась Надежда.

— И вы верите столь же искренне, сколь верили ваши прапрабабки?

— Мне тоже интересно знать, что меня ожидает в девяносто шестом году. Разница лишь в том, что мои прапрабабки боялись играть с судьбой в открытую, а я не боюсь.

— Не боитесь потому, что знаете беспредельную ничтожность совпадений, или в силу собствен-

ного характера?

— Точнее, просто из любопытства. — Наденька помолчала и спросила вдруг: — Я похожа на Машу?

— Скорее нет, чем да. Вас это огорчило?

— Если разъясните, не огорчит.

Беневоленский грустно улыбнулся. Вздохнул, взгляд стал печальным и — строгим.

— Маша погибла в вашем возрасте, Наденька. Вы позволите называть вас просто по имени?

— Безусловно, Аверьян Леонидович. Мне это приятно.

— Обаяния в вас, пожалуй, столько же, но у вас оно — озорное, а у Машеньки — скромное. Я вас не обидел?

— Отнюдь.

— Обидел, конечно обидел, — расстроился Аверьян Леонидович. — Но вы спросили прямо, и ответ должен быть прямым. Условились?

— Условились.

— Маша рано осознала свой долг и исполнила его до конца. Броситься на бомбу во имя спасения детей… Не каждый мужчина решится на такое, далеко не каждый.

— Мы преклоняемся перед ее мужеством, но…

— Преклонение через «но»?

— Бомба остается бомбой.

— Судите по нравственности того времени.

— Всегда и всё?

— Всегда и всё. И никогда — по нравственности сегодняшнего дня. Тогда это считалось героизмом, теперь — терроризмом, но людям не дано жить чувствами будущих поколений.

— А вы способны сегодня бросить бомбу?

— Я и тогда понимал бессмысленность подобных актов, почему и порвал с народовольцами. И… и с Машенькой, если быть до конца откровенным.

— Порвали с Машей? — тихо спросила Наденька.

— Точнее, мы разошлись по идейным соображениям. Я очень любил ее. Очень. И все время надеялся, что она поймет меня и вернется. — Беневоленский тяжело вздохнул. — А потом узнал, что она не вернется уже никогда…

— А у вас не возникало ощущения, что вы предали ее?

— Вот сейчас в вас заговорила Маша, — невесело усмехнулся Аверьян Леонидович. — Бескомпромиссная Маша…

— Вы не ответили на вопрос.

— Видите ли, Надин, мы с Машенькой занима-

лись революционной деятельностью, но пошли разными дорогами не из-за семейной ссоры, моды или каприза, а следуя только собственным убеждениям. Если предательством вы называете то, что я не смог ее переубедить, то по женской логике вы абсолютно правы. Муж обязан удерживать жену от опрометчивых, а тем паче от роковых шагов. Но революционная борьба не имеет права ориентироваться на семейные отношения. Когда речь идет о судьбе народа…

— Господи, да при чем тут народ? — как-то очень по-взрослому вздохнула Надя. — При чем народ и вся ваша революционная деятельность, когда погибла моя сестра?.. Извините, Аверьян Леонидович, у меня… Меня ждет моя деятельность.

И вышла. А Беневоленский, сломав голландскую сигару, запас которых доставил в Высокое заботливый Евстафий Селиверстович, прошел в буфетную, налил большую рюмку водки и выпил ее одним глотком на глазах изумленной прислуги.

6

За ужином оживленным казался только Иван, даже как-то излишне оживленным. Надя и Бе-

неволенский отвечали односложно, разговоров не поддерживали и улыбались несколько напряженно. «Что это с ними стряслось? — тревожно думал Иван, упорно пытаясь шутить. — Надутые и какие-то очень уж серьезные…»

— Петр Первый заменил славянский дуб колючей германской елью под новый, тысяча семисотый год. Может быть, он имел в виду, что нашего брата-русака следует гладить только по шерстке?

— Ваня, среди бабушкиных драгоценностей найдется перстень и изумрудные серьги? — неожиданно спросила Надежда, никак не отреагировав на довольно неуклюжую шутку.

— Бабушкиных драгоценностей вообще нет. Варвара продала их с нашего общего согласия, чтобы помочь Роману стать на ноги.

— И не выкупила? — ахнула Наденька.

— Так они же проданы, а не заложены, Наденька. Где их теперь искать?

— Какая жалость…

— «В чашу с чистою водой клали перстень золотой, серьги изумрудны…» — вдруг процитировал Аверьян Леонидович. — А обручальное кольцо, Надин, вас не устроит? Когда-то Машенька надела его мне на палец, и с той поры я его не снимал. —

Он протянул через стол руку. — Тяните, Наденька, тяните изо всех сил, оно срослось со мной.

Надя посмотрела ему в глаза, улыбнулась:

— А вы извините меня за резкость?

— Не было никакой резкости. Забудьте и тащите кольцо.

— Надо палец намылить! Палец!

Обрадованный явным улучшением погоды за столом, Иван сам принес мыло, намылил кожу вокруг кольца и наконец с большим трудом стянул его.

— Не больно, Аверьян?

— Терпимо.

— Благодарю, Аверьян Леонидович, — сказала Надя. — Утром верну в целости и сохранности. А сейчас сыграю для вас, пока вы будете курить свои противные сигары.

Они перешли в гостиную. Мужчины неспешно, со вкусом курили, а Надя села к роялю и по памяти, без нот, играла им, пока в дверь осторожно не заглянула Феничка.

— Пора, барышня!.. — загробным шепотом возвестила она.

— Пора девичьих забав, — пояснила Наденька. — Извините нас, господа.

Девушки поднялись в спальню Нади, зажгли

свечи, потушили яркую керосиновую лампу. Сразу почему-то стало тревожно, и Надя сказала приглушенно:

— Зеркала надо завесить.

— Как при покойнике, что ли?

— Не знаю, но так полагается.

— Ой, не нравится мне все это, — вздохнула Феничка, занавешивая оба зеркала. — Ну а теперь что?

— Ждать, когда полночь пробьет.

— Страсть-то какая…

Девушки уселись рядом и примолкли. Чуть потрескивая, горели свечи, тени дрожали на стенах. Было жутковато, и Феничка вцепилась в руку своей хозяйки. Наконец снизу, из гостиной, донеслись гулкие удары напольных часов.

— Нечистой силы время пробило, — прошептала Феничка. — А теперь что?

— Теперь?.. За ворота — башмачок. Ты принесла башмачок?

— Принесла. Во двор, что ли, с ним выходить? Обсмеют.

— Давай в окно выкинем.

— Так окна на зиму заклеены.

— Тогда… — Наденька задумалась. — В форточку бросай.

— Я?

— Ну, у нас же один башмак.

Феничка покорно влезла на подоконник, открыла форточку. Надя подала старый башмак, и горничная тут же вышвырнула его.

— За ворота бросила?

— В сад. Окна-то ваши в сад выходят, а двор эвона с другой стороны совсем.

— Ну ладно, — согласилась Наденька и забормотала: — «За ворота башмачок, сняв с ноги, бросали…» Тут у нас не совсем так, как у Жуковского. Дальше — «снег пололи». Ты умеешь снег полоть?

— А зачем его полоть? — удивилась Феничка и наставительно пояснила: — Полют грядки, барышня.

— Что-то пока у нас плохо получается, — вздохнула Надя. — После этого… После этого нам придется все равно выходить во двор.

— Зачем?

— Под окнами слушать.

— А, это интересно! — оживилась Феничка.

Девушки быстро оделись и через черный ход осторожно, боясь скрипнуть ступенькой, спустились во двор.

— Слушай очень внимательно, это важно, —

прошептала Надя. — За мной к первому окну, где виден свет.

Они прокрались к освещенному окошку и замерли, навострив уши.

— Молчат там…

— Тихо!.. — зашипела Наденька.

— На круг — две тысячи, — вдруг еле слышно донесся мужской голос. — Не мало, не мало…

— Это Евстафий Селиверстович, — почти беззвучно пояснила Надя. — Отчет пишет…

— Чего пишет?

— Тише!..

— Конечно, ради праздника ничего не жаль, однако… — бормотал тем временем Зализо.

Наденька оттащила Феничку от окна:

— Отчет — это неинтересно. Пойдем к следующему окну.

В следующем окне была открыта форточка и распахнуты шторы. Девушки подкрались, осторожно заглянули.

Это была гостиная. В креслах уютно покуривали Беневоленский и Иван.

— При семидневной обороне Шипки я окончательно понял, сколь опасна революция для России. Представь себе обезумевшую толпу под зеленым знаменем Пророка и столь же обезумев-

шую — под русским знаменем. Я все время видел перед глазами эти толпы вооруженных людей, когда залечивал отпиленную по локоть руку.

— Ты не прав, Аверьян. То была война за свободу.

— Я не говорю об оценках, поскольку то, что одна сторона считает плюсом, противоположная считает минусом, и наоборот. Я говорю об ожесточении людей. Безумном, неуправляемом ожесточении… Великая Французская революция тоже была борьбой за свободу, но сколь же кровава и жестока она была. А революция в России обречена на еще большую кровь.

— Мы, по-твоему, более жестоки?

— Три четверти нашего народа обижали, угнетали и держали в нищете добрые полтысячи лет. Такое не забывается, Иван, вспомни разинщину и пугачевщину.

— Когда это было…

— Вчера, — строго сказал Беневоленский. — Народ не знает истории, для него существует только вчера и сегодня. И — завтра, если в этом «завтра» ему пообещают молочные реки и кисельные берега.

Феничка разочарованно вздохнула:

— Скушно, барышня…

— Подожди, — строго шепнула Надя.

— …В городах станут вешать генералов и сановников, в деревнях — помещиков, в российской глухомани — офицеров и чиновников. Россия не просто огромна и косматa, как мамонт, — Россия раздроблена. Две столицы и сотни губернских городов, губернские города и уезды, уезды и миллионы деревень, хуторов, аулов, кишлаков. И в каждом — свой уклад, свои отношения, свои начальники, чиновники, богачи и бедняки. И везде, везде решительно господство произвола, а не закона. Произвола, Иван, а произвол порождает обиженных. И толпы этих обиженных ринутся давить обидчиков, как только почувствуют безнаказанность. Поэтому бороться за свободу у нас можно только постепенно, только парламентским путем…

— При отсутствии парламента? — усмехнулся Иван.

— Вот! — громко сказал Аверьян Леонидович. — Ты сам обозначил первый пункт программы: борьба за конституционную монархию как первую ступень буржуазной демократической революции. А далее — только через Государственную думу, или как там еще будет называться этот выборный орган. Иначе — неминуемый бунт. Бес-

смысленный и беспощадный, как бессмысленна и беспощадна сама толпа…

Устраиваясь поудобнее — ноги затекли, — Наденька не устояла и съехала вниз. Беневоленский замолчал, встал с кресла.

— Под окном кто-то…

— Бежим!.. — еле слышно скомандовала Надя и первой бросилась бежать.

Девушки влетели в дом, по черной лестнице через две ступеньки помчались наверх и перевели дух только в комнате, где горели свечи.

— Хватит с нас, — задыхаясь сказала Наденька.

— А как же курица? — спросила Феничка. — Я черную принесла, у меня в корзинке сидит.

— Мы узнали то, что нас ожидает, — строго пояснила Надя. — Осталось разгадать. Ступай к себе и разгадывай. Только сначала зажги лампу и погаси свечки.

— Покойной ночи, барышня, — радостно сказала горничная, видевшая в гадании очередную барскую причуду.

— Спокойной ночи.

Наденька разделась, накинула ночную рубашку, забралась под одеяло и начала размышлять над услышанным. Но мысли разбегались и путались, и через несколько минут она уже сладко

спала.

Утром она спустилась в столовую несколько настороженной, но никто о гадании и не вспомнил. Даже Аверьян Леонидович, когда Надя надела ему на палец обручальное кольцо. Может быть, ждали, что она сама расскажет, но тут бесшумно вошел Евстафий Селиверстович, смешав все ожидания.

— Доброго утречка и приятного аппетита. Иван Иванович, вас староста из Высокого спрашивает. Говорит, мол, на минуточку, так что извините великодушно.

Иван тотчас же вышел, отсутствовал недолго, а вернулся явно огорченным.

— Что-то случилось? — спросил Беневоленский.

— Да так, ерунда. — Иван невесело усмехнулся. — С елки в селе ночью кто-то все украшения снял. Частью побил, частью унес. Мелочь, конечно, а неприятно.

— Какая гадость! — громко сказала Надежда.

— Раньше этого не водилось.

— Там же — мамины подарки. Ты помнишь мамины подарки? Она же сама, собственными руками делала их, мне Варя рассказывала!.. Мы им праздник устроили, а они…

— Смена веков есть смена знамен, — усмехнулся Аверьян Леонидович. — Так, кажется, говаривал ваш батюшка?

— Прости, Ваня, но я уеду. — Надежда бросила вилку. — Вот они, счета. Две тысячи… Две тысячи воров и хамов, видеть их не могу!

И быстро вышла из комнаты, почувствовав, что слезы вот-вот потекут по щекам.

Мужчины продолжали завтрак в молчании. Потом Иван вдруг встал, вышел в буфетную и принес графинчик с двумя рюмками. Молча налил.

— Водка? — насторожился Беневоленский.

— Ты прав, Аверьян. И отец прав. Смена знамен!

И залпом выпил рюмку.

Через сутки они тихо и грустно провожали Наденьку. Феничка уже прошла в вагон, распаковывалась в купе, а Надя смотрела на Ивана в упор, уже не скрывая слез.

— Береги себя, Ваничка. Умоляю тебя.

— Я поживу здесь немного, Наденька, — со значением сказал Беневоленский.

— Приезжайте к нам, Аверьян Леонидович. Мы будем очень рады вас видеть. И Варя, и дядя Роман, и я. Вы же — Машина любовь, это больше, чем просто родственник.

— Непременно приеду, Наденька. Только, если позволите, после коронации. Когда в Москве потише станет. Мой поклон всем Олексиным и Хомяковым.

Девушки приехали в Москву на следующий день. В первый же вечер, за ужином, Надю подробно расспрашивали о житье в Высоком. Но отвечала она скованно и неохотно, а о разоренной елке вообще умолчала. Но после ужина уединилась с Варварой.

— Я покаялась на маминой могиле. Теперь хочу покаяться перед тобой.

— Стоит ли ворошить старое?

— Стоит. Я вас всех обманула. Обманула, понимаешь? Не знаю, почему и зачем. Ради самоутверждения, что ли.

— Что значит, обманула? Поясни.

— А то значит, что подпоручик Одоевский просидел до четырех утра в моем будуаре в присутствии Грапы, которой я запретила говорить правду.

Варвара молча смотрела на сестру потемневшими от гнева глазами.

— Что ты сказала?

— Твоя сестра — сама невинность, Варвара, маменькой клянусь, — неуверенно улыбнулась

Наденька.

— Ты… Ты — сквернавка! Насквозь испорченная сквернавка! Ты же поставила под пулю Георгия!..

— Мама простила меня, — тихо сказала Надежда. — И велела сказать тебе всю правду. Я слышала ее голос, Варенька, слышала…

И, покачнувшись, стала медленно оседать на пол. Варя подхватила ее, закричала:

— Врача! Врача, Роман, немедленно врача!..

Глава третья

1

В конце января в Москву прибыл министр императорского двора граф Воронцов-Дашков. Двадцать седьмого он посетил Ходынское поле, где осмотрел работы по возведению Царского павильона в русском стиле, и в тот же день уехал в Петербург, оставив своим представителем генерала Федора Ивановича Олексина.

— В Рескрипте государя генерал-губернатору великому князю Сергею Александровичу указано оказывать полное содействие нам, то есть Министерству двора, в коронационных приготовлениях, — с удовольствием рассказывал Федор, сразу же по отбытии непосредственного начальства навестивший родственников. — Чтобы ты, Роман Трифонович, имел представление об их размахе, скажу, что, например, колокольню Ивана Великого и кремлевские башни осветят четырнадцать тысяч лампочек. Четырнадцать тысяч!.. Во всех башенных пролетах зажгут разноцветные бенгальские огни, а стены Кремля унижут лампионами со стеариновыми свечами.

И все не на глазок, не на русский авось, а по рисункам Каразина, Прокофьева и Бенуа.

Надя слушала с интересом, Варвара вежливо удивлялась, а Роман Трифонович невозмутимо посасывал незажженную сигару.

— Идут немыслимые расходы, немыслимые! Граф приказал мне проверить кое-какие счета, и я выяснил, что, например, кумачу уже закупили свыше миллиона аршин по цене семьдесят пять копеек за аршин, тогда как нормальная цена — двадцать копеек!

— Двадцать две, — уточнил Хомяков.

— Это ж сколько денег застрянет у откупщиков в карманах!

— Я обошелся без откупщиков.

— Ты?..

— Ну а чего ж мелочиться-то? — усмехнулся в аккуратную надушенную бороду Роман Трифонович. — Казна платит напрямую, Федор Иванович, грех такой случай упускать.

— Но как тебе удалось?

— Еще до твоего приезда меня вызвал великий князь и укорил, что купцы мало жертвуют. Я говорю: «Совсем не жертвуют, Ваше Высочество, потому как не ведают, достигнет ли их жертва намеченной цели. А люди они — практические». —

«Но это же непатриотично!» — возмутился Сергей Александрович. «А откупщиков меж нами и вами ставить патриотично, Ваше Высочество? — спрашиваю я тогда. — Коли сойдемся на прямых поставках, так, глядишь, и жертвовать начнем».

— И он?.. — с замиранием сердца спросил Федор Иванович.

— Сошлись, генерал, сошлись. И не только на кумаче.

— Это же миллионы…

— Если позволишь, Варенька, мы бы прошли в курительную. Вели туда десерт подать. Благодарю, дорогие мои, обед был чудным. Идем, генерал.

В уютной, обтянутой тисненой кожей курительной они уселись в большие кожаные кресла и молча курили, пока накрывали на стол. Два лакея в расшитой галунами униформе принесли фрукты, сыр, французский коньяк, ирландское виски, голландский джин и удалились.

— Н-да, — протянул Федор Иванович, не сумев скрыть завистливого вздоха. — Деньга к деньге…

— Как тебе служится при третьем государе? — спросил Хомяков, напрочь проигнорировав подвздошную интонацию родственника.

— Дед и отец благоволили ко мне, а этот… Не

знаешь, с какой ноги танцевать.

— Это при твоем-то опыте?

В тоне Романа Трифоновича слышалась неприкрытая насмешка. Генерал нахмурился, даже посопел. Раскочегарил длинную голландскую сигару, сказал приглушенно:

— Кшесинская и ее компания до женитьбы спаивали государя ежедневно. Алиса взяла его в руки, до смерти напугав отцовской внезапной кончиной, но прошлое распутство даром не прошло. То ли увлечение горячительными напитками, то ли — между нами, Роман Трифонович, только между нами! — удар самурайским мечом по голове. Царь слушается всех родственников одновременно. — Федор Иванович помолчал, пригубил коньяк. — Великий князь Павел говорил своим конногвардейским приятелям, что в семье постоянные ссоры и царя никто не боится. Ты можешь себе представить, чтобы на Святой Руси не боялись помазанника Божьего? Он бесхребетен. Может быть, пока.

— Однако в своем обращении к дворянам — так сказать, при заступлении в должность — Николай был достаточно суров. Я запомнил его выражение: «Свободы — бессмысленные мечтания».

— В первом тексте было — «преждевременные».

Документ проходил через наше министерство.

— И вы, следовательно, его несколько поправили.

— Слово «преждевременные» заменил на «бессмысленные» лично дядя царя. Великий князь Сергей Александрович, ваш генерал-губернатор, дорогие москвичи.

Роман Трифонович задумчиво жевал сочную грушу, не потрудившись очистить ее от кожуры. Генерал усмехнулся:

— Почему тебя заинтересовала эта замена одного прилагательного на другое? Какая, в сущности, разница? Слова есть слова.

— В устах государя всея Руси слова есть программа.

— У него нет никакой программы.

— Тогда он поступил необдуманно. Паровоз остановить невозможно. Раздавит.

— Это наши-то бомбисты-революционеры? Господь с тобой, Роман Трифонович.

— Я имею в виду промышленный капитал, Федор Иванович. Он не может нормально развиваться в условиях старой формы правления. А ведь только этот паровоз способен тащить Россию вперед. Казенные заводы делают пушки, но сталь для них поставляют частные фирмы и товари-

щества, следовательно, им нужно предоставить те же права, что и казенным предприятиям. И в первую голову уравнять в налогах, а для малых и развивающихся частных фабрик непременнейшим образом ввести налог льготный.

— Чтобы хозяева гребли миллионы?

— Чтобы поскорее дали продукцию и увеличили число рабочих. Разбогатеют — сами миллионы вернут.

— Страждуете вы своим, Роман Трифонович, — усмехнулся Олексин. — А казна пустеет. Одна коронация сколько миллионов вашему брату отвалит?

— Жить надо по карману, — буркнул Хомяков. — А мы — по амбициям. Великая держава, великая держава! Великая держава не та, что может моим кумачом всю страну завесить, а та, в которой народ достойно живет.

— А традиции?

— А традиции, генерал, не в византийской пышности дворцов да церквей. Они — в скрытой теплоте патриотизма, как сказал граф Толстой. Скрытой, подчеркиваю, русской. Застенчивой, если угодно. Кстати, где Василий Иванович?

— В Казани. Толстовщину проповедует. Совсем некстати, между прочим.

— Чем скромнее вера, тем больше от нее проку.

— Вера у нас — православная.

— Вера не нуждается в прилагательных, если она вера, а не суесловие, Федор Иванович.

— Уж не толстовец ли ты, Роман Трифонович?

— Я человек практический. — Хомяков раскурил новую сигару, усмехнулся: — Опять пикируемся.

— По семейной традиции, — улыбнулся Олексин.

— Скорее по способу передвижения. Я еду на своем паровозе, а ты трясешься на казенной тройке с бубенцами.

— У меня же нет твоих миллионов.

— Свои миллионы я сделал сам, дважды начиная с нуля. Впрочем, дело не за миллионами и не за казенными тройками. Дело за людьми, способными к самостоятельным решениям и личной ответственности. И они придут. Придут в грядущем веке, Федор Иванович. Вот за них и содвинем бокалы.

И звонко чокнулся с генералом.

2

После признания сестре, обморока и слез Надя окончательно пришла в себя, вернув и прежнюю улыбку, и лукавые глаза. Самая пора была приступать к ранее оговоренной программе: приемы, званые вечера, балы. Однако Надежда категорически от всего отказалась:

— Я начала роман. Сейчас не до развлечений.

И впрямь допоздна засиживалась в своем кабинете, что-то писала, но что — не говорила и тем более не показывала. Варвара пыталась расспросить горничную, но Феничка, таинственно округлив глаза, строго твердила одно и то же:

— Говорит, созрел. Этот… замысел.

Особо доверительные отношения, сложившиеся между Наденькой и Романом Трифоновичем, предполагали искренность, и Хомяков пошел к Наде за разъяснениями.

— Никакой роман ты не пишешь, не обманывай меня, Надюша. Если дело и впрямь в новом романе — житейском, я имею в виду, — так скажи. Я пойму и отстану.

Надя невесело улыбнулась:

— Вероятно, дело не в романах, а в их отсутствии, если уж говорить правду. Только не посвя-

щай в этот разговор Варю, очень тебя прошу.

— Так разговор-то как раз пока и не получается.

Наденька молчала, покусывая губки и не поднимая глаз. Роман Трифонович обождал, вздохнул, погладил ее по голове и сказал:

— Маменьки с батюшкой у тебя нет, Надюша, и выходит, что я твой самый близкий друг. А другу в жилетку принято плакаться.

— Плакаться я не собираюсь, дядя Роман.

— Прости, не то словечко выскочило. Но поделиться тем, что тебя тревожит, ты можешь?

— Это как-то… — Надя беспомощно улыбнулась. — Странно прозвучит.

— Я постараюсь понять.

Наденька долго не решалась, избегала смотреть в глаза, неуверенно улыбалась. Потом вдруг постучала правым кулаком в левую ладонь, собралась с духом и выпалила:

— Почему влюбляются не в меня, а в моих подруг?

Роману Трифоновичу понадобилось немалое усилие, чтобы сохранить серьезное выражение лица. Но он сразу понял, что огорчает его любимицу, сообразил, как проще всего развеять эти огорчения, но начал почему-то как бы издалека:

— Твоя матушка влюбилась в своего барина, твоего отца, когда ей было четырнадцать, а ему — за тридцать. Машенька, царствие ей небесное, была младше своего избранника Аверьяна Леонидовича Беневоленского на добрых десять лет. Да и я, сама знаешь, тоже на десяток постарше Вареньки. Стало быть, это у вас в крови, дорогие сестрички Олексины. Ты ведь тоже не теряла головы от подпоручика Одоевского. Так, самолюбие тешила, разве я не прав?

Надя пожала плечами и улыбнулась.

— А причина в том, что ты просто умнее своих сверстников. Их сейчас на глупышек тянет, что тоже понятно, потому что самолюбие щекочет.

— Ждать, пока поумнеют?

— И слава богу. Каждому цветку — свое время цветения. Плюнь на все и жди своего часа. По рукам, что ли?

— По рукам, дядя Роман. — Наденька невесело вздохнула. — Только Варе ни слова.

— Ни полслова, Надюша, — улыбнулся Хомяков.

Однако полслова жене все же сказать пришлось, поскольку о беседе наедине Варя узнала от своей горничной Алевтины. Женщины преданной, но довольно пронырливой и постной.

— Что сказала Надя?

— Не получился у нас разговор.

— Даже у тебя? — Варвара озабоченно вздохнула. — Может быть, Николая попросить?

Однако призвать на помощь Николая оказалось делом затруднительным, да и не совсем корректным. Мало того что он был по горло занят по службе, в семье родилась вторая дочь, названная Варенькой в честь крестной матери. А первая, Оленька, часто болела, и тут уж было не до развлекательных программ Варвары.

Однако Хомяков, прекратив лобовые атаки, неожиданно предпринял обходной маневр, и добровольный затвор разочарованной писательницы все же удалось нарушить.

— Во вторник Федор просил принять весьма нужного ему господина, Варенька, — сообщил как-то Роман Трифонович. — Я рад этому обстоятельству, поскольку немного знаком с ним.

— Чем же он тебя очаровал?

Муж с женой разговаривали наедине, но Роман Трифонович счел необходимым оглянуться и понизить голос:

— Ему очень понравился Надюшин рассказ.

— Он издатель? — оживилась Варвара.

— Нет. Он действительный статский советник,

но Федор связан с ним какими-то служебными отношениями. Человек весьма и весьма достойный. Даже более чем.

Последний аргумент был настолько несвойствен Хомякову, что Варвара приподняла брови:

— Он пожалует с супругой?

— Представь себе, он старый холостяк.

— Очень старый?

— Когда о мужчине говорят «старый холостяк», имеют в виду не возраст, а семейное положение. Умен, образован, с приличным состоянием и отменно воспитан.

— Боюсь, Надежда заартачится, — сокрушенно вздохнула Варя.

— Уговорю! — заверил Хомяков.

Роман Трифонович уговорил Наденьку довольно просто, потому что знал безотказный аргумент:

— Мне этот визит нужен, Надюша.

— Ради тебя, дядя Роман, я готова на любые знакомства, — улыбнулась Надя.

В назначенный вторник в уютной малой гостиной собрались старшие: Варя, Хомяков, генерал Федор Иванович. Ждали семи, и с боем часов в гостиную вошел дворецкий Евстафий Селиверстович Зализо.

— Его превосходительство господин Вологодов Викентий Корнелиевич! — торжественно возвестил он.

— Проси, — сказал Роман Трифонович. — И сообщи Надежде Ивановне, что у нас гость.

— Не придет, — вздохнула Варвара.

— Придет! — отрезал Хомяков.

И встал, поскольку в распахнутую дверь вошел еще достаточно стройный господин лет сорока пяти с посеребренными легкой сединой висками. Молча поклонился, приветливо улыбнувшись.

— Искренне рад, Викентий Корнелиевич, — сказал Хомяков, пожимая руку гостю. — Моя супруга Варвара Ивановна.

Вологодов учтиво поцеловал хозяйке руку, дружески раскланялся с генералом и сел в предложенное кресло.

— От вашего дворца снаружи веет очарованием Мавритании, а внутри — искренностью русского гостеприимства.

— Благодарю, — улыбнулась Варя.

— Мы старались, — проворчал Роман Трифонович: ему не понравился заранее сочиненный комплимент. — Слава богу, сюда перестали ходить ротозеи.

— Американцы утверждают, что реклама

— двигатель торговли, — сказал Федор Иванович. — Признайся, ты думал об этом, Роман Трифонович.

— Просто был счастлив, что наконец-то могу исполнить обещание. — Хомяков весьма озорно подмигнул супруге. — Что слышно в высших московских сферах, Викентий Корнелиевич?

— Кажется, Петербург намеревается переселиться в Москву. Так что самое время учиться играть в белот.

— Любимая игра петербуржцев?

— Любимая игра государя. Говорят, он ежевечерне играет с Александрой Федоровной хотя бы одну партию.

— Нашествие Петербурга создаст огромные трудности не только для вас, Викентий Корнелиевич, но и для меня. — Генерал решил, что пришла пора брать быка за рога. — Достойно разместить великих князей, иностранных царствующих особ, многочисленных послов, сановников, петербургскую знать, не говоря уж о представителях дворянства, земств, иноверцев, — задача неблагодарная и весьма сложная. Есть над чем поломать голову.

— Может быть, мы начнем ломать наши головы завтра, в присутствиях? — улыбнулся Вологодов.

Появилась Надежда. Ее представили гостю, вежливо прикоснувшемуся к протянутой ею руке. После чего она села, слушала внимательно, вовремя улыбалась, но помалкивала. Вскоре попросили в столовую, где разговор несколько оживился.

— Я всегда побаивалась толпы, — говорила Варя. — Может быть, потому, что выросла в тихой, спокойной, патриархальной провинции. Мне просто страшно представить, что будет твориться в Москве во время коронационных торжеств, бесконечных парадов и любопытствующих толп на улицах. И… и, признаться, мне как-то не по себе.

— В Москве будет сплошной карнавал, сестра, — сказал Федор Иванович. — А карнавал всегда праздник. Не так ли, Викентий Корнелиевич?

— Если он в замкнутом пространстве. Во дворце, в саду. Уличные карнавалы не в традиции России. Мне посчастливилось побывать на карнавале в Риме, и я получил огромное удовольствие. Но мы не итальянцы. Вам приходилось бывать в Италии, Надежда Ивановна?

— Да, но не на карнавале. Может быть, поэтому итальянцы показались мне такими же русскими, только более экспансивными.

— Согласен, но позвольте добавить: и привыкшими к уличному общению. Мягкий климат приучил их к жизни на площадях, дома они лишь ночуют.

— Вероятно, вы правы, — с ноткой вежливого равнодушия согласилась Наденька.

— А у нас — девять месяцев зима, — проворчал Хомяков. — Какие уж там карнавалы. Напьются, наорутся да передерутся — вот и весь карнавал.

— Для народа будет организован праздник на Ходынском поле, — сказал генерал Олексин. — С раздачей подарков, бесплатными развлечениями и под надзором полиции.

— Праздник под надзором, — усмехнулся Вологодов. — Это действительно в русских традициях: веселись, но оглядывайся.

— Русским оглядываться полезно, — солидно вставил Федор Иванович. — Уж очень натура у нас безоглядная.

— Дядя Роман, а давайте маскарад устроим? — вдруг предложила Наденька, но тут же смутилась, начала краснеть и сердито сдвинула брови.

— Прекрасная мысль, Надюша! — подхватил Роман Трифонович. — Да на Масленицу, а? Варенька, как ты на это смотришь?

— Мне очень по душе Наденькина идея.

— Решено! — воскликнул Хомяков, хлопнув ладонью по столу.

— В каком же костюме вы пред нами предстанете? — улыбнулся Викентий Корнелиевич. — Таинственной Семирамиды или очаровательной испанки?

— Сделаю все возможное, чтобы вы меня не узнали, — отпарировала Надежда.

— А если узнаю?

— Преподнесете цветок.

— Считайте, что он уже у вас, Надежда Ивановна.

Вечером, когда все разошлись, Варвара осторожно спросила:

— Ну, как тебе Викентий Корнелиевич?

— Старик! — отрезала Надежда. — А маскарад все равно будет. Вот посмотришь.

— Если уж Роман сказал…

— Только знаешь что? — перебила Наденька. — Он ни в коем случае не должен меня узнать.

— Кто не должен узнать?

— Ну, этот… старик.

— Допустим. Но что из этого следует?

— А то, что я должна что-то придумать. Никаких Семирамид и испанок! Ты поможешь мне, Варенька?

— Обещаю. — Варя поцеловала Надежду в лоб. — Пусть тебе приснится необыкновенный костюм.

3

Костюм не приснился, но Наденька все же кое-что придумала. Во-первых, глухие маски вместо общепринятых полумасок, а во-вторых, номера в виде броши на левом плече для всех участниц.

— Номера каждая маска должна тянуть сама.

— Зачем такие сложности? — удивилась Варя.

— Для того чтобы победительница была неизвестна до решения жюри и получила хороший приз. — Хомяков улыбнулся. — Я угадал ваше желание, мадемуазель Фронда?

— Дядя, ты — чудо!

— Представляю, как же тебе будет обидно, если приз уплывет в чужие ручки.

— Не уплывет! — хвастливо сказала Надежда.

— А вдруг?

— Не знаю, не знаю, — проворчала Варвара. — Согласятся ли гостьи участвовать в подобной лотерее?

— Тряхнем мошной! — усмехнулся Роман Трифонович. — Приз будет от Фаберже, а броши с номерами включат в свои драгоценности даже

проигравшие дамы.

— Нет, сударь, вы все-таки — купчина, — вздохнула Варя.

Дамы с энтузиазмом откликнулись на приглашение участвовать в маскараде с заранее оговоренными условиями и призом победительнице. Проигрывать в такой ситуации было чересчур уж обидно, и как только определился круг соискательниц, Наденька устроила тайное совещание со своей горничной.

— Феничка, ты сможешь разузнать, какие костюмы появятся на нашем маскараде?

— Так у них, поди, тоже горничные есть.

— И все расскажут?

— Обязательно даже, — уверенно сказала Феничка. — Если я про вас расскажу, то и они никак не удержатся. Вы кем сама-то будете, барышня?

— Семирамидой.

— А как она выглядит-то, эта Семирамида?

— Таинственно, — округлив глаза, прошептала Надя. — Настолько, что и сама не знаю.

На следующий день Феничка отправилась на разведку, а Наденька принялась размышлять о костюме. Никакой Семирамидой она, естественно, быть не собиралась, но не хотела ни с кем советоваться, потому что ее костюм должен был

оказаться сюрпризом для всех. Но в голову, как на грех, ничего путного не лезло. А к вечеру явилась Феничка и чуть ли не с порога отбарабанила:

— Цыганки, испанки, турчанки, мавританки, Клеопатры, Карменки.

— Кто?

— Так сказали. Госпожа, мол, решила быть Карменкой и костюм уже заказала.

— Ах, Кармен, — сообразила Наденька. — Еще кто?

— Миледи, что ли. Потом японка, черкешенка и китайка…

Феничка замолчала, спросила удивленно:

— Что это вы так на меня смотрите, барышня?

— Раздевайся, — вдруг скомандовала Наденька.

— Чего?..

— А того, что мы с тобой одного роста, и фигуры у нас одинаковые. И я хочу примерить твое платье.

— Капризов у вас… — недовольно сказала Феничка, но платье сняла.

Платье оказалось впору, требовалось лишь чуть убрать в боках. Надя повертелась перед зеркалом, с каждым поворотом делаясь все серьезнее.

— Семирамидой будешь ты, — твердо сказала

она. — А я буду горничной.

— Не буду я никакой…

— Будешь!

— Это же обман, а никакой не маскарад.

— Маскарад и есть обман. Обман зрения.

— Вы же — темно-русая. А у меня коса — вона какая.

— Спрячем под короной.

— А номера как же?

— Номера… — Наденька задумалась. — А номера выдадут в самом конце, на парад-алле! И я дядю уговорю.

— Вы-то уговорите, а мне дура дурой быть, да? — обиженно спросила Феничка. — А ну как скажут чего по-французски?

— Улыбнись и пальчик к губкам прижми. Мол, боюсь, что узнаете по голосу.

— А если, не дай бог, кто танцевать пригласит? Тоже — пальчик к губкам, что ли?

— Не верю, что танцевать не умеешь. Не верю, и все.

— Да что я умею-то? Кадриль с вальсом?

— Вальс — это замечательно. Кадрили не будет, от мазурки откажешься, а остальному я тебя научу.

— Ох, барышня, да не выйдет у нас ничего! Чтоб

горничной стать, это ж сколько учиться надо.

— Вот ты меня своему искусству и обучишь. И все у нас будет замечательно, Феничка, все-все, вот увидишь! Главное, как нам дядю уговорить…

— И горничные в масках? — недовольно спросил Роман Трифонович. — Ну, Надюша, это уж слишком. Это уж ни в какие ворота не лезет…

— А Наденька права, — сказала Варвара. — Все горничные — симпатичные милашки, и вы, сударь, на них пялиться будете, забыв про дам в масках.

— Да здравствует равенство! — воскликнула Надя. — Дядя, милый, двадцатый век в Россию стучится!

— Хорошо, хорошо, допустим. Что еще выдумала?

— Во имя грядущего равенства номеров не выдавать до самого конца. До парада-алле.

— И это правильно, — улыбнулась Варя. — Мы первыми введем в Москве соперничество без поддавков.

— Обложили! — Роман Трифонович беспомощно развел руками и расхохотался. — Правильно, мои дорогие, пусть играют по нашим правилам!..

— Я все уладила, — объявила Надя Феничке. —

Теперь — курсы взаимного обучения. Я преподам тебе кое-какие манеры, а ты мне — уроки искусства хорошей горничной.

— Стало быть, так, — важно начала Феничка. — Самое главное — быть внимательной. Ну, скажем, крючочек случайно расстегнулся, поясок развязался или там волосок на плечи упал. Так сразу же подойти незаметно и тихо сказать: «Мадам, позвольте поправлю». И тут же быстренько поправить.

— Ну, это просто.

— А это уж как справитесь, — наставительно сказала Феничка. — В кармашках фартучка надо иметь две щетки, волосяную и платяную, и гребень. Подходить всегда сзади и останавливаться в полшаге за правым плечом. Если что-то важное случилось — ну, шов разошелся, — так надо сказать шепотом: «Мадам, извольте пройти в дамскую». А коли спросит: «А что?», надо просто повторить: «Извольте пройти в дамскую».

— Извольте пройти в дамскую, — послушно повторяла Наденька, загибая пальцы.

— И стоять в сторонке.

— И стоять в сторонке.

— И глядеть во все глаза.

— И глядеть во все глаза.

— Вот тогда, может быть, из вас толк выйдет, — важно сказала Феничка, еще раз придирчиво осмотрев свою хозяйку.

4

Костюм Семирамиды — якобы для Нади — взяли в костюмерной Большого театра. Он был слегка великоват, но Наденька сказала, что ради конспирации подгонит его сама, и тут же нарядила в него свою горничную.

— Сроду таких нарядов не носила! — Феничка была в восторге. — Да я в царском платье ничего уже не боюсь!

В назначенный день — выпало на Большой четверток, на Широкую Масленицу — к вызывающему как интерес, так и зависть особняку Хомякова начали один за другим подкатывать экипажи. Большие и малые кареты, открытые ландо и наемные пролетки разных калибров. Высадив пассажиров, они сразу отъезжали, саженного роста швейцар провожал прибывших внутрь, где молчаливые лакеи в ливреях тут же быстро сортировали их, провожая участниц маскарада в дамские гардеробные, а мужей, отцов и мамаш передавали на руки дворецкому, который и вел их дальше. А гостей оказалось столько, что

Евстафий Селиверстович охрип, выкрикивая титулы и имена. Варвара перебрасывалась с прибывшими несколькими вежливыми словами, но тут же оставляла их, как только появлялись новые гости.

А Роман Трифонович вынужден был расхаживать меж карточных столов, поскольку солидные отцы и азартные мамаши легкомысленных девиц, лихорадочно влезавших сейчас в маскарадные костюмы, умели коротать время только за игрой в винт. Хомяков считал карты пустым занятием, однако в данной ситуации отстаивать свои принципы было по меньшей мере неуместно, а вот свои дела — уместно вполне.

— Роман Трифонович, дорогой, вы игрок высокого полета, — жеманно обратилась к нему в общем-то малознакомая, но известная весьма влиятельным мужем, из последних сил молодящаяся дама. — Посоветуйте, что мне объявить?

— Назначьте четыре леве.

— Вы оч-чень рисковый мужчина.

— Риск — пятый туз в любой колоде, уважаемая Татьяна Кузьминишна, — усмехнулся Хомяков.

— Так вот в чем секрет ваших миллионов?

— Нет, мадам. Секрет — в градуснике.

— Каком градуснике?

— Которым я измеряю температуру риска.

— И что же он сейчас показывает?

— Около сорока по Цельсию.

— Тогда — четыре леве, господа! — громко объявила Татьяна Кузьминишна.

— Если выиграете, скажите о моем градуснике своему мужу, — улыбнулся Хомяков.

— А вы хитрец! — Дама погрозила пальчиком.

— Все дело в градуснике, Татьяна Кузьминишна, только в градуснике!.. — Роман Трифонович не терял времени даром. — Хитрость даст тысяч пять, не более того. А градусник способен умножить эту цифру на десять. Ваш супруг, я полагаю, хорошо разбирается в подобной арифметике?

— Какое лукавство!

Хомяков получил игривый удар веером по руке, ознаменовавший собою полное понимание. Супруг молодящейся дамы был осторожен и неинтересен решительно во всех отношениях, но обладал подписью, открывавшей замки армейских подрядов. До сей поры он ловко уклонялся от личных свиданий, однако решился-таки выслать в разведку кокетливую и весьма догадливую жену, и Роман Трифонович был доволен началом сегодняшнего вечера. Обещанная взятка в пятьдесят тысяч приносила двадцатикратный доход,

по самым скромным расчетам.

Викентий Корнелиевич прибыл не первым, но в первой десятке. Карточные игры его не интересовали, почему он сразу же и угодил в руки генерала Олексина, тут же усадившего Вологодова в кресла у огромного окна.

— Вопрос размещения, дорогой Викентий Корнелиевич, есть одновременно и вопрос политический, — сразу же начал Федор Иванович. — Назову лишь несколько имен прибывающих на коронацию особ, и все вам станет ясным. Его Императорское Высочество эрцгерцог Людвиг-Виктор. Ее Величество королева эллинов Ольга Константиновна. Его Королевское Высочество наследный принц Датский. Его Королевское Высочество принц Неаполитанский Виктор-Эммануил. Его Королевское Высочество принц Георг Саксонский…

«Господи, как нудно, но с каким придыханием…» — уныло думалось Вологодову.

— Его Императорское Высочество принц Садананару-Фушими…

— Разместим, всех разместим, Федор Иванович.

Меж гостями ловко сновали черно-белые вышколенные официанты с напитками, легкой

закуской, фруктами. При этом вручалось тисненное золотом меню торжественного обеда в честь победительниц маскарада, имеющего быть в субботу, в шесть часов вечера.

— Я не сомневаюсь, поскольку обязаны, Викентий Корнелиевич. Мой вопрос в том, как разместим? Как? Где? Вопрос максимальных удобств…

— Прекрасный обед, — сказал Викентий Корнелиевич, раскрыв внушительный переплет и просматривая меню. — Послушайте, генерал. «Первая перемена. Черепаший суп и перепелиный бульон со слоеными пирожками. К нему — мадера и херес. Вторая перемена. Рыбное тюрбо с голландским соусом. Рейнские вина “Ронталь” и “Редюсгейм”. Третья перемена. Бараний бок. Вина французские “Леовиль”, “Понтекане”. Двойной английский портер. Жаркое из кур с зеленью, к нему шампанское “Редерер”. Спаржа отварная с байонской подливой. Пудинг, сыры. Фрукты, мороженое, черный кофе “Маланг”, “Тьерибон”. Ликеры». Бог мой, придется сутки поголодать ради такого лукуллова пиршества.

— Вы — чревоугодник, Вологодов, — расстроился Олексин. — А у меня — хомут на шее.

— Грешен, Федор Иванович, грешен, — несо-

крушимо улыбался Викентий Корнелиевич. — Вкусно поесть — единственная утеха холостяка. А хомут ваш рассупоним, не терзайте себя понапрасну.

Уж чем-чем, а чревоугодником Вологодов никогда не был. Он был скорее аскетом, но надо же было как-то отвлечь генерала Олексина от скучных служебных разговоров…

Дирижер на хорах постучал палочкой, и оркестр заиграл полонез. Роман Трифонович, попросив извинения, вышел. За ним потянулись остальные, кроме совсем уж азартных игроков да старого генерала, задремавшего в кресле.

Распахнулись двери, и в зал из дамской половины торжественно вступили дамы в самых разнообразных костюмах и легких шелковых масках, полностью закрывавших лица. Они шли парами, а горничная, появившаяся следом за ними — тоже в маске, — осталась у входа. Дамы плавно, строго под музыку совершили неторопливый круг, и ожидающие у стен заскучавшие молодые люди тотчас же шагнули к ним.

Маскарад начался вальсом, и скромно стоявшая у входа в зал Наденька с любопытством наблюдала в основном за Семирамидой. Но вавилонская царица, танцевавшая с корнетом, вальсировала

легко, непринужденно и с огромным удовольствием.

После первого танца маскарад считался открытым, дамы и молодые люди распались на пары и группы, по залу пронесся легкий говор. Наденька осторожно пробралась к своей Семирамиде, которой что-то весело рассказывал корнет, стала в полушаге за правым плечом, достала из кармана фартучка платяную щеточку, смахнула воображаемый волосок и шепнула:

— Ты — прелесть!

Викентий Корнелиевич тоже посматривал на Семирамиду, а когда возле нее очутилась горничная, принялся изучать царицу еще более пристально.

— Это не ваша очаровательная сестра, Федор Иванович?

— Не думаю. Слишком много блеска, а она у нас эмансипе не хуже покойной Маши.

— Эмансипе? — протянул Вологодов, переводя взгляд на отходившую от Семирамиды горничную. — Может быть, нигилистка?

— Фантазерка и выдумщица может быть кем угодно. Это она настояла на сплошных масках, мне по секрету сказала об этом Варвара. А в них все дамы одинаковы, как в преисподней. Во-

обще нынешние девицы, должен вам сказать, решительно отбиваются от рук. Моя дочь Ольга, например…

Оркестр заиграл контрданс, дамы и кавалеры тотчас же разошлись по противоположным шеренгам. Наденька, обучившая сообразительную и весьма способную Феничку нескольким простым танцам с изящными позами и поклонами, а также основным движениям «языка веера», была убеждена, что ловкая горничная с этим справится, а потому решила усиливать собственные позиции. Ловко маневрируя по залу, подходила к не принимающим участия в маскараде немолодым дамам, оказывая им мелкие услуги, проводила какую-то матрону в дамскую комнату…

— Спасибо, милочка.

Наденька кланялась, стараясь помалкивать. Ее душил смех, поскольку роль некоего одушевленного предмета для услуг очень быстро позволила ей убедиться, что горничным часто приходится слышать то, от чего старательно оберегают ушки господские:

— Говорят, он даже маскарадные значки велел усыпать драгоценными камнями…

— Варвар…

— Рекомендую говорить проще: муж Варва-

ры…

— Дивно, князь, дивно сказано!..

— А сколько вызывающих новшеств, обратили внимание? Маски даже для прислуги!..

— И все ради хамского самоутверждения…

— Не скажите, баронесса, полагаю, что не только для этого. Нас завоевывают новые гунны. В веке грядущем они намереваются стать господами…

Снова наступил перерыв. Наденька тут же пробралась к ловко обмахивающейся веером Феничке, оказала невесомую услугу, услышала не без ехидства сказанное «спасибо, милочка» и весело подумала: «Вот нахалка!..» И, чтобы не мешать, решила обойти маскарадную толкотню стороной.

— Простите, милочка, — вдруг сказал Вологодов, когда она поравнялась с креслами, где сидели ее брат и Викентий Корнелиевич. — Вас не затруднит принести нам коньяку?

«Не узнал!» — с торжеством подумала Надя. Молча поклонилась, прошла к ближайшему официанту и, вернувшись, поставила на стол два бокала.

— Благодарю. — Вологодов выдернул из букета розу и с улыбкой протянул ей.

«Узнал, — с огорчением решила Наденька. — Нет, нет, этого не может быть. Просто он старый ловелас, только и всего. Увидел очередную мордашку…»

Здесь было мало логики, поскольку спрятанную под глухую маску «очередную мордашку» никто увидеть не мог. Но так уж Наденька почему-то тогда подумала.

Вскоре последовала мазурка, от которой, как показалось внимательно наблюдавшей Наденьке, ее Феничка довольно мило отказалась. На этом бал-маскарад заканчивался, занятые в нем дамы под музыку покинули зал, молодые люди бросились утолять жажду, а Федор Иванович с облегчением вздохнул:

— Люблю хорошие финалы.

— Убеждены, что финал будет хорошим?

— Я не о призах. Я — о шумихе.

— Господа, минуточку внимания, — громко сказал Роман Трифонович, вставая. — Сейчас очаровательные участницы нашего маскарада в последний раз продефилируют перед нами, но уже с номерами на левом плече. От вашего решения зависит присуждение первого приза, посему очень прошу быть внимательными. Оркестр, парад-алле!

Оркестр заиграл марш, и в зал вышли все участницы. Испанки и мавританки, черкешенки и цыганки, турчанки, китаянки, римские матроны, Клеопатры и Марии-Антуанетты. Они по-прежнему были в масках, но теперь на левом плечике каждой участницы сверкал значок с номером. И последней шла горничная с номером «27», появление которой вызвало в зале удивленный шум. Маски, как было условлено, трижды обошли зал и остановились перед гостями.

— Все маски прекрасны, обаятельны и очаровательны настолько, что вопрос первенства не способно решить никакое жюри, — продолжал Хомяков. — Решать придется всем нам, так сказать, всем миром. Во время ужина, на который нас позовут, как только переоденутся участницы маскарада, каждый опустит в чашу, стоящую в центре столовой, тот номер, который он лично считает номером победительницы. Результат после подсчета будет оглашен послезавтра, в субботу, во время торжественного обеда, на который приглашаются все присутствующие. Тогда же состоится вручение призов и подарков.

— А где же номера?

— Полный комплект номеров, от единицы до двадцати семи, уже лежит возле вашего прибора

в столовой.

Затем дамы в масках удалились, возникло некое оживление, забегали официанты, разнося напитки.

— Пойдемте в курительную, — сказал генерал Олексин, вставая. — С чего это вы впали в задумчивость, Викентий Корнелиевич?

— Признайтесь, номер «двадцать семь» в костюме горничной — ваша сестра?

— Понятия не имею, — проворчал Федор Иванович. — Но свой жетон опущу за нее, потому что обожаю дерзость. Если, конечно, она демонстрируется не в моем доме.

Наденька к ужину не вышла, но получила первый приз в субботу на торжественном обеде. Где-то между жареными цыплятами и шампанским «Редерер».

Глава четвертая

1

Наденька торжествовала, еще раз самоутвердившись в собственных глазах. Наденька торжествовала, Феничка радовалась, от веселого смеха и радостных воспоминаний звенел весь второй этаж. Доносилось и до первого, и Варвара решила направить восторг победительницы в разумное русло. Однако развивать свой первый светский успех младшая сестра отказалась наотрез:

— Прости, Варенька, понимаю твою озабоченность, но строить свое будущее я попытаюсь сама.

— Надя, это твой круг, в который ты практически уже сделала первый и весьма удачный шаг. Круг воспитанных, образованных, в конце концов, состоятельных людей…

— Я очень хочу стать состоятельной. Но для меня состоятельной является только состоявшаяся личность, а не чужое богатство, доставшееся по наследству. Вот дядя Роман — человек состоятельный, даже если из него вычесть все миллионы.

Вся писательская деятельность была забыта

и заброшена. Чем Надя занималась, никто из домашних толком не знал, а ее наперсница-горничная помалкивала, делая круглые глаза.

— Не понимаю, что с ней происходит, — сердилась Варя.

— Дай девчонке перебеситься, — грубовато советовал Роман Трифонович. — Перебесится, и все вернется на круги своя.

Однако все обернулось совсем другими кругами. Как только спали морозы, Наденька неожиданно зачастила на улицу вместе с верной Феничкой, щедро одаренной Хомяковым за отважную роль подсадной утки на маскараде.

С первым весенним солнцем Москва бурно воспряла от затяжной зимней спячки. Перекрашивали фасады зданий на тех улицах, по которым, согласно высочайшему Рескрипту, должен был проследовать государь. Сооружали триумфальные арки и обелиски, полные русской исторической символики. Провели электрическое освещение по всей Тверской от Брестского вокзала, который москвичи упорно называли Смоленским, до Красной площади. Повсюду развешивали яркие панно и транспаранты, заколачивали, приколачивали и переколачивали заново, и перестук топоров не умолкал уже ни

днем ни ночью.

В традиционно неспешной, почти сонной Первопрестольной разом вскипела невиданно активная деятельность. И Наденька не могла, просто не имела права не увидеть внезапного и очень азартного взрыва искреннего энтузиазма москвичей.

> «Третьего апреля состоялось торжественное перевезение Императорских регалий из Зимнего дворца в Москву, в Оружейную палату, перед священным коронованием Их Императорских Величеств.
>
> По высочайше утвержденному церемониалу в Зимнем дворце в третьем часу дня собрались высшие чины Двора и сановники, назначенные для принятия и перевезения Императорских регалий. В Бриллиантовой комнате дворца регалии были выданы сановникам министром Императорского Двора графом Воронцовым-Дашковым и чинами главного дворцового управления и Кабинета Его Величества. Блестящий кортеж двинулся из Бриллиантовой комнаты через

дворцовые залы на посольский подъезд.

При выходе кортежа на посольский подъезд караул главной гауптвахты встал под ружье и отдал честь. У подъезда находились придворные парадные кареты, запряженные цугом в четыре лошади каждая.

Парадный кортеж выехал из дворцовых ворот в предшествии трубачей эскадрона Кавалергардского Ея Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны полка. За ними следовали два ряда кавалергардов, конюшенный офицер и три конюха верхом. Далее: две четырехместные кареты, запряженные четверкою лошадей цугом, с камер-юнкерами и камергерами, назначенными предшествовать Императорским регалиям; парадный фаэтон с двумя церемониймейстерами и фаэтон с верховным церемониймейстером. В предшествии парадных экипажей, в которых везли Императорские регалии, ехали верхом конюшенный офицер, два младших берейтора и три придворных конюха. Всех карет с Императорскими регалиями бы-

ло шесть. В первой везли малую цепь ордена Святаго Андрея Первозванного Государыни Императрицы Александры Феодоровны; во второй – большую цепь ордена Святаго Андрея Первозванного Государя Императора; в третьей – Державу; в четвертой – Скипетр; в пятой – малую Корону Государыни Императрицы Александры Феодоровны и в шестой – большую Корону Государя Императора. Впереди каждой кареты ехали верхом по два вершника, а по сторонам – по два кавалергарда с обнаженными палашами. Шествие замыкал взвод кавалергардов в блестящих кирасах с белыми орлами. Красивою, длинною лентой тянулось это шествие по всему Невскому проспекту среди многочисленной толпы, стоявшей непрерывными шпалерами на всем протяжении кортежа.

В три часа тридцать минут дня парадный кортеж вступил в ворота Николаевского вокзала. Войска взяли на караул. Регалии были внесены в Императорские покои и затем были уложены в особые ящики командированными от Кабине-

та Его Величества чинами. В семь часов тридцать минут вечера особым экстренным поездом регалии были отправлены в Москву в сопровождении генерал-адъютанта Гершельмана».

— Уфф!..

Этот газетный отчет прочитал вслух Варваре, Роману Трифоновичу и забежавшему выкурить сигару да перевести дух Федору Ивановичу капитан Николай Олексин.

— Представляю это волнующее зрелище, — задумчиво улыбнулась Варя. — С детства любила парады.

— Высокоторжественный акт, — строго поднял палец генерал. — Мы еще раз поразим мир мощью и блеском России.

— Красивая обертка совсем не означает, что внутри непременно должно находиться нечто высококачественное, — усмехнулся Хомяков. — У каждого века свой блеск и своя мощь. И мне думается, что в грядущем двадцатом столетии блеск и мощь России будут измеряться совершенно иными качествами.

— Как всегда, уповаешь на революцию?

— Уповаю единственно на разум человеческий,

Федор Иванович. То, что с таким восторгом живописует газета, есть всего-навсего последние судороги давно состарившегося русского самодержавия. Ты можешь себе представить нечто подобное, скажем, в Америке? Нет, разумеется, потому что Америке повезло обойтись без Средневековья. И она войдет в век двадцатый без ржавых кандалов прошлого и побежит, побежит!.. А мы поплетемся за нею. С форейторами, берейторами и кирасами с белыми орлами.

— У России — свой путь, — строго сказал Олексин. — Свой, Роман Трифонович, особый и осиянный.

— Опять сказка про белого бычка на осиянном лугу, — вздохнул Хомяков. — Бог с тобой, генерал, ты же не на сборище записных патриотов. Это тропинки бывают особыми, а магистральное направление прогресса — одно для всех народов.

— Но национальные традиции, Роман, — сказал Николай. — Народ без исторических традиций превращается в толпу ванек, не помнящих родства своего.

— А что считать традициями, капитан? Форму или содержание? Форму проще и нагляднее: понимания не требует. Гавриил, светлая ему память, пустил себе пулю в сердце, потому что не

мог ни понять, ни тем более простить государя Александра Второго, предавшего, с его точки зрения, болгарский народ. Это — традиция чести. Содержания, а не формы. Любимый порученец Михаила Дмитриевича Скобелева — перед тобою сидящий Федор — чуть мне физиономию не расквасил за то, что мои компаньоны, в аду бы они сгорели, моим именем скобелевских солдат червивой мукой кормили, пока я в отъезде был, и для него это оказалось вопросом чести. «Солдатский рацион есть честь всей России!» — так он мне тогда заявил и был абсолютно прав. Забота о подданных своих есть великая честь и великая традиция, а не парады с иллюминацией.

— Да кто же с тобой спорит, кто спорит, — вздохнул Федор Иванович: упоминание о «белом генерале», кажется, не очень-то пришлось ему по душе. — Ты сказал то, что само собой разумеется, зачем же сотрясением воздухов заниматься?

— Знаешь, порою это просто необходимо. В застойном воздухе уж и дышать-то нечем стало. Реформы тихохонько свернули, а что получили? Забыл голод девяносто первого? Вот чем оказался весь наш «особый путь».

— Ну, это, так сказать, случайное явление, — проворчал Федор Иванович. — Это крайность,

зачем же ее принимать в расчет?

— А голод был страшным, — вздохнула Варвара. — Я знаю, в Комитете помощи голодающим работала.

— Зато кирасир с гусарами развели, — непримиримо проворчал Хомяков.

Беззвучно вошел Евстафий Селиверстович.

— Кушать подано, господа.

За обедом поначалу все чувствовали себя несколько неуютно, как то всегда бывает даже после незначительных семейных размолвок. Однако за десертом поднаторевший в сглаживании острых углов когда-то боевой, знаменитой скобелевской выучки офицер, а ныне — придворный генерал Олексин первым решился взять разговор в свои руки.

— Вчера на совещании великий князь Сергей Александрович наконец-таки утвердил план сооружений на Ходынском поле для народного гулянья. Будет построено сто пятьдесят буфетов для раздачи подарков, двадцать бараков для бесплатного распития пива и вина, два балагана для представлений, а также эстрады для оркестров, карусели, качели и прочее.

— Что же входит в царский подарок? — спросил Николай.

— Обливная кружка с царским вензелем и датой коронации, сайка, кусок колбасы, немного конфет и орехов.

— Негусто, — усмехнулся Роман Трифонович.

— Да, но ты умножь это на четыреста тысяч.

— Уже умножил. Платочки, во что дар сей щедрый завернут будет, я поставлял.

— Господа, вы опять начинаете? — безнадежно вздохнула Варвара.

— А хватит ли четырехсот тысяч подарков? — спросил Николай. — Москва велика.

— С избытком, — уверенно сказал Федор Иванович. — Для народа главное — развлечения.

— Хлеба и зрелищ требовал еще плебс в Риме, насколько мне помнится, — заметил капитан. — Отсюда следует, что мы просто шествуем проверенным классическим путем?

— Традиционное заблуждение русских правителей — в перестановке этих требований: «зрелищ и хлеба!» — несогласно проворчал Роман Трифонович. — Не в этом ли заключается пресловутый особый путь России, генерал?

— О Господи! — сказала Варвара и встала. — Извините, но я удаляюсь, господа.

Она вышла.

— Вот и Варенька не выдержала, — вздохнул

Николай.

Хомяков поднял палец, и два шустрых молодца в униформе, расшитой галунами, тут же наполнили бокалы.

— У меня несносный характер, — сказал Роман Трифонович. — Но что поделать, когда испытываешь постоянный зуд в душе? Где реформы, друзья мои? Где реформы? Россия топчется на месте, как бегемот в клетке.

— Россия медленно запрягает, — улыбнулся Николай.

— Так сначала извольте научить ее запрягать! — не выдержал Хомяков. — Примите необходимые законы, обеспечьте их исполнение, прижмите к ногтю мздоимство чиновников, начиная с первого класса по четырнадцатый включительно. Ну, есть же пример, есть: Европа. Нет, кому-то очень выгодно, чтобы Россия сидела в собственном болоте. Очень выгодно!

— Двадцатый век все расставит по местам, Роман Трифонович, — улыбнулся генерал Олексин. — Решительно и бесповоротно. Ты не учитываешь инерционной мощи русского народа, а напрасно, она — весьма и весьма велика. И бомба Гриневицкого, убившая государя императора Александра Второго в день, когда на его столе

лежала Конституция, тому пример. Естественно, это между нами, господа.

— Ты веришь в некие знамения, Федор?

— В предопределения, Коля. В предопределения самой истории. И сам факт священной коронации Их Императорских Величеств накануне грядущего века есть великое предопределение. Великое божественное предзнаменование для Святой Руси!

2

Москва продолжала прихорашивать свой парадный подъезд. Каменщики перебирали мостовую на Тверской, кровельщики меняли водосточные трубы, маляры перекрашивали фасады домов, плотники усердно сколачивали многочисленные обелиски, арки и трибуны. Это привлекало великое множество праздношатающихся зевак, карманных воров и полиции, следящей, впрочем, куда больше за любопытствующей публикой, нежели за любознательными карманниками.

— Злые языки утверждают, что обер-полицмейстер Власовский собирал всех московских воров, так сказать, на совещание, — рассказывал Викентий Корнелиевич. — И очень просил их

тщательно ощупывать карманы москвичей на предмет нахождения револьверов, обещая за это закрыть глаза на все прочие проделки.

Вологодов был очень занят, но старался посещать Хомяковых при малейшей возможности. Умный сановник нравился как Роману Трифоновичу, так и в особенности Варваре, но с той, ради кого Викентий Корнелиевич столь настойчиво стремился в этот особняк, ему никак не удавалось встретиться. Вечерами она упорно отказывалась выходить, ссылаясь на усталость, а днями пропадала на московских улицах почти все светлое время.

— Наденька, в конце концов, это становится неприличным и, извини, смешным.

— Этот старый ловелас попытался приволокнуться за мной, когда я служила в горничных.

Естественно, Вологодов не знал об этом разговоре, равно как и о причинах столь демонстративного остракизма. Впрочем, об этих причинах не ведала и сама Наденька, действовавшая по древнему девичьему принципу: «А вот так!..» Викентий Корнелиевич очень огорчался, но упорно продолжал наносить визиты, пользуясь дружеским дозволением хозяев не церемониться. Не потому, что на что-то надеялся — ни на что

он давно уже не надеялся! — а потому, что до горькой тоски и глухой боли стал ощущать свое холостяцкое одиночество. Особенно — вне стен этого дома.

Теперь он частенько думал, что сам себя обрек на это тягостное одиночество в жизни. Не в домашнем кругу, не среди друзей, не в компании сослуживцев, наконец. Нет, в самом существовании своем во всех его проявлениях. Семейных, личных, дружеских, служебных. Последнее время — он избегал начинать этот грустный отсчет со дня знакомства с Наденькой Олексиной, хотя это было именно так — он стал с трудом засыпать, выискивая причины собственной самоизоляции чуть ли не с дней собственного детства.

Он родился в весьма состоятельной семье видного дипломата, вскоре после его рождения отъехавшего в Лондон по долгу службы. Там, в Англии, он получил прекрасное, но чисто английское образование, в корне отличавшееся от образования русского не по объему предлагаемых знаний, не по способу преподавания, а по первенствующей роли воспитания в каждом молодом человеке истинного джентльмена. Корректного, суховатого, неизменно вежливого и не позволяющего себе внешних проявлений чувств

ни при каких обстоятельствах. Он стал скорее замкнутым, нежели неразговорчивым, скорее сдержанным, нежели флегматичным, не то чтобы совсем лишенным темперамента, скорее, как бы вмороженным в ледяную глыбу. Именно это бросающееся в глаза английское воспитание, столь отличное от привычного русского, и обеспечило ему стремительное продвижение по чиновничьей лестнице, поскольку ко времени его возмужания отец уже скончался, а дипломатическое его поприще сын наследовать не пожелал по сугубо личным причинам.

Не пожелал, потому что дул на воду, ожегшись на молоке. Еще будучи студентом Оксфорда, он безоглядно влюбился в девушку из старой и уже обедневшей аристократической семьи. Однако он был достаточно богат, чтобы чисто по-русски о такой мелочи не задумываться, и все шло без сучка без задоринки, включая официальную помолвку. Добившись ее и донельзя обрадовавшись, он решил немедленно поехать в Россию, поскольку родители вернулись к родным пенатам по завершении отцом дипломатической службы. Однако родня официальной, сговоренной и оглашенной невесты не пожелала отпускать ее до венца вместе с женихом, заменив далекую Рос-

сию на близкий Париж.

Из Парижа английская невеста не вернулась. Родители предпочли пожилого французского графа молодому русскому студенту, не вдаваясь в объяснения. Викентий Корнелиевич Вологодов бросился за ними во Францию, желая хотя бы получить разъяснения от бывшей невесты и одновременно боясь этих разъяснений. В Париже он никого не нашел и поехал по следам сначала в Италию, затем в Швейцарию, Австрию и снова во Францию, где наконец-таки некий доверенный представитель счастливого графа настоятельно порекомендовал ему прекратить все попытки добиться свидания с бывшей невестой, пригрозив в противном случае официально обвинить его в преследовании с дурными намерениями.

— Вы ведете себя не по-джентльменски, месье, что дает графу право искать защиты от вашей назойливости у полиции.

Вологодов немедленно выехал на родину, месяц выжигал в себе не только любовь, но и саму память о ней, поступил на службу, в которой нашел если не утешение, то забвение. Жил одиноко, появлялся в обществе только в случае необходимости, и женщин для него более не существовало.

Он заново открыл их, повстречавшись с Наденькой Олексиной.

А Наденька вместе со своей горничной бродила по шумной, многолюдной Москве с горящими глазами и ликованием в сердце и не подозревая, что стала необыкновенно желанной и, увы, недоступной принцессой последней сказки суховатого и — еще раз увы! — уже немолодого одинокого мужчины. Сейчас ее интересовало совсем иное — степенно обедающие из общего котла артельщики, чумазые трубочисты, звонкий выезд пожарных…

— Смотри, смотри, Феничка, гнедые понеслись!

— Стало быть, Арбатская часть выехала, барышня, — важно поясняла горничная. — Это у них гнедые битюги.

Темно-русая головка и толстая пшеничная коса, выглядывающие из-под двух одинаковых шляпок, постоянно мелькали в самых людных местах. Обладательницы их вместе с артельным людом весело хохотали над мальчишкой-штукатуром, неосторожно шагнувшим в известковый раствор; старательно перевязывали голову бородачу-плотнику, не успевшему увернуться от упавшей доски; с радостной готовностью отно-

сили записку подрядчика, которому ну никак невозможно было отлучиться даже на соседний участок. К ним скоро настолько привыкли, что стали приветливо здороваться, меж собой называя их «Феничкой с барышней».

— Варенька, там такие замечательные люди, такие интересные! Я непременно напишу о них, непременно! И нисколько не хуже, чем господин Гиляровский, вот увидишь. Дядя Роман, ты ведь меня понимаешь, правда?

Хомяков понимал, озорно подмигивая.

— Вот у них — идеи, — говорил он. — А у нас — некая сумма смутных мечтаний и туманных представлений, далеко не всегда правильная к тому же.

— Идей много, — строго предупреждала Варвара. — Только, пожалуйста, не старайся запоминать непереводимой игры слов. Даже во имя жизненной правды.

Впрочем, она беспокоилась напрасно. При девушках никогда и никто не позволял себе ни одного дурного слова. Даже когда доска упала на плотника, он только прорычал:

— Ах, чтоб тебя!..

Так что гуляний их ничто не омрачало. И бродили они до изнеможения.

— Барышня, за нами ктой-то следит, — зловещим шепотом сообщила как-то Феничка.

— Кто следит?

— Да вон, тощий такой. В гимназической фуражке.

Наденька оглянулась. Действительно, позади стоял совсем еще юный господин в далеко не новой гимназической фуражке, из-под которой во все стороны лезли упрямые завитки белокурых волос. Заметив, что на него смотрят, юноша тотчас же отвел глаза.

— Весь день бродит след в след, — пояснила Феничка. — Может, бомбист какой?

— Почему же непременно бомбист?

— Не знаю.

— Проверим. Иди не оглядываясь.

— Куда идти?

— За мной.

Наденька быстро пошла от Триумфальной к дому генерал-губернатора. Однако на подходе к Скобелевской площади народу оказалось столько, что шаг пришлось существенно укоротить. Может быть, поэтому Надя не выдержала и снова оглянулась.

Белокурый юноша упорно шел сзади.

— Прилип как банный лист, — недовольно

шептала Феничка. — Может, городового позвать?

— А в чем он провинился? В том, что на тебя смотрит?

— Он на вас смотрит, барышня.

— Ну и что? И пусть себе смотрит. Вот сейчас подойду к нему и спрошу…

Наденька остановилась, повернулась лицом к преследователю и решительно уставилась ему в глаза. Юноша засмущался, опустил голову, но не ушел, и толпа толкала их почти одновременно.

«Сейчас я ему все выложу! — сердито подумала Надя. — Наглость какая!..»

Она и впрямь шагнула к нему, но гимназист вдруг странно изогнулся, словно пытаясь то ли от кого-то отбиться, то ли кого-то схватить. Возникла некая дополнительная толчея, шум, почти тотчас же раздался свисток, и к этому месту устремился рослый городовой, доселе почему-то невидимый.

— Р-разойдись! Что за крик?.. Прошу предъявить пачпорт.

— У меня нет паспорта, — растерянно сказал гимназист, поскольку последние слова городового относились к нему.

— Тогда пожалуйте в участок!

— Но ко мне залезли в карман…

— Пожалуйте в участок!..

— На каком основании? — строго спросила Наденька, к тому времени уже пробившаяся к ним. — К этому господину действительно залезли в карман.

— А вы кто такая будете, мамзель?

— Я — племянница Романа Трифоновича Хомякова. А этот господин приехал к нему из… из Костромы.

— Верно! — закричали с лесов артельщики. — Ты вон лучше карманника лови, селедка!..

— Что творится? — заворчали в толпе. — Честных людей хватают средь бела дня, а ворье что хочет, то и делает.

— И в такое знаменательное для всей Святой Руси время!

— Нет, надо искать на них управу. У меня, знаете ли, третьего дня семь рублей из кармана увели…

— Из кармана, говорите?.. — растерянно спросил городовой, не зная, что предпринять для приличного отступления.

— Держи вора! — завопили с лесов.

— Держи вора! — тотчас же откликнулся городовой.

Подхватив шашку, он засвистел и кинулся куда-то в толпу. Сверху, с лесов, заулюлюкали,

засвистели, захохотали. Прохожие как ни в чем не бывало тут же двинулись по своим делам, и молодые люди остались вдвоем. Но только на мгновение, потому что к ним наконец-то пробралась Феничка.

— Детина какой-то растопырился, ни тебе ходу, ни проходу, — недовольно сообщила она.

— У вас и вправду что-то украли? — строго спросила Наденька нескладного гимназиста.

— Украсть не успели, но в карман залезли. Я хотел было схватить вора за руку, только он вырвался.

— А зачем вы нас преследовали?

— Я… — Юноша очень смутился, опустил голову, и уши его начали краснеть. — Извините.

— А кто ты есть? — сердито спросила Феничка. — Почему ты из Костромы?

— Я не из Костромы.

— А барышня сказала, что из Костромы!

— Это ошибка. — Гимназист в явно тесном мундирчике снял фуражку, застенчиво поклонился. — Еще раз прошу меня извинить за назойливость, с которой я…

Он окончательно смутился и угнетенно замолчал, не решаясь поднять голову. Надя улыбнулась.

— Почему же вы вдруг замолчали?

— Позвольте представиться, — вдруг сказал молодой человек, с отчаянной решимостью подняв голову. — Нижегородский дворянин Иван Каляев.

3

И дальше они пошли втроем.

— Я только что досрочно закончил в гимназии, — рассказывал Ваня, все еще немного смущаясь. — Потому досрочно, что очень уж хотел увидеть коронацию.

— Сбежали из дома?

— Нет, что вы, Надежда Ивановна. Я к тете приехал, у меня тетя в Москве живет. На Неглинке. А осенью поеду поступать в Петербургский университет.

— А почему же не в Московский?

— Н-не знаю. Может быть, и в Московский. — Ваня помолчал, добавил решительно: — Я Москвы совершенно не знаю. А в Петербурге бывал два раза.

— Тетю, значит, до сей поры не навещал? — подозрительно отметила Феничка.

— Нет, что вы, — смутился недавний гимназист. — Как можно, остановился у нее…

— Мы вам покажем Москву, — улыбнулась Надя. — И начнем с Кремля.

На Красной площади и в Кремле шли особенно напряженные работы, поскольку именно здесь и должно было происходить таинство Священного Коронования. Строили помосты и переходы, готовили иллюминацию, громоздили деревянный слив в Москву-реку с Тайницкой башни. В некоторые места вообще не пропускали, но главное показать Ване Каляеву все же удалось. А когда вышли к Манежу через Троицкие ворота, Наденька решительно объявила:

— Сегодня вы обедаете у нас, Ваня.

— Что вы! — растерялся юноша. — Мы так мало знакомы и… и мундир у меня…

— У нас принимают не по мундиру, — улыбнулась Надя. — Феничка, возьми лихача.

Лихач и особняк, возле которого Наденька велела остановиться, настолько потрясли Ваню, что он окончательно сник. А тут еще — швейцар, дворецкий, прислуга в ливреях…

— Я представлю гостя сама, Евстафий Селиверстович.

Зализо невозмутимо принял потрепанную фуражку, предупредительно открыл двери.

— Мой друг, нижегородский дворянин Иван

Каляев, — с некоторым вызовом объявила Надежда.

— Рад познакомиться, — серьезно сказал Роман Трифонович, крепко, как всегда, пожимая руку молодому человеку. — Иван… простите, не знаю отчества.

— Ваня.

— Здравствуйте, Ваня, — чересчур вежливо улыбнулась Варвара. — Извините, отдам кое-какие распоряжения.

И вышла, полоснув взглядом по лицу сестры, сияющему непонятным озорным торжеством.

— Садитесь, Ваня, садитесь, — с искренним радушием говорил Хомяков. — Вина, сигару?

— Нет… То есть… нет.

— Позвольте оставить вас одних, — сказала Наденька. — Встретимся за обедом.

— Да вы не смущайтесь, Ваня, — добродушно улыбнулся Роман Трифонович, когда Надя ушла. — Здесь не кусаются, а лишних за столом не будет, так что располагайтесь как дома. Признаться, люблю ваш Нижний, ежегодно бываю на ярмарке…

Пока в гостиной происходил мужской разговор, на втором этаже особняка состоялся разговор женский.

— Мне надоело это беспрерывное и, извини, бестактное фраппирование, Надежда. Ты бесконечно избалована и непозволительно эгоистична.

— Бог мой, сколько ненужных эпитетов!

— Полагаешь, что тебе все дозволено? Так знай, что тебе не дозволено бросать тень на мой дом!

— Тощая тень бездомного гимназиста никак не отразится на твоем величии, сестра.

— На моем — да! А на деловой репутации Романа?

— При чем здесь деловая репутация? Господин Каляев — не делец, не светский прощелыга, а просто большой ребенок.

— Мы живем под увеличительным стеклом, потому что вся Москва люто завидует нам и ненавидит нас за собственную зависть! Это, надеюсь, тебе понятно?.. — Варвара помолчала, давая сестре возможность усвоить сказанное. — Марш переодеваться к обеду!

Роман Трифонович сумел несколько расковать гостя от тяжких вериг первого смущения, а за столом Ваня освоился окончательно. Он был скромен, умен и достаточно воспитан, для того чтобы справиться с природной застенчивостью, и обед прошел почти непринужденно. Настолько, что даже Варвара в конце концов начала улыбаться

без всякой натянутости.

— Я оказалась права? — спросила Наденька, когда дамы удалились на свою половину.

— Он непосредственен и очень мил. И все же помни, что я тебе сказала.

Следующий день начался дождем. Не звонким весенним, а тусклым, унылым и безнадежным. Все небо затянули тучи, тяжелые и однообразные, как солдатские шинели. Порывы резкого холодного ветра гоняли по улицам стружки, обрывки рогож, ветошь и паклю. Но Москва уже ни на что не обращала внимания, продолжая пилить, рубить, стучать, красить и грохотать.

— Не придет он, барышня, — сказала Феничка, вручая Наде раскрытый зонтик.

Но Ваня пришел и терпеливо ждал именно там, где вчера условились: под аркой городской Думы.

— Не промокли?

— Нет. Я бегом, Надежда Ивановна.

И улыбнулся с такой счастливой готовностью, что Наденька впервые ощутила в душе доселе незнакомое ей странное, какое-то очень взрослое чувство. И сказала:

— Подождем, пока Феничка сбегает в лавку.

— Зачем? — удивилась Феничка.

— Мужской, — кратко пояснила Наденька.

— Ага!..

Феничка убежала, и молодые люди остались одни. И молчали, но — по-разному. Ваня маялся в поисках начала беседы, а Наденька спокойно улыбалась доброй взрослой улыбкой.

— Я… То есть вы себя чувствуете?

— Чувствую, — несколько удивленно подтвердила Надя. — А вы себя?

— Я забыл спросить как?

— Замечательно. А вы, Ваня?

— И я замечательно.

Феничка принесла большой мужской зонтик.

— Держите крышу, господин Ваня.

— Что вы! Что вы! — Иван замахал руками и даже попятился. — Это совершенно невозможно.

— А болеть возможно? — спросила Наденька. — Простудитесь, и тетя не пустит вас на коронацию.

— Но я не могу…

— …гулять под дождем, — закончила Надя. — Но посмотреть, как Москва готовится к великому торжеству, просто необходимо. Берите зонтик, берите, берите. И за мной, поскольку я ваш чичероне на все дни вашего пребывания в Москве.

Сначала они осмотрели четыре обелиска перед

городской Думой. Огромные сооружения с декоративными позолоченными щитами и гербами на вершинах. Затем декорационную арку у Большого театра, убранную шкаликами для свечной иллюминации, и обелиск с Императорской колонной на углу Охотного Ряда и Тверской.

— Ну и каково впечатление, Ваня?

— Да… — Юноша помолчал, потом добавил со смущенной решимостью: — Много.

— Чего много?

— Не знаю. Теса много, краски. Много формы, она само содержание задавила. Может быть, в этом и заключается русский стиль, Надежда Ивановна?

— Ого! — Наденька с удивлением посмотрела на него. — Да вы, оказывается, совсем не так просты, каким изо всех сил стремитесь выглядеть.

— Я не стремлюсь, — сказал Каляев. — Я…

И замолчал, начав неудержимо краснеть.

Глава пятая

1

В тот день Надя опоздала с приглашением на обед, потому что Ваня успел отказаться раньше, сославшись на данное тете обещание. Наденька подозревала, что в Москве никакой тети у Каляева нет, но встретила его отказ с известным облегчением, не желая раздражать Варвару ежедневно. Но это облегчение вызвало в ней досаду и какое-то кисловатое, что ли, презрение к себе самой, и домой она пришла в весьма дурном настроении.

— У нас дорогой гость, — по-свойски шепнул Евстафий Селиверстович.

— Кто?

— Громкий.

— Я приду прямо в столовую.

— Нет, нет, Роман Трифонович непременнейшим образом просил пожаловать сначала в гостиную. Обед все равно задержится, господина Вологодова ждем.

«Этого еще не хватало», — скорее по привычке, нежели с огорчением, подумала Наденька, под-

нимаясь к себе.

С помощью Фенички она быстро переоделась, размышляя, кого дворецкий подразумевает под псевдонимом «Громкий». Поправила прическу и, сердито повздыхав, спустилась вниз.

— А вот и наша Надежда Ивановна! — объявил Хомяков.

С кресла поднялся коренастый немолодой господин с аккуратно подстриженной бородкой, но Наденька смотрела не на него. Она не могла оторвать глаз от бронзового жетона с вензелями государя императора и императрицы в центре на голубой эмали. «Это же корреспондентский значок!..» — мелькнуло в голове.

— Василий Иванович Немирович-Данченко, — представил гостя Роман Трифонович. — Наш старый друг.

— Старинный, — улыбнувшись, поправила Варвара.

— Слышал о вас давно, читал вас недавно, — сказал известный всей России беллетрист и знаменитый еще по русско-турецкой войне корреспондент. — Очень рад знакомству. Позвольте пожать вашу руку, коллега. Гуляли по Москве?

— Мне нравится, когда работают с энтузиазмом. Это ведь тоже праздник, не правда ли?

— И самый искренний, заметьте. А как вам понравилось убранство нашей Первопрестольной?

— Кажется… — Наденька на мгновение запнулась, — больше формы, чем содержания.

— Очень точное замечание, Надежда Ивановна, бьющее в цель, что называется. Очевидно, черта внешней неуклюжести — в самом характере всей русской природы. И не задавить ее никакими изобретениями американского технического гения. Пройдет, господа, девятнадцатый век, наступит век двадцатый, а наш Микула Селянинович останется все тем же мощным и добросердечным, но неповоротливым и корявым героем русской фантазии. Наденут на него фрак английского покроя и перчатки не существующего по размерам номера из французского магазина Кордье, научат и говорить на всех двунадесяти языках, а все-таки в самую вдохновенную минуту свою он вдруг так двинет плечом, что английский фрак расползется по всем швам и откроет миру все ту же скромную русскую косоворотку.

— Признайся, Василий Иванович, что ты только что цитировал самого себя, — усмехнулся Роман Трифонович. — Уж слишком вычурно, под стать московским декорациям.

— Не пропадать же хорошим сравнениям

втуне! — весело рассмеялся корреспондент. — Надежда Ивановна меня понимает. Не правда ли, коллега?

Наденька кивнула и улыбнулась. Ей сразу же понравился неожиданный гость. Живой и непосредственный, хотя явно тяготеющий к монологам.

— В самом деле, что такое наша Первопрестольная? — Василий Иванович испытал новый приступ красноречия, получив девичье благословение. — Холмы да холмы, кривые и узкие улочки да переулочки, примитивные мостовые, которые ремонтируют по два раза в год, а то и почаще. Ужасные, в полном смысле слова, азиатско-отчаянные пролетки с еще более отчаянными лихачами, а сюда вся Европа нагрянула да плюс еще и старый соперник — строгий и чинный Петербург. И чем же прикажете прикрыть средневековость Первопрестольной? Проще всего — русско-византийским сочетанием красок. Синей да красной, да сусального золота побольше. А от всего, вместе взятого, возникает какой-то пряничный… — он пощелкал пальцами, подыскивая сравнение позабористее, — запах, знаете ли…

В дверях неожиданно появился Зализо.

— Господин Вологодов!

— Как раз к обеду, — сказала Варвара. — Распорядитесь, Евстафий Селиверстович.

Разговор возник за десертом, когда Хомяков спросил Викентия Корнелиевича о московских новостях.

— Расселение — моя головная боль, поскольку поручено именно им и заниматься. Посольства и представительства прибывают целыми поездами, все, естественно, требуют удобств, но, надо отдать им должное, за деньгами не стоят, платят, сколько запрашивают. Французское посольство, например, сняло Охотничий клуб на весь май за двадцать две тысячи рублей.

— А рыбешку помельче в какой вентерь загоняете? — поинтересовался Василий Иванович.

— Сняли гостиницы. Кроме «Большой Московской», — «Славянский базар», «Континенталь», «Метрополь», «Петергоф». Меблированные комнаты ангажировали — «Кремль», «Княжий двор», «Свет», «Надежда». Сложнее с людьми, которые там проживали, а теперь оказались вынужденными переселяться на частные квартиры. Представляете, насколько в Москве сразу же взлетели цены на жилье?

— Да, уж москвичи охулки на руку не положат, — усмехнулся Роман Трифонович.

— К сожалению, владельцев охватила горячка — сдают квартиры по такой цене, чтоб она за месяц покрыла двухгодовой обычный платеж, — сказал Вологодов. — Разумеется, сразу же пошли жалобы, но что мы можем поделать?

— Верно ли говорят, Викентий Корнелиевич, что за комнату на Тверской, за которую до этого платили двадцать пять рублей в месяц, теперь требуют никак не меньше двухсот пятидесяти? — спросил Немирович-Данченко.

— Совершенно верно, Василий Иванович. Да что там! Представьте, что только за право смотреть из окна на проезд государя берут не менее пятнадцати рублей.

— Совсем народ обнаглел, — вздохнула Варвара.

Роман Трифонович рассмеялся:

— Первичный капитал сам в руки идет, ну и слава богу! Разумно распорядятся — новые рабочие места получим, новых коммерсантов, а то и новых предпринимателей.

— А как же с духовностью?

— Духовность, Варенька, не в том, чтобы медяки нищим разбрасывать да бесплатными обедами неимущих старичков со старушками кормить. Истинная духовность, с моей точки зрения, в

том, чтобы для бедных строить школы, дешевые дома, да хотя бы просто богадельни. А мы предпочитаем вместо этого церкви громоздить, хотя в Москве их и так уж сорок сороков.

— Да, Европа куда разумнее вкладывает деньги, нежели мы, — согласился Викентий Корнелиевич. — Что поделать, господа, такова традиция. Благодарю, Варвара Ивановна, благодарю, господа, обед был отменным. Впрочем, как и всегда. А меня извините. — Он отложил салфетку и поднялся. — Шестого мая, следовательно, уже в понедельник, Их Императорские Величества прибывают в Москву на Брестский вокзал. И уж оттуда экипажами — в Петровский дворец, а посему дел у меня — выше головы, как говорится.

— Как это, должно быть, интересно, — вздохнула Наденька.

— Что именно, Надежда Ивановна? — живо откликнулся Викентий Корнелиевич.

— Переезд императора с императрицей в Петровский дворец. — Надя искоса бросила на Вологодова проверяющий взгляд. — Любопытно было бы посмотреть, такое случается раз в жизни.

— Это невозможно, Надя, — сказала Варвара. — Государя встречают только члены императорской фамилии и особо приглашенные на эту

церемонию.

— Это действительно невозможно, — улыбнулся Вологодов. — Но для вас, Надежда Ивановна, я сделаю и невозможное.

И, поклонившись, тут же вышел. Точно вдруг застеснялся собственных высокопарных слов.

2

Утром Надя и Феничка опять встретились с Ваней Каляевым на условленном месте. Опять сеял мелкий нескончаемый дождик, было ветрено и прохладно, однако народу на улицах если и стало поменьше, то ненамного. А работы продолжались едва ли не еще энергичнее, нежели прежде, только что грязи изрядно прибавилось, да доски, через которые то и дело приходилось перебираться, стали теперь скользкими и неустойчивыми.

Молодые люди неторопливо двигались вместе с любопытствующими вверх по Тверской. Многочисленные разносчики лимонада и сбитня, пряников и конфет, пирожков и пышек, груш, яблок, лимонов и апельсинов перебрались с тротуаров под навесы крыш, а то и под леса, но зазывали еще настойчивее, чем прежде.

— Ладно, хоть не пристают сегодня, — говорила Феничка. — А то ведь прямо за рукава хватали.

— Не простудитесь, Ваня? — беспокоилась Наденька. — Весенний дождь прилипчив и холоден.

— Нет, что вы, Надежда Ивановна, я ведь всего лишь выгляжу хилым, а на самом-то деле совершенно здоров, — обстоятельно объяснил Ваня. — А Москва, оказывается, и в дождь интересна. Знаете, только теперь и понял, что имел в виду Пушкин.

Они как раз вышли на Страстную. Вероятно, поэтому Иван и вспомнил о каких-то пушкинских словах.

— Что же именно?

— Он говорил, что Петербург — прихожая, а Москва — девичья. В девичьей и в дождь весело, а в прихожей и при солнышке неуютно. В его дневниках есть такая запись, а я домашнее сочинение по этим дневникам писал, когда сдавал экстерном в гимназии.

— И как же вы назвали свое сочинение?

Каляев застенчиво помолчал. Но решился:

— «Неспетые песни». Глупо, конечно. — Он поднял голову, глянул на памятник. — Вы уж простите, Александр Сергеевич.

— Совсем не глупо.

— Вы так считаете? — оживился Каляев. — Зна-

ете, Надежда Ивановна, я из того исходил, что гений никогда не успевает пропеть всего, что рождается в его душе. Он оставляет нам лишь незначительную долю того, чем был переполнен, как море. Может быть, отсюда и последние слова Гамлета: «Дальнейшее — молчание»? Ведь принц Датский не смерти боялся, а — безгласия.

— Грустно, — вздохнула Надя.

— Очень грустно, — согласился Иван. — Конечно, гений — это недосягаемый пример, но я думаю, что любой человек, даже самый обыкновенный, самый ничтожный, уносит с собою в небытие свои неспетые песни. Ах, как бы сделать так, чтобы все Акакии Акакиевичи и Макары Девушкины успели бы спеть…

— Ой! — вдруг вскрикнула Наденька.

Она шла по мокрым доскам, нога соскользнула, и каблучок провалился в щель между ними.

— Сейчас, сейчас! — всполошился Каляев. — Феничка, пожалуйста, поддержите барышню.

Он раздвинул доски, осторожно вытащил Наденькину ногу вместе с туфелькой. Спросил озабоченно:

— Не больно?

— Не больно. А каблук — пополам.

— А все потому, что на меня не опираетесь! —

рассердилась Феничка. — Самостоятельная какая!

— Так это ж нам в пустяк! — раздался веселый мальчишеский голос.

Рядом с ними вдруг оказался паренек в насквозь мокрой сатиновой рубахе, подпоясанной витым поясом с кистями. Из-под лихо сдвинутой набекрень фуражки лезли черные кудри.

— Позвольте туфельку. Только присядьте сперва. Вот сюда, под леса, здесь не каплет. Господин гимназист, подсобите барышне.

Надя не успела опомниться, как ее усадили на сухие доски под строительными лесами, предупредительно подстелив мешковину. Рядом оказался артельщик в картузе:

— Из-за нас неудобство потерпели, барышня. Но ничего, коль нога цела. Мой Николка на все руки мастер. На совесть сделать, Николка!

— А мы завсегда на совесть. — Николка сверкнул зубами и куда-то умчался, захватив Наденькину туфлю.

— Сынок мой, — с гордостью пояснил артельщик. — К любой работе приспособность имеет. Что тебе, понимаешь, башмак починить, что по плотницкому делу, что по малярному…

— Дорогу! Дорогу!

— Гляньте-ка! — вдруг воскликнула Феничка. — Чудо какое везут-то!..

Мимо них по Тверской медленно и несколько торжественно проезжала огромная грузовая платформа, запряженная парой мохнатых битюгов. На платформе лежала неправдоподобно большая белужья голова, на сцепленной с нею второй такой же платформе размещалось гигантское, покрытое слизью черное тело, а на третьей — и сам хвост, возвышающийся, будто кусок недостроенного обелиска. Впереди ехал верховой, выкрикивая:

— Посторонись, православные! Посторонись!..

А вокруг бежали мальчишки с восторженными криками, спешили взрослые с гомоном и смехом.

— Чудо-юдо, рыба-кит… — сказал Ваня Каляев.

— Белугу везут, — удивленно заметил артельщик. — К царскому столу, поди. Живую вроде.

— Без воды? — усомнилась Надя.

— Снулую везут-то. Водкой опоили, чуете, барышня?

Вокруг огромной рыбины витал не только речной, но и впрямь водочный запах.

— Ей под зебры тины напихали и водкой поливают, — пояснил артельщик. — К царскому столу,

никак не иначе…

— Вот так встреча! Надежда Ивановна, вы ли это?

Перед Надей остановился сопровождавший обоз коренастый мужчина в распахнутом макфарлане, из-под которого выглядывал клетчатый американский пиджак со значком корреспондента на лацкане.

— Василий Иванович?

— Он самый, — улыбнулся в бородку Немирович-Данченко. — Рыбкой заинтересовался. Точнее, не столько чудом этим волжским, сколько реакцией москвичей, непосредственных, как дети. И, как дети, прямо упивающихся сенсациями!

— А куда ее везут?

— В Петровский дворец. Прямиком из баржи на Москве-реке.

— А что, господин хороший, в нетрезвом виде, верно? — спросил артельщик.

— Да уж водки не жалеют! — Василий Иванович наклонился, спросил обеспокоенно: — Что случилось, Надежда Ивановна? Почему здесь сидите?

— Каблук сломала, — вздохнула Наденька. — Надо же такое невезенье. Это — наш друг Иван

Платонович Каляев.

— Ваня, — скромно уточнил Каляев, с поклоном пожимая протянутую руку.

— И моя верная Феничка.

— Наслышан, рад познакомиться, — улыбнулся Василий Иванович. — Ну и коса у тебя, Феничка! Можно потрогать?

— Трогайте, если желательно, — чуть зарумянившись, согласилась Феничка.

— Коса — девичья краса, — сказал Немирович-Данченко, осторожно взвесив на руке Феничкину косу.

— Готово, барышня! — Откуда-то появился сияющий Николка с туфелькой в руке. — Извольте примерить.

— Как новенькая. — Надя притопнула каблучком. — Спасибо тебе, Николка.

— Чудо-юдо ты пропустил, Николка, — сказал отец. — Рыбину провезли пудов на сто с гаком.

— Где? — встрепенулся Николка.

— Вон, к Трухмальной подъезжают. Поспеешь еще.

Николка тут же сорвался с места, помчавшись вослед обозу. Артельщик решительно отказался от предложенной платы, но перед дюжиной пива не устоял:

— Это с нашим удовольствием. Спасибо, барин.

— Куда направляетесь? — спросил Василий Иванович, рассчитавшись с артельщиком. — Может, вместе пойдем? Меня волостные старшины на обед пригласили. Вам, коллега, было бы весьма полезно с ними познакомиться.

— С огромным удовольствием, Василий Иванович!

Представители волостей России были размещены в театре Корша — любимом театре москвичей. Повсюду, даже в гардеробе, одна к одной стояли простые железные койки, застеленные байковыми солдатскими одеялами. А столовая размещалась в зрительном зале: волостных старшин кормили бесплатно два раза в день обедом из двух блюд, к которому полагался стакан водки, а пива и чаю — сколько душа запросит. Степенные, аккуратные мужики сидели все вместе, плечом к плечу — вятские и таврические, иркутские и смоленские, русские и нерусские: черноусые причерноморские греки, рыжеватые, крепкие — один в один, как желуди, — немцы, рослые латыши и литовцы, светловолосые худощавые белорусы, поляки и русины, болгары и сербы, румыны, венгры, молдаване. Здесь были те из подданных России, кто исповедовал

христианство: представители иных конфессий размещались отдельно.

— Хлеб да соль! — сказал Василий Иванович, поклонившись общему столу.

— Сделайте милость откушать с нами, господа хорошие.

Дружно потеснились, сдвигая оловянные миски. Кто-то помоложе мигом принес чистые приборы для незваных гостей.

— Ласкава просимо! — пригласил старый, заросший белой до желтизны бородой белорус.

— Здесь следует слушать, — тихо объяснил Наденьке бывалый корреспондент. — Отвечать, только если спросят.

Им тут же наложили по полной миске густых щей, поднесли по стакану водки. От водки молодежь, поблагодарив, отказалась, а Немирович-Данченко со вкусом употребил свою порцию в два приема.

На них деликатно не обращали внимания, чтобы не смущать, продолжая степенный хозяйственный разговор.

— Три десятины, а маю с них четырех коней, трех коров, овец десятка два.

— И все — с трех десятин?

— Да вот-те крест!

— Да что ж за земля у вас такая?

— А такая, что хоть на хлебушек ее мажь. При деде родила, при отце родила, при мне родит и при внуках моих родить будет.

— Чудеса прямо! У меня — я сам вятский буду — восемь десятин наделу, а боле одного коня да коровки поднять не могу.

— Надо правильный севооборот, — с немецким акцентом сказали через стол. — Земля отдыхать должна. Хлеб убрал, клевер посеял. А еще можно — горох или люпин.

— Чего?

— Цветок такой. Синий. Земле хорошо помогает. Потом скосишь, скотине скормишь.

— Скотину цветком не накормишь…

— Барышня, — вдруг, собравшись с духом, обратился к Наде немолодой рослый мужик. — Очень извиняюсь, конечно. Мир наказал блюдо резное для государя императора купить. Девятьсот шестьдесят восемь рубликов собрали. Вы, по всему видать, благородная, магазины знаете. А я в Москве как в звонком лесу, ей-богу! — Мужик широко перекрестился. — Одни дятлы кругом стучат.

— С большим удовольствием вам помогу, — обрадовалась Наденька. — Прямо после обеда

и пойдем на Кузнецкий, если вы, конечно, не заняты.

— Вот спасибо, барышня, вот спасибо, вот уважила! — обрадовался волостной представитель.

— А деньги у тебя, дяденька, не стащат? — обеспокоенно спросила Феничка. — В Москве народ шустрый.

— Так мои капиталы вона где! — Мужик звучно хлопнул ладонью по голенищу. — А сапог я только в магазине и сыму, когда барышня укажет, чего покупать.

Они хлебали щи старательно, выскребав миски до дна, чтобы не обижать добродушных хозяев. А вышли из театра Корша целой группой, потому что многие волостные депутаты побаивались шумных московских магазинов.

— Поздравляю, мадемуазель, первый экзамен на журналиста вы сдали, — улыбнулся Василий Иванович. — Сейчас вам предстоит второй, и я вам тут не помощник. «Смело гребите навстречу прекрасному против течения!..»

Молодые люди долго, до самого вечера, водили волостных старшин по магазинам, подбирая не только то, что надо было купить, но и за приемлемые для крестьян цены. И блюдо для царского подарка удалось разыскать очень приличное:

резное, отменной работы. Правда, стоило оно дороже собранных всем миром девятисот шестидесяти восьми рублей, но Ваня умудрился с глазу на глаз переговорить с хозяином, и тот ради такого случая согласился ровнехонько на спрятанную в сапоге сумму. Однако не без вздоха.

Потом они проводили довольных покупками волостных представителей к театру Корша, где долго и шумно прощались с ними, потому что всем хотелось в знак благодарности непременно пожать им руки и непременно — со всем чувством. А когда наконец прощание закончилось, условились с Ваней Каляевым, где встречаются следующим утром, и разошлись в разные стороны.

— Дядя Роман, с какими добрыми людьми я сегодня познакомилась! — с восторгом выпалила Надя, едва переступив порог.

И с подробностями изложила события этого необыкновенного и — верила — незабываемого дня.

— Дай тебе Бог, Надюша, не скоро разочароваться, — невесело улыбнулся Хомяков.

3

Дожди шли беспрестанно, будто не май стоял на дворе, а гнилой, холодный октябрь. Лужи сверкали на мостовых и тротуарах, уже не впитываясь в мокрую землю, было ветрено, сыро и промозгло.

Шли дожди, но шли и работы. Москва продолжала украшать себя, и никто, в общем-то, не жаловался, кроме, разве что, маляров. Наденька, Ваня Каляев и Феничка ежедневно бродили под зонтиками по этой гигантской и очень оживленной строительной площадке, не забывая заглядывать в артель, где работал мастер на все руки Николка, если, конечно, было по пути.

Вологодов не появлялся, занятый по службе выше головы, и Надя уже подумывала, что не заглядывает он потому, что ему стыдно за пышные свои обещания. Но от этих мыслей ей почему-то было немножко грустно.

Но он пришел. Точнее, заглянул буквально на минуточку, «на одну сигару», как называл Роман Трифонович такие визиты. Однако, кроме выкуренной с Хомяковым сигары, Викентий Корнелиевич успел сказать Наде самое главное:

— Государь прибывает на Брестский вокзал поездом с Николаевского вокзала в пять тридцать

пополудни. Мне выделен кабинет для служебных надобностей, куда я готов провести вас, Надежда Ивановна, а также ваших друзей, но не менее чем за полтора часа до прибытия царского поезда. Так что, бога ради, извините за все неудобства разом: и ждать придется долго, и выходить из того кабинета не… не рекомендуется.

— Благодарю вас, Викентий Корнелиевич, — тепло улыбнулась Наденька. — Очень вам признательна, в указанное время мы будем перед вокзалом.

И покраснела вдруг, но отнюдь не от смущения, а от обжигающего чувства горделивости. Взрослый, занятой человек все-таки свершил для нее невозможное…

Вокзал западных направлений, официально именуемый Брестским, а москвичами — Смоленским, считался самым красивым вокзалом Первопрестольной. Конечно, не по этой причине государь затеял дополнительный переезд с Николаевской на Брестскую железную дорогу. Просто отсюда было значительно ближе до избранной им на время коронации резиденции — Петровского путевого дворца, в котором останавливались царствующие особы еще в те времена, когда не существовало железнодорожного сообщения

Санкт-Петербург — Москва.

По этой дороге государь и следовал в Москву на собственную коронацию. В Клину к нему присоединился прибывший на специальном поезде его дядя великий князь Сергей Александрович, генерал-губернатор второй российской столицы. И пока они там официально и неофициально приветствовали друг друга, Вологодов проводил Наденьку, Ивана Каляева и Феничку во временно отданный в его распоряжение служебный кабинет на втором этаже вокзального здания, окна которого выходили как на перрон, так и на привокзальную площадь.

— Прощения прошу, но вынужден вас запереть, — виновато улыбнулся Викентий Корнелиевич. — Ключ только у меня, вас никто не потревожит.

Он вышел, и молодые люди тотчас же бросились к наружным окнам, чтобы успеть как следует разглядеть площадь, пока не прибыл царский поезд.

Огромная толпа народа терпеливо мокла под косым холодным дождем. Перед нею на одинаковом расстоянии друг от друга стояли полицейские чины в потемневших от влаги белых мундирах.

А вся площадь, куда только не достигал взор,

была увешана яркими полотнищами, флагами и русскими гербами. Прямо перед ними высились две колонны, с которых спускались огромные трехцветные стяги. По синему полю каждого полотнища золотом были вышиты инициалы Их Императорских Величеств: «Н» и «А». Рядом с ними расположился конвой из офицеров шефских полков: лейб-казаки в красных мундирах; гусары — в белых, с опушенными ментиками; уланы в круглых черных касках с черным четырехугольным навершием, подбитым алым сукном; конногвардейцы с золотыми орлами, увенчанными коронами; кавалергарды с серебряными орлами; кирасиры в блестящих кирасах; павловцы в высоких, наклоненных вперед касках. Все они совершенно неподвижно сидели под мелко сеющим дождем в седлах, пока позволяя своим лошадям всхрапывать и мотать мокрыми мордами.

А чуть в стороне от них у центрального подъезда стояли два экипажа: закрытая карета в паре серых, в яблоках, рысаков и открытая русская тройка.

— Государь с государыней поедут на тройке, если не будет дождя, — шепнула Надя.

Молодые люди смотрели жадно, стремясь уло-

вить и запомнить мельчайшие подробности. Все казалось настолько необычным, интересным и значительным, что обмениваться впечатлениями пока казалось попросту недопустимой тратой драгоценного времени. А в пять часов с платформы донеслись крики, и они бросились к противоположному окну, выходящему на подъездные пути.

В крытой галерее центрального перрона был выстроен эскадрон почетного караула лейб-гвардии уланского Ее Императорского Величества Александры Феодоровны полка со штандартом и трубачами под начальствованием великого князя Георгия Михайловича. И вскоре стало слышно, как кричат махальщики:

— Едет! Едет!

Из павильона на платформу, к которой ожидалось прибытие царского поезда, начали выходить встречающие. Великие князья Владимир Александрович с сыновьями, Константин Константинович, Дмитрий Константинович, Николай Николаевич, Михаил Николаевич. Князья Романовские, принцы Ольденбургские, герцоги Мекленбург-Стрелицкие, принц Генрих Прусский. Генералы, сановники, члены Государственного совета, министры, свита Его

Величества, московский губернатор, губернский предводитель дворянства и городской голова.

— А генералов-то, генералов!.. — шептала пораженная многоцветием мундиров Феничка.

С торжественной медлительностью подошел поезд и так мягко, так плавно остановился, что казалось, будто он причалил. Открылись двери, и после императора и императрицы в строгой очередности начали выходить прибывшие. Августейшая дочь Их Величеств малютка великая княжна Ольга Николаевна впервые появилась в Москве на руках камер-фрейлины, следом шли великий князь Александр Михайлович, великая княжна Ксения Александровна и московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович.

Государь в форме гренадерского Екатеринославского Императора Александра Третьего полка принял рапорт главного начальника войск великого князя Владимира Александровича, поздоровался со встречающими и обошел фронт почетного караула. Оркестр заиграл гимн, и церемониал встречи был закончен.

А дождь продолжал идти, и императорская чета отбыла в Петровский дворец в закрытой карете, на запятках которой стоял до костей промокший

лейб-казак. Офицерский конвой, блеск которого тоже слегка полинял под беспрерывным дождем, сопровождал карету от Брестского вокзала до путевого Петровского дворца.

Молодые люди дружно вздохнули. Впервые с того момента, когда Вологодов деликатно повернул ключ в дверях.

— Красота-то какая! — восторженно сказала Феничка. — Нарядные все такие.

— Знаете, я ощутила почти священный трепет, — призналась Наденька.

— От лицезрения первых особ государства Российского? — улыбнулся Каляев.

— Это же — сама история. Олицетворение истории.

— Это всего-навсего немецкие курфюрсты, дорвавшиеся до русского престола.

— Ну как же можно так говорить, Ваня?

— А что для вас история, Надежда Ивановна? Перечень знаменательных дат? Героические биографии выдающихся личностей? Запас знаний, почерпнутых из учебника? Может быть, кафтаны, опашни, горлатные шапки да гридни с серебряными топориками?

— А для вас, Иван Платонович? — сухо спросила Надя.

— История — душа народа. Дух его, как утверждал Гегель. Дух, а не форма. А у нас — форма, но уж никак не дух. В таком выражении история делается безнравственной, Надежда Ивановна. Безнравственной, лживой и мертвой.

— Вы переполнены злым и фальшивым революционным пафосом, господин Каляев, — сухо отпарировала Надежда, неожиданно горделиво вскинув подбородок. — В конце концов, это наша история. Наша.

— Наша история — дворянское сочинение. — Каляев покраснел, как помидор, но не сдавался. — Ее переписывали, переписывают и будут переписывать в угоду правящему классу.

— История — прежде всего наука.

— Только не в России, Надежда Ивановна, только не в России, забудьте об этом. Может быть, где-то, у кого-то — не исключаю, хотя и в этом не уверен. Но у нас она — до сей поры искусство, как у древних греков. Разница лишь в том, что они об этом говорили откровенно, вспомните музу Клио. Какая еще наука имеет музу-покровительницу? Только одна. История. — Каляев неожиданно мягко улыбнулся. — Извините меня, но вам снятся волшебные сны.

— А вам мятежные, господин мятежник?..

Бесшумно повернулся ключ, открылась дверь, и в кабинет вошел Викентий Корнелиевич.

Глава шестая

1

На другой день дождь прекратился, в рваных облаках изредка уже начало появляться солнце, но Наденька решительно отказалась от прогулки, и Ваня напрасно ждал ее на Страстной под памятником Пушкину. Объявила, что плохо себя чувствует, закрылась в своих комнатах, пыталась читать, музицировать, даже рисовать, но все бросала, едва начав. Ее терзала какая-то не очень понятная ей самой обида. Не потому, что вчерашний гимназист осмелился ей противоречить, отстаивая собственную точку зрения, а потому… «Это все фанфаронство какое-то, плохо переваренные чужие идеи. Мальчишка, а гонору!.. И как он смеет так говорить о великой русской истории! Как он смеет говорить о государе!.. Волшебникам снятся волшебные сны, мятежникам снятся мятежные сны… Нет, я не хочу с ним больше встречаться. Я просто не должна этого делать. Это… Это непозволительно, в конце концов!..»

Непозволительным во вчерашнем поведении вчерашнего гимназиста Вани Каляева было толь-

ко одно: влюбленный отрок — а то, что он вдруг влюбился и… и потащился за нею, как шлейф, Наденька чувствовала интуитивно — осмелился перечить предмету своей влюбленности. Вот что оказалось пороховым запалом ее возмущения, но думать об этом Надя не желала, категорически отвергая даже самые робкие попытки своей собственной разумной логики.

А в Москве набирала силу увертюра к грядущему знаменательному событию: акту священного коронования государя императора и государыни императрицы. В среду, восьмого мая, лучшие артисты московских и петербургских театров пели серенаду у Петровского дворца, и государь изволил лично поблагодарить их. В четверг состоялся торжественный переезд Их Императорских Величеств в Александрийский дворец. Великолепное шествие, начавшись у Петровского дворца, неспешно продолжилось по Тверской вплоть до Кремля под беспрерывное «Ура!» и восторженные клики народа. И в том, что Наденьке не удалось увидеть государя и государыню собственными глазами, конечно же виноватым был только дерзкий господин гимназист.

Капитан Николай Олексин стоял во главе своих солдат в живом коридоре, сквозь который про-

мчался блестящий царский кортеж, после чего сразу же навестил Хомяковых, поручив отвести роту в казармы своему субалтерн-офицеру. И Наденька, не устояв, спустилась вниз, но слушала любимого брата молча.

— Государь показался мне очень усталым, — рассказывал Николай. — Какая-то нездоровая, почти землистая бледность просвечивала даже сквозь его рыжеватую бородку.

— В государственную лямку с разбега впрягся, а Россия — баржа тяжелая, — усмехнулся Роман Трифонович.

И это замечание почему-то не понравилось Наде, но и здесь она промолчала.

А на следующее утро решила все же выйти из дома. Уж очень заманчиво светило солнышко после затяжных холодных дождей.

— Погуляем у Патриарших прудов, — сказала она Феничке. — Там, слава богу, народу поменьше.

«Туда Ваничка дорожки не знает!..» — догадалась Феничка.

Патриаршьи пруды находились совсем рядом со Страстной площадью, но там и вправду было тихо. Грелись на солнышке отставные полковники, пожилые матроны торжественно восседали в

тени вместе с приживалками, няни прогуливали детишек. Девушки немного погуляли по аллеям, а затем, выбрав уединенную скамейку на берегу, чинно уселись рядышком.

— Тихо-то как, — вздохнула не умеющая долго молчать Феничка. — Будто за сто верст…

— Ну и очень хорошо.

— Скучно, барышня, — помолчав, вновь начала неугомонная горничная. — Может, мне на Тверскую сбегать, а вы пока почитаете? Книжку вашу я захватила. Вы не беспокойтесь, вон городовой стоит. Я его предупрежу, чтоб поглядывал.

Она говорила с определенной целью и готовилась убеждать свою барышню, чтобы та разрешила ей недолгую отлучку. Но, к ее удивлению, Наденька согласилась тотчас же:

— Ступай, Феничка. Я почитаю пока.

Феничка сорвалась с места тут же. По дороге не забыла подойти к городовому, что-то строго — даже пальчиком погрозила — наказать ему, после чего умчалась. А городовой развернулся к Наде лицом и замер, как изваяние.

Надя раскрыла книжку, но смотрела мимо страниц. Она сразу же поняла, куда так настойчиво рвется ее горничная, и сейчас думала, удастся ли Феничке найти возмутительно дерзкого господи-

на Каляева и что именно Феничка ему скажет.

— Здравствуйте, барышня.

Наденька вздрогнула, подняла голову. Перед нею стояла немолодая нянька, в заметно поношенном платье и темном платочке, с детской коляской.

— Грапа?..

— Теперь обратно Аграфена, — грустно улыбнулась ее прежняя горничная. — Теперь я не у господ служу, а поденно чиновничье дитя прогуливаю. По два часа, кроме воскресений. Уж и не поверите даже, до чего же я рада, что вижу вас.

— Садись, садись рядышком, Гра… Малыш спит?

— Спит. Хорошее дите, тихое. — Грапа осторожно присела на скамью. — Вы-то как, барышня? Не хвораете?

— Нет, нет. Грапа, милая… Ничего, что я так называю? Так привычнее. — Наденька решительно глянула в глаза. — Я очень виновата перед тобой, ты уж прости меня.

— Ни в чем вы не виноваты, барышня, — вздохнула нянька. — Яблочко само наливается, своими соками. Само и вкус свой попробовать должно.

— Дядя Роман из-за меня тогда тебя выгнал.

— Не держу я на него сердца, вот-те крест,

барышня, — очень серьезно сказала Грапа и перекрестилась. — Верно он поступил, как настоящий хозяин поступил, и я на него не в обиде. Ну, сами посудите, можно ли врунью-прислугу держать? Это что ж за хозяйство будет, коли слуги господ обманывать начнут? Порушится все. Нет, большой хозяин за всех смотреть должен, барышня. И мыслить за всех.

— Но ведь я же тебе солгать тогда велела, я, — сокрушенно вздохнула Наденька.

— Кабы велели, так еще неизвестно, что было бы, — ласково улыбнулась горничная. — Нет, барышня, вы не велели, вы попросили меня. Двадцать лет я в услужении, и за двадцать этих годов только вы одна меня попросили. Будто просто старшую…

— Грапа!..

Наденька, расплакавшись вдруг и, казалось бы, ни с того ни с сего, упала на грудь своей бывшей горничной.

— Ну, успокойся, успокойся, девочка. — Грапа осторожно гладила Надю по голове, сдвинув шляпку куда-то на сторону. — Ну кто ж знал, что так оно все обернется? Молодая брага всегда из кадушки лезет. Как Феничка-то твоя? Добро ли тебя обихаживает?

— И про Феничку знаешь? — улыбнулась Наденька, подняв зареванное лицо.

— Слезки-то вытрите, барышня, на нас вон городовой смотрит. А про вас я все знаю, мне Евстафий Селиверстович всегда все рассказывает, встречаемся мы с ним.

— Я дядю упрошу, Грапа…

— А вот этого делать нельзя ни в коем разе, — строго сказала нянька. — Хозяин правильно поступил, а правильные слова обратно не берут.

— Он добрый. Он все поймет.

— Хозяин не только добрым быть должен, но обязательно даже строгим. Иначе какой же с того прок, что он хозяин? У такого и разворуют все, и слуги от рук отобьются. Вы об этом и не думайте вовсе, тут все по совести Романом Трифоновичем сделано. Вы лучше про жениха своего расскажите.

— Какого жениха? — Надя сурово сдвинула брови.

— Видного да солидного, при хорошей службе. Мне Евстафий Селиверстович говорил, кто к цветочку моему повадился.

— Уж не господин ли Вологодов? — Наденька как-то не очень естественно рассмеялась. — Да какой же он жених, Грапа милая? Он же старик.

— Он в летах, — строго поправила Грапа. — Жених вызревший. А уж любить-то вас как будет!..

— Это совершенно невозможно, — очень серьезно сказала Надя, начав тем не менее краснеть. — Это…

— Это на небесах решают, — неожиданно перебила горничная и встала. — Феничка ваша бежит. Приходите сюда, барышня, чтоб могла я хоть изредка полюбоваться на вас. Я по будням тут с дитем гуляю. Спаси вас Христос.

Она ушла в противоположную сторону, толкая перед собой старенькую коляску. Подлетела Феничка и рухнула на скамейку, обмахиваясь платочком.

— Поклон вам.

— Что ты сказала? — спросила Наденька, продолжая думать о неожиданном свидании с прежней горничной.

— Сказала, что болеете вы, но ко дню коронации непременно поправитесь. Мы с вами на Страстную придем к памятнику Пушкину, вы и встретитесь.

— Не знаю, Феничка. Ничего я сейчас не знаю, — вздохнула Надя и встала. — Бывают ведь встречи…

— Бывают, барышня! — радостно засмеялась

Феничка. — И непременно будут, потому что Ваничка наш с лица спал, хотя дальше вроде и некуда ему.

— А… а что говорил?

Зачем спросила, Надя и сама не знала. Неожиданное свидание с прежней горничной сейчас полностью занимало ее. Особенно многозначительные последние слова.

— Врал, как всегда. — Феничка беспечно рассмеялась. — Я, мол, у тетушки проживаю, и сплю там, и столуюсь там. А у самого руки в занозах да ссадинах.

— А почему в занозах?

— Вот и я спросила, почему, мол, в занозах. А он: печку, дескать, тетке растапливал! И опять, вражина, врет: кто же в Москве печки в мае растапливает, когда погода на лето перевалилась? И черемуха расцвела, и дуб распустился.

— Да, — задумчиво сказала Наденька. — Дуб распустился. Пойдем домой, Феничка.

— Так ведь и не погуляли еще.

— Нет, нет, пора. — Надя поднялась со скамьи. — Интересно, его пригласят на коронацию?

— Кого? — оторопело спросила Феничка. — Ваничку Каляева, что ли? Да кому он нужен там, барышня?

2

Девушкам не удалось ни встретиться с Ваней Каляевым, ни самим увидеть весь торжественный церемониал коронации. Однако учитывая, что эта коронация оказалась последней в истории России, автору представляется, что об этом событии следует рассказать подробно. Так, как оно было описано в газетах и журналах того времени, ничего не прибавляя, но ничего и не убавляя.

СВЯЩЕННАЯ КОРОНАЦИЯ
ИХ ИМПЕРАТОРСКИХ ВЕЛИЧЕСТВ

Ко дню, назначенному для коронации, двор между Кремлевским дворцом и соборами и внутренность Успенского собора приняли совершенно особый, своеобразный вид. От Красного крыльца к Успенскому собору и от Успенского собора к Архангельскому, вокруг колокольни Ивана Великого, а из Архангельского собора к Благовещенскому устроены были особые широкие (в рост человека поднятые над землей) помосты, с перилами, крытые красным сукном. Внутри собора, на средине, возвышенное место, обитое

также красным сукном, и на том месте поставлены два древних царских трона, к которым из алтарного амвона ведут двенадцать ступеней, устланные бархатом и богатейшими коврами. Сверху, над этими царскими тронами, из коих один предназначается для Императора, а другой для Императрицы, опускается обширный, висячий, великолепно разукрашенный золотом бархатный балдахин, подвешенный на особых связях к цепи, укрепленной в сводах собора. Около Императорского трона ставится на том же возвышении стол для возложения на нем регалий во время самого «чина величания».

Эти регалии, в канун коронования, переносились торжественно из Оружейной палаты сначала во дворец, а потом в Успенский собор.

В день, назначенный для коронации, съезд и сбор лиц, назначенных к участию в коронационных церемониях или допущенных к присутствованию в Успенском соборе, начинался в семь часов утра и ранее. Торжественный благовест во всех

церквах и определенное число выстрелов из орудий в девятом часу утра возвещали всему городу о начале высокознаменательных торжеств.

В девять часов утра Император и Императрица, сопровождаемые своими ближайшими родственниками и окруженные свитою из первейших сановников государства, направляются из Кремлевского дворца Красным крыльцом и помостом к Успенскому собору.

Высшие представители духовенства – митрополиты и архиереи, с соборным духовенством и клиром, встречают Государя и Государыню на рундуке собора у входных дверей. Старший из митрополитов приветствует Императора краткою речью, после чего подносит Ему крест и кропит св. водою. Певчие поют в это время 100-й псалом: «Милость и суд воспою Тебе, Господи!»

Затем Император и Императрица троекратно преклоняются перед Царскими вратами, прикладываются к местным иконам и восходят на тронное место, около которого все лица, участвующия

в церемонии, располагаются в строгом порядке, по церемониалу.

Тогда старший из митрополитов, приступая к Государю, произносит: «Понеже благоволением Божиим и действием Святаго и Всеосвящающаго Духа и Вашим изволением, имеет ныне в сем первопрестольном храме совершитися Императорское Вашего Величества Коронование и от святаго мира помазание; того ради, по обычаю древних христианских Монархов и Благовенчанных Ваших Предков, да благоволит Величество Ваше, в слуг верных подданных Ваших, исповедати Православно-Кафолическую Веру – како веруеши?»

В ответ на это Император по книге, поданной митрополитом, читает «Символ Веры».

Митрополит по прочтении Государем «Символа Веры» возглашает: «Благодать Пресвятаго Духа да будет с тобою. Аминь».

И сходит с тронного места, а протодиакон после обычного начала приступает к великой ектении.

Когда пропоют тропарь: «Спаси, Господи, люди Твоя», – следует чтение пророчества Исаии: «Тако глаголет Господь: радуйтеся небеса, и веселися земле, да отверзут горы веселие и холми радость, яко помилова Господь люди Своя, и смиренныя людей Своих утеши» и т. д.

Затем, после прокимна: «Господи, силою Твоею возвеселится Царь», читается послание св. Апостола Павла к римлянам (глава Тринадцатая, 1–7: о повиновении властям).

За чтением «Послания» следует чтение св. Евангелия от Матфея (глава Двадцать первая, 15–22: «воздадите убо Кесарево – Кесареви, Божие – Богови»).

Затем два митрополита всходят на тронное место, Император снимает с себя простую цепь Андрея Первозваннаго и повелевает возложить на себя Императорскую порфиру с принадлежащей к ней алмазной цепью того же ордена. По возложении порфиры, Император преклоняет голову. Митрополит осеняет верх главы Государя крестным знамением, крестообразно возлагает на оную руки и

произносит во всеуслышание, по положению, две молитвы:

1. «Господи Боже наш, Царю царствующих и Господи господствующих, иже чрез Самуила пророка избравый раба своего Давида и помазавый в цари над людом Твоим Израилем. Сам и ныне услыши моление нас недостойных и призри от Святаго Жилища Твоего на верного раба Твоего Великаго Государя Николая Александровича».

2. «Тебе Единому Царю человеков поклони выю с нами, Благоверный Государь, Ему же земное Царство от тебе вверено».

По прочтении второй молитвы Император повелевает подать себе большую Императорскую корону. Митрополит принимает корону от ассистентов и представляет ее Его Величеству. Государь Император берет корону в обе руки и возлагает ее на главу Свою, при чем митрополит произносит: «Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

И засим митрополит читает по книге установленную следующую речь: «Видимое сие и вещественное Главы Твоея

украшение явный образ есть, яко Тебя, Главу Всероссийского народа, венчает невидимо Царь славы Христос, благословением Своим благостынным утверждая Тебе Владычественную и Верховную власть над людьми Своими».

По окончании этой речи Государь повелевает подать Ему скипетр и державу, и митрополит подает Ему в правую руку скипетр, а в левую – державу, произнося то же, что и при поднесении короны, и вновь произносит по книге следующую речь: «О, Богом Венчанный, и Богом Дарованный, и Богом Преукрашенный, Благочестивейший Самодержавнейший Великий Государь Император Всероссийский, приими Скипетр и Державу, еже есть видимый образ данного Тебе от Всевышняго над людьми Своими Самодержавия к управлению их и ко устроению всякого желаемого им благополучия».

По окончании этой речи Государь, приняв скипетр и державу, садится на престол.

Немного спустя Государь откладывает скипетр и державу на поданныя Ему по-

душки и призывает к Себе Государыню Императрицу. Государыня преклоняет колена на подушке, положенной у трона Государева, а Он, сняв с Себя корону, прикасается ею к голове Императрицы и снова возлагает корону на Себя. Тогда Государю подносят меньшую корону, которую Он возлагает на голову Своей Августейшей Супруги.

После того Государю подносят на подушках порфиру и алмазную цепь ордена Св. Андрея Первозваннаго, и Государь возлагает обе эти регалии на Государыню. Государыня, облеченная в порфиру и с короною на голове, поднимается, приближается к Государю, и Государь целует Свою Августейшую Супругу.

Затем Государыня возвращается к Своему престолу; Государь опять принимает скипетр и державу и садится на престоле, а протодиакон возглашает полный титул Государя Императора и заканчивает многолетием. Певчие тотчас же подхватывают «Многая лета».

Многолетие сопровождается торжественным трезвоном и положенным

салютом орудий. После многолетия Государь принимает поздравления от Членов Августейшей Семьи и от духовенства.

Когда звон и пальба прекратятся и в соборе вновь воцарится тишина, Государь поднимается с престола, отлагает скипетр и державу, преклоняет колена и по книге, поданной митрополитом, читает следующую установленную молитву:

«Господи Боже отцев и Царю царствующих, сотворивый вся словом Твоим, и премудростию Твоею устроивый человека, да управляет мир в преподобии и правде! Ты избрал Мя еси Царя и Судию людем Твоим. Исповедую неизследимое Твое о Мне смотрение и, благодаря, величеству Твоему поклоняюся. Ты же, Владыко и Господи Мой, настави Мя в деле, на неже послал Мя еси, вразуми и управи Мя в великом служении сем. Да будет со Мною приседящая престолу Твоему премудрость. Посли ю с небес святых Твоих, да разумею, что есть угодно пред очима Твоима, и что есть право по заповедем Твоим. Буди сердце Мое в руку Твоею, еже вся устроити к пользе врученных

Мне людей, и ко славе Твоей, яко да и в день суда Твоего непостыдно воздам Тебе слово: милостию и щедротами единороднаго Сына Твоего, с Ним же благословен еси со Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, во веки, аминь».

После этой молитвы Государь становится перед троном, а митрополит и все присутствующие в храме, кроме Государя, преклоняют колени, и митрополит от лица всего народа произносит молитву за здравие Государя, прося Ему у Бога дарования всех благ. Вслед за этою молитвою митрополит обращается к Государю с краткою приветственною речью.

Певчие поют: «Тебе Бога хвалим» – и этим чин священного коронования заканчивается.

Начинается божественная литургия. В начале ея Государь Император снимает с Себя корону, отлагает скипетр и державу. По прочтении Евангелия архиереи подносят его к Их Императорским Величествам: Государь и Государыня прикладываются. Затем, когда архиереи, взойдя на тронное место, возвещают Го-

сударю, что «миропомазания и Святых Божественных Тайн приобщения приближается время» – Государь и Государыня торжественно шествуют к царским вратам, а высшие государственные и придворные чины, согласно церемониалу, становятся против царских дверей, поодаль, полукружием.

Митрополит помазывает Государя на челе, на очах, ноздрях, устах, ушах, персях и руках (по обе стороны). Приняв святое миропомазание, Государь отходит в сторону, к иконе Спасителя, а Государыня подходит к митрополиту, который помазывает Ея на челе, после чего Государыня отходит к иконе Божьей Матери.

Святых тайн Государь приобщается в алтаре, перед святой Трапезою, по «чину царскому», как священнослужители, то есть особо Тела и особо Крови Христовой. Государыня приобщается у царских врат, обычным порядком.

После приобщения и Государь, и Государыня возвращаются на тронное место, к престолам Своим. Следуют благодарственныя причастныя молитвы, отпуск и

многолетие. В заключение литургии митрополит подносит Их Императорским Величествам крест, и Государь, и Государыня к нему прикладываются. После этого Государь возлагает на Себя корону, берет скипетр и державу. Все присутствующие в соборе, не сходя со своих мест, троекратным поклоном приносят Их Величествам поздравление с благополучно совершившимся коронованием и святым миропомазанием.

После этого Государь выходит из собора северными дверьми и шествует под балдахином, облеченный в порфиру, с короною на главе, со скипетром и державою в руках, из Успенскаго собора в Архангельский. С Ним, под тем же балдахином, шествует и Государыня (но не рядом, а несколько позади), также облеченная в порфиру и с короною на голове.

В Архангельском соборе, встреченные и провожаемые духовенством, Их Величества поклоняются гробам Своих царственных предков и переходят в собор Благовещенский, а оттуда направляются на Красное крыльцо, с котораго кланя-

ются народу, и удаляются на время во внутренние апартаменты.

В тот же день имеет быть торжественное пиршество в Грановитой палате, во время котораго Государь и Государыня сидят за столом на тронах, облеченные всеми знаками царскаго достоинства, под великолепным балдахином, а высшие чины Двора прислуживают Государю и Государыне. За трапезой было произнесено пять тостов за здравие:

1. Государя Императора – за рыбой.

2. Государыни Императрицы Марии Феодоровны – за барашком.

3. Государыни Императрицы Александры Феодоровны – за заливным из фазанов.

4. Всего Императорского Дома – за жарким.

5. Духовных Особ и всех верноподданных – за сладким.

В самый день коронации, вечером, зажигается великолепная иллюминация, которая нынче обещает быть особенно блестящею, благодаря преобладающему значению, приобретенному электриче-

ством в освещении наших столиц.

Так торжественно и благостно звучало описание коронации в журналах и газетах того времени. Но в дневниках и письмах свидетели были куда откровеннее:

«…Корона царя так была велика, что ему приходилось ее поддерживать, чтобы она совсем не свалилась…»

«…Бледный, утомленный, с большой императорской короной, нахлобученной до ушей, придавленный тяжелой парчовой, подбитой горностаем, неуклюжею порфирою, Николай Второй казался не величавым императором всея Руси, не центром грандиозной процессии, состоявшей из бесчисленных представителей всевозможных учреждений, классов, сословий, народностей громадного государства, а жалким провинциальным актером в роли императора…»

3

Надя и Феничка бегали посмотреть если не на коронацию, то хотя бы на коронационную суету Москвы. Народу оказалось много, протолкались весь день, устали, но с Ваней Каляевым так нигде и не встретились. Ни случайно, ни нарочно.

Вечером Роман Трифонович вывез семейство полюбоваться иллюминацией. На отличной паре вороных — сначала по центру города, где парные экипажи пропускали беспрепятственно, а затем и на Воробьевы горы, откуда залитая огнями Москва была как на ладони. И они радостно узнавали знакомые очертания церквей, башен и ворот.

— Первопрестольной любуетесь?

Гора с горой не сходится, но с Василием Ивановичем Немировичем-Данченко в тот вечер пути сошлись. И Хомяков весьма этому случаю обрадовался, поскольку гостей из гордости не приглашал, а Николай и ставший уже почти своим Викентий Корнелиевич отсутствовали по делам служебным.

— Ужинаем у нас, Василий Иванович. Отказов не принимаю.

— Помилуй, друг мой, мне статью писать.

— Ночью напишешь.

— Вот в Петербурге никогда бы не встретились, ни на каком гулянии, — говорил Немирович-Данченко на обратном пути. — Хоть там и улицы пошире, и площади попросторнее.

— Почему ж так?

— Петербуржец, Роман Трифонович, только

перед собой и смотрит, точно на препятствие какое налететь боится, а москвич — всегда по сторонам зыркает. И если на другой стороне Тверской приятеля увидит, то тут же непременно остановится и заорет на всю улицу: «Иван Иваныч, а я-то вчера банчок у Петрова все-таки сорвал!» Это же принципиальная и чрезвычайно характерная разница, господа, а потому — да здравствует Москва!

— Только в этом и отличие? — спросила Варвара, скорее поддерживая разговор, чем и впрямь интересуясь.

— Не только, Варвара Ивановна, не только. Петербуржец вежлив и прохладен, как первый морозец, а москвич грубоват и аппетитен, как тертый калач с пылу с жару. Крепенький, теплый и ароматный. Не отсюда ли и поговорка пошла?

— Глаз у тебя, Василий Иванович, по-журналистски пристрелян, — улыбнулся Хомяков.

— Глаз обязательно пристрелянным должен быть. Верно, Надежда Ивановна? Кстати, поклон вам и благодарность от волостных старшин. Очень вы им помогли.

— Знаете, мне хотелось им помочь.

— И они это вмиг почувствовали. Простые люди нашу господскую искренность чувствуют сразу,

потому как исключительно редко с душевной искренностью в жизни встречаются. Чувствуют и очень ценят. Очень. Учтите это, коллега.

Наде было приятно до смущения. Хорошо, был вечер, улица, по которой сыто рысили кони, не освещена, и румянца ее никто не успел заметить.

— Значит, второй экзамен я тоже сдала?

— Сдали, мадемуазель, сдали, но сколько их еще впереди!

— Сколько же?

— У журналиста каждый день — новый экзамен. Такая уж у нас с вами профессия.

Наденька слушала, чистосердечно полагая, что и впрямь уже сдала некий экзамен, что известный корреспондент оценил ее способности, что отныне ей требуется только опыт и — ну, чуть-чуть, совсем немного! — протекции авторитетного лица. Конечно, само словцо-то звучало довольно омерзительно, но Надя утешала себя тем, что ее цель выглядела вполне достойно. И после ужина, когда все способствовало приятному отдыху за коньяком, кофе и ликерами, рискнула продолжить этот разговор:

— Василий Иванович, смею ли я рассчитывать на вашу протекцию, если вы одобрите то, что я

когда-нибудь напишу?

— Нет, еще раз — нет, и ни в коем случае, — не задумываясь и весьма сурово отрезал Немирович-Данченко. — Есть профессии, в которых это не просто невозможно или неэтично, а которым это противопоказано категорически. Нельзя по протекции стать артистом, художником, писателем или журналистом, к примеру. Такие профессии штурмуют в одиночку, водружая победное знамя без посторонней помощи. Тогда вам обеспечена не только карьера, но и признание коллег. Впрочем, место признания может занять и остракизм, и открытая недоброжелательность, но это уже нечто, напоминающее орден Святого Андрея Первозванного: признание вашей несомненной исключительности.

— Недоброжелательное признание? — переспросил Хомяков. — Некое доказательство от противного существует не только в богемной среде. Зависть — черта общечеловеческая, почему она никогда не бывает инстинктивной. А за журналистикой — будущее, так что готовься к житейским неприятностям, Надюша.

— Тут мы с тобой, Роман Трифонович, сходимся полностью, — оживился Василий Иванович. — Я тоже считаю, что при развитии цивилизации

журналистика обречена превратиться в простую передачу фактов, в информацию о текущих событиях, если угодно. Журналистам уже некогда будет ни размышлять, ни сравнивать, потому что их затопят факты. Сейчас уже опробуется искровой способ связи, насколько мне известно. Я безгранично верю в прогресс и убежден, что вскоре этот способ станет простым, надежным и, главное, быстрым. И тогда информация получит возможность идти в ногу с событиями и даже, вероятно, предсказывать их. И тут уж кто успел, тот и победитель.

— И что же в этом дурного? — спросила Варвара: она пыталась поддерживать разговор, хотя ей было совсем неинтересно и очень хотелось спать.

— Дурное — в лавине фактов, предполагающих их отбор и дозировку. С чем ознакомить почтеннейшую публику, на что намекнуть, а о чем и вовсе промолчать.

— Да, политики двадцатого века получат могучее оружие воздействия на людские души, — сказал Хомяков. — Если под политикой разуметь ее сущность, то есть один из способов достижения власти, то господа политики будущего приобретут воистину огромные возможности.

Диктаторский приоритет формы над содержанием.

— Форма и содержание — диалектические понятия, — возразила Наденька. — А вы, господа, рассуждаете о реальной будущей жизни. О практике, но не о теории.

— Ты права, если подразумеваешь природу, Надюша. Да, в ней все подчинено диалектическому равновесию формы и содержания, а если оно где-то нарушается, вступают в действие законы, открытые Дарвином, и все опять на какое-то время приходит в равновесие, потому что в природе господствует инстинкт. Но в человеческом обществе господствует воля. Одного ли человека, группы людей или определенного класса — это не столь уж важно. Важно, что эта воля подкреплена силой. Армией, полицией, капиталом.

— И что же далее, дядя Роман?

— А далее — как прикажете. Прикажете, и форма будет сохранена вопреки требованиям содержания. Или, наоборот, разрушим форму во имя сохранения устаревшего содержания. В человеческом обществе все в руках людей, а не мудрой, неспешной и оглядчивой матушки-природы, Надюша.

— Отсюда — бунты, мятежи, революции, кото-

рые всегда есть сигнал воспаленных противоречий между формой и содержанием, — добавил Василий Иванович. — И всегда только через кровь, через муки людские.

— А у нас, в России, есть равновесие между формой и содержанием?

— Увы, Надежда Ивановна. — Немирович-Данченко беспомощно развел руками.

— Есть упоение формой, — проворчал Хомяков. — Восторг перед нею. Ради этого неуемного восторга заново возродили кирасы, ментики, закоснелые ритуалы, которые мы упорно выдаем за исторические традиции. А главное — значимость мундира как такового. Он заменяет собою природную смекалку, инициативу, ум, совесть и нравственность. В России до сей поры куда лучше родиться в поношенном отцовском мундире, нежели в собственной богоданной рубашке.

— Браво, Роман Трифонович, — рассмеялся Василий Иванович. — Прекрасный спич. Между прочим, Европа это давно поняла и сейчас прилагает все усилия, чтобы разумно и спокойно уменьшить разрыв между формой и содержанием. Но, к сожалению, у нас — свой путь. Особый. Непонятно, правда, куда.

— Прямиком в революцию, — убежденно ска-

зал Хомяков. — В бунт, беспощадный, но, даст бог, в грядущий раз не слишком уж бессмысленный.

— Какое мрачное предсказание, — вздохнула Варвара. — Бог с вами, господа.

— Мрачное — может быть, не спорю. Но не такое уж необоснованное, коли вспомнить, о чем мы начали этот разговор. Если в двадцатом веке искровой способ передачи известий, о котором говорил Василий Иванович, и впрямь станет массовым, правители получат страшное оружие воздействия на темные людские массы. При полной безграмотности нашего народа это особенно опасно: русский человек приучен верить словам, как ребенок.

— Поэтому его очень легко превратить в толпу, — вздохнул Немирович-Данченко. — А толпа — всегда зверь. Скопище вмиг потерявших рассудок людей. Потерявших разум, заветы Нагорной проповеди, элементарные приличия, общечеловеческую мораль, нравственность, сострадание к ближнему своему. Человек в толпе возвращается туда, откуда вырвался с неимоверным трудом, — в первозданную дикость, живущую инстинктами.

— Мне кажется, что вы слегка преувеличиваете, Василий Иванович, — улыбнулась Варвара. —

Русский человек прежде всего совестлив, добр, отзывчив, великодушен. Вспомните любимых им былинных богатырей, его внутренний идеал.

— Дай-то бог, Варвара Ивановна. Дай-то бог…

На том и закончился тогда этот очень важный для Наденьки разговор. Посидели еще немного, потолковали о пустяках, но тут неожиданно каким-то образом вновь всплыла тема Наденькиных надежд и мечтаний, и Василий Иванович позволил себе легкую шутку:

— Дамы берут интервью только в Америке, мне Макгахан рассказывал, так что не забивайте этим свою прелестную головку. Вы — сказочница и по письму, и по натуре. Смотрите волшебные сны и пишите деткам сказки.

Надежда вспыхнула, но сдержалась, и Немирович-Данченко вскоре распрощался. А Наденька, поднявшись к себе, разбудила задремавшую Феничку.

— Смотрела иллюминацию?

— Красота-то какая, барышня! Ну, будто в сказке…

— Господина Каляева нигде не видела?

— Толкотня такая, барышня, где уж там.

— Знаешь, кажется, он тогда был прав. И я зря его обидела. И мне очень стыдно.

— Завтра же разыщем. Куда он от нас денется?

Но Ваня Каляев все же куда-то делся. Правда, Феничке в конце концов удалось с ним встретиться, но — одной. Вечером, на который как раз выпал званый ужин в честь коронации государя. Хомяковы давали его, естественно, ради Наденьки, почему Феничке и пришлось идти одной.

— Разыскала я господина Ванечку! — радостно сообщила она. — Условились мы с ним, что послезавтра, в одиннадцать, встречаемся на Страстной, у памятника.

— А почему же не завтра?

— Тетка, говорит, у него заболела. Три дня подле нее сиднем сидел.

— Что ж, это даже лучше. На народное гулянье пойдем.

Но было, наверно, хуже, потому что Наденьке вдруг взгрустнулось перед сном…

Глава седьмая

1

В следующий вечер имело место быть торжественное представление в Большом театре в присутствии коронованных особ. Роман Трифонович снимал постоянную ложу на весь театральный сезон, но безропотно уплатил разницу ради особой торжественности предстоящего вечера. Хомяковы уже деятельно готовились к походу в театр — в особенности, естественно, Варвара, — когда Надежда вдруг решительно отказалась их сопровождать.

— Нет, Варенька. Извини, но я никуда не пойду.

— Роман, может, ты на нее воздействуешь? Это же так важно прежде всего для нее самой.

— Стоит ли, Варенька, воздействовать? Суета, мундиры, глупейшие светские условности. Пусть решает сама.

— Но она хотела идти с нами! Это же просто очередной каприз, как ты не можешь понять.

— Ветер в голове переменился. С девицами это случается, сама знаешь.

Наденька и вправду очень хотела идти в театр, но утром вдруг вспомнила шутливую эскападу Василия Ивановича и — взъерошилась. Понимая, что маститый журналист во многом прав, она тем не менее запоздало начала с ним спорить, хотя и спора-то никакого тогда не было, равно как и самого Василия Ивановича в данный момент. Это был как бы спор за захлопнувшейся дверью, он происходил только в ее воображении, но столь живо, столь реально, что Надя очень сердилась, стучала по курсистской привычке правым кулачком в левую ладонь, чтобы заново собраться с мыслями и начать спор по-иному, с новыми и — конечно же! — неотразимыми аргументами. Растратив попусту день, не сумела ровно ничего добиться, расстроилась, уморила себя, отказалась от театра, а когда все уехали, вдруг поняла, что спорить вообще бессмысленно. Что на любой ее довод поднаторевший в спорах Василий Иванович тут же найдет очередной убийственный контраргумент, да еще непременно и позлит ее при этом. «Я лучше уж напишу, — сердито решила она. — Я такой соберу материал, выведу таких оригинальных типов, подслушаю такие разговоры, что вы… Вы покраснеете с досады…» И тут же вспомнила о завтрашнем народном празднике

на Ходынском поле, где будет множество простых москвичей, чьим мнением о коронации государя единодушно пренебрегла вся московская пресса. «Ах, вы расспрашивали представителей народа? — с долей злорадства подумалось ей. — Ну а я сам народ спрошу».

— Не скажут они вам ничего, барышня, — возразила Феничка, когда Надя с торжеством изложила ей свою идею. — Не приучены мы с господами разговаривать.

— Даже просто? По-людски?

— Да какое же просто между нами быть может? Вы — люди благородные, сразу видно. И по-людски не получится. Мужики молчать будут да ухмыляться, девки — хихикать, а бабы — на житье жаловаться. Негодная ваша мысль, уж поверьте.

— А как же я на маскараде первый приз получила? С твоей, Феничка, между прочим, помощью, ты из меня тогда горничную сделала.

Феничка весело рассмеялась:

— Так тогда ж вы для господ горничную изображали, они и поверили! А попади на ваш маскарад кто-либо из прислуги, вас бы тут же и опростоволосили. Простой народ, он своих чует.

— Значит, не поверят? — упавшим голосом

спросила Наденька.

— Да ни в жисть! — убежденно сказала Феничка. — Только зря время потратите да ноги убьете.

— А мне так хотелось великому корреспонденту нос утереть…

— Никак такое не получится, барышня. Это господ обмануть легко, а нашу сестру…

Феничка неожиданно замолчала. Осторожно повернула свою барышню вправо-влево, задумалась.

— Что это ты меня вертишь?

— Нет, горничной никак невозможно. А вот ежели гувернанткой… Они ведь тоже люди подневольные.

— Господи, ну давай гувернанткой, — сказала Надя, по-олексински больше почему-то сердясь на себя самою за собственную бестолковость. — Юбка да блузка.

— Попроще, барышня. И кофтенку попроще. Ночи-то и по сю пору холодные стоят.

— Кофточку — так кофточку.

— Я подберу вам.

— Я сама! Сама, жди здесь.

— Ох, напрасно все это, барышня, — вздохнула Феничка. — Напрасно выдумываете, мы без маскарадов живем.

Неодобрительное то ли согласие, то ли несогласие горничной еще больше раззадорило Наденьку. Поспешно пройдя в свою гардеробную, она дважды переворошила собственные туалеты, но все же разыскала нечто и скромненькое, и как бы уж не слишком, подумав, что возвращаться придется при свете дня и при народе на улицах. Так, серединка на половинку, чтобы не выглядеть уж совсем скучно. Торопливо переоделась, вылетела в будуар, повертелась перед Феничкой.

— Ну как?

— Сойдет, — решила Феничка. — Юбка на резинке? Тогда повыше подобрать надо, как у меня.

Тут только Надя обратила внимание, что ее горничная тоже готова к походу. И даже повязала платочек.

— Куда собралась?

— Одну не отпущу, — строго сказала Феничка. — Ночь на дворе, а в Москву шушеры охочей слетелось, что воронья. Нет, нет, и не спорьте. Я за вас в ответе, стало быть, и дело решено.

Такому обороту Наденька очень обрадовалась. Она побаивалась и ночного путешествия по гулким от пустоты городским улицам, и предстоящих разговоров «по душам» с незнакомыми,

совершенно чуждыми ей людьми, ради чего, собственно, все и затевалось. И это было главным, потому что внутренне она все время ощущала робость «первого слова», поскольку не могла представить, как оно должно прозвучать. Ну в самом деле, как? «Здравствуйте, как поживаете?» Или, может быть: «Откуда сами-то? Не из Смоленска?» Кроме Смоленска, Москвы да Петербурга, Наденька не знала ни одного русского города, разговоров с незнакомыми людьми не своего круга ей вести не доводилось, да и в своем, привычном кругу ей, по молодости, начинать беседы тоже не приходилось, и это пугало больше ночного похода. Поэтому она с огромным облегчением расцеловала Феничку и тут же привычно перешла к распоряжениям.

— Выходим сейчас же. Подарки раздавать начнут в десять утра, а мы до этого наговоримся и уйдем, пока толкотня не начнется. Возьмем лихача…

— Ну уж нет, — решительно заявила Феничка. — Гувернантка с горничной — да на лихаче? Да как же такое может быть, когда они, живодеры, знаете, как цены вздули?

— Вот. — Наденька вынула из кармана юбки с десяток червонцев и с торжеством потрясла

ими. — Мне Варя дала на всякую мелочь для удовольствия, а лихач ночью и есть удовольствие.

— Дайте-ка сюда. — Феничка отобрала деньги, сказала с укоризной: — Ишь, какая транжирка нашлась. С ними торговаться надо, а торговаться вы не умеете, и потому платить буду я.

2

Было около одиннадцати, когда они незаметно выскользнули из вызывающе вычурного особняка Хомякова. Через заднюю калитку для прислуги вышли за кованую ограду и дворами пробрались на Никитский бульвар. Быстро темнело, небо не подсвечивало, потому что было новолуние, а расставленные на тротуарных тумбах по распоряжению начальства стеариновые плошки освещали только самих себя.

— Ветерок, — сказала Наденька, поеживаясь.

— Какая же я беспамятная! — Феничка всплеснула руками. — Хотела же теплый платок захватить. Может, сбегать за ним?

— А если Мустафа увидит?

— Увидит, — со вздохом согласилась Феничка. Возвращаться ей не хотелось точно так же, как Наде не хотелось оставаться одной. Шумели темные деревья бульвара, пляшущие под легким

ветерком желтые язычки плошек отбрасывали пугающие тени, людей нигде не было видно, и девушки разговаривали приглушенными воровскими голосами. Весь их кураж остался в теплом, уютном, залитом электрическим светом доме.

— Может, вернемся, барышня? — робким шепотом предложила верная Феничка.

Вот как раз этого ей и не следовало говорить. Еще бы три, от силы пять минут перепуганного молчания, и Наденька сама убедила бы себя, что разумнее, а главное, логичнее всего возвратиться домой, попить с Феничкой чайку со свежим шоколадом из набора «Эйнем», поболтать ни о чем и ждать Варю с Романом Трифоновичем из Большого театра, где сейчас давали торжественное представление в честь коронации государя и государыни в присутствии высочайших особ. Все Олексины были склонны к действиям импульсивным, под влиянием внутреннего порыва, но порыв этот еще не созрел в душе, а потому и реакция Нади была прямо ему противоположна:

— Возвращайся. А я не меняю своих решений.

И гордо двинулась вперед, хотя очень хотелось — назад.

— Барышня, да с вами я! С вами!

— И больше никаких «барышень» чтоб я не

слышала, — строго сказала Надя. — Изволь называть меня по имени, иначе мы провалим все наше предприятие.

Неизвестно, чем бы закончился этот приступ фамильной гордости. Может быть, темнота и пустынность, однообразный шелест молодой листвы на бульваре и внутреннее ощущение, что по нему все время кто-то куда-то беззвучно движется, в конце концов заставили бы Наденьку найти достойный предлог для возвращения (ну, нога подвернулась, в конце концов!), но вдруг послышался цокот копыт по мостовой, мягкий скрип рессор, и подле них остановилась извозчичья пролетка.

— И куда это, любопытно мне, барышни спешат?

Надя слегка растерялась, не имея привычки к уличному заигрыванию, но Феничка нашлась сразу:

— А на Ходынское поле. Уж очень желательно нам царский подарок получить.

— Это пехом-то? Аккурат к десяти и дойдете, ежели, конечно, сил хватит.

Голос был хоть и насмешливо-приветливым, но молодым, и Феничка поинтересовалась:

— А сам-то куда едешь?

— А во Всехсвятское.

— Ну так подвези по дороге.

— Ишь ты, какая ловкая. Подвоз денежек стоит. А денежки ноне — в большой цене.

— И не совестно тебе бедных девушек грабить?

— Эх!.. — Парень сдвинул картуз на нос, почесал затылок, вздохнул и вернул картуз в исходное положение. — И то верно, чего уж своих обижать, когда господ в Москве хватает. Садитесь, девки, пока я добрый!

Наденька опять задержалась, потому что обращение «девки» неприятно резануло слух. Но для ее горничной оно было привычным, даже дружелюбным, а потому она, шепнув своей барышне: «Лезьте, пока не передумал!..», первой взобралась на пружинное сиденье. И Надя сердито полезла следом за ней.

— Но, милая!

И коляска тронулась.

— Я чего добрый? — с каким-то торжествующе усталым удовольствием говорил парень. — Думаешь, натура у меня такая? Да на-кась, выкуси, мы в дурачках сызмальства не ходили. Я того, девки, добрый сегодня, что трое суток не спал ни с полкусочка. Хозяин Демьян Фаддеич мне еще загодя сказал: бар, мол, будет много, так что гоняй, Степ-

ка, пока кишка выдержит! Сотня в сутки — моя, а сколь лишнего зацепишь — твоей личности. Уговор дороже денег! Ну, велел я братку у крестного вторую лошаденку выпросить. Крестный у него добрый. Сына единственного Господь прибрал, так он в братке моем души не чает. Ну, и сглупу лошадь дал. А я, не будь дурачком, лошадок-то и менял трое дней да трое ночей. Когда господа гуляют, у них из карманов завсегда шалые деньги сыплются…

Парень говорил и говорил, не переставая. «Оказывается, их и не надо ни о чем расспрашивать! — вдруг с огромным облегчением поняла Надя. — Они, как дети, сами с упоением рассказывают о себе. Надо просто молча слушать и запоминать. Это же готовый репортаж!..»

— …один — важный такой, с медалью, что ли, на цепке золотой — полста мне отвалил! Ехать-то было — всего ничего, с Пречистенки на Большую Никитскую, но я сразу смекнул, что не москвич он, да еще с мамзелью, так что верещать не станет. Ну и покатал их по переулочкам. Он мамзель свою шоколадками кормит, она — хи-хи да ха-ха, — а я, почитай, на одном месте верчусь да верчусь. И — полусотенная в кармане. Нет, когда такой случай, что вся Москва дыбом, грех свое

упускать. Три сотенные Демьяну Фаддеичу отдал, как уговорено, а остальное — мое. Мое, девки, мое! Полночи посплю, и снова на эту, как ее? На люминацию. Глядишь, и на лошаденку наскребу, а даст бог, так и на пролетку останется.

Лихач неожиданно примолк, вглядываясь. Сказал удивленно:

— Москва тронулась, глянь-ка, народ поспешает. За царскими подарками, видать.

Надя чуть приподнялась — сиденье было глубоким, давно просиженным — и увидела множество серых теней, спешащих в одну сторону. Мужчин и женщин, больше — молодых, которые шли группами, по-семейному, кое-кто и с детьми.

— Ох, опоздали мы, — вздохнула Феничка.

— Опоздали, говоришь? — весело откликнулся парень. — Да ни в коем разе!

Он шевельнул вожжами, причмокнул, и усталая лошадь послушно перешла на легкую рысь.

— Спасибо, — застенчиво сказала Надя.

— Со спасиба шубы не кроят, — добродушно заметил лихач. — Добрый я сегодня, да и девки вы свои. Услужающие, они ведь навроде меня. Тоже, поди, на одном месте вертитесь, чтоб деньгу зашибить, так что уж тут. Тут уж не считать, а, как бы сказать, наоборот. Друг дружке подсоблять

надо, коли себе не в убыток.

— А если в убыток? — с забившимся вдруг сердцем спросила Наденька.

Степан рассмеялся:

— А ты востра, с подковырочкой! Мне такие нравятся, прямо скажу. Мне постное не по душе, а которое с горчичкой, то по нраву. Так что, ежели не против ты, конечно, завтра ввечеру на том же месте, на Никитском, значит, бульваре. Но, кормилица!.. Не для глупости какой говорю, не подумай. Я парень строгий, озорства не признаю и как есть холостой.

— Во, повезло! — чуть слышно хихикнула Феничка.

Они уже миновали Брестский вокзал и катили сейчас по Петербургскому шоссе. Народу здесь прибавилось, но шел он неторопливо и степенно.

— Семья наша крепкая, — продолжал Степан. — Отец еще в силе и — при мастерстве. Браток за крестным, считай, пристроенный. Сеструху хорошо выдали — повезло, почти что без приданого. Красотой взяла, женишок-то лет на пятнадцать постарше будет, вдовец с дочкой, но при своем деле. Красильня у него в Коптеве, а мастерство — в руках. Из Москвы с поклонами приезжают,

такие, стало быть, секреты у него.

— Остановите здесь, пожалуйста, — вдруг сказала Наденька.

Слова вырвались сами собой, по привычке, и Степан повернулся на козлах к ним лицом.

— Чего?..

— Скажи кобыле «тпру», — весело пояснила Феничка. — И завтрева на Никитский не опаздывай, а то уйдем, не дождавшись.

— Вдвоем, что ли, придете? — с некоторой настороженностью спросил парень, придержав лошадь.

— Будет кого выбирать, — резонно заметила Феничка, спрыгивая на обочину. — Дай бог тебе полусотенных седоков, Степан.

— Ну, глядите, девки, уговор дороже денег. Счастливо погулять да подарки получить.

— Интересно он рассказывал, — сказала Наденька, когда пролетка отъехала.

— Хвастун!

— Думаешь, выдумал все?

— Может, так оно и было, только хвастался уж очень. А теперь-то куда?

— Вперед. Теперь — только вперед!

3

Девушки пересекли шоссе и подлезли под канаты, которыми было огорожено Ходынское поле со стороны Петровского парка. Слева виднелся освещенный Царский павильон и темные трибуны для гостей, а впереди — огромное пустынное пространство, на котором что-то чернело, но что именно, разглядеть было невозможно. Людей здесь почему-то не оказалось — мелькали лишь отдельные фигуры — небо было темным, новолунным, рассветные лучи еще не подсвечивали его, и девушки, подобрав юбки, шли осторожно, потому что поле оказалось уж очень неровным.

— Вы глядите, куда шагаете-то, — наставляла внимательная горничная.

— Гляжу, но ничегошеньки не вижу…

— Поют вроде? — удивилась Феничка.

Надя прислушалась. Где-то впереди — почему-то казалось, что из-под земли — негромко, но очень серьезно, будто молитву, и в самом деле пели: «Очаровательные глазки, очаровали вы меня…», и слышались переборы гитары. «Молодые приказчики, — подумалось Наденьке. — И песня по их вкусу, и гитара — любимый инструмент». И сказала:

— Хорошо поют. С чувством.

— У нас народ — с пониманием, — с ноткой непонятной гордости отметила Феничка.

Она решительно обогнала свою спутницу, прошла немного и остановилась.

— Да вон где поют. Под обрывом, барышня.

— Никаких барышень, — еще раз строго сказала Надя, подойдя к обрыву.

Внизу, под обрывом, повсюду светились огоньки костров, в свете которых смутно виднелись людские фигуры. Возле самого яркого их было значительно больше, и именно оттуда доносилось слаженное пение.

— Люди, — с удивлением отметила Надя. — А почему — здесь? Прячутся, что ли?

— В затишке, — пояснила Феничка. — Ветерок-то прохладненький. И от солдат подальше.

— Каких солдат?

— А тех, которые подарки охраняют. Народ московский боек. Нам без солдат никак невозможно, озорничать начнем.

— Спустимся к ним, Феничка.

У Наденьки было радостное ощущение, что ей уже удалось заполучить материал для рассказа об извозчике Степане, трое суток не слезавшем с облучка, и очень хотелось послушать дру-

гих людей с другими историями. «Вот Василий Иванович удивится! — весело думала она, осторожно, с помощью горничной спускаясь вниз, под обрыв. — И никаких вопросов задавать не придется, сами все расскажут. Утру нос великому корреспонденту!..»

— Здравствуйте, — сказала она, приблизившись к костру.

Ей никто не ответил, потому что звучали завершающие аккорды незамысловатого мещанского романса. Но как только песня закончилась и исполнители удовлетворенно вздохнули, к девушкам обернулся гитарист, сидевший на перевернутой вверх дном ивовой корзине. В отсветах пламени мелькнули фатовские усики и лихо сбитая набекрень суконная фуражка, украшенная аляповатой бумажной розочкой.

— С доброй ночью вас, девушки любезные. — Он сверкнул белоснежной улыбкой. — И вы, стало быть, за царскими кружками? Так милости просим к нашему огоньку.

— Поиграй еще, Ванюша Петрович, — донесся женский голос из темноты. — Задушевное да сердечное.

— С нашим полным удовольствием, — отозвался гитарист, тут же выдав ловкий гитарный

перебор: ему, видимо, нравилось быть в центре внимания. — Ну-с…

Снова переборы струн, два-три аккорда…

Она придет, неслышно и незримо,
И встанет мрачно у одра,
И скажет мне с тоской неумолимой:
«Пора! Пора. Пора…»
Она дохнет в лицо прохладной ночи,
Холодною рукой мою придавит грудь,
Закроет навсегда тускнеющие очи,
И в путь! И в путь…
И буду я молить таинственную гостью:
Я жить хочу, оставь мне этот свет,
И буду я молить с слезою и со злостью…
Но нет! Но нет. Но нет…
И в жизни той, когда меня пробудят,
Где может быть неведома печаль,
Но дней земных, печальных жаль мне будет…
Да, жаль! Да, жаль. Так жаль…

Голос у Ванюши Петровича был небольшим, но слух отменным. Он не выкрикивал слов, не фальшивил, умело держал паузу и знал, что его слушают благодарно. Аплодисментов тут не признавали, да они были и не нужны: слушатели словно вбирали в себя и наивные слова, и простенький мотивчик, дышали одним дыханием с певцом, и казалось, что все сердца их бьются сейчас в едином ритме. «Как же непосредственно они умеют слушать! — поразилась Надя. — И как благодарно, с каким искренним чувством...» И это ее радовало и трогало, и она твердо решила описать и эту сценку, чтобы показать самодовольным циникам, как простой московский люд умеет ценить и любить собственное искусство или то, что он разумеет под этим мудреным словом.

Но здесь внимали певцу, а потому и не вели задушевных бесед, которые ей так хотелось послушать. Вероятно, эти беседы звучали у других костров, поскольку, по ее мнению, простой народ не способен был предаваться молчаливым размышлениям вообще. Два очерка — об извозчике и о способности московского люда в строгом уважении внимать песне — у нее уже были, но хотелось еще. О жизни этих простых людей, об

их мечтах, любви, отношениях к семье, к жене, к детям.

— Пойдем, — шепнула она, когда приказчик, закончив душещипательный романс и выслушав одобрительные возгласы, снова начал подстраивать гитару.

— Куда? — с неудовольствием спросила Феничка. — Здесь славно. И песни хорошие. Душевно поют и душевно слушают.

— Посмотрим, что наверху, — сказала Надя, поняв, что уговорить Феничку перейти к другим кострам, где не пели, а беседовали, было бы сложно. — Видишь, сколько тут народу? На рассвете все наверх полезут, и нам подарков не достанется.

Этот аргумент подействовал, и когда приказчик с бумажной розой начал новую песню, а окружавшие его уже настроились слушать, девушки тихо выскользнули из освещенного костром круга.

— Не чуете вы песен, барышня, — с укоризной вздохнула Феничка. — Нет, не чуете.

— Давай к другому костру подойдем, — деловито сказала Надя. — Может, послушаем что-нибудь любопытное.

Феничка недовольно фыркнула, но спорить не стала. Народу в овраге скопилось много, но

располагался он кучками, между которыми еще можно было пройти.

Здесь мало разговаривали, а больше дремали, уронив головы на колени, или просто спали на голой земле. Тихий говор и негромкий храп разносился по всему оврагу, и девушки шли осторожно, чтобы не наступить ненароком на спящих.

— Охальник ты, — вдруг ясно сказал женский голос. — Как есть, охальник!..

Размытая темнотой юркая девичья фигурка шмыгнула мимо. И почти тотчас же перед Надей и Феничкой вырос некто куда более рослый.

— Нюш?.. — задыхающимся шепотом окликнул он. — Нюш, слышь, не обижайся…

Тут плохо различимый парень наткнулся на девушек и замолчал. Надя сразу же остановилась, испуганно прижав руки к груди, а Феничка воинственно шагнула вперед.

— Нюшу свою потерял, молодец? Так там и ищи, куда побежала.

И махнула рукой совсем уж в противоположную сторону.

— Эх! — отчаянно выдохнул парень и сразу же исчез в темноте.

— Какое бесстыдство!.. — презрительно сказала

Наденька.

— А где же им еще помиловаться? — резонно заметила Феничка. — Тут самое и есть.

Надя ничего не ответила. Может быть, потому, что внутренне признала Феничкину правоту.

— Я еще на том празднике был, когда на прежнего государя корону надевали, — сказал кто-то от малого костерка. — Тоже гулянье с подарками устроено было, да не всем в радость. Тридцать две души пред Господом за нас, грешных, предстали, в тесноте задохнувшись насмерть. И пряник тот сладкий многим соленым показался.

— А я так тебе скажу, что неверно ты судишь, будто сладко — от дьявола, а солоно да горько — от Христа, — неторопливо и уверенно возразил худощавый, средних лет мужчина в дешевенькой шляпе. — Скажешь, мол, что по Писанию говорю, что, мол, через страдания душа в рай пробивается, а я тебе так отвечу, что Писание нас о том предупреждает. Предупреждает только, потому как, заметь, примеры у него старые. А жизнь — она движется. У дедов — одна, у внуков — другая, почему Господь примеры эти и подновляет. Все — от Господа, и сладкое и соленое, так уж он жизнь для человеков устроил.

У костерка сидели несколько немолодых

мужчин и две женщины. Над огнем висел закопченный жестяной чайник, а у каждого имелась кружка, кусок ситного, бублик или сайка. Здесь пили чай по-московски, неторопливо и со вкусом, осушив, вероятно, уже не один чайник. Пили и степенно говорили о душе и страдании как о спасении этой души. В рассуждениях не было никакой логики, Наде эта беседа показалась малоинтересной, она хотела было незаметно отойти, но тут заговорил второй бородач в новом картузе, на твердом козырьке которого играли глянцевые отблески огня.

— Утешения мы себе ищем. Утешения и оправдания, а не правды. А оправдание без правды есть ложь. И ложь эту от дедов к сынам, от сынов к внукам сами же и перекатываем, будто жернов какой, чтоб только мир не менялся. На лжи мир стоит, а не на правде. Стоит и будет стоять, потому и правда никому не нужна.

— А правда, она в чем? — спросил кто-то невидимый.

— А правда в том, что года проходят обидно. Молод я был, так думал, отделюсь вот от батюшки и по-своему, по-другому, значит, жить стану. Жена — чтоб по любви, а не по выгоде, дети — чтоб грамоте не по Псалтирю учились, дом — чтоб не

одними лампадами светился. А вошел в возраст — и сызнова на том самом кругу. И женился вроде по любви, и парни — двое их у меня — в городском училище грамоту проходили, а правды все одно нет. К мастерству я их определил, да что толку-то? Младшего сапожник шпандырем охаживает, старшего — каретник спицей. Младший плачет: «Уйду я, тятенька, сил моих нет!» А я говорю: «Терпи, пока мастером не стал». Старший в ногах валяется: не хочу, мол, за себя кривую дочку каретника брать! А я ему: «Соглашайся, дурак, он тебе мастерскую свою отдаст!» А ты говоришь, соленое, мол, от Христа. Не-ет, от Христа уважение идти должно, он за то наше уважение муки претерпел немыслимые. А слезьми солеными мы сами мир заливаем да горем засеиваем.

— Почему человек жив? — вдруг спросил кто-то из темноты да сам же и ответил: — А по привычке и жив, потому что смысла никакого нет. Родился с криком, вырос в побоях, женился с дракой и состарится со злостью. Привычка натурой стала, а мы все на Господа киваем. Мол, не того он хотел, что на Руси получилось.

— Он казнь лютую еще тогда принял, когда и Руси-то никакой не было.

— Значит, о нас он и думать не мог. Думать

наперед никому не дадено.

— Не богохульствуй. Не люблю этого.

— Упаси Господи, не богохульствую я. Я так мыслю, потому что не учен. Бога тот хулит, кто науки превзошел, потому как знает, чего не по Писанию. Знает и народ нарочно смущает. Давить таких надо.

— А Христос учил всех прощать.

— Это не про нас сказано. Народ у нас воровской да бездельный. За рюмку сестру родную продаст.

— Но-но, ты не очень-то!

— А ты зачем здесь ночуешь, ровно бродяга какой? А затем, что пива да водки дармовой тебе обещали, вот зачем. Ну, и где правда-то твоя, где?

— Я за государевой кружкой…

— Ан и обратно врешь. За государевой кружкой ты бы бабу свою послал.

— Нет, не вру! — заорал вдруг владелец нового картуза. — Я за государя императора, Богом России данного…

— Уйдем, барышня, — тревожно шепнула Феничка. — Сейчас разругаются, хоть уши затыкай…

Они юркнули в темноту, впопыхах наступили на чью-то руку, услышали в ответ сонную матерную брань и, оступаясь, поспешно полезли

на обрыв.

— Ну и слава богу, — задыхаясь, сказала Феничка, когда они выбрались на ровное место. — И темно там, и страшно, и выражаться вот-вот начнут. Пойдемте лучше к солдатам. Может, господ офицеров найдем, с ними спокойнее.

С задней, выходящей к обрыву стороны буфетов людей поначалу нигде видно не было, но они появились, как только девушки приблизились к дощатым, наскоро сколоченным постройкам. Темные их фигуры молчаливо жались к тылам буфетов, тесно набившись в узкие проходы между ними.

— Не клейся тут, не клейся, — зло зашипел женский голос. — Из-за вас, пронырь, и нас разгонят.

— Вы напрасно беспокоитесь, — сказала Надя. — Мы так, посмотреть только.

— На нищету нашу поглядеть пришла?

— Что вы, мы уходим, уходим, — поспешно заверила Наденька. — Уже уходим, не волнуйтесь.

Девушки отошли подальше от злобной темной очереди. И остановились, не зная, что предпринять.

— Ну и дальше куда? — недовольно спросила Феничка.

— Светает, — тихо сказала Надя. — А на небе

— ни облачка. Славный будет денек!

— Глянь-ка, барышня, вроде дымок над обрывом? Горят они там, в овраге, что ли?

Наденька оглянулась. Над обрывом, ведущим в глубокий овраг, из которого они недавно вылезли, легкой пеленой висел пар от дыхания десятков тысяч людей. Дрожал, будто живой, и освещенное первыми лучами еще не вылезшего из-за горизонта солнца небо причудливо переливалось в нем.

— Как красиво! Нет, ты только посмотри…

— Недосуг смотреть, — сурово оборвала Феничка. — Уходить отсюдова надо.

Наденька тоже ощущала какое-то внутреннее беспокойство, но хорохорилась. Даже начала что-то говорить, что, мол, неплохо было бы взять царскую кружку для Вани Каляева, но тут же замолчала, испуганно вслушиваясь.

Из оврага вместе с паром поднимался странный гул, пугающий, как стихия. И нарастающий, как стихия. И со стороны Петербургского шоссе, и со стороны Москвы тоже слышался тот же гул. Еще далекий, но уже несущий в себе что-то грозное.

— Бежим! — крикнула она, ощутив вдруг возникшую в ней неосознанную панику. — Бежим отсюда, Феничка!..

Высоко подобрав юбки, девушки, спотыкаясь, добежали до последних буфетов и…

И замерли.

4

Перед ними стояла толпа. Стояла молча, странно раскачиваясь, и из глубины ее то и дело раздавались стоны и крики. По головам тесно — плечом к плечу, руками не шевельнешь — зажатых, сдавленных людей порою уже лезли мальчишки, а то и вполне взрослые парни, упираясь сапогами во что придется. В беззащитные лица, затылки, спины, плечи. А толпа стонала и раскачивалась, раскачивалась и стонала, не двигаясь с места.

— Назад! — крикнула Феничка. — Назад, барышня! В овраге спрячемся, беда будет, беда…

Они повернули назад, но пробежали немного, потому что из оврага выросла вдруг задыхающаяся, распаренная крутым подъемом живая человеческая волна. Девушки сразу остановились, но увернуться от людского потока им уже не удалось. Овражная масса подхватила их, втянула, всосала в себя и помчала туда, куда рвалась сама. Их закружило, оторвало друг от друга…

— Барышня-а!.. — отчаянно, изо всех сил закри-

чала Феничка, но Надя уже не видела ее.

Потом говорили, что как раз в этот момент раздались револьверные выстрелы. Полицейский офицер, заметив обе толпы — стоявшую и бегущую от оврага, — выпалил для острастки несколько раз в воздух, заорав во всю мочь:

— Выдавай подарки! Выдавай! Сомнут!..

Этот выкрик послужил командой не столько буфетчикам, сколько тесно спрессованной, стонущей, топчущейся на месте толпе. Она ринулась вперед, разбрасывая полицейскую шеренгу. И полицейские со всех ног бросились врассыпную, спасая собственные жизни. Буфетчики начали разбрасывать узелки с подарками прямо в наседающую массу, раздались дикие крики, затрещали доски самих буфетов.

А солдат, от которых прятались в овраге и под защиту которых так хотела пробраться Феничка, вообще не было. Они еще не успели подойти к началу официальной раздачи, потому что было только шесть часов утра…

Надю разворачивало и вертело в стремнине еще не утрамбованной толпы. Внутри нее пока еще сохранялась крохотная свобода, позволявшая шевелить руками и даже чуть сдвигаться из одного ревущего ряда в другой, но уже не давав-

шая никакой возможности вырваться наружу. Пока все — красные, с распаренными лицами — еще дышали полной грудью, жадно хватая воздух широко разинутыми ртами. И при этой относительной свободе овражная толпа, захватившая Надю и набравшая изрядную инерцию движения, врезалась в толпу, появившуюся из Петровского парка. Долго топтавшуюся на месте, долго терпевшую немыслимую тесноту и только-только начавшую двигаться после полицейской команды начать раздачу царских подарков. Удар свежей волны вызвал давку и суматоху, Надю опять куда-то развернуло, прижало к чему-то странно податливому, почти мягкому…

— Мертвая!.. — дико закричала она, скошенным взглядом на миг единый увидев багрово-синее, раздутое женское лицо с вытаращенными глазами, с запекшейся в ноздрях и на подбородке кровью. — Мертвая тут! Мертвая!..

Рванулась изо всех сил, вцепилась в чью-то синюю чуйку.

— Держись за мной, девка, — хрипло выдохнула чуйка, не оглядываясь. — Руки в кулаки сожми, упри их перед животом. И не опускай! И ногами семени, не отрывай от земли, семени ногами. Споткнешься — затопчут…

Двое парнишек быстро-быстро проползли поверх стиснутой людской массы, упираясь босыми ногами в головы, лица, плечи. Голая нога лягнула Надю, сбив шляпку, и тут же исчезла, торопясь туда, где буфетчики, не глядя, торопливо метали узелки с подарками прямо в народ, увеличивая толкотню, сумятицу и острое желание во что бы то ни стало ухватить заветный царский дар.

Их несло на цепочку дощатых буфетов, на трупы, что уже копились перед ними, куда все так стремились, где совсем недавно так строго блюли очередь, грубо прогнав Надю с Феничкой. Теперь эта очередь, вжатая в неструганый тес буфетов, притиснутая к ним, расплющенная, задушенная, истоптанная и раздавленная, лежала на земле. Напор сзади был столь велик, столь зверино безжалостен и неодолим, что в одурманенной ужасом голове Нади с чистой, пронзительной ясностью мелькнуло вдруг: «Вот и все…»

Но тут слева от них — то ли от линии буфетов, то ли со стороны Москвы — возник новый поток, такой же орущий, стонущий, хрипящий, звериный и неуправляемый. Он врезался с припасенной где-то силой в их движение, задержался на мгновение от удара о него, вызвав смертные вопли тех, кто попал меж двух потоков, но их

волну развернуло вправо, пронесло мимо буфетов и с удвоенной скоростью погнало в сторону балаганов. Надя, уже давно потерявшая туфли и быстро-быстро семенившая маленькими шажками, не ощущая боли сбитых в кровь ступней, вдруг почувствовала, как рванули сзади за юбку, споткнулась, но чудом устояла на ногах, поддернув юбку до того, как каблуки семенивших позади успели вторично на нее наступить.

Поток, в который попала Надя, — а таких отдельных потоков образовалось много, семенил, точнее, бежал, семеня изо всех сил, молча. Слышалось только громкое, единое по вдохам и выдохам дыхание, точно бежали не люди, даже не стадо, а — зверь. Косматый и беспощадный зверь, сотворенный растерявшими облик человеческий и уже озверевшими людьми.

«…по образу и подобию Божьему…»

Уже не было этого. Не было ни образа, ни подобия, уже зачалось иное создание по иному образу и по иному подобию. Еще дико кричали, рыдали, стонали последними стонами, хрипели последними хрипами и ругались последними словами где-то в головах этой гигантской гидры, рвущейся к самоубийству…

Но Надя слышала только единое, короткое,

частое, как у загнанной лошади, дыхание толпы. И еще — стоны. Такие же короткие, как вдох и выдох, и поэтому Надя порою слышала слова бегущей впереди спины:

— Кулаки… Кулаки топорщи, девка… И никого вперед не пускай…

Пустить кого-либо было невозможно ни вперед, ни назад. Все бежали тело к телу, и Надя бежала как все, уткнувшись лицом в широкую, как телега, спину, вдыхая резкий запах насквозь пропотевшей чуйки и уже не ощущая, ее пот течет по лицу, разъедая глаза, или того, что семенил впереди. Слезы и пот не давали смотреть, перед нею была только спина и ничего более. Ни головы, ни рук, ни ног. Только мокрая, липкая от пота спина…

А за нею бежало тело, то прижимаясь вдруг и вдавливая в чуйку, то на миг отлипая, чтобы снова врезаться в нее. У этого тела были руки, которыми оно упиралось в Надину спину, колени, ощутимо бившие ее в бедра, голова с твердым подбородком и короткой бородой, жесткой щеткой проезжавшей по ее волосам при внезапных, непонятно почему возникавших содроганиях их единого потока. Надя была плотно зажата между неизвестной спиной и неизвестным телом, но

остатками судорожно удерживаемого сознания понимала, что если «спина» — ее защита и надежда на жизнь, то «тело» — ее смерть, потому что ноги этого тела первыми пройдутся по ней, если вдруг она оступится и упадет. Падать было нельзя, падение означало гибель, но это не было сигналом разума. Это был единый безмолвный вопль всего ее существа, каждой ткани, каждого нерва и каждой клеточки…

Густое облако желтой пыли уже поднялось над десятками тысяч людей, вовлеченных в единый семенящий бег по бесконечным кругам между разгромленными буфетами, за которыми начинался никем не огороженный овраг на юге; крепкими балаганами, построенными для народного увеселения, на востоке; потоком людей, все еще двигавшимся из Воскресенской рощи, на севере и Петербургским шоссе, огороженным канатами, на западе. Но и с юга, из Москвы, и с севера, из Всехсвятского, и с запада, из Петровского парка, безостановочно шли толпы, жаждущие царских подарков и дармового пива. И если первые ряды и могли разглядеть в густом облаке пыли, что происходит на предназначенной для народного гулянья площадке Ходынского поля, то остановиться они уже не могли. Сзади напи-

рала толпа, которая ничего не видела, ничего не понимала и ничего не желала понимать. И здесь образовывались свои потоки, часть которых смогла увернуться до того, как врезаться в безумное кружение, а часть не смогла, была подхвачена, вовлечена, свежим напором сбивая уже образовавшиеся круги. Это стало причиной внезапно возникавших людских коловращений, изменений движения, а то и вращающихся живых воронок, всасывающих в себя вращения тех, кто оказывался по краям.

А пыль, поднятая топчущимися на малом пространстве ногами, была столь густа и невесома, что и в полутора аршинах ничего нельзя было разглядеть. Легкая сама по себе, она легко взмывала над землей, но тут же пропитывалась испарениями пота и дыхания десятков тысяч разинутых ртов, утяжелялась, не относилась легким, почти неощутимым ветерком и непроницаемым облаком зависала над головами. Это облако перекрыло солнце, которое лишь тускло просвечивало сквозь желтую поволоку, и Надя смотрела на него в упор, не моргая. Огромный оранжевый диск солнца без лучей, висящий где-то за сплошной желтой пеленой глинистой пыли. Будто солнце чужой планеты, еще не заселенной

человеком разумным.

— Карусели!.. — вдруг дико закричали впереди. — Карусели тут, люди добрые! Карусели!..

Яркое полотнище карусельной крыши закачалось перед Надей. Раздались нечеловеческие вопли, с треском рушились надломленные людским напором столбы, цветной шатер пополз вниз и рухнул, накрыв тех, кто оказался рядом. Край его, утяжеленный толстой пеньковой веревкой, с силой ударил по лицу, но Надя не почувствовала боли. Ужас был настолько бесчувственно огромен, настолько объял всю душу ее, что она рванулась из-под полотнища в отчаянном последнем усилии. И спина в промокшей чуйке рванулась туда же, и они выскользнули оба, и та же спина вновь оказалась перед нею. И даже хрипло выдохнула:

— Цела, девка?..

Сил отвечать не было, да и ответа не требовалось. Они вклинились в другой ряд, семенивший в том же потоке, но чуть в стороне от каруселей. Но ряд неожиданно затоптался, замысловато изгибаясь, и они оба — и Надя и чуйка — затоптались вместе с ним, потому что ряд этот пытался миновать свалку, образовавшуюся перед ним, когда правую часть потока вынесло на карусель.

Сокрушив ее телами тех, кто оказался впереди и упал под ноги напирающим в спины, уцелевшие изо всех сил пытались обойти павших не из сострадания к ним, а во спасение собственных жизней. А слева напирали ряды иного потока, оказавшегося в опасной близости от полуразбитых, заваленных трупами дощатых буфетов, а места не было, и началась очередная смертная круговерть в пыли, тяжкой и липкой от людских испарений, в тупом топоте десятков тысяч ног.

Хуже всего здесь приходилось тем, кто оказывался в крайних рядах. За них, как за зубья шестерен, невольно цеплялись из сопредельного ряда, выбивая из гнезда, увлекая за собой. И Надю зацепило это встречное движение, вывернуло из ее строя, ее потока, ее ряда, оторвало от спасительной пропотевшей чуйки, завертело на одном месте, но кулаков, сжатых перед животом, она не убирала, несмотря на то что и вертели-то ее те, кто натыкался на них. Не потому, что помнила слова «кулаки упри, девка!» — ничего она сейчас уже не помнила и ничего не соображала, — а потому, что инстинкт самосохранения повелевал действовать именно так. И он же категорически запрещал самостоятельно предпринимать что бы то ни было. Пытаться вырваться, развернуться

в иную сторону, выбрать свою скорость и свое направление. Нет, нет, она должна была, обречена была подчиняться только общим законам, тем, по которым существовала вся эта обезумевшая толпа: поворачиваться вместе со всеми, дышать вместе со всеми и покорно семенить туда, куда в данный момент семенило все это огромное, потное, жадно хватавшее широко разинутыми ртами пропыленный воздух людское скопище. Нельзя было кричать, потому что от крика срывалось дыхание, нельзя было шевелиться, потому что ломался единый ритм, нельзя было даже плакать, потому что давка и ужас давно превратили ее слезы в обильный пот, который коркой застывал на лице, ручьями тек по груди, по спине, по животу, по бедрам.

Она не помнила, сколько раз ее развернули вокруг самой себя, но на одном из разворотов вдруг сквозь пот и пыль увидела страшное, распухшее женское лицо с широко раскрытыми, выдавленными из орбит, навеки остановившимися глазами. Они смотрели прямо на нее, в упор на нее… Та ли это была несчастная, с которой судьба столкнула ее в начале этого бешеного круговорота, или другая — иное мелькнуло в голове: «Господи, это же я!.. Я, Господи…» Но на страх уже

не осталось сил, мертвое лицо с выпученными глазами уплыло в желтый глинистый туман, а когда с очередным разворотом вернулось вновь, то показалось выше, чем прежде. Заметно выше, потому что над людскими головами теперь торчали плечи. Мертвые, изломанные и опущенные, как и все ее тело, которое вместо того чтобы обрушить на землю, толпа выжимала вверх, в небо, в единственное пространство, оставшееся свободным…

Наконец какой-то из рядов зацепил Надю и потащил за собой, потому что она упорно не опускала сжатых перед животом кулаков. К счастью, ее поволокло, развернув лицом в сторону нового движения, и Надя тут же покорно подчинилась ему, торопливо на семенящем ходу встраиваясь в его ритм. И засеменила неизвестно куда, то утыкаясь лицом в мокрую от пота рубаху впереди, то ощущая тычки в собственную спину.

Кто-то кричал. Боже, как кричал!.. Последним криком. Самым последним в жизни…

Но те, у кого оставался хоть какой-то остаток сил, а с ним и надежда на спасение, не кричали. Они бежали молча, мелко-мелко семеня ногами и стараясь не отрывать их от земли. Многие скользили на собственных ступнях, как на лыжах, и

кровавый след их истерзанных ступней втаптывался в пыль поспешавшими следом, потому что здесь не было и не могло быть последних. В толпе не бывает ни первых, ни последних, в ней нет концов и нет начал, в ней все равны великим равенством перед смертью. Единственным всеобъемлющим равенством для всего сущего на земле. Об этом знал каждый, попавший в гущу живых, об этом знала и безмолвно вопила каждая живая косточка. И все это вместе помалу копилось и в человеке, и в каждой его клеточке, а накопившись до предела, приобретало иное качество. Масса людей со своими характерами, походкой, лицом, темпераментом, возрастом, наконец, превратилась в Живое Безголовое Чудовище, клеточкой которого стал каждый человек: в толпу, повязанную единой волей самоуничтожения. Мыслящее начало растворилось в тупом коловращении, в скольжении без смысла и цели, в движении ради движения, потому что остановка всегда означала чью-то мучительную смерть.

И такая остановка вдруг случилась в том потоке, в котором покорно двигалась Надя. Где-то впереди, в желтой мгле пыли и сознания. Личной воли уже не существовало, она уже перетекла, растворившись в общей воле толпы. Остались

одни ощущения, главным из которых стал ужас. Не осмысленный страх, а дикий, животный ужас детства, сна, внезапного падения в пропасть. Это было ощущение неминуемого конца, и Надя восчувствовала его, увидев вдруг под самыми ногами груду бьющихся на земле и друг на друге еще живых человеков. Вероятно, она бессознательно остановилась, потому что ее сильно толкнули в спину. Она упала на еще копошившихся, еще живых людей и тут же быстро-быстро поползла по ним куда-то вперед от того последнего толчка, уже решительно ничего не ощущая и не чувствуя. Ни живой плоти под собою, ни ударов, ни рук, ни ног. Ее схватили за юбку, но она выскользнула из нее, поползла дальше, а ее хватали за руки, за ноги, за остатки белья, за волосы, цеплялись, рвали, а она ползла и ползла, вырываясь из цепких умирающих рук тех, по которым она ползла. Ползла со всей мыслимой быстротой, пока не ударилась головой о нижний брус балагана. Между брусом и землей была узкая щель, и она, распластавшись, втиснулась, пролезла под пол балагана, и на нее сразу обрушилась беспросветная тьма.

Прошло всего пятнадцать, от силы — двадцать минут с того момента, когда разом поднявшаяся из оврага толпа ринулась к буфетам, захватив

своим мощным потоком Надю и Феничку. Втащила их внутрь, отрезала Надю от Фенички с ее последним криком «Барыш-ня-а!..», повлекла своим путем, счастливо обвела стороной от буфетов с их темными очередями и вытолкнула на площадку, где стояли карусели, гладко отполированные столбы с парой сапог наверху, качели, эстрады и балаганы для выступлений артистов на веселом народном гулянье.

А Феничку задавили в узком — всего-то с аршин шириной — проходе между соседними буфетами еще тогда, когда Надю только-только выволокла толпа на площадку, в первый круг ее ада.

Глава восьмая

1

Вечером 17 мая, накануне народного гулянья на Ходынском поле, в Большом театре давали торжественное представление, на котором должны были присутствовать государь с государыней и все великие князья, съехавшиеся в Москву на коронацию. Их оказалось столько, что пришлось существенно расширить Царскую ложу за счет соседних лож, доведя количество мест в ней до шестидесяти трех. Партер сверкал мундирами, аксельбантами, эполетами и орденами, среди которых совсем затерялись немногочисленные фраки. Ложи ослепляли бриллиантами, прикрывавшими весьма смелые декольте. Платья дам, заказанные загодя специально ради этого вечера у самых модных портных Москвы, Петербурга, а то и Парижа, поражали своей изысканностью и тонко подобранными оттенками тканей, но и при этом великолепии нарядов весьма многие дамские глазки с досадой и острой завистью оглядывали ложу, в которой сидела статная особа в прямо-таки немыслимом, сказочно скромном

наряде, стоившем, по оценкам записных модниц, целое состояние.

Перешептывались:

— Супруга миллионщика.

— Говорят, у него откуп на все убранство Москвы.

— Что вы говорите? Это же…

— Да уж, нагрел руки…

Варвара изо всех сил старалась казаться равнодушной, и ей это удавалось. Они были вдвоем с Романом Трифоновичем, со вздохом и отвращением втиснувшим свою коренастую мужицкую фигуру во фрак. Надя идти решительно отказалась, Николай и Вологодов были заняты по службе, а генерал Федор Иванович появлялся временами, поскольку и в торжественные вечера продолжал исполнять обязанности при министре двора графе Воронцове-Дашкове, и ложа их в до отказа переполненном зрительном зале вызывающе зияла пустыми креслами.

— Из мужиков ведь, — зло шипели усыпанные бриллиантами светские кумушки, равно как и их обвешанные орденами мужья.

После появления в несуразно длинной Царской ложе императорской фамилии, после грома аплодисментов, криков «Ура!» и дважды ис-

полненного гимна раздались первые такты увертюры и наконец-то поднялся занавес. Давали первое действие и финал оперы «Жизнь за царя» и балет Петипа «Жемчужина».

— Прочитать тебе, кто исполняет?

— Ну прочитай, — со вздохом согласился Хомяков.

Ему было скучно и тошно, поскольку на роль статиста он решительно не годился, а партия сегодня была не его. Хотелось выпить добрую рюмку коньяка и закурить сигару, но сейчас об этом не могло быть и речи.

Варвара раскрыла толстую — с добрую тетрадь — программу с тисненным на белой обложке золотым двуглавым орлом, полистала страницы в изящных виньетках с рисунками Самокиш-Судковской и Первухина.

— Антониду поет госпожа Маркова, Сабинина — Донской, Сусанина — Трезвинский. Запевала — сам господин Кошиц.

— Весьма рад, — буркнул Роман Трифонович.

— Затем балет…

Дрогнула штора, и в ложу скользнул Федор Иванович. В парадном генеральском мундире, со всеми орденами, бантами и лентами и распаренным лицом.

— Фу, кажется, всех рассадил.

— Ты сегодня — в роли капельдинера? — усмехнулся Хомяков.

— Сегодня, дорогой мой, день воскрешения местничества: даже члены Государственного совета сидят не ближе пятого ряда кресел. А уж обид, обид!.. Пропустим по глотку, Роман Трифонович? В горле першит от их неудовольствий.

— Куда же вы? Второй занавес пошел… — с досадой заметила Варвара.

— Вот и мы пойдем, — сказал Хомяков, выбираясь. — Им — петь, нам — пить. Каждому свое, дорогая.

В гардеробной ложи, скрытой тяжелой портьерой от зрительного зала, размещались четыре кресла, столик и дамское трюмо с пуфиком перед ним. На столике уже стояли бутылки и бокалы, вазы с фруктами и сладостями. Федор Иванович промокнул лоб платком и рухнул в кресло, позволив себе даже расстегнуть тугой воротник мундира. Роман Трифонович разливал коньяк.

— Хочешь, развеселю? — усмехнулся Федор Иванович. — Мне доподлинно известно, что обер-полицмейстер Власовский заменил добрую половину капельдинеров на своих агентов именно на это представление. Так сказать, усердие не

по разуму.

— Отчего же не по разуму? — пожал плечами Роман Трифонович. — Чиновники в России размножаются, как хрен. Одного выкорчуют — пять на его месте вырастает, а службы не прибавляется, вот и приходится усердствовать. Лучше скажи, что тебе о Петербурге известно. Стачки продолжаются?

— На Резиновой мануфактуре и Обводном канале. У тебя как, не балуют?

— Балуют, когда выгодно. А сейчас невыгодно. Еле с заказами управляются, а я сверхурочные ввел.

Генерал сделал добрый глоток, пожевал губами, подумал, прикрыв глаза набрякшими веками. Потом, вдруг решившись, наклонился к Хомякову, зашептал:

— Знаешь, государь при незнакомых конфузится. Говорить начинает отрывисто, а глаза бегают. А великого князя Сергея Александровича так просто слушается. Сам тому свидетель.

— Кто слушается, тот и боится.

— Тише! Тут ушей кругом… Знаешь, как у него глаза бегают?.. — Федор Иванович неопределенно помахал кистью, изображая бегающий взгляд государя, одним глотком допил коньяк и протянул

рюмку за новой порцией.

— Духа не боишься?

— У меня орешек припасен. Зажую.

— Дух не выдаст, свинья не съест, — философски заметил Хомяков, вручая родственнику вторую рюмку. — Полно в нас азиатчины, Федор Иванович. Колупни ногтем, она и посыпется.

— Варварски торжества выглядят, согласен. Пышностью давим, Роман Трифонович, аляповатостью, грубыми красками. А Европа улыбается. Ехидно улыбается Европа. Ехидно и снисходительно.

— Может, завидуют? — с еле уловимой насмешкой спросил Хомяков, раскуривая сигару.

— Чему? Чему у нас завидовать, Роман Трифонович? Что деньги горстями на ветер бросаем?

— Что бросаем? Нет, генерал. Что воруем без страха и трепета — да. Они тоже воруют, но все же опасаются…

— Господа! — В щель портьеры выглянуло сердитое лицо Варвары. — Не пора ли и честь знать?

Федор Иванович тут же торопливо стал застегивать мундир, а Роман Трифонович с сожалением потушил сигару и встал.

— Ну, идем, генерал. Приобщимся к искусству.

Следует отметить, что Роман Трифонович недолюбливал как оперу, так и балет, хотя много читал, высоко ценил живопись и с удовольствием слушал симфоническую музыку. Он не объяснял себе причин этого — просто одно любил, другое не любил, и все тут, — но причина имелась. Хомяков был настолько «человеком практическим», что совершенно не воспринимал открытой условности искусства. Он вырос в строгой старообрядческой семье, сумел преодолеть ее жесткие каноны, упрямо и очень увлеченно занимался самообразованием, умел размышлять, многое знал и многое понимал, но пробелов домашнего воспитания преодолеть не смог, да и не стремился к этому.

— Погладьте нас суконными, а шелковыми нас всяк погладит!

Они попали к финалу первого действия, после которого вместо тяжелого парчового занавеса с видом на Кремль опустился легкий, в тонко подобранных палевых тонах, и свет в зале не зажегся. Зрители остались на своих местах, промежуточный занавес взмыл ввысь, и на сцене предстала живая картина старой Москвы. Бояре и боярыни, стрельцы и посадские девушки, торговцы-лотошники, священники и черноризцы и

прочий московский люд. Костюмированное действо жило на сцене восторженно-оживленной жизнью, которую непринужденно имитировали уже не оперные, а драматические артисты. Среди них зрители радостно узнавали Ермолову и Федотову, Ленского и Южина, Музиля и Рыбакова. Обозначив быт некоего усредненного русского средневековья, все артисты, как драматические, так и Большого театра, вышли на авансцену и с воодушевлением исполнили гимн под оркестр и безостановочные крики «Ура!» зрительного зала.

Потом опера продолжилась торжественным финалом с колокольными звонами, после чего был антракт с бокалами, чаями и конфетами. И антрактов таких Роман Трифонович терпеть не мог, но — надо было. Миллионные его дела требовали как укрепления старых знакомств, так и завязывания новых, почтительных поклонов, вежливых слов и целования ручек. Обряд сей был отработан в форме неукоснительной, не допускающей ни дерзкой самостоятельности, ни легкомысленного фрондерства. Хомяков вежливо улыбался, почтительно кланялся и целовал дамские ручки. Благо, петербургский родственник генерал Федор Олексин хорошо изучил как двор, так и его задворки, а потому представлял могу-

чего воротилу Хомякова согласно собственным, проверенным и просеянным знаниям кабинетов, коридоров, гостиных и будуаров, в которых вращались сильные мира сего.

Во всей этой необходимой, но такой неприятной для Романа Трифоновича своей фальшью суетливости, столь не соответствующей его характеру, было по крайней мере две отрадных минутки. Появился вдруг по горло занятый, но такой свой, все понимающий ироничный Вологодов. Поулыбался, сказал несколько только им понятных слов и вновь исчез по делам. А под конец как на грех затянувшегося антракта возник шумный, никогда не унывающий старый друг:

— Трудимся, Роман Трифонович?

— Так ведь без труда, Василий Иванович, и аппетита не нагуляешь. Заглянешь к нам после театра?

— Не смогу, ты уж прости, дружище. Отчет писать надо, а ночь коротка. Завтра в обед, если не возражаешь.

— Буду ждать, Василий Иванович.

На том и разошлись. К счастью, вскоре прозвенел звонок, все потянулись в зал и ложи, и мука кончилась. После нее остался в душе раздражающий осадок, но утешало, что не зря кланялся.

И познакомился, с кем хотел познакомиться, и о встречах условился, и даже на взаимный интерес удалось вполне корректно намекнуть.

А после начала балета Петипа «Жемчужина» с госпожами Леньяни, Кшесинской-второй, Джури и Рославлевой и господами Аистовым и Гердтом в ложу опять заглянул Федор Иванович. Вытащил на рюмку коньяку, сказал как бы между прочим:

— Власовский в антракте доложил великому князю Сергею Александровичу, что на Ходынском поле уже тысяч триста, а народ идет и идет.

— Для статистики, что ли, доложил?

— Нет. Солдат просил.

— И что же великий князь?

— А великий князь сказал, что сейчас лично поедет и всех пересчитает. И если на Ходынке окажется хотя бы на одного человека меньше, уволит господина обер-полицмейстера без мундира и пенсии.

— Тут-то Власовский ни с чем и удалился.

— Как бы не так. Нудил, нудил, а все же взвод казаков из него вынудил.

— Зачем обер-полицмейстеру генерал-губернатора раздражать? Великий князь злопамятен.

— Вот потому-то и раздражал.

— Загадочное поведение, — сказал Хомяков. — Заглянешь после представления?

— Не смогу, — вздохнул генерал. — Приказано к французскому послу ехать. Завтра он для государя бал устраивает. Может быть, в обед вырвусь на часок.

Покурили, помолчали. Роман Трифонович вздохнул:

— А ну как на Ходынке и впрямь столпотворение?

— Не думаю, — неуверенно пожал плечами генерал. — Конечно, намнут бока, нашего брата проще простого за бесплатно купить. В данном случае Власовский просто перестраховывается. Если что, не дай бог, и случится, то и ответ готов: «Я же докладывал, Ваше Высочество, казаков у вас просил, а вы мне всего-навсего один взвод выделили. Что же я мог поделать?..»

2

А Власовский из театра немедленно послал за казачьим взводом, выпрошенным с таким унижением, а заодно и за своим заместителем полковником Рудневым. Заехал домой выпить чашку кофе и предупредить жену, чтобы не ждала к завтраку, а возможно и к обеду, и уже

при первом солнышке отправился на Ходынское поле.

Коляска его с огромным трудом и запозданием прорвалась к Ходынке в объезд, через Всехсвятское. Вопли и стоны, треск ломаемых сооружений, грозный гул, топот тысяч ног и поднятая ими пыль сразу дали опытному полицейскому представление о размерах катастрофы. Не теряя времени, он приказал Рудневу осадить толпу, сколь только это возможно, озаботиться о раненых и разогнать зевак. Послал казака объявить тревогу во всех пожарных командах и направить обозы для перевозки раненых и пострадавших, после чего мчаться в больницы и предупредить, чтоб готовились к оказанию помощи и приемке трупов. А сам — опять кругом, только на сей раз через Хорошево — поспешил к генерал-губернатору с кратким докладом и просьбой об экстренной и весьма серьезной помощи.

Сергея Александровича удалось разбудить только в восьмом часу: адъютант стоял насмерть, и никакие доводы не помогали. А Москва уже грохотала сотнями ошипованных колес: все двенадцать пожарных команд города мчались на Ходынское поле. Желто-пегие битюги Тверской части были первыми. За ними летели вороно-

пегие Рогожской команды, соловые с черными хвостами — из Хамовников, соловые с белыми хвостами — со Сретенки, вороные в белых чулках — Пятницкой части, белые без отметин — Городской, серые в яблоках — с Якиманки, Таганские чалые, гнедые битюги Арбатской, лимонно-золотистые — Сущевской команды, рыжие — Мясницкой и караковые — с Лефортова. Феничка знала все расцветки пожарных лошадей назубок и очень гордилась своими знаниями…

Великий князь вышел к назойливому неурочному посетителю в халате и с весьма помятым, очень недовольным лицом. Власовский начал доклад, не теряя времени, но генерал-губернатор, жестом остановив его, сказал адъютанту:

— Кофе и… и виши. Виши — в кружке.

Как только адъютант вышел, обер-полицмейстер продолжил заранее продуманный доклад. Только самое главное, только энергично и только кратко, чтоб усвоила невыспавшаяся похмельная голова царского родного дядюшки.

— Самоубийцы! — Таково было первое, сказанное сквозь зубы слово генерал-губернатора Москвы Его Высочества Сергея Александровича. — Велено было к десяти утра являться. Велено было?

— Так точно, Ваше Высочество.

— Почему кордоны не выставили?

— Вся полиция — как в форме, так и в партикулярном платье — на охране мест проживания высочайших гостей Москвы согласно устного распоряжения Ваше…

Адъютант внес поднос с чашкой кофе и большой кружкой. Великий князь первым делом схватился за кружку, и натренированный нос обер-полицмейстера уловил знакомый аромат ядреного огуречного рассола. «Виши», — усмехнулся он про себя.

— Так что же полиция? — спросил генерал-губернатор, гулко проглотив последнюю порцию.

— У меня более нет под рукою полиции, — вспыхнув, сказал Власовский. — У меня — три десятка полицейских на весь город, коими я могу распоряжаться. Толпа попросту смяла их…

— Что же это за полицейские, которых можно смять!

— А что это за народ, который можно затоптать, Ваше Высочество?

Власовский сознательно ответил дерзко, чтобы хоть таким образом привлечь внимание великого князя к сути произошедшего. И это ему удалось. Генерал-губернатор нахмурился:

— Известно число… гм… пострадавших?

— Подсчитывается.

— Считайте только опознанных, родственникам будет выдано пособие. А неопознанных в списки не вносить. Вы поняли меня, Власовский?

— Так точно, Ваше Высочество.

— А что это за грохот в городе? — После доброй кружки «виши» и чашки крепкого кофе у генерал-губернатора прорезался слух.

— Я приказал поднять все пожарные команды и послать на Ходынское поле для вывозки раненых и… и трупов, Ваше Высочество.

— Вы с ума сошли, Власовский? Это же грохот на всю Европу! Немедленно отзовите, скажите, что репети…

— Но у меня нет под рукою ни подчиненных, ни подвод, Ваше Высочество. Прошу разрешения выделить солдатские команды в мое распоряжение.

— Солдаты нужны для парадов! — отрезал Сергей Александрович. — Именно сегодня и именно на Ходынском поле должен состояться смотр частей гарнизона… Нет, не смотр, а народный праздник. И он состоится!

— Но мы не успеем вывезти даже раненых…

— Раненых вывезти! До одиннадцати у вас еще есть время. Но ни в коем случае не везти по Петербургскому шоссе: в Москве иностранцев полно. Везите кругом, через Хорошево.

— Ваше Высочество, у меня нет людей. Дайте солдат, Ваше Высочество. Умоляю…

— Вот прицепился… — в сердцах сказал генерал-губернатор.

— Умоляю Ваше Высочество. Без солдатских команд с подводами мы не в силах управиться. Это — катастрофа.

— Не болтайте лишнего, Власовский! Государю доложу лично, когда изволит проснуться.

— Солдат, Ваше…

Сергей Александрович так глянул, что обер-полицмейстер проглотил половину предписанного обращения. Великий князь пометался по приемной, хмуро, через плечо бросил адъютанту:

— Дежурного офицера.

Адъютант сразу же вышел.

— Установленный порядок не должен быть сорван ни в коем случае, — отчеканил генерал-губернатор. — У государя каждая минута на счету.

— Слухи не остановишь, Ваше Высочество, и народ вот-вот двинется к Ходынскому полю. — Власовский лихорадочно соображал, не упустил

ли он чего-либо важного. — Дозвольте хоть на час перекрыть Петербургское шоссе…

— Ни на минуту, Власовский! Чего нет в утвержденном государем императором расписании коронационных торжеств, того нет вообще. Не существует…

Вошел адъютант:

— Дежурный офицер по вашему повелению.

Посторонился, и в комнату шагнул дежурный офицер:

— Дежурный офицер капитан Олексин, Ваше Высочество! — звякнув шпорами, доложил он.

— Соберите три роты солдат в распоряжение обер-полицмейстера. Брать только из нестроевых частей, капитан. Только из нестроевых, а парадных расчетов не трогать ни под каким видом. Командовать ими будете лично по указаниям обер-полицмейстера.

— Слушаюсь, Ваше Высочество.

— Ступайте, капитан. — Сергей Александрович дождался, когда выйдет Николай Олексин, сурово глянул на Власовского: — Не болтать. Вы поняли меня? Не болтать! Действуйте.

3

В десять утра хлопнула дверь, донесся не то вздох, не то всхлип, и Василий Иванович Немирович-Данченко понял, что кухарка вернулась с Ходынского поля. Закрыв рукопись статьи о торжественном представлении в Большом театре — писать пришлось допоздна, а доделывать уже с рассвета — и сменив халат на домашнюю куртку, он прошел в кухню. Кухарка готовила завтрак на таганке и — странно — не отозвалась на его пожелание доброго утра.

— Ну что же, получила кружку? — спросил Василий Иванович, когда она стала молча накрывать на стол.

— Какая уж там кружка, барин! — судорожно всхлипнула она. — Не до кружки тут. Еле ноги уволокла, спаси Господи!

— Что ж, давка?

— Господи, Боже ты мой! — Кухарка перекрестилась. — Задавили, батюшка-барин, столько… Царствие им небесное!

— Сама видела?

— Да передо мной, как вот у порога, бабу вытащили, как есть, мертвую, всю, как есть, в клочьях…

— Ну уж…

— Тысячи людей подавили, барин! — выкрикнула кухарка и вновь истово перекрестилась. — Такая свалка, что только и думала я, как бы живой оттудова выбраться…

Она бормотала что-то еще, но Василий Иванович уже не слушал ее, без вкуса прихлебывая кофе. Беспокойное, муторное чувство уже закралось в душу, и он уговаривал себя, что погибшие, по всей вероятности, есть, но есть и обычное преувеличение трагедии, столь свойственное простому народу.

С этим чувством он и вышел из дома. Во двор только что въехал водовоз с большой водовозной бочкой.

— Ты что, не ходил на гулянье?

— Ходил.

— Что ж так быстро вернулся? Или неинтересно тебе?

— Я давно вернулся. А в себя так час назад только пришел.

Водовоз говорил неохотно, каждое слово приходилось тащить из него клещами.

— А что так?

— Так в толпу попал, барин, — вздохнул водовоз. — Понял, что ждать придется долго, решил

выбраться, а она вдруг двинулась. Толпа-то. Я назад, я вправо, я влево, ан нет мне места нигде. Да Бог, видно, спас. Уперся я против движения-то и стою. Уж и били меня, и давили, и ругмя ругали, а я все одно — как столб. Вытерпел, а поредело малость, так и в Москву поплелся.

— Задавленных видел?

— Троих самолично. Одному на спину наступил, прости ты меня, Господи…

— Когда толпа, говоришь, двинулась?

— Кто его знает. Солнце еще низкое было. Может, часов в пять или в шесть.

— Так ведь раздача угощения была на десять назначена!

— Не знаю, барин. — Водовоз глубоко, медленно вздохнул. — Я и сейчас ничего не знаю. В голове у меня мутит…

И снова принялся наполнять ведра, думая о чем-то другом и видя перед собой что-то совершенно иное.

Василию Ивановичу нужно было заехать в корреспондентский пункт и на телеграф, чтобы отправить две статьи в Петербург. В этих официальных местах о трагедии на Ходынке ничего толком не знали, но слухи докатились и сюда:

— Слышали?

— Тысячи, говорят…

— Да бросьте вы!

У телеграфа подметал тротуар дворник без шапки, хотя не принято то было, непозволительно даже. Но он, как показалось Немировичу-Данченко, даже не понимал, что на нем нет шапки. Он плакал.

— Что с тобой?

— Да бабы моей все нету и нету. — Дворник ладонью вытер залитое слезами лицо. — Все, кто с нею ходил, вернулись, а ее — нету. Потерялась, говорят. Ах, Господи, да как же человек потеряться-то может? Ведь не пятак же…

Василий Иванович постарался побыстрее переделать все свои неотложные дела, потому что беспокойство в душе росло. Источник этого беспокойства был сейчас далеко от него, увидеть что-либо собственными глазами не представлялось пока возможным, а к слухам он, опытный корреспондент, давно уже относился с большим недоверием.

Это профессиональное недоверие смущало, многое ставило под сомнение, мешало непосредственным ощущениям. Он обратил внимание на большое движение в городе, странное для праздничного дня, когда не работали даже мелкие

лавки. Навстречу все время шли люди, навстречу, с Ходынки, а не к ней. Шли молча, со строгими безулыбчивыми лицами, не глядя по сторонам, а чаще уставясь в землю. Ситцевые узелочки с подарками он заметил у двух-трех, не более, может быть, потому, что в глаза бросалась какая-то измятость, что ли. Измятость одежд, фигур, лиц, походок наконец. «Пьяные, что ли?.. — размышлял Василий Иванович, еще не решаясь представить себе возможные размеры трагедии. — Да нет, не похоже. Может, праздник отменили?.. Конечно, давка там вполне возможна, и большая давка, но...» Но следовало увидеть все собственными глазами, побеседовать с непосредственными участниками возможной трагедии, а времени не было. По корреспондентским своим обязанностям он должен был лично присутствовать при всех выходах государя в народ, а именно таковое предусматривал сегодняшний распорядок.

Вот почему он избегал теперь расспросов, а то, что видел с пролетки, немедленно подвергал всесторонней критике не потому, что этого как бы «не могло быть», а потому, что не хотел создавать некий образ события до того, как мог детально с ним ознакомиться. Мысленно он все время твердил себе, что все слухи — невольное,

вполне естественное, но в то же время и бессовестное преувеличение реального несчастья, столь свойственное русскому человеку, особенно в торжественные дни: он называл это «компенсацией за личное неучастие». Так, встреченные им на Тверской пожарные дроги и бочки, а также несколько закрытых брезентом обозных военных фур с нестроевыми солдатами на козлах он тут же объяснил самому себе, как спешную вывозку не убранного вовремя строительного мусора с государевых глаз, упорно твердя себе: «Все пока объяснимо логически, все объяснимо».

Где-то около часу дня Василию Ивановичу удалось пробиться к Царскому павильону, расположенному напротив Петровского дворца, да и то только с помощью демонстрации корреспондентского значка. Подъехать к трибуне, где были определены места для корреспондентов, не удалось, пролетку остановили, и Немирович-Данченко встал в ней, чтобы сойти.

И… задержался, увидев вдалеке Ходынское поле.

Оно было закрыто сплошной стеной народа. Народ стоял и на обочинах Петербургского шоссе, куда только хватал глаз: и в сторону Москвы, и дальше, к селу Всехсвятскому, подковой охва-

тывая Ходынское поле. И душа его словно вдруг съежилась в предчувствии неминуемого страшного удара.

С этим ощущением нарастающей тревоги он и прошел на свою трибуну. Ранее прибывшие коллеги тут же окружили его.

— Знаете, что там, на Ходынке?

— Нет. А что?

— Несколько тысяч раздавлено.

— Ах, господа, господа, — вздохнул Василий Иванович. — Нам по долгу своей профессии по пальцам считать надобно, прежде чем такое говорить.

— Ну хорошо, но всмотритесь в лица простонародья. На лица внимания не обращали, Василий Иванович? — наседал бородатый экспансивный корреспондент «Московского листка». — Они же все измученные, угнетенные какие-то. Ни одного веселого не встретил! И это — в праздничный день!

— Можно подумать, коллеги, что вы вчера прибыли из Парижа. — Немирович-Данченко опять вздохнул: не дышалось ему что-то, не дышалось. — Я веселых лиц тоже не видел, но измученных, угнетенных… Помилуйте, коллеги, русский человек гораздо глубже такого евро-

пейского определения. Он настолько выносли в, настолько терпелив и способен долго и упорно сдерживать все свои чувства, что даже в трагические минуты выглядит равнодушным. А что в этот момент в душе его творится, одному Богу ведомо. Ему куда более свойственна азиатская невозмутимость, нежели галльская темпераментная непосредственность, которой грешат многие из нас.

Трибуны были уже почти заполнены публикой. Пестрели нежными пастельными тонами дамских нарядов, ярко выделявшихся на фоне темных фраков, сюртуков и парадных мундиров. Легкий говор колыхался над ними, как ветерок, перед трибунами стояла молчаливая толпа, а позади ее — три оркестра и тысячеголосый хор. На вышку перед павильоном уже поднялся дирижер — директор Московской консерватории Сафонов, — отдававший в рупор последние распоряжения. А еще дальше — опять народ, но уже стоящий спинами к трибунам и павильону. И над ним — густое облако пыли, сквозь которое смутно проглядывали очертания балаганов и эстрад.

— Здравствуйте, Василий Иванович, — тихо сказали сзади.

Немирович-Данченко оглянулся. Перед ним

стоял весьма пожилой знакомый фельетонист с непривычно серым, измученным и каким-то потерянным лицом.

— Что с вами, Егор Платонович? Нездоровится?

— Час назад от буфетов вернулся. Они — левее, не видны отсюда. Вот беда-то, вот беда!..

От этих слов, произнесенных просто и искренне, Василия Ивановича обдало морозом по спине.

— Много погибших?

— И до сей поры более полутысячи возле тех буфетов лежат. — Фельетонист достал платок, отер вдруг выступивший на лице пот.

— Полутысячи?..

— Не до счета мне было, не мог я счета вынести.

От Москвы донеслось далекое «Ура!». Оно делалось все громче, перекатами приближаясь к Петровскому дворцу. На трибунах все встали и тоже подхватили «Ура!», но царский поезд свернул с шоссе на боковой проезд, ведущий к Петровскому дворцу.

— Прибыл, — вздохнул фельетонист и начал пробираться к своему месту.

Император и императрица появились на балконе второго яруса Царского павильона минут

через десять. Тотчас же с новой силой грянуло «Ура!», оркестр заиграл гимн, подхваченный тысячегласным хором и повторенный дважды. Когда гимн закончился, государь как-то не очень уверенно поднял руку, но так ничего и не промолвил, и дирижер Сафонов тут же отдал команду исполнить «Славься».

— Он не будет говорить, — шепнул сзади коллега. — Идемте к Петровскому дворцу.

Корреспонденты осторожно, по одному пробирались к воротам Петровского дворца, где уже выстроились депутации. Тихо переговаривались, переминаясь с ноги на ногу. Минут через пятнадцать появилась открытая коляска, из которой вышел государь.

Василий Иванович не вслушивался в речи депутатов. Он стоял близко, за их спинами, не отрывая глаз от императора. Видел землистый, нездоровый цвет его лица, растерянные, совершенно отсутствующие глаза, неуверенные, словно кукольные жесты. «Не по размеру тебе шапка Мономаха…» — вдруг подумалось ему, и он испуганно оглянулся, точно кто-то мог прочесть его мысли.

— Императрица и я сердечно благодарим… Не сомневаюсь… Наше спасибо…

Тихий голос государя еле доносился до корреспондентов, которые, впрочем, и не слушали его, потому что все сегодняшние речи, как всегда, были выданы им на руки в корреспондентском пункте вместе с пропусками во двор Петровского дворца, где должен был состояться обед для волостных старшин в присутствии Их Императорских Величеств. Часть корреспондентов уже потянулась туда, а Василий Иванович задержался. Ему вдруг стало неинтересно ни слушать, ни смотреть. И как только государь пошел к дворцовым воротам, незаметно отступил назад, а потом быстро вернулся к трибунам.

Трибуны практически опустели, шел усиленный разъезд экипажей. Ощущение расстроенного праздника уже охватило Немировича-Данченко, окончательно лишив его всех иллюзий. Он прошел на поле, молча показал полицейскому чину на свой корреспондентский значок и, взяв чуть левее, перелез через канаты.

4

Василий Иванович оказался на самом гулянье, о котором, впрочем, напоминал лишь хор цыган, с визгом исполнявших что-то надрывное, да — правее, ближе к Всехсвятскому, — полко-

вой оркестр, безостановочно игравший вальсы. Слушателей было немного. Большей частью они сидели небольшими группами на пыльной траве, скорее с отсутствующими, нежели заинтересованными лицами. Впереди, на площадке перед балаганами, людей было достаточно, там тоже гремела музыка. А левее, где начинался ряд буфетов, народу, как казалось, и вовсе мало, больше — солдат, и Василий Иванович свернул туда, помня слова фельетониста, в которых не усомнился. И чем ближе подходил, тем отчетливее видел, что дощатые буфеты эти порядком изломаны.

На подходе к ним ему встретилась группа из двух мужчин и женщины. Они выглядели усталыми и помятыми, на женщине было разорвано платье, а рослый мужчина оказался без шапки. Все трое скучно жевали ситный, запивая квасом, и никакого «гуляльного» настроения в них не чувствовалось.

— За подарками ходили?

— Что проку-то? — вздохнула баба. — Только бока намяли.

— Кабы не он, — худой мужик указал на рослого, без шапки, — не видать бы мне бабы своей. Как завертело нас, как понесло, так я ее и потерял. Ну, думаю, как-то выбираться надо. Как выбрался, не

помню, барин, упал вот тут, недалече, замертво. И болит все, ну все нутро болит, и дышать не могу. Очухался, а надо мною, значит, жена, баба моя. И — вот, Федор. Спас он ее, значит.

— Хорошо, нас на буфеты не понесло, а то бы и не выбрались, — хрипло пояснил рослый. — Стал обратно выдираться — на ее вон нанесло. Уж и не орет, стонет баба, совсем, видать, задавили ее. Как ее меж собственных рук сунул, уж и не помню, а только руки у меня здоровые, ломовой извозчик буду. Слава богу, выткнулись как-то и на землю попадали.

— Порознь возьми каждого — человек, как все люди, — сказал худой. — А в такой численности нам без управы нельзя оставаться. Никак невозможно нам без управы.

— И что это с людьми только делается, Господи?.. — опять горестно вздохнула баба.

— Звереем, — угнетенно покачал непокрытой головой ломовик и тяжело вздохнул.

— И с той поры здесь сидите?

— Так сил покуда нет, барин. Хлебушка пожуем да поспим, поспим да пожуем. Спасибо добрым людям, хлебушка да квасу дали.

— Что ж, совсем без денег на гулянье шли?

— Да была мелочь какая-никакая, так упокой-

никам отдали. Им теперь все, что только отдать можно.

— И потому еще не уходим, — сказал ломовик. — У буфетов вона сколько еще неприбранных, что за нас погибель приняли. Совесть нам уйти не дозволяет, покуда не определят их.

Василий Иванович достал три рубля, протянул бабе:

— Купи мужикам водки, хлеба да колбасы. Обессилели они.

— Спасибо тебе, барин хороший, — всхлипнул худой. — Спасибо, добрый ты человек…

Вокруг — редко, небольшими кучками — сидели такие же. Помятые, изодранные, обессилевшие. И чувствующие себя виноватыми перед теми, кто все еще лежал у буфетов. Не могли они их оставить, никак не могли, совесть им не позволяла оставить покойников, «покуда не определили их».

— Пришла голубка-богомолка, может, за сто верст, смерть свою мученическую, стало быть, найти…

— А помнишь, одна, худенькая такая, кричит: «Не могу больше, сил моих нету…»

— И доселе крик ее слышу.

— А кто виноват? Да я, видать, и виноват! Мне

бы хоть на палец сдвинуться, так некуда же. Некуда!..

— Живые завсегда виноваты, живые. Те, что лежат, те ни в чем не виноваты. За нас всех, стало быть, смерть лютую приняли.

«Господи, Господи, — с отчаянием думал Василий Иванович, шагая мимо них к буфетам. — Ну в какой стране, в каком царстве, в народе каком такое возможно?..»

— Кто, стало быть, споткнулся, тот и пропал.

— Как в жизни, брат.

— В жизни оно не так, в жизни выбор есть. А в толпе… Я вон кого-то локтем оттолкнул, что было силы оттолкнул и, может, погубил. По гроб тычка этого не забуду, по гроб собственный…

У буфетов народу стояло погуще, но — тихо. Слышались только всхлипывания да шепот. Василий Иванович осторожно протолкался вперед и — замер.

У самых ног его лежало до двух десятков трупов.

С темно-багровыми, почти фиолетовыми лицами, с дыбом поднятыми волосами. Запекшаяся, прибитая глинистой пылью кровь виднелась под ноздрями, в ушах, у уголков рта, но глаза у всех были уже закрыты. Платье на всех, без

исключения, было изодрано в клочья, в пыли и грязи, почему все и выглядели одинаково нищими. И у каждого трупа на груди — кучки медных денег, последняя жертва. Василий Иванович порылся в карманах, достал горсть монет, низко склонившись в поклоне, высыпал на чью-то продавленную грудь…

— Господи… — судорожно выдохнул за его спиной женский голос. — За что ж ты нас, за что, Господи…

Василий Иванович тихо подался назад, вышел из толпы, оглянулся на линию буфетов. Длинную, с добрую версту… «Что же, у каждого буфета такое?..» И только подумал, как в его от ужаса заложенные уши вновь ударил цыганский надрывный мотив. «Праздник, — припомнилось ему. — Народное гулянье в городе Москве».

Он прошел с десяток буфетов и подле каждого встречал груды трупов. Те же черно-фиолетовые лица, та же изодранная одежда, те же последние медяки на груди. Считать было ни к чему да и не нужно: то, что он увидел, выходило за рамки статистики, не умещалось в ее столбцах. Через разбитый буфет он вылез на другую сторону, тыльную, обращенную к длинному оврагу. И здесь были люди и трупы, и все пространство

усеяно клочьями рубах, платьев, чуек, изорванными сапогами, шляпками, зонтиками. Василий Иванович подошел к краю обрыва, заглянул в него и обомлел.

Овраг был заполнен трупами. Может быть, до него еще не добрались похоронные команды, потому что он был не виден с Царского павильона и трибун для публики, может быть, в него даже сбрасывали покойников, торопливо очищая площадь для гулянья, а только было там, как на поле только что отгремевшего сражения. И живые, как похоронная команда, бродили среди мертвых, с ужасом заглядывая в лица, робко надеясь, что их близких здесь нет.

Он не смог спуститься в овраг. Не смог, и заставлять себя не стал. У него уже сложилась общая картина, да и деталей к ней было вполне достаточно. Он думал, что достаточно, а потому и решил вернуться на площадь, к балаганам, где играла музыка и неутомимо выступали артисты. Нашел свободный проход между буфетами, шагнул в него и… и остановился вдруг, точно наткнувшись на стену.

Под его ногами, в пыли лежала толстая пшеничная коса. Василий Иванович с трудом присел в тесном проходе, поднял ее… и вместе с нею

из притоптанной пыли появился кусок кожи с головы, уже высохшей на жаре.

Это был скальп. Скальп, сорванный с живого человека. Скальп, который он узнал, вспомнив, как совсем недавно взвешивал косу на ладони. «Ты одна тут, Феничка? — Кажется, он произнес эти слова вслух. — А барышня твоя где? С тобой была барышня?..»

Никто ему не ответил. Он выпрямился с косой в руке, но пошел не вперед, а попятился назад, к оврагу, точно тело Фенички все еще лежало перед ним в узком промежутке между буфетами. А выбравшись, бережно завернул косу в газету и спрятал во внутреннем кармане широкого американского пиджака.

И вовремя, потому что сзади раздался глухой стон. Василий Иванович оглянулся и увидел мужчину лет сорока, по всей видимости, артельщика, в фуражке. Он только что вытащил из соседнего межбуфетного проема тело молодого парня, перевернул его…

— Нет, не он, не он. — Артельщик глянул на Василия Ивановича, жалко, потерянно улыбнулся. — Сына ищу. Николку… — Он вгляделся. — Барин, никак, это вы? Николка мой вашей барышне каблук чинил, помните? Дюжину пива вы…

Корреспондент шагнул к нему:

— Ты?..

Крепко обнял, прижал к груди:

— Ищи, отец, ищи. Не может так быть, не может. Хватит с нас, хватит…

— Значит, тоже ищешь? — шепотом спросил артельщик. — Дай тебе бог. Дай тебе бог…

И пошел. А Василий Иванович вдруг ощутил ослепительный взрыв в душе. От этого безмолвного взрыва хотелось орать, что только было сил, ломать все вокруг, выпустить в небо все пять патронов из бульдога, который он всегда носил с собой, учитывая особенности профессии. И еще — боль. Сначала острую, будто пронзившую насквозь, а потом тупую, ноющую. Он пошарил в карманах, но папирос не было: он вообще курил редко. Увидел впереди мужиков, подошел:

— Нет ли закурить, братцы?

— Так махорки разве?

— Спасибо. Только сверни сам, руки у меня дрожат что-то.

— С нашим удовольствием, барин.

Свернули и прикурили даже. И отдали горящую, стреляющую во все стороны… Василий Иванович несколько раз глубоко затянулся, и боль отпустила. И направился к балаганам.

5

Здесь выступали жонглеры, акробаты, гимнасты, силовики жонглировали двухпудовыми гирями. Время от времени появлялся клоун Дуров смешить публику, уходил передохнуть и вновь возвращался. А публика все не смеялась. Сидела большей частью на земле, тихая, оборванная, помятая, а Дурову так хотелось, чтобы хоть кто-то отвлекся от виденного и слышанного, чтобы хоть кто-то улыбнулся.

Василий Иванович знал клоуна Анатолия Леонидовича. Хотел перемолвиться с ним, расспросить, что он застал, когда пришел сюда, что видел, что слышал. Еще на подходе он понял, что Дуров работает из последних сил, почему часто и уходит в балаган перевести дух. И остановился чуть в стороне, чтобы не мешать артисту, а пройти за ним, когда он закончит очередное выступление.

И Дуров его приметил, но вида не подал: номер следовало закончить чисто, профессионально. Но работая, постепенно сдвигался к нему, а потом уронил надутый, ярко раскрашенный бычий пузырь, стал смешно ловить его, кувыркаясь и падая, и подобрался к Василию Ивановичу.

Промахнулся с пузырем в очередной раз, схватил вместо него Василия Ивановича за ногу, стиснул.

— Здравствуй, Анатолий Леонидович, — шепнул Немирович-Данченко, наклонившись к нему.

— Под балаганом — женское тело… — задыхаясь, тихо сказал клоун. — В неглиже. Белье кружевное, Василий Иванович. Сейчас не глядите, я публику в другой конец отвлеку…

И дурашливо заверещал, гоня размалеванный пузырь в противоположную сторону.

Василий Иванович, сделав вид, что поправляет смятые клоуном брюки, нагнулся, заглянул под нижний венец балагана и сразу же увидел маленькое, жалкое тело в кружевных панталончиках. Что-то вновь ударило его в сердце — может, Феничкина коса. Он задохнулся, выпрямился, оглянулся кругом и увидел двух солдат поодаль: что-то они сгребали с земли на носилки.

— Офицера ко мне! — крикнул он. — Живо!..

Один из солдат послушно побежал за офицером, а оставшегося Немирович-Данченко поманил к себе:

— Двуручную пилу, лом, лопаты. Быстро!..

И второй убежал. А к Василию Ивановичу уже спешил молоденький, исполненный чрезвычай-

ной важности подпоручик.

— Женщина под балаганом. Прикажите немедленно достать и пошлите за врачом.

— Тут под каждым балаганом… Да что там, под каждым ларем мертвые попрятаны, господин… Прощения прошу, не знаю, с кем имею честь. Кончится гулянье, всех в морги развезем.

— Я прошу немедленно…

— Не мешайте работать.

— Служить надоело? — У Василия Ивановича вдруг перехватило горло. — Так я помогу вам из армии вылететь. С треском, ко всем чертям!.. Старшего сюда!

— Господин капитан! — закричал подпоручик, вмиг став испуганно-серьезным. — Господин капитан, сюда пожалуйте!..

К ним уже бежал, гремя шанцевым инструментом, солдат. Следом устало поспешал молодой капитан в насквозь пропыленном парадном мундире.

— В чем… Господи, Василий Иванович?

— Здравствуй, Коля. Там… — Василий Иванович ткнул в балаган задрожавшим вдруг пальцем. — Там — женщина. Кажется, это… Она это, Николай. Она, по боли чую.

Капитан странно посмотрел на него, присел,

заглянул. Выпрямился, запыленное лицо бледнело на глазах.

— Что же это, Василий Иванович? Да почему же здесь?..

— Вели вытащить. Пошли за врачом и пролеткой. Может, жива еще. Может, жива…

Немирович-Данченко без сил опустился на землю. Он смотрел, как солдаты споро расширяют лаз, как Николай, отодвинув их, протискивается под нижний венец балагана. Смотрел и не видел: плыло все перед глазами. Увидел только тогда, когда из-под балагана показалась женская голова со спутанными, дыбом стоящими, забитыми желтой глинистой пылью когда-то темно-русыми волосами…

К тому времени, как Надю вытащили, подоспевшие солдаты уже стали в заслон перед публикой и прибежал пожилой усатый фельдшер. Рванул на девичьей груди остатки кружевной рубашки, припал мохнатым ухом.

— Что? — задыхаясь, спрашивал Николай. — Жива ли? Чего молчишь?..

— В больницу, — сказал фельдшер, поднимаясь. — Жива покуда, ваше благородие. Сердечко бьется. Еле-еле, но бьется.

Василий Иванович тяжело поднялся, снял

пиджак, прикрыл избитое, все в синяках и кровоподтеках, почти обнаженное тело. Николай глянул на него странным отсутствующим взглядом, метнулся к разрушенной карусели, обломки которой были накрыты остатками цветного шатра, в два взмаха вырубил саблей большой лоскут. Воротясь, завернул в лоскут сестру и, подхватив на руки, побежал навстречу пылившей от Петербургского шоссе пролетке.

Глава девятая

1

Поздно ложась спать, Варя поздно и вставала: завтрак ей подавали в постель не раньше двенадцати. И Роман Трифонович позволил себе подняться на час позже: в восемь вместо обычных семи. Попивая крепкий кофе, просматривал бумаги, которые по утрам лично доставлял старший конторщик. Так уж было заведено: Хомяков на работе не щадил ни себя, ни своих служащих. А дворецкий Евстафий Селиверстович Зализо обычно стоял рядом, опытно — не под руку, не в момент чтения — докладывая дела домашние.

— Барышню и ее горничную с вечера не видел, не спускались они, Роман Трифонович.

— Не буди, пусть обе отоспятся, молодые еще. Набегались в коронацию.

Евстафий Селиверстович степенно склонил голову.

— Видать, крепко спят с устатку-то. И грохот не разбудил.

— Ну, я-то как раз от грохота и проснулся.

— В семь часов сорок пять минут все пожарные

части подняли по общей тревоге.

— Пожар, что ли?

— Узнавал. Пожаров нет, на Ходынское поле помчались. Говорят…

— Чего замолчал? — усмехнулся Хомяков.

— Слух непроверенный, потому и замолчал. Так что, как изволите.

— Ну и что за слух?

— Говорят, несчастье там большое, — понизив голос, сказал Зализо. — Людей подавили, говорят.

— Много?

— Говорят, небывало как.

— Любим мы преувеличивать. — Роман Трифонович подписал три письма, вложил в конверты. — Скажешь посыльному, чтобы развез по адресам. У меня — две деловые встречи. Вернусь к четырем.

Встречи были следствием вчерашних антрактных знакомств, которые следовало закрепить. Обе прошли удачно, Хомяков был доволен и возвращался домой в начале пятого с улыбкой.

У особняка растерянно топтался молодой человек в тесноватом гимназическом мундирчике.

— Ваня? Добрый день. Надюшу ждете?

— Мы утром условились встретиться, но их нет

до сих пор.

— Проспала, вероятно. Проходите, сейчас разыщем.

— Трупы видел, Роман Трифонович, — тихо и очень озабоченно сказал Ваня, когда они шли к подъезду. — Целый воз трупов. Синие все. И оборванные какие-то.

— Целый воз?

— Говорили, что с Ходынского поля.

— Не сообщайте этого дамам.

— Как можно, Роман Трифонович…

— Нади нигде нет, — вместо приветствия сказала Варя, едва заметив почтительно поклонившегося Каляева. — Ни ее, ни Фенички.

— И не завтракала?

— Их никто не видел. — В голосе Вари уже слышались нотки тревожного раздражения. — Понимаешь, никто.

— Проходите в гостиную, Ваня. — Роман Трифонович проводил неожиданного гостя и тотчас же вернулся. — Она говорила, куда собирается идти?

— Она ничего мне не говорит. — Варя нервно ходила из угла в угол. — Избаловал девчонку. Непозволительно избаловал.

— Где же она может быть? — озадаченно спро-

сил Хомяков.

— Да где угодно. Даже на Ходынском поле.

— Ну уж… Уж это слишком. — Роман Трифонович, не глядя, нащупал кресло и обессиленно опустился в него. — Нет, нет, Варенька, этого не может быть. Не может…

Они глянули друг на друга, столкнувшись ищущими ответа напряженными глазами. И сразу поняли: может. Может и так быть. Вполне укладывается в ее характер. Захотела — и пошла. Просто под воздействием вдруг возникшего желания. Поняли и замолчали. Варя села в кресло напротив, и молчали они долго. Потом Хомяков вдруг сорвался с места и ринулся в малую гостиную, где в одиночестве маялся Каляев.

— Надя не говорила, куда намеревалась сегодня пойти?

— Нет, — несколько растерянно сказал Ваня. — Я с нею давно не виделся. А Феничка сказала, чтобы я ждал их у памятника Пушкину. Я с одиннадцати жду. А почему вы спрашиваете?

— Нету ее нигде, — растерянно сказал Роман Трифонович. — С утра никто не видел…

Распахнулась дверь, и в малую гостиную без доклада вошел Василий Иванович в пыльных брюках, пыльном пиджаке.

— Надя в больнице Пирогова, — сказал он. — В хирургическом отделении. Передал с рук на руки старшему врачу Чернышеву Степану Петровичу.

— Жива?.. — сдавленно и почему-то очень тихо спросил Хомяков.

— Без сознания. — Немирович-Данченко рухнул в кресло. — Врач просил Варю приехать, кое-что привезти. Список я ей вручил, помчалась переодеваться. Дай закурить, Роман.

Роман Трифонович бросил на стол золотой портсигар и быстро вышел. Василий Иванович достал сигару, прикурил. Посмотрел на замершего, побелевшего, как простыня, Каляева, сказал резко:

— Сядь! Не маячь перед глазами.

Ваня послушно сел напротив, не отрывая взгляда от хмурого усталого корреспондента. Василий Иванович курил сигару как папиросу, по всей вероятности, даже не замечая, что он курит.

— Это вы ее нашли? — робко спросил Каляев.

— Что?.. Да.

— В больнице?

— Нет.

Бесшумно вошел Евстафий Селиверстович:

— Роман Трифонович и Варвара Ивановна уехали. Просили их обождать.

— Вели водки подать да чего-нибудь перекусить.

Зализо молча поклонился и вышел.

— В куске балаганного брезента, — вдруг сказал Василий Иванович. — А больницы переполнены, раненые в коридорах лежат. Символ какой-то, что ли? Знамение?..

— Прошу, — сказал дворецкий, открыв двери, ведущие в буфетную.

В буфетной на столе уже стояли холодные закуски и графин водки. Они сели, и Зализо сам наполнил рюмки, поскольку ни буфетчика, ни кого-либо из прислуги не было.

— Принеси рюмку и налей себе, — хмуро сказал Немирович-Данченко.

— Я на службе, Василий Иванович, — с достоинством отказался Евстафий Селиверстович.

— Ты на службе, а Надежда — при смерти!

Зализо послушно принес такую же рюмку. Корреспондент лично наполнил ее и встал. И молчал. И остальные тоже встали и тоже молчали.

— Господи, не верил я в Тебя, как должно, в гордыне своей и суете! — с надрывом выкрикнул вдруг Василий Иванович. — Но если Ты есть, Господи, не допусти! Не допусти, Господи, гибели ее. Лучше нас, нас троих порази громом своим,

не ее!..

Одним махом опрокинул рюмку, рухнул в кресло, закрыл лицо ладонями. И Зализо с Каляевым выпили до дна водку и тоже молчали. Потом Василий Иванович отер лицо, вздохнул:

— Простите и за театральность, и за экстаз. Только я ее на руках вез, ухом к груди припав, а сердечка ее так и не услышал. А теперь слушайте, как нашел, мне выговориться надо, а то изнутри разорвет. И ты не уходи, Евстафий.

Он не мог рассказывать без подробностей, потому что подробности тоже рвали душу его. Но говорил живо и емко, кончив тем, как гнал лихача по Москве, держа в объятьях маленькое, почти невесомое тело, завернутое в балаганный лоскут.

— А больницы переполнены, не берут нигде. А если берут, так разве что в коридор. Слава Богу, в Пироговке палату нашел. Ешь, Ваня, ешь. Из белого в красного превратился, а есть надо. И мне надо, хотя не хочется. — Немирович-Данченко наполнил рюмки. — За то, чтобы верить. Верить. Всегда, чтобы верить даже в то, во что уж и не верится.

— Простите, господа, — тихо сказал Евстафий Селиверстович и вышел.

— Ешь, Иван, ешь, — бормотал Василий Иванович. — Но больше не пей. Молод еще.

Евстафий Селиверстович очень любил Наденьку и очень не любил, когда в доме нарушался порядок, созданный в основном его руками. От этого противоречия ему было вдвойне не по себе, и все же он куда больше страдал и терзался из-за несчастья с Надей, нежели из-за нарушенного порядка, следить за которым надлежало именно ему. И еще он думал о Феничке, о которой так никто пока и не вспомнил, но которая — Зализо был убежден в этом — сопровождала свою барышню на Ходынское поле. Спросить о ней Немировича-Данченко он постеснялся — да и не время было, совсем не время! — но судьба молоденькой горничной очень его тревожила.

Хомяков вернулся без Варвары, но с Викентием Корнелиевичем, с которым столкнулся у подъезда. Там же он и выложил о Наденьке все, что знал («Жива, слава богу, жива, но пока без сознания…»). Вологодов выслушал молча, только странно вздернул подбородок да еще больше выпрямил спину, и без того прямую, как казачья пика. Молча прошел в дом вместе с хозяином.

— А где Варвара?

— Там осталась, — сказал Роман Трифонович. —

В палате торчать будет, пока врач не прогонит. Олексины все такие.

Потом все почему-то оказались в буфетной. Пили водку, закусывая тем, что было, и никому в голову не пришло спросить что-нибудь иное. Василий Иванович еще раз с совершенно ненужными сейчас подробностями рассказал, каким чудом нашел Наденьку, а о Феничке опять так никто и не вспомнил.

— Надеюсь, государь отменит сегодняшний бал у французского посла, — сказал он, подведя тем итог ходынской трагедии.

— Как бы не так, — судорожно, с усилием усмехнулся Викентий Корнелиевич, упорно молчавший до сих пор. — Я имею некоторое служебное касательство именно к этому балу. Два часа назад докладывал о порядке его великому князю Сергею Александровичу и позволил себе попросить Его Высочество осторожно порекомендовать государю отменить на сегодня и завтра все коронационные торжества и объявить общероссийский траур. Заорал великий князь, чуть ногами на меня не затопал: «Ничто не может помешать отрадному празднованию священного коронования!»

— Я… Я убью его! — вдруг закричал Ваня. — Я

убью это бессердечное ничтожество, убью!..

По раскрасневшемуся лицу текли слезы. Роман Трифонович обнял его за плечи, ласково приговаривая:

— Убьешь, Ваня, непременно убьешь, а сейчас успокойся. Евстафий, уложи его спать.

Евстафий Селиверстович увел разрыдавшегося Каляева. Мужчины продолжали сидеть в буфетной. Каждый сам себе наливал водку и пил сам, думая о чем-то своем или пытаясь что-то понять.

Вошел Николай в пыльном парадном мундире, едва успев сдать суточное дежурство.

— Всех погибших вывезли? — спросил Василий Иванович.

— Какое там, и до утра хватит. Как Надя?

Хомяков заново начал рассказывать, и все молча и очень внимательно слушали его.

— Куда тела свозят? В морги? — продолжал упорно расспрашивать Николая Немирович-Данченко.

— Приказано — в полицейские участки. В морги только тех, кто в больнице умер. Мне указано было в Пресненский участок возить, через Хорошево. Мой субалтерн-офицер доложил, что там уж два сарая набили до крыши.

— Поезжай домой, Коля, ты же еле на ногах

держишься, — вздохнул Роман Трифонович. — Скажи, чтобы коляску тебе заложили.

— Да не до этого сейчас…

— Делай, что велят, — перебил Хомяков. — Деток целуй, супруге привет.

Капитан распрощался и ушел. Все устало перебрасывались словами, пили водку, нещадно курили. Дым висел в воздухе, но не он мешал дышать. Совсем не он…

Неожиданно распахнулась дверь: в проеме стояла, напряженно выпрямившись, бледная Варвара.

— А мужчины конечно же пьют водку. Хлещут, как гусары, благо, предлог появился.

Хомяков, краснея, начал медленно подниматься с кресла, но Василий Иванович опередил его. Успел и вскочить, и подойти к Варваре, и достать из внутреннего кармана навсегда, казалось, пропыленного пиджака газетный кулек. Развернул его перед Варей.

— Вот наш предлог. Узнаешь?.. Все, что от Фенички осталось. Все, что осталось, видишь?

— Простите меня… — Шепот еле вырвался из перехваченного спазмами горла Вареньки. — Простите, господа. Нервы.

И сразу же вышла. И все бы кончилось спокой-

но, да Хомяков взревел вдруг:

— К черту! Евстафий, вели в биллиардную водки побольше! На зеленое сукно! Там моя территория!

Его пытались урезонить, но Роман Трифонович продолжал орать, расшвыривая кресла. Тогда все пошли вниз, полагая, что там он, может быть, успокоится.

— Извините его, Викентий Корнелиевич, — тихо сказал Зализо. — Уж очень сильно Наденьку любит.

— Я его понимаю, — горько улыбнулся Викентий Корнелиевич. — Я и сам закричать готов. Застенчивость не позволяет…

2

А коронационные торжества продолжались в полном соответствии с высочайше утвержденным расписанием. На следующий день после развеселого народного гулянья на Ходынском поле государь и государыня почтили своим присутствием обед для сословных представителей, имеющий быть в Александровском зале Кремлевского дворца, где изволили пригубить шампанского, а вечером посетили временную резиденцию австрийского посла, дававшего бал

в честь Их Величеств. Это почти маниакальное следование предписанным расписанием празднествам озадачило Европу, и в дерзкой французской прессе («Что же вы хотите, господа, республика...») даже промелькнули статьи о загадочной русской душе, как ни в чем не бывало продолжающей отплясывать при забитых до отказа московских моргах. Ну а на что, собственно, иное можно было списать свинцовое равнодушие российского венценосца, кроме как на загадочность, не требующую ни нравственных размышлений, ни моральных оценок? Загадочность, она и есть загадочность, только и всего. Этого европейскому обывателю оказалось вполне достаточно, и ничто более никого не смущало.

Никого, кроме москвичей. Отцы, матери, братья и сестры, тихие от испаряющейся с каждой минутой надежды, молчаливыми толпами бродили по больничным моргам да полицейским участкам, упорно разыскивая меж растоптанными, задушенными и раздавленными трупами то, что осталось от их родных, близких и просто знакомых.

А Роман Трифонович пил всю ночь на зеленом биллиардном сукне. Запоями он не страдал, да это, конечно, и не было запоем, хотя пил он в

полном одиночестве, так сказать, сам с собой, отправив Василия Ивановича вслед за Ваней Каляевым спать; Вологодов ушел домой, обещав появиться утром. Это было никчемной попыткой унять боль и страх за Надежду, утопить их в очередной рюмке, а не выйдет в этой, так уж в следующей непременно. И Хомяков понимал, что пьянка — безнадежная попытка, но ничего уже не мог с собой поделать. И упорно пил один, хотя верный Евстафий Селиверстович сидел тут же, ни на минуту не оставляя своего хозяина, которого искренне любил и которым столь же искренне восхищался.

— Я же Надюшку за доченьку считаю, Евстафий… — Слез не было, по душе они капали, не из глаз, и Хомяков только скрипел зубами. — С трех лет карапузиком у ног вилась, я ей каждый вечер сказки пушкинские читал.

Отлично постигший своего друга и благодетеля, Зализо слушал молча, то и дело подсовывая Хомякову под руку то ветчину, то сыр, то хоть хлеба кусок. Подобное нечасто, но все же случалось, начавшись в Болгарии добрых двадцать лет назад, когда Роман Трифонович в кровь избил собственного компаньона, поставившего под шумок в Скобелевскую дивизию гнилую муку.

Но тогда Хомяков пил со злым непрощающим смехом, а ныне — со слезами, которые никак не желали литься из глаз. И это особенно пугало Евстафия Селиверстовича.

— Избаловал, говоришь? Да я души в ней не чаю…

Наконец Роман Трифонович напился до краев и рухнул лицом в щедро политое водкой зеленое сукно. Дворецкий принес подушку и тулуп, оттащил вмиг провалившегося в сон хозяина на диван, уложил, укутал тулупом. А сам сдвинул два кресла и улегся в них передремать. Но сон не шел, потому что Евстафий Селиверстович все время с огромной тревогой думал о Наденьке и с глубокой скорбью — о Феничке, судьбу которой уже знал.

Около семи сквозь дрему он расслышал тихие голоса в прихожей и тотчас же поднялся наверх. Там Варвара с личной горничной Алевтиной готовились идти в больницу.

— Барыня завтракала? — тихо спросил он горничную.

— Разве что кофе пила.

— Захвати что-нибудь с собой.

— Вон, корзинка целая.

— Чего шушукаетесь? — не оглядываясь, спро-

сила Варвара.

— Напрасно поспешаете, Варвара Ивановна, — осторожно сказал Евстафий Селиверстович. — Не пустят вас в такую рань в палату никоим образом.

— Лучше там ждать, чем здесь маяться, — вздохнула Варя. — Как Роман?

— К завтраму протрезвеет, так полагаю.

— Присмотри, чтоб горячего поел.

— Уговорю. Когда вернетесь, если он спросит?

— Сегодня не спросит, ты же сам сказал.

Проводив хозяйку и потолковав с Мустафой о Феничке, Евстафий Селиверстович вернулся в биллиардную. Как ни осторожно он шел, а Хомяков все же проснулся: чуток второй пьяный сон в отличие от первого. Выполз из-под тулупа, прошел к столу, хватанул добрый глоток прямо из графина.

— Черт, теплая…

— Надо поесть.

— Сам знаю, что мне надо.

— Поесть, — негромко, но весьма упрямо наседал Зализо.

— Вот пристал. — Роман Трифонович схватился за сигару. — Ну, давай. Что там у тебя?

— Миска щей сутошных.

— К черту!

— Съедите, тогда и к черту пойду.

— Ладно. И огурцов соленых. Кадушку!..

Евстафий Селиверстович не настаивал ни на столовой, ни даже на буфетной: у Хомякова внезапно «взыграл ндрав», и «ндрав» этот приходилось учитывать. Наверху встретил Немировича-Данченко с Каляевым: оба были в халатах, прямо с постелей.

— Где наша одежда?

— Должно быть, уже почистили. Ступайте в биллиардную, там он. Щи сутошные подать?

— Щи — всегда хорошо.

Зализо велел все принести в биллиардную и спустился туда вместе с гостями.

— Доброе утро, — робко сказал Ваня, увидев хозяина.

— Водку пить будете? — хмуро спросил Хомяков вместо ответного приветствия.

— Я — да, он — нет, — сказал Василий Иванович, имея в виду Каляева. — У нас с Иваном тяжелый сегодня денек. Феничку пойдем искать по участкам.

— Феничку… — горько вздохнул Евстафий Селиверстович.

— Не надо бы ему, — буркнул Роман Трифо-

нович.

— Надо, — упрямо обронил Каляев.

— Ну гляди, паренек…

Варя тихо сидела на стуле у изголовья сестры, не отрывая глаз от ее бледного, осунувшегося — кожа да кости — лица. «Увезу я ее, — думала она, напряженно прислушиваясь к тихому дыханию Наденьки. — Как только поправится, как только разрешат врачи, сразу увезу. В Швейцарию, в горы. Тишина, чистый воздух, люди за грошовыми подарками не давятся. Купим там домик…»

Бесшумно открылась дверь, и вошли двое. Старший врач отделения Степан Петрович Чернышев и второй, Варе неизвестный. Беззвучно приблизившись, долго слушали, как Наденька дышит. Потом Степан Петрович поманил Варвару, и все трое вышли в коридор.

— Спит, — с облегчением сказал Чернышев. — Слава тебе, Господи.

— Ночью не спала, — пояснил второй, помоложе. — Я раза четыре заходил: глаза закрыты, но, вижу, не спит. А к утру молодость свое все же взяла.

— Когда вы мне ее отдадите, Степан Петрович?

— Через недельку возобновим этот разговор, Варвара Ивановна. Очень важно по возможности

восстановить ей сон, ну, и подлечить немного. Косточки у нее целы, но чудом истинным, так все в ней натружено и перемято.

— Дома мы создадим все условия…

— Нет, Варвара Ивановна, — сухо перебил Чернышев. — Здесь сама обстановка лечит, а дома она, не дай Бог, о горничной своей думать начнет, и я не знаю, куда это может завести ее психику. Ни в коем случае не будите ее, а когда сама проснется, попробуйте осторожно поговорить. Очень осторожно. Только не о Ходынке и не о горничной… Как ее звали?

— Феничка, — вздохнула Варя.

— Феничка… — почему-то эхом отозвался Чернышев и тоже вздохнул.

3

На заднем дворе Пресненской части ворота двух вместительных сараев были распахнуты настежь, а за деревянным столиком сидели двое степенных, уже в летах, городовых. И тотчас же дисциплинированно встали, как только Василий Иванович и Каляев приблизились к ним.

— Мы ищем девушку…

— Не отыщете вы у нас никого, господин хороший, — вздохнул выглядевший старшим. — Хоть

и распахнули мы ворота всем ищущим, а найти кого нет никакой возможности.

— Навалом лежат, — пояснил второй.

— Можно посмотреть? — вдруг спросил Ваня, собрав для этого всю свою решительность.

— Смотрите, коли желательно.

Каляев пошел к ближайшему сараю и остановился у порога, потому что шагать было некуда. По обе стороны прохода трехъярусные нары, предназначенные для ночевки загулявших фабричных и отсидки беспаспортных бродяг до установления их личности, были забиты трупами. Они плотно лежали друг на друге, и в проход свешивались только ноги, в большинстве — босые, в пыли и засохшей крови. Мертвые лежали и в проходе, и тоже друг на друге, и Ваня попятился к выходу.

— Там все забито.

— В каждом участке так, — вздохнул городовой.

— Что же нам делать? — спросил Василий Иванович.

— Через час-другой гробы сюда доставят согласно заявкам, — пояснил старший. — Мы их тут… кхм… заполним, а потом отвезем на Ваганьково кладбище, как приказано. Там их в ряд выставят,

тогда и опознать можно будет.

— При двух свидетелях, — подсказал второй.

— Желательно при двух свидетелях, — подтвердил старший. — Чтоб и в списки занести, и документ на похороны выдать по всей форме, как положено.

— Когда там процедура эта начнется?

— Аккурат к полудню мы должны управиться.

— Спасибо, служивые.

Они молча вышли с полицейского двора. Василий Иванович достал часы, щелкнул крышкой.

— Девять. Поехали в Пироговскую больницу. Надю навестим, с врачами, может, поговорить удастся.

Наденька проснулась около девяти: Варя поняла это по вздрагивающим ресницам. Но молчала, потому что молчала и сестра, по-прежнему не открывая глаз. «Не хочет со мной говорить? — с тревогой думала Варвара. — Или… или голос пропал?..» И, не выдержав неизвестности, тихо спросила:

— Наденька, ты меня слышишь? — Ресницы чуть дрогнули, Варя поняла, что сестра ее слышит, и очень обрадовалась. — Ты в больнице, Наденька, все позади. В Пироговке, в отдельной палате…

— Две тысячи, — вдруг еле слышно произнесла Надя. — Это просто для отчета. Это неинтересно, Феничка…

«Бред! — с ужасом решила Варвара. — У нее воспален мозг. Мозг… О Феничке тревожится, о Феничке!..»

— Наденька, родная моя…

Распахнулась дверь, и в палату друг за другом вошли врачи. Их было много, Чернышев явно решил устроить консилиум, и Варвара поспешно встала.

— Прошу вас выйти, — официально сказал Степан Петрович. — Необходимо посоветоваться с коллегами.

Варя вышла в коридор, где сидела горничная с корзиночкой на коленях.

— Как встали да забегали, забегали!.. — шепотом поведала она. — Кто в бинтах весь, кто йодом измазан… Может, перекусите, Варвара Ивановна?

— Потом. — Варя не могла сидеть и ходила по коридору взад и вперед. — Кажется, он психиатра на консилиум пригласил.

— Знать, прогневили мы Господа нашего, барыня, — вздохнула Алевтина и перекрестилась.

— Не болтай чепухи. Чем Наденька прогневить

могла? Еще и жить-то не начинала.

— Да не барышня. Россия. Пьем, ругаемся, деремся… Прошлый раз вы в Германию меня брали, так там нету такого. Нету. И Ходынки этой нету.

Наконец открылись двери палаты, вышли врачи. Чернышев проводил их, вернулся.

— Пройдемте в мой кабинет.

— Что-нибудь… неблагоприятное? — встревожилась Варя.

— Не в коридоре же нам разговаривать.

В кабинете Степан Петрович обстоятельно растолковал Варваре вердикт высокого консилиума: общая подавленность вследствие тяжелой травмы. Более психического и нервного свойства, нежели физического. Покой, уход, никаких волнений, врачебное наблюдение, общие успокаивающие.

— Может быть, увезти ее за границу?

— Пока преждевременно.

В коридоре подле Алевтины сидели Василий Иванович и Ваня. Варя пересказала им разговор со старшим врачом, вздохнула:

— Психика восстанавливается медленно, он предупредил. А если вообще полностью не восстановится?

— Окстись, Варвара, — недовольно проворчал

Василий Иванович. — Характер у Наденьки легкий, веселый, озорной даже…

Он говорил что-то еще, но Варя не слушала. Она в упор смотрела на Каляева, а потом вдруг перебила Немировича-Данченко:

— Ванечка, может, вы к Наденьке пройдете? На пять минут. Может, вас услышав, она глаза откроет?

Но и этот опыт не удался, хотя Ваня нашел и правильный тон, и нужные слова. Глаз Наденька так и не открыла, но прошептала еле слышно:

— Форма задавила содержание. Форма.

— Что это значит? — допытывалась Варвара. — Что значит эта фраза: «Форма задавила содержание»?

— Не знаю, — Каляев растерянно пожал плечами. — Говорили мы с Надеждой Ивановной о равновесии формы и содержания, но как-то походя, что ли. Просто к слову пришлось.

Из больницы Немирович-Данченко и Ваня поехали на Ваганьково кладбище. Народу там оказалось много, полиции — тоже: полицейские чины ретиво выстраивали тихих, подавленных людей длинной змеей по два человека в ряду. Василий Иванович поговорил с полицейским офицером, козырнув корреспондентской ак-

кредитацией, и им разрешили идти не в общем скорбном строю, а по дорожке за гробами, со стороны голов погибших. И они медленно шли вдоль этих нескончаемых гробов.

Господи, сколько же их было! И какая стояла тишина. Мертвая. Ни криков, ни стонов, ни всхлипов не слышалось даже тогда, когда родители узнавали сына или дочь. А узнать было непросто, потому что никто не удосужился хотя бы омыть распухшие темно-синие лица, покрытые засохшей кровью. Слишком велик был размах этой трагедии даже для необъятной России…

— Вот она, — тихо сказал Ваня.

Раздутое лицо Фенички было сплошь залеплено точно такой же коркой засохшей, забитой желтой глинистой пылью крови. А череп, покрытый той же смесью крови и пыли, оказался совсем голым, круглым, костяным, и Феничка стала похожа на совсем еще юного мальчика. К этому маленькому жалкому черепу присохли обрывки оборванной кожи, и Василий Иванович надеялся сейчас почему-то только на то, что скальп сорвали с нее уже после смерти. Опустился на колени, поцеловал Феничку в лоб, бережно прикрыл голый череп толстой пшеничной косой. Выпрямился, глянул на Каляева.

Ваня, не отрываясь, смотрел на мертвую Феничку, крепко — даже побелела — закусив нижнюю губу. И что-то во взгляде Каляева было таким неистово напряженным, что корреспондент осторожно положил руку ему на плечо:

— Ты что, Ваня?

— Запоминаю, — выдохнул Каляев.

Глубоко и горько вздохнули совсем близко. Они подняли головы и увидели молодого парня в рабочей одежде, стоявшего прямо против них в ногах Феничкиного гроба. В правой руке парень сжимал мятую кожаную фуражку.

— Невеста моя, — глухо сказал он, поймав их взгляды.

— Феничка? — тихо спросил Василий Иванович.

— Осенью повенчаться хотели, да — не судьба. Отец с матерью свалились оба, весь вчерашний день да полночи искавши ее. Одна она у них была, как свет в окошке. Поди, говорят, ты, Тимофей, может, тебе повезет. Вот. Повезло, стало быть…

Василий Иванович чудом протиснулся между тесно стоявшими гробами, перешел на противоположную сторону, обнял парня.

— Мы тоже ее здесь искали, Тимофей.

— С первого прохода ее нашел, — сказал Тимо-

фей, будто и не расслышав Немировича-Данченко. — Уж все бумаги получил. Жду, когда очередь дойдет, чтоб в церковь ее определить. Не определяют туда, не всем положено, говорят.

— Сейчас определим, — сказал Василий Иванович. — А потом пойдем куда-нибудь, помянем Феничку?

— Не смогу, вы уж простите, барин. На работу мне. Мастер только до обеда и отпустил.

Немирович-Данченко с парнем шли по одной дорожке, у ног погибших, а Ваня — по противоположной, у голов. Шел и ни о чем не мог думать. Только почему-то твердил про себя: «Запомню. Уж это я запомню…»

Кого он при этом имел в виду, было неясно. Тогда, может быть, даже для него самого.

4

Надя жила в состоянии какого-то съеженного, не существующего вне, а угнездившегося в душу ее неопределенного, смутного ужаса. Она догадывалась, что ужас этот возник потому, что органы чувств вдруг, разом предали ее, начали действовать самостоятельно и более уже ей не подчинялись. И ужас как раз и заключался в том, что они более ей не подчиняются.

Глаза теперь были обращены внутрь, в нее самое, и не сообщали ей о том, что видят, а показывали только прошлое. Они словно бы стали обладать памятью, постоянно находясь в готовности продемонстрировать ей то, на что она до отчаяния, до панического страха не хотела смотреть: четкие, фотографические сцены дикой толчеи ходынского рассвета, налитые кровью, распухшие лица, тупое, бесконечное, навязанное всем топтание в чудовищно тесном, почти замкнутом пространстве, бессмысленное кружение, кружение, кружение. Иссиня-черный труп женщины, теснотой вознесенный над людскими головами. Изодранную одежду, исцарапанные лица с широко разинутыми ртами. Безумные, вытаращенные глаза… Неимоверным усилием воли она переключала эти кошмарные видения на картины из собственной жизни, из собственного детства, и когда это удавалось, испытывала огромное облегчение покойного отдыха. Но удавалось это редко и длилось недолго.

А уши продолжали слышать нечеловеческие крики. Нет, не животные даже — Надя твердо была уверена, что животные не способны так кричать, — а чудовищный вопль самой плоти, восчувствовавшей собственную кончину. Вопли,

стоны, крики, густую матерную брань хрипящих мужских надорванных глоток, женские визги — слава богу, детей она, кажется, не слышала. Да не она, не она! Ее взбунтовавшиеся уши, запомнившие все и теперь бесконечно воспроизводящие ей то, что они запомнили. И самым страшным было не крики и вопли, не отчаянный женский визг и последние отлетающие стоны. Самым страшным был топот десятков тысяч босых ног. Дробный, семенящий, беспомощный, послушный и покорный. Просто — топот по сухому глинистому полю. Бесконечный, бессмысленный топот, в котором она участвовала и не участвовать не могла. Неучастие означало смерть, и она это понимала. И семенила, семенила, семенила… Семенила куда-то без цели и смысла.

Даже ноздри до физической боли резало воспоминание о запахе толпы. Это был не просто запах пота насквозь пропотевшей чуйки, который бережно хранило ее обоняние. Это был непередаваемый и необъяснимый чудовищный запах объятой ужасом толпы, и Надя не могла разобраться, из чего он состоит. Просто пахло ужасом, общим ужасом тысяч отчаявшихся людей, и она была жалкой, беспомощной единичкой этого всеобъемлющего ужаса.

И кожа продолжала упорно помнить все прикосновения, слияния мокрых, липких тел, мокрых спин, насквозь промокшей коротко стриженной колючей бороды, столько раз проезжавшей по ее волосам. Ручьи стекавшего по телу пота, мокрых вздыбленных волос, твердость сухой почвы под ногами. Тверди, пасть на которую было нельзя ни в коем случае, невозможно было пасть, потому что падение означало смерть. Натруженная кожа головы упрямо хранила в своей собственной памяти, как ее тащили за волосы и как это было больно и страшно. Ноги помнили, как судорожно за них цеплялись, когда она ползла по еще живым, еще шевелящимся, стонущим умирающим. Как они щипали, царапали, кусали ее. А грудь до сей поры чувствовала, как ее беспощадно давили, тискали, сжимали, и Надя боялась дышать глубоко, потому что ей было очень больно.

Даже органы вкуса все сохранили в памяти, порою — особенно часто ночами — возвращая ей мучительную сухость рта, языка, губ. Ощущение мельчайшей, горько-солоноватой пыли, комом стоявшей в горле. Крепчайший соляной раствор пота и слез, разъедавший глаза, нос, губы, затекавший в рот. Это был вкус страха, вкус неми-

нуемой гибели, вкус предсмертной минуты.

Все органы чувств предали ее, не подчинялись ей более и всячески напоминали ей, их хозяйке, о своих оскорбленных ощущениях. И наверное, были правы: это ведь она, она по собственному капризу подвергла их такому жестокому испытанию.

И Наде все время хотелось закрыться от них, уйти в какую-то несуществующую раковину, захлопнуть створки и больше ничего не видеть, не слышать, не ощущать, не чувствовать и, главное, не вспоминать более ни о чем. Такой спасительной раковиной могла быть только смерть, и Надя подумала о ней, как только вернулись все ощущения. Подумала совершенно спокойно, как о чем-то неприятном, но необходимом, способном разорвать этот страшный круг взбунтовавшихся чувств. Подумала как о спасении и покое. Вечном покое. И если бы не мелькнуло это слово — «вечный», — как знать, может быть, и утвердилась бы она тогда в этой мысли. Но слово потянуло за собой одну из ее самых любимых картин — горькое левитановское полотно «Над вечным покоем». Осевшая могилка на краю обрыва, покосившийся крест, согбенная ветром березка и — спокойный волжский простор вдали. «Покой

не для них, — отрывочно подумала она, разумея под “ними” лежащих в могиле. — Покой там, там, вдали…» И мысли о спасении в некой раковине постепенно куда-то исчезли, растворились, навсегда покинув ее.

Надя очень боялась уснуть, потому что ожидала, будто ей непременно приснится Ходынка. Из всех сил боролась с подступающим сном, пока не проваливалась в глухое забытье. А возвращалась из него вдруг, прыжком из бесчувственной пропасти в мучительную явь, и все начиналось сначала. Но не говорила о бунте собственных чувств даже врачам. Она вообще не разговаривала, отвечая на все их вопросы либо «да», либо «нет». Она хотела сама разобраться в себе, без посторонней помощи и, главное, постороннего вмешательства, потому что чувства были ее, ее личные, собственные, и она сама обязана была обуздать их. Это осознание долга перед собственным телом появилось у нее уже утром следующего дня, и она судорожно цеплялась за него, подсознательно ощущая в нем путь к спасению.

А с Варей ей говорить не хотелось, почему она и не открывала глаз, прикидываясь спящей. Ей вообще ни с кем сейчас не хотелось говорить. При этом Надя побаивалась, что ее сочтут невме-

няемой, а то и отправят в психиатрическую лечебницу, и дабы этого не случилось, бормотала фразы, намекающие на ясную оценку обстановки. Варе — о Высоком, хотя и не вполне удачно, поскольку Варя ничего не поняла, а Ване Каляеву — о его же собственных словах. И Ваня — она была убеждена в этом — понял ее тогда.

А несколько второпях сказанную Варе фразу Наденька произнесла случайно, почти автоматически. Несмотря на борьбу с собственными органами чувств, Надя все время думала о Феничке, при этом ясно представляя себе, что Фенички больше нет. Что не могла она вынести того, что вынесла ее барышня, и потому, что не встретилась ей на той страшной дороге в чистилище синяя, насквозь пропотевшая чуйка, и потому, что не поднесло ее к балагану, под который удалось залезть, прорвавшись сквозь мертвые руки и зубы, но главным образом потому, что Феничка была небольшого росточка и не умела дышать животом, как дышат дети, звери и мужчины. А грудь ее сдавили со всех сторон, тисками зажав легкие, и слабые мышцы уже не могли их раздвинуть. Не было в ее жизни противной настойчивой немки фрау Пфальцберг, резким голосом выкрикивающей на занятиях по гимнастике:

— Легли все на маты! На маты! Восстанавливаем дыхание, дышим только животом! Вдо-ох — выдох! Вдо-ох — выдох!

И ставившей на грудь каждой гимназистки блюдечки, полные воды, для проверки глубины и правильности дыхания. Как-то Наденька рассказала об этом Феничке, и Феничка тогда очень удивилась:

— А как это, барышня?

И Наденька показала, как правильно дышать животом, чтобы при этом не шелохнулась водная поверхность в поставленном на грудь блюдечке. Этого у Фенички ни разу не получилось, грудь упорно вздымалась при вдохе, и вода из блюдечка лилась через край. И Феничка звонко хохотала…

Нет, она не терзала себя за то, что горничная пошла на Ходынское поле, в сущности, по ее капризу. Просто потому, что время терзаний еще не пришло. Сил не хватало на запоздалые укоры совести. Очень уж их было мало даже для борьбы за жизнь.

Глаза упорно смотрели внутрь, уши по-прежнему вслушивались в крики, вопли и семенящий топот ног, ноздри настойчиво хранили запах беспредельного ужаса. И Надя отчетливо понимала, что это — надолго. Может быть, и на всю жизнь.

Глава десятая

1

Викентий Корнелиевич пришел утром, сразу же после отъезда Немировича-Данченко и Каляева на поиски Фенички. Роман Трифонович упорно продолжал пить в биллиардной, куда Евстафий Селиверстович и проводил Вологодова.

— Я взял десятидневный отпуск по болезни, — сказал он. — Располагайте мною. Только, если позволите, я сначала хотел бы навестить Надежду Ивановну.

— Не надо, — буркнул Хомяков. — Девицы стремятся выглядеть по крайней мере не несчастными.

— Вы совершенно правы, Роман Трифонович. Извините, об этом не подумал.

— Давайте лучше водку пить.

— Благодарю вас, мне пока не хочется.

— Учту ваше «пока».

Хомяков пил меньше, чем ночью, не опрокидывая более полных рюмок. Евстафий Селиверстович соорудил на втором биллиарде нечто вроде шведского стола, но в углу стояла востребованная

кадушка с крупными, желто-зелеными огурцами. С похмелья Роман Трифонович всегда предпочитал употреблять их, запивая рассолом, а Зализо давно изучил привычки своего хозяина.

Забегал Николай. На минуту: его опять отрядили где-то почетно торчать при выходах императора. А вот генерал Федор Иванович что-то не появлялся. Романа Трифоновича это сейчас не беспокоило, но Вологодов спросил о нем.

— Раскланивается, — проворчал Хомяков. — Знаете, о чем подумалось вдруг? Накануне нашего, девятнадцатого, века родился Пушкин. И все столетие, заметьте, все девятнадцатое столетие прошло под знаком его рождения. И русская литература поразила своей мощью весь мир, и разгром Наполеона, и Сенатская площадь, и великая слава Шамиля, воспринятая и разделенная всей Россией, и славная война за освобождение болгар… Золотой век, потому что родился самоцвет гигантской величины и эманации. А век двадцатый встречаем Ходынкой. Бессмысленной самоубийственной бойней, Викентий Корнелиевич. Каким же должен быть двадцатый век с такой вот, с позволения сказать, визитной карточкой?

— Я — чиновник, Роман Трифонович. Не про-

рок.

— Я — чиновник, ты — чиновник, он — чиновник, мы — чиновники, — забормотал Хомяков, смачно откусив добрый кусок соленого огурца. — Не слишком ли много чиновников для России? Хрен хорош только к доброму поросенку, без него — живот схватит. Может, так оно и будет? Побегает Россия по сортирам…

— Кабы знать — соломки бы подстелил.

— Кабы знать… — угрюмо продолжал ворчать Роман Трифонович. — Бородач в сапогах реформы похерил к едрене матери. Как это на детях отзовется, думали?

— Я — холостяк.

— А Россия — разве не наши дети, господин действительный статский советник?

— Наверно, вы правы. Не думал об этом, признаться.

— А России вообще думать несвойственно. Россия — материк женского рода, он чувствами живет. Чувствами, слухами да сплетнями, почему и толкует все время о своем особом пути, где чувств, сплетен да слухов будет вдосталь. Тютчев верно сказал, что умом нас не понять, а мы и возрадовались: вот какие мы загадочные! А боли его не поняли. Точнее, не приняли. Тоже,

заметьте, чисто дамское стремление превращать неприятную истину в приятный комплимент.

— Вы — западник?

— И западник, и славянофил в каждой русской душе соседствуют, поскольку душу эту татарская сабля надвое рассекла. Далее действует процент содержания этой субстанции, а не результат размышления. Чувственное восприятие, а не разумно-рациональное решение. Что, не согласны, Викентий Корнелиевич?

— Не совсем так, Роман Трифонович. Как та, так и другая идеи естественны, поскольку Россия лежит на рубеже двух культур. И обе эти культуры уживаются в ней.

— Брак не предполагаете?

— Какой брак? — насторожился Вологодов.

— Меж естественными культурами? Россия — невеста на выданье, Европа — солидный и состоятельный жених. Может, наконец-то и породнимся.

— А ну как мезальянс? — улыбнулся Викентий Корнелиевич.

— Это вряд ли. — Роман Трифонович тоже улыбнулся. — Московскую промышленную выставку помните? Кстати, тоже на Ходынском поле. Посещал я ее и потому, что в совете учредителей

оказался, и из любопытства, признаться. И возле павильона кустарной промышленности обнаружил как-то двух интереснейших типов. Один — донской казак, матерый, в летах — шашкой гвозди в полено загонял по шляпку с одного удара. Натычет с десяток гвоздей, взмахнет десять раз — и десять шляпок к полному восторгу публики, в складчину плативший рубль за каждый лихо вколоченный гвоздь.

— Молодец казак, — сказал Вологодов. — Сумел найти временный приработок.

— Гвозди куда как сподручнее молотком заколачивать, тогда приработок будет не временным, а постоянным, — недовольно проворчал Роман Трифонович. — А это, извините, азиатское начало: раззудись, рука, размахнись, плечо. Проку в этом, как в подкованной блохе, но нам ведь не прок, нам удаль куда дороже. Но не было бы у меня второй половиночки российской народной медали, кабы не встретил я возле того же павильона еще одного частного предпринимателя. Правда, у него витринка имелась в самом павильоне кустарного промысла — «Драгоценные камни Подмосковья» называлась. В витринке той была яшма всех оттенков, агат, сердолик, хрусталь, даже друзы гранатов, в том числе и

редчайших, зеленых. Заинтересовало меня это, и познакомился я с хозяином и составителем этой коллекции. Мужик — бывший каменщик — уже в годах, серьезный, степенный, бородатый. Рассказал мне, что еще в каменщиках, мостовые ремонтируя, случалось ему находить кристаллы редкой красоты в простых булыжниках, предназначенных для мощения дорог. Ну, он заинтересовался — человек любознательный — и выяснил, что ледник притащил в Подмосковье друзы в каменных окатышах. И тогда он начал эту коллекцию собирать и в конце концов столько насобирал, что им университет заинтересовался.

— Некорректный пример для сравнения с удалым казаком, — заметил Викентий Корнелиевич.

— Не спешите с выводами. Кабы дело одной коллекцией закончилось, я бы о нем и не вспомнил. Но он-то рядом с выставкой плакат разместил: «Каждый может найти алмаз в подмосковном булыжнике!» И у входа в павильон — груда камней, колода и добрая кувалда. Вы покупаете за рубль булыжник и тут же кувалдой самостоятельно его разваливаете на части. Если внутри оказался кристалл — он ваш, если нет — извините. А кристалл встречается один на десять тысяч булыжников

— беспроигрышная лотерея! Каждое утро на рассвете ему привозили десять возов окатышей и увозили десять возов осколков вчерашнего азарта. Простите, дорогой друг, это — дело, как предприниматель вам говорю. Он продает не собственную удаль, как донской казак, а ваш собственный азарт — вам же. Это уже европейский подход, европейское понимание души человеческой и европейская реализация возникающих возможностей. Так появилась у меня вторая сторона российской медали: европейская. Вот ведь что браком ко всеобщему счастью сочетать необходимо, а вокруг кричат: «Мезальянс!» Полно, господа, молиться надо, чтобы случилось сие, и не будет России равных во всем цивилизованном мире. Не будет, господин действительный статский советник, в этом ее будущее. Мощь и слава ее. Не надо более российский азарт продавать — куда лучше и выгоднее заставить покупателя собственный кураж оплачивать. Как вам такая модель, Викентий Корнелиевич?

— Признаться, вы заставили меня задуматься.

В биллиардную спустился Евстафий Селиверстович. Постоял в ожидании, когда допустимо было бы прервать господ.

— Что тебе? — с неудовольствием спросил Хо-

мяков: сегодня его вдруг потянуло на разговоры.

— Очень прошу подняться в прихожую, — сказал Зализо, и в тоне его неожиданно прозвучала нотка личной просьбы.

— Кто-то пришел? Так проси сюда.

— Это невозможно, Роман Трифонович. Посетитель неожиданный.

— Извините, Викентий Корнелиевич.

Хомяков с весьма недовольным лицом поднялся в прихожую. У дверей скромно ожидала бедно одетая женщина, тут же низко поклонившаяся ему.

— Грапа?..

— Простите великодушно, что потревожила, Роман Трифонович. Только знаю, что барышня пострадала, а Феничка погибла, царствие ей небесное.

— На место, что ли, претендуешь?

— Я без претензий всяких пришла. Я просить вас пришла.

— Я своих решений не меняю.

— Не место мне надо, барин, мне Наденька нужна! — вдруг со слезами выкрикнула Грапа. — И я ей нужна, знаю, нужна. Ей со мной покойнее будет, а покой сейчас — лекарство для души ее.

Хомяков угрюмо молчал. Он не просто не лю-

бил отменять однажды принятых решений, но и считал это недопустимым вообще. Как бы умаляющим его самого.

— Я банки накидывать умею, компрессы делать, растирать, клизмы ставить, — торопливо перечисляла Грапа. — И Варваре Ивановне смена нужна, чтоб Наденьку одну в больнице не оставлять.

— Варвара Ивановна устает очень, — осторожно заметил Евстафий Селиверстович. — Сама мне жаловалась, а Алевтина в этом деле — не помощница, сами знаете.

Молчал хозяин. Но уже как-то по-иному, без угрюмости.

— Я солгала вам тогда потому только, что барышня так велела, — тихо и уже с некоторой безнадежностью продолжала Грапа. — Так простите меня за ради Христа, барин! Не за себя молю, за Наденьку мою!

— Что скажешь? — озадаченно, но все еще недовольно спросил Роман Трифонович.

— Скажу, что лучше Грапы нам для Надежды Ивановны горничной не найти, — решительно сказал Евстафий Селиверстович. — Привыкать им друг к дружке не придется, вот ведь что главное.

— Это верно. — Хомяков страдальчески поморщился. — Считай, что погорячился я, Грапа. Спасибо, что сама с помощью пришла. Оформи со вчерашнего дня, Евстафий. Со дня Феничкиной гибели.

И тут же спустился в биллиардную, не желая слушать никаких благодарственных слов.

2

К обеду вернулись Василий Иванович и молчаливый, хмурый — даже морщинка появилась на безусом лице — Каляев. Немирович-Данченко рассказал, как отыскали Феничку среди двух тысяч гробов, как познакомились с ее женихом, как потом долго пришлось уговаривать священника найти место и для Феничкиного гроба в переполненной церкви.

— Тихо ходят, тихо плачут, — вздохнул Василий Иванович. — Без русского размаха.

— Зато Ходынка — с русским размахом, — угрюмо сказал Каляев.

— А ты лучше молчи, — отмахнулся корреспондент. — Ты у меня в обманщиках числишься.

Обращение на «ты» к малознакомому человеку звучало весьма неприлично, и Вологодов с удивлением посмотрел на Немировича-Данченко.

— Провинился он, как мальчишка, значит, мальчишка и есть, — добродушно проворчал Василий Иванович. — Тетя у меня в Москве! Тетя на Неглинке в собственном доме!.. Нет никакой у него тети, проговорился в конце концов. Угол снимал в самых дешевых номерах, что в переулках за Трубной. И из Нижнего сбежал с тремя рублями в кармане, а когда капитал этот кончился, подрядился на Театральной мусор убирать по полтине за ночь.

— Это мне нравится, — улыбнулся Хомяков. — Это — по-нашему.

— Когда похороны Фенички? — спросил Вологодов.

— Завтра первую партию отпевать будут. Тех, кто в церкви и на площадке перед нею. — Василий Иванович помолчал. — Государь с государыней изволили посетить на полчаса Ваганьково кладбище. В обзорах, естественно, время пребывания опустят.

— А виноватого так и не найдут. — Каляев нервно усмехнулся, неприятно осклабившись. — Ну, не может быть на Руси повинного чиновника второго, а уж тем паче — первого класса.

— А вы кого считаете повинным, Ваня? — спросил Викентий Корнелиевич.

— Генерал-губернатора Москвы.

— Вот так, сразу, без суда? А как же быть с презумпцией невиновности?

— Презумпция невиновности для общенациональных трагедий существовать не должна.

— Милый юноша, вы единым махом отменили римское право.

— А заодно и русское «не пойман — не вор», — усмехнулся Роман Трифонович.

— А как насчет того, что «на воре шапка горит»? — поинтересовался Василий Иванович.

— А вот завтра и проверим, — вдруг вновь ворвался в разговор доселе такой застенчивый Ваня Каляев. — Завтра — первая, так сказать, порция похорон, и великий князь Сергей Александрович наверняка изволят прибыть. Не по зову совести, так по зову службы.

— Злым ты становишься, Ваня, — тихо сказал Хомяков. — Нехорошо это, обидно нехорошо. Простейшие решения чрезвычайно редко бывают правильными. Это я тебе из личного опыта говорю.

— Простите, Роман Трифонович. Только я в Бога больше не верю. Ходынка теперь между нами.

— Да при чем тут Бог…

— Он же прощать велит. Кстати, самое, что ни

на есть, простейшее решение.

— Ошибаетесь, Ваня, — вздохнул Викентий Корнелиевич. — Как раз — одно из сложнейших. Воли требует, а не импульсивных действий. Воли, размышлений и осознания.

Как всегда тихо и незаметно вошел Евстафий Селиверстович. Выждав деликатную паузу, негромко доложил Хомякову, что отправил Грапу в больницу.

— Велел ей Варвару Ивановну уговорить домой вернуться. На той же коляске.

— Заупрямится Варвара.

— Грапы вы не знаете. — Зализо позволил себе чуть улыбнуться. — Как с обедом прикажете? Обождем Варвару Ивановну?

— До вечера, что ли? — буркнул Роман Трифонович: ему не понравилось замечание насчет Грапы. — Сюда вели подавать. Прямо на зеленое сукно.

— Борта не помешают? — улыбнулся Василий Иванович.

— Мимо рта не пронесете.

Евстафий Селиверстович сам доставил обед и посуду: не хотел, чтобы прислуга видела загулявшего хозяина. Накрыл, как велено было, прямо на зеленом биллиардном поле.

— Прошу.

И все невозмутимо уселись за биллиард с лицами вполне серьезными, хотя серьезность эта троим давалась нелегко. Викентий Корнелиевич был достаточно воспитан для того, чтобы не соваться в чужой монастырь со своим уставом; Василия Ивановича душил совершенно неподходящий для этого дня смех; Ваня Каляев настолько погрузился в себя, что уже и не замечал нелепости происходящего, а Роман Трифонович злился, что загнал самого себя в ловушку, лихорадочно искал возможность достойного отступления и не находил ее. А Евстафий Селиверстович просто исполнял служебные обязанности. Все это, естественно, мешало светской беседе за столом, хотя вежливый Вологодов и пытался ее поддерживать:

— Любопытная история происходит с ежегодными Пушкинскими премиями. В высочайшем Указе не оговаривалась система выдвижения кандидатов, почему этот вопрос никто и не рискнул прорабатывать. В результате получилось, что шанс быть выдвинутым на соискание самой заветной премии оказался в руках чиновников от искусства, и приятельские отношения разом заменили собою истинное достоинство литера-

турного произведения.

— А зачем чиновнику читать, если вопрос можно решить… за биллиардом? — невозмутимо спросил Василий Иванович.

Хомяков полоснул свирепым взглядом, но так и не успел ничего сказать, потому что вошла Варвара. Все встали, и Роман Трифонович спросил:

— Как Надежда?

— Почти все время спит. Здравствуйте, господа. — Варвара села рядом с Каляевым. — По-моему, я хочу есть.

— Изволите щей, Варвара Ивановна?

— С удовольствием… Кажется, она чувствует себя лучше, чем вчера, но почти не говорит. Отвечает односложно и… как-то нехотя, что ли. Но дыхание стало глубже, заметно глубже, врачи особенно подчеркнули это.

Она настолько была поглощена состоянием Нади, что не обратила никакого внимания ни на не приспособленное для обедов помещение, ни на залитое водкой и рассолом зеленое сукно, ни даже на кадушку с солеными огурцами, источавшую ядреный аромат. Все мысли ее были сейчас там, в отдельной палате Пироговской больницы, рядом с постелью неузнаваемо изменившейся сестры.

— Почти не ест, но, слава богу, много пьет, и это обнадеживает врачей. Говорят, обезвоживание организма. Алевтина принесла все соки, какие только могла сыскать, но Степан Петрович рекомендовал клюквенный. И боржом.

— Ей нужна строгая диета, — сказал Немирович-Данченко.

— Да, да. — Варвара почему-то оживилась. — Я присутствовала на консилиуме, где обсуждалась особо щадящая диета, потому что в Наденьке же все…

Варвара замолчала, прикрыв глаза ладонью. Плечи ее судорожно вздрогнули.

— Ну-ну, Варенька, — тихо вздохнул Хомяков.

И все примолкли. Осторожно, боясь звякнуть ложками, хлебали щи, опустив глаза.

Наденька спала. Грапа неподвижно сидела подле, осторожно подсунув руку под ее ладонь, и смотрела на бледное, покрытое синяками и подсохшими царапинами, осунувшееся лицо. «Господи, — мучительно думалось ей. — Зачем же девочки страдают? Они же безвинны еще, как цветочки, безвинны…»

Длинные ресницы чуть заметно дрогнули. Надя глаз не открыла, но Грапа поняла, что она уже проснулась, и чуть пожала маленькую сухую

ладонь.

— Здравствуй, барышня моя, — почти беззвучно шепнула Грапа. — Здравствуй, девочка…

— Грапа… — еле слышно произнесла Наденька.

И две жалких, крохотных слезинки выкатились из-под век на серые проваленные щеки.

3

Варя легла рано, внезапно почувствовав не только безмерную усталость, но и странное ощущение расслабленности. Будто туго натянутые струны вдруг отпустили с подвинченных до предела колков, и она понимала, что так оно и было на самом деле, потому что рядом с Наденькой вновь появилась Грапа. Теперь можно было хотя бы чуточку передохнуть.

Она лежала на спине, положив на одеяло так и не разрезанный журнал. Журнал был взят скорее по привычке, читать Варе не хотелось, потому что все мысли были заняты сестрой. Физическое состояние Нади сейчас ее не столько беспокоило: она верила врачам, окончательно и единогласно пришедшим к выводу, что нет ни переломов, ни вывихов, а остальное вполне поправимо. Но Варя очень тревожилась о ее психике, пото-

му что знала свою Наденьку с раннего детства, знала до мельчайших подробностей, перебирала эти подробности в памяти и — не узнавала собственной сестры. Никакие врачи не имели возможности сравнивать то, что видели, с тем, что было когда-то, и рассказы Вари здесь мало чем могли помочь. Врачебные представления в данном случае опирались на некий абсолют, некую общечеловеческую усредненность, а Варины воспоминания хранили дорогой и вполне конкретный, вполне живой образ любимого существа. С его смехом, капризами, привычками, радостями и обидами. И она все время размышляла, что же сохранилось, выстояло, выжило в ее вечно маленькой сестренке. Вечно маленькой потому, что Варя была старше почти на четверть века и, не давая себе отчета, всегда воспринимала Наденьку только как собственную дочь.

«Нет, нет, никакие психиатры не в состоянии ей помочь, — думала она. — Они же совершенно не представляют, какой она была. Здесь нужен кто-то иной, который смог бы проникнуть в ее душу, а не подгонять эту душу под хоть и здоровую, но не ее. Иначе мы потеряем Наденьку, потеряем...»

— Есть блаженный, барыня, — шептала ей

Алевтина. — Святостью, говорят, обладает великой…

От блаженных и юродивых Варя только отмахивалась, считая их шарлатанами, потому что так однажды, еще в далеком детстве, сказал отец. Правда, мама тогда осторожно засомневалась в его столь категорическом определении («Доброе слово и кошке понятно…»), но Варваре отцовские слова были яснее и ближе просто в силу трезвости собственного характера.

— Может быть, попробовать гипноз? — предложила женщина, врач Пироговской больницы (Варя в отчаянии советовалась со всеми). — Правда, этот врач пользует в Петербурге.

— Это не имеет значения.

— Доктор Фельдман. Я слышала, что он излечил сына начальника Морской тюрьмы от серьезного недуга.

Недуг оказался эпилепсией, но Варя все же запомнила совет для будущего. Когда — не дай бог! — медицина исчерпает все свои средства и распишется в собственной беспомощности…

Все двери в особняке открывались абсолютно бесшумно, поскольку Роман Трифонович не терпел никаких скрипов, и Варя скорее почувствовала, что в ее спальню кто-то вошел.

Повернула голову, всмотрелась.

У портьеры стоял муж. В халате и домашних ковровых шлепанцах. И было очень похоже, что вид у него виноватый.

— Я принял Грапу на службу, — почему-то сообщил он. — Со вчерашнего дня.

— Ты очень правильно поступил.

— Думаю, Надюше будет легче.

— Очень надеюсь на это. Чего ты стоишь у дверей? Ты куда-то торопишься?

— Нет. — Роман Трифонович как-то не очень уверенно приблизился к семейному ложу, присел на пуфик у ног Вари. — Завтра Феничку хоронят. Я пойду на похороны.

Варя вздохнула, вытерла набежавшие слезы.

— Поклонись ей от меня.

Хомяков молча покивал. Помолчали.

— Может быть, следует как-то деликатно помочь родителям? Наденька говорила, что Феничка была единственным ребенком.

— Да. — Роман Трифонович тяжело, медленно вздохнул. — Ты прости меня, Варенька. Прости.

— И ты меня прости, Роман.

Хомяков покивал, неуверенно поднялся.

— Куда же ты? Когда так страшно, надо быть вместе.

Варя улыбнулась и, выпростав из-под одеяла руку, протянула ему.

— Варенька…

Роман Трифонович упал на колени, схватил ее руку, поцеловал, прижал к груди.

— Занесло меня, Варенька. Занесло…

4

Грапа не вернулась домой ни в эту ночь, ни в последующие. По ее просьбе в палате поставили раскладную койку, и горничная чутко дремала на ней, ловя каждый вздох Наденьки.

— Так для барышни спокойнее будет, Варвара Ивановна. А спокой сейчас — главное для нее.

— Как ночь прошла?

— Раз только прошептала. Тихо так, но я расслышала.

— Что ты расслышала?

Грапа помолчала, точно припоминая. Потом вздохнула:

— Устала, говорит. «Боже мой, как я устала». Вот так, слово в слово.

Варя горько покачала головой.

— Вызволим мы ее из болезни, Варвара Ивановна. Верьте мне, вызволим.

Они тихо разговаривали в больничном коридо-

ре, боясь обеспокоить Надю. И напрасно, потому что Наденька в то утро уснула сразу после врачебного обхода, и сон ее впервые был глубоким, лишенным тревог и кошмаров.

А до этого очень боялась уснуть. Особенно по ночам, когда оставалась одна без помощи и поддержки и боролась с подступающим сном, из последних сил боролась, пока не проваливалась в забытье без всяких сновидений. А спать очень хотелось, сна требовало натруженное, перемятое тело, перенапряженные нервы и всё запомнившие органы чувств, оскорбленные собственными страданиями и теперь взбунтовавшиеся против нее. И Надя изо всех сил старалась бодрствовать ночью, а спать днем, когда рядом сидела Варя и в душе возникало робкое ощущение надежности. А потом вдруг появилась Грапа, и робкое ощущение сменилось спокойной уверенностью.

Куда страшнее снов были воспоминания о совсем недавних, по сути, вчерашних событиях. Но сны нельзя было ни контролировать, ни обрывать, ни убегать от них, а от вчерашних воспоминаний убегать Надя вскоре научилась. Когда поняла, что убегать надо непременно в прошлое и непременно из Москвы. В другое время, другую обстановку, в иные координаты существования

собственного «я». Это не всегда получалось, требовало сосредоточенности и усилий, но если получалось, Наденька ощущала состояние тихого, покойного счастья.

Труднее всего было представить себя в раннем детстве и погрузиться в него. Раннее детство мелькало короткими видениями, которые быстро рвались и выскальзывали из памяти, но два раза ей все же удалось ненадолго оказаться в нем…

…Большая липовая аллея по обе стороны каменных ворот. Очень молодая девушка в белой татьянке бежит за ней, хлопая в ладоши:

— Ой, поймаю!.. Сейчас поймаю!..

И обе радостно, до счастья радостно смеются. И нежный запах зацветающих лип…

— Девочки, пора пить молоко!..

Кто звал их тогда? Удивительно знакомый и — незнакомый голос.

— Вот поймаю и отнесу прямо на веранду!..

И Наденька понимала — не разумом, а всем существом своим понимала, что ловила ее тогда — Маша.

Что это — ее последнее воспоминание о живой сестре. Всплывшее из таких глубоких недр памяти, где, вероятно, хранится все. Вся ее жизнь.

Трижды ей удалось вызывать это воспомина-

ние. И так хотелось продлить его, продлить хотя бы на мгновение… Но виделось только то, что привиделось в первый раз.

…И большущая форменная фуражка. Тяжелая. В ней совсем утонула ее голова, и необъятная эта фуражка, которую можно было удержать только двумя руками, сползла на глаза и уши. Но Наденька все-таки куда-то очень спешила, ничего не опасаясь, потому что видела из-под фуражки кусочек пола. С разбега треснулась о дверной косяк, отлетела и села на собственное мягкое место. Фуражка смягчила удар, но козырек лопнул пополам…

— Варя, Надька сломала мою фуражку!..

— Не Надька, а Наденька.

— А в чем я в гимназию пойду?..

Чей разобиженный мальчишеский голос она тогда слышала? Николая или Георгия? Наверное, все-таки Георгия, потому что Николай никогда не называл ее так грубо…

…И еще помнилось, как заблудилась в лесу. Вдвоем с подружкой… Как же ее звали, как?.. Они приехали в Высокое после второго… Да, кажется, второго класса, потому что обе носили еще короткие платьица, из-под которых выглядывали кружева панталончиков. И очень любили

собирать грибы, но им разрешалось искать их только в старом саду. Но там грибов было не так уж много, и она сманила подружку… Как же ее все-таки звали?.. В лес. Там они, завывая от восторга, быстро набрали полные корзинки и… и примолкли, не зная, где дом и куда идти. И заметались, заметались среди берез и елок, но корзинок пока еще не бросали.

— Надо искать мох, — сказала Надя. — Ваня говорил, что мох растет с северной стороны.

Но мох рос со всех сторон. Да и зачем он вообще был нужен, если они не знали, куда идти: на север, юг, восток или запад?..

Вот тогда Наденька впервые ощутила ужас. Безотчетный, все подчиняющий себе ужас, лишающий соображения. Подружка уже жалобно пищала, бросив корзинку, да и Надя готова была вот-вот запищать, завыть, упасть на землю…

«Я во всем виновата, значит, мне решать», — вдруг подумала она и, зажав в кулачок остатки воли, сумела заставить себя почти успокоиться.

— Перестань скулить, — сказала она. — Ты мешаешь мне вспомнить, куда нам идти.

Наденька не знала, куда им идти, но подружка притихла, с верой и ожиданием глядя на нее. А небо было таким безоблачным, так ярко светило в

глаза… «Так оно светит, когда я спускаюсь с веранды в сад, — вдруг припомнилось Наде. — А когда мы убегали, оно светило мне в затылок. Значит… Значит, надо идти прямо, чтобы солнце било в лицо!» И вздохнула с огромным облегчением:

— Иди за мной. Подними корзинку.

— Не нужны мне эти противные…

— Подними корзинку, я сказала. Ради чего, интересно, мы с тобой заблуждались?..

«Я тогда победила ужас. И на Ходынском поле тоже победила, не ударилась в панику. Ужас пришел сейчас, когда для него нет никаких причин. Значит, нельзя ему поддаваться, а нужно копить силы. Просто копить силы, только и всего…»

Так думала она ночью, лежа без сна. Это были очень утешительные думы, Наденька изо всех сил цеплялась за них, но где-то изнутри, что ли, подсознательно понимала, что просто утешает саму себя. И упорно перелистывала собственные воспоминания в поисках новых порций утешения.

…И еще раз она приезжала в Высокое с одноклассницей. Уже постарше, после шестого, а то и седьмого класса. И подружка была другой, ее имя она хорошо помнила: Вера. Да, да, Вера, потому что сочетание их имен вызывало много шуток,

острот и даже каких-то обобщений.

В Высоком в то лето было шумно и весело. В отпуск из Варшавы приехал Ваня. Очень счастливый Ваня, потому что Леночка еще не исчезла из его жизни. И были два студента-медика из Смоленска, приехавших делать какие-то прививки крестьянским ребятишкам. Они жили в имении и ежедневно выезжали в села. Один носил волосы до плеч, а второй — французскую бородку, и девочки между собой называли его Французом, а длинноволосого — Итальянцем…

— Переселение душ скорее из области надежд, нежели веры, — говорил Француз, покачиваясь в качалке на веранде. — Подсознательная жажда бессмертия существует только в среде полуобразованной. Среди крестьян — а я сам из них буду — и уж тем паче среди интеллигенции эта гипотеза успехом не пользуется.

— А вы, девочки, верите в переселение душ? — не без лукавства спросил Итальянец.

— Безусловно, — тотчас же ответила Наденька. — Всем известно, что женщины всегда переселяются в кошечек, а мужчины — в собачек.

Все рассмеялись. Даже безулыбчивая Леночка улыбнулась.

— Тебя встретили неплохим финтом, колле-

га! — басом хохотал Француз.

— Так их, сестренка! — смеялся Иван.

Наденьке очень нравился Итальянец, почему она и сердилась даже на его вполне безобидные шутки, усматривая в них выпад лично против себя. Нравился настолько, что она начала подозревать опасную дозу вдруг вспыхнувшей влюбленности, забеспокоилась и решила поговорить на столь волнующую тему с Леночкой.

— Скажи, ты влюблялась когда-нибудь?

— Конечно.

— А как это начинается?

Леночка пожала плечами:

— Вероятно, у каждой девушки по-разному.

— А влюбленность и любовь — различные понятия?

— Мне кажется, что противоположные. Женщина способна влюбляться множество раз, но любить — только одного. На всю жизнь. К несчастью, очень многие путают эти состояния, и отсюда исходят все женские трагедии.

— А ты любишь нашего Ваню?

— Очень.

— Какая же ты счастливая!.. — с откровенной завистью вздохнула Наденька.

И наступило молчание. Длинное-длинное…

— Нет, — вдруг тихо сказала Леночка и тут же вышла…

«Леночка призналась, что очень любила Ивана, и при этом считала себя несчастной, — думала Надя. — А потом вообще сбежала. Сбежала накануне свадьбы с любимым человеком. Но почему же, почему?..»

Наденька изо всех сил пыталась спастись бессонницей ночью и почти спокойно спала днем. Когда преданная Грапа держала ее за руку.

Глава одиннадцатая

1

На Ваганьково кладбище выехали заведомо рано, в девять утра, потому что не знали, когда начнется отпевание в церкви. Однако народу оказалось там уже много, и он все шел и шел.

— Неужто столько родственников? — поразился Хомяков, не представлявший размаха московской трагедии.

— Соседей прибавь, друзей, знакомых, — сказал Немирович-Данченко, сменивший американский клетчатый пиджак на темный костюм. — Заодно и студентов не забудь, да и просто восчувствовавших, что значит Ходынка для России. Смотри, сколько их.

Спешивший на кладбище народ был в массе своей бедным. Мастеровые, приказчики, мелкие торговцы, дворовая прислуга, мещане, артельщики, разнорабочие, разносчики, многочисленная рать не имеющих постоянной работы и перебивавшихся случайной поденкой. Шли молча, группами по пять — десять человек, и все — в темном. Темная эта масса в жаркое солнечное

утро выглядела не столько угнетающе, сколько строго. Настолько, что даже чины многочисленной полиции старались говорить вполголоса.

— Не напирайте, не напирайте. По два человека, по два человека. Всех пропустим, всех…

Венков не было. Были цветы. Скромненькие букетики в женских руках. Исключение составлял Ваня с огромным букетом белых роз. Он ощущал свою исключительность, хмурился и невольно злился на Хомякова, распорядившегося доставить этот букет в особняк.

Они терпеливо отстояли очередь — в Москве был негласный День равенства, и никто не осмеливался его нарушать, — пока не попали на само кладбище, где люди, едва войдя, разбивались на два потока. Направо — к гробам с еще неопознанными покойниками, и прямо — к церкви.

— Направо, — сквозь зубы привычно скомандовал Хомяков. — Служба еще не началась.

— Не надо, Роман…

— Нет, надо! Своими глазами надо смотреть, что натворили.

Обнажив головы, медленно прошли вдоль заметно укоротившегося, но все еще непомерно длинного ряда одинаковых казенных гробов. Кое-где слышались приглушенные женские

всхлипы, кое-где вдруг застывали мужчины, но скорбная процессия продолжала медленно двигаться дальше. Тяжкий запах крови и тлена сегодня ощущался куда явственнее, чем вчера.

— Я ситцевые платочки поставлял, я, — вдруг тихо признался Роман Трифонович. — Ровно четыреста тысяч косынок для царских подарков. Гордился даже: барыш! А вон он где — мой барыш…

— Оставь это, Роман, — поморщился Немирович-Данченко. — Нашел, чем душу свою травить? Ни к чему это сейчас, совершенно ни к чему.

— И не омыли их, — горестно вздохнул Хомяков, когда они вернулись к воротам.

— Копейки берегут, — проворчал Василий Иванович.

— Копейки? — взъерепенился Роман Трифонович. — Копейки беречь мы сроду не умели. Собственное спокойствие берегут. А наипаче спокойствия — место, которым кормятся. Чиновничье место — самая твердая валюта России, запиши это в книжечку будущим корреспондентам в назидание.

— Пойдемте в церковь, — тихо сказал Ваня. — Потом не протолкаемся, народ подходит.

В церковь они попали уже с трудом, на папер-

ти и в дверях пришлось протискиваться. Гроб с телом Фенички стоял справа, близко от выхода, потому что Василию Ивановичу накануне стоило немалых усилий добиться разрешения хотя бы на это место.

— Омыли, — со вздохом облегчения отметил Хомяков.

Немирович-Данченко промолчал. И Каляев молча рассыпал белые розы по маленькому, странно съеженному телу.

Им еще повезло, потому что от дверей тянуло свежестью: в переполненной церкви было душно. Пахло горящим воском, тленом, людскими телами. Заупокойная служба еще не начиналась, а теснота возрастала. Небольшая кладбищенская церковь ни разу за всю свою историю не вмещала такого количества живых и мертвых, да и не была на это рассчитана. Трагедии потому и трагедии, что их и по сей день не удается предусмотреть, а тем паче — просчитать.

— Потеснитесь. Хоть на шаг. Мать с отцом тут, — шепнули Василию Ивановичу в самое ухо, он оглянулся и увидел Тимофея в дешевеньком темном пиджаке. А за плечом его — согнутых страшным несчастьем, как-то сразу — не лицами даже, а всем обликом и существом своим

— постаревших женщину и мужчину. И спиной отодвинул стоявших позади, освобождая малое место у гроба Фенички.

— Вот и нашли мы тебя, доченька… — выдохнув, еле слышно сказала мать, и отец обнял ее за плечи.

— Не одни мы нашли дите свое, мать…

Слава богу, они успели, потому что почти сразу же началась заупокойная служба по безвинно погибшим. Чин был соблюден полностью, но — скороговоркой, потому что перед входом в церковь стояли точно такие же гробы, и точно такие же безвинно погибшие ждали своей очереди. А как пропели «Вечную память», Хомяков обнял журналиста за плечи, зашептав в самое ухо:

— Сам передай им, сам. Не могу я… Скажи, что это жалованье Фенички.

И сунул ему в руки конверт.

Кое-как пропустив на площадку перед церковью клир, люди начали выходить сами. Кто — поклониться покойникам у входа, кто — передохнуть, глотнуть свежего воздуха, а кто и порыдать в сторонке. В церкви стало просторнее, но она не опустела, потому что еще предстояли похороны. Родители Фенички и Тимофей не тронулись с места, а Роман Трифонович не

вытерпел:

— Я покурить. Покурить только.

Василий Иванович остался, а вслед за Хомяковым выбрался на воздух Ваня Каляев.

— Может, угостите?

— Ты же не куришь, Иван.

— Надо мне сейчас.

Закурили оба. Иван задыхался, кашлял, но продолжал тянуть голубоватый сигарный дым.

— Не по годам тебе испытание, — вздохнул Хомяков.

— В самый раз.

— Что это значит — в самый раз?

— Для понимания. Понял я, на что жизнь положить должен. Задачу свою понял.

— И на что же ты положишь ее?

— Законы для всех должны быть одинаковыми. Без всяких исключений. С этого начинается справедливость. С чего-то она должна же начинаться, правда? Ведь не с нуля?

Роман Трифонович промолчал. Ни уговаривать, ни объяснять что-либо, даже расспрашивать было не время. Отпевали погибших рядом. Только вздохнул:

— Вот так, стало быть. Вот так.

— Преступление без наказания, — вдруг криво

усмехнулся Каляев. — Разве может быть преступление без наказания?

И опять Хомяков промолчал. Он понимал, что юноша задает вопрос не ему, а то ли самому себе, то ли — Богу.

— Когда одного убивают, это — убийство. А когда тысячу? Как это тогда называется? Как? Скажите мне, я не знаю.

— Статистика, — буркнул Роман Трифонович, тут же пожалел о сказанном, но было уже поздно.

— Значит, статистика — государственное отпущение грехов? Этакая индульгенция? Значит, власть ни за что не отвечает? Сами себя подавили, ну так вам и надо? А то, что родители без кормильцев остались, что на паперть пойдут или с голоду подохнут, на это наплевать? Ведь молодежь в основном погибла, молодежь, стариков мало, я специально смотрел. Значит, двойная это потеря… Нет, что я — тройное, тройное это убийство! Сами погибли, родителей погубили и детей будущих. Тройное убийство, а виноватых нет. Нет и не будет, и суда никакого не будет, потому что убийцы в содеянном добровольно никогда не признаются!

— Успокойся, Ваня.

— Я спокоен. — Каляев неприятно осклабился. — Я спокоен, Роман Трифонович. Я — подданный этого государства, следовательно, обязан быть спокойным. Велено нам быть спокойными.

Пели «Вечную память», тихо плакали женщины. Здесь, на воздухе, можно было и поплакать.

А Хомяков слушал «Вечную память» с тревогой в душе о живом. Он понял, что в Каляеве вчера что-то сдвинулось, а сегодня это сдвинутое встало не на свои места. Если бы не встало, если бы Ваня продолжал пребывать в растерянности, он бы не беспокоился: молодо-зелено, все зарастет и все забудется. Но в юноше уже образовалось нечто новое, что так просто зарубцеваться не могло. «Поговорить надо с парнем, — думал Роман Трифонович. — Непременно поговорить. Камень стронуть с его души…»

Кого в первую очередь отпели, того в последнюю хоронили, потому что выход из церкви был заставлен гробами. И гробы эти стали взмывать над толпой на руках провожающих.

— Пойдем, Ваня. Нам Феничку выносить.

Вынесли, когда настала очередь. Крышку — двое парнишек, то ли родственников, то ли соседей; гроб — Хомяков с Немировичем-Данченко и Тимофей с Каляевым. Следом шли родители Фе-

нички, несколько женщин разного возраста, трое стариков. У одной из ряда вырытых могил поставили гроб на землю, обождали, пока отрыдается мать, отдали последний поцелуй. Потом пришлось дожидаться, когда подойдет могильщик. А могильщик лишь заколотил крышку, помог опустить гроб в яму, оставил бирку с номером да две лопаты.

— Сами зароете. Работы у нас сегодня…

Сами зарыли.

2

Возвращались молча.

— Варвара Ивановна уехала в больницу, — доложил Евстафий Селиверстович.

На его голос из малой гостиной вышел Викентий Корнелиевич. Молча поклонился.

— Стол накрыт? — спросил Роман Трифонович дворецкого, кивнув Вологодову.

— Как велено.

— Для прислуги тоже?

— Как велено.

— Зови всех сюда. — Хомяков говорил отрывисто, слов не тратил. — Помянем.

Зализо вышел. Роман Трифонович жестом пригласил всех в столовую, сам налил водку в

бокалы для вина, не отвечая на тихие приветствия входившей прислуги. Спросил, не глядя, у вошедшего последним дворецкого:

— Все собрались?

— Все, Роман Трифонович.

Хомяков поднял рюмку, медленным взглядом обвел стол.

— Одно место опустело у нас, — голос его дрогнул, но он справился с волнением. — Погибла наша Феничка мученической смертью. Запомним ее живой. И детям о ней расскажем. Вечная ей память.

Все молча выпили. Прислуга пошла к дверям, женщины прижимали к глазам платочки, Зализо шел последним.

— Вот так, — Хомяков глубоко вздохнул. — Садитесь за печальную трапезу. И сами за собой поухаживайте, пусть прислуга достойно с Феничкой простится.

Василий Иванович наполнил рюмки, поднял свою:

— Прощай, Феничка. Пухом тебе земля московская.

Едва успели выпить, как вошли Евстафий Селиверстович и генерал Олексин.

— Добрый день, господа.

— На поминки успел, — проворчал Хомяков, поспешно закусывая: ощутил вдруг, как проголодался. — Не промах мужик.

— Какие поминки?

— Феничка погибла на Ходынском поле, — суховато пояснил Викентий Корнелиевич.

— Господи, а она-то зачем туда пошла?

— Пей свою поминальную, — угрюмо сказал Роман Трифонович.

— Что ж… Упокой, Господи, душу ее. — Федор Иванович опрокинул рюмку, сел. — А я совсем замотался, господа, даже не поверите, как замотался. Министр двора захворал, и все на меня обрушилось, все — на меня…

В голосе его слышалась странная похвальба, приличествующая разве что субалтерн-офицеру, на час заменившему батальонного командира. Но на это никто не обратил внимания, все были в своих думах.

— Государь очень близко к сердцу воспринял этот несчастный случай, очень. Повелел выделить по тысяче рублей родственникам каждого, кто погиб в этой толчее…

— Толчее? — переспросил Василий Иванович. — Весьма своеобразное определение. Постараюсь запомнить, как оценил двор московскую

трагедию.

— По тысяче за труп, — угрюмо буркнул Хомяков.

— Ну… — Генерал развел руками. — Трудно подобрать слово, когда давятся за дармовую рюмку водки. Россия — это стихия, господа. Стихия!

— Эти поминки могли быть по твоей сестре, — вдруг сказал Роман Трифонович: ему претила придворная болтовня, от которой генерал Олексин сегодня почему-то никак не мог избавиться.

— И я бы этому не удивился! Кстати, где она?

— Кто?

Вопрос Хомякова прозвучал, как выстрел.

— Как — кто? — Федор Иванович улыбнулся несколько настороженно. — Естественно, Надежда.

— Надежда неестественно в больнице, — медленно, выделив каждое слово, сказал Хомяков. — Мы имели все шансы получить тысячу рублей от казны, если бы не Василий Иванович.

— Что? — растерянно переспросил генерал и неожиданно размашисто перекрестился. — Господи! Там же… Там же только для простонародья!

— Может быть, ваше превосходительство хотели сказать — просто для народа?

Голос Каляева звенел от внутреннего напряжения. Вологодов прикоснулся к его плечу и мягко улыбнулся:

— Спокойнее, Ваня, спокойнее.

— Я спокоен.

— Это… Это чудовищно, — с трудом выговорил Федор Иванович. — Там же погибло около полутора тысяч!

— Уже сосчитали? — поинтересовался Василий Иванович.

— Конечно, пока в общих чертах, только опознанных.

— А что же с неопознанными?

— Неопознанных невозможно внести в списки, уважаемый Василий Иванович. Сами понимаете, сложность и… неопределенность. Их похоронят в братской могиле. Но всех — в гробах и с отпеванием. И все, заметьте, за счет казны. Представляете, какая трата…

— Что для народа — утрата, для властей всегда только трата, — невесело усмехнулся Роман Трифонович. — О, великий и могучий русский язык!

— Государь не был сегодня на кладбище? — спросил Немирович-Данченко.

— Сегодня согласно высочайше утвержденному расписанию — церковный парад. Почему

вы спрашиваете, был ли государь на кладбище? Никакого кладбища в расписании нет.

Федор Иванович уже начал нервничать и заметно злиться. Василий Иванович пожал плечами.

— Я — корреспондент. Мне статью писать.

— Прощения прошу, нервы. — Генерал вздохнул. — Встретили, как постороннего врага.

— Слава богу, хоть не внутреннего, — усмехнулся Хомяков.

— Да будет тебе, право. Ну, сам посуди, как я был занят. Сегодня — церковный парад. Вечером — бал московского дворянства. Завтра, в среду, — день кончины государыни императрицы Марии Александровны, в связи с чем Их Величества отъедут в Сергиеву Лавру. А послезавтра — большой бал в Александровском зале Кремлевского дворца. Ты только представь объем моей ответственности.

— И впрямь кладбище никуда не влезает, — серьезно сказал Роман Трифонович. — Вот ведь какая оказия.

— …из-за чего я, собственно, и зашел. — Федор Иванович решительно проигнорировал хомяковское замечание. — Я принес три пригласительных билета на бал в Александровском зале. Но, кажется, не ко времени. Надежда очень

напугана?

— Напугана? — спросила Варвара, появившись в дверях. — Что ты, братец. Она произнесла сегодня целых три слова.

— Что она сказала? — живо откликнулся Хомяков.

— Все то же. «Я устала, устала, устала». — Варя села к столу. — Я, признаться, тоже устала. Счастье, что вернулась Грапа.

— Что прикажете? — спросил Зализо. — Бульон, суп-кресси…

— Только чаю. Есть «Черный лянсин»? Покрепче, Евстафий Селиверстович.

— Сам заварю, — сказал дворецкий и вышел.

— Я утром заезжал к психиатру, — тихо сказал Викентий Корнелиевич.

— Вы имеете в виду Авраамия Ильича? Спасибо, Викентий Корнелиевич, он был сегодня. Смотрел Наденьку, провел консультацию с врачами, поговорил со мной.

— Каков его вывод?

— Неутешителен. Считает, что Надя все еще ощущает себя на Ходынском поле. Фиксация ужаса, сказал он. Однако надеется, что Надя перейдет в состояние депрессии, с которой, по его словам, бороться проще.

— С депрессией бороться проще, он сказал?

— Да, друг мой. Сегодняшнее ее состояние Авраамий Ильич назвал состоянием активного самотерзания. Он считает, что Наденька винит себя в гибели Фенички. Может быть, даже подсознательно.

— Но как же так? — растерянно спросил Ваня. — Надежда Ивановна не может знать, что Феничка погибла. Никак не может знать.

— Представьте, Ваня, я задала тот же вопрос. Врач на это ответил, что мы недооцениваем голоса совести.

Евстафий Селиверстович принес чай и любимое Варей песочное печенье.

— Спасибо. Замечательный чай.

— Голос совести, — тихо, словно про себя повторил Каляев, но все его услышали в наступившей вдруг тишине.

— Самый громкий из голосов безгласной России, — вздохнул Василий Иванович.

— Мы простились сегодня с Феничкой, — сказал Роман Трифонович. — Завтра, послезавтра, на девятый день, наконец, станет легче, все знают это по личному опыту. Может… Может быть, сказать Надюше о сегодняшних похоронах?

— А не слишком ли это жестоко? — усомнился

Викентий Корнелиевич.

— Жестоко, не спорю. Однако от этой жестокости может начаться отсчет девяти дней. И придет окончательное прощание.

— А если ей нужно прощение, а не прощание? — спросил Василий Иванович. — Представляете, что тогда будет?

— А кто способен дать прощение? — решился сказать свое слово генерал. — Горничной нет в живых, тогда — кто? Ее родители? Господь Бог? Какой высший судия?

Все промолчали.

— Не знаю, — сказала наконец Варя, и всем было ясно, что она отвечает не на патетические вопросы брата, а на неожиданное предложение Романа Трифоновича. — Авраамий Ильич обещал прийти послезавтра. Я спрошу у него.

— Спроси, Варенька, спроси. Клин клином вышибают.

— Возможно, что ты прав, Роман. Вполне возможно. — Варя встала. — Прошу извинить, господа.

И вышла. Все молчали.

— Что-то Николая нет сегодня, — вздохнул Хомяков.

— Служба! — со значением произнес Федор

Иванович.

И неожиданно не к месту улыбнулся.

3

За сутки до этой неуместной генеральской улыбки капитан Николай Олексин был неожиданно востребован к командиру полка.

— Полку приказано выставить почетный полуэскадрон для встречи в Сергиевом Посаде Их Императорских Величеств. По повелению свыше полуэскадроном будете командовать вы, Олексин.

— По повелению свыше, господин полковник? — искренне удивился капитан.

— Именно-с. — Для гарнизонного полка это была высокая честь, но командира она почему-то не радовала. — Людей и лошадей отберете сами, как те, так и другие должны быть рослыми и выглядеть браво. Амуницию и все прочее начистить, чтоб глаза слезились.

— Будет исполнено, господин полковник.

— Да, уж постарайтесь. — Командир полка помолчал, барабаня пальцами по канцелярскому столу. — Вас когда-нибудь представляли государю?

— Такой чести удостоен не был.

— Значит, в Сергиевом Посаде представят, — буркнул полковник: ему смертельно не хотелось гонять усталых от бесконечных почетных построений солдат. — Если в грязь лицом не ударите.

— Постараюсь не допустить такой оплошности, господин полковник. Разрешите предупредить домашних?

— Непременнейшим образом, капитан.

Услышав о царской командировке, Анна Михайловна неожиданно пришла в восторг.

— Милый, это такое счастье! Это — выигрыш по лотерейному билету. Может быть, государь даже заговорит с тобой!

— Ну, Аничка, это вряд ли. — Николай был взволнован, но волнение ощущалось радостно. — Ночевать буду в полку, завтра — день на переезд, не менее суток в Сергиевом Посаде. Хлопотное дело. Молись за меня.

Весь день и вечер он отбирал солдат в полуэскадрон, придирчиво осматривал лошадей, приглядывал за подгонкой и чисткой амуниции. Помощников ему выделили опытных, но он стремился проверять каждую мелочь лично, и на сон времени почти не осталось.

Утром получили фураж и довольствие, погрузились в воинский эшелон из теплушек и одного

классного вагона. Николай старался зря не суетиться, понимая, что помощники сделают все как надо, но все же суетился, и это было неприятно. Когда наконец-таки тронулись в Сергиев Посад, он сразу же ушел в свое купе, чтобы выспаться, но долго не мог уснуть. Столь придворное поручение выпало на его долю впервые, и это тревожило. Кроме того, было немного совестно из-за досадного ощущения, что он несколько пересуетился.

Эшелон шел по специальному графику, что, впрочем, не помешало ему застревать на станциях по дороге. Добрались только к вечеру, но пока разместили полуэскадрон, накормили солдат и лошадей, уже почти стемнело. Командирам — Николай попросил у полковника двух субалтерн-офицеров — предоставили монастырскую гостиницу, но едва они после всех хлопот уселись за дружеский ужин, как явился немолодой черноризец:

— Отец Феофан настоятельно просит господ офицеров пожаловать к нему.

— По какому, собственно, делу? — не скрывая неудовольствия, спросил Николай. — Все исполнено согласно повелению, неясностей нет. Кроме того, извините, но мы устали.

— Настоятельно просит.

Исполнительный монах не имел иных аргументов, но упорно твердил одно: «настоятельно», и все тут. Пришлось тащиться в Лавру. Молодые офицеры недовольно ворчали:

— Капустку жевать будем.

— Ну, брось. Монахи поесть любят.

— В понедельник Петров пост начался. Или забыл?

Капустка была, но вполне уравновешивалась рыбными разносолами. Гостеприимные хозяева предложили офицерам и вино, хотя сами к нему не прикоснулись, блюдя строгий пост.

— Великая честь выпала обители нашей, — плавно говорил почтенный седой настоятель. — Царствующие особы не забывают о святой Лавре преподобного Сергия, чин давно отработан, но, возможно, произошли какие-то изменения?

— Мне приказано выстроить полуэскадрон у центральных ворот для торжественной встречи государя императора без отдачи рапорта, — сказал Николай.

Последнее условие он узнал утром от командира полка. Оно одновременно и огорчало и радовало, и Николай никак не мог решить, огорчается он или радуется, что рапорта не будет. Чувства спорили в нем, сменяя друг друга, и он

предпочитал слушать журчащую речь настоятеля молча, без вопросов.

А отец Феофан ударился в историю знаменитой обители, с удовольствием рассказывая о святом Сергии Радонежском, о его пастырской роли в жизни великого московского князя Дмитрия Донского и особо — о Куликовской битве.

— Поле Куликово — колыбель Руси.

Николай изредка поддакивал, но ему было скучно. Старец оказался влюбленным в собственное красноречие и токовал, как глухарь. Субалтерн-офицеры изо всех сил таращили глаза и с огромным трудом боролись с зевотой.

— И чего он нас к себе вытащил? — удивлялись они на обратном пути. — Историю обители рассказать не терпелось?

— Не думаю, что только для этого, — сказал Николай.

— А тогда для чего? Мы бутылку коньяку в складчину купили ради доброго ужина, а причаститься довелось церковным винцом.

«А в самом деле, для чего мы настоятелю понадобились? — лениво размышлял капитан. — Ради вежливости? Так мы — не в тех чинах, перед которыми расшаркиваются. Обычные гарнизонные офицеры… Не потому ли старец и спросил, не

претерпел ли чин посещения Лавры царствующими особами каких-либо изменений? А ведь претерпел: к кавалергардам да конногвардейцам гарнизонных служак вдруг присоединили, и это братию насторожило… А в самом деле, зачем и почему нас в этот древний чин вклеили?..»

Вклеили потому, что занемог министр двора граф Воронцов-Дашков, а временно заменивший его генерал Олексин вдруг решил порадеть родному человеку. Но Николай этого не знал и не узнал никогда, поскольку Федор Иванович никого и никогда не посвящал в свои далеко идущие замыслы. Правда, осуществились эти замыслы в весьма усеченном виде, потому что кто-то где-то успел отменить личный рапорт безвестного армейского капитана Олексина самому государю императору.

Впрочем, все обошлось гладко. Уставший от бесчисленных встреч, бесконечных депутаций и ежевечерних балов, государь просто не обратил никакого внимания, что у ворот Сергиевой Лавры его встретил совсем не придворный полуэскадрон, а посему капитан Олексин и не был ему представлен. Что уж скрывать, некоторая доля самолюбивого огорчения в этом, конечно, была, но чувство облегчения, что все уже позади, разом

утопило всю горечь.

— Уф, пронесло!..

4

Теперь Наденька почти спокойно спала днем, да и ночей боялась уже значительно меньше. Ей казалось, что она перехитрила самою себя, но дело заключалось совсем не в этом. Молодость, покой и уход вершили сейчас ее судьбу, потому что сама Надя властвовать собой еще не могла, даже если бы и осознавала это.

Но как раз этого она и не осознавала. Разум, воля и чувства отказались от ее власти, разбежавшись во все стороны. Их предстояло еще собрать воедино, успокоить, уговорить вновь стать послушными ее желаниям.

Так объяснил Варе Авраамий Ильич. Тихий, немолодой человек, куда лучше умеющий слушать, чем говорить.

— Я бы не рекомендовал сейчас сообщать больной о смерти ее подруги. Это может быть чревато последствиями непредсказуемыми. Мы не знаем, в какой мере она убеждена в ее гибели.

— Но вы говорили о состоянии самотерзаемости.

— Самотерзаемость — внутренняя борьба на-

тур нравственных. Рано ли, поздно ли, но она кончится победой, как и всякая борьба. А раны победителей заживают скорее, чем раны побежденных, как со всей непреложностью установил великий Пирогов.

— Но физически моя сестра, к великому счастью, не очень… Степан Петрович уверяет, что…

Варя что-то говорила, но Авраамий Ильич ее не слушал. Он размышлял, а спросил неожиданно:

— Скажите, Варвара Ивановна, к кому ваша сестра относится с наибольшим доверием и… и с наибольшей теплотой? Кроме вас, разумеется.

— К… к моему мужу. К Роману Трифоновичу.

— Я испрошу разрешения у Степана Петровича на посещение больной вашим супругом, если не возражаете.

— Вы рассчитываете, что Наденька улыбнется?

— Я надеюсь, что ваша сестра разрыдается, Варвара Ивановна, — строго сказал знаменитый психиатр. — День, когда это случится, смело можно будет считать поворотным днем ее болезни.

После похорон Фенички хомяковский особняк опустел. Василий Иванович бегал по своим корреспондентским делам, Ваня Каляев куда-то исчез, заверив Романа Трифоновича, что непременно зайдет попрощаться перед отъездом в Нижний,

Варя каждый день ходила в больницу, а Хомяков с головой ушел в дела. Братья Олексины — как генерал, так и капитан — были заняты по службе, поскольку коронационные торжества еще продолжались, и только Викентий Корнелиевич, по-прежнему числившийся в отпуску по болезни, каждое утро с регулярностью хорошо отлаженного автомата посещал цветочный магазин, отдавал распоряжение отослать корзину цветов в Пироговскую больницу, к завтраку появлялся в особняке и сидел допоздна.

Странно, но только он понимал всю тяжесть и глубину Надиной болезни. Остальные мужчины считали ее просто следствием крайнего испуга, который, по их разумению, обязан был пройти сам собою, поскольку, как говорится, руки-ноги были целы. Варвара, в общем верно оценивая психическое состояние сестры, склонна была безоговорочно верить врачам, если они говорили обнадеживающие слова, да и вообще изо всех сил надеяться на лучшее.

А Вологодов жил эти дни в постоянной тревоге. Беспокойно спал, ел по привычке к определенному распорядку и все время думал о Наденьке, только сейчас почувствовав и глубоко, всем сердцем осознав, насколько она дорога ему. И целыми

днями пропадал в хомяковском доме, потому что отсюда ушла и сюда должна была вернуться его вторая и последняя любовь.

Теперь он встречал Варю каждый день одними и теми же словами:

— Что нового?

Нового было мало. Да, Наденька стала спокойнее, начала понемногу есть и столь же понемногу лежать с открытыми глазами. Но глаза эти по-прежнему были повернуты внутрь.

— В себя вглядывается, Варвара Ивановна, — говорила Грапа. — Пять раз позвать надо, чтоб меня увидела.

Она старательно записывала все Наденькины слова, число вздохов и количество проглоченных ложек размазни из тщательно перемолотой отборной гречки. Эти листочки с ее каракулями Варя приносила домой, и Викентий Корнелиевич по их данным построил график. Кривая вздохов имела тенденцию к понижению, число проглоченных ложек каши росло, но количество сказанных слов практически держалось на одном уровне. Вологодов и Роман Трифонович изучали график, когда Варя, вернувшись из больницы, сказала, что Степан Петрович разрешил Хомякову навестить Наденьку.

— Только очень ненадолго, Роман. Ей противопоказаны любые волнения, врач специально предупредил.

— Да, да, разумеется. — Роман Трифонович почему-то очень разволновался.

— И подумай, о чем завести разговор.

— Безусловно, Варенька. Безусловно.

На следующий день он поехал в больницу вместе с Варей. Поначалу решил было надеть чуть ли не визитку, но вовремя одумался и влез в тот костюм, который Надя знала. И всю дорогу думал не о разговоре, а о первых словах. Перебрав множество вариантов, остановился на самом жизнерадостном, но, увидев Наденьку, все позабыл, опустился на стул и сказал одно слово:

— Доченька…

У Нади дрогнули губы, но улыбки так и не получилось. Она протянула Роману Трифоновичу руку и слабо сжала его пальцы.

— Хорошо…

Кажется, они больше ничего друг другу так и не сказали. Хомяков держал ее руку, чувствовал, как она изредка, точно подавая знак, пожимает его пальцы, и не мог ни о чем говорить. А Наденька выразила все свои чувства в одном слове и спокойно прикрыла глаза.

— Спокойно прикрыла. — Роман Трифонович говорил это Варе, Вологодову, тихому, так умеющему слушать психиатру. — И губы у нее дрогнули. Почти как в улыбке. Вы сделаете что-нибудь, Авраамий Ильич? Сделаете?

— Попытаюсь собрать. Уже говорил об этом вашей супруге.

— Что собрать? — Хомяков несколько оторопел. — Про то, чтоб собрать, Варя ничего мне не говорила.

— Психику ее собрать. Разбежалась она у больной.

— Тогда собирайте. И вы ее соберете. Соберете, верю! — Роман Трифонович крепко пожал врачу руку, добавил таинственным шепотом: — Если по прежним чертежам соберете — клинику вам построю!

— Не построите, — печально улыбнулся Авраамий Ильич.

— Это почему же?

— Потому, уважаемый Роман Трифонович, что по прежним чертежам ее и сам Бог не соберет. Не говорите этого никому, а особенно — Варваре Ивановне, но будьте к этому готовы.

5

Ваня Каляев ушел из хомяковского особняка вполне легально, поскольку бегство было ниже его достоинства. Еще неделю назад он вполне мог бы задать стрекача, легко обманув как дворецкого, так и бдительного дворника Мустафу, но ныне предпочел честно предупредить о своем желании Евстафия Селиверстовича.

— Не хочу, чтобы Роман Трифонович топал на вас ногами.

— Я вас вполне понимаю, господин Каляев. Только, прощения прошу за вопрос, что делать намерены?

— Денег на билет до Нижнего заработать. Домой пора возвращаться, а одалживаться не хочу.

— Даже у меня?

— Даже у вас.

Зализо помолчал, раздумывая. Юноша ему нравился, а гордое желание избегать одолжений было даже приятно.

— Двадцать лет назад выгнали меня из чиновничьего сословия, и поехал я в город Кишинев, — с неожиданной обстоятельностью начал он. — Семья была хоть и небольшая, но без средств к существованию. Письма писал, прошения — дело

знакомое, а народу в Кишинев понаехало большое множество, потому как военные действия начинались. Хитрил, как мог, лукавил, за чужой счет поесть норовил, даже в картишки передергивал, что уж там. Гнусно существовал, понимал, что гнусно существую, а выхода не видел. Вам не скучно?

— Нет, что вы. А почему бы вам не присесть, Евстафий Селиверстович?

— Благодарствую, если позволите, господин Каляев. — Зализо опустился на краешек кресла, вздохнул. — Из поповского сословия происхожу, но третьего сына батюшке в бурсу пристроить не удалось, и пошел я по чиновничьей части. Без протекции, без знакомств, с одним только хорошим почерком. И почерк этот меня спас, из небытия вытащил и семейству пропасть не дал. Понравился он начинающему откупщику, умному, прикидистому, с размахом. «Если, говорит, слово мне дашь, что честно служить будешь…» Ну, я — в ноги ему. «Нет, говорит, не поклонов от тебя жду, а слова человеческого…»

— Роман Трифонович? — улыбнулся Иван.

— Он, — строго сказал Евстафий Селиверстович. — И слово то мною дадено. На всю жизнь — одно.

— Значит, не отпустите меня?

— Препятствовать не могу и очень благодарен вам, господин Каляев, что предупредили о своем уходе. Вы — человек благородный, издалека видно.

— Так что же мне делать? — Ваня опять улыбнулся, потому что ему нравились топтания Зализо между честным словом и пониманием, что он, Иван Каляев, имеет право поступать, как ему заблагорассудится. — Не зайцем же ехать до Нижнего?

— Если позволите, я вам письмо к сыну своему дам. Он в университете закончил, помощником присяжного поверенного служит. Курьером согласны поработать?

— С удовольствием, Евстафий Селиверстович. Только Роман Трифонович все равно на вас разгневается.

— Так ведь знаю я, где вы обретаться будете. И что непременно попрощаться перед отъездом сюда придете. Так что для гнева матерьялу нет. — Зализо встал. — С вашего позволения, господин Каляев, я сыну сейчас напишу.

И, поклонившись, вышел.

Василий Иванович, ночь просидев за статьей, утром поехал на телеграф и в корреспондент-

ский пункт за новостями. Смотрел с извозчичьей пролетки на московскую праздничную шумиху, удивлялся, что Ходынка уже забыта, но скорее воспринимал это как данность, нежели огорчался. «До чего же мы раны легко зализываем, — думал он. — Что это — здоровье народа или бесчувствие его?..»

Завершив все срочные дела, Немирович-Данченко решил никуда не спешить. Государь с государыней были в Сергиевом Посаде, он мог располагать собственным временем и неторопливо двигался по московским улицам. От Лубянки свернул к Театральной, Охотным Рядом вышел к Тверской и сейчас поднимался по ней.

Народу здесь было побольше. Горланили лотошники, расхваливая товар, фланировали любопытствующие зеваки, в магазинах стало заметно оживленнее. Василий Иванович пригляделся и понял, что нагрянувшие в Москву провинциалы уже начали считать дни до отъезда и озабочены сейчас выбором гостинцев из Первопрестольной. «Землетрясение, которое забывается, — он опять подумал о Ходынской трагедии. — Все правильно, не горе же по весям развозить».

Он миновал Страстную площадь и остановился подле ничем не примечательного углового

дома. Леса с него были давно сняты, фасад сиял свежими красками, равно как и герб, который устанавливали с лесов артельщики. Здесь когда-то провозили гигантскую белугу, здесь он встретил Наденьку, сломавшую каблук, здесь дал артельщику денег на дюжину пива, а потом столкнулся с ним же на Ходынском поле возле разбитых буфетов. Артельщик искал сына, Николку, и Василий Иванович очень сейчас надеялся, что он нашел своего веселого, по-московски разбитного сына целым и невредимым.

А на Триумфальной опять остановился. Огромный деревянный обелиск, сооруженный по случаю коронационных торжеств, снова оказался в лесах, на которых трудились рабочие.

— Что они там делают? — спросил он у городового, почему-то наблюдавшего больше за работой, чем за порядком на улицах. — Подкрашивают, что ли?

— Никак нет, ваше благородие. — Городовой зыркнул по сторонам отточенным взглядом, шепнул доверительно: — Орла меняют.

— Какого орла?

— Который есть герб. Злоумышленники матерное слово на его животе дегтем написали. Да так, что и не смывается.

«Нет, ходынское землетрясение Москва не забыла, — неожиданно подумалось Василию Ивановичу, и подумалось-то с каким-то злым торжеством. — И, видать, не скоро забудет… Господи, да что это из меня вдруг Иван Каляев полез?..»

Вечером Немирович-Данченко вновь посетил телеграф, потому что несколько задолжал со статьями. Здесь его ожидала легкая неприятность: редакция одного из видных петербургских журналов выразила неудовольствие по поводу статьи о Ходынской трагедии: «О подобных событиях следует упоминать мельком, не расстраивая читателей ужасными подробностями». Обычно Василий Иванович относился к редакционным замечаниям вполне равнодушно, исходя из принципа «не угодно — не печатайте», но на этот раз вдруг рассвирепел и тут же, на телеграфе, написал ответ:

> «Только душевно-близоруким может быть свойственно утверждать, что необходимо употребить все усилия, чтобы поскорее забыть о Ходынке или, по крайней мере, смягчить ужасные воспоминания. Зачем? Почему? Кому это вдруг понадобилось? Неужели жить – значит

закрывать глаза на горе и открывать их только при радостях? Не наоборот ли? Может ли искренне радоваться тот, кто никогда не познал чужого горя и даже не посочувствовал ему?»

Он отложил ручку, подумал и дописал:

«Если ваш уважаемый журнал не напечатает вышенаписанных строк, я буду вынужден прекратить наше сотрудничество».

Отправил по телеграфу второпях написанный ответ, добавление, взял извозчика и поехал домой. И долго возмущался трусливо-благостной позицией редакции, долго вздыхал. Пока не уснул.

6

26 мая день выдался на редкость жарким. Однако трибуны у Царского павильона на Ходынском поле были переполнены, и сотни разноцветных дамских зонтиков кокетливо колыхались над ними. Все ждали высочайшего смотра войскам, уже выстроенным для парада в восемь линий,

шутили, оживленно переговаривались.

Ровно в одиннадцать государь верхом, а государыня в экипаже в шесть белых лошадей цугом, с камер-казаком на запятках и двумя жокеями впереди выехали к войскам. Вместе с государыней в экипаже находились гессенская и румынская принцессы.

Объезд войск продолжался точно по регламенту: ровно сорок минут. Войсковые оркестры играли «встречу», а хоры музыки — гимн, но все заглушали перекатные крики «Ура!..». Позднее газеты сообщили, что в параде приняло участие восемьдесят семь батальонов, тридцать восемь эскадронов, три казачьих сотни, девяносто шесть пеших и двадцать четыре конных орудия. Тридцатью восемью с половиной тысячами солдат руководили шестьдесят семь генералов и тысяча девятьсот шестьдесят штаб — и обер-офицеров. А всем парадом командовал Его Императорское Высочество Главный начальник войск, собранных в Москве, великий князь Владимир Александрович.

Завершив объезд, царствующие особы вернулись к Царскому павильону, где государыня изволила пройти на верхний балкон, а государь остался перед ним, сидя в седле.

Пропели фанфары, донеслась протяжная команда: «Побатальонно!..» И грянул марш сводного оркестра.

Парад открыли сотни конвоя Его Императорского Величества в красных мундирах. За ними старательно протопали кадеты, начиная с самых маленьких, что вызвало приступы острого умиления у дам на трибунах.

Следом двинулись и войска. Первым сводным гвардейским полком командовал великий князь Константин Константинович, Вторым — великий князь Павел Александрович, причем в роте Его Величества Измайловского полка находился великий князь Андрей Владимирович, а во главе 1-го батальона лейб-гвардии литовского полка — великий князь Николай Николаевич. За ними с грохотом, на рысях проследовала гвардейская артиллерия, поднявшая тучи въедливой ходынской пыли, из-за чего государь был вынужден повелеть немного обождать, чтобы марш кавалерии окончательно не утонул в желтом облаке. Во время вынужденного перерыва он дважды крикнул «Молодцы!» и единожды «Спасибо!», но кому именно, осталось неясным.

Наконец пыль немного рассеялась, и кавалерия немедленно начала прохождение на рысях и в га-

лопе, чтобы поднять ее заново. Шедшие первыми кавалергарды еще блеснули своими кирасами, но конногвардейцы, кирасиры, гвардейские драгуны во главе с великим князем Борисом Владимировичем промелькнули в пылище как тени. В конце концов легкий ветерок приволок эту пыль к трибунам. Государь неожиданно чихнул, почему и был вынужден спешиться и скрыться в помещении Царского павильона еще до окончания парада.

Впрочем, его любимые войска, а главное, записанные в них многочисленные родственники, уже продемонстрировали свою мощь и силу, и глотать пыль ради замыкающего парад сборного полка московского гарнизона не имело никакого смысла. Ни политического, ни тем более семейного.

Впереди сводного московского полка рысил бравый полуэскадрон под командой капитана Николая Олексина. Но в густой пыли ни он никого не разглядел, ни его никто не увидел. Но, как позже выяснилось, для того чтобы быть замеченным, вовсе необязательно, чтобы ты что-то разглядел или тебя кто-то увидел.

Затем был дан обед для московских сословных представителей, после которого генерал Федор

Олексин заехал к Хомяковым.

— Попрощаться, — пояснил он. — Отъезжаю сегодня же вослед за государем.

— Вот как? — Варвара подняла брови. — Я полагала, что ты уедешь во вторник.

— Служба, Варенька, служба, — вздохнул Федор Иванович. — Да и загостился я в Первопрестольной.

— Во вторник — годовщина смерти нашей матушки. Двадцать лет, Федор. И приедут все, кто об этом не позабыл.

— Я помню, — с некоторой досадой сказал генерал. — Но служба есть служба. Как там Надежда?

— Все еще — там.

Варя ответила сухо, и Федор Иванович сразу заторопился:

— К сожалению, я не смогу дождаться Романа Трифоновича, кланяйся ему. И братьям — мой поклон. И… Наденьку целуй.

— Благодарю. Ты очень любезен.

— Да, чуть не позабыл. — Генерал усмехнулся не без некоторого самодовольства. — Николая поздравь.

— С чем же?

— С орденом Святого Владимира IV степени. Рескрипт о сем уже подписан государем.

И наскоро облобызав сестру в обе щеки, вышел с несколько излишней поспешностью.

В десять часов тридцать минут вечера того же дня государь и государыня изволили отбыть из Москвы в село Ильинское…

Глава двенадцатая

1

28 мая, во вторник, исполнялось ровно двадцать лет со дня кончины матушки Анны Тихоновны. Много лет по традиции семья собиралась в Высоком, но с бегством Леночки и утратой Иваном «собственного лица», как однажды в сердцах выразился Федор, место поминания было изменено. Все обычно приезжали в Москву, к Хомяковым, заказывали панихиду, поминали, а на следующий день выезжали в Смоленск и уж оттуда — к родным могилам под белыми мраморными крестами. Не все, разумеется, поскольку многие уже служили, но старались все, кто мог.

Этот год был особым: ровно двадцать лет. Однако и обстоятельства тоже оказались особыми. Несчастье с Надеждой, ссылка Георгия и коронационная суета заставили пересмотреть сложившийся ритуал. Поразмышляв и отплакавшись, Варя вынуждена была отменить посещение Высокого, ограничившись лишь общим сбором в Москве. Она разослала длинные телеграммы по всем адресам, заказала панихиду и стала ждать

братьев в собственном доме.

И мечтала, что в этот особенный для семьи день врачи разрешат Наденьке хотя бы на два-три часа вернуться домой. Однако Степан Петрович оказался непреклонным:

— Преждевременно, Варвара Ивановна.

— Даже просто повидаться с родными?

— Возобновим этот разговор через неделю. И непременно в присутствии Авраамия Ильича.

На следующее утро после отъезда государя императора Москва пробудилась в ином качестве. Азартная работа по украшению второй столицы к коронационным празднествам да и сами празднества были уже позади вместе с коронацией и Ходынкой, надеждами и разочарованиями, приобретениями и утратами. Наступала обычная жизнь, а посему, по мнению властей, ничто уже не должно было напоминать москвичам о трехнедельной суетности. Многочисленные гости начали разъезжаться со всех вокзалов, а в центре — и прежде всего на Тверской — снова застучали топоры и отвратительно заскрежетали гвозди, выдираемые из гнезд. Звуки созидания и разрушения порождаются одними инструментами, отличаясь лишь чисто эмоциональным восприятием.

Город разбирал декорации.

В семь утра Хомяков уже сосредоточенно просматривал бумаги, слушая домашние новости, которые считал нужным доложить Евстафий Селиверстович.

— Варвара Ивановна приказала подать завтрак в постель к девяти.

— В больницу поедет?

— Так точно.

— Надо бы Грапу хоть на день отпустить.

— Предлагал. Отказалась. Сказала, что Надежде Ивановне с нею спокойнее.

— Что спокойнее?

— Спать, Роман Трифонович. Надежда Ивановна только днем и спит, сама Грапе призналась.

— Худо, Евстафий, — вздохнул Хомяков.

— Худо, — согласился Зализо, украдкой глянув на кабинетные часы. — Господин Каляев просил принять его утром. Поезд у него в десять часов сорок пять минут. Должен вскоре подойти.

— Проси сюда.

Евстафий Селиверстович вышел. Хомяков сделал выписки из двух документов, доставленных лично старшим конторщиком, перечеркнул их красным карандашом, отложил в сторону, когда в дверь негромко постучали.

— Входи, Ваня, — сказал он, встав навстречу раннему гостю.

Пожал Каляеву руку, кивнул на кресло.

— Я только попрощаться, Роман Трифонович. И поблагодарить от всей души.

— Где ночевал?

— В адвокатской конторе. Днем рассыльным работал, ночью — дежурным. Там — диван, удобно.

— Что делать думаешь?

— Осенью в университет пойду. В Петербургский.

Ваня отвечал коротко, не вдаваясь в подробности и не ожидая расспросов. А выглядел повзрослевшим. Безулыбчивым и серьезным, и Хомяков понял, что перед ним — не вчерашний гимназист, а молодой человек, уже определивший свою судьбу. И вздохнул:

— Не закончишь ты в университете.

— Возможно. Но единомышленников найду.

— Найдешь, знаю. — Роман Трифонович помолчал, сказал, понизив голос: — Если деньги понадобятся…

— Извините, нет.

Отказ Ивана прозвучал столь резко, что Хомяков рассердился:

— Да не тебе, не тебе!..

Похмурился, посопел, уточнил:

— Единомышленникам.

— Каким единомышленникам?

— Можешь на меня рассчитывать.

Каляев отрицательно покачал головой. Роман Трифонович усмехнулся:

— Это лучше, чем кареты грабить. Концы — в воду. А единомышленники обязательно появятся, Ваня, так что ищи. Непременно появятся и магнитом притянут.

— Может быть. Я ведь и шага еще не сделал.

— Первый шаг, Иван, человек в душе делает. И этот шаг ты уже совершил.

— Спасибо, Роман Трифонович. — Каляев невесело улыбнулся. — Очень боялся я, что вы все мои выкрики за детскую истерику посчитаете.

— Нет, Иван Каляев, человек ты — серьезный. Весьма и весьма, — вздохнул Роман Трифонович. — Ты ведь программу целую мне успел изложить. Не бывает виноватых чиновников, презумпция невиновности для общенациональных трагедий существовать не имеет права, дырки в законах, справедливость одна на всех. Признаться, хотел я с тобой поговорить, как бы со своим сыном поговорил: мой старший — тебе ровесник. А потом понял, что нет, не ровесник.

Возмужал ты, Иван, в два дня возмужал, и разговор мой опоздал на эти два дня.

— Даст бог, еще поговорим.

— Богу отмщение дано, Он и воздаст, — вдруг хмуро сказал Хомяков.

— Это — вопрос теологический, а следовательно, не… не очень доказуемый, Роман Трифонович.

— Это — вопрос совести, Иван.

— Вот тут я с вами почти согласен.

— Почти?

— Одна проблема мне покоя не дает, — помолчав, сказал Каляев. — Где сейчас Феничкина совесть? В кого вселилась? В осиротевших родителей? В Тимофея? Может быть, в меня?.. Знаете, с чем я из Москвы уезжаю? С чувством, что все две тысячи раздавленных на Ходынке мне свою совесть вручили. Мне, Роман Трифонович, мне лично. И в Петербург с этим же чувством осенью поеду. А засим, как говорится, разрешите откланяться.

— Ох, Ваня, Ваня… — Хомяков обнял Ивана, прижал к груди. — С перегруженной совестью трудно на свете жить.

— Полагаете, что без нее легче? — усмехнулся Каляев.

— Да не о том я!

— Простите, Роман Трифонович, с языка сорвалось, — вздохнул Иван. — Надежде Ивановне — низкий поклон. Жаль, что повидать ее более не пришлось, но последние слова ее помню. «Форма раздавила содержание». Точнее, мысль, а не слова. Отсюда следует, что форму надо менять. Вполне диалектический вывод. Наденька — умница, Роман Трифонович. Умница.

Он впервые назвал младшую Олексину просто Наденькой, словно был старше. И Хомяков понял: «не был — стал старше». Подавил вздох, покивал головой.

— Расцелую нашу умницу за тебя, Ваня, когда поправится. А вот денег под грядущую вендетту не дам. Ни тебе, ни будущим сотоварищам твоим. Извини, погорячился.

— Я слишком уважаю вас, Роман Трифонович, чтобы принять деньги. Какие бы то ни было.

— Обещай, что заглянешь, коли в Москве побывать случится.

— Непременно, Роман Трифонович. Прощайте. Спасибо за все.

— Прощай, Ваня. Побереги себя.

Каляев вышел, и дверь за ним беззвучно закрылась.

Навсегда.

2

А Хомяков сел за стол, начал читать какие-то бумаги и упорно читал, пока не понял, что ничего сейчас в них не понимает и понимать не способен. Из головы не выходил Каляев, его внезапное возмужание, странный разговор о совести, которую якобы завещали ему мученики ходынской трагедии. И, как вывод, — последние слова: «Форму надо менять». «Ну менять, согласен, — с непонятным раздражением думал Роман Трифонович. — Но ведь ты, Иван, нетерпелив, ты — как Маша: уж коли менять, так сейчас же, сразу, вдруг, немедленно, бомбой в губернатора. А там — дети. Существа бесформенные, их-то зачем и за что?.. Нет, не пожалеют они детей, не пожалеют. Не каждое столетие Маши рождаются…»

— Василий Иванович приехали!.. — распахнув дверь, радостно объявил Зализо.

Старший Олексин был благообразен, спокоен и бородат. Никогда не позволял себе сердиться, хмуриться, даже повышать голоса: его и так всегда было слышно. Ни на что не претендуя, он тем не менее стал нравственным судией всей семьи, приговор которого никогда и никем не

обжаловался.

Причина особого положения Василия Ивановича в семье заключалась отнюдь не в добровольно взваленном на себя тяжком кресте настойчивых поисков путей к совести человеческой. В молодости он был видным народником, одним из основателей наиболее авторитетного и исторически значимого кружка этого движения русской интеллигенции. И не в том, что вследствие этого попал в поле зрения полиции, был вынужден бежать в Америку, где продолжал упорные поиски все того же всеобщего равенства и братства, для чего организовал коммуну по образцу Фурье в штате Канзас. Не в том, наконец, что нашел в себе силы отказаться от социалистических фантазий, искренне разуверившись в них, вернулся на родину, где долгое время перебивался с хлеба на квас, пока не был приглашен графом Львом Николаевичем Толстым в качестве домашнего учителя для старшего сына Сергея. И даже не в том, что, уверовав в богоискательство Толстого, стал одним из первых адептов его нового учения: Олексины не отличались религиозностью, относясь к религии скорее как к привычной и приятной традиции. Нет, главное в отношении семьи к ищущему брату заключалось в том,

что сам ищущий брат негромко, но неуклонно демонстрировал в поисках своих на редкость принципиальную честность, твердость и постоянство. А эти качества все Олексины ценили превыше всего.

— Зачем же гневаться? — говорил он спорящим братьям. — Рассудите спокойно, и сами поймете, что не вы сейчас спорите, а пустые амбиции ваши.

— Здравствуй, дорогой мой.

Хомяков троекратно облобызался с Василием Ивановичем, отодвинул его от себя, улыбнулся.

— Рад. Знаешь о нашем несчастии?

— О Наденьке Варя рассказала, пока ты с юношей беседовал. Счастье, Роман, что жива осталась, дар Господень. Остальное в руках Божьих.

— Надеюсь на это, — буркнул Роман Трифонович: не любил ссылок на Господа. — Из Казани или из Тулы?

— Из Казани. К Льву Николаевичу из Москвы заеду. Списались мы с ним заранее.

— Если не возражаешь, с завтраком чуть обождем. Викентий Корнелиевич вот-вот подойти должен.

— Я стакан чаю на вокзале выпил. Так что не голоден.

— Пост соблюдаешь? — улыбнулся Хомяков.

— Скорее образ жизни.

— Суровая у графа религия.

— Добровольное суровым не бывает, Роман.

Усадив гостя, Роман Трифонович на скорую руку познакомил его с московскими и семейными новостями. Рассказал о гибели Фенички и спасении Наденьки, о генерале Федоре Ивановиче, успешно строившем карьеру, о Николае с его дочками и Георгии, практически сосланном за дуэль в Ковно.

— Правильно поступил Георгий. Не взял греха на душу.

— А узел разрубил, — усмехнулся Хомяков.

— Жаль только, что не повидаю его.

Вошла Варвара.

— Вася, знаешь, что мне в голову пришло? — с какой-то напряженной внутренней озабоченностью сказала она. — Может быть, мы вместе к Наденьке поедем?

— С удовольствием, но… Не очень себе представляю свою роль. Мы так долго не виделись.

— Она не просто любит тебя, она тебя чтит.

— Готов хоть сейчас, Варя.

— Нет, нет, после завтрака. Я панихиду по маменьке в храме закажу и за тобой заеду.

Улыбнулась и вышла.

— Варя права, — помолчав, сказал Роман Трифонович. — Не получилось у меня разговора с Наденькой. Растерялся я, ее увидев, и все слова из головы повылетели. Может, ты ее разговоришь.

— Молчит?

— Одно слово мне сказала. «Хорошо». Ровно одно… — Хомяков прислушался. — Кажется, Викентий Корнелиевич пожаловал. Пойдем в столовую, Вася.

Они прошли в столовую, где Роман Трифонович представил мужчин друг другу. За завтраком шла общая беседа ни о чем, почти светская, а потом вновь появилась Варвара и увезла Василия Ивановича с собой прямо из-за стола.

— Самотерзания? — переспросил Василий, выслушав весьма подробный и весьма сумбурный отчет Варвары о состоянии младшей сестры. — Я понял тебя, Варя. Душевный разговор Наденьке необходим, искренний и доверительный. Смогу ли?

— Сможешь, Вася. Кто же, если не ты?

— Не знаю, не знаю, — сомневался Василий. — Здесь откровение нужно. Или мудрость Льва Николаевича. Мудрости нет, до откровения не

поднялся…

А войдя в палату, с горечью понял, что здесь и откровения недостаточно. Озарение нужно. Святость…

— Вася…

И опять Наденька попыталась улыбнуться. И опять улыбки не получилось.

— Души слушайся, Наденька. Не хочется улыбаться — не улыбайся, не хочется говорить — не говори. Отринь всякое насилие над нею. Насилие — самый страшный грех. Очень дурные люди его придумали, естеству оно неведомо.

— Душа моя… разбежалась.

— Просто странички в ней перепутались.

— Мя…

Надя замолчала. Пожевала губами, прикрыла глаза.

— Что ты хотела сказать?

— Мятеж.

— Понимаю, душа бунтует. Только в клетку, как Пугачева, ее не посадишь. Приласкать ее надо.

— Кусает.

— Поссорилась ты с ней, — вздохнул Василий. — На Ходынку потащила, унижениям подвергла, вот она и… Тело — форма. Душа — содержание. И прекрасная форма может оказаться пустой, и

великая душа прозябать в гнилом срубе.

Наденька вдруг открыла глаза, странно посмотрела на него.

— Ты… все знаешь?

— Всего знать никому не дано.

— Содержание может быть больше. Больше формы.

— Возможно, это не содержание, Наденька? — Василий почему-то очень заволновался, стал терять мысль. — Возможно, это просто опухоль? Перетрудила ты душу свою.

— Взорвется. Вот-вот взорвется. Знаю.

— Значит, на бомбу надо броситься. Как Маша. Ведь дети кругом. Дети.

Василий сказал это внезапно, не подумав. Сказал и вдруг испугался.

— Не так живи, как хочется, а как долг велит. — Наденька впервые ясно произнесла столь длинную фразу. — Так батюшка говорил?

— Да. И матушка. Только для него это был дворянский символ веры, а для матушки — крестьянский. Завтра двадцать лет.

— Поставь за меня свечку.

— И поставлю, и помолюсь.

— Молиться за меня нельзя, — вздохнула Надя. — Я сама должна молиться.

— Да, посредников между человеком и Богом быть не должно. В этом и есть смысл учения графа Льва Николаевича.

— Не надо о смысле. Нет его. Нет никакого смысла. Обещай, что придешь. После маминого дня.

— Приду, Наденька.

— А сейчас иди. Устала я. Я устала, устала, устала…

Василий поцеловал сестру в лоб и тут же вышел.

— Ну, как? Она заплакала? — с ожиданием спросила Варя, бросившись к нему.

— Что?.. Нет, Варя, Наденька не заплакала.

— Жаль, — огорченно сказала Варя.

— Жаль, — вздохнул Василий.

Он был очень недоволен собой, что не смог, как должно, поговорить с Наденькой, утешить ее, успокоить, вселить веру. «Поучал, — с мучительным стыдом думал он. — Несчастную душу, спасения жаждущую, суконными сентенциями пичкал. Все до последнего словечка Льву Николаевичу расскажу, ничего не утаю, ничего. И не отпущения попрошу, а суда. Праведного суда за неискренность свою…»

3

Дома Василий Олексин рассказал о свидании с Надей в самых общих чертах. Он все еще терзался совестливыми воспоминаниями, которые так мучительно жгли сейчас душу. Но сослался на то, что пока еще не разобрался в собственных впечатлениях. Вероятно, его поняли, потому что никто не допрашивал с пристрастием. А он со стыдом думал, что и сейчас лжет, и сейчас не может отыскать в себе сил, чтобы признаться, что неискренность все еще унижает душу его, а справиться с нею он никак не может по ничтожности своей.

— Душа у нее съежилась, — бормотал он, а ему внимали, внимали с надеждой и верой. — Хотя она утверждает, что наоборот. Не съежилась, а разбежалась.

— Что человеку известно о душе? — тихо спросил Викентий Корнелиевич. И сам же себе ответил: — Ничего.

— Душа — это воля, — уверенно объявил Хомяков. — То есть способность человека ставить перед собой цель и добиваться ее через «не могу». Согласен, Вася?

— Немцев ты начитался, Роман, — вздохнул

Василий.

Не хотелось ему вникать в пустой разговор, ох как не хотелось. Хотелось молчать, но он и тут не удержался от поучений:

— Немцам свойственно прямолинейное понимание.

— А нам, славянам, кривоколенное, — усмехнулся Роман Трифонович. — Господин Достоевский тому примером. А жить надо проще: цель — средство — результат.

— А где же тогда совесть? — спросил Вологодов.

— Совесть?.. — переспросил Хомяков, вдруг вспомнив разговор с Каляевым. — Совесть, это что, по-вашему, результат домашнего воспитания или часть души?

— Для человека русского — часть души, — сказал Василий. — Иногда огромная часть. Все поглощающая в себя.

Впервые сказал искренне. И вздохнул с облегчением.

— А душа — бессмертна. Так, во всяком случае, считает религия, — продолжал Роман Трифонович. — Следовательно, совесть — тоже бессмертна? В какой же форме она продолжает существование? И кто ее наследует, если можно

так выразиться?

— В какой-то мере — все мы.

— В какой-то мере, Викентий Корнелиевич? И что же, мы стали совестливее за последние сто лет?

— Полагаю, что совестливее. Во всяком случае, солдат сквозь строй не гоняем.

— Но в бессмысленные атаки гоняем, войну вспомните. Михаил Дмитриевич Скобелев как-то сказал мне, что поштучно помнит всех, кого пришлось зарубить в бою, но не знает, сколько человек пало от его приказов в сражениях. Какие грандиозные перспективы для совести, господа! Забрасывай бомбами, убивай издалека — и совесть твоя будет покойна.

— Совесть — это запрос Бога, — сказал Василий. — Не вопрос, подчеркиваю, а — запрос. Требование отчета. И тогда человек начинает страдать и маяться.

— И тут же утешает себя всеми способами, — подхватил Роман Трифонович. — Необходимостью, приказом начальства, роковой случайностью, приступом патриотизма, наконец. Нет, господа, у совести всегда найдется увесистый противовес — самооправдание. Защита и обвинение сосуществуют в нас, увы, без суда присяжных. И

— как правило, заметьте — побеждает защита. Человек — существо самовлюбленное, в отличие от животного.

— Однако нарциссизм — отклонение от нормы, — заметил Викентий Корнелиевич. — В массе своей человек нравственно здоров.

— Если верует, — сказал Василий. — Искренняя вера — фундамент нравственности, только она способна удержать человеческую совесть от кривых тропинок. От семейных и клановых заветов, государственной необходимости, политических уловок, торгашеских обязательств, жажды мести и гнева с любыми прилагательными.

«Господи, да что же со мною творится! — почти с отчаянием думал он, а дежурные слова как бы сами собой продолжали слетать с языка. — Как же отравлен я всем обществом, если евангельских заветов исполнять не могу…»

— И это говорит вчерашний неистовый материалист! — насмешливо воскликнул Роман Трифонович.

— Убежденность, что материализм непременно атеистичен, есть величайшее заблуждение, Роман. Мировоззрение и миропонимание не противоречат, а скорее дополняют друг друга.

— При двух непременных условиях, — заметил

Викентий Корнелиевич. — Надо уметь зрить и уметь понимать.

— И зрить непременно в корень, как то рекомендовал Козьма Прутков, — усмехнулся Хомяков. — Мы утратили тему, господа. И вопрос к тебе, Вася, как к материалисту-богоискателю. Мучает ли человека совесть за чужие грехи?

— Порою значительно больше, нежели за собственные.

— Всегда и всех?

— Должна всегда и всех, но, увы, Роман, человек весьма несовершенен.

— И что же мешает его совершенствованию?

— У нас, в России? «Две напасти: внизу — власть тьмы, вверху — тьма власти», — серьезно продекламировал Вологодов.

— И это говорит чиновник четвертого класса с титулом превосходительства! — тотчас же откликнулся Роман Трифонович. — Нет, господа, уж извините, но человек несовершенен исключительно по лености своей, а потому и нет ему оправдания. Всего тридцать пять лет назад государь Александр Второй отменил крепостное право, пять веков растлевавшее как плебеев, так и патрициев. За эти века скулить да челом бить научили всех, а вот трудиться — только из-под

палки. И что же? Большинство затосковало не только о барских подачках, но и о барской плетке: «Раньше порядок был!» Порядок на Руси — всегда из-под батога, сверху, а не снизу — мы-де люди маленькие! И тоска у нас — именно по такому порядку, порядку с плетью в руках, а не с законом.

— Пылу в твоих речах, Роман, всегда больше, чем резону, — миролюбиво улыбнулся в бороду Василий. — Но пыл — не аргумент. Человек и стал-то человеком разумным только тогда, когда научился управлять своими страстями.

— Не следует ли из ваших слов, Василий Иванович, что идеальным обществом вы полагаете общество, состоящее из людей бесстрастных? — улыбнулся Вологодов.

В его тоне скрывалась некая ирония, но Олексин предпочел ее не заметить.

— Никоим образом, Викентий Корнелиевич, страсть — ключ к творческому началу, если она управляема совестью. И к разрушению, а то и преступлению, если совесть заменяется сиюминутной необходимостью. Умозрительной политической идеей или жаждой личного обогащения — разницы нет. Как то, так и другое направлено против общества, почему между идейным бомбистом и безыдейным разбойником

я и не усматриваю никакой принципиальной разницы.

— Цель оправдывает средства, — проворчал Хомяков. — Лозунг Игнатия Лойолы, если не ошибаюсь.

— Невозможно достигнуть благородной цели преступными средствами, тут я с Василием Ивановичем полностью согласен, — заметил Викентий Корнелиевич. — Поэтому и Робин Гуд есть всего-навсего протест против догматического германского орднунга, выраженный в романтической легенде.

— Вот как? — усмехнулся Роман Трифонович. — А я-то, наивный, предполагал в его образе вопль о справедливости.

— Экспроприация не может быть справедливой хотя бы потому, что любая форма насилия несправедлива изначально, — сказал Вологодов. — Общество, которое откажется от этого постулата, рано или поздно захлебнется в разгуле преступности. И прежде всего в воровстве, поскольку воровство — простейший и доступнейший способ экспроприации. К тому же не требующий знания французского языка.

— Вряд ли возможно столь безнравственное общество, — сказал Василий. — Здравый ин-

стинкт народного самосохранения его попросту отринет.

— Стало быть, ты восчувствовал недостаточность веры, Вася, коли уповаешь на инстинкт, — усмехнулся Хомяков.

— Этот инстинкт воспитала вера во Христа, Роман. И тому гипотетическому обществу, о котором в предположительном смысле упомянул Викентий Корнелиевич, придется столкнуться с государственно-православной русской церковью. А она этого не допустит.

— С помощью креста и молитвы?

— С помощью миллионов верующих, и прежде всего — крестьянства. А крестьянство — это вся Русь, Роман. Вся Русь с ее могучими, по сути, средневековыми традициями.

В гостиную, где за беседой коротали время мужчины, заглянула Варя.

— Наденька практически проспала весь день. Даже когда мы с Грапой кормили ее, она не открыла глаз. И не отвечала ни слова. Причем на самые простые вопросы.

— Что говорит Степан Петрович?

— Все то же: к физическому состоянию у него претензий нет. — Варя вздохнула. — В конце концов я уговорила его выписать Наденьку домой в

начале следующей недели.

— Вот это правильно, — оживился Роман Трифонович. — Дома и стены помогают.

— Конечно, Авраамий Ильич будет ее наблюдать и дома, но… — Варвара как-то очень растерянно пожала плечами и беспомощно улыбнулась. — Что же мне делать, господа, посоветуйте. Может быть, попробовать гипноз?

— Не убежден, — тихо сказал Викентий Корнелиевич. — Форма Надежды Ивановны прекрасна, а душа… Душу гипнозом не вылечишь, Варвара Ивановна.

— Душа… — вздохнул Василий и замолчал. Все ждали его слов, но их не последовало.

— С вашего позволения, господа, я вас оставлю до обеда, — сказала Варя и вышла.

Вопрос о совести, который так беспокоил Романа Трифоновича после утреннего разговора с Каляевым, не всплывал более, потонув в длинных разговорах о Руси и России, о будущем, о грядущем столетии. Что и говорить, любила русская интеллигенция со вкусом потолковать о судьбах отечества…

4

К обеду подоспел Николай.

— Вася!.. — Он долго тискал брата, хлопал по плечам, обнимал и целовал и даже почему-то потрепал за бороду. — Ну, рад я, как я рад, что ты приехал. К нам заглянешь?

— Когда же, Коля? Сегодня Варя не пустит, завтра — сам знаешь, а следующим днем мне уезжать. Со Львом Николаевичем условлено, никак не могу отложить. Ты уж прости меня и Анне Михайловне извинения мои передай вместе с сердечным поклоном.

— А заодно скажи, чтобы готовила пир на весь мир, — улыбнулась Варвара.

— Это по какому же поводу?

— Слух прошел, что ее супруга, некоего капитана Николая Олексина, государь изволил пожаловать орденом Святого Владимира четвертой степени.

— Кто это тебе сказал?

— Наш семейный генерал.

— Вот в чем дело, оказывается… — Николай неожиданно рассмеялся. — Теперь мне все ясно.

— Что тебе ясно, Коля? — спросил Хомяков. — Что Федор тебе протежирует?

— Ну и память у первых дворян России, — удивленно протянул капитан, словно не расслышав вопроса.

— Что ты загадками заговорил вдруг? — проворчал Роман Трифонович. — Каких первых дворян?

— Романовых, естественно. — Николай озадаченно покрутил головой. — Утром я по долгу службы на Петербургском шоссе оказался: получил приказ сопровождать фуры с коронационными подарками из Петровского путевого дворца в Кремль. Вроде почетного эскорта. Стою с полуэскадроном, жду, когда фуры погрузят. Вдруг на шоссе — шум, крики. «Князь Ходынский!..» и — далее непереводимо. И подлетает ко мне на коне полицейский полковник Руднев, как потом выяснилось. «Приказываю немедленно обеспечить проезд во дворец для Его Высочества великого князя Сергея Александровича!» Я ему сердечно объясняю, что, во-первых, приказывать мне могут только три человека во всей России: либо мой непосредственный начальник, либо военный министр, либо сам государь. Во-вторых, я нахожусь здесь со вполне определенной задачей и, в-третьих, полицейские обязанности как-то не совсем гармонируют с моей офицерской честью. Тут полковник покрывается пятнами и начинает

повышать тон, а я начинаю демонстративно стаскивать с руки перчатку. Он выпаливает коронную фразу: «Я буду жаловаться!» — и ретируется. Такова, в общих чертах, завязка.

— И что же было далее? — в глазах Вологодова появился неподдельный интерес.

— А далее генерал-губернатор Москвы поворачивает назад, полицейский полковник Руднев глотает пыль, следуя за его коляской, а толпа вдогонку орет «Князь Ходынский!..» с соответствующими толпе эпитетами. Затем я спокойно сопровождаю фуры с подарками в Кремль, где меня уже поджидает дежурный адъютант Его Высочества с приказом немедленно пожаловать. Еду, проводят в кабинет. Успеваю заметить, что великий князь в великом гневе, но четко и ясно рапортую, что-де капитан Олексин прибыл по вашему повелению… «Ах, это ты, Олексин? — вдруг приятно удивляется Его Высочество. — Хорошо послужил во время народного гулянья. А также впоследствии. Молодец!» С тем мы и расстаемся ко взаимному удовольствию. — Николай громко расхохотался: он был смешлив и всегда смеялся с наслаждением. — Ну и память у них! Кабы Федор не порадел своевременно, мчаться бы мне в очередной гарнизон со всем семейством.

— А мы все Федором недовольны, — вздохнула Варвара.

— Одно доброе дело доброты не посеет, — по-прежнему непримиримо проворчал Хомяков.

— Нехорошо ты сказал, Роман. — Василий укоризненно покачал головой. — Если бы Федора просили об этом и он сделал, и тогда бы спасибо ему. А когда добро — по велению души да втайне творится, это поступок достойный. Слова добро не сеют, а поступок — даже один — сеет. И хвала сеятелю.

Вошел Зализо:

— Василий Иванович Немирович-Данченко.

И отступил, пропуская корреспондента, одетого по-дорожному, что сразу всем бросилось в глаза.

— Добрый вечер, господа. Попрощаться зашел буквально на минуту, даже извозчика не отпустил… — Немирович-Данченко замолчал, заулыбался, шагнул, протянув обе руки: — Василий Иванович! Тезка ты мой двойной!.. Ну, здравствуй, дорогой, здравствуй.

Они троекратно поцеловались, путаясь бородами.

— Как всегда — в суете? — спросил Василий.

— Извини уж, — развел руками журналист. — Да, насчет суеты. Государь повелел возбудить

следствие о ходынской трагедии. Вести дело поручено следователю по особым делам Кейзеру. Скажите Каляеву об этом, когда увидите его.

— Каляев утром в Нижний укатил.

— Ну а я — в Петербург. Кляузы начались в редакции. Отповедь моя им не понравилась. Ну, обнимаю всех, целую и — скачу.

И вышел, поклонившись.

— Суетой газетчики живут, — неодобрительно вздохнул Василий. — А суетой души не спасешь.

Помолчали.

— Надо насчет обеда распорядиться. — Варвара встала. — Готовьтесь, господа.

Она ушла.

— А спасти необходимо, — вдруг сказал Вологодов.

— Что спасти?

— Надежду Ивановну. — Викентий Корнелиевич поднялся с кресла, зашагал по гостиной с непривычным для него волнением. — Который день наши разговоры слушаю и жалею, что нет с нами Надежды Ивановны. Пусть скучны наши споры, пусть — болтовня, но она бы слушала. Она бы себя слушать перестала.

— Правильно! — громко сказал Николай. — Она там в заточении. В узилище!..

— А врачи как же? — растерянно спросил Роман Трифонович. — Они же отказали…

— Для врачей она больная, а для нас — Наденька! — выпалил капитан.

— Святые слова сказал, Коля, — вдруг заволновался всегда внешне спокойный Василий. — Душу ее спасать надо. Душу, а не тело! А все норовят тело, тело!..

И поспешно вышел. Николай бросился за ним:

— Обожди, Вася! Вместе…

— Что скажете, Викентий Корнелиевич? — с некоторой растерянностью спросил Роман Трифонович, когда за братьями захлопнулась дверь. — Не натворим ли бед самовольством?

— Знаете, дорогой друг, я рад. Мне кажется, что дома ей будет лучше. Во всяком случае, должно быть лучше.

— Дай-то бог…

В дверь заглянул Николай:

— Едем за Наденькой! Решено!..

И скрылся. Вологодов встал, перекрестился.

— Ну, и слава богу, — вздохнул с облегчением и с некоторой долей печали одновременно. — А мне разрешите откланяться.

— Куда же вы? Сейчас Надюшу привезут.

— Значит, мне следует идти домой. Следует,

Роман Трифонович, хотя, видит бог… — Викентий Корнелиевич осекся, сказал, помолчав: — Завтра я должен посетить присутствие по неотложным делам. Стало быть, до послезавтра. Если позволите и… и если Надежда Ивановна не будет возражать.

И, поклонившись, вышел.

— Непременно, непременно, — пробормотал занятый своими мыслями Хомяков.

Он не мог прийти в себя от простоты, с которой вдруг разрешился столь мучивший его вопрос. Но он — разрешился, и сейчас Роман Трифонович пребывал в некоем неустойчивом состоянии, потому что все решилось без него. И это было и непривычно, и досадно.

В гостиную заглянул улыбающийся — что тоже было совсем уж непривычно — Евстафий Селиверстович.

— Все уехали. Викентий Корнелиевич — домой, а наши — за Надеждой Ивановной.

— Комнаты ее готовы?

— Лично проверю. Радость-то какая, Роман Трифонович!

— Как же это меня с седла-то ссадили? — удивленно сказал Хомяков. — А ведь ссадили. Ссадили — и правильно сделали.

Самолюбие его было уязвлено, но он утешился тем, что сам внес Наденьку в ее комнаты. И поцеловал, положив на кровать.

— Радость ты наша…

Глава тринадцатая

1

Наденька отнеслась к внезапному переезду из больничной палаты домой безразлично. Одевая ее, Грапа с жаром говорила, что, слава богу, теперь все будет хорошо, а на своей постельке, глядишь, и дело пойдет на поправку. Надя послушно подставляла руки, поворачивалась, как просила Грапа, вставала, если было нужно, и — молчала. Глаза ее, синева которых стала теперь еще гуще и еще глубже, безучастно смотрели куда-то мимо одевавшей ее горничной.

«Господи… — смятенно думала Грапа. — Неужто не понимает, что из больницы увозят?.. Неужто разума лишилась?..»

Наденька все слышала и все понимала, и ничего не могла с собой поделать. Невероятный ужас вдруг обрушился на нее, как только Варя ворвалась в палату с ликующим криком:

— Домой едем, Наденька! Домой!..

И Наденьке внезапно стало так страшно, что полная апатия оказалась единственным средством защиты от этого страха. «К Феничке ве-

зут… — в панике думалось ей. — Там же Феничка, моя Феничка… Они туда всех свозят…»

Безмолвие и неподвижность были сейчас единственным ее спасением. Она ясно понимала, что все эти громкие, такие веселые и такие здоровые люди попросту не поймут ее, если она попытается объяснить им, чего именно она боится. Не поймут, а, не поняв, решат, что она сошла с ума.

А вот то, что она испугалась собственного воображения, которое непременно должно было вспыхнуть с неудержимой силой именно там, откуда они с горничной так радостно спешили на свою Голгофу, Наденька понять не могла. Некогда было понимать, все случилось внезапно, лишив ее возможности самой избрать тот час, когда позволительно будет думать о Феничке. Времени, которое она сознательно оттягивала, чтобы накопить достаточно сил для своих самых трудных, самых мучительных воспоминаний, теперь у нее не оказалось. У нее вдруг украли это время. Плотина, лихорадочно построенная ею, рухнула, и беспощадный поток уже уносил ее в ад, переполненный стонами, воплями, криками, просьбами и проклятиями…

С ней заговаривали, ей ласково улыбались, ее нежно целовали, а Николай даже восторженно

обнял («Сестренка ты моя!.. Дорогая, любимая и единственная!..»), но Наденька упорно продолжала молчать. Молчание оказалось последним редутом ее обороны против всех, против всего мира. И во всем мире только она, одна она понимала, что с ней происходит. Себя понимала. Наденьку Олексину.

— Что с ней? — тревожным шепотом спросил Николай.

— Растерялась, — неуверенно объяснила Варя. — До сих пор говорили, что раньше чем через неделю не выпишут, и вдруг… Ты бы тоже растерялся.

«Душа в ней переменам встревожилась, — с горечью думал Василий. — Футляр починили, а скрипка разлетелась. И нет музыки больше. Не звучит она в ней, не звучит…»

Даже Роману Трифоновичу Наденька не обрадовалась. И веки не дрогнули, когда он сказал:

— Радость ты наша…

— Ну, слава богу, Наденька дома, — удовлетворенно сказал Николай, успокаивая, впрочем, больше себя. — Я — к семейству. Завтра прибудем.

И ушел. А они — остались. Сидели в малой гостиной и молчали. И Варя, и Хомяков, и Василий,

и вскоре присоединившийся к ним Евстафий Селиверстович.

— Скрипка, — вздохнул Василий. — Никакой врач скрипичного мастера не заменит. Тут другой специалист нужен.

Туманными были его размышления, но никто ни о чем даже не спросил. Молчали, как молчали. Вольным молчанием.

А потом без разрешения и даже без стука вошла Грапа. И все уставились на нее, не задав ни одного вопроса.

— Кажется, уснула. Или глазками прикрылась. От нас, здоровых.

— Считаешь, напрасно мы ее потревожили?

— Да, барыня, напрасно. — Губы у горничной задрожали, но она сдержала слезы. — В привычном месте Бога всегда легче найти.

— Хорошо ты сказала. — Василий встал с кресла, прошелся, снова сел. — Очень точно сказала, Грапа.

— А дом — место непривычное для нее, что ли? — тихо, без обычного напористого тона спросил Роман Трифонович. — Она здесь выросла, она здесь всех богов наперечет знает.

— Надежда Ивановна в доме здоровой была, — вздохнул Евстафий Селиверстович. — А в

больнице — больной. И больной воротилась. В здоровый дом.

— Что же, назад ее? — растерянно спросила Варвара. — Снова в больничную палату?

— Нет уж, Варвара Ивановна, хватит, потешили себя, — с неожиданной резкостью сказала Грапа. — Два раза переезд Наденьке не перенести.

И вышла.

— Даст бог, утром все на свои места встанет, — вздохнул Роман Трифонович, не веря ни единому сказанному своему слову.

Утром все встало на другие места. Наденька послушно, но явно без аппетита ела свою кашу, пила сок и чай, а от сладкого отказалась. Не словами — просто закрыла глаза. Такой или почти такой она проснулась в больнице в первое после Ходынки утро. Варя сама кормила ее завтраком, а выйдя из ее комнаты, рухнула на козетку и разрыдалась, изо всех сил зажимая рот.

— Что же это, Грапа? Что же это?..

— А то, что входить к Наденьке не будете, пока я не позволю, — сурово сказала горничная. — Можете хоть сейчас выгнать меня, но девочку мучить я не позволю.

— Хорошо, Грапа, милая, хорошо, — вытирая слезы трясущимися руками, бормотала Варва-

ра. — Только спаси ее, Христом Богом умоляю, спаси!..

— Ступайте к себе, Варвара Ивановна, — вздохнула Грапа. — И господам накажите, чтоб зазря сюда не совались.

— Да. Да, да… — послушно кивала Варя.

Грапа ушла к Наде. Варя посидела немного, вымыла залитое слезами лицо и спустилась вниз.

— Как Надюша?

— Я сама покормила ее, — почти спокойно ответила Варя. — И нам пора.

Принесли телеграмму из Ковно:

«ПОМНЮ
СКОРБЛЮ НАД ОДИНОКОЙ ПОМИНАЛЬНОЙ РЮМКОЙ ЦЕЛУЮ ВСЕХ БЕРЕГИТЕ НАДЕНЬКУ ГЕОРГИЙ».

А после завтрака из Смоленска приехали Иван и Беневоленский. Варя сразу же рассказала им о Наденьке, ничего не утаивая и не щадя себя.

— Это я во всем виновата, я. Говорили же мне врачи, что рано ее перевозить, что…

— За что же вы ее так?.. — с болью спросил Иван. — По принципу «сытый голодного не разумеет»…

— Не надо так убиваться, Варя, — вздохнул Беневоленский, укоризненно посмотрев на Ива-

на. — Сделанного не вернешь, а там — само время покажет.

Варя отправила мужчин в курительную, чтоб и голосов их не было слышно, металась по всему особняку, не находя места.

Из Надиных комнат спустилась Грапа.

— Вы простите меня за давешнее…

— Ты права, Грапа, совершенно права. Мы — бесчувственные скоты, здоровые бесчувственные скоты. Как?..

— Уснула.

— Так ничего и не сказала?

— Сказала.

— Что?..

Грапа помолчала. Уж очень не хотелось ей говорить.

— Что, Грапа? Скажи.

— «За что они так?»

— И Ваня те же слова… — вздохнула Варя. — Те же самые, слово в слово.

— Иван Иванович приехал? — спросила Грапа. — Обождите, обождите, Варвара Ивановна, Наденька в больнице вспоминала о нем. Рождество вспоминала…

И бросилась наверх, шагая через две ступеньки.

Варя ждала ее, нервно прохаживаясь. Зачем ждала, и сама не понимала, и прождала бы бог весть сколько времени, но заглянул Евстафий Селиверстович:

— Младшие Олексины пожаловали, Варвара Ивановна.

Так он всегда называл семью капитана Николая. Следовало встретить, деликатно намекнуть Анне Михайловне, чтобы не говорила слишком громко и вообще… И Варя вышла к ним.

— Она призрака боится, — убежденно сказала Анна Михайловна, когда Варвара объяснила непонятное поведение больной.

— Чего боится?..

Варвара с трудом сдержалась: очередная глупость уже вылезла, причем на редкость не к месту. Господи, что эта гарнизонная дама еще ляпнет?..

— Фенички боится, понимаете? Она для нее здесь живет.

— Феничка умерла, — резко сказала Варя.

— Нет, Варвара Ивановна, — Анна Михайловна улыбнулась, как, вероятно, улыбалась своим девочкам. — Чтобы согласиться, что кто-то умер, надо его похоронить. Чувства наши так устроены, мне мамочка рассказывала.

Брат с сестрой переглянулись.

— А ведь и верно, Наденька Феничку мертвой не видела, — удивленно сказал Николай. — Ай да Аничка… А у Наденьки все чувства обострены особо. А мы — обормоты.

— Ее нельзя сейчас одну оставлять. С ней говорить нужно. Чтоб думам ее мешать.

Варя неожиданно шагнула к Анне Михайловне, обняла, поцеловала, впервые сказав просто и — по-родственному:

— Спасибо, Аничка.

2

— Что-то господин Вологодов сегодня не появился, — сказал вдруг, перебив негромкий общий разговор, Василий.

Он думал о чем-то своем. Но думал все время, почему иногда и произносил фразы, непонятные для окружающих.

— Служебные дела, — рассеянно пояснил Хомяков.

Варвара улыбнулась:

— Викентий Корнелиевич на редкость деликатный человек. Сегодня — день маминой памяти, день — для родных. Вот он и сослался на службу. Кстати, панихида в двенадцать, пора

одеваться. — Она встала, вздохнула неожиданно: — А Грапы все нет…

Потом поехали на панихиду, отстояли ее, поставили свечки от себя и от Наденьки. А когда выходили из храма, Варя вдруг вспомнила, что ни разу не подумала о маменьке во время всего богослужения. Вспомнила со стыдом и болью и даже прошептала про себя: «Прости меня, маменька, прости, но ты же все понимаешь…»

Дома уже ожидал обед, но едва успели поднять поминальную, как в столовую бесшумно вошел Зализо. Нагнулся к Варе:

— Грапа спрашивает, когда велите прийти.

Варвара тотчас же поднялась из-за стола:

— Простите, господа.

Грапа ожидала в холле у лестницы, ведущей в комнаты Наденьки. Точно и сейчас охраняла ее.

— Заговорила она. Чуть-чуть, но заговорила.

— Господи!.. — Варя перекрестилась.

— Я ей про Рождество, про Ивана Ивановича. А она вдруг спрашивает: «Аверьян Леонидович приехал?» — «Приехал», — говорю. А она: «Я сейчас — Маша с бомбой».

— Маша с бомбой?

— Так сказала.

— Почему же так сказала?

— Не знаю, Варвара Ивановна. — Грапа удивленно пожала плечами. — Но в больнице и такого не было.

— Да?..

— То есть совсем без интересов. «Да — нет», вот и вся беседа. А тут — разговор целый! Потому вас и потревожила.

— И очень правильно сделала, спасибо тебе.

— Задремала она, я и спустилась. Когда проснется, я вам скажу, если что новенькое замечу.

Грапа стала подниматься по лестнице, а Варвара тотчас же поспешила в столовую.

— Наденька разговаривала! — с торжеством объявила она. — Вами интересовалась, Аверьян Леонидович. И Машей.

— Мной и Машей? — Беневоленский был очень удивлен.

— Прав был Викентий Корнелиевич, сердце у него — вещун, — взволнованно объявил Роман Трифонович. — И ты, Коля, прав. И... и все мы правы, что вытащили ее из больницы. Она здесь скорее окрепнет, оглядится...

— И вспомнит о своей горничной, — вздохнул Василий. — Разберет душу свою.

— Да. — Иван грустно покачал головой. — Только не горничной она была для Наденьки, она

ее подружкой была. Помнишь елку в Высоком, Аверьян, Рождество…

— Гадания их, — напомнил Беневоленский. — Подруга, конечно, девичья подружка. Но Наденька почему-то вспомнила о Маше. О Маше и обо мне…

— Знаете… — вдруг робко сказала Анна Михайловна. — Извиняюсь, конечно, только подумала я, что отвлекать ее надо. Все время отвлекать. Ну, как с детьми, понимаете? Ребенок к ножницам тянется, а вы ему вместо ножниц — погремушку. Погремит она, дитя заслушается и про ножницы забудет.

— Наденька — не ребенок, — с досадой заметил Николай. — У тебя все примеры — из детской.

— Это и хорошо, — одобрил Василий. — У дитяти душа чистая, ничем еще не замутненная. Божья естественная душа.

— А у Надюши — Божья замутненная, — проворчал Хомяков. — Интересы что ростки в марте. Один чудом прорвался, а как все обрадовались? Как знамению.

— Не согласен я с тобою, Роман. — Иван вздохнул, отрицательно покачав головой. — А с Васей — согласен.

— Как именно Наденька вспомнила о Маше? —

неожиданно, почти докторским тоном спросил Беневоленский.

— Как вспомнила? — Варя на секунду задумалась, припоминая, что говорила Грапа. — Она сказала: «Я сейчас — Маша с бомбой». Да, да, так и сказала.

— Маша с бомбой…

Аверьян Леонидович до сей поры в разговоре не участвовал. Нехотя ел, нехотя пил и все время о чем-то напряженно думал, сведя брови на переносице. А после ответа Вари вдруг отложил салфетку и решительно поднялся из-за стола.

— Извините, господа. — Он помолчал, будто еще раз проверял уже принятое решение. — Я должен… Нет, я обязан, как врач обязан поговорить с больной.

— Как?.. — растерялась Варя.

— Серьезно, как с абсолютно здоровым человеком. Не о том, как она себя чувствует — это Наденьку, боюсь, уже начало раздражать, а о… о Маше. О справедливости не для себя.

— Но Наденька спит…

— У дверей обожду! — резко ответил Аверьян Леонидович и быстро вышел из столовой.

Все молчали.

— Может быть, он прав, — тихо сказал Иван. —

Очень может быть, что Аверьян прав…

— Ох, боюсь я этого разговора, — вздохнула Варя. — Опять о трагедии, опять о гибели.

— Наденька Маши не знала, — напомнил Николай. — Для нее она — легенда. Возвышенная гордая легенда, не более того. Как и для всех нас, впрочем.

— Заново, стало быть, опыты над живым человеком ставим? — нахмурился Хомяков. — Врачей, врачей надо завтра же собрать. А лучше — сегодня. Прямо сейчас!

— Неправильно вы говорите, неправильно! — вдруг торопливо заговорила Анна Михайловна, точно боялась, что ее вот-вот перебьют. — С детьми надо по-взрослому разговаривать, только по-взрослому. Потому что они и есть взрослые, только что — маленькие еще.

— Наденька у нас достаточно большая, — усмехнулся Николай. — Тут твои рецепты не подходят, Аничка.

— Ты не прав, Коля, — строго сказал Василий. — Душа возраста не имеет, она Господом на всю жизнь вложена. И когда мать с ребенком говорит, она к душе его обращается, а не к разуму. И душа дитяти ей откликается. А все остальные — и отец, в том числе — к разуму апеллируют, почему ма-

лые дети без матери — круглые сироты. Одинокие в миру. Мама — первое слово, которое человек произносит. И, наверное, последнее, когда душа его отлетает. Альфа и омега жизни человеческой, вот что такое — Мать.

— Нас вспомни, Коля, нашу маменьку, к душам нашим обращавшуюся, — вздохнул Иван.

— Вспомнил, Ваня, — тихо сказал Николай и встал. — Вечная память маменьке нашей и вечная ей благодарность.

И все поднялись, низко склонив головы…

3

Аверьян Леонидович терпеливо сидел в будуаре, ожидая, когда Грапа скажет, что Наденька проснулась, и позволит войти в спальню. Он понимал, что разговор должен быть серьезным, но при этом не забывал, что форма этой предстоящей серьезной беседы одновременно должна была быть занимательной. Очень занимательной и по возможности короткой, потому что на длительное внимание рассчитывать было нельзя. Запас внимания в Наденьке был сейчас весьма ограничен, но пределов этой ограниченности Беневоленский не знал, а потому продумывал каждое свое слово. Особенно — первое, ключевое.

«Ключевое, — думал он. — Но всякий ключ несет в себе две функции: отпирать и запирать. И если я поверну его неправильно, если ошибусь, Наденькина душа замкнется передо мной. И, может быть, замкнется навсегда…»

— Проснулась, — сказала горничная, выйдя из спальни и тщательно прикрыв за собою дверь. — Я сказала о вас, Аверьян Леонидович.

— Она ждет?

— Она долго молчала, а потом говорит: «Если надо».

— Могу пройти к ней?

— Обождите. — Грапа помолчала. — Она может не отвечать, но все слышит, понимаете? Я к тому, чтоб терпенье у вас было. И не повторяйте сказанного, нервничать она начинает.

— Вы — замечательная сиделка, Грапа, — улыбнулся Беневоленский. — Остановите меня, если я ненароком не то брякну.

Горничная искренне обрадовалась:

— Дозволяете мне при разговоре вашем?

— Без вас ничего у меня не выйдет, — серьезно сказал Беневоленский. — Ну что, с богом?

Грапа кивнула и молча перекрестилась.

Наденька лежала, привычно прикрыв глаза. И в ответ на приветствие Аверьяна Леонидовича

не открыла их, но губы ее чуть заметно дрогнули. «Хорошо бы ей глазки открыть», — подумал он, садясь у ног.

— А Машино колечко опять со мною срослось. — Он повертел ладонью единственной правой руки. — Будто и не снимали мы его для ваших крещенских гаданий.

Наденька распахнула глаза, дрогнув длинными ресницами. Посмотрела, выпростала из-под одеяла руку, указательным пальцем дотронулась до обручального кольца, с которым намеревалась когда-то гадать. В Высоком, давным-давно. В другой жизни.

— Маша упала на бомбу.

Она не спрашивала. Просто докладывала, что знает и помнит. Чтобы не сочли безнадежной.

— Она не упала, она закрыла ее, чтобы не пострадали дети. И дети не пострадали. Совсем не пострадали. Машенька спасла их ценою собственной жизни.

— Жизнь важнее.

— Детская — безусловно.

— Нет. Своя.

«Она борется за свою жизнь, — промелькнуло в голове Беневоленского. — Только за свою, а потому все отбросила. Все нравственные надстройки.

Надо о них, непременно о них. Она должна вспомнить…» И сказал:

— Если бы каждый берег только свою жизнь, человечество давно бы погибло.

— Человечество топчет людей. — Наденька произнесла эту фразу раздельно, жестко выделив каждое слово.

«Неправильно, не то говорю! — тотчас же спохватился Аверьян Леонидович. — Логически сейчас ничего ей не докажешь. Нужен пример, пример…»

— Топчет, не спорю. Конкистадоров помните, Наденька? Свирепо жестокие были господа. За горсть золота пытали, мучили, истязали до смерти несчастных индейцев, не понимающих, за что их убивают целыми племенами.

Он сознательно помолчал, чтобы проверить, слушает ли его больная.

— Кортес, Писарро, — с некоторым напряжением сказала она.

«Слушает!» — почти с ликованием понял он. И с огромным облегчением продолжал:

— Мне как-то попались любопытнейшие воспоминания одного из этих молодцов. Никак не могу припомнить имя… Но не в имени суть. Он с подобными себе товарищами поймал как-то

индейца, знающего дорогу к богатейшему храму. Они начали его допрашивать — индеец молчал. Бить — молчал. Пытать — молчал. Подвесили над костром, начали поджаривать его, живого, — все равно молчит. Устали палачи, и один из них потянулся к неведомым красным ягодам. Сорвал кисть, поднес ко рту…

Аверьян Леонидович сделал вид, что закашлялся, пробормотал «извините». Только, чтобы проверить, слушают ли его…

— Точно кисти винограда, — прошептала Наденька, и горькая улыбка чуть скользнула по губам.

— Точно кисть винограда, — тут же подхватил Беневоленский. — И вдруг доселе молчавший, почти до смерти замученный индеец что-то сказал. «Что он сказал?» — спросил тот, который соблазнился красивой кистью. «Он просит тебя не есть этих ягод, — сказал автор воспоминаний, знавший местный язык. — Они очень ядовиты, и ты умрешь в мучениях». Почти замученный жестокими пытками индеец сберег жизнь своему мучителю, представляете, Наденька? Извергу рода человеческого, палачу, только что пытавшему его!

Наденька медленно закрыла глаза. И молчала.

Аверьян Леонидович вытер внезапно выступивший на лбу пот, беспомощно оглянулся на горничную.

— Все слышала… — беззвучно шепнула Грапа. Прошло не менее пяти тягостно бесконечных минут, прежде чем Надя открыла глаза.

— Почему индеец его пожалел?

— Потому что обладал великим, вселенским чувством долга. И такое чувство долга существует, Наденька. Да, не всем дано им обладать, но всем надо к этому стремиться. Когда большинство поймет, что любая человеческая жизнь бесценна, на Земле воцарится рай. Люди станут беречь друг друга, исчезнут вендетты, мщение, прекратятся все войны, и люди наконец-таки обретут счастье.

— Человек не нужен человечеству.

— Да, но человечеству нужен человек, Наденька. Просто необходим, оно погибнет без него.

— Вы рассказали красивую легенду. Всего лишь легенду.

— Отнюдь, Наденька. Записавший эту быль конкистадор был так потрясен увиденным, что вернулся в Испанию, постригся в монахи и стал писать правду о конкисте.

— И был сожжен на костре в Толедо как ере-

тик, — неожиданно громко и ясно произнесла Надя.

— Вы… Вы знали эту легенду? — изумился Беневоленский.

— Нет. Но я знаю, что было именно так, потому что правда никому не нужна. Жестокость, ложь и хищная, звериная, ненасытная жадность — вот три кита, на которых стоит мир. И стоять будет, пока сам себя не растопчет.

Всю эту тираду Наденька выпалила на одном дыхании. А выпалив, обессиленно откинулась и закрыла глаза.

— Уходите, Аверьян Леонидович, уходите, — решительно зашептала Грапа.

— Не надо, — не открывая глаз, тихо сказала Надя.

И наступило молчание.

— Маша тоже хотела растоптать, но — не смогла, — по-прежнему не открывая глаз, сказала Наденька. — А Ваня Каляев сможет. Он — сможет, удержите его.

— Я не знаю, кто такой господин Каляев, но Маша обладала тем самым вселенским запасом долга…

— Удержите его…

Надя произнесла эти два слова еле слышно, с

огромным напряжением и с огромной мольбой. Грапа тут же молча обхватила Аверьяна Леонидовича за плечи и весьма бесцеремонно вытолкала его за дверь.

4

— Ну, что Наденька? — спросила Варя, едва Беневоленский вошел в столовую.

Все почему-то продолжали сидеть за накрытым столом, хотя традиционный поминальный обед уже закончился. И Евстафий Селиверстович то и дело многозначительно заглядывал в дверь, не решаясь, однако, в такой день беспокоить господ.

— Кто такой Каляев?

— Каляев? — переспросил Роман Трифонович. — Надюша вспомнила о Ване Каляеве?

— Кажется, он был в нее влюблен, — сказала Варя. — Естественно, она могла заговорить о нем.

— Надя почему-то связала его с Машей и дважды просила удержать. От чего нужно удерживать этого господина?

Все молчали. Хомяков невесело усмехнулся:

— Полагаю, от мщения.

— От мщения? — настороженно переспросил Василий. — Это серьезно? Кому же он намерева-

ется мстить, Роман?

— Он — максималист. А цель максималиста — все или ничего. Иного ему просто не дано.

— Ваня Каляев — всего-навсего влюбленный гимназист, — мягко улыбнулась Варя.

— Это он сегодня — влюбленный гимназист, — сказал Николай. — Но любой влюбленный гимназист может завтра стать ненавидящим террористом.

— Ну, уж это слишком, — усомнился Иван. — Терроризм всегда — идейное деяние. В отличие, скажем, от бандитизма. Ты согласен с этим, Вася?

— Не совсем, — помолчав, сказал Василий. — Великий грех всегда требует внутреннего оправдания, и если под идеей террора подразумевать просто попытку самооправдания, то в этом ты, Ваня, прав. Но это всего-навсего подмена одного понятия другим. Оправдание средства даже самой высокой целью не может быть названо идеей ни при каких обстоятельствах.

— Что же в таком случае ты понимаешь под идеей?

— Ненасильственное служение людям во имя блага их.

— Это уж слишком… по-христиански, — провор-

чал Хомяков, посасывая незажженную сигару.

— А что выдумало человечество за все время своего существования гуманнее христианства, Роман? Утопию Томмазо Кампанеллы? Сен-Симона? Социальную гармонию Фурье? Или, может быть, новомодного Маркса с его призывами к непримиримой классовой борьбе во имя перераспределения материальных благ? Что, позвольте спросить? Нет, вы не сможете ответить на этот вопрос, не упомянув при этом о насилии хотя бы и в скрытой форме.

— Любовь, — округлив глаза, вдруг сказала Анна Михайловна. — Любовь, господа. И не надо ничего выдумывать.

— Мы с тобою влюблены: ты — в хозяйку, я — в блины, — с усмешкой сказал Роман Трифонович.

Все заулыбались, утратив внутреннюю напряженность. А Иван наклонился к капитану, шепнул на ухо:

— Коля, жена у тебя — чудо! Счастливчик ты наш…

— Да?.. — растерянно спросил Николай, уже изготовившийся ляпнуть своей Анне Михайловне что-то очень сердитое.

— Вы абсолютно правы, дорогая Анна Михайловна, — сказал Василий, тепло улыбнувшись. —

Возлюби ближнего своего — основной тезис христианства.

Все заговорили о христианстве, о множественном толковании самого глагола «любить» в русском языке, о… Только Беневоленский хмуро молчал и, кажется, даже не слышал этого весьма оживленного разговора. Но так только казалось.

— Попробуйте поговорить с Надей, Василий Иванович, — неожиданно сказал он.

Василий вздрогнул, почти с испугом глянул на Аверьяна Леонидовича и отрицательно покачал головой.

— Недостоин я. Одну душу спасти труднее, чем все человечество разом. Вот что я открыл горьким опытом своим. Очень горьким, потому что выяснил… Ничтожность свою выяснил.

— Что ты выяснил? — с недоверчивой улыбкой спросил Николай.

Василий встал, склонив голову и строго глядя в стол. Помолчав, сказал негромко:

— Извините, господа. Позвольте мне помолиться. Наедине с Господом побыть.

И быстро вышел.

— Ну, дела… — растерянно протянул Хомяков. Все молчали, ощущая неуютность и почему-то тревогу. Безадресную внутреннюю тревогу.

— Позвольте мне Наденьку навестить, — внезапно сказала Анна Михайловна, покраснев чуть ли не до слез. — Пожалуйста, позвольте. Меня маменька моя научила, как с детьми разговаривать. И, право слово, я научилась.

И пошла к дверям, не ожидая никаких разрешений.

5

Наденька по-прежнему неподвижно лежала в кровати. Грапа изредка осторожно пыталась заговаривать с нею, но Надя либо молчала, либо отделывалась короткими ответами, ясно давая понять, что не желает никакого разговора. Горничная тут же замолкала, тихонько вздыхая, а выждав время, вновь упорно продолжала безуспешные попытки расшевелить свою барышню.

Надя не сердилась на нее, чувствуя ее искреннюю озабоченность и тревогу. Но именно сейчас ей было не до бесед, пусть даже и очень коротких. Она думала, и поводом к ее совсем невеселым думам послужило посещение Беневоленского. Оно заставило ее вспомнить все прежние попытки врачей, Вари, Василия завязать с ней беседу, потому что, говоря о разном, каждый — свое, они,

по сути, сходились в одном: во что бы то ни стало хотели заставить ее слушать себя, навязывали ей — пусть неосознанно, мягко, из самых лучших побуждений — свое понимание, свои мысли, свои чувства. Свои, а не ее! И Аверьян Леонидович с самыми наилучшими пожеланиями тоже говорил только о своем, искренне полагая, что это его «свое» сейчас необходимо ей. Необходимо, как лекарство, как спасение, необходимо, что называется, прямо позарез. И всем, всем без исключения казалось, что их примеры, намеки, иносказания, аллегории и есть единственная панацея, столь необходимая ей во спасение ее самой.

«Они хотели, чтобы я их слушала, — с горечью думала она. — И никто, ни один человек, не пожелал выслушать меня. Ни один, даже — Варя… Все спешили высказаться, едва переступив порог. Зачем? Почему?.. Почему они приходили с одним-единственным упорным желанием заставить меня слушать их заранее сочиненные рассказы?.. Да просто потому, что все они считают меня тяжело больной. Все!.. Все, как один, будто сговорившись, протягивают мне одну и ту же ложку с приторным лекарством и насильно заставляют меня это лекарство глотать. Пей, Наденька, пей, это тебе полезно… И никто так и не вспомнил

о Феничке, побоялся вспомнить, словно и не было ее на свете. А ведь они знали и любили ее. И конечно же помнят, но — молчат. Молчат, чтобы уберечь меня. Значит, я для всех — тяжело больной человек. Неизлечимо, навсегда больной…»

— Всем нельзя, а мне можно!

Голос раздался у дверей, и Надя открыла глаза. И увидела Анну Михайловну, входившую в спальню, решительно тесня Грапу.

«О Господи!.. — с усталым отчаянием подумала она. — Ее еще не хватало…»

— Что это они тебя охраняют, будто больную? — с искренним возмущением сказала Анна Михайловна, усаживаясь у изголовья постели. — Ну, понимаю, недомогание, но это же естественно, правда? А все разахались, раскудахтались, рассерьезничались. Представляю, как это тебя раздражает.

Наденька смотрела на прежде всегда такую робкую гарнизонную даму с огромным удивлением, широко раскрыв глаза.

— Знаешь, я, пока выросла, стольких обид нахлебалась, стольких обид. И самое ужасное, что некому пожаловаться, потому что тебя никто не желает слушать. Знаешь, маменька как-то сшила мне очень миленькое платьице. Здесь — обороч-

ки, оборочки, а тут — чуть приталено. А цвет! Ну, ты же понимаешь, Наденька, что такое для девочки цветастый цвет! Любая девочка мечтает выглядеть как принцесса, ведь правда? И я очень, ну, просто невероятно очень хотела его надеть! А мне запрещали, потому что хотели, чтобы я надела его в гости. А как можно запретить девочке выглядеть не как все? Смешно, но никто этого не понимает. И, знаешь, как только все куда-то ушли… уж не помню куда, но — все до одного… я достала это платьице, надела его, повертелась перед зеркалом… Ну, ты меня прекрасно понимаешь, надо же собой полюбоваться, если другие тобой не любуются, правда? И решила… Ну, как по-твоему, что я решила?

— Сбежать, — сказала Наденька, впервые широко, даже лукаво улыбнувшись.

— И сбежала! — с торжеством объявила Анна Михайловна. — И не куда-нибудь, а — на улицу, чтобы покрасоваться. Боже мой, я была принцесса двора! Все девочки сбежались, все мальчики столпились, и даже те, которые постарше, тоже подошли. И я всех повела, и все пошли за мной.

— Куда? — с неподдельным интересом спросила Наденька.

Она вдруг забыла о всех своих мыслях и муках,

терзаниях и воспоминаниях. И чувства ее все сейчас забыли. Глаза смотрели на Анну Михайловну и видели только ее. И уши слушали Анну Михайловну, отбросив все остальное. И даже нос ощущал аромат духов Анны Михайловны, и Наденька вспомнила эти духи, хотя сама ими не пользовалась: «Царский виолет».

— В городской сад, куда ходить мне воспрещалось, — округлив глаза, призналась Анна Михайловна. — В нашем городе был такой большой сад, он спускался к реке. И мы там бегали взапуски, играли в прятки и пятнашки и даже… — Она наклонилась к Наденьке, таинственно понизила голос: — Даже в горелки, где полагалось целоваться с мальчиками, представляешь?

— И ты целовалась?

— Я одаривала поцелуями. Не всех. Если всех подряд, твои поцелуи ничего не будут стоить.

— И была на седьмом небе от счастья?

— Я не чуяла под собой ног, Наденька! Пока не загремела с обрыва в речку. И, представь себе, все мои придворные со страху разбежались. А я барахталась в противной тине, пока меня не вытащил какой-то случайный дяденька. Я уже не могла говорить, а только булькала, но он знал, где я живу, и отнес меня домой. Меня тут

же посчитали больной и уложили в постель на целых две недели. И все по очереди приходили и рассказывали мне какие-то ужасные назидательные примеры. А мне совсем не хотелось их слушать. Мне хотелось рассказать им, как я была принцессой.

— Как я была принцессой… — тихо повторила Наденька, и огонек угас в ее глазах.

— Для того чтобы стать принцессой, нужны три вещи, — таинственно зашептала Анна Михайловна. — Платьице, зеркало и — восторг. Платьице ты подберешь, зеркало имеется, а о восторге я подумаю. Завтра же наденешь платьице, велишь Грапе тебя причесать да припомадить, повертишься перед зеркалом и будешь с нетерпением ждать встречи с восторгом. А сейчас отдыхай и думай только о завтрашнем восторге. Ты же — совершенно здоровая девочка, а это — просто недомогание. Нам ли, женщинам, не понимать, что это такое!

Анна Михайловна крепко расцеловала Надю и тотчас же вышла, чтобы с Наденькой остались ее последние слова. А спустившись, тяжело вздохнула, сокрушенно покачала головой, но тут же постаралась придать себе неунывающий вид и направилась в гостиную.

В гостиной все набросились с вопросами, но она твердо сказала, не забыв об улыбке:

— Извините, господа, но дамы имеют право на свои маленькие секреты.

— Но Надюша хотя бы улыбнулась? — спросил Хомяков.

— И улыбалась, и целовалась, и слушала меня со вниманием, Роман Трифонович. Но о чем мы с Надей говорили, я расскажу только Варе. Уж извините, пожалуйста.

Сказав это, Анна Михайловна взяла Варвару под руку и вывела ее из гостиной.

— Что, Аня? — с тревогой спросила Варя. — Почему ты решила рассказать все только мне?

— Потому что мужчины ни в чем не разбираются, а нам необходимо немедленно разыскать господина Вологодова. Завтра утром он во что бы то ни стало должен встретиться с Наденькой наедине.

— Надя не примет Вологодова, Аня. Не примет!

— Наденька будет его ждать. Или я ничего не понимаю в обиженных девочках!

6

Чтобы не посвящать мужчин в секрет завтрашнего дня, Варя доверила тайну только Евстафию

Селиверстовичу и тут же написала Вологодову короткую записку.

— Лично передашь Викентию Корнелиевичу.

— Непременнейшим образом, Варвара Ивановна.

Зализо выехал немедленно, но передать записку лично ему не удалось, потому что Вологодова дома не оказалось. Ожидали его только к ночи, и исполнительный Евстафий Селиверстович, тут же вернувшись, все доложил Варе.

— Боже мой, что же нам делать?

— Не беспокойтесь, Варвара Ивановна, я обо всем договорился. В полночь подъеду еще раз, в связи с чем попросил особо предупредить господина Вологодова.

Однако Викентий Корнелиевич не явился и к полуночи, но Евстафий Селиверстович упрямо решил ждать. Но дождался только в начале второго.

— Извините, что пришлось ждать, Евстафий Селиверстович, искренне вам благодарен, — сказал Вологодов, внимательно прочитав Варину записку. — Передайте Варваре Ивановне, что все будет исполнено.

Вологодов прекрасно умел владеть собою, но в тот момент не выдержал. Что-то вдруг высветило

его всегда замкнутое лицо, к немалому удивлению старого дворецкого.

— У господина Вологодова вроде как румянец выступил, Варвара Ивановна, — счел нужным добавить он, доложив об исполнении.

Евстафия Селиверстовича ожидала не только Варя, но и Хомяков, в конце концов посвященный в тайну Анны Михайловны, потому что Варвара вдруг начала сомневаться.

— Боюсь, Роман, что мы рискуем поставить и Наденьку, и Викентия Корнелиевича в ложное положение. Надя насмешливо называла его стариком.

— Это еще ни о чем не говорит, Варенька, — улыбнулся Роман Трифонович. — Помнится, точно так же ты именовала и меня двадцать лет назад. В самом начале нашего знакомства.

В половине девятого рассыльный из цветочного магазина доставил корзину роз, а к завтраку прибыл и Викентий Корнелиевич. Он ни о чем не расспрашивал, лишь изредка поглядывая на Варю, был представлен гостям, вежливо поддерживал разговор. После завтрака Василий ушел готовиться к отъезду в Ясную Поляну, мужчины перешли в курительную, и все надолго как-то замерло, что ли. Неторопливо курили, неторо-

ливо беседовали, и Вологодов уже устал бороться с нарастающим внутренним напряжением.

И причины для этого были весьма существенными. Во-первых, он приехал с очень важной новостью, сообщить которую воздержался, чтобы ничем не помешать обещанному и такому дорогому для него свиданию, а во-вторых, чувствовал, что не все получается, как задумывалось, что произошло нечто неожиданное, и терялся в догадках, ничего толком не понимая.

А дело заключалось в том, что утром Надя категорически отказалась не только одеваться, но и вообще вставать с постели. Грапе не удалось уговорить ее, она вызвала на помощь Варвару, и когда Вологодов маялся в обществе курящих, Варя горячо убеждала Наденьку. Но пока у нее ничего не получалось.

— Она вобще не желает меня слушать, — расстроенно призналась Варя, выйдя из спальни.

— Говорите с ней, как прежде говорили, — посоветовала Грапа. — Как старшая с младшей.

— Ох, Грапа…

— Вы умеете заставлять, Варвара Ивановна.

— Но она же все-таки больна.

— А вы — как со здоровой.

— Ох, Грапа, я не смогу.

— Сможете, Варвара Ивановна. Сможете, потому что это необходимо самой Наденьке.

— Попробую, — нехотя согласилась Варя. Возвратилась в спальню. Наденька лежала на боку, свернувшись клубочком и натянув одеяло на голову.

— Хватит прикидываться немощной, Надежда. — Ох, чего стоили Варваре эти четыре слова. — Изволь тотчас же встать, одеться и привести себя в порядок.

— Зачем?

Варя возблагодарила Бога, что сестра произнесла именно это слово.

— Затем, что через полчаса тебя навестит Викентий Корнелиевич. Если тебе так угодно, принимай его в спальне, но он придет вопреки всем твоим капризам.

— Викентий Корнелиевич?..

Наденька сбросила с лица одеяло и перевернулась на спину. Кажется, она скорее испытывала удивление, чем испуг. И Варе показалось, что удивление это было… было приятным. «Сюрприз!.. — пронеслось у нее в голове. — Приятный сюрприз…»

— В будуаре тебя ожидает корзина роз. Точно таких же, какие ты ежедневно получала в боль-

нице. И я полагаю, что этим знаком внимания господин Вологодов заслужил пять минут твоего драгоценного времени. Грапа, помоги ей одеться.

И тут же вышла, чувствуя, что еще немного — и она беспомощно расплачется. Спустилась вниз, бесцельно бродила по холлу, до боли стискивая руки. «Все будет хорошо, хорошо, — уговаривала она себя. — Анна нашла верный ход, Наденька встанет, непременно встанет. Просто обязана встать, если в ней еще не погибла женщина…»

На лестнице послышались шаги.

— Прихорашивается, — взволнованным шепотом поведала Грапа. — Велела мне провести господина Вологодова в свой кабинет.

— Слава богу, — с облегчением вздохнула Варвара. — А почему именно в кабинет?

— Господи, ну как же вы не понимаете! — всплеснула руками горничная. — Она же хочет принять господина Вологодова. Принять, а не просто выйти к нему из спальни.

— Проси Викентия Корнелиевича, Грапа, — тотчас же распорядилась Варя, с радостью оценив чисто девичий расчет младшей сестры. — Мужчины — в курительной комнате. При всех проси, громко, чтоб никаких отступлений больше не было!

Через пять минут Викентий Корнелиевич был препровожден горничной в личный кабинет Наденьки. Грапа предложила ему присесть и обождать, пока она не пригласит, и оставила его одного.

Но сидеть Вологодов уже не мог: вдруг зачастившее сердце почувствовало реальное дыхание любимой женщины. Она была здесь, в этом кабинете, незримо наблюдая за ним. Здесь Наденька делала заданные в гимназии уроки — вот здесь, за этим столом, и он легко представил себе ее гимназисткой с косичками. Здесь она писала свои сказки и рассказы, которые он знал наизусть. В этом камине беспощадно сжигала черновые записи своих творческих неудач, потому что всегда стремилась к собственному потолку и билась об этот потолок, поднимая его все выше и выше. На этом пианино играла для самой себя то, на что откликалась в данный момент ее душа, и он тихонечко открыл крышку и осторожно погладил клавиши. За этим мольбертом она стояла, и он за ним постоял, а потом погладил засохшие краски на палитре и оглянулся на стены кабинета.

Да, на них были ее рисунки и акварели. И неплохие, со вкусом и настроением, но — незаконченные. «Ее всегда тянуло к бумаге и перу, — подумал

он. — В них она видела свой долг, который во что бы то ни стало надо было вернуть людям…» И пошел вдоль стены, не отрывая глаз от рисунков и акварелей, пока что-то не остановило его продвижение.

На мраморной подставке стояла ваза без воды. А в вазе — давно засохшая красная роза. Лепестки ее почему-то не осыпались, роза выглядела почти живой и только странно поблескивала. Викентий Корнелиевич наклонился, всматриваясь… «Гумми-арабик, — догадался он. — Наденька подклеила каждый лепесток, чтобы он не осыпался…»

И тотчас же узнал эту розу. Маскарад. Горничная принесла коньяк ему и Федору Ивановичу. Он сказал: «Спасибо, милочка» — и протянул ей розу как знак того, что узнал, кто скрывается под глухой маской из тончайшего шелка. Наденька тогда взяла ее, вот эту самую розу, сделав книксен, и… и сохранила на память. Не пожалев времени и труда, тщательно и осторожно приклеив каждый невесомый лепесток…

Внезапно с ним что-то произошло. Будто какой-то сдвиг пластов, будто землетрясение в душе — он даже услышал внутренний грохот этого землетрясения. На миг сгустилась мгла,

но лишь на миг один, засияв вдруг небывалыми красками и небывалым светом. В миг этот странно замерло сердце, но забилось вместе с новыми красками и новым светом. Забилось мощно и ритмично, упруго разгоняя усталую сорокапятилетнюю кровь. И внутри во всю силу неожиданно зазвучала великая, никем еще не написанная патетическая симфония небывалой любви и небывалого счастья…

— Надежда Ивановна просит вас, Викентий Корнелиевич, пожаловать, — почти торжественно возвестила Грапа.

Дальнейшее он помнил лишь в каких-то феерических обрывках. Помнил, как вошел в будуар, но не помнил, где именно сидела Наденька, как она выглядела, в каком была платье. Помнил, что стремительно прошел прямо к ней, что опустился на колено, что бережно взял обеими руками ее руку, надолго припал к ней губами и сказал:

— Я люблю вас, Надежда Ивановна. Я не могу больше жить без вас. Вы — моя жизнь, вы. Только — вы.

Глава четырнадцатая

1

Вскоре после того как Вологодов поспешно вышел вслед за горничной, из своей комнаты появился одетый по-дорожному Василий Алексин. Сказал, что уезжает, немного посидел для приличия и распрощался, троекратно расцеловавшись. Роман Трифонович и Иван поехали вместе с Василием на вокзал, и в малой гостиной остались Варвара и Аверьян Леонидович. И молчали, поскольку Варя все время настороженно прислушивалась, а Беневоленский размышлял о чем-то своем.

— Господи, что же так долго-то?.. — не выдержав, вздохнула Варя.

Аверьян Леонидович очнулся от дум, посмотрел на нее. Спросил неожиданно:

— Господин Вологодов влюблен без взаимности?

— Вот это сейчас и выяснится. Наденька всегда была непредсказуема как в чувствах, так и в поступках. Но Аня права, сказав, что любовь творит чудеса. И я… Я уповаю на чудо, Аверьян

Леонидович. Только на чудо.

— А я — на молодость, Варвара Ивановна, что, впрочем, в конкретном случае одно и то же. Человеческий организм использует любые резервы, пока…

— Почему вы замолчали, Аверьян Леонидович? Сказали — «пока». Пока — что?

— Пока не утратил смысла собственного существования, — помолчав, сказал Беневоленский. — Чем выше эмоциональное развитие человека, тем больше он зависим от внешних раздражителей.

— Простите, но я ничего не поняла. Вы щадите меня, Аверьян Леонидович?

— Я не психолог, Варвара Ивановна, я — обычный медик, умеющий лечить то, что он видит. Но мне кажется, что любому человеку необходима вера в собственную самоценность. Обычно женщины подкрепляют эту уверенность в себе жаждой любви или хотя бы мечтою о ней. Вот почему я и позволил себе спросить вас, есть ли у господина Вологодова хоть какая-то надежда на взаимность.

— Кто знает, какова сейчас моя сестра? — тяжело вздохнула Варвара.

В гостиную вошел Иван.

— Проводили Васю. Роман поехал по делам, обещал быть к обеду. Что нового?

— Пока… — начал было Аверьян Леонидович.

Но тут же замолчал, потому что в гостиной вдруг появился Викентий Корнелиевич. Со странной, будто застывшей в глазах улыбкой, которую он, как всем показалось, бережно донес и очень боялся потерять. И никто не решался что-либо сказать, даже Варя. Все просто смотрели на него.

— Господа, я…

Вологодов вдруг решительно шагнул к Варваре и склонился, надолго припав к ее руке.

— Что, друг мой? — тихо спросила Варя.

— Господа, я счастлив, — впервые широко улыбнувшись, сказал он. — Я безмерно счастлив, господа, я… Я признался в любви Надежде Ивановне, и она… Она приняла мое признание. Она даже поцеловала меня. Вот сюда, в щеку. И тогда я… Я осмелился предложить Надежде Ивановне не только свое сердце, но и свою руку.

Викентий Корнелиевич опять замолчал, по-прежнему счастливо улыбаясь.

— И что же Наденька? — напряженно спросила Варвара. — Она ответила вам?

— Совершенно разумно, господа, в высшей степени разумно! — Счастье буквально распирало

Вологодова. — Наденька… То есть, извините, Надежда Ивановна выразила естественное желание подумать. Это — ее право, господа, ее неотъемлемое право! «Я глубоко благодарна вам, — сказала она. — Позвольте же мне самой сделать ответный шаг, когда я найду в себе силы для этого».

— Найдет в себе силы? — переспросил Аверьян Леонидович. — Так и сказала?

— Именно так! — Викентий Корнелиевич воинственно выпрямился. — Вы усматриваете в этом…

— Я усматриваю в этом первый звоночек на пути к окончательному выздоровлению, — улыбнулся Беневоленский. — Это — добрый знак. Очень добрый и обещающий знак.

— Я почувствовал это! — Вологодов благодарно пожал руку Аверьяну Леонидовичу, а заодно и Ивану. — Мы довольно долго разговаривали с Надеждой Ивановной, и я пришел к выводу, что это — просто потрясение. Да, это огромное нервное потрясение…

«Он успокаивает нас, — думала Варвара, слушая Вологодова и не забывая сохранять на лице улыбку. — А заодно и себя. Господи, он действительно любит эту несчастную девочку, но что-то не так. Что-то его очень тревожит. Очень трево-

жит… Он же места себе не находит, пребывая в счастье и страхе одновременно…» И сказала:

— Извините, господа, я вас ненадолго покину.

А выйдя, тут же поднялась к Надежде. Чуть приоткрыла дверь спальни — слава богу, что Роман не выносил никаких скрипов! — увидела сидевшую подле Наденькиной кровати Грапу и поманила ее.

— И хорошо, и как бы не очень, — зашептала Грапа, не ожидая вопросов. — Что хорошо, поди, и сами знаете, господин Вологодов счастливым ушел. А она серьезной осталась. Уж такой серьезной, что глаза — в одну точку, и будто меня не слышит. А я говорю, говорю — надо же было говорить, чтобы отвлечь ее.

— Она сказала хоть что-нибудь? — нетерпеливо перебила Варвара.

— Сказала. — Горничная помолчала, припоминая каждое сказанное Наденькой слово. — «Форму он любит», так сказала. Закрыла глаза, себя слушала, а не меня. — Грапа вздохнула. — Потом… Я уж думала, что она уснула, а она вдруг: «Значит, меня нет».

— Что?..

— «Значит, меня нет», — старательно повторила горничная.

— Вот почему Вологодов такой, — задумчиво сказала Варя. — Счастье со страхом пополам. Он почувствовал это. Господи, что же нам делать-то, Грапа?

— Утро вечера мудренее. Только не надо больше ее мучить, Варвара Ивановна. Оставьте нас двоих, будто в больнице мы. Придет завтрашний день, там и поглядим.

— Там и поглядим, — вздохнув, согласилась Варвара.

«Все разумно, но как же не по-девичьи жестоко. — Обе коротких фразы, сказанные Надеждой, не переставали звучать в голове. — Она дает себе полный отчет во всем и при этом беспокоится о других. О Ване Каляеве, о Вологодове. О тех, чье поклонение она ощущала. Теперь она боится, что может принести им несчастье. Как Феничке… Да, да, как принесла это несчастье Феничке. Боже мой, насколько же безмерно благородство души твоей истоптанной, Наденька моя, Наденька…»

— Ждал вас, Варвара Ивановна, — тихо сказал Викентий Корнелиевич, подойдя к ней в холле. — Знал, куда вы пойдете, и — ждал.

— Она уснула. — Варвара решила не говорить Вологодову о сказанных Надей словах.

— Я хочу верить в чудо, Варвара Ивановна.

Странно, не правда ли? Трезвый, рассудочный, на все пуговицы застегнутый немолодой мужчина жаждет поверить в чудо.

— Вера в чудо — последняя вера, — вздохнула Варя. — Мы для этого слишком рациональны.

— Я верю в чудо, которое избавит Надежду Ивановну от вериг рациональности, оставив крест веры. Извините за пышность этой формулировки, но именно так сказал мне старый друг, к которому я вчера ездил за советом. Он принял постриг во имя спасения собственной души, когда ощутил ее надлом. Нет, он не фанатик, Варвара Ивановна, он скорее философ, нашедший спасение в иррациональности.

— Простите, Викентий Корнелиевич, — сказала Варвара. — Мысли мои настолько заняты сейчас сестрой, что я, признаться, пока плохо вас понимаю.

— Его наставил на этот путь некий старец Епифаний в Симоновском монастыре. Старец проповедовал прямое божественное откровение, исповедь пред Господом без церковных посредников, за что и был сослан в Соловецкий монастырь на вечное покаяние. Когда я рассказал о Надежде Ивановне, мой друг настоятельно рекомендовал найти этого отца Епифания. Он заклинал меня

всесторонне обдумать его предложение, обещал дать письмо к старцу.

— С какой же целью?

— Чтобы упросить его побеседовать с Надеждой Ивановной наедине. Мне представляется это чрезвычайно важным.

— Но как же его найти?

— Только в Соловках, Варвара Ивановна. Старцу запрещено покидать пределы обители.

— В Соловки так в Соловки, — тихо сказала Варя, думая, как показалось Вологодову, совсем о другом. — Мне уже рекомендовали какую-то пророчицу.

— В данном свидании нет решительно никакой мистики, так настораживающей вас, — вздохнул он. — Душа человека — целое мироздание, а в мироздании далеко не все рационально. Я готов поехать с вами и Надеждой Ивановной в Соловецкий монастырь, чтобы разыскать этого старца и упросить его.

— Вероятно, вы правы, Викентий Корнелиевич, почему бы нам не испытать и этой возможности, — вздохнула Варя. — К обеду придет Роман, мы поговорим…

— Непременно, Варвара Ивановна, непременно поговорите, — сказал Вологодов. — А меня

извините. Сегодня я все должен уточнить, с тем чтобы завтра мы могли обсудить эту поездку уже в плане практическом. Я цепляюсь за чудо, Варвара Ивановна, отчаянно цепляюсь за чудо, потому что где-то подле него бродит угнетенная жестокой реальностью душа нашей Наденьки.

Склонился к Вариной руке, поцеловал ее и вышел.

2

К обеду Роман Трифонович не появился, прислав посыльного с запиской, что придет к ужину. Так случалось частенько, потому что для Хомякова существовало прежде всего дело, а уж потом все остальное. И Варя размышляла об этом, пока Беневоленский развлекал ее и Ивана рассказами о житье ссыльнопоселенцев.

— Человек поразительно вынослив и может приспособиться в принципе к любым условиям. Однако наша европейская культура там годна только, чтобы не сойти с ума. А для того чтобы жить, необходима бытовая культура местного населения: их одежда, жилища, национальная кухня. И возникает закономерный вопрос: а не является ли культура вообще всего лишь тысячелетиями отработанным способом выживания

данного народа в предложенных судьбою природных условиях?

Варвара слушала вполуха, поскольку было о чем подумать. Она согласилась повстречаться с таинственным старцем не столько потому, что Вологодов убедил ее, сколько ради себя самой. Чтобы не терзаться угрызениями совести даже в том случае, если и старец не поможет. Чувство было эгоистичным, Варя понимала, что в данном случае куда больше думает о своем личном спокойствии, нежели о возможном чуде, но ничего не могла поделать с собственными логичными и весьма трезвыми мыслями. Разумом она понимала, что нельзя упускать и такой, почти мистической возможности, понимала тревоги и надежды Викентия Корнелиевича и полагала, что ей удастся уговорить мужа, отлично представляя себе, что разговор будет нелегким.

Трудность заключалась в том, что в начале июня Варя непременнейшим образом должна была выехать к сыновьям в Лейпциг, где они вот уже десять лет обучались в дорогом частном пансионе. В начале лета начинались каникулы, и вплоть до занятий, до сентября, Варя с детьми не расставалась. Возила их в Париж и Венецию, Рим и Лондон, неторопливо знакомила с обычаями,

музеями и природой, а затем вместе с ними уезжала в Швейцарию, где Хомяковы из года в год снимали уютную виллу в Альпах. На месяц туда приезжал Роман Трифонович, дружно и весело ходил с сыновьями в горы, ловил с ними форель в журчащих ручьях, читал вечерами вслух русскую классику. Так было принято, так они проводили время до сентября, а уж затем разъезжались до следующего лета. В этом году мальчикам была обещана Испания, но теперь из-за вологодовской надежды на чудо Варвара ехать уже не могла. А сыновья ждали встречи и Испании, и обмануть их ожидания было недопустимо. Оставалось одно: уговорить упрямого Романа Трифоновича бросить все дела и отправиться вместо нее к детям. Хотя бы на время, пока Варвара не сможет его заменить, еще раз с горечью убедившись, что чудеса бывают только в сказках.

Еще во время обеда Иван заявил, что хочет вечером навестить Николая, а потому просил не ждать его к ужину. Беневоленский деликатно отказался сопровождать его, сославшись на необходимость серьезного разговора с Хомяковым тет-а-тет, но согласился на совместную прогулку после обеда. Варя поднялась к себе передохнуть, подумать, немного почитать, чтобы развеяться.

Но ей не читалось и даже не думалось, а вдруг захотелось спать, и она еле успела предупредить Алевтину, чтобы та разбудила ее, как только вернется муж.

Однако горничной не пришлось будить свою хозяйку: Варвара проснулась сама с тревожным чувством, что ее супруг ни за что не согласится менять установленного порядка. Даже не из приверженности к нему, не из свойственного порою упрямства, а просто по причинам объективным. Коронационные торжества закончились, жизнь вернулась в свою колею, а работа оставалась работой. И испугалась этого предчувствия, потому что уже уверила себя, что Викентий Корнелиевич прав в самом главном. Измученная душа Наденьки и впрямь бродила сейчас где-то совсем рядом с верой в чудо.

«Только спокойно, — твердила она про себя. — Сначала о главном. О разумной реакции Нади на предложение руки и сердца. О первом звоночке, как выразился Беневоленский». И отловила мужа, как только услышала, что он вернулся.

— Что нового, Варенька?

Хомяков просматривал какие-то бумаги и определил присутствие жены, вероятнее всего, по шелесту платья.

— Первый звоночек, Роман.

Это подействовало: муж оставил бумаги в покое.

— Садись и рассказывай подробно.

Варвара обстоятельно доложила, так сказать, первую часть: объяснение Вологодова и предложение им руки и сердца. Роман Трифонович довольно улыбался, потирал руки, в паузах повторяя: «Я же говорил тебе, говорил!..», не уточняя, впрочем, что он говорил и когда.

— Разумный и взвешенный ответ девицы. Она какой-либо срок обозначила?

— Нет. Но, к сожалению, не в этом дело, Роман.

— В этом, Варенька. В этом, этом. Против природы, как говорится, не попрешь. Не позволишь ли мне закурить? Я как-то очень радостно разволновался.

— Конечно, Роман, конечно.

Хомяков закурил, разогнал рукой дым, улыбнулся:

— Ты говорила с Надюшей после признания Вологодова?

— С ней пыталась поговорить Грапа.

— И что же?

— Надя сказала две фразы.

Варя повторила слова, сказанные сестрой, сло-

во в слово и замолчала.

— «Значит, меня нет», — повторил Роман Трифонович и вздохнул. — Это либо слишком разумно, либо слишком…

— Это «слишком», ты правильно заметил, — сказала Варвара. — Викентий Корнелиевич уповает только на чудо.

Она рассказала мужу о соловецком старце, не вдаваясь в подробности. Хомяков долго молчал, попыхивая сигарой. Потом сказал:

— Ты прекрасно знаешь мое отношение к чудесам и прочей иррациональной чепухе. Но если, не дай бог, старец в этом году помрет, а Надюша не оправится, мы истерзаем себя, что не послушались этого совета.

— Я тоже так думаю, но тебе придется пересмотреть свои планы. Я не могу не поехать с Надей в Соловки, следовательно, в Лейпциг придется ехать тебе.

— Видимо, так, — вздохнул Роман Трифонович. — Видимо, мы так и сделаем.

Ужинали втроем, поскольку Иван отправился в гости к брату. Аверьян Леонидович поддерживал застольную беседу, супруги пребывали в собственных размышлениях. После ужина Варвара сразу же ушла к себе, а Хомяков вызвал Евстафия

Селиверстовича.

— Закажешь четыре билета в Архангельск для Варвары Ивановны, Надюши, Грапы и господина Вологодова. И один билет — для меня. В Лейпциг.

— На какие числа?

— Завтра уточню.

— Билеты без даты. — Зализо старательно записал все распоряжения в записную книжку. — Ваш паспорт действителен до конца текущего года.

— Я знаю. Спасибо.

Евстафий Селиверстович вышел.

— Значит, в Германию? — спросил Беневоленский.

— Да, в Лейпциг. У сыновей начинаются каникулы, а Варя поехать не сможет.

Аверьян Леонидович помолчал, поглядывая на задумчиво курившего Хомякова. Ситуация в известной мере позволяла обратиться с просьбой, но просить Беневоленский не любил и — маялся. Однако упускать такую возможность было по меньшей мере неразумно, и в конце концов, вдосталь помаявшись, он решился:

— Прошу простить, Роман Трифонович, за крайне бестактную просьбу, но положение у меня — птичье, коли уж начистоту.

— Ну, так и давайте начистоту.

— Вы не могли бы взять меня с собой, в Германию? Я вас не обременю, мне бы только за рубеж перебраться под вашим прикрытием. Документы у меня липовые, по ним я выезда не получу, да и в московской охранке лежит на меня «Дело», поскольку я когда-то был ею же и арестован. Старых друзей в Москве искать не решился, потому как здесь по инерции все еще очень бдительны, но косвенно установил, что кое-кто из них сейчас проживает в Швейцарии.

— От России не убежишь. «Из» — можно, «от» — не получается. Страна лесов, степей да перелесков, почему в ней так часто и «заблуждаются».

— Я не собираюсь бежать! — вспыхнул Беневоленский. — Я собираюсь работать ради ее блага. Извините за просьбу, коли отяжелила она вас. Говорил откровенно.

— Тогда и вопрос мой будет откровенным. — Хомяков, прищурившись, в упор смотрел на Аверьяна Леонидовича сквозь сигарный дым. — Ваши друзья — террористы?

— Нет, — сказал Беневоленский. — С террористами была связана Маша. Я исповедую иные взгляды.

— Какие же?

— Поэтапное разрушение существующего

строя. На первом этапе — конституционная монархия, на втором — буржуазная республика. Без бомб, револьверов и террора, а по-английски, путем парламентской борьбы.

— Когда говели?

— Вот это уже деловой разговор, — улыбнулся Аверьян Леонидович. — Говел, как говорится, давно и пока не собираюсь, Роман Трифонович. Не из вздорного каприза, а по той причине, что две трети священнослужителей активно трудятся на охранку.

Роман Трифонович молча пускал в потолок кольца сизого дыма. Беневоленский помолчал, сказал виновато:

— Если без говения невозможно…

— Возможно, все возможно, Аверьян Леонидович, — добродушно проворчал Хомяков. — Просто размышляю, какое прикрытие для вас выгоднее. То ли вы — коммерсант, то ли гувернер моих сыновей. Пожалуй, лучше всего — представитель моей фирмы. Справку о сем завтра же сотворим, а вы сегодня же передайте все документы Зализо. Я объясню ему, что и как он должен сделать, с вашего разрешения, с глазу на глаз.

— Благодарю, Роман Трифонович. — Беневоленский встал. — Сейчас принесу документы.

— Доброй ночи, — буркнул Хомяков и неожиданно улыбнулся. — Ох, и знатно напьемся же мы с вами, Аверьян Леонидович, когда границу пересечем!..

3

Поезда ползали медленно, то ли еще развивая силы свои, то ли уже нащупывая путь. Да и куда было спешить, если за окном по утрам возникал тот же пейзаж, в который с тоской вглядывался пассажир еще на вечерней зорьке. И ползущий по географии, вырванный из дней и семьи, из времени и житейских забот российский гражданин обязан был стать самым терпеливым существом из всего сущего на Земле, только бы не сойти с ума от бесконечного пространства за окном.

— Вам случалось ездить поездами по Европе, Надежда Ивановна?

— Случалось, Викентий Корнелиевич.

— Тогда, возможно, обратили внимание, что европеец никогда не смотрит в окно? А ведь он не лишен нормальной человеческой любознательности. Но — не смотрит. Либо ест, либо спит, либо уткнулся в книгу, но чаще — в газету или журнал.

— И при этом крайне редко заговаривает с со-

седом, — уточнила Варвара. — А у нас в третьих классах гомон стоит, настолько все горят желанием выговориться.

Они беседовали в вагоне-ресторане, ожидая, когда подадут заказ. Вагон катился солидно и неторопливо, никуда не торопясь. Как и официант с обедом. В полосе отчуждения никто никогда никуда не торопится.

— Европа выстроена по единому образцу. — Вологодов продолжал изо всех сил отвлекать дам от размышлений. — В Христиании и Праге цветут одни и те же каштаны, хотя, правда, и в разное время. В австрийской пивной или в английском пабе вам сразу же нальют пива, не спросив даже, хотите вы его или нет, уж коли подошли к стойке. А в греческой таверне или в парижском бистро вас непременно встретит грифельная доска с названием блюда, которое сегодня особенно удалось. Ничто так не упрощает жизнь, как общая скука. Я обратил внимание, что вы не отрываетесь от созерцания ландшафтов за окном, Надежда Ивановна.

— Да. Трудно.

— Завораживает, — сказала Варя. — Хотя каждый час видишь одно и то же.

— Завораживает само пространство. Леса да

перелески, редкие поля да еще более редкие деревеньки, а глаз не оторвешь. Русские — созерцатели по натуре своей. Выйдет мужик вечером, после адских трудов своих за околицу и смотрит. На поля, на лес вдали. Смотрит на Божий мир и успокаивается. Мы, русские, счастливые люди: нам есть куда смотреть.

Тащился поезд, погромыхивая всеми своими суставами, вздрагивая на стыках, согласно раскачивая вагоны. Вздыхал паровоз, отдуваясь клубами густого, будто молочного пара, часто громыхали железные мосты над бесчисленными малыми речками, и тут же, словно в ответ, начинали дребезжать оконные стекла. И пассажиры почему-то с беспокойством поглядывали на них особенно тогда, когда ночная темнота подступала вплотную к окнам.

Поезда часто останавливались. На разъездах, где терпеливо ожидали встречного состава, на полустанках, редко ссаживая пассажиров и еще реже встречая их. Но с особым усталым выдохом — на станциях. Тогда проводники, заранее оповещая путешествующих, открывали двери тамбуров, и пассажиры радостно вываливались на перрон. Третий класс, гремя чайниками, сразу же бежал за кипятком, второй и первый неспеш-

но шли в буфет, а то и в ресторан, причем первый класс шел заметно солиднее второго.

Наденька редко покидала вагон, даже на крупных станциях. Смотрела в окно на вдруг оживающие вокзальные платформы, на людей, вмиг ощутивших порыв не очень определенной деятельности, на непременную суету, толкотню, стремления куда-то, что-то, зачем-то делать, спешить, смотреть, приценяться, но редко покупать. На степенно разминавших ноги пассажиров первого и второго классов, на возню и беготню засидевшихся в вагонах детей. Слушала шумы продолжающейся особой жизни самого поезда: перестук молоточков по ободам, скрип открываемых бутс, толчок вновь прицепленного паровоза, голоса проводников и кондукторов, предупреждающих пассажиров о скорой отправке, и наконец свисток главного кондуктора и два удара станционного колокола, возвещающего об отправлении через минуту. После этого удара начиналась суматоха на платформе, как в хвост, так и в голову поезда начинали бежать люди с чайниками, из буфета спешили последние пассажиры первых двух классов, дожевывая на ходу.

— Вот и поехали, барышня, — непременно поясняла Грапа.

Они ехали в купе вдвоем. Как только тронулись из Москвы, горничная привела проводника, который детально объяснил ей, как пользоваться умывальником и уборной и как при этом следует запирать дверь в смежное купе.

— Как прикажете подавать чай? По запросу или по времени?

— По запросу, — важно сказала Грапа. — Только чтоб горячий был, я сама завариваю. «Черный лянсин» у нас.

Наденька не могла оторваться от окна и смотрела, смотрела, положив на колени захваченную в дорогу книгу, так и оставшуюся неразрезанной. Смотрела, хотя за окном ничего не менялось: те же леса и перелески, рощицы да луга, зеленеющие обрезки полей, бедные деревни да крохотные полустанки, на которых порою чуть притормаживал поезд, то ли кого-то высаживая, то ли кого-то подбирая. Всюду была своя, очень неторопливая, устоявшаяся и будто подмороженная жизнь. «Как же у них много места, — думала она. — Тут человек с человеком только случайно может столкнуться, тут никогда не бывает тесноты. А уж тем более давки. Какая просторная страна… Наверно, говорят друг другу: знаете, а я третьего дня чужого мужика на дороге встретил… Чужой

— здесь событие...»

Варвара и Вологодов занимали купе по обе стороны от Наденьки, и кроме них в вагоне ехали всего двое. Пожилая дама, с горничной и злющей старой болонкой, и солидный господин, даже в коридор выходивший в котелке. Он оказался весьма общительным, нашел повод представиться Вологодову, оказать мелкую услугу даме и наладил взаимные визиты. Пили чай то у дамы, то у Варвары, убивая время в разговорах, но Надя никогда не принимала в них участия. А Грапа болтала с горничной, а потом рассказывала Наде, что дама — чиновничья вдова из Вологды, а господин в жестком котелке — коммерсант из Архангельска. И слава богу, что было с кем поболтать, потому что Грапа изнывала от полного безделья.

— А вам не скучно, барышня?

— Я путешествую, Грапа. Путешествую по России, как Генри Мортон Стенли по джунглям Африки.

— Генри Стенли. — Горничная почему-то вздохнула. — Ничего, если подремлю немного? Коли надо что будет...

— Окликну, если надо.

Грапа забиралась на свою вторую полку, тихо

похрапывала там. А Наденька не отрывалась от окна…

«Феничка бы не дремала, — грустно думалось ей. — Феничка бы всех людей пересчитала. И людей, и собак, и даже гусей…»

«А сколько было гусей, барышня? Столько, полстолько, четверть столько да ты один гусь. Это как узнать-то, сколько их было?»

«Я же тебе показывала, как составляются уравнения и как их надо решать».

«Так неученая я…»

«Обучу, Феничка. У нас с тобой — лето впереди…»

«А впереди — Ходынка. — Хотелось вздохнуть, но Наде не дышалось. — Здесь бы не было никакой Ходынки, хоть сто бочек водки привези… А в Москве — была. В Первопрестольной, как любил называть ее Василий Иванович…»

Наконец прибыли в Вологду, где поезд стоял очень долго, никак не меньше часа. Варя и Викентий Корнелиевич вместе с коммерсантом в котелке вышли провожать вологодскую вдову — Надя видела их из окна. Поговорили, поулыбались, дама и Варвара даже расцеловались и — распрощались. Мужчины прошли в вокзал — то ли в буфет, то ли в ресторан, а Варя вернулась

в вагон и заглянула к ним.

— Не хочешь немного пройтись, Наденька? Ты совсем у нас засиделась.

— Не хочется, Варя. Я смотрю в окно, как из театральной ложи на сцену.

— Не наскучило тебе?

— Там — свои драмы и свои комедии.

— Господин Герхардсен… наш вагонный знакомец — очень занятно комментирует заоконные пейзажи. Он — весьма обрусевший норвежец с совершенно непередаваемым акцентом.

— Рада, что он скрасил вам поездку.

— Не навестишь нас?

— Извини, Варя.

Наденька не собиралась заводить знакомство с норвежским коммерсантом, однако познакомиться все же пришлось. После обеда зашла к Варваре за какими-то порошками, а тут постучали в дверь, и вошли Вологодов и господин из соседнего купе. Его представили Наде, сразу уходить было неприлично, пришлось остаться на чашку чая…

— Британцы гордо именуют свою страну Империей незаходящего солнца, но она больше похожа на лоскутное одеяло. И наоборот, Российская империя представляется сегодня на

редкость прочно сшитой. Ваш государь правильно поступил, отдав американцам ее последний лоскуток — Аляску. И в грядущий двадцатый век Россия входит не только единым и неделимым, как у вас принято говорить, но и самым богатым государством мира.

— К сожалению, три четверти нашей территории требуют освоения, — заметил Викентий Корнелиевич. — Уж которые сутки мы с вами едем по необжитой пустыне, а это, заметьте, еще до Уральского хребта. Представляете, что ожидает путешественников за ним.

— Конечно, дороги, города, рудники, шахты строить придется, но есть под что вкладывать капиталы. Так что молодежи вы оставляете доброе наследство.

Норвежец вежливо улыбнулся, приглашая Наденьку принять участие в разговоре, который ее совершенно не интересовал. Она помолчала, надеясь, что либо Варя, либо Вологодов придут к ней на помощь, но вышло еще хуже, потому что Викентий Корнелиевич не понял ее выжидательного молчания.

— От молодежи потребуются абсолютно новые знания. Если гуманитарные науки, на которые Россия всегда делала упор, необходимы были

для создания единой идеи нашего отечества, то теперь черед наук реалистических. Нужны инженеры, строители, грамотные коммерсанты. Игра стоит свеч, вы правы.

— А если нет? — негромко спросила Надя.

Видит бог, ей было неинтересно, и если бы Вологодов перевел разговор на что-либо иное, она бы промолчала. Но он потащил за ту же суконную ниточку, и Надежде это не понравилось.

— Вы сомневаетесь, Надежда Ивановна? — живо откликнулся Викентий Корнелиевич. — И у вас есть определенные резоны?

— Биологи утверждают, что большие звери бесследно исчезают при первых же катаклизмах. С мышками, зайками и прочими белочками при этом ровно ничего не происходит.

— Какие катаклизмы вы имеете в виду, Надежда Ивановна? — с некоторым недоумением улыбнулся Вологодов. — Природные или социальные?

— При грандиозных масштабах природное способно перетекать в социальное, а социальное — потрясать, как землетрясение. Извержение Везувия и восстание Спартака одинаково потрясли Рим.

— Ну, это слишком мрачное предсказание, —

сказала Варвара. — Слава богу, в России нет ни Везувиев, ни Спартаков.

— А колокол тем не менее прозвучал. — Наденька встала. — Извините меня, господа, дорога далека, еще набеседуемся.

Мило улыбнулась коммерсанту, шагнула к дверям. Остановилась, уже держась за ручку, подумала, сказала вдруг:

— Ходынский колокол был колоколом по России. Извините, господа, но я почему-то это знаю.

И вышла.

4

Два дня до поездки в Соловецкий монастырь Наденька провела в Архангельске, однако города так и не увидела, не считая вечерней короткой прогулки в городской сад накануне отъезда на острова. Основное время она провела в гостиничном номере вместе с Варварой и Грапой, пока Вологодов ходил по присутствиям, уточняя с городскими и церковными властями детали их посещения островов. Опытный чиновник отлично понимал, насколько может пригодиться согласие и поддержка губернских властей для разговоров на суверенной монастырской территории.

В хождении по губернским присутствиям Викентию Корнелиевичу очень помог господин Герхардсен. Встреченный в поезде коммерсант оказался крупным архангельским предпринимателем в третьем поколении, которого местные власти не только знали, но от которого и многого ожидали: в руках норвежца вертелись большие деньги, от которых в значительной степени зависело как благоустройство города, так и рабочие места, а значит, и собственное спокойствие. Поэтому при нем и двери открывались беспрепятственно, и стороны хорошо понимали друг друга.

На второй день перед обедом все было оговорено и согласовано, в том числе и свидание с глазу на глаз с так раздражившим церковь старцем Епифанием. А последнее весьма серьезно беспокоило Вологодова, потому что церковные иерархи очень уж ретиво охраняли свои суверенные права.

— Завтра в девять утра мы должны быть на пароходе, — сказал Викентий Корнелиевич, воротившись из последнего круга чиновничьего кружения. — Я заручился необходимыми согласиями и письмом на имя архимандрита и должен откровенно сказать, что в этом мне очень помог

господин Герхардсен.

— Мне пора готовить Наденьку к морскому путешествию?

— С некоторой оговоркой, Варвара Ивановна, — смущенно улыбнулся Вологодов. — Я обязан был дать господину Герхардсену обещание, что мы навестим его накануне отъезда.

— Будет много гостей?

— Не очень, но гости будут.

— Надеюсь, вы предупредили…

— Не беспокойтесь, Варвара Ивановна, — несколько поспешно перебил Викентий Корнелиевич. — Ни одного вопроса о Ходынке.

Варя готова была к тому, что ей придется уговаривать сестру, но, на ее удивление, Надя согласилась сразу. Вероятно, она заметила это удивление — она теперь вообще замечала все, даже малейшие заминки в разговоре — позволив себе лишь улыбнуться.

— Мир, в котором за все приходится платить.

— Столичный гость — редкость в этой глухомани. С точки зрения местного общества, мы, москвичи, — почти участники коронации государя, Наденька.

— Я понимаю, Варя. — Надежда помолчала. — Ты напрасно беспокоилась, потому что я

решилась еще в Москве.

— Решилась? На что ты решилась?

— На все.

Наденька грустно усмехнулась. Помолчала, подавила вздох:

— Я признаюсь тебе, чтобы ты все поняла и… и не удивлялась более. Не беспокойся, пожалуйста, обо мне. Я сохранила разум, заплатив за это всеми амбициями и всеми желаниями. Не вздыхай столь сокрушенно: взамен я получила иное. Может быть, куда более естественное для молодой женщины.

— Я запуталась в аллегориях.

— У меня осталась одна мечта, Варя. Я мечтаю о хорошем муже, дружной семье и здоровых детях. Твоя сестра стала обыкновенной русской мещанкой.

— Неправда, Наденька! — горячо возразила Варвара. — Это — естественная и прекрасная в своем естестве мечта каждой нормальной женщины. Я… Я рада за тебя.

— Я позаимствовала эту мечту у Фенички. — Надя вздохнула. — Я долго думала и наконец поняла, что Феничка абсолютно была права, когда так восторженно мечтала о детях.

Вечер у господина Герхардсена прошел очень

мило и непринужденно. А еще до вечера норвежец заехал за ними на паре отличных рысаков, запряженных в нарядное ландо с ливрейным кучером на козлах. Прокатил по городу, проводил в сад, рассказал много интересного. В саду полковой оркестр играл добрые старые вальсы, и Наденькины каблучки звонко стучали по гулким деревянным тротуарам…

В девять утра следующего дня выехали на острова на маленьком, сердитом, как шмель, ворчавшем пароходике. С моря дул ветер, но Надя долго не уходила с палубы, завернувшись в плед, который захватила предусмотрительная Грапа. Море и впрямь было белым, непохожим ни на синее Средиземное, ни на темное, всегда чуть пугающее Черное. Это был край Ойкумены, шагнуть за который было уже невозможно, и, вероятно, поэтому Наденьке стало немного тревожно.

Особенно когда внезапно и, казалось, прямо из моря выросли серые кряжистые стены монастыря. И почему-то подумалось вдруг:

«Вот моя пристань…»

5

Ни встречи на пристани, ни самого архимандрита Наденька не запомнила: тревога как-то сама

собой переросла в непонятное беспокойство, поглотившее все ее внимание. Правда, от нее ничего особого и не требовалось: только приветливо улыбаться. Все делал Викентий Корнелиевич и, вероятно, успешно, потому что они довольно скоро оказались в каких-то мало похожих на монастырские покоях, куда их провел приветливый немолодой келарь.

— Сейчас придет, — сказал он.

И почти сразу же вошел старец Епифаний. Маленького росточка, седенький, тихий, в себя погруженный, умеющий слушать не моргая, как слушают дети. Из-под островерхого, странного клобука торчал седой клин бороды, а глаза — бледно-голубые, как незабудки, — смотрели, то вдруг светясь, то угасая, но всегда с доверчивостью и наивностью, от которых почему-то становилось не по себе. Он низко поклонился у порога, потом, старчески семеня, приблизился к ним и снова неторопливо отвесил поклон.

— Благословите, святой отец, — сказал Вологодов.

— Грешен, за что права лишен, — тихо ответил старец. — Но душа моя с вами пребывает сейчас. С вами и с девочкой этой — особенно.

«Вычислил, — с неприязнью подумала Вар-

вара. — И глазами вроде бы не шарил, а — вычислил».

— Как во святом крещении наречена?

— Надеждой.

— Нужное имя, — покивал старец. — Нужное и трепетное, и потому, что себе не принадлежит, и потому, что без имени этого ни единого деяния люди не творят. Даже когда обижают. Люди больно обидеть умеют, обиды надолго в душе оседают и мутят ее. На зверей душа обид не хранит, на людей только.

Тихий голос журчал плавно, без интонаций и пауз. Старец, не моргая, смотрел в лицо Наденьки и говорил, говорил, ни о чем не спрашивая.

— Душа человеческая от любого зверя Господом прикрыта, а пред человеком распахнута настежь и — беззащитна. Ни слон могучий, ни лев рыкающий, ни наш русский медведь не могут души ранить ни силой своей, ни клыком, ни когтем, а слово человека и обидеть может, и ранить, и убить даже. Бессмертную душу человеческую только слово человеческое и надрывает. Тебя ведь люди обидели, Надежда наша?

— Много, — еле слышно выговорила Надя.

— Много, — вздохнув, повторил старец. — Поведай мне обиды свои. Все поведай. Исчерпай до

дна муть души своей.

Наденька молчала, плотно сжав губы. Варя с тревогой смотрела, как густеет синева ее глаз. «Сейчас взорвется», — подумала она и поспешно сказала:

— Позвольте мне изложить обстоятельства, святой отец.

— Не всякая доброта дело доброе творит, — тихо сказал старец, не отрывая взгляда от Нади. — Откровение — там, а не здесь. Там, в синих омутах. Стало быть, непомерно велика тяжесть виденного и слышанного тобою, неподъемно велика.

Он замолчал, глаза его будто угасли, будто внутрь оборотились. Только острый клин седой бороды чуть шевелился, словно старец то ли кому-то что-то объяснял, то ли кого-то упрашивал. Потом вздохнул, горестно покивав островерхой скуфейкой:

— Печаль. Печаль твоя мир от тебя занавесила. Обождите здесь, господа. В молчании. Молчание — сила ваша.

И шустро вышел. Он вообще двигался скорее шустро, чем быстро. Значительно шустрее собственного возраста, хотя возраст этот определить было весьма затруднительно.

А они молчали, как и было велено, и даже взды-

хали осторожно. Варя то и дело поглядывала на сестру, но Наденька, казалось, вся ушла в себя. Даже глаза словно перевернулись, утратив блеск и ясность. Ожидание затягивалось, становилось уже невмоготу, и Варвара не выдержала первой:

— Как вы считаете, Викентий Кор…

— Барыня!.. — грозно прошипела Грапа.

— Молчу, молчу… — почти беззвучно произнесла Варя, прижав для убедительности ладонь к губам.

Наконец появился старец, торжественно неся перед собой, на груди, завернутую в полотенце икону. Приблизившись, отмахнул верхнее полотнище, и в ленивых лучах низкого солнца высветился задумчивый лик Божьей Матери.

— Пресвятая Ярославская Заступница и Утешительница «Утоли моя печали». Ступай за мной, она откровения твоего требует. А вы — здесь ожидайте.

Надежда тотчас же встала и вышла вслед за старцем. Оставшиеся осторожно перевели дух, Грапа перекрестилась:

— Господи, спаси и сохрани…

— Вы верите в его святость, Викентий Корнелиевич?

— Я смотрел на Надежду Ивановну. Сначала она

насторожилась, но потом строго внимала ему.

— А куда он ее потащил? — недовольно спросила Грапа.

— В церковь, по всей видимости.

— Монахам на потеху, — непримиримо вздохнула горничная.

Наденька и старец долго шли сводчатыми гулкими переходами и коридорами. Старец семенил впереди, торжественно неся перед грудью открытый образ Богоматери, Надя, опустив голову, поспешала следом. Редкие монахи и послушники, что иногда попадались на пути, истово осеняли себя крестным знамением и тотчас же куда-то скрывались или вжимались в стены, низко склонив головы и всегда уступая дорогу. Никто с ними не заговаривал, все спешили по своим делам, и Наденька не испытывала никакой тревоги. Просто шла и шла, куда вели, а в голове замедленно крутилась одна мысль: «Надежда себе не принадлежит. Не принадлежит. Как прилагательное».

Наконец в каком-то совсем уж глухом пустынном тупике старец остановился. Молча передал Наде икону, с трудом, двумя руками открыл дверь кельи (пахнуло нежилой сыростью), обозначенную черным замшелым валуном у входа. Взял

икону и посторонился, пропуская Наденьку.

В келье стояла тьма. Не темнота, а именно — тьма, что невольно отметила Надя: даже под потолком не было ни единого продуха. Не закрывая двери, старец вошел первым, бережно поставил икону на низкий, вделанный в стену столик и молча вздул свечу. Не прибег к шведским спичкам, а — вздул, и Наденька обратила на это внимание. Достал трут и огниво, почиркал кресалом, высек искру, запалил трут, а от его жара — и обгорелый фитилек толстого свечного огарка.

— Затвор, — пояснил он. — Святые старцы, мир презрев, здесь откровения достигали. Молчанием, постом и молитвой. Ты готова к искусу сему?

— Готова, — тихо ответила Надя.

— Ей все расскажешь, — строго сказал старец. — Ей, Заступнице нашей, все беды, боли и обиды свои поведаешь. Коли откровенна будешь, она все постигнет и утолит печали твои.

Осторожно погладил ее по голове, вздохнул, покивал в задумчивости. Потом добавил:

— Стены аршинные, дверь глухая, никто тебя не услышит, кроме Пречистой Матери Божьей. Я за дверью обожду.

Поцеловал в лоб и вышел. Раздался скрип про-

ржавевших петель, дверь закрылась, и Наденька осталась одна.

Тускло светил ни разу не вздрогнувший фитилек свечного огарка, освещая задумчивый и строгий лик Пресвятой Богородицы. Стояла мертвая тишина — стены и вправду были аршинными, дверь и вправду была глухой — и Надя ощутила вдруг постепенно растущее в ней состояние полной отрешенности от всего мирского. От всех страстей, семейных забот, житейских тревог, ежедневной суеты, обыденной суетливости, пошлой обязательной прилюдности и столь же пошлого, неестественного собственного поведения в людности той — все, все осталось там. За глухой дверью в мир. И еще ничего не осознав, еще только почувствовав это, опустилась на колени, сложив на груди руки, как учила маменька. Маменька?.. Может быть, Варя? Нет, нет, конечно, маменька — еще там, в тишине и покое святого чрева своего.

Надо было что-то говорить, хотя бы про себя, но слов пока не было. Был твердый и холодный каменный пол монашеского затвора, и Наденька поняла, что слова придут тогда, когда она забудет про твердь и холод.

— Помоги мне, маменька, — в голос тихо ска-

зала она.

И тотчас же услышала фальшь собственных слов и почувствовала неискренность собственных мыслей. И подумала с горечью: «Опять — спешка, опять — суета. Усмехается во мне гордыня моя. Значит, не готова я еще к откровению. Не готова...»

«Феничка?.. — то ли послышалось ей, то ли подумалось. — Нет, нет, Феничка, не тревожь душу свою, не вспоминай и не рассказывай ничего. Я сама все расскажу, я еще в чистилище земном, меж прошлым и будущим своим...»

— Я очень виновата, — вдруг как-то само собой тихо сказала она и не удивилась прозвучавшим под глухими сводами словам. — Я повинна в гибели дорогого мне человека, ласковой и верной подружки моей. Я прислушивалась только к гордыне своей, я подчинялась ей, как раба, и она в конце концов увела на Ходынское поле не только меня, но и Феничку мою. И куда теперь уведет Ваню Каляева, влюбленного в меня первой любовью своей, не знаю, но боюсь, боюсь за него. И смогу ли я быть заботливой и преданной женою Викентию Корнелиевичу, так вовремя протянувшего мне руку свою? Сумею ли родить ему детей или раздавлено все во мне? Сумею

ли воспитать их такими же честными перед совестью своей и такими же скромными перед людьми, как он, или все сожжено во мне в том ходынском аду? Я ничего не хочу для себя, я уже поняла, что человек только для себя — не человек, а волк в стаде людском. Эгоистичный, лютый зверь, без колебаний грызущий ближних своих во имя своего благополучия. Своего, не людского, не человеческого. Я знаю, что говорю сейчас, я была в шкуре волчицы той. И что спасает меня сейчас, что право мне дает надеяться на милость Твою, так только благодарность моя синей той чуйке, которую я благословляла душою своей страдающей…

Чуть слышно потрескивал фитилек в беззвучной той тишине. Тихо шептала Надежда надежду свою последнюю…

А у входа в старый монастырский затвор, в котором могучие духом, избранные старцы монастырские когда-то молились в снизошедшем на них откровении за весь грешный русский народ, на черном замшелом валуне недвижимо сидел маленький старичок в островерхой скуфейке. Как крохотный добрый гном из добрых детских сказок.

— …повинны ли люди в страхе своем? Я спро-

сила себя и ответила, когда чуточку самую окреп дух мой: нет. Не повинны они, как неповинны дети, провалившиеся в полынью и в ужасе топящие друг друга, вместо того чтобы друг другу помочь. Нет у меня ни зла, ни обиды на них. Не мне их судить, но мне их прощать, и боль моя пусть и каплей единой не упадет на черную чашу весов. Я, я одна повинна во всем, пред Тобою в этом клянусь, Матерь Божия. И ничего не прошу у Тебя, кроме прощения за содеянное мною вольно или невольно…

Что-то теплое пробежало сначала по одной ее щеке, потом — по другой, и Наденька ладонями накрыла это тепло. Влажное, густое и такое жданное ею. И, рухнув на пол, впервые с того ходынского утра зарыдала в голос…

Как маленький старый гномик услышал рыдания ее — тайна. Чудес нет, но есть Тайны. И пока мы верим в них — они есть. А значит, всегда есть надежда на спасение. Всегда.

А услышав, духом своим услышав рыдания ее, старец встал, снял скуфейку, точно определил, где восходит солнце, низко поклонился ему, широко перекрестившись, и выдохнул с великим облегчением:

— Слава Тебе, Заступница наша. Слава Тебе,

Матерь Божия и человеков земных!..

Наденька не помнила обратной дороги, потому что продолжала рыдать. Рыдать громко, беззастенчиво, с надрывом, и долгожданные слезы текли по ее лицу. И от них с каждым шагом на душе становилось все легче и легче.

А войдя в покои, где ее с нетерпением ждали, рухнула на стул, не переставая рыдать.

— Не утешайте ее, — тихо сказал старец. — То слезы спасения ее. И о молчании помните.

И бесшумно вышел, а никто и не заметил его ухода. Все смотрели сейчас на Наденьку, боясь приблизиться к ней, боясь нарушить принесенное ею великое одиночество.

Она сама справилась с тихим приступом великого счастья. Вдруг решительно отерла слезы, встала, шагнула к Викентию Корнелиевичу и протянула ему руку:

— Вы просили моего согласия стать вашей супругой. Если ничего не изменилось в ваших планах, то вот вам моя рука. До гроба, друг мой. До гроба.

Эпилог

Викентий Корнелиевич Вологодов и Надежда Ивановна Олексина обвенчались в маленькой церкви села Уварово, что неподалеку от Высокого Ельнинского уезда Смоленской губернии. Эту церковь очень любила маменька за древность ее, да и Варвара когда-то венчалась в ней. И, как тогда, были только свои: видно, у сестер Олексиных скромные свадьбы оказались написаны на роду, что, впрочем, ни в коей мере не мешало их семейному счастью. Правда, исключая Машеньку, но бомба есть бомба, даже тогда, когда ее накрывают собственным телом.

Викентий Корнелиевич ни в чем и никогда не перечил своей молчаливой, редко улыбающейся красавице жене, все время втайне надеясь, что когда-нибудь воскреснет и ее тихая, как бабье лето, душа. Может быть, когда станет супругой и хозяйкой; может быть, когда родит детей; может быть, когда, наконец… Нет, до внуков дожить им было не суждено: другой суд выносил свои приговоры в новом, двадцатом веке, которого они так ждали…

Вологодов всю жизнь упорно верил в чудо,

но чудес не бывает. Ни медовый месяц в Высоком, ни спокойная, ровная, замкнутая только на родственников жизнь в Москве, ни даже рождение первенца, названного Кириллом, ничего не изменили в Надежде Ивановне Вологодовой: то, что погибло на Ходынском поле в Наденьке Олексиной, погибло, увы, навсегда. Уменье видеть волшебные сны, сочинять рассказы и сказки, мечтать о журналистской работе — все, все решительно осталось в прошлом и без всяких воспоминаний. Возродилась прекрасная форма, но не яркое содержание: содержание оказалось стертым, и место его заняла почти фанатичная вера. Надежда Ивановна, к счастью, не превратилась в ханжу и кликушу, но начала весьма истово молиться, свято соблюдать все посты и обряды и регулярно посещать церковь. Это не мешало ей читать и музицировать, но читала она теперь, увы, только легкую беллетристику и играла только простенькие сочинения.

Викентий Корнелиевич тревожился, что изменившиеся вкусы и ценности искренне любимой им супруги могут как-то сами собой, исподволь перетечь в систему домашего воспитания, но этого не произошло. Надежда старательно и умело воспитывала детей так, как когда-то вос-

питывали и учили ее, и они не складывали кукол с плюшевыми зайчиками. Они вырастали на добротной литературе, настоящей музыке и хорошей живописи. Таинственная преемственность поколений не прервалась, а как бы перешагнула через ее собственную смятенную душу, и дети доказали мощь этой великой преемственности русской интеллигенции. Правда, легче им от этого не стало…

А Роман Трифонович Хомяков так и не смог воспринять своей Надюши, собранной не по старым чертежам. Нет, конечно же он по-прежнему любил ее, но теперь в этом куда более проглядывало древнее народное понимание этого чувства: он скорее жалел, нежели восхищался. Это чувство жалости постоянно жило в нем, его невозможно было похоронить и, с горечью отметив девятый день, начать новый отсчет. Оно жило само собой, вне зависимости от него, как чудовищное воспоминание и — горькая насмешка. Воспоминание его кипучая и очень практичная натура еще могла перенести, но — насмешку… Насмешку можно было утешить только в биллиардной, залив зеленое сукно водкой пополам с крепким огуречным рассолом, и тут не могли помешать ни громкие упреки Варвары, ни тихие просьбы

Евстафия Селиверстовича…

Через границу Роман Трифонович и Аверьян Леонидович Беневоленский перебрались вполне благополучно, но путь до нее зависел от скорости поезда, и они успели не только понять друг друга, но и подружиться. Дружба оказалась прочной, в хомяковском особняке вскоре стали появляться странные гости из Швейцарии, Франции, Германии, которые выходили только по вечерам, днями отсиживаясь все в той же биллиардной — личной «территории» Хомякова. Варвара негодовала, но Роман Трифонович ограничился тем, что приказал прорубить выход со двора непосредственно в пресловутую биллиардную.

Так образовалась трещина, которая росла, вместо того чтобы затянуться. Варвара начала не доверять мужу, через подкупленного конторщика следить за движением его капиталов и вскоре обнаружила перевод полутора миллионов в швейцарский банк. Выяснение привело лишь к ссоре, ссора — к исчезновению из оборота еще полумиллиона, и разрыв меж супругами оказался неминуемым. Подросшие и очень практичные сыновья приняли сторону матери, верный Зализо умер на руках домоправительницы Вологодовых Грапы, и Роман Трифонович остался один. Без лю-

бимых сыновей, верных друзей, азартной работы и — даже без Наденьки. Перебрался в Швейцарию, страдал, пил по-русски, один, вмертвую, и как-то дождливым вечером в женевской гостинице пустил себе пулю в сердце…

А в канун ухода в историю девятнадцатого века (тогда Россия еще не догадывалась, что век этот окажется единственным золотым веком ее многотрудной истории) к подполковнику Николаю Олексину неожиданно приехал капитан Георгий Олексин. Неожиданно потому, что еще не прошли десять лет царского неудовольствия.

— Я подал рапорт об отставке, Коля.

— Тебя вынудили?

— И да и нет, все проще, как всегда. Началось с того, что корпусной командир приревновал меня к своей молодой супруге, в результате чего я оказался в совсем уж глухой литовской провинции. Полагаю, что тебе такая даже не снилась.

— Надеюсь, ты хотя бы утешался тем, что генеральская ревность была небезосновательной? — улыбнулся Николай.

— Весьма слабое утешение, брат.

— А что же твоя московская пассия, которая только и ожидала, что собственного совершеннолетия, Жорж?

— Увы. В той глухомани не оказалось даже перрона, на котором я мог бы ее встретить. Там вообще ничего не было, кроме звериной тоски, Николай, и я понял, что армия исчезает, растворяясь в застойных провинциальных болотах. Гарнизоны гниют в них, полковник. Офицеры пьют водку, как когда-то пили «Вдову Клико», манкируют службой, передоверив ее унтерам, и начинают предпочитать пощечины приглашению к барьеру. Среди них появилось множество подпоручиков с длинными руками и сутулыми спинами, напрочь забывшими, что такое честь, но неустанно толкующими о патриотизме.

— Ах, Жорж, Жорж!.. — вздохнул Николай. — И что же ты думаешь делать? Пойдешь в университет?

— Нет, Коля, я хочу остаться потомственным русским офицером и в отставке.

— И что это означает?

— Это означает, что я не могу оставаться бесстрастным, когда могучая держава уничтожает маленький народ только за то, что он не хочет входить в состав этой державы.

— Я не совсем понял тебя, Жорж.

— Скажем конкретнее. Я намерен уехать за границу.

— И куда же ты нацелился?

— К бурам, Коля, к бурам! «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне…»

Отставной капитан русской армии Георгий Иванович Олексин благополучно добрался до Южной Африки. Командовал отрядом волонтеров в армии генерала Девета и пал смертью храбрых в Реддерсбургском бою. И в благодарность, и в знак особых заслуг был с почестями похоронен в центре Претории, столице свободной республики буров. Об этом собственноручно написал его родным в далекую Россию первый президент республики господин Крюгер в открытке, на которой была изображена могила русского капитана в сквере перед президентским дворцом.

Олексины не умирали в постелях.

А Иван Иванович Олексин в конце того же века неожиданно получил письмо, и очень огорчившее, и очень обрадовавшее его.

> «Дорогой мой Иван Иванович, дорогой спаситель Ваничка! Как хотелось мне написать Вам, дорогой друг мой, как хотелось объясниться, попросить прощения и, кто знает, может быть, и оказаться понятой. Я очень любила Вас, любила всю

жизнь и люблю сейчас, но… Но меж нами было проклятое “НО”, через которое я не смогла перешагнуть. Надеялась, что смогу, когда давала согласие стать вашей женой, плакала счастливыми слезами, считала дни до свадьбы, а потом поняла, что нет у меня на это сил, и – сбежала. Мне трудно объяснить это, но я долго копила свои силы.

Вы опоздали тогда, в Болгарии. После убийства моего отца казаки схватили меня, сорвали одежду, бросили на землю. От ужаса я потеряла сознание и очнулась уже в Вашем обозе, завернутой в одеяло. Увы, но Вы опоздали тогда, мой витязь.

Вот почему я сбежала, дорогой Иван Иванович, вечный Ваничка мой. Я не могла, не могла быть Вашей женой. Но своего первого сына я назвала Иваном.

Прощайте. Да поможет Вам Бог.

Спасенная когда-то Вами

Елена».

Очередные столетия начинаются календарной датой только в календарях, учебниках да в мертвых официальных документах. Обыкновенные

современники отсчитывают начало каждого нового века, а уж тем паче — столетия — сообразуясь с собственной точкой отсчета.

Для России такой точкой отсчета стала священная коронация царствующего монарха. Подданные ждали от Николая Второго каких-то решений, действий, разумных шагов. И считали, загибая корявые пальцы:

— Уж четвертый год, как Богом помазанный.

Однако у жителей второй русской столицы и особенно у московской интеллигенции точкой отсчета стала не коронация, а ходынская трагедия. Может быть, потому, что роковое сие событие было тихо-тихо спущено на тормозах вскоре после громкого решения начать следствие «по факту многочисленных безвинно пострадавших», может, по иной какой причине. Никто ничего, естественно, не объяснял, однако само «Следственное дело» вдруг было приостановлено, а постояв в бездействии, вновь лихо понеслось вскачь, но уже с другим ямщиком на облучке.

А замерло оно по той причине, что дотошный и весьма старательный следователь по особым делам Кейзер нашел главного обвиняемого без особых хлопот, испросив у государя разрешение допросить генерал-губернатора Москвы великого

князя Сергея Александровича. Вот тут-то и случилась заминка, так как познавшие про законную просьбу следователя великие князья братья Александр, Алексей и Павел Александровичи тут же привезли царю свои отставки на случай, если их брата великого князя Сергея Александровича вздумают допросить хотя бы в качестве официального лица.

Естественно, отставленным оказался Кейзер. А спешно подобранный на замену весьма оглядчивый следователь был скорее специалистом по делам не столько особым, сколько особенным. В результате его деятельности великий князь Сергей Александрович был освобожден от необходимости давать показания, однако, учитывая настроения жителей второй столицы, назначен на другую должность с повышением, став одновременно не только генерал-губернатором Москвы, но и Московской губернии и командующим войсками.

А виновными быстро объявили роковые стечения обстоятельств, неразумное поведение народа и персонально — обер-полицмейстера Власовского вместе с его заместителем полковником Рудневым. Как должностных лиц, не сумевших учесть все перечисленные следстви-

ем объективные причины трагедии. Но даже в этом, весьма облегченном варианте до суда дело так и не дошло, ограничившись служебным разбирательством с последующей отставкой без мундиров обоих стрелочников. И «Дело о трагических последствиях вследствие недостаточного соблюдения порядка при раздаче подарков на Ходынском поле» было списано в архив.

Персоны первого и второго классов Табели о рангах никогда не были, да и не могли быть повинными в чем бы то ни было. Ваня Каляев оказался прав…

Последнее свидание выступающего под видом извозчика члена Боевой организации эсеров Ивана Каляева с руководителем боевиков Борисом Викторовичем Савинковым произошло в грязном и полутемном трактире Замоскворечья.

— Я очень устал, Борис, устал нервами, — беспрестанно потирая руки, говорил Каляев. — Ты знаешь, я не могу больше ждать. Я буду спокоен только тогда, когда Сергей будет казнен.

— Семнадцатого января, Иван, — тихо сказал Савинков. — Семнадцатого в Большом театре торжественный спектакль. Будешь ждать великого князя по дороге в театр на Воскресенской площади, у здания городской Думы. Тебя прикры-

вает Куликовский.

Вечером того же дня Иван Платонович написал последнее письмо:

> «Вокруг меня, со мной и во мне ласковое, сияющее солнце. Сегодня мне хочется только тихо-сверкающего неба, немножко тепла и безотчетной радости для изголодавшейся души… Здравствуйте же, все дорогие друзья, строгие и приветливые, бранящие нас и болеющие с нами!»…

Был сильный мороз, начиналась вьюга. Каляев, кутаясь в потертый полушубок, стоял на уготованном ему первом номере. В начале 9-го часа от Никольских ворот Кремля показалась карета, которую Каляев узнал по белым и очень ярким огням фонарей. Бросился наперерез карете, уже поднял руку и…

В ярко освещенной карете рядом с великим князем сидела его жена и двое детей…

«Маша Олексина!..» — вспомнилось вдруг Каляеву, и он отступил в сторону.

Карета Сергея Александровича благополучно проехала к подъезду Большого театра…

— Ты поступил правильно, Ваня, — сказал

Савинков. — Обождем до лучших времен. Ты успокоишься…

— Ни в коем случае, Борис! — возмутился Каляев. — Я дал слово казнить великого князя, ты знаешь, при каких обстоятельствах и за что именно.

— Хорошо, — подумав, согласился Борис Викторович. — Второго февраля, в Кремле, когда великий князь поедет в свою канцелярию. Прощай, Янек.

— Прощай, Борис.

Они расцеловались и разошлись.

Каляев (письмо из Бутырской тюрьмы):

> «Я бросил бомбу с разбега… Я был подхвачен вихрем взрыва. После того как дым рассеялся, я оказался у разбитых задних колес кареты. Я был ранен и обожжен, но встал… Мог ли я убежать? Мог. Но тогда это было бы убийством великого князя, а не казнью за Ходынку…»

Жена убитого великого князя Сергея Александровича Елисавета Федоровна пожелала навестить убийцу мужа. Ее свидание с Иваном Каляевым произошло в Пугачевской башне Бутырской тюрьмы.

— Мне очень больно, что я причинил вам горе, — тихо сказал Каляев. — Но я исполнил свой долг.

— Кто оценит долги наши? Люди? Бог? Будущее?.. — Елисавета Федоровна помолчала. — Примите от меня на память иконку Божьей Матери «Утоли моя печали». Я буду молиться за вас.

— Мне больно, что я причинил вам горе, — повторил Иван. — Но совесть моя чиста. Прошу вас, Ваше Высочество, не ходатайствовать перед государем о даровании мне жизни. Я не приму помилования. Нас разделяют горы трупов Ходынки и сотни тысяч разбитых человеческих сердец.

В ночь на десятое мая 1905 года в Шлиссельбургской крепости палач Филипьев завязал петлю на шее Ивана Платоновича Каляева. Он отверг исповедь и последнее целование креста, успев сказать перед тем, как Филипьев вышиб под ним опору:

— Я счастлив, что исполнил приговор главному виновнику ходынской трагедии. Учитесь смотреть в лицо истории, люди. Учитесь смотреть в ее лицо!..

Дочери Надежды Ивановны Олексиной Калерии, Лерочке Вологодовой, как раз в этот день исполнилось ровно пять лет…

1.01.97–20.03.97

Отрицание отрицания

Россия — странная страна. Ее истоки следует искать не в истории, не в легендах и даже не в мифах. Она — прямое порождение ледника, а потому — согласно законам диалектики — и гибель ее заключается в леднике. Тепло населяющих ее душ обязано заледенеть изнутри, уничтожив все. Ласку и приветливость, добродушие и сострадание, любовь и нежность.

Россия — дочь отрицания жизни.

Оглянемся и посмотрим далеко-далеко, в сизые льды, когда-то медленно и неторопливо отступавшие на север. А на их месте постепенно появлялись лишайники и мох, трава, плауны, ползучие плети хвощей, изредка выбрасывающие из своих узлов робкие столбики, похожие на крохотные елочки. На согретых ими местах начали робко появляться первые кустики, они накапливали корни, рождали новые побеги и упрямо росли. Росли вопреки всему. Бедной почве, ледяному прослою земли, студеным, злым ветрам. Росли вопреки всему, и этот «рост вопреки» через много лет привел к господству кустарников.

Они заполонили собою все пространство, нехотя, с метелями и жгучими морозами уступаемое ледником. Лоза, мелкий осинник и березняк, крушина, волчьи ягоды, нескончаемые заросли малины и красной смородины, таволги, крыжовника, черемухи, багульника заняли все пространство свободных земель России, не давая никакой возможности прорастать деревьям. Они губили их семена во мхах и травах, они крали у них нежаркое солнце и высасывали все соки из тощей почвы. Это было их царство, за которое они боролись с остервенением, ничего нигде не уступая.

И когда могучие деревья все же вознесли свои кроны, научились прятать семена в шишках, разбрасывая потом их повсюду, кустарники продолжали борьбу. В конце концов тайга победила, выгнала их из-под своих непробиваемых солнцем крон, но кусты по-прежнему продолжали свою тихую войну, захватывая всякое свободное пространство. Борьба эта продолжается и поныне, хотя деревья гордо возвышаются над ними — где лесом, где перелеском, а где и отдельными гордыми упрямцами.

И поныне кусты упрямо лезут на нивы, пажити и даже в огороды. И люди были вынуждены вклю-

читься в войну на стороне деревьев, беспощадно вырубая упрямые кусты.

Столбовые деревья и сегодня ведут свой нескончаемый бой с упорной кустарниковой ратью. И война эта бесконечна, ибо опирается на Отрицание.

Ведь и в человеческой жизни кусты изо всех сил мешают деревьям, а деревья стойко продолжают борьбу. И только тогда, когда «социальный» кустарник дозрел до мысли об объединении, получил численное преимущество, армии кустов смели с лица России ее последние тысячелетние дубы и вековые сосны.

Однако начнем разговор не с капризов природы, а с отрицания как дела рук человеческих.

Итак…

Отрицание первое, или Гунькина коза

1

Почему так называлась малоприметная возвышенность в чистом поле, никто уже и не помнил. Даже старожилы из ближайшей деревни Хлопово, в которой, правда, кроме старожилов, уже никто и не проживал. А на самой возвышенности не было ни козы, ни Гуньки, а только хрен. Дремучие хреновые заросли, которых хватило бы на всю область. Если бы было, с чем его есть.

Ну, представьте себе картину бывшей Великороссии, ныне за что-то прозванной Нечерноземьем. От селища до селища — выстрел из береговой батареи. Здесь укрупняли обедневшие вконец деревни, как утверждалось, ради того, чтобы запустить могучую сельскохозяйственную технику, а на самом-то деле, чтобы народишко подсобрать из разбежавшихся селений. Тут, почитай, любой парень, на службу призванный, в родную избу уж и не возвращался, а девчонки, каждый год из-за такого государственного расклада без женихов оставаясь, на любую стройку завербовывались, лишь бы в старых девах не

оказаться. Месили голыми ногами ледяной бетон на великих стройках коммунизма, лопатами рыли каналы и котлованы, клали тяжеленные шпалы без всяких подъемных кранов, добровольно записывались прокладывать метрополитен, пробивать в горах тоннели, поднимать целину, строить новые города в глухомани. Природа, она природа и есть, и никакой завтрашний социальный рай ей не требуется. Ей сегодняшний нужен, чтоб сама жизнь не прекращалась.

А вместо жизни получили пампасы из хрена.

Старики на завалинках вспоминали времена радостных гармошек при коллективизации. А чего гармонь через пузо не растянуть, когда соседа раскулачивают? Оно, конечно, самое полезное для хозяйства куда-то утекало, но и соседям перепадало — если не старая лошадь, так хоть старый хомут. Только вот старики толковали, что и до коллективизации она уже была. Эта самая коллективизация. Только что называлась по-другому, так разве ж в названии дело?..

— Порешил сход помещика-кровопийцу из дома выселить со всем семейством, а землю никакому не колхозу, а крестьянству по жеребию, — важно рассказывал седой до мертвой желтизны старик. — Ну и имущество, конечное

дело, тоже по жеребию, как положено. Чтоб, значит, всем, а не одному крикуну-агитатору. Помню, в двадцать четвертом годе солдаты с войны вернулись, сход собрали да и порешил тот сход…

— Какой еще сход? — не понимая, а потому с унтер-пришибеевским раздражением перебил корявый, без руки, но весь в медалях, очень заслуженный солдат.

— Сказали, мол, такая установка нынче, что, значит, всем всего поровну. Без всяких кровопивцев…

— Катись ты, дед, со своим сходом! И не сход вовсе, а мы, которые кровь проливали, порешили все то дело.

А неподалеку жили-были — тому уж добрых две сотни лет — мелкопоместные дворяне Вересковские. Земля чахлая да и немного ее, а в семье одних детей аж пять душ. Старший сын Александр на фронте с пятнадцатого, слава богу, до командира батальона дослужился, орденов — пол-иконостаса да плюс — солдатский Георгий, особо почитаемый именно офицерами, так как давался по ходатайству роты за личную отвагу в рукопашном бою. За ним две дочери-погодки последовали — Таня и Наташа. Хорошие девоч-

ки, в губернском городе в гимназии учились. Таня с золотой медалью окончила и собиралась в Московский университет на медицинский факультет. В связи с войной туда теперь и женщин принимали. Наташа из-за болезни на год опоздала, окончила гимназию только в семнадцатом и мечтала о консерватории. Еще — Павел. Ну, с ним сложнее дело обернулось, а последней Настенька родилась. Любимица, красавица, только что здоровьем тоже вроде бы слабовата, как и старшие девочки. Так считала мама Ольга Константиновна. Семья имела в губернском городе квартиру с прислугой, но старшие предпочитали жить в поместье, а в квартире проживали девочки, когда учились в гимназии. За ними Антонина Кирилловна присматривала, ну и горничные, естественно.

В старые-престарые времена Вересковским принадлежали две деревеньки, а села ни одного не было, так что и церковь-то чужой оказалась, подле которой они упокоившихся своих хоронили. Когда-то предок очень по этому случаю расстраивался, но последние хозяева в меру заразы атеистической нахватались. Во храм ходили по привычке — крестины да похороны, двунадесятые праздники да привычные свадьбы. И

расстройство предка забылось.

Старшие в поместье жили безвыездно. Хозяин, отставной генерал Николай Николаевич, ученым был, что-то там писал историческое, а жена Ольга Константиновна за дворней присматривала. Был у них старый дворецкий, хозяина в детстве обихаживавший, повар, экономка да две горничные. Еще кто-то мелькал, но это так. Приживалы, что ли. Или — долгие гости скорее. Вересковские хлебосольством на всю округу славились.

С соседями своими — то бишь с бывшими крепостными — жили душа в душу. Парни каждое Рождество в каждой деревне елку ставили, а девочки ее украшали вместе с местными ребятишками. И так это всем нравилось, что с елок тех ни разу ни одной игрушки не пропало. Крестьянам это по душе было, мальчишек приструнивали, но парни тогда особо не озорничали, схода побаиваясь. Ведь рекрутский набор обществом решался по заведенной издревле привычке, тут было от чего забояться.

И вот в конце того же двадцать четвертого года, что ли, бывалые, колотые и стреляные, тертые-перетертые, газом травленные и казачьих сабель навостренность собственным телом постигшие, свою сходку собрали. Сказали, правда, что любой

дед-прадед с правом спора на нее приглашается, как и все прочие по всяким хворям неслужилые мужики. Только бабам ход туда был заказан, потому как отвыкли солдаты от бабьего слезного воя настолько, что уж и слушать его не захотели.

— Равенство нам обещают после дождичка в четверг! — проорал косматый солдат. — А наши подзолистые души не в четверг, а сегодня дождичка желают! Какой сегодня день, старики уважаемые?

— Четверг.

— Самое, стало быть, оно!

Рванули было с места да на рысь, только один из дедов вовремя закричал тоненько:

— Ишь, куды ж?.. Ружья наземь… клади!..

И вся рысь замерла. Положили солдаты ружья — аккуратно положили, как вот такими дедами велено было — а потом пошли шагом. Тоже привычным — четыре версты в час. За ними чуть поодаль бабы шли, малышни орава да мужики неслужилые. А парнишки постарше неспешно вели под уздцы нестроевых крестьянских лошадок с пустыми телегами. Это обратно кони должны были потрудиться по доставке добычи, необходимой для наступления всеобщего равенства.

Приехали. Нестроевые с парнишками остались,

а бывалые, пороха понюхавшие, вперед вышли.

— Эй, хозяева!

Хозяева на крыльце появились. Сам Николай Николаевич, сама Ольга Константиновна и — девочка Настасья, а остальных детей лихие дни раскидали неизвестно куда. И она, эта последняя девочка, что-то радостно закричала, углядев в третьих рядах подружек, с которыми каждый год весело наряжала в деревнях елки.

Но толпа безмолвствовала, что, как известно, ей свойственно в ситуациях озадачивающих.

— Грабить пришли? — помолчав, спросил Сам.

— Грабить — слово буржуйское, — хмуро сказал солдат с отсохшей рукой. — А наше слово — зекс… эксприация.

— Не понял, — сказал Сам.

Тут какой-то дед, передних раздвинув, к крыльцу вышел и достал мятую бумагу, которую еще не успели раскурить. Развернул ее и зачастил, не читая:

— Постановление схода. Всего нашего общества то есть. Все ваше личное имущество можете взять с собой, мы вам даже телегу дадим, только своих коников нам оставите, они вам больше без пользы. Потому тогда грабеж, когда личные вещи берут. А когда не трудом добыто, а наследством

это называется, нет на то согласия бедняцкой части.

— Да у меня предки во всех коленах за Россию кровь проливали. — Хозяин даже в грудь кулаком тюкнул. — У меня старший сын Александр на фронте с пятнадцатого года, три ранения получил, четыре ордена имеет и солдатским Георгием награжден за личное мужество!

— Достоин, стало быть, — сказал старик. — Потому мы и не грабим, как некоторые. Мы по-людски. Полчаса на сборы хватит?..

Заплакали Ольга Константиновна и барышня, если, стало быть, по-старому считать. Но сам генерал Николай Николаевич Вересковский зыркнул глазом, и пошли они собираться.

А толпа стояла и молчала. Может, и копошилась в какой ни то душе некоторое несогласие, но наружу не вылезало. Опыт уже был — свое при своем храни, дольше проживешь. Потому-то и молчали все.

Вышли хозяева и их горничные вместе со старым дворецким. И каждый — с чемоданом, и девочка с чемоданом, а Сам — аж с двумя баулами. Но тут взроптали солдатики: мол, чего прешь-то, хозяин? Может, золото какое?

— Золото, — сказал хозяин и открыл оба баула.

Подошли. Посмотрели.

— Бумажки какие-то…

— Работа это моя, — вздохнул хозяин, застегивая баулы. — Всей жизни работа… О русской армии.

Помолчали все с уважением. Даже не спросили: «Почему, мол, русской, а не Красной?..»

Еще живо было, видать, в их уже тронутых бессердечием душах уважение. Это потом с ним, с уважением то есть, расстанутся, потом, когда придет соответствующее распоряжение. А тогда еще такого распоряжения не было. Потому никто в опустевший дом и не ринулся, пока бывшие жильцы да телега с ними да пожитками их с глаз не скрылась.

Медленно, мучительно медленно расставался народ с духовным своим богатством. Это погодя, потом все ускорили, когда церкви да монастыри громить распоряжение вышло. А заодно и могилы раскапывать в поисках золотишка под бдительным надзором молодцов в кожаных куртках с маузером через плечо аж до колена.

Да и в пустой дом не навалом, не кто первый, тот и в дамках, вошли. А вполне степенно и даже, как бы мы сегодня сказали, словно на экскурсию. На стенах — картины в рамах, на полу — ковры,

кровати все постелены, а в буфетах — их целых три оказалось — чего только нет! И все — чистое, все хрусталем отливает, серебром отсвечивает и красками — словами и не перескажешь. Бабы первыми не выдержали, разахались, но дед, которого сход выделил, сказал строго:

— Делить все — по-честному.

А как так — по-честному-то? А так. Ты, к примеру, спиной к буфету оборачиваешься, я во что-то тыкаю, а ты кричишь, кому достанется. Можешь, конечно, и «мне!..» заорать, а вдруг не угадаешь во что глазища завидущие уткнулись? Вот потому и орешь:

— Марье!

Ан Марье-то заветное и досталось. Очень от таких дележей сердца изнашиваются, очень. Считается, что к тридцать седьмому году совсем износились, ученые так говорят.

Вот так, в общем-то мирно и тихо, и шел дележ. Насте — поварешку, Федору — седло, Игнату — кресло, Прасковье — стул, ну и так далее. И все бы вполне мирно и закончилось, если бы бывалые да настырные солдаты в погреб не заглянули. Заглянули… Батюшки, все полки — в бутылках, все бочки — с вином!.. И это — при сухом-то законе!.. Так они оттуда и не вылезли, от запаху

обалдев. Сперва от разного запаху, а потом и от разного вкусу.

А наверху тем временем дележ шел.

Все разделили по справедливости, то есть с условием, когда за тебя кто-то выбирает. Так мы с седых времен ее, то есть справедливость, и воспринимаем. И когда эта справедливая дележка была закончена и все, что только оказалось в доме, было вытащено через окна и двери, тогда и ушли, про солдат и не вспомнив. И очень довольные разошлись по домам. А дома приняли на грудь самогоночки по семейному любовному соглашению. И принявши по согласию, закусили чем бог послал, и завалились спать, устав от непривычного дня. И никто о солдатах так и не вспомнил, за исключением тех семей, откуда они происходили. Но и в тех семьях особо не кручинились, привыкнув, что русский солдат сам собою возникает и сам собою растворяется..

Только ночью полыхнуло вдруг в полнеба злым багровым заревом. Тут уж не до сна стало, тут вспомнилось проклятье библейское за злодейство, как попы с малолетства всем талдычили.

Повскакали. Заорали спросонок:

— Усадьба горит!..

Ну, тут все дружно поднялись, как извеку по-

ложено было. Кто с ведром, кто с багром. Только ветер тоже поднялся и погнал дым, искры да и само пламя точнехонько на деревню. Заметались все — кто избы тушит, кто скотину выводит, кто добро подальше от огня оттаскивает, кто ревмя ревет и зазря под ногами путается. А лето-то, как на грех, сухим выдалось, и как ни кричали, как ни суетились, как ни плескали на огонь, сгорела та деревня дотла.

Тогда заорали:

— Пожог!.. Баре проклятые с полпути вернулись!..

— В Чеку!.. В Чеку заявить надобно! Пусть пожогщиков накажут прилюдно!.. На месте, сами глядеть желаем!..

Послали двоих верховых. Часа через четыре вернулись они вместе с крепким милицейским отрядом и пожарной машиной с колоколом. Только тушить уж было нечего.

А на пожарище вой стоит, детишки мечутся, скотина ревет. Тут и начальство местное пожаловало. Поглядело, вой послушало и велело завалы после тушения разбирать. Да не деревенские — там все дотла выгорело — а бывшего хозяина Вересковского. Разобрали, а там — два сгоревших под завалами да два вусмерть упившихся в подва-

ле. Тогда и Чека приехала, только ничего эта Чека не нашла. А личности быстро установили: вояки деревенские. И причину пожара — по обломкам рояля, который ни в какую дверь не пролезал, почему его и не вынесли. А два пьяных воина рояль разломали да и жечь его начали. Может, поджарить чего хотели…

Погорельцам по решению области поселок построили по типичному образцу. В каждом бараке — по четыре квартиры и при каждой квартире — маленький палисадничек. И построили не на старом месте, а на выгоне. Ряд в ряд, как казармы. И назвали Вересковкой.

Только вот хлевов в этой новой Вересковке никто не предусмотрел. Помаялись новоявленные вересковцы со скотинкой, повздыхали да и порезали ее. А что делать прикажете, когда из крестьянского сословия они напрочь выпали, а в рабочее сословие еще не впали.

Но власть решение приняла, и все трудоспособное население помаленьку начало обживать бывший уездный городишко. Там аккурат кое-что строить начали, а тут — рабочая сила. И построили вскорости целых три предприятия. Завод колючей проволоки, фабрику пошива шинелей да почему-то парашютный завод. Про запас, что

ли?.. Но местный автобус зато пустили, и все вересковцы, в одну огненную ночь превратившиеся в пролетариат, стали теперь ездить туда на работу. Точно к началу трудового дня.

Зато, правда, в колхоз не угодили и получили через несколько лет паспорта, чего колхозники не имели еще не одно десятилетие. А им — повезло, почему они с красными флагами и просветленной душой радостно ходили на всякие демонстрации.

Вот какая история стала прологом интенсивной индустриализации данного энского района.

2

А теперь отъедем назад. В 1917 год. Понимаю, что в жанре повествования это не очень-то принято, но нарушим традиции ради связного рассказа.

Роковой для России год этот застал штабс-капитана Александра Вересковского в военном госпитале губернского города Смоленска. Угодил он туда в июне, не упав вовремя от огня австрийского пулемета. Мог упасть, но заставил себя не делать этого. Вообще не любил при солдатах осторожничать, но главное — уже фронты разваливались, уже солдаты в атаки бежали с

неохотой, уже офицеры после отказа государя не верили ни в победу русского оружия, ни в восстановление монархии.

— Оставьте, господа, — говорил Александр в Офицерском собрании. — Россия обречена на монархию несмотря на то, что иногда ее монарха зовут Борисом Годуновым. Ну, поорет Россия, постреляет, пожжет, пограбит, а потом все равно восславит очередного батюшку царя.

— Кого, капитан, кого? Михаил отказался от скипетра, цесаревич мал и безнадежно болен.

— Может, родственников из-за границы пригласить?

— Да нет уж. Своего искать надо.

— Горластого социал-демократа.

— Керенского, что ли?

— Что вы, господа офицеры? Россия ненавидит интеллигенцию, так что скорее согласится на любое пролетарское происхождение.

— Ну, вас-то как раз солдатики любят.

— А я из воинов, а не лавочников. И тайком под одеялом офицерский паек не жру. Я его слабосильным отдаю, как то предками было заведено, а сам ем из солдатского котла.

Смертельно уставший на долгой, грязной, бессмысленной войне никого любить не может,

потому что для любви нужны силы, а их уже нет, исчерпались они ковшом кровавым. Александр об этом знал, не обманывался, но — верил в своих солдат и берег как мог. Как предки завещали. И потому-то перед пулеметом не упал: командирский пример на солдат действует, как неизбежность. И они не испугались, а наоборот, в ярость пришли. И пулеметчика гранатами забросали, и в окоп ворвались, закрепились, и санитарам время дали, чтобы командира вытащить.

За этот бой он получил последний орден. Но не последнюю награду, о чем, естественно, еще не догадывался.

Из госпиталя его выписали в конце сентября, но не на фронт, а в офицерский резерв, обязав раз в неделю ходить на перевязки и осмотр. Не он один на эти процедуры ходил, зато первым отметил процедурную сестру милосердия. Так их исстари на Руси называли, но, когда милосердие себя до донышка исчерпало, стали именовать сестрами медицинскими. Чтобы еще с какими-нибудь сестрами не спутали, что ли.

Назвать сестру милосердия красивой или даже хорошенькой было бы затруднительно. И скулы чуть выше положенного залезли, и носик подкачал, и фигурка не статуэтка, как говорится.

И все же в ней что-то было. Что-то необыкновенное, прочное что-то. Вглядеться следовало, и Александр вгляделся не окопным истосковавшимся взором, когда все женщины становятся прелестными, а отдохнувшим, что ли. Или ухом вслушался, уже достаточно привыкшим к шуршанию юбок за время постельного режима.

Словом, звали ее Аничкой, и это Александру понравилось. Что так по-домашнему зовут: не Анечка, а Аничка.

— А меня — Александром.

— Вы — господин капитан. — Аничка мило улыбнулась.

И он улыбнулся.

— Вы — местная?

— Смоленская.

— А я никогда в Смоленске не был. Госпитали черт-те где, извините. То есть на Покровской горе.

— Весь Смоленск — на юге. За Днепром. Там — крепость и очень красивый центр самого города.

— Если бы вы согласились быть моим гидом.

— С удовольствием. Послезавтра, если вам удобно.

— Благодарю, мадемуазель Аничка.

— Подцепил? — усмехнулся сосед по комнате. —

Она, между прочим, дочка патологоанатома.

— Я не суеверный, поручик.

Через день он нанял коляску и заехал за Аничкой в условленное место. День был солнечным и задумчиво-тихим — не вздрагивали даже начавшие наливаться бронзовым цветом листья кленов. И яблок еще не собрали, и торчали те яблоки через заборы нестерпимо сочными боками и оскомины не вызывали.

— Смотрите, какие яблоки искусительные, — сказал штабс-капитан. — Вам бы мне хоть одно протянуть, Ева.

Ева, то бишь Аничка, промолчала.

Спустились вниз, к Рыночной площади, где привычно шумели вокзалы, пересекли Днепр и через пролом в крепостной стене въехали на Большую Благовещенскую…

— Влево уходит улица на Рачевку, — поясняла Аничка. — Там теперь лесосплав, плоты сплачивают и буксиром тащат до Рославля. А когда-то там протекала река Смядынь, на которой изменник повар зарезал несчастного князя Глеба.

Возле огромного собора толпились прихожане, нищие, беженцы, бродяги. А дальше улица круто взяла вверх, лошадь перешла на шаг и ее шустро обогнал маленький звонкий трамвай.

— В нашем городе был пущен первый электрический трамвай, — не без гордости объявила Аничка. — Зимой обычная конка не могла подниматься по этой крутизне. Лошади падали.

— А почему трамваи вниз скатываются пустыми?

— Дешевле, — улыбнулась Аничка. — Горожан до Днепра и ноги донесут. Левее Большой Благовещенской идет параллельная улица, которая называется Резницкой. Папа говорит, что ее прозвали так потому, что по ней текли реки крови, когда поляки ворвались в город, который оборонял боярин Шеин. А это — женская гимназия, в которой я училась…

Аничка смущалась и поэтому болтала без умолку. А Александр поймал себя на том, что старательно запоминает все улицы и переулки, о которых она рассказывает. Почему? Инстинкт боевого офицера, что эти знания когда-то понадобятся ему?.. А ведь — понадобились…

— …А это — центр Смоленска: видите часы? Это знаменитые часы, от них отмеряют все расстояния, а под ними назначают свидания. Направо уходит Кадетская, улица вечерних прогулок с дамами и тросточками. Но мы сначала поедем прямо. К Молоховским воротам.

Проехали к узким, сводчатым и мрачноватым Молоховским воротам, которые упорно не сдавались наполеоновским войскам, полюбовались на памятник 1812 года, где орлица, охраняя гнездо, цепко держит руку галла с мечом. Проехали вдоль крепостной стены и южных башен до плаца для парадов по праздничным дням под сенью обелиска в честь защитников Смоленска, велели кучеру ждать и прошли в Лопатинский сад.

— Его заложил губернатор Лопатин, почетный гражданин города. А его дети расписались на развалинах второго крепостного вала, позже превращенного в застенок. Хотите посмотреть?

Перешли по красиво изогнутому над протокой меж прудами деревянному мостику и очутились в проломе старинного крепостного вала, заросшего поверху деревьями. Входы в его таинственные подземелья были закрыты тяжелыми коваными решетками.

— Это была страшная подземная тюрьма, — сказала Аничка почему-то приглушенным голосом. — Здесь сидел Кочубей со своим верным Искрой в ожидании казни.

Александр с уважением подергал решетку.

— А теперь посмотрите, что выбито перед нею.

— Ка-бо-грал-ло. Что это значит?

— Это значит «Капитолина, Борис, Григорий, Александр Лопатины». Дети губернатора Лопатина. Остались на века.

— На века останется только Смоленск, — сказал Александр. — Древнейший город собственно России. Насколько мне известно, он упомянут в византийских хрониках еще шестого века. Извечный страж Москвы, как его когда-то называли наши предки.

— И не случайно, — сказала Аничка. — Идемте, господин капитан. Я покажу вам документ, подтверждающий это гордое название.

Они пересекли Лопатинский сад и остановились на внешнем валу, к которому с обеих сторон примыкала крепостная стена. На левой стене красовалась памятная табличка:

СМОЛЕНСКАЯ КРЕПОСТЬ ВЫДЕРЖАЛА ПЯТЬ ОСАД

Александр одернул мундир, вытянулся во фрунт и вскинул руку к фуражке. И застыл, отдавая честь безымянным защитникам Руси. Потом почему-то смутился, спросил:

— Гордитесь своим городом?

— Самый лучший в мире!

— И внуков научите гордиться, — улыбнулся Александр.

— И правнуков, если Бог пошлет.

Александр с непонятным самому почтением поцеловал ее руку.

— Прошу отобедать со мной в ресторации. Пожалуйста, не откажите раненому офицеру.

— С удовольствием. Я проголодалась.

— Случайно не знаете, где можно достать хорошие вина? Я понимаю, сухой закон…

— Случайно знаю. — Аничка улыбнулась. — Недалеко от Днепра, на Энгельгардтовской.

Они вкусно пообедали с отличным рейнским вином, после чего Александр доставил Аничку домой. Прощаясь, она сказала:

— Следующий обед — у нас, господин капитан.

— Благодарю. — Он поцеловал ее руку. — Буду жить этой надеждой, мадемуазель.

3

Через неделю после ознакомления штабс-капитана Вересковского с достопримечательностями губернского города Смоленска владелец Вересковки генерал-майор в отставке Николай Николаевич Вересковский отмечал свое пятидесятилетие. Он терпеть не мог никаких праздников, а уж тем паче искусственных, потому что они отрывали его от любимой работы. Николай

Николаевич был крупнейшим специалистом по истории русской армии и единственным знатоком дворянского корпуса России. Однако профессорского звания не имел, потому что предпочитал не учить избранных, а растолковывать всем читающим героическую историю России в научных трудах и популярных книжках. И ничего не желал, кроме трудов и покоя среди карт и схем, книг и рукописей, но пришла супруга Ольга Константиновна, нарушив привычный покой.

— Извини, друг мой, но я — с просьбой и надеждой.

— У надежды более трепетные крылышки, — улыбнулся генерал. — Так что начнем с нее.

— Изволь, друг мой. Я очень надеюсь, что ты не откажешь мне в личной просьбе.

— Полагаю, она в моих силах?

— Вполне. Устроим бал по поводу твоего юбилея.

— Какого юбилея? — Николай Николаевич слегка опешил.

— Увы, через два года тебе исполнится пятьдесят лет.

— Вот тогда и отметим. Раньше времени неприлично.

— Не будь суеверным букой. Тебе это не идет.

— Ох. — Он недовольно поморщился. — Время неподходящее.

— Неподходящее, — тотчас же согласилась Ольга Константиновна. — Особенно для наших девочек.

— Что ты имеешь в виду?

— Войну, мой друг.

— Войну… — Генерал вздохнул и вдруг оживился. — Знаешь, какая парадоксальная мысль меня неожиданно посетила, Оленька? В войну убивают тела, но не души, которым достается благодарная память потомков. А во времена террора гибнут прежде всего души. Террор убивает души людские!

— Нашим девочкам нужны романтические влюбленности, Коля, — озабоченно сказала Ольга Константиновна, проигнорировав научный восторг супруга. — И мы с тобой откроем этот бал вальсом, как в доброе старое время. Интересно, но все старые времена в России всегда почему-то считаются добрыми.

Балу предшествовал легкий банкет, поскольку генерал выговорил себе право на рюмку-другую доброго коньяку. Он чтил законы, но полагал, что они касаются водки, которую поэтому и не держал в доме. А, как известно, вторым указом

после объявления состояния войны с Германией был указ о сухом законе, который Николай Николаевич и относил к потреблению водки и всяческих настоек, поскольку всегда пил только вино. Или очень хороший коньяк.

На банкете именинник произнес тост.

— Дамы и господа! Я горжусь тем обстоятельством, что на моем празднике присутствует столько молодежи. Ей принадлежит завтрашний день, а мы, увы, уже сделали, что могли. Так каким же он будет для них, этот завтрашний день? Время определяет не столько бой часов, сколько бои нашего Отечества. Мы — вечные пограничники меж Европой и Азией, меж христианством и исламом, меж кочевниками и землепашцами. Потому сила нашей Отчизны не в торговле, не в мореходстве, не в пшеничных закромах и тысячных гуртах скота, а в армии ее. А мощь армии — в ее дворянском офицерском корпусе, в исторически сложившейся военной касте России. Ныне эта мощь исчезает на наших глазах. И не только потому, что дворян-офицеров заменили скороспелые прапорщики из конторщиков, но и потому, что немецкая пропаганда разлагает нашу армию. Немецкие кабинетные идеи легко усваиваются конторщиками, но им не по силам

управлять Россией с учетом ее особой, пограничной роли. Нельзя забывать, что мы — вечные пограничники. Если когда-нибудь забудем, все кончится небывалым в мире террором.

Генералу похлопали с тем особым старанием, которым каждый прикрывает свое полное непонимание. Николай Николаевич это почувствовал, но не расстроился. Он полагал, что исполнил свой долг, предупредив легкомысленную юность, каково будет тяжеломыслие их возможных завтрашних вождей, и как они, эти вожди, станут его компенсировать. Он сказал то, что обязан был сказать, хотя, признаемся, почему-то испытывал некоторое внутреннее неуютство.

Но оно рассеялось, как только Павел восторженно начал читать стихи. Он любил Блока не только как поэта, но и как соседа по имению, у которого бывал в гостях. За Павлом следом сестры-погодки в четыре руки исполнили «Времена года», и тоже не просто потому, что любили Чайковского, — великий Чайковский жил совсем недалеко, в Клину, и это делало сестер Вересковских как бы причастными к его трудам.

А потом начался бал, который открыли Николай Николаевич и Ольга Константиновна вальсом. Пройдя круг со старомодным изяще-

ством, они поклонились присутствующим и заняли кресла зрителей.

— Друг мой, извини, но ты забыл представить наших девочек, — с тихим огорчением сказала Ольга Константиновна.

— Кого?..

— Но мы же затеяли этот бал ради…

— Да, да, я запамятовал. Важнее было предупредить их.

— О чем предупредить?

— О том, что никакого счастья у них не будет.

— Не будет?..

— Не будет. Не надо обманываться.

Супруги помолчали. Потом Ольга Константиновна огорченно вздохнула и тихо сказала:

— А они все равно познакомились. Танечка с юным Майковым, он в университете учится. Наш сосед, внучатый племянник поэта. Очень милый юноша. Наташа — с прапорщиком Владимиром Николаевым, он в отпуске по ранению. А Настенька…

— Ни с кем.

— Молода еще, но прошла два круга с Павликом. Он — добрый мальчик. — Ольга Константиновна помолчала. — Зачем ты пугал их?

— Незнание — почва для ужаса. А ужас пара-

лизует.

— Странно слышать это от военного историка. Как будто наша армия впервые терпит поражения.

— Меня страшит не разгром армии, а кабинетные немецкие идеи о всеобщем благе, легко усвояемые вчерашними конторщиками, не говоря уж о безграмотных солдатах, друг мой. Им с детства рассказывали сказки о Беловодье, и это навсегда осталось в их душах.

— Что-то я не знаю такой сказки.

— Тебе читали другие сказки. Братьев Гримм, Перро, Андерсена. А им — о благодатном крае, где нет помещиков, а земля рожает сама собой. Только бросай семена да опять на печь.

— Все сказки хороши, друг мой.

— Кроме социальных о всеобщем равенстве, потому что существует только равенство безделья, а равенства труда в мире не существует и существовать не может. Так вот, вся марксистская доктрина построена на этой самой русской легенде о Беловодье.

Многое, очень многое знал кабинетный генерал, блестящий специалист по истории русской армии, в особенности ее дворянского офицерского корпуса. Но и в страшном сне не мог предугадать,

каким эхом отзовутся его слова в самом недалеком будущем.

Может быть, его жена что-то предчувствовала благодаря утонченной тысячелетиями женской интуиции? И поэтому сказала:

— И все же не надо стращать детей, друг мой.

4

Но дети жили своей жизнью и не подозревая, что их может устрашить что бы то ни было. Уж так они все устроены, эти дети, что их завораживают сказки, когда они маленькие, а жизнь — как только они начинают ощущать, что она струится именно по их жилам. Тогда девочкам снится любовь, а мальчикам — героические подвиги, чтобы ее заслужить.

Только старшей, Танечке, ничего подобного не снилось, потому что она знала, кем будет. Она окончит медицинский факультет, будет лечить детей и в строгом соответствии с медицинскими показателями подбирать себе мужа. Чтобы ее дети росли здоровыми, умными и счастливыми. Танечка была самой целеустремленной в их семье. Эта черта начала прорастать в ней еще в детстве и весьма почему-то настораживала отца.

— Для нее цель важнее средств.

— Господь с тобой, — пугалась Ольга Константиновна. — Просто девочка пытается найти рациональную дорогу к женскому счастью, с девочками это случается сплошь да рядом. Это — мечты. А влюбится, даст бог, и все встанет на свои места.

— Она не умеет грезить.

— Ну уж этому свойству девочки обучаются со сказочной быстротой. Дай ей бог влюбиться, и все войдет в норму.

Вот тут мамина тысячелетняя память предков, которая почему-то упорно именуется интуицией, знание дочери и основательный житейский опыт вдруг расписались в своей полной беспомощности. Дочь не только не отвергла молодого Майкова, но, наоборот, обратила на него внимание, какого доселе никто не удостаивался. Она охотно и не без удовольствия танцевала с ним, мило улыбалась, мило болтала и — изучала. Неспешно и очень дотошно.

Несколько сутуловат, но дворянской стати не растерял. Ловок и грациозен в танцах. Бесспорно умен и, что хорошо, этого не афиширует. Легко поддерживает светские беседы ни о чем. О политике говорить не любит, что тоже неплохо. Судя по рукам, достаточно силен, а по дыханию

— отменно здоров. Тогда почему же его не взяли в армию?.. Щурится. Следовательно, близорук. Застенчив — значит не уверен то ли в себе, то ли в своей неотразимости. Или — воле, что еще лучше…

Фигуры кружились в вальсе, чинно и грациозно раскланивались в полонезе, сходились и расходились в контрдансе, рисуя узорчатую вязь на сверкающем дубовом паркете. А Танечка, мило улыбаясь, неторопливо и тщательно пополняла досье на господина Сергея Майкова.

Наташа танцевала с наслаждением, всею душой своей. Она любила танцы, веселые разговоры и раннюю, еще не проснувшуюся, еще потягивающуюся природу на утренней заре.

И в этот день, как, впрочем, почти всегда, встала раньше всех. Вышла в сад через веранду, которая не закрывалась даже в морозы, вдохнула полной грудью густой, за ночь накопившийся аромат, пропитанный цветочной росою, и вдруг радостно подумала, что живет в России.

«Какие же мы счастливые! Ну что там, в жарких странах? Сухой период, дождливый период. А у нас зимою — сон природы, ее отдохновение. И в снежные бури Мороз-воевода дозором обходит владенья свои. А весной все начинает просы-

паться, потягиваться, сквозь снег пробиваются подснежники, мать-и-мачеха и за ними начинает все расцветать, как в раю. А воздух, настоянный на цветах, хочется пить и пить, вливать в себя и чувствовать, как бурно расцветают твои собственные силы, как тебя вдруг тянет петь и танцевать.

А какой карнавал устраивает весна, перед тем как уступить дорогу лету и уйти! Уйти навсегда, совсем уйти, потому что через год придет уже другая весна, другая девушка. И она, зная это, изукрашивает цветами деревья и кустарники, разворачивает свежие, липкие, трогательно нежные листочки, добавляет ярких красок даже в хмурые ельники. Нет, ни Париж, ни Рим, ни Венеция, ни даже Бразилия не видывали ничего подобного и не увидят никогда. Это — одновременно и похороны Весны, и торжество вечной жизни, это вакхическое торжество жизни над смертью. И я бы хотела торжественных похорон, непременно оговорю это в завещании и заставлю нотариуса его заверить всеми печатями».

Наташа отдавалась танцам всей душой, не забывая мило улыбаться раненому офицеру. Только вот мысли ее были далеки и от танца, и даже от кавалера. Она азартно придумывала все

новые и новые подробности ритуала собственных похорон.

Господи, чего только не взбредет в девичью голову в безмятежные шестнадцать лет!..

Было, было время, когда все молодые были счастливы, хотя сегодня вы можете мне и не поверить. И вы будете правы, но я останусь при своем мнении. Счастье — производное не только от возраста человека, но и возраста собственной страны. Когда она еще злой, обовшивевший, потерянный и вечно голодный ребенок, она мстит. Месть же одинаково лишает счастья обе стороны. И ту, которой мстят, и ту, которая мстит. И обе стороны не понимают, за что же им такая мука. А Россия вплоть до семнадцатого года еще сохраняла веру в безусловную греховность мести как формы существования.

Во всей большой семье Вересковских самым счастливым был Павлик. Меж поместьем и деревней никогда не было глухого забора, предупреждающей о частном владении просеки или хотя бы устного запрета. Вместо них существовали сложившиеся обычаи, которые не нарушала ни одна из сторон. В поместье можно было прийти только по делу, в деревню — на праздники. На Пасху, Рождество, Святки и тому подобное. И

взрослые, и в особенности дети Вересковских по иному поводу обычно в деревне не появлялись. Никто — кроме Павлика.

В нарушение всех исторически сложившихся традиций Павлик не только ходил в деревню каждый день, но и приглашал к себе своих деревенских приятелей, которыми весьма быстро обзавелся. Отец смотрел на это сквозь пальцы, но Ольге Константиновне такое поведение решительно не нравилось. Она пыталась объяснить сыну, что подобное не просто не принято, но и неприлично. А уж водить в сад ватагу босоногих мальчишек — извините. Это, как говорится, ни в какие ворота не лезет.

— А что, мне с девчонками в индейцев играть?

— Друг мой, вразуми нашего сына, — умаявшись уговаривать Павлика, Ольга Константиновна обратилась к супругу.

— Вразумлю, — кратко ответил Николай Николаевич.

И купил сыну монтекристо, патронташ и целый ящик патронов.

Старший Александр оборудовал тир непосредственно в саду. Там были расставлены мишени, фанерные фигурки зверей, и мальчишки лупили по ним, не нанося урон местной фауне.

И только Павлик упорно стрелял птиц. Всех подряд. Ворон и сорок, синиц и соловьев. Что летало или пело, в то и стрелял. И — радовался, что делает это метко.

Павлик не бросил своих деревенских друзей и тогда, когда поступил в гимназию. Приезжая домой на каникулы, при первой же возможности разыскивал их, в тире начиналась стрельба, а в лесу — охота на пернатых. Но тут пришла война с немцами, во всеуслышание объявленная Второй Отечественной, и в стрельбе появился определенный смысл.

— Я буду готовить из них снайперов.

— Молодец, — сказал Александр, приехавший повидаться с родными перед отправкой на фронт. — Так держать!

За войной последовала революция, но Павлик упорно продолжал готовить своих снайперов и не оставил этого занятия даже после Октябрьского переворота. Теперь, правда, неизвестно, для какой из воюющих армий предназначались эти гипотетические снайперы.

Татьяна в августе поехала в Москву. По пути — в губернском городе у нее была пересадка на московский поезд — зашла в гимназию, поблагодарила учителей, попрощалась с ними и,

нагруженная советами и пожеланиями, отбыла во вторую столицу. Писала аккуратно, но редко и очень уж коротко.

Поздней осенью поползли упорные слухи, что большевики введут всеобщее образование, закрыв гимназии и реальные училища, равно как и коммерческие вместе с кадетскими. Говорили, что преимущества получат дети рабочих и сельских бедняков, которые не будут сдавать никаких экзаменов вообще. И что хорошо бы обзавестись справкой о том, сколько классов гимназии окончил учащийся из среды лишенцев. Павлика тут же снарядили в город, указали, чтобы остановился на квартире, получил справку в гимназии и немедля отправился бы домой. В родное именье Вересковку.

Павел тут же выехал и… И пропал. Для очень многих — навсегда.

Выпал в отрицание.

5

— Всякая революция есть отрицание живого организма нации, сложившегося тысячелетиями. Его судьба прерывается, накопленные традиции, обычаи, привычки да и вся естественно создавшаяся мораль общества разрушается, погружаясь

в муть и тину далекого прошлого, откатываясь в детство свое…

Патологоанатом госпиталей Смоленска Платон Несторович Голубков — крупный мужчина с мощными плечами и устрашающе огромными ручищами — очень любил пофилософствовать. Общаясь с двумя одичавшими помощниками да бесконечным потоком трупов в мертвецкой, он отдыхал в возвышенных разговорах с друзьями и гостями.

— Возникает иная цепочка развития, поскольку в полном согласии с диалектикой всякое отрицание рождает свое отрицание. Отрицание отрицания — не только непреложный закон диалектики, но и закон, предупреждающий общество о зловещем постоянстве бесконечного отрицания.

Александр с большим вниманием слушал известного в Смоленске профессора. Не с приторно вежливым молчанием гостя, а с искренним интересом. Он повидал то, в чем ежедневно копался патологоанатом Голубков, до сей поры не мог отмыться от липкого запаха смерти, ему и теперь виделись горы окровавленных трупов с оторванными конечностями, размозженными черепами и сизыми внутренностями, вывалившимися из

разорванных животов. Еще живые, дышащие, доживающие свою жизнь внутренности. И его не раз убивали, и он не раз убивал, и насильственное отрицание жизни для него было явью, реальностью, а не устрашающими рассказами для гостей…

— Вспомните Великую французскую революцию. Отрицание королевской власти рождает гильотину, гильотина — невиданный всенародный и прилюдный террор. И отрицание шло за отрицанием, породив в конечном итоге Наполеона. И опять — реки крови, горы трупов, артиллерийский огонь по толпам санкюлотов. Не говоря уже о том, что великий корсиканец распространил террор далеко за пределы Франции, включив в него всю Европу. А ведь все началось с революции, переломавшей хребет французскому народу. И принцип отрицания отрицания перестал действовать только тогда, когда Франция вернулась к началу, возвратив власть королевской династии и тем самым отринув саму причину диалектического возмездия.

— Полагаете революцию злом?

— Величайшим! А особенно — для России.

— Слышу голос ура-патриота, профессор.

— А они правы, утверждая, что Россия — страна

особая. Это не Европа, но и не Азия, а некая косоглазая меженица. На Руси кто на Запад смотрит, кто — на Восток, да так пристально смотрит, что и под ноги себе не глянет: не там ли утерянный грош завалялся?

— Но все же радуются падению царизма, папа, — заметила Аничка. — Искренне радуются.

— Радуются, доченька. — Платон Несторович вздохнул. — Радости так мало отпущено было народу нашему, что он собственные похороны готов в праздник превратить. Все восторгаются, все нацепили алые банты и славят свободу, свободу, свободу… Какую, позвольте спросить?.. Ведь русский человек и ведать не ведает, что свобода — разрешительный коридор, выстроенный государством. Вот в стенах этого коридора ты — свободен, а как только черту перешел — свисток полицейского и пожалуйте в участок. Вот что такое свобода. Мы, русские, этого движения по коридору не знаем и не признаем. Мы признаем только волю. Гуляй, душа русская!.. И вот все это наше внутреннее инстинктивное безграничье и отпустили на волю. Полагаю, что подобное случилось бы и тогда, когда Пугачеву удалось бы захватить Москву.

— И каковы же выводы из вашей странной

аналогии? — спросил Александр.

— Выводы последуют. Причем очень скоро. Общее отрицание, отрицание всего и вся уже произошло в душах. И как только солдаты, то есть мужики с ружьями, вернутся домой, придет второе отрицание. Отрицание сущего порядка, помяните мое слово.

— И все же?

— Явление нового Пугачева и есть новый виток отрицания. История — не веревка, ее заново не свяжешь, однажды разрубив. Понадобится новая веревка, которую и начнут вить из народа.

— Нет, — вдруг тихо сказала Аничка. — Не из народа. Совсем не из народа, который принес домой винтовку. Из нас.

Все несколько озадаченно помолчали. Потом Александр сказал с неудовольствием:

— Но государство не может существовать без элиты.

— Может, — буркнул Платон Несторович. — Очень даже комфортно может существовать. Государству нужна безраздельная власть, а отнюдь не уровень культуры, определяемый элитой общества. И оно создаст свою элиту, отвечающую удобному для него уровню культуры. Хотите — средневековому абсолютизму, хотите абсолю-

тизму просвещенному, хотите — пещерному. На свете не существовало и не может существовать государство, целью которого была бы забота о населении, а не об удобствах и процветании самой этой власти. Любая власть самодостаточна, а потому существует только ради самой себя и во имя самой себя. Это аксиома. Любая власть, кроме наследственной, потому что наследственная власть существует ради собственных детей, внуков, правнуков и пра-пра-пра. Я что-то не припомню альтруистов во главе государства.

Помолчали. Потом Аничка робко спросила:

— А как же Александр Федорович?

— Керенский?

— Да. Его же буквально носят на руках. Я сама видела фото в журнале.

— А кто носит, разглядела? Засидевшиеся в девах бывшие гимназистки да истеричные дамы полусвета. Керенский — интеллигентный, милый, добрый человек, которого гнетет свалившаяся на его плечи забота о будущем России. Он при первой же возможности сбросит с плеч эту историческую суму неподъемную. И это будет следующим звеном цепочки отрицания отрицания, только и всего. Революция запустила конвейер беспрерывного отрицания сущего, что

неминуемо приведет к возникновению личности, в которой сконденсируются все отрицания. Это будет сам Отрицатель Отрицания, для которого не может быть и не будет ничего постоянного, ничего святого!

— Папа, сознайся, что ты нас пугаешь.

— Предупреждение об опасности всегда вселяет страх. А это вполне естественно, потому что законы диалектики неотвратимы и, следовательно, беспощадны.

— С законами диалектики бороться бессмысленно, — сказал Александр. — Но у всяких законов есть следствия их проявления. И вот со следствиями бороться не только можно, но и необходимо. Особенно, если зло начинают творить люди во имя собственных корыстных интересов. И мы, фронтовики, будем бороться. Будем!.. Во имя спасения Отечества своего — до плахи, виселицы или расстрела. А чтобы этого не случилось, мы вздыбим всю Россию.

— Так уж и всю, — насмешливо прищурился Платон Несторович. — Россия велика безгранично, потому что она внутри каждого из нас. Покинуть Россию невозможно, потому что каждый покинувший увозит ее с собой, от края и до края.

— Мы создадим офицерские армии, мы призовем казаков, мы объясним народу, что такое отрицание отрицания, — с непривычной горячностью сказал штабс-капитан Вересковский. — Это — гибель всего и вся, семьи и личности, потому что это гибель России…

— Попытаетесь остановить диалектику? Но диалектика — не поезд, на подножку которого умудрилась вскочить матушка Россия. Она неостановима. Отрицание отрицания — непреложный закон бытия. Непреложный!..

И могучий, как трехсотлетний дуб, патологоанатом вдруг тяжело вздохнул и горько покачал седой косматой головой.

6

Настенька подхватила простуду с высокой температурой и заложенными бронхами. Трудно дышала, бредила по ночам, и родные, использовав все домашние средства, послали в город за врачом Трутневым Петром Павловичем. Они познакомились с ним недавно, но доктор был немолод, что вселяло надежду в Ольгу Константиновну, поскольку молодым врачам она решительно не доверяла. Кроме того, в Трутневе было еще одно качество, которое Ольга Константиновна под-

сознательно ставила выше профессиональных. Он сохранял святую верность жене, погибшей в молодости во время родов, и душа генеральши трепетала пред таким постоянством.

На этот раз, однако, доктор приехал не один. Его сопровождал очень серьезный молодой человек лет девятнадцати, еще не раздавшийся в плечах, а потому и выглядевший несуразно длинным. Просто — длинным, и все. И эта особенность затмевала все иные черты. Ольга Константиновна даже не могла вспомнить, какого цвета у него глаза.

— Мой новый фельдшер, — представил Петр Павлович. — Беженец из Трансильвании и редкий знаток лекарственных трав. Имя сложное, зовите просто Игнатием, как Лойолу.

— Очень приятно познакомиться, — сказала генеральша, потрясенная видом фельдшера.

— С вашего позволения мы осмотрим больную.

— Но… — Ольга Константиновна неожиданно смутилась. — Она — девица, а молодой человек…

— Молодой человек представитель нашего сословия. А у нас нет ни девиц, ни юношей, ни прочих измерений, а есть только больные и здоровые. Куда прикажете проследовать?

Проследовали в спальню Настеньки под кон-

воем мамы. Настенька застеснялась, натянула одеяло на голову, но доктор стащил одеяло, сердито сказав:

— Врачи не смотрят, а лечат, девочка.

Молча, очень внимательно осмотрели больную, прослушали и простукали. Затем Трутнев спросил:

— Ваше мнение, коллега?

— Сильный бронхит, осложненный ангиной. Однако бронхит поверхностный, и воспаления легких я не ожидаю.

— Как намереваетесь приступить к лечению?

— Сначала приведу температуру к норме.

— Действуйте. Ольга Константиновна, Игнатий останется здесь, а меня извините. Больных полгорода.

— Но как же так, Петр Павлович? — растерялась Ольга Константиновна. — Какой-то фельдшер… А она — девочка…

— А так, что все аптеки просроченными лекарствами завалены, дорогая госпожа Вересковская. Безвластие, никакого контроля нет и лечить сейчас можно только по старинке. Травками, знаете ли, травками, медом да малиной. А лучше Игнатия травника в городе нет. Его бабка воспитывала, самая известная знахарка тамошняя.

И уехал. А длинный Игнатий остался и продолжал ежедневно лечить Настеньку. Ставил ей банки и припарки, делал растирания, а Ольга Константиновна потеряла покой окончательно. Днем она неусыпно следила за каждым шагом диковатого внука трансильванской знахарки, а по ночам вместо здорового сна прислушивалась, не крадется ли он в спальню любимой дочери.

Но все было тихо, и она почти успокоилась. Настолько почти, что позволила себе подремать перед рассветом, а проснулась вдруг… от звука шагов. Кто-то крался, осторожно крался!..

Накинула пеньюар, сунула ноги в домашние туфли, выскочила. А длинный трансильванец сапоги в передней натягивает.

— Куда это вы?

— Нужные мне травы по росе собирают. А больную пора на питье переводить, мокроты много.

И вышел, аккуратно, без шума притворив за собою двери в сад. Ольга Константиновна почему-то окончательно успокоилась.

Вернулся он через час. В доме уже прислуга готовила завтрак, горничные осторожно начинали прибирать нежилые помещения. Игнатий прошел к себе, позвал экономку:

— Мне нужен фарфоровый чайник и три фар-

форовых миски.

— Это уж как хозяйка скажет, господин хороший.

— Ну так спросите у нее.

— Не вставали еще.

— Придется встать, когда вопрос касается здоровья ее дочери.

— Батюшки!..

Всплеснула полными руками, бросилась к Ольге Константиновне. Пока бегала, фельдшер развернул пакет, полный трав, цветов и кореньев, и стал неторопливо раскладывать содержимое по кучкам.

— Что вы меня, сударь, с утра пугаете? — сердито спросила хозяйка, едва переступив порог.

— Распорядитесь, чтобы кухарка выдала мне то, что я просил. Все должно быть чистым безукоризненно. А вас, Ольга Константиновна, я очень прошу подняться в мою комнату.

— Ваша Настенька стала барышней, Ольга Константиновна, — сказал он, как только они вошли. — Кажется, это несколько преждевременно, но вполне безопасно. И если вы спокойно растолкуете ей, как следует вести себя при этих новых обстоятельствах…

— Как… — Ольга Константиновна захлебнулась

в праведном гневе. — Это… Это бессовестно!..

— Все естественное разумно, — пожал плечами Игнатий. — Для этого ее совсем необязательно обследовать. Вполне достаточно посмотреть на радужную оболочку ее глаз.

Поскольку хозяйка растерянно замолчала, Игнатий позволил себе нечто, отдаленно напоминающее улыбку.

— Моя бабушка никогда не раздевала больных, чтобы поставить диагноз. И, представьте, никогда не ошибалась.

Ольга Константиновна по-прежнему молчала. Игнатий вдруг взял ее за плечи и развернул лицом к окну.

— У вас нездоровая печень. Боли обычно ощущаете ночью, после сытного ужина. Прошу вас ужин отдавать врагу, как то всегда полагали латиняне.

— Да, — растерянно подтвердила она. — А что сейчас следует делать с Настенькой?

— Настеньке следует пить отвары. Я набрал росных трав, к вечеру все приготовлю. Но то, что с нею произошло и происходит, должны растолковать ей вы. Мама.

7

Поздняя осень выдалась в Смоленске на редкость дождливой, черной, неприветливой. Постоянные ветры сдували последние листья каштанов и кленов, ими, мокрыми и скользкими, были усеяны все улицы, даже Большая Благовещенская. То ли дворники уже не успевали ее мести, то ли уже не хотели, поскольку в самом смятенном воздухе города витало нечто скользкое, прилипчиво мокрое и отвратительно вчерашнее. И даже на самой главной улице города Большой Благовещенской трамваи скользили и сползали назад, вниз, к Днепру. И все вокруг, стремясь вперед, неудержимо сползало назад, словно вся Россия бессильно и обреченно скатывалась неизвестно куда. Куда-то вниз, вниз, вниз…

И все митинговали. На Рыночной площади, на Блонье, на плацу, даже на Соборной горе, тесня верующих. Митинговали эсеры, анархисты, большевики, социал-демократы всех оттенков и только социал-обреченные старались нигде не появляться. Смутное время уже рвалось на улицы и площади, и удержать его было невозможно. Страна вдруг разуверилась в своем вчерашнем ку-

мире Александре Федоровиче Керенском и даже в самом процессе ленивого выбора вершителей судеб России. То бишь депутатов в Учредительное собрание.

— Настоятельно рекомендую господам офицерам появляться в городе только группами никак не менее трех человек, — сказал Александр. — Естественно, вооруженными.

Здесь следует напомнить о реальностях, которые осознанно забывались советскими историками и по непонятной инерции забываются и сегодня. Дело в том, что к началу 1917 года Российская империя потеряла два флота: Черноморский и Балтийский. Первый был частично разгромлен Турцией и Австро-Венгрией, а то, что уцелело от разгрома, оказалось надежно запертым в Севастополе и Новороссийске. И все южное побережье от Одессы до причерноморских степей было переполнено списанными на берег и болтающимися без дела морячками с наколками и нестерпимо острой жаждой выпить и закусить, что и привело многих из них во время Гражданской войны в многочисленные бандитские формирования юга Малороссии.

Та же участь постигла и флот Балтийский, в результате разгрома оттесненный и запертый

в Кронштадте и Питере. Единственным боевым кораблем, уцелевшим в этих трафальгарах, был крейсер «Аврора», который бездеятельно стоял на Неве, не решаясь высунуть нос в когда-то открытое, а ныне, увы, прочно запертое море. Тысячи списанных на берег моряков-балтийцев болтались неприкаянными в Кронштадте и Питере. Однако эти сухопутные морячки примкнули к большевикам, соблазненные лозунгом «Грабь награбленное!». Вот они-то и ринулись штурмовать Зимний дворец, хотя штурмовать было абсолютно некого. Бывшая царская резиденция, где ныне заседали члены Временного правительства, почти не охранялась.

От неминуемого разграбления Зимний дворец караулили юнкера, а внутри дворца с этой же целью располагались уцелевшие в единственном бою с немцами отважные дамы из созданного Керенским Женского батальона.

Вот их-то, то есть необстрелянных мальчишек и женщин, и ринулась штурмовать с ревом и матом вечно полупьяная матросня, выписанные из госпиталей солдаты да многочисленные босяки, сбежавшиеся в столицу империи со всей России. Никакие представители рабочего класса в штурме замечены не были, поскольку руководство

профсоюзов запретило своим членам участвовать в разграблении народного достояния. Герои большевистского эпоса — в тельняшках, перекрещенных пулеметными лентами, оказались единственными, кто тогда поддерживал большевиков, почему и захват Лениным единоличной власти представляется одной из неразрешимых загадок и без того загадочной истории России.

Кулисы истории, а в особенности ее костюмерные, хранят неисчислимое количество карнавальных масок, личин, картонных корон и вполне осязаемых скипетров. А работяги за кулисами отлично знают, когда и какой именно занавес опустить или поднять для уважаемой публики, именуемой народом.

— Вот и получили компот с грибами, — вздохнул Николай Николаевич. — Уж эти-то и перед возрождением каторги не остановятся, можете не сомневаться. Грибки-то в компоте смертельно ядовитые.

— Ядовитые? — настороженно спросила Ольга Константиновна.

А другой доморощенный философ, патологоанатом Голубков, отец Анички, вздохнул с густой горечью:

— Вот вам и начало смертельного колеса диа-

лектики. Отрицание отрицания включилось в историю Руси…

8

Александр обладал изрядной долей харизмы, заразительно действующей не только на солдат. Этот природный дар, умноженный на незаурядную энергию и хорошее домашнее воспитание, снискал ему главенствующее положение и среди раненых офицеров. Кроме того, он обладал умением трезво взвешивать обстановку и делать выводы не на основании заученных правил и привычных стереотипов, как то случается сплошь да рядом и с людьми весьма образованными, а из самой создавшейся обстановки. Словно предчувствуя нечто — а он и вправду предчувствовал, — штабс-капитан старался расширить возможности получения сведений из первых рук, почему и завел знакомство с телеграфистом Юрием, брат которого прапорщик Алексей лежал в том же госпитале, а потом долечивался в том же офицерском резерве, что и сам Александр Вересковский. И вскоре перевел это «просто знакомство» во взаимную дружбу, хотя многое тут противоречило его личным дворянским предрассудкам, поскольку Юрий, равно как и его брат,

были сыновьями приходского священника.

Больше всего Александра поразил разговор с патологоанатомом Голубковым, отцом Анички. Александр прекрасно понимал, что диалектика для офицерства — звук пустой, но для него он был все равно что звук трубы Иерихона. Для него это было еще одним предупреждением, что система отрицания взяла в России старт и что ее движение чрезвычайно трудно остановить. Он знал, кого имел в виду Платон Несторович, говоря о новом витке отрицания, поскольку не ленился читать на фронте не только листовки о «штыках в землю», но и «Правду», которую ему приносили его же подчиненные. И больше не верил в разрешенные довыборы депутатов Учредительного собрания, потому что и сами эти довыборы поставили под жесткий контроль большевики-ленинцы.

Он физически ощущал необходимость решительных действий если не завтра, то уж после выборов в «Учредиловку», как тогда говорили, — это точно. Штабс-капитан верил своему внутреннему голосу, а потому и начал готовиться заранее к неминуемой схватке, отлично поняв, что красноречивая русская интеллигенция способна разве что на очередные нескончаемые

беседы под вечерний чаек с малиновым вареньем. Да и то — в сумерках.

Приятельство с телеграфистом Юрием было первым звеном подготовки, как разведка — первое звено боевых действий. А из задушевных разговоров с его братом, прапорщиком Алексеем Богославским, Александр легко выяснил, что остатки оружейных складов, располагавшихся на Покровской горе неподалеку от госпиталей, охраняются списанными в запас георгиевскими кавалерами из унтер-офицеров. Складами, правда, давно уже не пользовались, поскольку центр фронтовых операций сместился к югу, но Александр не без оснований полагал, что использовать все запасы армия не могла. По крайней мере винтовки и патроны должны были там сохраниться. Должны были, и он пошел к караульным кавалерам, из всех своих орденов оставив на груди только солдатского Георгия.

— Вы не хуже меня знаете, господа кавалеры, что немецкие шпионы принудили царя-батюшку отречься от престола, — сказал он, собрав всех, свободных от караулов. — Ныне немецкие наймиты большевики захватили силой дворец Его Императорского Величества Государя Николая Второго, за что их вожак беглый каторжник

Ульянов, называющий себя Лениным, получил миллион марок золотом. Завтра он отработает эти деньги, лишив жизни царя и всю его семью. Неужели мы, истинные русские патриоты, доказавшие своей отвагой преданность Государю и Отечеству своему, позволим кучке отпетых негодяев захватить Россию, убить Государя Императора и подписать позорный мир с Германией, которая немедленно захватит наши лучшие земли?

Кавалеры воинственно взревели, но Александр поднял руку — и все тут же примолкли.

— Я поднимаю всех господ офицеров, чтобы не допустить этого. Но у нас практически нет оружия, почему я от имени нашей России прошу вас открыть нам склады…

Склады были открыты. Правда, там, как и предполагал штабс-капитан, не оказалось ничего, кроме винтовок и патронов к ним. К счастью, нашлось несколько ящиков гранат, чем Александр был бесконечно обрадован. Кавалеры перетащили винтовки и ящики с патронами и гранатами в указанное штабс-капитаном место, кое-кто из них, еще не окончательно покалеченный, примкнул к господам офицерам, а остальные отправились агитировать в воинские команды,

располагавшиеся в Смоленске неподалеку от госпиталей.

Вернувшись, Александр поручил пятерке крепких офицеров перетащить оружие в помещение офицерского резерва, сам тем временем разбил свой отряд на дружины, назначил в них командиров и связных и поставил задачу во что бы то ни стало прорваться в центр города, закрепиться в нем, разгромить или уничтожить рабочие отряды и приступить к мобилизации населения.

Оружие и ящики с патронами и гранатами были доставлены. Пока офицеры привычно вооружались, подгоняя оружие к собственному снаряжению и удобно подвешивая гранаты, штабс-капитан вдруг почувствовал, что ему позарез необходимо кое-кого повидать. Времени было очень мало, но он все же рискнул:

— Мне необходимо кое-что уточнить в топографии города. Капитан Штапов остается за старшего.

И умчался. Прямиком к дому Анички.

— Мы решили захватить Смоленск и тем дать большевикам пример первого сопротивления.

— Чему? — усмехнулся Платон Несторович, открывший дверь как на грех раньше прислуги и Анички. — С диалектикой, запустившей свое

чертово колесо, бороться бессмысленно.

Тут, слава богу, появилась Аничка, и Александр не стал ввязываться в никчемные споры.

— Офицеры выбрали меня командиром, и мы выступаем прямо сейчас. Я зашел попрощаться.

— Стало быть, понадобится сестра милосердия, — невозмутимо отметил Платон Несторович. — Аничка, надень форму сестры милосердия и не забудь о косынке с красным крестом. А я пока соберу тебе сумку со всеми необходимыми медицинскими причиндалами.

И оставил молодых людей наедине.

— Вы не пойдете со мной, — твердо сказал Александр. — Не пойдете, вам там нечего делать.

— Я иду не с вами, господин капитан. Я иду помогать раненым и тем исполняю свой долг милосердия.

— Милосердия? — неожиданно зло улыбнулся Вересковский. — Какое может быть милосердие в междоусобной схватке, где враги ненавидят друг друга и боятся друг друга вот уже тысячу лет?

— Чтобы меньше боялись и меньше ненавидели, я и должна идти. У каждого свой долг, капитан. У каждого.

— Я воюю с ними по понятиям чести, а не долга. Я ничего им не должен, а потому ничего и не

собираюсь отдавать. Ни имущества, ни земли, ни уж тем более власти!

— Вами управляют сословные предрассудки, а мною — любовь и милосердие к несчастным. И потому мы никогда, никогда — слышите? — не поймем друг друга. Никогда!.. Но пойдем вместе…

А пока шла эта сословная перебранка, солдаты запасного батальона сапогами и прикладами добивали последнего из трех георгиевских кавалеров. Двое других уже были растерзаны.

В чем их обвинишь сегодня? Ведь большевики им Беловодье обещали, где землицы сколь душа пожелает, и бар никаких нету. Ни бар, ни урядников. И, главное, пахать не надо, такая там землица. Бросил зерна по весне и хоть до урожая с печи не слезай…

9

— Задача: прорваться в центр города и атаковать все места скопления солдатни и сторонников большевистских Советов. — Штабс-капитан отдавал боевой приказ, а потому и речь его была неукоснительно твердой и непреклонной. — Шинелей не надевать, кто боится подхватить в бою простуду, пусть лучше пребывает в резерве.

Вопросы есть?

Вопросов не было, как, впрочем, и особого энтузиазма. Всем было уже решительно все равно, но воля командира действовала, и никто не посмел отказаться.

Однако прорваться по мостам в южную часть города с первого лихого удара не удалось. С мостовых укреплений неожиданно ударили пулеметы, и Александр приказал лишь демонстрировать атаку, всячески сковывая противника.

— Я возьму две дружины, переправлюсь у лесопилки и ворвусь в город, минуя мосты.

Штабс-капитан принял на себя командование основной группой не только потому, что это стало направлением главного удара, — он хотел увести с собою Аничку от остервенелого пулеметного огня боевых отрядов красных, предупрежденных солдатами запасного полка.

— Со мной пойдет сестра милосердия.

— Я не…

— Не спорьте, мне нужен проводник в городе.

Тут он лгал всем и прежде всего — самому себе. Сестра милосердия уже ознакомила его с городом, хотя и в общих чертах, да и проводник у него был: он включил в свою дружину не только телеграфиста Юрия, но и его брата, прапорщи-

ка Богославского… Да ведь нужен повод, чтобы удалить от опасности Аничку, — это во-первых, а во-вторых…

«Во-первых, во-вторых… Чушь какая-то, считать начал, как конторщик», — с неудовольствием подумал он.

Просто интуиция сработала. Та самая, фронтовая, надежная, которая бросает тебя вдруг наземь, когда пуля уже летит в твою голову. Интуиция — память предков, заложенная в генах, и в это мало во что верящий фронтовой штабс-капитан верил, как в «Отче наш».

С утра пошел дождь. Робкий, осенний, безнадежный какой-то. Стали темнеть смоленские кирпичные тротуары, зажурчали первые ручейки с горок к Днепру, посыпались последние листья.

«Хорошая погода, — подумал Александр. — По такому дождичку и не высунется никто».

На лесопилке никого не оказалось, поскольку красные отряды еще воевать не умели. Офицеры-фронтовики еще не служили в новой армии, не обучили ее, не организовали, не передали ей фронтовой опыт, рожденный не без помощи предков, вековых защитников Руси. Это потом им нехотя начали доверять, потом, когда сооб-

разили, что офицеров не на части рвать надо, а привлекать к службе в Красной армии. А тогда…

А тогда у мостов стрельба началась. Палили все и со всех сторон, но опытное ухо определило точно: у красных было, как минимум, четыре пулемета. И патронов они не жалели, почему на открытых мостах через Днепр идти на них в атаку было верной гибелью.

По счастью, на берегу оказались рыбацкие лодки. Сбили замки, столкнули в воду, расселись.

— Куда лучше?

— К Чертову рву, — сказала Аничка. — Спускайтесь по течению ближе к правому берегу.

— Всем, кроме гребцов, лечь на дно, — распорядился Александр.

Пристали в устье ручья, вытекавшего из глубокого («Чертова», как назвала его Аничка) рва. Быстро выгрузились, вытащили лодки на отмель, разобрали оружие, окружили Александра.

— Вдоль крепостной стены скрытно — к мостам, — распорядился штабс-капитан.

— Обождите, — сказала Аничка. — Мы попадем в крепость через башню Веселуха. Мне кажется, это проще, чем силой пробиваться через центр города к Козьей горе.

— А зачем нам эта гора? Необходимо прежде

всего нащупать их штабы, места скопления.

— На Козьей горе раньше был штаб фронта. Большевики вполне могли его использовать.

— Это весьма серьезное предположение, — сказал штабс-капитан. — Ведите, мадемуазель.

— Сначала — вверх по ручью. Следуйте за мною, господа. Только на всякий случай не разговаривайте.

Дождь размочил крутые глиняные откосы. Ноги скользили, кое-где приходилось ползти на четвереньках.

— В Смоленске ходит легенда, будто свое имя «Веселуха» башня получила потому, что в ней устраивали оргии французские офицеры при захвате города Наполеоном. Но это всего лишь легенда. Башня названа так за свою красоту. Она действительно самая красивая во всем ожерелье крепости. Красный кирпич кладки через равные промежутки отделан поясами из белого камня…

Аничка болтала без умолку из-за некоторого смущения, остановившись перед крутым подъемом. Ей предстояло показывать дорогу офицерам, и она очень беспокоилась, не станут ли при этом мелькать ее панталончики. Но выхода не было, и она, подавив вздох, сказала:

— За мной, господа.

И отважно полезла к башне, по последней крутизне Чертова рва. За нею, оступаясь и оскальзываясь, гуськом последовали офицеры, стараясь не бряцать снаряжением.

— В детстве мы любили здесь кататься на салазках, — чуть задыхаясь, сообщила Аничка.

— Берегите дыхание, — строго сказал Александр. — В башню первым проникну я, за мною — двое офицеров и только потом — вы, мадемуазель. Там осмотримся, и вы расскажете — в общих чертах, разумеется, — о плане Смоленска. В каком направлении нам лучше отходить, если придется выбираться в одиночку.

В башне перекрытий уже не осталось, а пол был замусорен, загажен и завален ржавым железным ломом. Две столь же замусоренные лестницы вели на правое и левое крылья крепостной стены.

— Поднимемся наверх, — сказала Аничка. — Только на стене попрошу всех по возможности скрываться за зубцами. На всякий случай, этот район весьма плотно заселен.

Она поднялась первой, пропустила вперед офицеров, но задержала штабс-капитана.

— Останьтесь, здесь — лучше обзор. Нас просто примут за влюбленных, если кто-нибудь и заинтересуется.

Офицеры скользнули за зубцы, а Александр, оставшись рядом с Аничкой, одной рукой обнял ее за плечи.

— Господин капитан…

— Для вящей убедительности, мадемуазель Аничка. Рассказывайте, что перед нами. И танцуйте от собора. Это — точка привязки, он виден из всех районов города, если не ошибаюсь.

— Танцую от собора, господин капитан. Между крепостной стеной, на которой мы стоим, и собором — местечко, населенное более состоятельными евреями, чем те, которые проживают на Покровской горе. Здесь обосновались ремесленники, мелкие торговцы, мелкие ростовщики, ссужающие деньги под проценты своим же землякам. Козья гора, на которой прежде располагался штаб фронта, левее этого места. Он находился на улице, которая напрямую ведет к центру города, возле часов пересекает Большую Благовещенскую и выходит на Блонье. Вокруг Блонье расположены здания городской управы, особняк губернатора и другие службы города. Полагаю, что сейчас их заняли Советы.

— Стало быть, у нас две цели для внезапных ударов, — сказал Александр. — Первая — бывший штаб фронта, который советские дружины

могли приспособить для своих надобностей. И вторая — всяческие ревкомы, комитеты и тому подобные карикатуры на власть освобожденных трудящихся.

Все промолчали.

— Тогда вниз.

Все так же молча спустились в башню.

— Разделимся, — приказал штабс-капитан. — Пять человек — со мной, остальных мадемуазель скрытно проведет к центру. Там ждать пока не подойду. Если не появлюсь через час, приказываю действовать самостоятельно.

Разошлись. Аничка повела свою группу левее собора, чтобы миновать Большую Благовещенскую и там перебраться через нее в правые улицы. А штабс-капитан, дождавшись, когда они скрылись, приказал разведать подходы к штабу.

Разведчики вернулись быстро.

— К штабу не подобраться, — сказал телеграфист Юрий, которого Александр, как человека гражданского и знающего город, послал поглядеть подходы к штабу. — Само здание хорошо охраняется. Возле него — пулеметная точка. А на всех перекрестках, в переулках и дворах вокруг стоят патрули.

— Обидно, но делать нечего, — вздохнул штабс-

капитан. — Идем на соединение с нашими. Ведите, Юрий. Только другим путем, чтобы не примелькаться. Может быть, чуть выше собора.

— Тут евреи живут, — сказал телеграфист. — Народ робкий.

Еврейский поселок был плотно застроен одноэтажными домишками с палисадниками перед лицевыми окнами и небольшими огородами сзади. Улочки были кривыми, запутанными и немощеными, почему дождь и превратил дорогу в трудно преодолимое месиво. Офицеры, оскользаясь, цеплялись за ограды, которые, как правило, тут же и ломались, поскольку не были рассчитаны на мужскую тяжесть.

— Ведите напрямик, — с неудовольствием сказал штабс-капитан. — Сами же сказали, что народ робкий.

— Два погрома пережили, — вздохнул Юрий. — Это серьезное испытание.

И повел офицеров напрямик.

Шли по жирной огородной земле, пудами налипавшей на сапоги. Ломали плетни и изгороди, топтали грядки, пока не уткнулись в глухой забор из добрых трехаршинных досок.

— Этот не сломаешь. Обходить, что ли?

— Обойдем.

Сочно шлепали по грязи, унылый дождь глушил шаги. Телеграфист шел впереди, но, завернув за угол, отпрянул.

— Часовые у входа в дом.

Александр поднял руку. Офицеры привычно замерли. Штабс-капитан шагнул к Юрию, осторожно выглянул.

Как ни мгновенен был его натренированный взгляд, он успел засечь все. И часовых на крыльце, и красный флаг над входом, и грузовой автомобиль чуть ниже дома. Это был «уайт» с низким железным кузовом и работающим на холостом ходу мотором. Отпрянул за угол, оглянулся, шепнул.

— Швыряю гранату. После взрыва — все в кузов автомобиля. Лечь на пол и не двигаться до моей команды.

Выдернул кольцо гранаты, зажав в кулаке рычажок взрывателя. В сумраке увидел растерянное лицо телеграфиста.

— Пробирайся к Анне, я знаю дорогу в центр. Скажешь ей, чтобы немедленно отводила всю свою группу к башне и далее — на лодке через Днепр, к офицерскому резерву.

— Я…

— Живо!..

В шепоте штабс-капитана было столько ярости, что Юрий поспешно передвинулся подальше, за спины выстроившихся за Александром офицеров.

— Раз… Два…Три!..

Александр швырнул гранату и — дым еще не рассеялся — рванулся из-за угла к автомашине. Не оглядываясь, кто там стонет, кто — кричит, включил передачу и отпустил ручной тормоз. Машина покатилась неспешно, ревя мотором, потому что штабс-капитан притормаживал, по грохоту кузова определяя, сколько человек из его дружины успело впрыгнуть на ходу и лежит сейчас за его спиной.

— Стрелять из-за бортов, не высовываясь! Лучшим стрелкам, по очереди и — только по целям!

Целей хватало, потому что сейчас они катили с Козьей горы по параллельной улице. Здесь оказалось много красных, растерявшихся как от внезапного нападения, так и от неизвестно кем занятой движущейся машины. Офицеры палили из-за бортов, но сам Александр на стрельбу не отвлекался, предчувствуя, что этот путь скоро кончится и ему придется выворачивать на прямой спуск с Козьей горы. Он представлял себе еврейскую старательно изолированную от цен-

тра застройку в утробе крупного русского города, зная, что именно в Смоленске и начались первые погромы.

Отходящий от параллельной улицы переулок вел вниз, к Днепру, откуда и до сей поры слышалась неспешная перестрелка. Притормозил, крикнул:

— Прыгайте! Найдите группу, которую вела сестра милосердия, и прежним путем уходите на тот берег Днепра. Меня не ждать, сам выберусь через…

Он замолчал, поскольку не забыл о заповеди командира никогда не объяснять подчиненным того, что их непосредственно не касается. Заповедь была фронтовой, ясной, многократно проверенной. Как только офицеры покинули кузов «уайта», Александр круто заложил руль и, ломая плетни, вылетел на прямой спуск с Козьей горы.

10

Доктор Трутнев Петр Павлович нагрянул к Вересковским неожиданно. Не потому что не уведомил о приезде, а потому что надобности в нем не было. Настеньку лечил Игнатий, в уездном городишке, где практиковал Петр Павлович,

пациентов хватало, а он — взял да и прикатил. Занятый своими думами генерал не обратил на внезапность появления доктора особого внимания, но Ольга Константиновна мельком поинтересовалась, не случилось ли чего-либо экстраординарного.

— Никоим образом, Ольга Константиновна, что вы! — торопливо забормотал Трутнев. — Никоим образом.

Нервно ответил. Очень нервно.

— Решили проведать нас или своего фельдшера?

— Да, да. Он — лучший травник. У него бабка — знаменитая знахарка в Трансильвании. — Доктор говорил торопливо и маловразумительно, потому что правду почему-то сказать не решался. — Простите великодушно, любезная Ольга Константиновна, не может ли Николай Николаевич принять меня?

— Разумеется, Петр Павлович, он будет весьма рад. Прошу пройти прямо в кабинет.

Трутнев поспешно, а потому несколько неуклюже поклонился и прошел к генералу-историку.

Николай Николаевич и впрямь был рад видеть доктора. Что-то говорил, пожимая руку и усаживая гостя в кресло. Что-то, разумеется,

необязательное, но в ответ слышал еще более необязательное:

— Да, да. Да, да.

— Что-нибудь случилось, Петр Павлович?

— Как бы сказать… — Доктор помялся. — И да и нет. Словом, после переворота я пошел в милицию, и там сказали, что я совершенно свободен и могу ехать куда захочу.

— А при чем тут милиция?

— Я ведь был выслан сюда под надзор, — вздохнул Трутнев. — Я не решался признаться, что моя супруга вовсе не умерла при родах, а была осуждена на десять лет одиночного заключения в Бутырском замке, а я — определен под надзор полиции в этом городишке. Нет, нет, ничего уголовного, дорогой Николай Николаевич, иначе не осмелился бы навещать вас. Нет, нет, хуже. То есть лучше. Приличнее как-то. Она была в какой-то тайной организации, в какой — я не спрашивал. И ее арестовали. А сейчас — выпустили.

— Вам сказали об этом в милиции?

— Нет, что вы. Она сама прислала телеграмму…

Петр Павлович суетливо и долго шарил по карманам и наконец протянул генералу телеграфный бланк:

«ТЕМНИЦЫ РУХНУТ — И СВОБОДА
ВАС ПРИМЕТ РАДОСТНО У ВХОДА,
И БРАТЬЯ МЕЧ ВАМ ОТДАДУТ».

— Без подписи, — сказал генерал.

— Конспирация, — пояснил доктор. — Но это — она. Она всегда, всегда придерживалась конспирации.

— Вы поедете к ней?

— Немедленно. Только…

И вдруг замолчал.

— Что именно, Петр Павлович?

Трутнев вздохнул, помялся.

— Приютите у себя моего Игнатия. Он — беженец, живет без документов. Простите, но… И Настенька не совсем здорова.

— Разумеется, Петр Павлович.

Доктор повздыхал, помялся. Он вообще был не очень уверен в себе, когда дело не касалось его непосредственной специальности. Спросил наконец:

— Как по-вашему, Николай Николаевич, большевики долго еще продержатся?

— Большевики — это размах русского молодца. Отобрать, выпить, закусить. Не дадите, отберут силой, причем с веселым удовольствием. А продержатся до той поры, пока на Руси будет

что отбирать. Это — сила разрушительная, а не созидательная. Вот новую дубину или плеть они сотворить могут, а что-либо разумное, доброе, вечное — извините. Это не по их части, как говорится.

— Но ведь Россия — очень богатая страна.

— Вот когда станет очень бедной, тогда и большевики кончатся, уважаемый Петр Павлович. Не раньше. Закон предельного насыщения, который действовал на татар, на них не распространяется.

— Не распространяется, — уныло вздохнул Трутнев. — Закон и — не распространяется. Удивительно, почему не?.. А?..

— Люмпены и маргиналы пишут законы сами. Точнее — для себя. Потому-то Маркс и выкинул лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». А в Древнем Риме пролетариями называли городских бездельников. Теперь представьте себе на одно жуткое мгновение, что эти городские бездельники захватили власть. Представили? Так вот, они ее уже захватили. Точнее — сцапали. Завтра приступят к написанию удобных для себя законов.

— А справедливость? Существует же какая-то справедливость, за которую шли на плаху и на

каторгу?

— Справедливость на Руси с успехом заменяется целесообразностью. А целесообразность — необходимостью затянуть гайки или урезать норму хлеба до фунта в день. Или — своеобразием текущего момента. Между прочим, Ульянов-Ленин — юрист по образованию. Присяжный поверенный, и уж что-что, а законы составлять умеет. Скоро сами в этом убедитесь, дорогой Петр Павлович. На собственном горьком опыте.

11

На заснеженном и разъезженном подъеме к центральному перекрестку Смоленска, где висели знаменитые городские часы, лошади поднимались с превеликим трудом. Все было в липкой глинистой грязи, все оскользалось, падало или норовило упасть, и пожилые люди на всякий случай обходили этот подъем по другим, мощеным улочкам.

«Уайт» гремел всем своим железом. Его нещадно мотало, потому что гладкая резина, которой были облиты его колеса на манер танковых траков, не цепляла дорогу. Однако мотор тащил вперед, и грузовик, виляя задом, кое-как взбирался по крутому склону.

Позади началась разрозненная стрельба. По ее бессмысленности штабс-капитан понял, что ею никто не руководит, что каждый стреляет как ему сподручнее, без общей задачи. Это давало шанс успеть проскочить гребень подъема, пока случайная пуля не попадет в него. Густые сумерки неосвещенного города были на его стороне, равно как и то, что красные упорно не стреляли залпами.

«Уйду...» — радостно подумал он и тут же отогнал от себя эту утешительную мысль.

Он считал, что мысль притягивает. Не веря ни в какую чертовщину, он тем не менее в это верил, потому что слишком долго находился под огнем.

Руль «уайта» был расположен по центру. Поскольку пассажиров не было ни справа ни слева, Александра свободно мотало по жесткому сиденью, и он держался только за рулевое колесо. И это позволяло ему, болтаясь из стороны в сторону, не упускать из виду дорогу.

Он вылетел на центральный перекресток с диким ревом и грохотом, миновал часы (отсчет расстояний и место встреч, как объясняла когда-то Аничка, показывая ему город) и погнал напрямик по усыпанной каштановыми листьями респектабельной Кадетской.

Здесь никого не было, а стрельба прекратилась сразу же, как только Вересковский миновал подъем. Но скорость он не сбрасывал, понимая, что выигранное время — его единственный боевой резерв.

И на той же ревущей и грохочущей скорости вылетел к Блонье. Этот аккуратный, всегда ухоженный сквер с памятником композитору Глинке окружал продуманный ансамбль зданий, занятых государственными и общественными службами. Александр хорошо запомнил слова Анички, что если городской центр — это часы, то управленческий — район Блонье. Запомнил и резко свернул налево, против движения и часовой стрелки. Но сейчас он собирался перевести все часы города Смоленска назад.

Здесь, как он помнил из объяснений Анички, должна была находиться городская управа. Приближаясь к ней, он сорвал с ремня гранату, зубами вырвал кольцо и метнул ее в подъезд. Промчался мимо, услышал, как грохнул за спиной взрыв. Едва свернув направо, услышал еще один. Оглянулся и увидел напряженное, но весьма решительное лицо прапорщика Алексея Богославского.

— Вы здесь?..

— Да. Еще круг вокруг Блонье, капитан. Пока они не очухались. Перед поворотом у большевиков что-то вроде ревкома. Я метну гранату в момент, когда вы будете поворачивать.

Александр кивнул, слова тратить было некогда. Чуть притормозив перед следующим поворотом направо, услышал взрыв и, как ему показалось, какие-то крики. Опять началась частая, но одиночная стрельба. Из нагана, как на слух определил он.

— Еще раз направо! — крикнул прапорщик. — Второе действие!.. Дайте мне ваши гранаты и не отрывайтесь от руля!..

Капитан отцепил гранаты, протянул за спину, уже не оглядываясь, но подумал, что этот поповский сын на фронте не проповедовал, а очень даже неплохо занимался делом. Распоряжения его были вполне разумными, и Александр ощутил вдруг некое подобие тепла в охолодевшей от войны душе. Появился надежный товарищ, фронтовик, с которым стоило разделить судьбу.

На второй длинной стороне Блонье прапорщик дважды метал гранаты, но штабс-капитан не отвлекался от дороги. Уже началась стрельба, уже все выходы из четырехугольника, по которому они гоняли ревущую машину, были заняты набе-

жавшими солдатами. Пальба была разрозненной, пулеметных очередей пока не слышалось, но штабс-капитан не сомневался, что это — только вопрос времени. Временем же располагал противник, и следовало отрываться от стрельбы как можно скорее.

— Куда сворачивать? — крикнул он прапорщику.

— В Лопатинский сад! Ломайте ворота!

На втором круге Александр резко повернул налево, крылом снес железные узорчатые ворота городского парка и погнал по центральной аллее. Она была достаточно широка, нависавшие деревья немного прикрыли ее от дождя, да и песок впитал воду. Прапорщик Богославский перебрался на переднее сиденье.

— Впереди, кажется, тупик? — спросил Александр.

— Да. В конце бросим машину.

— Ну уж нет! — усмехнулся капитан. — Такого трофея они от меня не дождутся.

— За Королевским бастионом — очень крутой скат. Там невозможно удержать автомобиль.

— Перед скатом — прыгайте.

— А вы?

— А я угроблю грузовик и поднимусь к вам.

Промчавшись через мостик, который рушился за их спинами, они миновали садик с беседкой, вдоль левой крепостной стены поднялись на Королевский бастион. Штабс-капитан чуть притормозил.

— Прыгайте, прапорщик.

Богославский спрыгнул. Александр на второй передаче поднялся на гребень вала, а когда машина перевалила через него, поставил на нейтральную скорость и выключил двигатель. Машина продолжала катиться с крутизны. Убедившись, что она не остановится, штабс-капитан выпрыгнул подальше, перекатился и на четвереньках поднялся на вал. Оглянулся.

«Уайт» продолжал свободно катиться, все больше набирая скорость. Потом вдруг высоко подпрыгнул на каком-то ухабе, перевернулся и рухнул. Раздался мощный взрыв.

— Ну, вот и все, — сказал Александр. — Прощай, старина. Ведите, прапорщик. Полагаю, вдоль стены?

— Вдоль стены нельзя, — сказал Богославский. — Ниже пойдут кварталы рабочих льняного завода, где нас немедленно схватят. Надо пробираться мимо них по крепостной стене, я знаю, где можно на нее подняться.

— Заранее готовили побег?

— Играл здесь мальчишкой. Я же — смолянин.

Пройдя вдоль стены, он указал место, где высыпались кирпичи. Здесь и впрямь можно было подняться наверх.

— Только осторожнее, капитан. Пробуйте кирпич, прежде чем поставите на него ногу. Мы потяжелели с детской поры.

Поднимались они медленно и осторожно. То, что в детстве было просто забавой, сейчас оказалось испытанием терпения и спокойствия. Под Александром дважды рушился кирпич, но, к счастью, удалось удержаться.

Прапорщик взобрался раньше и подал Верещковскому руку.

— За мной до угловой башни. Там спустимся.

— Ползти? — осведомился штабс-капитан.

— Просто пригнитесь.

Благополучно добравшись до угловой башни, спустились по заваленной кирпичами и мусором лестнице. Прапорщик осторожно выглянул, прислушался, потом вышел. Александр ждал, укрывшись в нише. Богославский вернулся, сказал приглушенно:

— На берегу никого. Дождь разогнал.

Тихо пробрались на берег, где стояло множе-

ство вытащенных из воды лодок. Прапорщик быстро отыскал легкую лодочку с веслами. Пояснил зачем-то:

— Рыбачат тут помаленьку. Подкармливаются.

Столкнули суденышко в воду. Штабс-капитан сел на весла.

— Оттолкните, прапорщик.

— Я переправлю, — сказал Богославский. — Переправлю и вернусь. Тут в церкви служит мой дядя. Укроюсь пока у него.

— Может быть, со мною в офицерский резерв?

— У него безопаснее, до сей поры шум в городе не затих. И лодку надо на место вернуть, а то наверняка вычислят, что кто-то переправлялся. Слышите, как ищут нас?

Александр прислушался. В пропитанном дождем воздухе глухо раздавались чьи-то шаги вразнобой, доносились неразборчивые голоса, где-то далеко грохнул винтовочный выстрел.

— Крепость обшаривают, — сказал прапорщик. — Вам, капитан, тоже нельзя появляться в резерве. Постарайтесь пробраться к отцу Анички, он спрячет. Дорогу найдете?

— Найду.

— Я высажу вас поближе к его дому. — Богославский влез в лодку, сел за весла. — Если, не

дай бог, вдруг выйдет луна, на всякий случай пригнитесь.

Переправились благополучно. Когда лодка заскребла днищем по песку, Вересковский спрыгнул в воду. Протянул руку.

— Спасибо, прапорщик. А вообще нам следует пробираться на юг. К казакам.

— По Днепру сплавляют баржи от льнозавода до Рославля. Это — реальная возможность, капитан. Удачи!..

12

Татьяна писала редко и слишком уж сухо. Жива, здорова, сыта, одета. А в следующем письме — вдруг длинное объяснение, почему она решила поступать не на медицинский, а на историко-филологический факультет. Дескать, папин труд всегда был для нее примером, ну и так далее.

— А живет-то как? — озабоченно спрашивала Ольга Константиновна. — И как с этим самым поступлением? Не отменили прием без экзаменов для золотых медалисток?

— Сообщила бы, если бы отменили. — Генерал в то утро был не в духе, потому что никак не мог припомнить, куда он задевал папку с заметками по сражению под Мукденом. — Почта пока еще…

Он не закончил фразы, поскольку почта и вправду была «пока еще», уже работая с перебоями и запозданием доставок.

— Все — «пока еще»… — вздохнула супруга. — Мы живем в обществе «пока еще». Пока еще есть хлеб, но уже за ним — очереди с утра. Пока еще есть какая-то власть, но уже ее как бы и нет. Пока то, пока се… Все стало призрачным, друг мой. Миражом и бутафорией все стало. Будто ушли актеры, не доиграв пьесы, а декорации остались, в зале — публика, а на сцене — пустота и вооруженные рабочие за кулисами.

Ольга Константиновна не была склонна к монологам. Поэтому слегка удивленный генерал сказал «да-с» и ушел разыскивать папку по Русско-японской войне в свой кабинет, до невозможности перегруженный книгами и бумагами. Папки он так и не научился подписывать, полагаясь на свою память, но последнее время она порою почему-то отказывала, и тогда начинались шумные бессистемные поиски.

Николай Николаевич понимал, как нервничает супруга. Александр где-то в Смоленском госпитале, от Павлика ни слуху ни духу, Татьяна озабочена только собой, а почта и впрямь «пока еще». И до какого еще «пока», спрашивается?

Свихнулась Россия, свихнулась, а она — сила темная и непредсказуемая. Она — не в Петрограде, не в Москве, не в старых барских усадьбах — она где-то живет вне. Вне городов, вне рабочих поселков… Солдаты бегут с позиций, а господа офицеры ничего, в сущности, поделать не могут, за хлебом — с утра очереди с записью на ладонях химическим карандашом. А оружия в стране — прорва, и в чьих руках окажется это оружие, тот и закажет танцы. То ли вальс с полонезом, то ли вприсядку под гармошку.

Вздыхал генерал. И папка с Русско-японской войной порою ему уже казалась не очень-то нужной. Что исследовать, когда время исследований либо уже прошло, либо еще не наступило. А что наступило?.. Междометие. Время междометий. Одних междометий вместо существительных с глаголами.

Осторожно постучали в дверь. Так стучит дворецкий.

— Что тебе?

— Господин прапорщик Николаев.

— Отправь его в сад. Там Наталья с природой общается.

— Они вас спрашивают. Для совета.

— Какого совета?

— Мне не сказано. Вашего, наверно.

Вздохнул генерал. Опять какое-то междометие.

— Проси.

И вошел прапорщик Владимир Николаев. Худощавый, даже скорее недокормленный, проступает юношеская худоба. Значит, из студентов, почему-то решил генерал.

Но доложил по всей строевой форме. «Ваше превосходительство…» и так далее.

— Присаживайтесь, прапорщик. Прошу.

Николаев сел. Аккуратно, на краешек кресла. Николай Николаевич с приятностью отметил хорошее воспитание.

— И что же вас привело ко мне, отставному генералу?

— Скорее всего — растерянность, ваше превосходительство. — Прапорщик неуверенно улыбнулся.

— Мое превосходительство зовут Николаем Николаевичем. Тем более что мы знакомы.

— Благодарю вас, Николай Николаевич. — Прапорщик вздохнул. — Ко мне с фронта прибыла делегация в составе унтер-офицера и двух старослужащих из моей роты. Привезли коллективное письмо.

— Личного характера?

— Не совсем, Николай Николаевич. — Прапорщик достал письмо, протянул генералу.

— «Господин прапорщик, — забормотал генерал, читая письмо вслух. — Сим извещаем вас, что общее собрание роты в составе унтерофицеров…» таких-то… «…а также рядовых…» таких-то… «избрало вас председателем ротного комитета, так как все господа офицеры дезертировали и что нам делать мы не знаем пред лицом злобного врага…»

— Дезертировали, а солдаты не знают, что им делать пред лицом злобного врага!.. — сердито проворчал генерал, возвращая письмо Николаеву. — Ну, и что же им делать пред лицом этого злобного?

— Керенский мира не заключал, Николай Николаевич. Так что войну следует продолжать.

— Да, войну следует продолжать, но как ее продолжать при дезертировавших офицерах? Как? Да еще при сплошном междометии? Нонсенс! Вы откуда? Из запаса?

— Да. Недоучившийся студент. Имею некоторый боевой опыт, награды. И буду воевать…

— Не-ет. — Генерал потряс пальцем. — Вы не будете воевать в старом смысле этого слова. Вы будете исполнять волю какого-то там комитета.

Откуда комитеты, откуда? Где командование, штабы, планы, задачи, разработка операций? Я, знаете ли, документы по всей Русско-японской войне утерял. Символично? Весьма. Весьма символично. И все, все решительно утеряли документы. Страна утерянных документов!.. Воюют несчастные юноши, которые не утратили чести. И это все! Все, что осталось от великой державы. Междометие! Междометие, но вас, юноша, это не касается. Вы — смелый человек, позвольте пожать вашу руку.

И торжественно, даже несколько картинно пожал руку растерянному прапорщику.

Пригласили к чаю. Генерал начал было что-то выспренно излагать о необходимости защиты родины в эпоху кошмарных междометий, в систему которых она угодила. Вошла Наташа.

— Могильный венок флоры, — сказала она, водрузив посреди стола ветки с остатками листьев. — Красный цвет — знак ее гибели и торжества фауны. И клыкастая фауна уже готовится к своему торжеству. Здравствуйте, Владимир.

— Прапорщик на фронт уезжает, — вздохнула Ольга Константиновна. — Налить тебе чаю?

— Зачем? — резко спросила Наташа. — Зачем вы едете на фронт? Убивать? Быть убитым?.. Это

— бессмыслица. Бессмыслица!.. Какая-то чудовищная нелепость!..

— Но ведь война, мадемуазель, — смущенно сказал прапорщик. — Наша родина воюет с тевтонами…

— Тевтоны, славяне — какая средневековая чушь. Война несет смерть, а смерть — отрицание жизни. Как красный цвет для флоры. Посмотрите на эти листья — красивое удобрение, не правда ли? Красный цвет — заготовка удобрений, а удобрение щедро поставляет война.

— Война, к сожалению, не прекращена Временным правительством. — Генерал был слегка озадачен напором дочери. — И долг подданных государства Российского…

— Папа, папа, извини, но это все — багаж прошлого, сданный в камеру хранения не до востребования, а за ненадобностью. Нет больше Российской империи, нет, не существует ее! Отказались от нее владыки, политики, генералы, солдаты. И нашему гостю лучше исчезнуть на время, спрятаться хотя бы у нас, а когда хоть что-то изменится или хотя бы станет понятным…

— Но, мадемуазель Натали, я — офицер, а война продолжается, и я обязан…

— Междометие! — вдруг громко объявил ге-

нерал. — Кончились существительные вместе с глаголами. Вякать теперь будем. Вякать да мычать, когда на бойню поведут!..

И все, сидящие за столом, растерянно примолкли.

13

Аничка осторожно отводила свою группу к нарядной башне Веселуха, когда в центре города уже слышались взрывы, суматошная стрельба, беготня, крики. Сейчас все внимание было отвлечено на противоположную от Большой Благовещенской сторону, и Аня надеялась пройти незамеченной.

Ей удалось не только беспрепятственно выйти на берег, но и не терять время в извивах Чертова рва. Она переправила офицеров через Днепр под шум и выстрелы, указала им кратчайшую и безопасную дорогу к госпиталям, а сама открыто пошла к мосту.

Вскоре остановили окриком.

— Стой! Кто такая?

— Милосердная сестра.

— А тут чего?

— Стреляют, — кратко пояснила Аничка.

— Да то ж с госпиталя, — сказал второй. —

Процедуры ставит. Давай, сестричка, давай отсюдова.

Аничка не стала спорить. Она сделала главное: отвлекла солдат запасного полка, выиграла время для офицеров, и ей самой надо было уходить.

Это выигранное время позволило Александру перебраться через Днепр. На заваленном хламом берегу штабс-капитан сразу же спрятался в куче каких-то нетесаных досок. Требовалось оглядеться, сообразить, где оказался, а уж потом прокладывать наиболее безопасный путь или к госпиталям, или к стоявшему на отшибе дому Анички. Там отлежаться, пока не утихнут поиски, и во что бы то ни стало пробраться на юг.

Недвижимо лежа под полусгнившими досками, штабс-капитан Вересковский обдумывал дальнейшие действия. Ясно, что он оказался на Покровке, но как с этого захламленного пустого берега добраться до госпиталей?

Итак, это — восточная часть Покровской горы. Кто здесь живет? Кто?.. Аничка что-то говорила, но — что? Что?.. Поляки? Нет, польские улицы — южнее собора. Литовцы? Тоже нет, они в южном углу. Татары?.. Может быть, они оседали под крепостью. Татары не вмешаются, будут держаться нейтрально. Они не станут участвовать в чисто

российских играх, их не касается ни отрицание прошлого, ни возникновение порочного круга неумолимой диалектики.

Не станут?.. Слишком категоричное заключение. Скажем так: они не должны влезать в наши дела. Стало быть, готовность номер один, штабс-капитан Вересковский.

Осторожно выбравшись из-под досок, Александр долго прислушивался, хотя унылый октябрьский дождь глотал все звуки. Не уловив ни шагов, ни учащенного дыхания, ни тем паче топота сапог, он бесшумно двинулся от берега, не забывая после каждого шага носком сапога притаптывать собственный след.

Он миновал прибрежный песок, вышел на заросший травой участок. Дождь не прекращался, и штабс-капитан испытал некое облегчение. Капли окончательно размоют следы, противник потеряет его направление. Пытаясь сквозь дождевую сетку разглядеть, куда следует уносить ноги от опасного берега, ничего толком не увидел, шагнул…

— Стой! Стрелять буду!..

Александр, падая, выстрелил на оклик, дважды перекатился по мокрой траве и замер.

— Куда пальнул? — спросил другой, басовитый

голос.

— Да вроде стоял кто-то.

— Показалось.

— А выстрел?

— Сколько их? А нас двое. Им с земли мы — как на ладошке. Тут связываться — себе дороже.

Вересковский разглядел две фигуры в сплошной мути ночного дождя. И почему-то подумал, что устав пока действует. Вот когда без оклика стрелять начнут, тогда…

Он недодумал, что тогда будет, потому что фигуры окончательно растворились в моросящей мгле. Пора было уходить самому и уходить кружным путем, отрываясь от реки подальше.

Ноги сами несли его к татарской слободе. Он убедил себя, что татары не полезут в русский бунт, не задержат, не станут стрелять из-за угла, а потому есть крохотная надежда, что он где-либо отлежится. Отлежится, переднюет, сориентируется, а там решит, как пробираться на юг. В крайнем случае, вернется в офицерский резерв, а там видно будет. Может быть, придется на время спрятаться у Голубковых.

Одного не учел опытный окопный офицер. И ведь отметил это, но — не продумал до конца. Устав еще действовал, а потому те двое патруль-

ных солдат при первой возможности доложили по команде. Встретили, мол, группу, оказавшую вооруженное сопротивление.

И потому на подходе к замершей татарской слободке, где даже собак в домах попрятали, чтоб не лаяли зазря, капитан был вновь предупрежден уставным окликом:

— Стой! Стрелять будем!..

Предупреждающий глагол обещал многое. Это капитан сообразил мигом и тут же нырнул в сенную одурь какого-то сарая. Сено, перевязанное шпагатом в тяжелые тюки, лежало по обе стороны прохода. Прятаться здесь было неразумно, утрамбованную упаковку сена одному с места не сдвинуть, и штабс-капитан тут же перебрался к стене, ногой вышиб доску, увидел перед собою другой сарай, перепрыгнул через проход, выломал доску дулом нагана и скрылся во втором сарае, который оказался обычным сеновалом с узким, усыпанным сенной трухой проходом в центре. За ним шел третий такой же, четвертый — целая цепь сеновалов, которые, правда, неизвестно, куда именно вели. Сзади орали, стреляли, бегали, топали, и Александр решил, что придется поглубже зарыться в сено.

К счастью, не успел. Дымком потянуло, и он

понял, что солдаты просто подожгли сеновалы, чтобы выкурить оттуда неизвестных с оружием. Тяга была, как в фабричной трубе, огонь уже шумел за спиною, и капитан прыгнул в дождливую темень, поскользнулся, упал и на четвереньках полез в гору к смутно темнеющим строениям.

Штабс-капитан уже не думал о солдатах, потому что пламя мгновенно занявшихся сеновалов оказалось между ним и его преследователями. Они не могли его видеть, и, достигнув строений, Вересковский остановился и внимательно огляделся.

Он оказался в районе, застроенном казенного вида кирпичными трехэтажными зданиями. Строгая планировка, мощенные кирпичом улицы были почему-то знакомы, и Александр понял, что вышел к госпиталям с другой, мало ему известной стороны. Где-то неподалеку должен быть корпус офицерского резерва, клиника, куда он ходил на перевязки к Аничке, и — ее дом. С отцом-философом с огромными ручищами и вкусным обедом. Идти следовало не в офицерский резерв, где наверняка уже была выставлена охрана, а — к Аничке. Но идти очень осторожно, чтобы не притащить за собою преследователей.

Тенью скользя вдоль стен корпусов и приги-

баясь, пересекая улицы, Вересковский добрался до стоящего на окраине возле морга дома патологоанатома Платона Несторовича Голубкова. Постоял, прислушиваясь, и три раза стукнул пальцем в стекло тускло освещенного окна. Кто-то чуть откинул занавеску, но окно не открылось, и капитан снова постучал — три раза.

Окно распахнулось, из него высунулся патологоанатом:

— Кому я понадобился?

— Капитан Вересковский. Мне вы пока еще не понадобились, но, если пустите в дом, буду премного обязан.

На секунду мелькнув перед окном, чтобы доктор мог его увидеть, штабс-капитан скользнул к двери. Звякнула щеколда, и дверь приоткрылась.

— Быстро, — шепнула Аничка, пропуская его в дом. — Вы устроили такой тарарам, как бы не нагрянули с обыском.

— Можете спрятать?

— Могу, — сказал Платон Несторович, появляясь в дверях комнаты. — Мертвяков не боитесь?

— Насмотрелся.

— Тогда прошу. — Доктор посторонился, пропуская Александра. — Аничка, будут стучать,

заговори их, пока не вернусь.

Он молча провел Вересковского в свой кабинет, откуда шел коридорчик в прозекторскую. Здесь остановился.

— Раздевайтесь до белья.

— А оружие?

— Я спрячу.

Штабс-капитан торопливо разделся, оставшись в одном белье. Платон Несторович сам сдернул с его ног носки и протянул марлевую повязку. Дышать только через марлю и, по возможности, неглубоко. — Он открыл баночку. — Натрите ноги.

— Холодит.

— А вы — покойник, — невозмутимо пояснил патологоанатом. — Если кто и коснется, сомнений не возникнет. Прошу в мертвецкую.

Открыл дверь в подвал, где горела тусклая электрическая лампочка. Первым спустился, и следовавший за ним в кальсонах и нижней рубахе капитан невольно остановился на последней ступеньке.

В углу лежала груда трупов. Кто в нижнем белье, кто — в чем мать родила.

— Единственный способ, — несколько виновато пояснил Голубков. — Придется полежать под

ними, пока гости не уйдут.

Он отбросил в угол несколько трупов, подвинул еще два. Образовалась впадина, на которую Платон Несторович и указал своей огромной ладонью:

— Прошу, капитан. Повторяю, дышать только через марлю.

Александр послушно улегся на живот, всем телом ощутив мертвый, безжизненный холод окоченевших тел. Положил лоб на согнутый локоть, чтобы дышать по возможности собственной живой теплотой. Спиной, когда Голубков завалил его сверху, чувствовал не столько тяжесть, сколько жутковатый потусторонний холод. Услышал голос:

— Не шевелиться. Никоим образом не шевелиться.

Скрипнула дверь, свет погас.

Вересковский лежал не шевелясь и дыша через нос, как было велено, но смутное чувство внутренней тревоги не оставляло его. Нет, он не боялся, что его предадут или найдут: иной была эта тревога. Тревога из сказок, легенд, баллад, слухов и каких-то детских, смутных представлений о потусторонности, в которой нет ничего живого, кроме упырей. Он понимал, что это — оттуда, из

царства страхов без причин и последствий, но ничего с собою не мог поделать. И мечтал только о том, чтобы все побыстрее закончилось.

Скрипнула дверь, вспыхнул свет, послышались шаги.

— Вот мои постояльцы. — Он узнал голос патологоанатома. — Предупреждаю, все — от сыпняка. Не подцепите ненароком.

— А чего ж тут бережешь? — Голос был чужим, грубым, махоркой прокуренным.

— Для того чтобы сжечь их, требуется заключение врачей с тремя подписями и разрешение от управы.

— Мы теперь управа.

— Ну, так дайте разрешение и бочку керосина.

— Зачем тебе керосин? Пришлем интеллигентов, зароют.

— Померших от сыпного тифа сжигать положено. Инфекция в землю уйдет, а там и в Днепр.

— Ладно. Чтоб завтрева заявка была.

Вышли. А Вересковский и не слышал, что вышли. Обморок, что ли. Очнулся, когда Платон Несторович мертвые тела с него сбросил и чего-то понюхать дал. Из склянки.

14

На окраинах собственно России, то есть той территории, которая долгое время именовалась Московской Русью, сохранилось немало губернских центров, весьма важных для времен мирной торговли и мирного управления. Их невозможно представить себе без особой стати редких городовых, обязательного памятника какому-либо императору, торговых рядов, степенных лавочников, воображающих себя купцами, и хитроглазых купцов, на всякий случай выглядящих лавочниками при заключении миллионных сделок на лен или коноплю. Здесь летом непременно гуляют по вечерам с тросточками и зонтиками вдоль реки, а в осеннее ненастье собираются в Благородном собрании или Купеческом товариществе, где пьют исключительно французские вина из Таганрога и некое неизвестное шампанское с пеной, способной погасить небольшой пожар. Это — царство благодушия и несокрушимой веры в завтрашний день, который зреет в двух гимназиях, реальном училище и общественном приюте для особо одаренных девиц, утративших отцов-кормильцев. Жизнь в таком городе не течет, как река-кормилица, а струится из мраморных губок

Амура, которого подарил городу предпоследний губернатор. Вот почему при наступлении времен смутных и непредсказуемых жители такой тихой заводи оказываются никому абсолютно ненужными и лишь путаются у всех под ногами.

Подобным губернским городом, как вскоре выяснилось, и стал тот, в гимназии которого набирался ума и знаний общий любимец семьи Вересковских Павлик. Здесь у них была городская квартира, где он и остановился, плотно перекусил, опоздал в гимназическую канцелярию и отправился разглядывать город, ощущая себя почти взрослым, самостоятельным и независимым.

А в городе происходила очередная смена власти. И началась она с проверок шатающегося без дела населения, не столько ради введения жандармского порядка, сколько ради пополнения вдруг отощавшего местного бюджета посредством наложения штрафов.

У легкомысленного гимназиста ни денег, ни каких-либо документов при себе не оказалось, и его загребли в участок. Павлик объявил эти действия произволом и наотрез отказался назвать лицо, которое могло бы за него поручиться. Поступал он так из юношеского убеждения, что свобода

не столько общественное достояние, сколько личное, и это убеждение, как выяснилось, определило всю его дальнейшую жизнь и судьбу.

В участке на него никакого внимания не обращали — хочет сидеть, пусть сидит — и занимались собственными делами. А тут власть в городе опять переменилась, и захватившие ее борцы за свободу первым делом начали улучшать жилищные условия неимущих граждан. И городская квартира Вересковских была тут же объявлена коммуной, прислугу попросили немедленно ее покинуть, а так как мандатом служил товарищ маузер, то все очень быстро ее и покинули.

Павлик об этом не знал, продолжал упорствовать, поскольку в участке его кормили и поили, а борцы за удобства неимущих приступили ко второму пункту своей немудреной программы, объявив лютую борьбу интеллигенции, как классу, от которого нет решительно никакой пользы. Полицейские участки стали переполняться, кое-как допрошенную интеллигенцию тут же спихивали в тюрьму, а так как Павлик подходил под эту категорию, то в конце концов туда же спихнули и его. Он перепугался, поспешно назвал адрес того, кто мог бы подтвердить его личность, но по указанному адресу проживали

уже какие-то коммунары. Тут как на грех власть снова переменилась и стали сажать в тюрьмы вчерашних социально близких, которых во всем просвещенном мире называли просто уголовниками. Интеллигенцию начали отпускать после легкой проверки, но Павлика это не коснулось, поскольку его уже успели зарегистрировать в участке как беспаспортного бродягу.

Вначале было сносно. Дружно хлебали баланду, возмущались несправедливостью, горевали, гадали, спорили. Блатные играли в карты и никого не трогали, потому что деньги пока путешествовали по кругу. Но потом стали все чаще задерживаться в одних руках, матерщина крепчала, а в итоге проигравшиеся блатняки начали все чаще нехорошо оглядываться на прочую публику. Наконец не выдержав, один из них вскочил, неожиданно схватил Павлика за шинель и заорал:

— Ставлю на кон!

Ставка была принята, с юноши сорвали шинель, которая через два круга уплыла в собственность снявшего банк. Павлик кричал, остальные возмущались не столь громко, но игра тем не менее продолжалась с прежним азартом.

Павлик пытался сопротивляться, получал по шее, а сорванные с него вещи неумолимо ока-

зывались чьей-то собственностью. Оставшись в одной нательной рубашке, босиком, но пока еще — в штанах, он ринулся к двери и забил в нее кулаками.

— Откройте!.. Откройте!..

Повезло, в коридоре охранник оказался. Открыл.

— Чего тебе?

— Раздевают!..

— Отыграйся, — ухмыльнулся охранник, намереваясь закрыть дверь.

— Погодите, погодите… — зачастил Павлик. — Я в армию добровольно записываюсь.

— В какую армию?

— В эту… В вашу.

— Эй, Семен! — закричал охранник кому-то в коридоре. — Какая армия сейчас у нас в городе?

— Да бог его знает. Вроде бронепоезд левых эсеров пришел. На втором пути стоит. А что?

— Да тут доброволец у меня сыскался.

— Выводи. Добровольцев велено отпускать. Народу у них не хватает, что ли. Отведи пока к дежурному, он на станцию позвонит.

— Ну, пойдем… доброволец, — сказал стражник. — Пока штаны ворью не проиграл.

И повел Павлика к дежурному по гулкому пу-

стому коридору.

Через два часа гимназист Павел Вересковский стоял на перроне второго пути перед штабным вагоном бронепоезда «Смерть империализму!» в сопровождении матроса, одетого в кожаную куртку, с деревянной коробкой маузера, спускавшейся ниже колена. Морячок был свойским, болтал всю дорогу, поносил международный империализм и поднимал до небес левых эсеров.

— За нас они, понимаешь? За потных людей.

Павлик не очень понимал, почему нужно заступаться за людей, не успевших вовремя вымыться, но не спорил.

Распахнулась дверь вагона, в проеме появилась фигура столь же экзотического морячка, что и сопровождающий, только с пулеметной лентой через плечо.

— Чего надо?

— Да вот. Доброволец до нас.

— Доброволец? — Матрос с пулеметной лентой иронически поглядел на Павлика. — Погоди тут. Доложу.

И исчез.

— У товарища Анны — глаза… — вдруг шепнул сопровождающий. — Вообще-то серые, но коли поголубеют, значит, под счастливой звездой тебя

родили. А коли почернеют — все.

— Что — все?

— На распыл. Тут же.

В проеме тамбура появился морячок с пулеметной лентой.

— Проходи, доброволец.

Павлик с трудом взобрался на высокую подножку, ощутив вдруг незнакомую дрожь в коленях. Матрос подтолкнул его в спину, и он пошел по узкому коридору штабного вагона.

— Стой!

Остановился. Матрос дважды ударил кулаком в бронированную дверь, и ее тотчас же открыли. Это было двухместное купе, в углу которого у бронированной щели окна сидела худощавая женщина лет сорока в казачьих штанах с лампасами и кожаной куртке, наброшенной на плечи. А у выхода стоял щуплый очкарик в студенческой тужурке.

Сопровождавший матрос закрыл дверь, и наступила тягостная для Павлика пауза. Он не отрывал настороженного взгляда от глаз женщины, хотя толком и не разглядел их, потому что сидела она в темном углу. Видел только два провала, а ему нужен был цвет ее глаз.

— Значит, доброволец? — резко спросила она.

— Хочу сражаться за…

— Мы не сражаемся «за». Мы сражаемся «против».

— И я тоже.

— Против чего?

Павлик этого не знал. Он просто не хотел, чтобы его раздевали воры-картежники.

— Разрешите, товарищ Анна, я с ним поговорю, — сказал молодой человек в студенческой тужурке. — Запуган парнишка.

Женщина в углу у оконной щели бронепоезда промолчала. Очкарик открыл дверь.

— Прошу.

Павлик затравленно посмотрел на товарища Анну, потоптался, вздохнул и вышел из купе. Студент вышел следом, молча провел по узкому, ощетиненному амбразурами коридору, открыл одну из дверей и еще раз сказал:

— Прошу.

Павлик вошел в насквозь прокуренный матросский кубрик, где трое морячков играли в карты.

— Выйдите все, — сказал сопровождающий. — Мы ненадолго, потом доиграете.

Все вышли. Студент молча указал Павлу где сесть, после чего плотно прикрыл дверь и устроился напротив.

— Знаешь ли ты, кто такая товарищ Анна? — строго спросил он. — Товарищ Анна — святой человек, отдавший себя на заклание во имя идеи. Она собственной рукой казнила наиболее жестоких представителей царской бюрократической машины, в том числе и одного губернатора. Ее присудили к смертной казни, она встретила приговор спокойно и гордо. Смертная казнь была заменена вечной каторгой, и товарищ Анна написала письменный отказ. Отказ не приняли, вечную каторгу она отбывала в одиночке Бутырского тюремного замка, откуда ее вызволила лишь Февральская революция.

Все это очкастый студент рассказывал с невероятной гордостью, будто не товарищ Анна, а он лично выслушивал приговор и собственноручно писал письменный отказ. Горящие неистовой верой глаза его сверкали сквозь стекла очков, и на Павлика смотрел уже вроде бы и не человек, а некий светящийся восторг сам по себе.

— И добровольно вступая в наши ряды, ты должен принять ту же клятву, которую я дал себе.

При этих словах студентик со светящимися линзами очков вытащил из кармана складной нож и открыл лезвие.

— Какую клятву? — запоздало насторожился

Павел.

— Кровавую.

— Да что ты?..

— Откажешься — матросов позову. Мы все ее дали, весь наш бронепоезд «Смерть империализму!». Позвать?

— Не надо, не надо. Даю.

— Обнажи грудь. — Он подождал, пока Павлик лихорадочно расстегивал рубаху. — А теперь протяни палец. Да не тот, безымянный.

Растерянный Павлик протянул безымянный палец левой руки. Очкарик чиркнул ножом, пошла кровь.

— Пиши кровью на груди четыре святых буквы «АННА». Если крови не хватит, еще надрежу. Поглубже.

— Господи… — вздохнул Павлик.

И написал. Только на самый хвостик последнего «А» крови не хватило.

— Допишешь, когда ранят, — утешил очкастый фанатик.

15

Редко и очень сухо писавшая письма Татьяна вообще перестала их писать. Ольга Константиновна, испугавшись, не очень, правда, понятно,

чего именно, попробовала было жалобно поплакать, но Николай Николаевич пресек это занятие на корню:

— Стыдитесь, сударыня! Вы — дворянка.

Сам он никогда прилюдно не страдал и не позволял себе ничего громкого, кроме криков по поводу очередной затерянной папки. Но молчание московской студентки обеспокоило не только домашних, следствием чего явился визит тихого внучатого племянника поэта Майкова.

— Вам Танечка пишет? — робко спросил он.

— Кавардак! — ответствовал генерал. — Когда происходит ломка сущего, все впадают в эйфорию, которая является всего-навсего формой сумасшествия. И все перестают работать. Чиновники — на почте, полиция — на улицах, дворники — во дворах, рабочие — на заводах, а прочие — на местах. Все идет кувырком, а Россия радуется, потому что работать она не любит. Она любит пить самогон и орать лозунги, потому и плохо живется…

Он выпалил монолог на одном дыхании и вынужден был замолчать ради нового вдоха. Это и дало возможность Майкову задать давно мучивший его вопрос:

— Но хоть какие-то известия о ней есть?

— Увы… — Ольга Константиновна прижала платочек к левому глазу, потому что именно из него вдруг выползла слезинка. — Николай Николаевич слушать меня не хочет…

— Дорогая, Николай Николаевич сказал, почему именно не хочет. И просит помнить его слова.

Генерал всеми силами скрывал собственное беспокойство по поводу молчания дочери в столь неопределенные, а потому и тревожные времена. Он был историком, верил в законы повторения событий в иной, непривычной внешне, трагической внутренне сущности. Боялся русской смуты, которая всегда перерастала в русский бунт, бессмысленный и беспощадный как по форме, так и по содержанию.

Он знал и ужасался, а Таня не знала, но предчувствовала. Предчувствовала неминуемый приход чего-то озверелого, что беспощадно перечеркнет прошлую жизнь. Все ее мечты, все надежды, все планы… Да что там планы с мечтаниями! Потрясет сами основы. Она предчувствовала неизбежность великого русского сотрясения. И для себя называла его русотрясением, потому что сотрясаться будет не земля русская, а сам русский народ.

Предчувствие родилось не на пустом месте. Московский университет издавна славился свободомыслием, на которое власти смотрели сквозь пальцы, из жизненного опыта зная, что эта говорильня исчезнет сама собой, как только вчерашний студент получит по окончании приличное место службы. Однако после Февральской революции споры перекинулись в аудитории и конференц-залы, втягивая в бесконечные диспуты и профессуру. Гремели речи об историческом пути Отчизны, в котором никто не сомневался, лишь предлагая некий свой. Но после Октябрьского переворота единая в принципах аудитория начала заметно раскалываться.

И вот тут-то Таня, всегда упрямо споривша о путях развития России, внезапно примолкла. Она приметила то, что раскол среди яростно спорящих проходит не по убеждениям, а по классовой принадлежности, и представители дворянской интеллигенции при этом оказываются в меньшинстве.

Лидером и лучшим оратором противников был некий Леонтий Сукожников, который во время выступлений непременно поглядывал на Таню. Татьяна прекрасно понимала, что говорит он только для того, чтобы она слышала. И чисто

по-девичьи давно вычислила, что она ему нравится. Но стать госпожой Сукожниковой… Брр!.. Помилуйте. А потому она с ним не только никогда не спорила, но даже старательно смотрела в другую сторону. Впрочем, еще и потому, что Леонтий Сукожников был одарен простоватой деревенской красотой.

Но — странное дело! — после взятия власти большевиками Танечка изменила направление своих девичьих взглядов, от которых, как выяснилось, было рукой подать до убеждений большевистских. И перестала писать родителям, а уж тем паче — внучатому племяннику некогда известного поэта Сергею Майкову.

Легко одолев немудреную марксистскую теорию классовой борьбы, Татьяна убедилась, что та рассчитана на рабочий класс Европы, но никак не на Россию. Но Таня быстро усвоила марксистскую фразеологию и, выступая на многочисленных митингах, она с искренним энтузиазмом агитировала за то, во что не верила сама, и звала туда, куда идти было бессмысленно, как бессмысленно пытаться достичь линии горизонта. Когда это сравнение как-то пришло ей в голову, она поняла, что ленинизм и есть обещание всеобщего счастья за видимой линией горизонта. И с еще большим

пылом стала убеждать слушающих стремиться с винтовкой наперевес к этому счастью за горизонтом.

Бунт в России был непреодолим потому, что обещал счастье для всех разом. И следовало пристроиться в очередь за обещанным счастьем. Причем желательно — в первой десятке.

И Татьяна, не колеблясь, первой в университете зарегистрировала официальный гражданский брак. С рослым деревенским красавцем Леонтием Сукожниковым, секретарем университетских большевиков. Взяла фамилию мужа и тут же вступила в Российскую социал-демократическую рабочую партию большевиков, ячейка которой давно существовала в университете.

А вот самого университета уже как бы не существовало. Было множество залов и аудиторий, в которых шли нескончаемые митинги. Зато был муж, секретарь могущественной организации, и с его помощью Татьяна получила диплом, формально сдав экзамены экстерном.

В избранном Татьяной пути не было места для ее дворянской семьи, все мужчины которой были офицерами чуть ли не с Петровских времен. И она изъяла все свои документы из университетской канцелярии. А во всех многочисленных анкетах

подчеркивала свое пролетарское происхождение, утверждая, что ее отец погиб на баррикадах Пресни еще в 1905 году. Это семейное несчастье подтверждала твердая печать районного комитета большевиков, во главе которого утвердили верного ленинца Леонтия Сукожникова.

Татьяна строила свою жизнь в строгом соответствии с предложенными российской историей обстоятельствами. Неуклонно, последовательно и твердо. И не позволяла себе вспоминать о семье и даже думать о чем-либо постороннем, научившись усилием воли изгонять из сознания сны о прошлом. О семье, о детстве, о девичьих мечтах, в которых смутно мелькал Сергей Майков. Но изгнать все из подсознания ей было не по силам, и порою, на смутном переломе сна и действительности, ей виделась семья за столом, кипящий самовар, пенки от только что сваренного клубничного варенья, которые мама делила по блюдечкам, чтобы досталось всем понемножку. И отец шевелил губами, что-то рассказывая, а ей чудилось: «Никто из нас не осуждает тебя, доченька. С волками жить — по-волчьи выть…» Она мгновенно просыпалась, и щеки ее почему-то долго пылали нестерпимым пыточным огнем.

Но потом и это прошло. Потом, позже, в Частях

особого назначения. Тогда они назывались сокращенно — ЧОН. Все было тогда сокращено вплоть до жизни человеческой.

А началось с того, что к мужу Леонтию Сукожникову внезапно, в разгар рабочего дня прибыл нарочный с пакетом. Секретарь райкома взломал печати, расписался на конверте, отдал его нарочному, а бумагу, дважды внимательно прочитав, старательно сжег.

Татьяна молча смотрела на него. Он поймал ее напряженный взгляд, сказал озабоченно:

— В Центр вызывают. Срочно.

И тут же умчался. Тане стало почему-то тревожно — основное чувство тогдашнего времени, и она усиленно занималась текущими делами, чтобы изгнать эту безадресную тревогу. А муж вернулся счастливым.

— Назначен командиром чоновского отряда. Будем в тылу контрреволюционную нечисть уничтожать без всякой пощады и интеллигентской мягкотелости, как товарищ Ленин говорит.

— Я с тобой.

— Уверен был, что и объяснил товарищам. Собирайся. Тебе надо лично мандат получить.

— Какой мандат?

— Какой положено. С печатями, поручитель-

ствами и подписями. Ты комиссаром в мой отряд назначаешься, а так как ты университет закончила, то заодно и следователем с правом применения высшей меры социальной защиты.

— Так ведь я же числюсь историком, а не юристом, — растерялась Татьяна. — Я таким обилием прав, боюсь, распорядиться не сумею. Или распоряжусь не так. Я даже законов не знаю. Никаких. Ни уголовных, ни процессуальных…

— Нет законов против идейных врагов, золотопогонников и прочей контрреволюционной сволочи. И правильно, что нет, потому что сейчас торжествует только закон защиты нашей социалистической родины. Для этого и предназначены Части особого назначения. Так что одевайся и… — Он прищурился. — Красную косынку на голову. Это теперь твой обязательный головной убор.

— Навсегда? — попыталась пошутить Таня.

— Нет. — Он широко улыбнулся, даже подмигнул. — До победы мировой революции.

— Тогда потерплю, — сказала Татьяна, надевая косынку. — Честно говоря, меня весьма беспокоит предстоящая следственная работа. Я в ней ничего не смыслю, так, может быть, стоит взять какого-нибудь толкового юриста в качестве моего личного консультанта?

— Работа наша секретная, и никакая гнилая интеллигенция к ней не должна иметь касательства.

— Значит, возьмем не из гнилой.

— Не гнилой интеллигенция не бывает. Так Владимир Ильич сказал, так что никаких сомнений на этот счет.

— Бывает, Ленечка, бывает, — вздохнула Татьяна. — Например, моя семья, а в особенности — отец…

Сукожников вдруг строго, даже зло, посмотрел на нее. Сказал, многозначительно помолчав:

— Твой отец погиб на баррикадах Пресни. Смотри, если когда забудешь об этом…

— Что ты, что ты, — спохватилась бывшая потомственная дворянка Вересковская. — Я пошутила. Просто пошутила.

Он продолжал сурово смотреть на нее, сдвинув брови к переносью.

— Я очень неудачно пошутила, — тихо сказала она. — Прости, пожалуйста. За глупость.

— Такая глупость головы может стоить, — угрюмо сказал Сукожников. — За нами, партийцами, в четыре глаза глядят и в шесть ушей нас слушают. Мы есть пример и сиять должны, как пример для всего народа. И болтать попусту…

— Прости ты свою глупую бабу. — Татьяна обняла его, крепко прижалась, и Леонтий улыбнулся.

— Ладно уж, пошли мандат получать.

— Прощена?

— Если еще раз ляпнешь, да, не дай бог, при посторонних, худо будет. Всем нам худо может быть.

— Слово партийца.

— Тогда — вперед.

А на улице, пока ждали трамвая, припомнил:

— Да, после получения мандата нам еще на особый склад необходимо заехать, учти.

— Какой склад?

— Кожанки получить надо. Кожанка — теперь форма наша. Ну, и беспощадность, конечно, тоже.

16

Во вторую ночь своего дежурства на бронепоезде «Смерть империализму!» Павлик Вересковский поклялся, что никогда в жизни по собственной воле на подобном чудовище передвигаться не будет. Койки были короткими и жесткими, откидных сидений и не предполагалось, а стены узкого — встречные еле-еле менялись местами, подтягивая животы, — коридора шершавыми,

как самая грубая наждачная бумага. И эта узкая кишка освещалась только щелями бойниц да единственной лампочкой мощностью в двадцать свечей, висевшей под самым потолком перед дверью командного пункта.

Все прелести этого помещения испытал на себе Павлик, назначенный подносчиком пулеметных лент, в первом же бою. Отсек боепитания располагался в противоположном от пулемета конце коридора. Павлик не смог поднять цинковый ящик, кое-как вскрыл его и таскал ленты охапками ко всем пулеметным точкам броневагона. От бесконечного грохота выстрелов, пороховых газов, мгновенно заполнивших все пространство, он ошалел, терял ориентировку, а заодно и ленты, которые расстилались теперь по всему полу от отсека боепитания до противоположного конца. У него текли слезы от пороховых газов, потому что вентилятор не работал, мучительно першило в горле. Павлик надрывно кашлял, путался в пулеметных лентах, бежал то за лентами, то к прожорливым пулеметам, непременно при этом падая. И с ужасом думал только о черных глазах товарища Анны.

Наконец прорвались. Потные, голые по пояс пулеметчики, поскальзываясь на расстеленных

вдоль всего коридора лентах и матерясь, пробирались к спальным отсекам то ли пить воду со спиртом, то ли — спирт с водой. Павлик собирал ленты, уже ни о чем не думая. Он оглох и словно бы ослеп, что ли, потому что все время тыкался о шершавые стены плечами. Вагон немилосердно качало, поскольку поезд спешно набирал ход, уходя от негостеприимного безымянного полустанка, где оказалась непредвиденная засада.

Из штабного купе вышел очкарик. Спросил с надеждой:

— Тебя не ранило?

— Цел, — хрипло сказал Павел.

— Жаль. Конец буквы не допишешь. Иди, товарищ Анна ждет. Иди, иди, чего глаза вытаращил?

Это был конец. Павлик понял, что конец, по ноющей боли в животе. И, даже не умывшись, задрожавшей рукой чуть откатил дверь.

— Вызывали, товарищ Анна?

— Входи, — сказала товарищ Анна, увидев его в щели.

Он вошел, прикрыл дверь и остановился у входа.

— Поздравляю с первым боем.

Павел ответить не смог, только плямкнул гу-

бами.

— Иди сюда. — Анна плеснула что-то в оловянную солдатскую кружку, протянула. — Пей.

Павлик судорожно сглотнул:

— Не могу. Это ведь спирт, да?

— Если я говорю, значит — можешь. Выпей одним глотком и, не дыша, запей скорее водой. Вода — в графине. Пробку с графина сними, а то еще задохнешься.

Вересковский выпил как велено. Но, глотнув из графина, судорожно закашлялся.

— Сейчас эта пороховая гарь осядет. Ты хорошо воевал, старательно. За это получишь мою награду. Раздевайся.

— Как?.. — растерялся Павлик.

— Догола. Ну, чего топчешься? Это — приказ.

— Сейчас, сейчас…

Павел торопливо начал раздеваться, путаясь в одежде. В голове мутилось от выпитого спирта.

— Какова твоя политическая ориентация? — вдруг строго спросила товарищ Анна.

— Моя?.. Я — с вами.

— А я — против большевиков. Это ведь они устроили нам засаду на полустанке. Теперь — они враги до конца. Пойдешь со мной до конца, гимназист? Или отвалишь, дыма наглотавшись?

— До конца, товарищ Анна.

— Тогда раздень меня.

— Я?.. Я не умею.

— Потому-то и зову, что не умеешь, это в тебе проглядывает. Только сначала замочек в дверях поверни.

Утром Павел Вересковский покинул купе Анны в должности адъютанта. Он ожидал неприятного разговора, но «студент» улыбнулся, вздохнул с видимым облегчением, отдал ему браунинг в желтой кобуре и лично водрузил на голову нового фаворита собственную студенческую фуражку.

— В ней больше формы, чем содержания в наших бронированных условиях. Но все же — дарю.

Маленький, но хорошо вооруженный бронепоезд метался по второстепенным дорогам юга России, захватывая полустанки с местечками, пополнялся топливом, заливал воду, отнимал все вооружение, которое только находил, и беспощадно грабил местное население.

О грабежах Павел узнал позднее. Анна на боевые операции его не отпускала, при дележе добычи он не присутствовал, как, впрочем, и сама товарищ Анна. Все происходило по отработанной системе, нарушителя которой — об этом знали

все — ожидал немедленный расстрел на месте.

Впрочем, он не особенно и рвался. Ненасытная товарищ Анна восполняла утерянное на каторге с таким пылом, что у Вересковского и сил-то никаких не оставалось. Может быть, не столько сил — он был еще очень молод и легко их восстанавливал, — сколько желания. Как выяснилось, желание узнать нечто новое утрачивается быстрее всех прочих желаний. Или — изнашивается, что ли. И наступает состояние полного безразличия ко всему, что происходит по ту сторону серых бронированных стен.

Однако полное превращение юного гимназиста в племенного жеребца не входило в планы товарища Анны. На каком-то этапе их бессонных декамероновских ночей она решила, что пришла пора готовить из любовника верного боевого соратника.

И как-то ранним утром после скоротечной пальбы по очередному полустанку вызвала командира личной охраны еще до остановки бронепоезда.

— Возьмешь в город моего адъютанта. Покажешь, как геройски воюют наши доблестные бойцы. Предупреждаю, Кузьма, под твою личную ответственность.

— Все будет в полной ладности, товарищ Анна, — густым басом ответил двухметровый балтиец с перекрещенной пулеметными лентами грудью и маузером в деревянной кобуре.

Бравый личный телохранитель товарища Анны Кузьма понял свою задачу своеобразно. Вместо того чтобы провести Павлика через баррикады, блиндажи и окопы вредного населения, он показал ему, как отважные бойцы бронепоезда «Смерть империализму!» уничтожают этот самый империализм на примере захудалого еврейского местечка.

Вой стоял над местечком. В него вливались плач, вопли, крики и мольбы о пощаде. Жители и думать не смели сопротивляться откормленным воинам революции. Старейшины преподнесли хлеб-соль, какие-то подарки, платки, букет цветов. Все это уже валялось на земле, втоптанное в пыль, красавицу, преподнесшую цветы, тут же и изнасиловали, но хоть не убили, не проткнули живот, даже помогли убраться, пока жива. А сотворив это «добросердечие», ринулись по мазанкам перетряхивать тряпки в поисках спрятанных сокровищ, грабить съестное, взламывать сундуки. А не найдя ничего, орали: «Где прячешь?!», таскали стариков за бороды, снимали с

девчонок мониста и рвали серьги у женщин прямо с мочками ушей. Вересковский часто потом видел кровь, текущую из мочек, в горячечных беспокойных снах…

— Домой!.. — закричал он. — Веди меня домой, Кузьма!..

— Життя у нас такая, — вздохнул Кузьма.

— Я нарочно тебе показала все эти мерзости, — сказала Анна, когда он, дрожа от ужаса и негодования, рассказал ей, что творилось в местечке. — Я прошла через избиения, насилия и издевательства, и все это — еще при царе, при законной для всего населения власти. А революция всегда разрушает власть, и наружу вырывается террор. Не террор индивидуального наказания негодяев в мундирах, чем занимались левые эсеры во имя возмездия, а террор массовый как мера устрашения народа. К нему и прибегли большевики и будут прибегать, пока останутся у власти, добиваясь рабской покорности…

— Они насиловали женщин!.. — закричал Павлик, тыча рукой в дверь. — Они, а не большевики!..

— Успокойся. — Анна погладила его по голове, прижала к груди. — Насильники будут расстреляны под нашим окном.

— Не верю!.. Не верю!..

— Кузьма! — крикнула Анна.

Вошел Кузьма. Остановился, прикрыв дверь.

— Расстреляешь насильников. Чтобы мы слышали залп. Ты понял меня, Кузьма?

Кузьма молча поклонился и вышел. Анна налила полкружки спирта, протянула Вересковскому. Павел отрицательно замотал головой и всхлипнул. Совсем еще по-детски.

— Пей! — резко выкрикнула товарищ Анна. Дождалась, пока Павлик, давясь, проглотит спирт, сунула ему графин, чтобы запил водой прямо из горлышка, и жестко продолжила: — Большевики создали Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем, тебе известно об этом? Во главе ее поставлен Феликс Дзержинский, человек уникальной жестокости, который добился для ВЧК права бессудного расстрела. Я его знаю, я была под его началом, что и послужило главной причиной моего расхождения с большевиками. Я говорила тебе об этом, но ты ничего не понял. Маховик террора уже запущен, и его ничто не в силах остановить. Он будет вертеться и крушить людей, пока они не превратятся в овечье стадо, способное существовать только под присмотром пастуха…

Она замолчала, подбирая слова, потому что Павел по-прежнему молчал, слегка осоловев от спирта.

— Знаешь…

Под окнами внезапно грохнул залп. Вересковский вздрогнул, спросил почти испуганно:

— Кто это? Большевики?..

— Насильников расстреляли, — улыбнулась товарищ Анна. — Но нам пора отправляться дальше. Приляг, укройся. Я распоряжусь, чтобы собрали всех. И — в путь.

— Какой путь, какой… — заплетающимся языком пробормотал Павел. — Нет у нас пути, в руках у нас — винтовка…

И опять мчался бронепоезд, сея смерть отнюдь не империалистам, поскольку не было их отродясь на станциях и в городишках второстепенных путей. А Павел лежал на узкой койке, укрывшись с головой солдатским одеялом, и ел только после долгих уговоров.

Его болезнь огорчала весь экипаж. Где-то раздобыли снятую с расстрелянного чекиста кожаную тужурку. И Павел впервые вроде бы чуть оживился, потому что спросил:

— А фуражка есть?

Принесли и фуражку. Он повертел ее, примерил

даже, но потом опять уткнулся носом в стенку.

— Ожил! — решила братва. — Радости ему надо.

Разгорелся спор, что есть радость. Долго толковали, спорили, пока кто-то не предложил:

— Да девку ему надо! Мясистую, враз оживет!..

Обрадовались такому простому рецепту. Кузьме сказали, а он только плюнул с досады:

— А товарищ Анна тоже обрадуется?

И враз примолкло экипажное толковище.

В одном из захваченных местечек привели доктора. Тщательно осмотрев, прослушав и простукав Павлика, он сокрушенно вздохнул и беспомощно развел руками:

— Сильное нервное потрясение. Покой, глубокий сон, никаких волнений. Микстуру я выпишу. Два раза в день по столовой ложке, легкая диета и никакого алкоголя.

— Ну какая микстура устоит супротив спирта! — негодовала братва, с уважением, как было велено, проводив доктора и шустро сбегав за прописанным лекарством.

Однако Анна лечила, как указал местечковый врач. Поила, кормила с ложечки, регулярно давала предписанное лекарство. Только Павлу легче не становилось. Он лежал на койке, с го-

ловой укрывшись от железного грохота поезда, и не хотел разговаривать. Молчал или отвечал односложно — «да» и «нет». И решительно отказывался гулять.

А потом ему стало значительно лучше. То ли доктор хорошо знал свое ремесло, то ли молодое тело хотело жить вопреки всем хворям, а только он начал разговаривать и даже робко улыбаться. А главное, вставать, и его уже не нужно было волочить на руках в уборную.

Товарищ Анна была счастлива. Еще бы, ведь ее личный адъютант снова ей улыбался.

Только однажды из вояжа в уборную Павлик вернулся странным, бледным и никак не мог залезть на полку. Хотел и — не мог.

— Что с тобой? — испуганно спросила Анна.

— Голова закружилась. Гулять надо, гулять.

— Вот займем следующую станцию, и Кузьма погуляет с тобой.

— А потом куда поедем?

— На Просечную.

— Нет, я лучше здесь погуляю.

Надел чекистскую кожанку, фуражку. Сказал:

— Через час-полтора от силы.

Поцеловал Анну, вышел. А Анна велела Кузьме глаз с него не спускать. Ни на миг.

— Будет сделано, товарищ Анна.

Кузьма был предан, старателен, но шея у него отсутствовала и голова начиналась прямо из налитых силой плеч. А коли не было шеи, то и уйти от него не представляло никакого труда, поскольку не было возможности вертеть головой. Кроме того, он очень любил азартные игры и как только застрял возле играющих в очко, Павел неторопливо подался назад, выбрался из толпы, постоял, озираясь, и бросился к еще не разгромленному телеграфу.

— Депешу, срочно, — сказал он телеграфисту.

— Только по распоряжению…

Вересковский сунул через окошко браунинг, подаренный товарищем Анной. Он рисковал, очень рисковал, поскольку знал о кнопке тревоги под ногою телеграфиста. Но выхода не было, да и телеграфист выглядел трусоватым.

— Куда телеграмму?.. — Голос у него дрогнул.

— Диктую:

> «Станция Просечная, срочно. К вам идет бандитский бронепоезд “Смерть империализму!”. Взорвите выходную стрелку, а по проходе – входную. Мобилизуйте воинские части и рабочие дружины. Огонь

открывать сразу при выгрузке бандитов. Подтянуть взрывников и взорвать штабной вагон, там – командование. Подтвердите прием. Уполномоченный Берестов».

Телеграфист застучал ключом. Павел не уходил, ждал ответа, непроизвольно втянув голову в плечи. Наконец в ответ застучал телеграфный аппарат:

«Меры примем. Благодарим товарища уполномоченного».

Вересковский зачем-то поднял воротник кожаной чекистской куртки и вышел. Где-то неподалеку шуровали морячки с бронепоезда, он обошел их задами, стараясь держаться подальше от центра, вышел к какому-то парку, прошел по его единственной аллее. Она кончалась задумчивой скамейкой над обрывом. Павлик, не раздумывая, спустился по обрыву к ручью, перешел его и, поднявшись на противоположный берег, скрылся в густом березняке.

А неповоротливый Кузьма ошалело бегал по городишку, расспрашивая встречных о пареньке в чекистской куртке и чекистской же фуражке,

но все только испуганно шарахались в сторону. Он метался весь день, рискнув появиться перед товарищем Анной лишь в сумерки. Она молча воззрилась на него.

— Сбежал?

Голос был глухим, безжизненным. Кузьма знал, что означает эта безжизненность, и весь покрылся потом, ожидая выстрела в голову. Выстрела навскидку, потому что его командир стреляла без промаха.

— Так точно. И сам не пойму, вроде рядом был, и вдруг — нету его. Нигде нету.

Анна отвернулась к окну, замерла. Кузьма тоже молчал, но ему вдруг показалось, что плечи Анны странно вздрогнули, словно она изо всех сил сдерживала рыдания.

— Может, заблудился где, — тихо сказал он. — Завтра людей возьму, городишко вверх дном перевернем…

— Сумку! — вдруг резко выкрикнула она. — Да не эту, синюю!

Покопалась в ней, тщательно просматривая бумаги. Отбросила сумку, бумаги разлетелись по купе.

— Так и есть. Мандат пропал.

— Какой мандат?

— Чекиста, которого в расход пустили. То-то ему тогда фуражечка чекистская понравилась…

Замолчала, опять в окно уставилась. Кузьма, изо всех сил сдерживая дыхание, собрал бумажки, положил на стол.

— Проверь, все ли вернулись. Если все, прикажи немедленно следовать дальше.

— Куда? — растерянно спросил Кузьма.

— Прямо! — резко сказала она. — На Просечную.

— Есть на Просечную.

Он уже развернулся в узком проходе купе, когда она добавила словно про себя, не оборачиваясь:

— Нового адъютанта мне подбери. Помоложе. Ты мой вкус неплохо знаешь. Ступай.

— Ага, — сказал Кузьма и вышел, тихо, без стука притворив тяжелую бронированную дверь.

17

Великое русотрясение, как говорила Татьяна, уже началось. Девятые валы накатывались на города и селища, на пашни и луга, на людей и скот, беспощадно смывая их с лика Земли в бездонную пучину братоубийственной бойни. И большинство не понимало, за что оно гибнет, за что гибнут их родные и близкие, за что убивает

сам, за что Святой Руси этот гнев Божий. Мольбы и проклятия, слезы и кровь черным туманом застилали горизонты, и вкус их был горше полыни. Никогда доселе, ни разу единого не переживала Россия за всю тысячелетнюю историю свою хотя бы чего-либо похожего на происходящее. Брат восстал на брата, сестра предавала сестру, и жена отрекалась от мужа.

Радуга вскинутых над Россией знамен не предвещала никакого очистительного дождя. Красное мешалось с белым, царское оранжевое — с русским трехцветным, черное анархистское — с зеленым повстанческим, и никто толком не знал, за что именно он проливает свою и чужую кровь. Все сражались за свою правду, и никто не поднял праведного меча за общую истину.

— Россия сошла с ума, — резюмировал генерал Вересковский. — Война в сумасшедшем доме то ли за лучшего врача, то ли за лучшего повара, то ли против смирительных рубашек, то ли против горьких лекарств. Я не в состоянии припомнить ни одной войны подобного рода, хотя неплохо знаю историю. Если взять интеграл сегодняшнего времени, то получим бессмысленный бунт, если попытаться дифференцировать — бунтарскую бессмысленность.

На багровом фоне этой бессмысленности махровым цветом расцвели казни, которых не знало Средневековье в самые сумрачные свои времена. Выстрел в затылок и повешение, сожжение живыми в избах и паровозных топках, плети — до смерти и железные прутья — тоже до смерти. Утопление — так целыми ротами, отравление газами — так половину Тамбовской губернии. Расстрел — так каждого пятого, третьего, второго или десятого — как начальнику вздумается. Зарывали живыми в землю, и сутками кричала и шевелилась та земля. Сбрасывали в пропасть со старых крепостных стен, перерезали сухожилия под коленями и оставляли умирать мучительно медленной смертью, перебивали прикладом хребет, и несчастный долго и беспомощно корчился на земле, подобно полураздавленному червю. Да разве перечислишь все виды фантазии русского человека, когда вопрос касается казни соседа по дому?..

Есть великое множество определений гражданских войн. Войны за освобождение рабов, крестьянства, пролетариата, буржуазии. Классическое — гражданская война есть вооруженная борьба двух культур в едином государстве. Какое из них подходит к Гражданской войне в России

— решать историкам. Разве в ней крестьянская культура сражалась с культурой буржуазно-городской?.. Увы. И крестьяне у нас воевали между собою, и офицерство вместе с буржуазией — тоже между собою. По той простой причине, что все в России воевали только за власть, может быть, кроме батьки Махно. За безграничную власть над всей огромной территорией и над душами, населяющими ее, поскольку все твердо знали, что власть в тысячелетней Руси — всегда абсолютная. Не ограниченная ни парламентом, ни законами, ни общественным мнением, ни самими тысячелетними традициями народа. Ее обманом захватили большевики, не имевшие даже крестьянской программы в крестьянской стране.

Именно поэтому Гражданская война продолжалась в России почти сорок лет. В форме уничтожения крестьянства как класса свободных производителей. Уничтожения интеллигенции, которая большевикам была не нужна, поскольку они верстали управленцев, руководителей и даже ученых, пропуская их сначала через жернова ленинской коммунистической партии большевиков. Уничтожения военных, славы и таланта которых боялись большевики. Уничтожения

буржуазии, церковнослужителей, сектантов, миротворцев, толстовцев. Ради этого и приступили к строительству небывалого в мировой истории количества концентрационных лагерей, в которых исчезали навсегда не только политические и идейные противники, но и их жены, дети, внуки.

Проверенным безотказным оружием большевиков всегда был террор, возглавляемый Дзержинским и его преемниками. Небывалый по мощи и организации террор, при помощи которого сокрушили даже тысячелетнюю Русскую православную церковь. А сокрушив до основания все, что не нравилось, оказались на пустыре, который был настолько пропитан страданиями, что хлеб на нем не рос и его пришлось закупать заграницей…

Сколько же погибло народу во время Гражданской войны, коллективизации, голода двадцатых, тридцатых и сороковых годов в России? Кто сосчитал? Где лежат их останки, под каким памятным крестом или обелиском? А может быть, — под величественным памятником, осененным всеми знаменами всех воевавших в Гражданскую армий?..

Нет не то что памятника, нет ни единой общей

могилы жертв той безумной войны. Нет. Не существует, не ищите.

Большевики не покаялись в содеянном ими хаосе, который всегда является лишь формой отрицания. Большевики не покаялись, а мы — не спаслись.

Не покаявшись — не спасешься.

18

— Россия боялась невольных, а пуще того — вольных грехов, — говорил генерал за вечерним морковным чаем. — Думал долго, а пришел к выводу, что это есть не христианская, а рабская черта. Раб всегда вымаливает прощение, каясь в грехах, с мечтой — авось простят.

— Россия никогда не была страною рабов! — сердито сказала Наташа. — Ваши парадоксы, папочка, не для нас.

— Ой ли? — прищурился Николай Николаевич. — А чем, по-твоему, торговали предки наши по речному пути из варяг в греки? Пушниной? Так только зимняя в продажу годится. Пенькой? Так она полушку стоит, дороже перевозка. Тогда чем, спрашивается?

— Хлебом.

— Это с хлебным-то югом?

— Ну… — Наташа нахмурилась. — Янтарем.

— Верно, только много на нем не заработаешь. Рабами, дорогая моя, рабами! Русь была основным поставщиком рабов на византийские рынки. А рабом считался любой пленный. Любой. Почему славяне так упорно и воевали друг с другом.

Генерал говорил для своей супруги, вдруг зачастившей в церковь на службы. Она осунулась, часто молилась, плохо спала. И было от чего. Старший сын исчез из Смоленского госпиталя неизвестно куда, Татьяна решительно перестала писать, а Павлик просто пропал. Просто пропал и все. Как сквозь землю провалился. Николай Николаевич тоже беспокоился, тоже частенько думал о пропавших невесть куда детях, о будущем оставшихся с ними, но уже чистивших крылышки Настеньки и Наташи. Но считал, что страдать следует про себя, а не прилюдно, да еще перед средневековой раскрашенной доской.

— Во всей великой русской литературе только граф Толстой отослал своего героя к Богу, поскольку у него самого имелись к Всевышнему какие-то претензии, — разглагольствовал он за вечерним чаепитием. — Но заметьте, Федор Михайлович заставил убийцу Раскольникова каяться пред людьми! И нам следует запомнить этот факт,

а Льва Николаевича оставить без милости, как в старину говорилось. Нет, нам непременно, чтобы прилюдно, видите ли…

Ворчать-то он ворчал, но тайком сам наводил справки где только мог. В полку, где служил Александр. В госпитале, где сын лежал после ранения. Через знакомых, некогда служивших в Генштабе. Он искал Татьяну через университетскую канцелярию, через адресный стол, через каких-то старых знакомых. И о Павлике узнавал.

А ответов не было. Ни одного. Ни ответов, ни тем более приветов, как говорится. Канули трое из пяти детей в бездонных, черных пучинах междометий и отрицаний.

Жилось трудно и голодно, да, слава богу, пока спокойно. Только генерала лишили хлебной карточки как бывшего угнетателя народа, но он в праведном гневе обрел силы добраться аж до самой столицы, где при помощи какого-то комитета был восстановлен в правах как ученый, имеющий печатные труды. Да и карточка оказалась рабочей, а не иждивенческой, что по тем временам звучало звонко. И это обстоятельство весьма польстило Николаю Николаевичу.

— Нет, эта власть кое в чем разбирается, — философствовал он. — Во всяком случае историю

она ценит. Вот когда перестанут ценить, тогда и Россия баюшки скажет. Не в смысле, что переспать времена беспамятства вознамерится, а в смысле, что руками разведет.

— Ох!.. — вздохнула Наталья. — И власть ему уже понравилась. За фунт черного хлеба.

Она постоянно спорила и цеплялась к отцу, потому что и спорить было больше не с кем, а уж цепляться — тем более не к кому. Все молодые люди исчезли из ее окружения, воевали или прятались от боев, но прятались не у них в имении, а где-то, где-то… Время шло, и она считала дни, когда станет старухой. Просто старухой, которая никому не нужна. А ведь было время, когда она упоенно мечтала о детях. Почему-то не о любви и жарких объятьях, а о детях. Только — о детях.

Мужчин нигде не было. Да и женщин тоже не было, потому что женщины тускнеют без ухода и ухаживаний, как чернеет старинное серебро, без пользы лежащее в буфетах. Смута отрицала как мужчин, так и женщин, и конца этого отрицания не было видно и в отдаленном времени. А Наташа мечтала о детях и…

И вдруг на аллее показалась мужская фигура. Фигура эта направлялась к дому, опираясь на палочку.

Наташа заметила ее из цветника. Бросилась навстречу.

— Саша!..

— Извините, мадемуазель. — Мужчина еле устоял на ногах. — Я не Саша, я — бывший прапорщик Николаев.

Каким бы он ни был бывшим, а ему устроили немыслимый по тем временам отрицания прием. С шумом, объятьями, поцелуями и даже смехом, который давно уже не звучал в усадьбе. Даже Ольга Константиновна улыбнулась впервые за много дней. Улыбнулась и поцеловала гостя.

— Дорогой мой, здравствуйте.

Тут же велено было накрывать на стол, и дворецкий, не спрашивая хозяев, расставил на белоснежной скатерти фарфор, хрусталь и серебро. И занял место у входа, торжественный, как памятник уходящей эпохи, памятник с салфеткой, переброшенной через левую руку.

Николай Николаевич тряхнул тайными запасами спиртного, велев достать коньяк и вина из подвала, кухарка, ворча, что съедят паек завтрашнего дня, разожгла плиту, а Наташа лично приготовила салат из съедобных трав, растущих в саду. Из крапивы, одуванчиков, щавеля, сныти, клевера — она знала массу съедобных трав. И

даже Настенька отобрала ноты, чтобы сыграть случайному, а потому особенно дорогому гостю, что он пожелает.

А пока шла эта веселая толкотня и шумиха с накрыванием стола и приготовлением закусок, генерал увел бывшего прапорщика из студентов в свой кабинет.

— Присаживайтесь, Владимир, курите.

— У меня — махорка. Но — настоящая.

— Сворачивайте свою самокрутку и — рассказывайте. — Николай Николаевич вдруг спохватился. — Может быть, по рюмочке коньячку для начала? Только — для начала.

— Сначала — для ясности. — Николаев улыбнулся. — Я — командир полка Красной армии.

— Над Россией заколыхались знамена разных цветов, как в хорошем букете. Мне не очень нравятся большевики, но я не смею осуждать, какой бы цвет ни выбрал молодой человек вроде вас.

— Так постановила рота еще в семнадцатом. Я не мог оставить их, Николай Николаевич.

— И поступили в высшей степени благородно, друг мой. — Генерал взял рюмку. — А потому — за вас и вашу удачу.

Оба торжественно подняли рюмки, сделали по глотку, и Николаев учтиво поклонился.

— Благодарю. От души рад видеть вас во здравии.

— Здравие присутствует, хотя его и терзают всяческие тревоги и сомнения. А чем мы обязаны вашему сегодняшнему возникновению в конце аллеи? Да еще с палочкой. Ранены?

— Ранение пустяковое, уже отвалялся в госпитале. Но полк — на формировке, и у меня оказалось десять дней отпуска. Если позволите, я привез свой паек на всю декаду.

— Отрицание традиций есть характернейший признак времен смутных и доселе неведомых, — изрек генерал. — Я имею в виду декадный паек, друг мой. Но всякое даяние — благо, а ваш приезд — праздник. И да здравствует десятидневный пир во время чумы!

И начался пир, во время которого дочери были обворожительны, Николай Николаевич пытался шутить, причем порою удачно, а двадцатилетний командир красного полка смущенно ухаживал за Наташей. И только Ольга Константиновна попрежнему была трагически замкнутой, однако, к величайшему удивлению генерала, в конце обеда неожиданно заулыбалась, поглядывая то на красного командира, то на зардевшуюся дочь.

— Знаешь, почему он приехал на целых десять

дней? — спросила она мужа, когда они остались наедине.

— А куда ж ему деваться?

— Нет, ты воистину исторически не наблюдателен, друг мой! — с торжеством объявила Ольга Константиновна. — Исторически!

Ежедневно после завтрака молодые люди отправлялись гулять вплоть до обеда. А после него — гулять вплоть до ужина. А после ужина — до темноты. И весь дом был в букетах полевых цветов, которые они непременно приносили с собой.

— Догадываешься, почему у нас появилось столько цветов? — заговорщически спросила мужа Ольга Константиновна.

— Догадываюсь, почему у меня начались головные боли, — проворчал Николай Николаевич.

— Нет, ты — неисправим, как сама твоя история!

— Между прочим, он в двадцать лет стал командиром полка. Полковник в двадцать лет — это прямо декабрист.

А на третий день сборщики цветов, уйдя с вечера, явились только на следующее утро. Николай Николаевич спал безмятежно или прикидывался, что безмятежно, а Ольга Константиновна не

сомкнула глаз со сладко замирающим сердцем.

— Мы ночевали в стогу! — объявила Наташа.

— Это заметно. У тебя на затылке — солома, — поджав губы, произнесла мать. — А что скажет молодой красный командир?

— Я прошу руки вашей дочери, глубокоуважаемые Ольга Константиновна и Николай Николаевич.

Ольга Константиновна онемела. Потом, ни слова не промолвив, ринулась в свою спальню, откуда явилась с потемневшей от времени иконой Божьей Матери.

— На колени! — воскликнула она, жестом Екатерины Великой указав, где именно они должны стать на колени.

Молодые, взявшись за руки, опустились на колени в указанном месте и покорно склонили головы.

— Благословляю вас, дорогие мои, этой святой иконой моей пра-пра… Не припомню точно, сколько именно «пра». Целуйте святой лик, дети.

— Я, правда, атеист, но крещен, а потому с почтением… — Красный командир благоговейно поцеловал икону. — И клянусь…

— Клясться будете в церкви пред алтарем, — строго сказала Ольга Константиновна.

— Не получится, мы — против церковных обрядов, — вздохнул молодой жених. — А при гражданской регистрации полагается клясться только в преданности нашей идее. Но это решительно ничего не меняет в наших твердых намерениях.

— Приветствую ваши твердые намерения, — сказал Николай Николаевич, целуя жениха и невесту. — Ну-с, полагаю, однако, что свадебный пир задерживать не стоит.

На следующий день молодые расписались в ближайшем райкоме. И торжественно поцеловали Красное знамя.

19

Александр в относительном покое отращивал бороду в доме Платона Несторовича. Нет, уже не прятался под трупами в мертвецкой, а лишь скрывался на время в комнате Анички, где стоял огромный шкаф, в котором штабс-капитан и исчезал от посторонних глаз, оборудовав в нем вторую стенку. Но это случалось редко, поиски уцелевших участников офицерского выступления прекратились на всей территории города Смоленска, но внешность изменить было необходимо перед долгой и опасной дорогой на юг.

— Ждите, пока я вам документы подготовлю, — отвечал патологоанатом на все нетерпеливые вопросы штабс-капитана. — В городе кроме сыпняка обитают оспа и холера. Так что вскоре кто-нибудь с подходящей внешностью помрет непременно.

В доме оказалась хорошая библиотека, в которой европейская классика была представлена на соответствующих ей языках, а русская — роскошно изданными однотомниками. Было много книг по философии и медицине и — Аничка, и капитану Вересковскому ждать было не скучно. Аничка, правда, работала и в доме появлялась поздно, но Александр находил себе занятия и кроме чтения. Колол дрова, напялив что-нибудь попроще, чтобы не бросаться в глаза случайным прохожим, складывал полешки в сарае, а потом готовил лучину и к приходу хозяев раздувал самовар. Пока самовар закипал, чистил картошку, ставил ее варить и накрывал на стол. И хотя в доме ничего не было, кроме картошки, накрывал на стол так, как мама, Ольга Константиновна, учила делать это по праздникам.

Он любил этих людей, спасших ему жизнь. Они работали по четырнадцать часов в день, потому что медицинского персонала в госпитале

катастрофически не хватало. Работали с полной отдачей не только потому, что любили эту работу, а потому, что они ничего не способны были делать, не отдавая при этом не только силы, знания, но и саму душу свою. И никогда не жаловались ни на усталость, ни на судьбу, ни на скудное питание.

Это была настоящая русская интеллигенция, которую Вересковский уважал безмерно не просто потому, что сам принадлежал к ней, а потому, что она была истинно народной интеллигенцией. Не выходцы из народной гущи, в которой за тысячелетие осело немало мути и грязи, а люди, не жалеющие ни сил, ни времени ради работы во спасение этого народа. Темного, невежественного, неграмотного, ленивого, завистливого, вечно полупьяного и редко — воистину доброго. Капитан прошел суровое чистилище не на небесах, а на войне, где собственными глазами видел и собственной шкурой ощущал, как лучшие из солдатской массы сами отсеивают плевелы от зерен. Сами, лично. А большевистская «Правда» апеллировала к самым низменным солдатским слоям, безнравственным, бесчестным и корыстолюбивым. И он ненавидел «Правду», хотя внимательно читал ее при первой же возмож-

ности от заголовка до последней строчки. Врага России необходимо было знать досконально.

Здесь было какое-то противоречие, которого Вересковский сам себе не мог объяснить. Он не понимал, почему большевистская газета адресовалась к наименее подготовленному читателю. Среди солдат было достаточно эсеров, анархистов, меньшевиков, даже кадетов, но ленинцы упорно делали ставку на людей полуграмотных и, с точки зрения штабс-капитана, ненадежных.

Он спросил об этом Платона Несторовича за ужином, который был для них заодно и обедом.

— Русская империя была государством уравновешенным. У нее не имелось колоний, а присоединенные земли, княжества и прочие территории оставались со своей привычной властью, подотчетной только представителям государя в лице его генерал-губернаторов, и то лишь в вопросах внешней политики, а политикой внутренней занимались сами. Тягостная война, а в особенности отречение государя породили смутные времена. А во времена смут, Александр Николаевич, авантюристы всех мастей люто рвутся к власти, почему самые беспринципные из них и стремятся опереться на люмпенов и маргиналов, которым не нужна никакая программа,

которым вполне хватает лозунгов. «Штык в землю!», «Грабь награбленное!» и тому подобных. Чем примитивнее лозунг, тем он понятнее этой толпе.

— Вооруженной толпе, — сказала Аничка.

— Вооруженной и озлобленной бессмысленностью этой войны. А Ленин… Что ж, Ленин откровенно борется за власть, а в подобной борьбе все средства, как известно, хороши.

— И на кого же он будет опираться, если захватит власть, Платон Несторович? Крестьянство за ним не пойдет, буржуазия — тем более, а рабочий класс в России немногочислен, потрепан войной и сильно разбавлен женщинами и выходцами из той же деревни.

— На террор. Любое отрицание отрицания при втором явлении опирается на террор.

— Мы уже толковали об этом, — вздохнула Аничка. — Давайте сменим эту печальную тему.

— Это верно, — сказал отец. — Давайте о чем-либо более веселом, что ли. Может, споем? Мессу заупокойную.

Помолчали, не обнаруживая никакого желания веселиться. Потом штабс-капитан сказал:

— Я смотрел вашу библиотеку, там очень много литературы на иностранных языках. Вы — по-

лиглот?

— В какой-то степени. Я свободно владею шестью языками. Окончил в Лейпциге два факультета параллельно, тогда это допускалось. Философский и медицинский. Потом уехал во Францию, год учился в Сорбонне, жил некоторое время в Италии и на юге Франции, путешествуя по Лазурному Берегу. Однако когда мои весьма состоятельные родители внезапно умерли один за другим, я вернулся в Россию и оказался посторонним. Ни знакомств, ни протекций. В армию идти мне не хотелось, почему я и согласился на вакантную должность прозектора при военном госпитале. Но со времен моего вояжа в Европу я читаю всех европейских классиков только в оригинале.

— Философией не занимаетесь?

— Философия не нужна во времена смуты. А если до власти дорвутся большевики, она рискует оказаться опасной.

— Почему? Им не нужна философия?

— Не нужна, но не это главное. Главная причина в том, что они взяли экономическое учение Маркса в качестве учения философского. Маркс был хорошим экономистом, но Энгельс — философ-любитель и никак не более того. Философ-лю-

битель и историк — тоже любитель. Типичный германский капиталист, развлекавшийся писанием популярных статей и брошюр. Не читали «Коммунистического манифеста»? Любопытное сочинение двух сытых авторов. Немец никогда не плюнет в котелок, из которого его кормят, но пошутить над всеобщими поисками общественного устройства — это с удовольствием. И на свет рождается некое второе издание «Города солнца» Томмазо Кампанеллы, в котором авторы предлагают для всеобщего равенства и счастья обобществить женщин. Шутка налицо, но если бы авторы были не немцы, Россия не обратила на это сочинение никакого внимания.

— Почему же именно Россия?

— Да потому, что место французов, которыми Россия восторгалась сто лет, заняли германцы. Нам вообще свойственно восторгаться, недаром само название славян происходит от латинского слова «славус» или «склавус», что означает раб. У нас рабская склонность восторгаться внешней стороной культуры, почему мы и испытываем прежде всего восторг перед формой, а не перед содержанием. Целый век Русь наивно восхищалась блеском и остроумием французов, а потом вдруг столь же наивно стала восхищаться ак-

куратностью, старательностью и честностью германского орднунга. Россия — большое дитя, ей необходим пример для подражания, потому что ее внутренний девиз: либо все сразу, либо вообще ничего. Либо абсолютная монархия, либо — анархизм в его самом примитивном понимании: что хочу, то и ворочу.

К концу монолога Платон Несторович начал ворчать, поскольку понял, что говорит слишком много. И буркнул недовольно:

— Что-то я разболтался. Прощения прошу.

— Мы слушаем вас с удовольствием.

— Борода у вас, капитан, ни к черту. Вся в каких-то клочках.

— Я подстригу, — сказала Аня.

— Ни в коем случае. Он должен выглядеть опустившимся солдатом, сбежавшим с передовой.

— Но это же будет всего лишь форма, но отнюдь не содержание, — улыбнулся капитан.

— Я вам только что втолковывал, что в России принимают по одежке, — проворчал патологоанатом. — Документы я вам подберу, ко мне часто прямо с улиц трупы поставляют. Одежду — тоже. Остается борода. Вот и растите ее, только не клинышком. И, как говорится, с богом на юг или еще куда.

Вересковский задумчиво улыбнулся.

— В таком путешествии да еще и с такой бородой мне очень будет недоставать надежного проверенного спутника. И такой мог бы быть, только его еще надо разыскать. Я имею в виду прапорщика Алексея Богославского, Аничка. После шумихи, которую мы с ним учинили, он переправил меня через Днепр и остался у каких-то дальних родственников. Помнится, он что-то говорил о священнике, своем родственнике.

— Может быть, мне попытаться отыскать его, пока вы будете растить бороду? — спросила Анна.

— Попытайтесь, Аничка, окажите услугу. Может быть, через его брата, телеграфиста Юрия.

— Разыщу, — уверенно тряхнула головой Анна. — Юрий — мой приятель, часто бывает в наших краях.

— Вот за это стоит выпить по доброй чарке. — Платон Несторович встал. — Сейчас принесу.

— У вас есть вино? — удивленно спросил Александр. — Это в наши дни такая редкость…

— У папы есть спирт.

— Вполне современное питье. Чем больше жестокости за окном, тем чаще приходится гасить им внутреннее несогласие.

Вернулся патологоанатом. Со склянкой с заманчивой жидкостью и солдатской фляжкой.

— Это — вам в дорогу, капитан. — Он протянул фляжку Вересковскому. — А это — за вашу удачу. Аничка, давай стаканы.

И поставил склянку на стол.

20

С той поры, как растерянный Петр Павлович Трутнев поведал генералу Вересковскому, что отныне он свободен, поскольку его супруга, приговоренная к одиночной камере Бутырского тюремного замка, вышла на свободу, внук трансильванской травницы Игнатий оказался беспаспортным сиротой. Зимой он колол дрова и топил печи, в теплое время года старательно собирал травы и коренья и дотемна возился в саду и огороде. Человеком он был тихим и малоразговорчивым, и все вскоре как-то привыкли его не замечать. Все, кроме Настеньки. Это был ее единственный и очень верный друг. Он учил ее, как распознавать болезни по радужной оболочке глаз, какие следует пить отвары от той немощи, которая вдруг обнаружилась, как и когда собирать коренья и травы, каким образом сушить их и как делать мази, примочки и настои.

Но больше всего Настеньке нравилась его безотказность. Когда кто-либо заболевал даже в дальней деревне, Игнатий тут же одевался и ехал, если была лошадь. А если лошади не оказывалось, то шел пешком в любую погоду и в любую даль. И никогда, ни под каким видом не брал денег за оказанную помощь. Максимум, на что он соглашался после долгих уговоров, так это на кусок хлеба на обратную дорогу.

— Игнатий, почему вы ничего не берете за лечение? — весьма недовольно спросила однажды Ольга Константиновна. — Вы стольким оказываете помощь, что вполне могли бы купить себе лошадь, а не топать пешком в дождь и метель за десять верст.

— Я бы козу купил, — очень серьезно ответил на это Игнатий. — Лошадь — для извозу, а коза — для пропитания.

— Лошадь нынче в цене, — сказал генерал Николай Николаевич. — Погибло их без счета. Знаете, кто больше всех гибнет на войне? Лошади и дети. Самые полезные существа.

— А женщины? — воинственно спросила Настенька. — Или женщина — бесполезное существо?

— Женщины во время войны гибнут морально,

а дети и лошади — гибнут физически.

— Странная у тебя философия.

— Это — не философия, доченька, — вздохнул генерал. — Это — статистика. Войны возникают чаще всего не по доброй воле того или иного правительства, а под давлением на это правительство кругов, которые давно уже правят миром. Я имею в виду могущественные финансовые и сырьевые империи, которые фактически и управляют наиболее развитыми странами. Ныне за территории дерутся лишь страны неразвитые в индустриальном отношении. Великие державы сражаются за сырье и рынки сбыта. И будут сражаться, пока одна или, как максимум, две державы не захватят весь мир. Они поделят его меж собою, и войны прекратятся.

— Папа, признайся, ты — марксист!

— Что касается анализа капитала, то — бесспорно. Ну а что касается так называемого Манифеста — решительно нет. Решительно и бесповоротно. Это — игра или, если угодно, заигрывание.

— С кем им заигрывать?

— Да с толстосумами всех стран и народов. Россия клюнула, произошел раскол в едином массиве капитала, а джинн выпущен из бутылки. Впрочем, он довольно энергично к ней припа-

дает время от времени даже во время сухого закона. Представляешь, что будет с джинном, когда власть ради его утешения отменит царский сухой закон?

Он бесконечно спорил с дочерью по всем поводам. Спорил не ради самого спора, а чтобы унять собственное внутреннее волнение, успокоиться, прийти в себя от постоянной тревожной мысли о множестве писем, написанных им в разные инстанции и по разным адресам. Он искал следы исчезнувших неизвестно куда детей, но по этим следам легче было найти его самого, нежели канувших невесть в какие тартарары детей.

Он как по жизненному опыту, так и по историческим свидетельствам знал, как опасно докучать властям личными просьбами. Для чиновника не существует отдельно взятого человека вне зависимости от того, плох сам чиновник или хорош. Он служит власти, соблюдает интересы правительства, контролирует исполнение его распоряжений, и всякая личная просьба для него — выход за рамки этой службы, невольное проявление личной инициативы и, как следствие, в лучшем случае возможное неудовольствие вышестоящего начальника. Это — естественно и вполне оправданно, потому что никакая власть

не в состоянии действовать в интересах подданного государства. А генерал писал, писал, писал и просил писать других по сугубо личным мотивам. И если кто-нибудь когда-нибудь соберет все эти письма в единую папку…

Что это было? Понимание черной полосы России, отринувшей естественный ход развития общества и придавшей ему гибельное ускорение? Или — предчувствие пожилого ученого, интуитивно постигшего происходящее?..

Приехали на машине в четыре утра. Чека всегда выбирала это время, и тогда, и потом. Товарищ Дзержинский посоветовал, большой знаток сыскного дела. На рассвете все — растерянные, глаза еще продрать не успели. Все — в халатиках, животы торчат, груди у пожилых — висят, лица помятые, в глазах — перепуг и большое внутреннее неудобство. Застали в ночном белье, прямо из постели, лица неумытые и зубы не чищенные. Товарищ Дзержинский настоятельно советовал именно в это самое время к интеллигентам врываться с мандатом на обыск. Неумытая интеллигенция от смущения такого наговорит, что потом в протокольчик ляжет уютно, как стихи гражданина Пушкина.

Человек двенадцать прибыло. Под все окна и

двери — по одному вооруженному с приказом не выпускать. Остальные шестеро в кожанках в дом вошли — пятеро мужчин и одна женщина для личного досмотра особ женского пола.

— Всем стоять! Повальный обыск, вот мандат.

И начался разгром. Все ящики столов выдернуты, бумаги — на пол, книги с полок — все на пол, ковры — вниз ворсом, посуда из шкафов — какая на столешницы, какая — тоже на пол. Стеклянный звон — это не вечерний. Это — рассветный звон. Долго еще он пронзительно ощущался в новой советской России…

Забрали какие-то бумаги — какие, неизвестно, опись никто не вел. Забрали с собой генерала-историка да подвернувшегося под руку трансильванца Игнатия, как не имеющего при себе никаких документов, удостоверяющих личность, а потому подозрительного. И — увезли.

Едва сквозь слезы все прибрали, по местам расставили, битое — выкинули, как Ольга Константиновна, ни единого звука не издавшая при обыске, столь же молча начала собираться в город.

— Не выпущу, барыня, — сурово сказал старый дворецкий. — Пока кофею не откушаете, не выпушу. А откушаете, вместе поедем барина

выручать.

Откушала без споров. И вместе с дворецким выехала в город. Поздно вечером вернулись втроем — вместе с генералом Николаем Николаевичем. Ольга Константиновна сражалась за него как тигрица. Ее посылали от одного к другому начальнику, от другого — к третьему, четвертому, но она все же заставила какого-то очередного позвонить в Москву, в саму Академию наук. И там клятвенно заверили, что арестант — известный историк. Лучший специалист по офицерскому корпусу России.

А Игнатий пропал. Все в Чека в один голос утверждали, что он попытался бежать и был застрелен.

— Не верю!.. — закричала Настенька. — Не верю, не верю! Игнатий никогда бы не бежал…

— И я тоже не верю, доченька, — вздохнул генерал. — Только бумагу нам показали.

— Какую бумагу?

— Акт о расстрелянии при попытке к бегству, — Николай Николаевич еще раз горестно вздохнул. — Но я не верю в эту бумажку, не верю. И убежден, что наш Игнатий жив и здоров.

21

Игнатий и впрямь был жив, здоров и даже накормлен весьма вкусным обедом. Он не очень понимал, почему с ним так деликатничают, но, будучи от природы замкнутым да и весьма неглупым, не задавал вопросов и отвечал по возможности кратко.

А началось все с установления его личности, так как никаких документов у него не было. Он разъяснил, что специалист по лечению травами, что этому обучила его бабка, которая славится на всю Трансильванию своими способностями не только лечить людей травами и настоями на кореньях, но и удивительным даром узнавать болезнь по глазам.

— И этому она тебя обучила? — недоверчиво спросил какой-то чин в кожаной тужурке.

— Умею, — кратко ответствовал Игнатий.

— Тогда угадай, на что я жалуюсь.

— Лицом к свету станьте.

Чекист послушался, стал лицом к свету. Игнатий внимательно вгляделся в радужную оболочку его глаз и сказал:

— У вас тяжелые боли в затылке. Плохо переносите алкоголь, начинает ломить затылочную

часть. Это значит, что у вас скачком повышается давление. Скачок этот вполне можно вылечить, если будете аккуратно принимать мою настойку и не будете пить никаких алкогольных напитков во время лечения.

— Надо же! — удивился чекист. — А симулянтов уличить можешь? Ну, тех, которые на болезни ссылаются.

— Могу.

— А ну, ребята, тащите сюда этого спекулянта сахарином, который на помутнение рассудка жалуется, — распорядился чекист и, пока его ребята приводили спекулянта, пояснил: — В нашей работе, гражданин травник, здоровье — не главное, все равно его не хватит для победы над мировым капиталом. А вот симулянтов уличать — самое для нас!

Тут ребята и спекулянта доставили. Скорее обрюзгшего, чем полного, съеженного и сильно перепуганного.

— Лицом к свету! И следить, чтобы глаз не закрывал. Приступай, товарищ трансильванец.

Игнатий подошел, долго всматривался в радужные оболочки глаз перепуганного спекулянта.

— Так. Печень у него расширена. Только не на печень он жалуется, гражданин начальник, а

на легкое помутнение рассудка. Это неправда. Рассудок у него в полном порядке.

— Точно! — От восторга чекист даже в ладони хлопнул. — Увести этого гада и готовить дело для «тройки». А товарища Игнатия оформить к нам в службу на должность эксперта. Под тайной кличкой Трансильванец. Паек ему первой категории!

Так Игнатий был принят на должность эксперта первой категории под псевдонимом Трансильванец.

Об этом никто не знал, кроме узкого круга работников Чека. Вересковские считали его погибшим, генерал повздыхал, посокрушался, Настенька и Ольга Константиновна отплакали его и — все забылось на мучительно долгие десятилетия. И только в лютые годы повального террора бывшая девочка Настенька неожиданно встретилась с ним. Живым и невредимым.

Но эти десятилетия еще надо было прожить.

22

Чоновский отряд Леонтия Сукожникова насчитывал девятнадцать человек. Кроме командира и его начальника штаба, а заодно и следователя Татьяны, был еще и заместитель командира бывший унтер-офицер и член большевистской

партии с пятого года Никанор Ерофеев, которого все за глаза называли Ерофеичем, а супруги Сукожниковы только так к нему и обращались. В отряде было несколько молодых членов партии, которых хватило на ячейку, и — сочувствующие. Учитывая особое значение именно этого отряда, отвечающего за добывание хлеба для голодающей столицы, бойцов в него подбирали только с рекомендациями райкомов, а для подготовки выделили аж две недели.

Подготовкой к строевой и караульной службам, разборке и чистке оружия — занимался Ерофеич. Он же и учил молодежь стрелять, но на стрельбах всегда присутствовала Татьяна. Не по долгу службы, а из любви к стрельбе.

Она не любила быть второй ни в чем. Не претендуя на командование отрядом, она вполне серьезно восприняла слова мужа, что смертные приговоры ей придется исполнять самой. А уж если тебя назначили палачом, так изволь отрубать головы одним ударом.

Натурой она была на редкость собранной и целеустремленной. Но при всей любви к стрельбе, это занятие все же являлось второстепенным. Главным было осознание, что ей предстоит следовательская работа, и Татьяна обложилась

кодексами: Уголовным, Гражданским, Процессуальным, старательно их штудируя. И так продолжалось до тех пор, пока однажды Леонтий, вернувшийся из Чека, несколько торжественно не положил перед нею очередной декрет.

— Что это?

— Декрет о борьбе с саботажем. Через каждую строчку — расстрел по решению следственной комиссии. А поскольку в нашем штате она не предусмотрена, то по твоему решению. И со всей революционной беспощадностью!

Новая революционная, а практически большевистская власть законов не издавала, ограничиваясь декретами, которые приравнивались к законам, причем старые никогда не отменялись, и число этих декретов достигло цифры неимоверной. Однако сверху было громогласно рекомендовано куда чаще руководствоваться пролетарским чутьем, почему на всей большевистской территории и гремели выстрелы группами и в розницу, наводя скорее страх, нежели порядок.

Пролетарское чутье не требовало знаний, и Татьяну это вполне устраивало. Все законы были забыты, и Таня Сукожникова отныне занималась только стрельбой. Не по мишеням — ей мишени

не нравились, — а по глиняным корчагам. Они разваливались с треском, и вскоре Татьяна достигла такого совершенства в этом треске, что сам командир Леонтий Сукожников наградил ее маузером перед строем всего отряда.

— Освой эту машину справедливости, и пусть головы классовых врагов разлетаются вдребезги, как разлетались корчаги!

Поначалу работы у чоновцев Сукожникова почти не было. Сопровождали продотряды по деревням и селам, где мужики угрюмо, но молча отдавали хлеб, и принуждения применять не приходилось. Чтобы зря не гонять лошадей («не тратить», как командир выражался), чоновцы вскоре перестали сопровождать продотрядовцев. Стояли в маленьком городишке, занимались стрельбой да шагистикой, которую уговорил командира ввести Ерофеич, и больше забот не было. Ни забот, ни хлопот, ни, главное, врагов, что очень не нравилось Леонтию.

— Эдак мы всю классовую борьбу проволыним, — ворчал он. — Затаился враг, затаился, Татьяна.

Таня поддакивала, но была очень довольна вдруг выпавшим затишьем на фронте ее классовой борьбы. И тайком, про себя молила Бога,

чтобы такое затишье продолжалось как можно дольше. Она до ужаса боялась своей миссии палача, но еще больше боялась своего Леонтия Сукожникова. А ведь было, было время, когда он заискивал перед нею, готов был на все что угодно, лишь бы заслужить ее мимолетную улыбку. И все это неожиданно как-то кончилось. Вдруг, как кончается детство, когда уже невозможно зарыться маме в колени и отплакаться, слезами смывая с себя грязь и копоть мира взрослых, которые она внезапно почувствовала собственной, такой еще нежной и беззащитной кожей.

Но все, что имеет начало, обречено иметь конец. Принцип отрицания отрицания правит нами от рождения, которому ты не можешь крикнуть восторженное «да!..», и до кончины, когда твое жалкое, перепуганное «нет, нет!..» уже ничего не в силах остановить.

Подняли ночью. Из сельца внезапно прискакал порядком избитый продотрядовец:

— Наших в погреб посадили!.. Я чудом ушел!.. Чудом!..

— Закладывай!.. — закричал Сукожников.

И выругался столь грязно, что Татьяна отвернулась, чтобы кто-нибудь не заметил румянца, полыхнувшего по щекам.

Выехали на четырех бричках и тачанке с пулеметом, за которым удобно пристроился Никанор Ерофеев. На передней, командирской, бричке тряслись супруги Сукожниковы и боец с ручным пулеметом. На подъезде к селу командир остановил своих карателей.

— Ерофеич, развернешь тачанку у въезда. Приказываю встречать лютым огнем любого, кто вздумает бежать!

Еще одну бричку с ручным пулеметом и тем же приказом он послал на выезд из сельца, а отдав распоряжения, велел во весь мах гнать на церковную площадь.

— Собрать всех жителей! — крикнул он, спрыгивая с брички с наганом в руке. — Прикладами гоните, если медлить задумают!

Жителей пригнали на площадь. Всех. Женщин и мужчин, стариков и старух, а заодно и детей, которые уже могли ходить. Построили их в круг, внутри которого с наганом расхаживал Сукожников.

— За активное сопротивление советской власти я как командир каждого десятого мужика расстреляю! — кричал он. — Где продотрядовцы? Насмерть забили?.. Кто убивал?..

— Да никто не убивал, в погреб мы их заперли,

чтоб, значит, ты лично разобрался, гражданин товарищ, — спокойно сказал седой до синевы старик староста.

— А этот? — Сукожников ткнул дулом в избитого продотрядовца. — С крыши упал, что ли?

— А этот меня палкой ударил, — так же негромко объяснил староста. — Ну, общество заступилось, потому как выборный я человек. Может, оно, конечно, ошибку допустили, но стариков-то палкой — это никак нельзя, гражданин товарищ. Эдак все общество кувырком покатится, ежели за стариков заступаться перестанем. А свою ошибку мы, общество значит, сознаем, хлебушек, что с нас причитается, собран. Велите грузить в брички, так и погрузим.

— Ты, старик, зачинщиков-то не покрывай, — чуть потише прежнего сказал Леонтий. — Ты доложи, кто конкретно отказался хлеб сдавать согласно решению советской власти?

Вздохнул староста.

— Да вот, трое этих. Толкните их в круг, ребята.

Из рядов вытолкнули троих. Двое крупными были, откормленными, а третий… Третий, ох. Худой, в драном армячке.

— Точно, эти самые, — тут же подтвердил кто-то из освобожденных продотрядовцев.

— Так, — сказал Сукожников. — Пиши приказ о расстреле саботажников, товарищ следователь. И исполни его, после моей подписи.

— Может… — заикнулась было Татьяна.

— Это приказ от имени советской власти! — прикрикнул Леонтий. — Чтоб живо и без помарок!

Татьяна вздохнула, подошла к старосте.

— Диктуйте фамилии злостных отказчиков.

Староста нехотя продиктовал. Потом замялся:

— Только тут вот какое дело…

— Дело потом! Отвести названных на кладбище, дать лопаты, пусть могилы себе копают.

Взвыли бабы, дети, весь народ взвыл.

— Несправедливо так-то! Несправедливо!..

— Молчать!.. — гаркнул Сукожников. — Готов письменный приговор, товарищ следователь?

— Готов, — тихо сказала Татьяна. — Может…

— Не может! — отрезал Леонтий и кудряво расписался.

Но толпа продолжала гудеть, бабы и дети — орать и плакать.

— Может, тут что-то не то… — осмелилась промолвить Татьяна, пока Леонтий искал в сумке личную печать.

— Все то. — Он пристукнул приговор печатью и

поставил дату. — Все теперь, нет назад ни шагу.

Приговоренных уже отвели к кладбищу. Они копали себе могилу, и кто-то из молодежи помогал им рыть эту братскую расстрельную яму. Потому работали они молча, но споро.

— Тут такое дело, — не очень уверенно начал староста, поглядев на могильщиков. — Тут, это, как бы сказать… Поговорить бы надо, гражданин товарищ командир.

— Ну, чего тебе? Приговор печатью прихлопнут.

— Ошибочно прихлопнут, — вздохнул староста. — Видишь, крайний старается? Мошкин его фамилия. Иван Мошкин. Он всегда старается, девять ртов кормит. Один, а ртов в хате — девять.

— Так приказ печатью…

— Отхлопни назад свою печать, — строго сказал старик. — Справедливость должна быть.

— Справедливость должна быть, — вздохнул Сукожников. — А приказ подписан и заверен…

— Справедливость важней приказа, гражданин товарищ.

— Понял! — Леонтий широко улыбнулся. — Понял, как сочетать. Только ты завтра мне лично просьбу схода о помиловании… Этого.

— Ивана Мошкина, — подсказал староста. —

Завтрева непременно привезу лично.

— По рукам, — сказал Сукожников. — Завтра, лично.

И отошел к Татьяне.

— Тут такое дело, — тихо начал он. — С одной стороны, приговор подписан и печать на нем. А с другой — сход вон того мужичка в драном армячишке помиловать просит. Так ты так сделай, чтоб все ладно было. Ты его с краюшку поставь да промахнись. А я тогда скажу, что справедливая советская власть дважды не расстреливает. И все будет ладно. Поняла мою хитрость?

— Ой, нельзя же так, — испуганно зашептала Татьяна. — Он же в ужас придет, на всю жизнь в ужас.

— Наоборот! На всю жизнь счастлив будет, что жив остался. Поверь, знаю, что говорю.

— Леня, Ленечка, опомнись, что ты! — всполошилась Татьяна. — Объяви сейчас, не ставь под расстрел…

— Это наука ему такая.

— Это издевательство, а не наука!

— Молчать! — гаркнул Сукожников. — Печатью прихлопнуто, значит, все. Поняла?

— Поняла, — помолчав, горько вздохнула Татьяна. — Тогда вели, чтоб поскорее. Ждать да

гадать — нервов не хватит.

— Становись к исполнению! — крикнул Сукожников.

Кончили копать могилу, вылезли. Помогавшие обреченным молодцы отошли в сторону, захватив лопаты. Тишина стояла — и дышали-то через раз. Ни слез, ни криков, даже дети примолкли. Серьезным по тем временам было это событие.

— Именем советской власти приказываю исполнить решение следствия самому товарищу следователю.

Татьяна вышла вперед, стала перед жалким, съеженным каким-то — будто уж и дух из них выпустили — строем из трех мужиков. Ей было страшно, муторно, невыносимо муторно, но она пересилила себя не для того, чтобы не промахнуться, а для того, чтобы промахнуться в самого тихого, забитого жизнью мужичонку.

— Пли!..

Татьяна вскинула маузер, почти не целясь, два раза нажала спусковой крючок и два тела скатились в яму. Потом опустила руку, снова подняла маузер, прицелилась и выстрелила. И третий, Иван Мошкин, остался стоять на краю смертной ямы, втянув голову в плечи.

— Приказываю прекратить исполнение приго-

вора! — громко сказал Сукожников. — Советская власть — самая справедливая власть на земле, она не расстреливает дважды.

— Домой, — тихо сказала Татьяна. — Домой, скорее домой, а то не выдержу больше…

— Счастливо оставаться, сельчане! — бодро крикнул Леонтий. — Помните о справедливости нашей власти!.. По коням, хлопцы!

Чоновцы пошли рассаживаться по бричкам. Сукожников, проходя мимо старосты, шепнул:

— Жду завтра с решением схода.

Как только чоновцы умчались, а охрана дорог, ведущих в село, была снята, староста объявил сход.

— Бабы могут остаться, кто желает. Детей убрать, чтоб шуму не было. Кто-нибудь сходите за священником отцом Силантием, чтоб отпел честь по чести покойников наших.

Огляделся, заметил Ивана Мошкина, все еще почему-то стоявшего на краю могилы, подошел к нему, обнял за плечи:

— Ты тоже домой ступай. Натерпелся вдосталь.

— Чего?.. — отрешенно спросил Иван.

— Домой ступай, Ваня. Домой.

Мошкин покорно побрел к своей избе. Ноги плохо слушались, заплетались ноги, будто чужие.

На следующий день, как было договорено, староста приехал в городишко, пришел в дом, который захватил Сукожников для штаба и личной квартиры. Вошел, снял шапку, перекрестился на иконы и молча замер у порога.

— Проходи, — сказал Леонтий. — Принес решение схода?

— Нет.

— Почему это — нет, когда я велел?

— Повесился Иван Мошкин, когда еще сход шел. На вожжах повесился в своем сарае.

— Нет, нет, нет! — вдруг дико закричала Татьяна.

И наступил провал.

23

— …Убила, убила!.. При свидетелях!..

— …Я никого не убивала…

— …Из маузера!.. Полную обойму!..

«Полную обойму?.. Из маузера?.. Так вот почему руки дрожат, вот почему звон в ушах…»

— …Так арестуйте меня! Арестуйте!..

— …Легкой смерти ищешь?.. Не выйдет!.. Мы тебя в психушке особого режима сгноим!..

— …Не надо-о!..

И вдруг исчезли все звуки. И пришла тишина.

Очнулась Татьяна в маленькой квадратной комнате, выкрашенной белой краской. Все было ослепительно белым, кроме густо черного пола. В стене против двери располагалось маленькое оконце с тяжелой решеткой, под ним у стены — крохотный столик, прибитая к полу табуретка да параша в углу. И койка, на которой она лежала.

Таня понимала, что сейчас ей следует встать, чтобы осмотреться, ощупать все, попытаться понять, где она находится, как и почему именно сюда попала. Но сил у нее почему-то не было. Совершенно не было никаких сил, и она продолжала терпеливо лежать.

В конце концов она задремала, проснулась вдруг от грохота тяжелой железной двери. Зорко глянула из-под одеяла и увидела немолодого мужчину в очках и белом халате.

— Здравствуйте, Танечка, — тихо сказал он. — Я — доктор Трутнев. Петр Павлович Трутнев. Вспомните Вересковку. Я лечил вас всех по очереди. Вашу матушку, Николая Николаевича, Наташу, Павлика, Настеньку. А вот теперь — здесь. Только здесь и разрешили работать. И только под наблюдением.

— Где я?

— Вы? В неврологическом отделении, которым

я и заведую. У вас был серьезный нервный срыв.

Он что-то говорил еще, но Татьяна не слушала. Она мучительно пыталась вспомнить, когда мог произойти этот срыв и в чем он выражался. Но голова была пустой, и в этой пустоте метались какие-то обрывки воспоминаний. Белое платье, сачок в руках… Нет, не сачок, не сачок. Это — серсо. Кто-то играет в серсо…

Сквозь туманные отрывочные воспоминания прорезался далекий голос. Чужой, Таня не узнала его.

— …Покой… полный покой… Вспоминайте детство, Вересковку, дружную семью…

Неузнаваемый голос странно помогал мелькавшим видениям, и Танечка увидела себя девочкой в легком платьице до коленок. Только что на опушке леса поспела земляника — она всегда поспевала раньше именно там. На опушке березовой рощи, за проселком. И Таня пошла с плетеной корзиночкой. Такие корзиночки плел из вымоченных ивовых прутьев седой дедушка в деревне, и все дети в праздники непременно относили его внукам гостинцы.

Ивовые корзиночки — для земляники. А для нежной малины этот же дедушка плел кузовки из лыка. Лично драл его, а из самых широких

полос плел кузовки, заранее выморив и отбив лыко, чтобы оно было гладким и не царапало нежную малину.

В саду малина не росла. Ее почему-то считали сорняком и боролись с нею не только садовник с помощником, но и все дети, поскольку в семье очень поощрялось новомодное трудовое воспитание. И Танечка, надев рукавицы, рвала колючую поросль с корнями, хотя очень любила саму ягоду. И все любили, но ходить за нею приходилось далеко, в лес, в крутой, сплошь заросший малиной овраг. Брали кузовки и шли непременно в сопровождении взрослых.

Это было настоящее путешествие, и Таня очень его ценила. Взрослые знали об этом и однажды сурово наказали Танечку за какую-то шалость, оставив ее дома, когда все пошли за малиной в овраг. Это был не просто сбор ягод, это был поход в неизведанное, где жили не только привычные птицы, но и белки, зайцы, ежи и, как говорили, даже гадюки. Где после сбора ягод в малиновом овраге обязательно разводили костер на опушке, пекли картошку и ели ее прямо с обгоревшей, впитавшей золу и угольки кожурой. И никто не запрещал есть картошку с пылу с жару, наоборот, мама считала это очень полезным, но

именно там, и только там. В лесу, после похода, а не дома.

В саду было много крыжовника («берсеня», как его по-славянски называл отец). Этот славянский берсень надо было собирать еще до созревания, тогда, когда зелень ягод начинала блекнуть, переходя в иной, желтый цвет. Только такой, недозрелый крыжовник годился для варенья, которое очень любили все. А после сбора ягод содержимое всех корзинок высыпалось на стол, покрытый клеенкой, и начиналось самое интересное. Мама или Наташа играли на рояле, а остальные старательно перебирали крыжовник. И сколько же было смеха и шуток!..

Однажды самая маленькая, Настенька, уколола пальчик и сама же смело выдернула колючку. Но образовался нарыв, от которого девочка очень страдала, плакала и не могла спать. Мамины согревающие компрессы не помогли, и тогда пригласили доктора… Да, да, милого доктора, и он вскрыл нарыв. Танечка вызвалась ему помогать, все происходило на ее глазах, она видела кровь и гной, который тщательно выдавливал доктор. И ей было так больно за младшую сестренку, что она твердо решила стать врачом…

А мама после этого распорядилась, чтобы непре-

менно очищали крыжовник от колючек. Папа насмешливо именовал такое занятие бритьем.

Боже, какое же это было счастливое время!.. Неужели мы обречены уходить из него навсегда?

— …Это пройдет, Танечка. Я пропишу вам уколы, чтобы сон был долгим и спокойным…

Нет, нет, не надо никаких уколов. Надо оставаться в детстве, пока есть силы держаться за него. Ведь в детство нельзя впасть, это — старческая болезнь. Из детства можно только выпасть. Как из гнезда…

Да, еще был крокет. Детям расчистили площадку, засеяли газонной травой, и на ней они сами ставили ворота. И азартно, до слез и обид, гоняли шары с разными полосами. Обиды детства… Боже, какая сладость сегодня вспоминать о них! Таких наивных, простых, легких, возникавших из ничего, как чаще всего бывает в детстве, еще не успевших подрасти и потяжелеть, чтобы нежданно обрушиваться на плечи невероятно тяжелым и тусклым, как свинец, взрослым грузом. И тогда боль навечно с тобой. Не в слезах, не в истошных воплях крестьянских баб, а — внутри. В сердце твоем, и от этой боли нет никаких лекарств.

Откуда же эта боль в ней? Может быть, сказать о ней врачу?.. Нет, нет, никаких детских жалоб.

Жалобы кончились вместе с детством. Потому что кончается само детство. Навсегда. И некому больше пожаловаться, некому поплакаться, некому покаяться.

Почему некому? А Господь?

Только вот беда — они никогда не исповедовались. Никогда не говели — форма столь легкой фронды была широко распространена в кругах русской интеллигенции. Да, они посещали церковь, но посещали согласно семейным традициям, а не по личной потребности. Свадьбы и похороны, именины и общие семейные торжества служили причиной посещений церковных служб, но исповедоваться… Нет, нет, у них было заведено совершенно по-иному. Каждому ребенку выделялся один день в месяц, когда он обязан был отчитываться в своих детских грешках. Девочка — наедине с мамой, мальчик — наедине с отцом. Детские покаяния никогда не обсуждались никаким семейным советом. И все младшие Вересковские настолько привыкли к этому, что им и в голову не могло прийти хоть полслова сокровенного поведать кому-либо, кроме родителей. Родители всегда были для них представителями всех самых высших сил.

А когда у Тани начался пугающий девочек бо-

лезненный переход из детства в девичество и она со слезами сказала об этом маме под великим секретом, мама только ласково улыбнулась.

— Это естественно, не надо тревожиться. Просто ты становишься барышней и надо пить козье молоко.

Почему вдруг надо пить козье молоко, мама не объясняла. Козу купили немедленно, Танечка стала пить ее молоко, которое не любила, но отказываться от него и не подумала. Она очень любила маму и поэтому вскоре полюбила не только козье молоко, но и саму козу.

Какое это великое счастье — иметь маму!

— …Вам надо успокоиться. Я дам легкое снотворное…

Опять — голос доктора. Почему он такой знакомый, почему?.. И опять — ее внутренний ответ с плотно зажмуренными глазами: нет, нет, нет! Я — сама. Сама обязана справиться с собою. Сама…

Но снотворное ей все же дали, и Танечка впервые за много дней уснула крепким сном без сновидений. А перед тем как проснуться, увидела вдруг козу. С рожками и бородкой, но не задиру, а очень приветливую. Тогда окончательно проснулась, села на кровати и громко спросила неизвестно кого:

— Где я?

И вдруг услышала мамин голос. Как в яви:

— Ты на перепутье, доченька. Возьми веник и грабли. Подмети дорожки к дому и очисти сад от сухих веток и старой листвы. И все отсеется. Все второстепенное отсеивает труд. Не ради искупления грехов, а ради их осмысления.

Это был мамин совет, Таня в нем не сомневалась. И поэтому, как только появился доктор, сказала ему, что очень хочет работать. Подметать коридор, мыть полы, поливать цветы.

— Прекрасное решение! — просиял доктор. — Поздравляю, вы на верном пути к выздоровлению.

Так Татьяна стала уборщицей психиатрической лечебницы, все палаты которой всегда закрывались на ключ. Она старалась, ценя не только свою весьма относительную свободу, но и доверие почему-то такого знакомого лечащего врача. Доктор Трутнев был убежден, что труд всегда ведет к облагораживанию характера и смягчению импульсов внезапного раздражения, исступления или приступа безадресной злобы. Но он никак не мог понять, почему в его лечебницу попала именно Танечка Вересковская. Ему не передали историю болезни гражданки Су-

кожниковой, а потому он и не знал, что такого документа попросту не существует в природе.

А запрашивать не решался. Гражданка Татьяна Сукожникова поступила по прямому распоряжению Чека, а это учреждение уже успело внушить такой страх размахом бессудных расстрелов, что Петр Павлович сдерживал свое профессиональное любопытство. Но к больной ОТТУДА относился с особым вниманием. Хотя никому не говорил, что знает ее с раннего детства.

Однако проверить ее не мешало, чекисты могли и завербовать Танечку на свою службу. Россия вступила на глухую трясину доносов, клеветы, шепотков да намеков, и все стремились хоть как-то нащупать первый шажок, как в старой детской игре «веришь — не веришь», ставшей вдруг образом самой жизни. А большевистская власть подкрепила это не известным доселе категорическим императивом «доверяй, но проверяй».

Петр Павлович попросил Татьяну убрать его кабинет, не трогая при этом рабочего стола. Нет, он за ней не подсматривал. Он просто расположил на столе бумажки, запомнив их места и последовательность листочков. А Таня с особым старанием убрала не только его кабинет, но и уборную, наведя в ней доселе невиданную чи-

стоту. Все бумажки оказались на своих местах, доктор окончательно в ней уверился, а Татьяна запомнила, что в уборной есть окно, выходящее за ограждение больницы.

Обрадованный результатами проверки доктор наградил Таню синим санитарным халатом, чтобы при работе она не истрепала свой, больничный, темно-коричневого цвета. И поручил ей через день убирать в кабинете, для чего он будет выдавать ей ключ из рук в руки.

Татьяна продолжала старательно работать. Мама оказалась права и на этот раз. Горечь и непонимание собственной вины куда-то отходили, и на их место постепенно приходила вполне осознанная мысль, как убежать из этого сумасшедшего дома. Никакого импульсивного решения здесь не могло быть, и Таня трезво, тщательно и неторопливо взвешивала все возможности побега.

Но все решилось внезапно, в один день. Татьяна убирала коридор, когда в него неожиданно вошли трое мужчин. В кожаных куртках и фуражках, подпоясанные ремнями с непременными маузерами на длинных ремешках. Они не обратили внимания на уборщицу в служебном халате, а она — обратила. Это была Чека. И мотор глухо

урчал где-то за окном…

И все вдруг вспомнилось. Все. И доктор Трутнев Петр Павлович, и муж Леонтий Сукожников, и расстрел, и…

Нет, дальше вспоминать нельзя. Ни в коем случае. Ни одного больше шагу в прошлое, ни одного…

А кожаные гости проследовали прямо в кабинет доктора Трутнева. Разговора там, видимо, никакого не было, потому что он вышел в сопровождении кожаных людей, поспешно натягивая пиджак прямо на медицинский халат. И вся четверка прошла мимо, к входной двери, не обратив внимания на Татьяну.

Это было катастрофой, и если бы доктор успел передать ей ключ от кабинета, она, пожалуй, от страха потеряла бы голову и ринулась через окно в докторской уборной неизвестно куда. Но ключа у нее не было, а был всего лишь синий служебный халат. Оставалось ждать, потому что из больницы ее не выпустили бы даже в этом халате, надетом, кстати, на длинную больничную рубашку, которую Таня подтягивала пояском, чтобы края ее не выглядывали из-под халата.

И Татьяна ждала с замиранием сердца, продолжая механически возить шваброй по коридор-

ному полу.

Впрочем, доктор вернулся довольно скоро, и Таня очень удивилась, как-то уже сжившись с мыслью, что оттуда не возвращаются. Однако в кабинете доктор не задержался, успев только снять халат и натянуть на плечи пальто. Остановился рядом, шепнув ей:

— Помогите пальто оправить.

Таня стала помогать, а он сунул ей что-то в карман, торопливо продолжая шептать:

— Я положил вам в карман халата запасной ключ от кабинета и очень важную справку. Они интересуются вами, потребовали, чтобы я привез им все данные. Как лечил, чем лечил и каков мой диагноз. Боюсь, что они вас заберут, так как считают, что вы убили собственного мужа…

«Убила»? — Таня, не выдержав, шепнула в ответ:

— Почему же, почему мне не предъявлено обвинение?

— Потому что вы — член партии и… В общем, им проще спрятать вас здесь навсегда.

— Я не убивала, я…

— Молчите и слушайте, — тихо, но очень строго сказал доктор. — В уборной кабинета — окно, которое выходит за ограду больницы. А в моем

шкафу — юбка, кофта и платок. Советую бежать, если сможете выбраться в окно. Берегите справку.

А громко добавил:

— Закончите с уборкой, немедленно идите в палату. Я загляну к вам, когда вернусь.

Вернуться он не рассчитывал, это Татьяна поняла по его взгляду. Что-то перехватило горло, она не смогла выдавить ни слова и лишь кивнула в ответ. И доктор сразу же ушел.

Доктор ушел, а Таня стояла как стояла, застыв с занесенной для подметания шваброй, точно играла в детскую игру «замри-отомри». А в голове… В голове вновь зазвучали голоса, которые молчали во время лечения, а сейчас вдруг прорвались четко и ясно:

— …Ты убила мужа…

— …Из маузера…

— …Сгноим тебя в психушке…

«Нет, нет, это уже было. Было…»

Татьяна взяла себя в руки, огляделась. Коридор пуст, двери то ли камер, то ли палат закрыты на замок. А у нее есть ключ. Есть. Только не надо торопиться, могут следить.

Это были разумные мысли, но разумно решать Татьяна еще не могла. И поэтому быстро подошла

к дверям докторского кабинета, открыла замок ключом, вынутым из кармана халата, вошла в кабинет и тут же закрыла за собою дверь на ключ.

Подошла к шкафу, распахнула дверцы. В углу за докторским плащом лежал сверток. Руки дрожали, когда она разворачивала его. Все точно. Толстая крестьянская юбка, вязаная кофта, большой вязаный платок. И даже сапожки, о которых умолчал доктор. Городские, козловые, на небольшом каблучке. Таня, торопясь — «только бы впору были, только бы впору…», — натянула их, обрушила на себя юбку, надела кофту, повязала платок и кинулась в уборную. Вот и окно, только высоко, ей не достать…

Притащила стул из кабинета, кое-как — юбка путалась в ногах — взобралась на него, подергала окно. Оно не поддавалось, было забито наглухо.

А свобода — вот она. За стеклом… Значит, выбить его. Татьяна сорвала с себя кофту, обмотала кулак и что было сил ударила в стекло. Зазвенели осколки, стекло кусками вывалилось наружу. Таня аккуратно вынула оставшиеся части. Попыталась вылезти, но мешала широкая и длинная юбка. Стащила ее, скомкав, выбросила через окно за ограду. Вышло! Получилось!.. Подтянулась на руках, высунулась из окна, осторожно

огляделась.

Забор проходил в аршине от стены. Надо было прыгать, но как? Если головой вперед, то не получится, в лучшем случае она повиснет на заборе. Значит, надо прыгать ногами вперед. Во что бы то ни стало, вперед ногами, сильно оттолкнувшись ими от стены.

Значит, надо вылезать так, чтобы оказаться спиною к забору. Потом повиснуть на руках, оттолкнуться ногами от стены и во что бы то ни стало упасть за оградой. Даже падая при этом на спину. Там — бурьян и какие-то низкие кусты, они спружинят, и удар будет смягчен.

Стоп. Свобода без денег — не свобода. Попрошайничать — не для нее, да и не даст никто. Россия озверела от крови и оглохла от расстрельных выстрелов надолго. В лучшем случае — задержат и донесут… Значит, сначала надо раздобыть денег. Хотя бы немного, на первое время.

Опять кинулась в кабинет. Поискала почему-то в шкафу, потом — на полках. Нигде ничего не было. Стала искать в столе, но в открытых ящиках хранились только какие-то бумажки, истории болезней, справки. Не то, не то… Кое-как взломала закрытый на замок ящик стола.

Там лежал браунинг и целых пять червонцев.

Схватила, затолкала за пазуху вместе с браунингом, снова бросилась к окну. Вылезла из него, как было задумано: спиной к забору.

Вряд ли ей удалось бы проделать все это, если бы она с детства не занималась спортом — скакала на лошадях, прыгала со скакалкой, лазала по деревьям. А самое главное, не боялась. Желание обрести свободу, вырваться из психушки было настолько сильным, что подавляло всякий страх в ее душе. Она сумела вылезти из окна спиною вперед, сумела уцепиться за нижнюю раму, сумела изо всех сил оттолкнуться ногами и…

И, перелетев забор, упала в бурьян, который и вправду ослабил удар. Вскочила на ноги, влезла в юбку и, пригнувшись, бросилась к лесу. И остановилась только тогда, когда скрылась в кустах. Там отдышалась и достала справку, которую ей сунул в карман доктор.

Справка была выдана на имя беженки из Орловской губернии Агафьи Силантьевны Кузнецовой, прошедшей медицинское освидетельствование в психиатрической лечебнице.

24

А штабс-капитан Вересковский все еще отращивал бороду в ожидании, когда появятся

подходящие документы. Он твердо решил прорываться на казачий юг, мнения своего не менял, и Аничка только теряла время, убеждая его не поступать слишком опрометчиво.

Беда была в том, что ей не случалось влюбляться. Конечно, были увлечения, которые она по молодости принимала за любовь, но они проходили почти безболезненно, оставляя в душе лишь смутное желание любви, от которой теряют голову и себя самою. Но она всю жизнь прожила подле госпиталей, вдали от центра города, где вечерами гуляли по Блонье, а военный оркестр играл марши и задумчивые русские вальсы. Всего этого Аничка была лишена, а окончив Мариинскую гимназию на Большой Дворянской, вообще почти не бывала в городе. Не случалось бывать, как не случилось и влюбиться без памяти.

И вдруг — эта встреча с энергичным, безумно смелым капитаном Вересковским. Его отчаянная атака самой цитадели смоленского большевизма, его яростное сопротивление, его презрение к уже победившим толпам вчерашних сермяжных солдат внушали ей уважение, граничившее с восторгом. И даже его постоянная сдержанность и безулыбчивость волновали ее, помнившую капитана совсем иным во время их прогулки по

древнему городу. Но сейчас он был весь в себе, скупо поддерживая застольную беседу, которую всегда с привычной неохватностью интересов вел Платон Несторович.

— Великие нации смертны, как смертны все живые образования. Это — некий бульон, в котором существует данный народ, вначале пожирая соседей и вообще более слабых. И все равно рано или поздно наступает коллапс и, как следствие, самоуничтожение.

— Полагаете в настоящем начало конечного забега России? — как-то уж очень безразлично спрашивал Вересковский. — Этакого динозавра не сломит никакой коллапс, уважаемый профессор.

— При одном условии. Если динозавр приспособится и начнет поставлять на рынок не только солдат революции, а что-либо полезное, ему ничего не грозит. Но если поставки вдруг прекратятся, он начнет переваривать собственный хвост. Не согласны?

— Кто его знает. В России все возможно, кроме демократических реформ. Их не воспринимает наш менталитет.

— Вот их-то я и имею в виду. Почему народные массы, не размышляя, ринулись за большевика-

ми? Да потому что их устраивал основополагающий лозунг обещанного царства коммунизма: от каждого по способностям, каждому по потребности. Вот это Россию устраивает полностью, землю она ковырять не очень-то любит, а перекуривать — с нашим полным удовольствием. Вы скажете, а как же с энтузиазмом масс? А никак, его нет, не существует его в природе в виде, так сказать, насущной потребности взрослого человека. Молодежь — да, она склонна слышать рев труб, гром литавр и звон цимбал, но взрослый человек жив семьей своей, в семейной тишине и спокойствии. То есть в гармонии, а не в грохочущем энтузиазме. Детей исстари в гармонии воспитывают, и церковь эту гармонию всячески поддерживала. Храм Божий — особенно на селе — был спасением от громкого мира, от всяческих свершений, которые необходимы для будущего царства всеобщего равенства удовольствий, но отнюдь не равенства труда, потому что труд не может быть равным. Не может изначально, ибо в нем заключено творчество.

— Извините меня, но я не уловил суть, — вздохнул Александр. — Может быть, не вовремя задумался.

— А суть в том, что при такой искусственной

организации труда динозавр рано или поздно начнет пожирать себя. То есть торговать собственными недрами, а не воспроизводимыми товарами, как то делают развитые страны.

Разговор шел вяло и неинтересно, и Аничка сердилась на отца. Не только потому, что он его начал, сколько из-за того, что Голубков задерживал Александра, тем самым отнимая его у нее. У Анички весьма высоко проявлялось чисто женское чувство собственности, в особенности если мужчина ей нравился. Отец не мог не знать, что Александр ей нравится, а, поди ж ты, упрямо держал его, а время текло и текло…

— …Грубость для русского человека — акт самоутверждения. Утверждения за счет унижения другого…

Дальнейшим разглагольствованиям помешал звонок в дверь. Платон Несторович сразу замолчал, но не забеспокоился, а с удовлетворением сказал:

— Открой дверь, доченька. Видимо, это из милиции, так что вы, милостивый государь, временно удалитесь.

Аничка подождала, пока капитан скроется в коридорчике, который вел в морг. Там был запасной выход. Открыв дверь, искренне удивилась:

— Вот уж кого не ждали!

Вместе с нею в гостиную вошел прапорщик Богославский, одетый почему-то в темную одежду дьячка.

— Выгнал меня дядюшка мой, — сказал он, поклонившись. — Изыди, говорит, и сам спасайся. Кругом одни красные, а я и на воротах храма собственного распятия не желаю. Справку, правда, дал, будто дьячок я его прихода.

— Это упрощает задуманное, — улыбнулся Платон Несторович. — Позови капитана, Аничка.

Александр очень обрадовался внезапному появлению боевого товарища. Однако радость свою привычно сдержал, лишь крепко пожал ему руку.

— Мне случайно удалось узнать, что на лесопилке будто бы готовят баржу с досками для сплава на Рославль, — сказал прапорщик. — Если бы ночью пробраться к ней и залезть…

— Ждать, — отрезал Платон Несторович. — Терпеливо ждать, вот в чем основная задача.

— Чего ждать? — сердито спросила Аничка. — Сейчас темно и, кажется, пока тихо.

— Ждать милиции, доченька. У капитана нет документов, а без них ныне и шагу не ступишь.

— А при чем тут милиция? — Аничка недо-

вольно дернула плечиком. — Она уже сплошь большевистская.

— Потому-то и процветает бандитизм, — вздохнул патологоанатом. — А трупы убиенных милиция доставляет для вскрытия, таков порядок. И я жду подходящий материал для капитана.

— В каком смысле? — усмехнулся Богославский.

— В смысле подходящей фактуры и документов для Александра. Как правило, эта красная милиция документы не отбирает, чтобы поменьше было возни, что ли. Получают от меня справку о смерти, составляют акт и отряжают команду из содержащейся в тюрьме интеллигенции на похороны. Террор весьма упрощает жизнь, почему он и неизбежен при власти дилетантов.

В начале своей деятельности советская власть официально именовала босяков, мелкое жулье, воров, хулиганов и прочее отребье «социально близкими», взваливая на них всю работу по разгрому интеллигенции. Тогда и был брошен в массы лозунг «Грабь награбленное!», а когда городская и сельская босота с удовольствием исполнила призыв, с грабежами и разбоями стали бороться, но как-то вяло и не очень охотно. Милиция была нацелена на криминал организо-

ванный, угрожавший самой власти, а не каждому гражданину в отдельности. Да и прицел-то был какой-то странный, будто милиция все еще ожидала возврата к помощи «социально близких», а потому и не решалась рубить под корень.

— Если засветло не придут, значит, до утра можно спать спокойно, — сказал Платон Несторович. — Не любят они Покровки.

— Почему? — вежливо поинтересовался Богославский.

— Говорят, бензина мало, а на лошадях — далеко. А на самом-то деле местных побаиваются. Оружие раздали всем, кто просил, центр далеко, а у нас на Покровке народ дружный.

— Может, нам тоже следует поберечь керосин? — вдруг спросила Аничка. — Прапорщик с документами переночует дома, а капитана я провожу на сеновал и завалю сеном.

— Откуда у нас сеновал? — удивленно спросил патологоанатом. — Уж чего-чего, а этого у нас доселе не было.

— Я… — Аничка смутилась, так и не научившись обманывать отца. — Я спросила разрешения у соседей, и они не возражают. У Квашниных, у которых корова.

— Лучше посумерничать перед пыхтящим

самоваром, — мечтательно сказал Платон Несторович: ему хотелось немного повыступать перед столь редкой аудиторией. — Летними вечерами наши предки очень любили подолгу, до полной темноты сидеть без света. В сумерках все женщины казались прекрасными, а мужчины — идеальными. И непременно рассказывали ужасные истории про вампиров, вурдалаков, оборотней, кровавых разбойников. И это казалось совсем не страшным, потому что было что защищать, и было кому защищать. И мы, как в старые, добрые времена…

— Вот именно казалось, — сердито перебила Аничка. — Сейчас сумерки не в гостиной, а по всей России, и страшные сказки уже не нужны даже детям. Все и так живут, пригнувшись от страха. Даже доблестная красная милиция, так и не посетившая нас.

— Может, в городе вообще перестали убивать? — предположил прапорщик Богославский. — Хотя это слишком оптимистичное предположение для современных сумерек.

Аничке не нравилась эта никчемная сумеречная беседа, потому что она твердо решилась. Сегодня же, без всяких отсрочек, почему и возник некий сеновал, который принадлежал неиз-

вестно кому, но уж никак не Квашниным. Отец прекрасно понял ее, но кроме дочери у него никого не было. Да, он понимал, что однажды его Аничка найдет своего мужчину, боялся этого, ревновал, а потому и выдумал это сумерничание. Все отцы ревнуют своих дочерей, но у Платона Несторовича эта ревность была болезненной до щемящего ощущения в сердце. Уж слишком он был одинок.

— Всё! — собравшись с духом, решительно сказала Аничка. — Милиция не явится, а завтра господа офицеры могут отправиться в путь трудный и опасный. А потому я увожу капитана с собой, а прапорщик остается как человек легальный.

— Был человек разумный, стал человек легальный. Кардинальное изменение общества при советской власти, — вздохнул Голубков. — Видимо, Аничка права. Пора баиньки.

Аничка увела Вересковского. Голубков помолчал, похмурился, повздыхал, подумал и принес колбу спирта и два стакана. Плеснул по половинке, придвинул графин с водой.

— Вот я и потерял дочь, — тихо сказал он и опрокинул спирт в рот. Поморщился, не запивая. — Впрочем, все естественное — разумно.

— Пью за то, что вы приобрели сына. — Прапорщик тоже выпил, торопливо хлебнув воды из графина.

— Сына?.. Этот сын думает, где бы еще пострелять вдосталь. Это не сын — защитник, это сын — разрушитель, знаете ли. Каково время, таковы, естественно, и сыновья.

— Мы не выбираем время.

— Зато время выбирает вас. — Платон Несторович вздохнул, непроизвольно потер левую сторону груди. — Это вы, вы развязали эту проклятую Гражданскую войну, вы…

— Успокойтесь, профессор, — недовольно поморщился Богославский. — Подумайте лучше, как счастлива сейчас ваша дочь, и с этим ощущением мы и завалимся спать.

Аничка действительно была счастлива. Счастлива всей душою, всем телом, исполнением самых тайных, самых заветных своих мечтаний, а потому и гнала из головы мысли о конечности этого счастья. Все придет потом, потом, как легкая элегическая грусть о миновавших мгновениях полного счастья…

Собрались утром за чаем. Аничка сияла, отец хмурился, офицеры тактично вели общий разговор. А потом приехала расхрабрившаяся милиция

с очередным трупом. Капитан спрятался в шкафу, а Голубков увел милицию в прозекторскую, где и подал требуемое заключение об убийстве. Проводил дорогих гостей, вернулся с великой радостью, скрывать которую и не пытался:

— Ну вот вам и документы, капитан. Отныне вы — старший унтер-офицер двести девятнадцатого полка Колосов Иван Матвеевич. Направляетесь по месту жительства в Курскую губернию для отдыха после ранения. Кстати, вы — георгиевский кавалер.

— Кстати, я и в самом деле георгиевский кавалер, — усмехнулся штабс-капитан Вересковский. — Знак советской властью не отменен, а доверие вызывает. Так что нацеплю.

— Нацепите и — под доски…

— Зачем же под доски, папа? — пожала плечами Аничка. — С такими документами и на досках удобно. А то и на буксире, я договорюсь с командой.

— О прапорщике не забудь, — сказал Платон Несторович. — Пардон, то бишь, о дьячке.

Аничка ушла, мужчины остались одни. Капитан молча подправлял отпущенную бороду, прапорщик старательно подшивал длинный подол великоватой для него рясы. Молчание

очень не нравилось Платону Несторовичу, даже тревожило чем-то неопределенным. И поэтому он в конце концов нарушил его не самым лучшим образом:

— Гражданская война — самое страшное бедствие для России. Небывало страшное.

— Самое страшное бедствие для России — власть большевиков, — тотчас же отозвался Вересковский. — Система управления неминуемо рухнет, и у большевиков останется единственный выход. Террор. Впрочем, мы, кажется, уже обсуждали эту тему, профессор.

— Боже мой, — вздохнул Голубков. — Боже мой, неужели нет никакого иного выхода?

— Можно петь, — улыбнулся Богославский.

— Что петь?

— Лазаря, дорогой Платон Несторович.

— Глупые у вас шутки.

Некоторое время они так препирались, а потом пришла Аничка. И с порога объявила:

— Кричите «ура!», господа. Я обо всем договорилась, и завтра утром вы вполне комфортабельно отправитесь в Рославль.

И была еще одна безумная ночь на чужом сеновале, в которую Аничка не сомкнула глаз. Капитан крепко спал, чуть похрапывая во сне, а она,

склонившись над его заросшим лицом, молилась про себя, чтобы Бог позволил ей увидеть своего капитана еще хотя бы раз, хотя бы мельком, хотя бы издали…

На заре Аничка провела капитана и прапорщика на буксирный катер, где они и устроились на корме с относительными удобствами. Распрощались с грустной провожавшей их девушкой, катер загудел и медленно поволок за собою цепочку плотов.

— Слава Богу, тронулись, — с облегчением вздохнул Богославский. — Даже документов не проверили.

— Сплюньте, прапорщик, — проворчал Вересковский. — Вот когда Рославль проскочим, тогда и Господа возблагодарим.

На плоты с лодок пересаживались то ли беженцы, то ли хлебушек на югах промышлявшие, то ли бежавшие от большевиков куда глаза глядят. Кто-то из команды непременно посещал плоты, отбирая у плотовщиков мзду за проезд, но к офицерам на самом катере никто не подходил. Из этого вытекало, что Аничка сама оплатила их путешествие, и капитан с уже привычной теплотой подумал о ней. Она сделала все возможное, чтобы офицеры проскочили большевистские заслоны и

смогли бы пробраться к частям белой армии.

Слабосильный буксир даже по течению шел медленно. Плоты порою сталкивались, путались, тогда катер останавливался, ожидая, пока плотовщики вновь не выстроят их в линию. А как только стало темнеть, вообще причалил в укромном заливчике и заглушил мотор.

— Кашевар, готовь кулеш понаваристей! — крикнули с мостика. — Ночуем на берегу!

— Только этого нам и не хватало, — вздохнул прапорщик.

— Ремень потуже подтяните и, глядишь, доберемся, — посоветовал Вересковский.

Плотовщики тем временем сноровисто крепили плоты к корневищам поречных деревьев, чтобы не разметало бревна ветром или внезапно поднявшейся водой. Только после этого все сошли на берег, кроме караульщиков, и расположились у костра, над которым на рогатине висел котел с кулешом.

— Эй, служивые! — окликнули с берега. — За все уже заплачено, пожалуйте к костру!

— Ай да Аничка! — улыбнулся прапорщик. — Непременно женитесь на ней, капитан. Рекомендую.

— Благодарю, прапор. Это — мысль.

Так за две ночевки и добрались до Рославля без помех. Офицеры уже собирались сойти с буксирного катера, как вдруг на берегу появились вооруженные люди.

— Так, — вздохнул Богославский.

— Это охрана, — сказал Вересковский. — Спокойно, документы у нас в порядке.

И поправил на груди солдатский Георгий.

Вооруженных было трое, подчинявшихся, как сразу определили офицеры, мрачноватого вида мужчине в кожанке с маузером на длинном ремешке.

— Документы. — Внимательно просмотрел справки. — За что Георгия получил, унтер?

— За взрыв моста.

— Такие люди нам нужны. Именем советской власти мобилизую в Красную армию. И назначаю тебя, кавалер, командиром роты.

— Да я же после ранения… — начал было капитан.

— Лечиться будем после победы мирового пролетариата. А сейчас проследуем в полк. И ты, дьячок, тоже, у нас людей не хватает.

Напрасно Вересковский пытался объяснить, что он еще не оправился после ранения, что давно не видел родных, что… На все его доводы

следовал один и тот же ответ:

— После победы мирового пролетариата.

— Ну, до этого мы еще успеем перебежать к своим, — шепнул капитан Богославскому, следуя за кожаной спиной.

25

К Просечной бронепоезд «Смерть империализму!» подходил спокойно, солидно и неторопливо. Не ожидавшая сопротивления команда, полагая, что поселок и станция признали советскую власть, решила не тревожить население агрессивным грохотом своего бронированного чудовища.

Такова была обычная практика захвата местечек с полустанками для последующего грабежа и разгрома. Сначала войти тихо, без выстрела, удобно расположиться напротив вокзала, высадить группы с алыми бантами для встречи с населением, а главное, для разведки, как и что именно грабить. Посетить рынок, приглядеться к лавочкам и магазинчикам, осторожно намекнуть жителям, что не худо бы встретить революционных бойцов хлебом да солью, а потом неожиданно для них навалиться со всей возможной и невозможной жестокостью. Это всегда срабатывало безотказно, население доверчиво

ничего не прятало и не перепрятывало, а радостно встречало освободителей, правда, неизвестно от кого. Поэтому подкрадывались осторожно.

И вот тут-то…

За бронепоездом неожиданно грохнул взрыв. Никто ничего не успел сообразить, как точно такой же взрыв раздался впереди.

— Выходная стрелка взорвана! — по внутренней связи доложил машинист товарищу Анне.

Если бы верный Кузьма не подобрал для своего командира именно этого паренька, находившегося сейчас в купе Анны, события, вполне возможно, развивались бы по-иному. Но уж очень хорош был паренек, нежен и ласков, покорен и настойчив, и товарищ Анна готова была проводить с ним все время. И как раз в этот момент была не в форме. Как внешней, так и внутренней.

— Полный назад!

— Есть полный назад!..

Тяжелый бронепоезд затормозил, остановился, начал сдавать назад, что потребовало времени. Команда не понимала, что же происходит, а товарищ Анна только-только начала лихорадочно приводить себя в порядок, когда по внутренней связи донесли:

— Входная стрелка взорвана!..

— Экипаж, к бою!.. — крикнула Анна, ворвавшись в коридор. — Боевая тревога!..

Команда бросилась к пулеметам и артиллерийским башням, теснясь и толкаясь в узких проходах. Напрасно тратилось время и вносилась сумятица, потому что никто пока их не обстреливал. Однако когда бронепоезд начал сдавать назад, последний броневагон дважды обстреляли из пушки, развернув пулеметную башню.

— Вперед!.. — скомандовала товарищ Анна. — Огонь по вокзалу из всех пулеметов!

Медленно поползли вдоль одноэтажного каменного здания вокзала, щедро поливая его свинцом. Однако ни одного выстрела не раздалось в ответ, но как только подошли к взорванной выходной стрелке, отчетливо полоснула по броне очередь, словно предупреждая, что заниматься ремонтом стрелки не стоит.

— Откуда стреляли?

— А черт его знает! Разве в щели разглядишь?

— Прикроем пулеметами, — решила Анна. — Ремонтную бригаду выпустить через донные люки. Пулеметчикам прикрывать ремонт, не жалея патронов!

Как только ремонтники спустились на пути через донные люки, по ним началась ружейная

стрельба. Да не залпами, а методически выбивая ремонтников одного за другим. Они укрывались за колесами, расползались под днищем бронепоезда, но поднять головы, чтобы оглядеться, никто не решался.

— Взять вокзал, — распорядилась Анна. — Кузьма, прикажи ремонтникам выкатиться из-под колес и укрыться, пока мы не вернемся. Как только отряд возьмет вокзал, пусть бросают все силы на подавление огневых точек противника на входе и выходе станционных путей.

Бронепоезд вновь прополз мимо вокзального здания, вновь щедро обстреливая его из пулеметов. Ответного огня не было.

— Во дураки, — сказал кто-то. — Сейчас мы им покажем, как воюет экипаж «Смерть империализму!».

— Сначала открыть бронелюки, — распорядилась Анна. — Если не будут стрелять, быстро вперед!

Люки открыли. Выждали. Никто не стрелял, и никакого движения в окнах вокзала не замечалось.

— Вперед!

Двенадцать хорошо вооруженных для ближнего боя бойцов выкатились из люков на насыпь,

тут же вскочили и со всех ног помчались к молчаливому вокзальному зданию.

И тотчас же из всех темных окон вокзала грохнули ружейные залпы, а из чердачного окна застрочил пулемет.

— Назад!.. — срывая голос, закричала товарищ Анна. — Это ловушка, всем пулеметам — огонь!..

Из дюжины в бронепоезд вернулось семеро, причем двое были ранены. А вокзал опять замолчал, равнодушно глядя темными провалами окон на железнодорожные пути.

— Возвращаемся к ремонтникам. Помогать чем можем и охранять, пока последний из них не вернется в бронепоезд.

Бронепоезд отполз к взорванной выходной стрелке без выстрелов — все равно противника видно не было, он умело маскировался. Накрыв бронированным вагоном место, где прятались рабочие, пулеметчики открыли частую, но неприцельную стрельбу, прикрывая работу мастеровой команды.

Команда эта работала лежа, а развороченная взрывом стрелка требовала не просто подтяжки гаек, но и замены взорванных кусков рельсов и стыков. Но стоило ремонтнику приподняться, чтобы достать накладку или просто навалиться

на гаечный ключ, как он тут же становился мишенью, отделываясь в лучшем случае ранением. Пули рикошетировали, отскакивая от броневых листов обшивки, и тут уж уберечься от них можно было лишь при особом везении.

Первый знак этого везения уловила Анна. Тактика боя не менялась, из орудий в лоб по застрявшему бронепоезду никто не бил, и она поняла, что у гарнизона зарядов для пушек больше нет. Что он ждет помощи, потому что расстрелять из винтовок и пулеметов бронированный состав никто не в состоянии.

Так оно и было. Получив сообщение о скором нападении бандитского бронепоезда на полустанок и местечко, местные власти запросили помощь соседних войсковых соединений, оттуда нехотя и с опозданием выслали роту с орудийной батареей, но она заблудилась скорее от нежелания ввязываться в бой, нежели из-за отсутствия карты местности. За потери командование взыскивало куда круче, чем за уклонение от боя на каком-то там богом забытом полустанке. Это было типично для Гражданской войны, где все воевали прежде всего за себя.

Но товарищ Анна не исключала, что помощь в конце концов может подтянуться, а потому

следовало как можно быстрее уходить из этой вдруг оскалившей зубы Просечной.

«Кстати, откуда они узнали о маршруте бронепоезда?..»

Эта мысль мелькнула и исчезла. Не растворилась, а просто осела в глубины памяти, потому что сейчас было не до нее.

— С ремонтом закончить в кратчайший срок. Прикрывать ремонтников огнем. Помогать им по мере возможности.

Защищали ремонтников и помогали им все, кроме нового адъютанта. Мальчишка с огромным удовольствием любовался боем сквозь смотровую щель и никому не мешал. Пока вдруг не отвалился от нее в узкий проход. Случайная пуля попала в глаз. Его оттащили в закуток, чтобы не мешал, сказали Кузьме.

— Паренек твой насмерть погиб, товарищ Анна, — сокрушенно вздохнул Кузьма.

— Что?.. — Только остановившийся взгляд выдал ее эмоции. — Скорее с ремонтом, скорее, скорее!..

«Видать, считает, что плохи наши дела», — подумал Кузьма и пошел в носовую часть бронепоезда.

Через час, потеряв еще двоих ранеными, вос-

становили развороченную взрывом стрелку, прошли ее на малом ходу и, набирая скорость, громыхая всеми разболтанными частями, ушли «от Просечной на юг», — как в письменном донесении наверх сообщили местные власти.

— Начальника штаба, — распорядилась Анна.

Вошел худощавый, с изрытым оспой лицом, еще молодой, но изможденный мужчина в морской офицерской форме без погон и нашивок. По-офицерски резко наклонил голову и строго выпрямился у дверей.

— Проходите, капитан, присаживайтесь, — сказала Анна, разбираясь в подшивках тактических карт-двухверсток.

Капитан прошел, сел напротив. Он был сдержан, молчалив и необщителен, однако товарищ Анна ценила в нем стратегический расчет, умение взвешивать возможные ходы противника и точность оценок сложившихся ситуаций.

— Вот наше место. — Она ткнула карандашом в карту. — Наши потери как технического свойства, так и людские вы знаете. Что бы вы сделали на месте противника?

— Противник это уже сделал.

— Что именно сделал?

— Он передал по телеграфу о бое и указал наш

маршрут. Мы пробились только потому, что красные командиры не умеют воевать. Однако не подошедшие к Просечной резервы могут нас ждать на следующем полустанке. А в принципе на любой версте. Достаточно выбрать дефиле и взорвать рельсы. Отсюда первая задача: во что бы то ни стало уйти с этого маршрута.

— На карте указана железнодорожная ветка вправо от нашего движения. Правда, обозначена всего лишь пунктиром, однако карта старая, могли и достроить. Ваше мнение?

— Выслать вперед разведку. Только из пехотинцев, а не моряков, которые этому не обучены. Медленно двигаться за ними. Если дорога вправо есть, уйти по ней. И там тоже выслать разведку, которая должна иссследовать этот путь. До возвращения и отчета разведки срочно приступить к ремонту, выставив усиленные ручными пулеметами двойные охранения по обеим дорогам.

Бронепоезд, громыхая суставами, осторожно полз вослед за пешей разведкой. Все ленты были снаряжены, все патроны загнаны в патронники, пулеметчики не отрывали глаз от прицелов. Все было изготовлено к тому, чтобы драться в самом последнем бою.

Но их никто не преследовал, и, если уходящая

влево, пунктиром обозначенная как строящаяся, железная дорога в самом деле существовала, они получали шанс спрятаться, провести ремонт, а потом исчезнуть среди бесконечных и путаных железных путей юга России.

Дорога была, разведка дала отмашку. И бронепоезд, грохоча разбитыми сочленениями, переполз на нее и вновь поплелся за другими разведчиками по этой лесной дороге.

Спрятавшись за поворотом, приступили к срочному ремонту. Все, весь экипаж, потому что дел было невпроворот. И только пулеметчики охранения заняли укрытые позиции у поворота, да разведка продолжала свой путь, исследуя, куда ведет эта ветка.

И тишина сразу нарушилась грохотом кувалд, дробным стуком молотков, шипением сварочных аппаратов. Необходимо было во что бы то ни стало вновь обрести подвижность, боевую мощь и уйти как можно дальше от стреляющих полустанков.

Только куда — дальше? Этот вопрос очень беспокоил Анну и ее начальника штаба. Судя по всему, их могли встретить на пути от Просечной к югу, подтянув достаточно сил, чтобы навсегда покончить с разбойным подвижным гнездом. И

командиры ждали разведку.

Она вернулась уже под вечер, когда заканчивали работы. Путь впереди был. Ветка выходила на соседнюю солидную дорогу, и никакого охранения на выходе не существовало. Все вздохнули с огромным облегчением, а товарищ Анна приказала навсегда закрасить надпись «Смерть империализму!», написав вместо этого «Смерть большевикам!». А пока закрашивали да писали, отозвала Кузьму в сторонку.

— Нового адъютанта тебе подобрать, товарищ Анна? — насмешливо поинтересовался Кузьма.

— О том, что мы идем на Просечную, знал только Павел, — жестко сказала она, проигнорировав его игривость.

— Это точно.

— Найди его и… — Анна запнулась. — И приведешь в отрицание.

— Чего? — не понял Кузьма.

— В отрицание, чтоб не топтал больше землю. И пока не найдешь, лучше не возвращайся.

— Погибших похороним, последний поклон отдам, а уж тогда и пойду твой приказ исполнять, товарищ Анна, — угрюмо сказал Кузьма. — Насчет этого твоего отрицания.

— В полное отрицание, полное! Сам, лично

исполнишь и доложишь, когда нагонишь нас.

— Куда пойдете?

— На юг, там — свои по отрицанию. Граница большевистского царства — небольшая речка с топкими берегами и длинным мостом. Как только проскочим мост, считай, что ушли. Вот и ищи нас там, за этой речкой. Ты — балтиец, документы у тебя вроде в порядке. Даже справка есть, что под Нарвой будто бы за большевиков кровь проливал.

— Прощай, товарищ Анна.

На этом они и расстались, чтобы никогда более не увидеться. Не увидеться потому, что этого не хотел Кузьма.

Он шел и угрюмо думал о товарище Анне, снабдившей его такими неотразимыми документами. Отрицание, отрицание… Всех — в отрицание, всю Россию готова в отрицание списать, лишь бы грабить, грабить, грабить. Мостик, говоришь?.. Так не будет тебе того мостика, запомнил я его. Запомнил, товарищ Анна…

26

Павлик наблюдал за боем бронепоезда с гарнизоном, спрятавшись на скате густо заросшей кустарником вершинки. Товарищ Анна про-

рвалась, потому что гарнизон Просечной был ничтожно мал, имел на вооружении всего одну легкую пушчонку, а войсковые части так и не подошли.

Нет, этого свободомыслия оставить без строжайшего наказания Павел не мог. Разгильдяйство привело к прорыву очень опасных врагов, сеявших смерть и насилие под лозунгом «Смерть империализму!», тем самым обманывая простых людей, которые встречали их хлебом-солью и которых они насиловали, убивали и грабили подчистую.

Им владел благородный юношеский гнев против насильников и убийц. Он ненавидел их до ослепления, он жаждал не мести — он жаждал справедливой расплаты, какой она представляется только в молодости. Не для себя и не ради себя — ради того идеала чести и благородства, который цепко приживается в детских душах, если родители, семья, традиции дома вложили его. В него — вложили, и этого капитала он еще не растратил в отличие от некоторых братьев и сестер. То, что получил он в детстве, еще и умножилось на юношеский максимализм. А еще сохранилась и любовь стрелять во все, что бегает или летает.

Бронепоезд не разгромили только потому, что

воинская часть не пришла на помощь малочисленному гарнизону. Это было для Павлика ясно, а потому виновные должны были понести заслуженное наказание.

Павлик и представления не имел, какой силой прямого воздействия обладает чекистский мандат. И незнание увеличивало силу этого почти мистического воздействия. Люди, годившиеся ему в отцы, командиры и лица должностные тут же вставали по стойке «смирно», увидев зловещий документ. Такой мандат означал, что его предъявитель имеет право на бессудные расстрелы, изредка формально опираясь всего-то на три подписи им же назначенных лиц.

Однако Павлик нисколько не удивился, когда начальник гарнизона Просечной вытянулся перед ним в струнку, даже не заглянув в мандат, и почему-то сказал:

— Семен Мухин. Готов к исполнению!

— Вы послали связного за помощью?

— Так точно! Конного, с депешей. Посылал дважды, но помощь так и не пришла.

— Командир части будет расстрелян за неоказание помощи в бою, — сурово сказал Павел. — Численность его отряда?

— Сто тридцать девять человек, одна батарея из

двух орудий, пулеметная команда с двумя пулеметами и комендантское отделение при штабе.

— Поднимайте свою команду, товарищ Мухин. Через полчаса пойдем в расположение саботажников.

— Кого?..

— Того, кто отказал вам в боевой помощи.

Выехали минут через сорок. Для себя Павел потребовал коляску: ему казалось, что так он солиднее смотрится. С этой же целью он постоянно сдвигал брови к переносью, чтобы выглядеть непреклонным, строгим и озабоченным. А вперед приказал выслать конного нарочного с приказом построить к его приезду отряд. В полном составе.

Когда Павел подъехал, отряд был выстроен на площади полукругом в три шеренги. На флангах разместились конники кавалерийского взвода верхом с обнаженными для салюта шашками и артиллеристы перед своими пушками. Это Павлу не понравилось. О салюте он и слыхом не слыхивал, а вот про конную атаку кое-что слышал. И поэтому сказал, едва подъехав:

— Распоряжения особо уполномоченных Чрезвычайной комиссии слушают стоя, а не сидя в седлах.

Конники тут же спешились. Павлик подъехал

ближе и встал, не вылезая из коляски. И тотчас же от центра строя по направлению к нему зашагал командир, изо всех сил топая корявыми сапогами. Не доходя до коляски, выхватил из ножен шашку, отсалютовал ею и громко доложил хрипатым от волнения голосом:

— Отдельный полк рабоче-крестьянской Красной армии выстроен для торжественной встречи товарища уполномоченного! Докладывает выборный командир полка Антон Спивцев!

— За сознательное неоказание боевой помощи во время сражения с бандитским бронепоездом командир Отдельного полка Спивцев отдается под суд и будет расстрелян решением Особого совещания. Товарищ Мухин, возьмите у него оружие.

— Есть взять оружие!

Мухин спешился, снял с растерянного выборного командира Отдельного полка Спивцева шашку, вынул из кобуры наган. И все молчали, не очень понимая, что происходит.

— За измену товарищам по общей борьбе именем Чрезвычайной комиссии приказываю расстрелять бывшего командира Спивцева. Приговор исполнить немедленно. Есть желающие в полку?

В шеренгах возникло некоторое замешательство, которое, однако, продолжалось недолго. Из рядов вышел хмурый немолодой боец. Помолчал, мрачно поглядывая на неизвестного молодого уполномоченного, и сказал:

— Исполню.

— Исполняйте, приговор потом напишем. Где начальник штаба?

— Так точно! — Из рядов шагнул немолодой человек в изрядно поношенной офицерской форме без знаков различия. — Бывший полковник Генерального штаба Молчанов.

— Пройдемте в штаб, доложите обстановку. — Павел вылез из коляски. — Мухин, объясни бойцам текущий момент.

И вслед за начальником штаба прошел в избу, где размещался штаб Отдельного полка.

— Ваш отряд по вине вашего командира упустил бандитский бронепоезд. Меня интересует, куда он мог направиться.

— Я захватил с собою набор топографических карт-двухверсток, — сказал бывший полковник, роясь среди бумаг. — Знаете, на всякий случай, чтобы при первой же возможности дезертировать из этого Отдельного полка и — затеряться.

Тут начальник штаба слегка запнулся и остро

глянул, как товарищ уполномоченный отреагирует на глагол «дезертировать». Но тот никак не отреагировал, и полковник тотчас же пояснил:

— Это я к тому, что у меня далеко не полный объем…

— Этот район есть, надеюсь?

— Этот безусловно. Сейчас, сейчас… — Полковник вытащил наконец нужную подборку, вздохнул с облегчением и развернул двухверстку на столе.

— Вот полустанок Просечная.

— Значит, бронепоезд мог уйти только по этой дороге? — спросил Павел, вглядываясь в карту. — А что это за пунктирная линия?

— Это — проект новой ветки. Карта двенадцатого года, и неизвестно, успели ее построить или нет. А если успели, то довели ли до следующей магистрали? Или это просто тупик.

— В двенадцатом уже поздно было строить, — уверенно сказал Павел. — Исходя из этого предположения, ваше мнение, куда все же пошел бандитский бронепоезд?

— Исходя из вашего мнения, — далее на восток, — полковник чуть подчеркнул «вашего», но Павел не обратил на это внимания. — Прикажите начальнику станции Просечная немедля

связаться по телеграфу со всеми полустанками вдоль дороги на восток.

— Ну, так скажите Мухину, чтобы послал вестового на станцию Просечная, — буркнул уполномоченный. — И пусть там примут все меры к задержанию и разгрому бронепоезда.

— Слушаюсь.

Полковник вышел. Он прекрасно понимал, что дорогу могли построить именно потому, что началась война. Это позволяло маневрировать резервами, перебрасывая их с одной магистрали на другую, но молодой и неприятно заносчивый уполномоченный раздражал полным отсутствием вариантного мышления, тупо упершись в бронепоезд и не желая ничего иного ни знать, ни предполагать.

А Павел, разглядывая карту, которая изобиловала подробностями, но не давала ему ни одного знакомого ориентира, просто-напросто играл в шашки. И главной задачей в этой игре был тупик, в который он намеревался загнать бронепоезд. Он во что бы то ни стало хотел устроить ему «сортир», выражаясь шашечным жаргоном. Играл с азартом и упоением, поскольку до сей поры видел только гимназические карты Меркатора.

Поэтому, к великой досаде полковника, события

развивались с чудовищной медлительностью. Проще всего было бы запросить дальние станции на магистрали, а затем уж идти от них к Просечной, чтобы с ясностью представить себе, где же бронепоезд. Заодно следовало связаться с самой крупной на трассе станцией, чтобы установить, успели построить проектируемый участок железной дороги, а если да, то куда он ведет. Однако странный чекист упорно не желал ничего слушать, а без его прямого указания полковник не рисковал принимать никаких мер. Мандат и кожаная куртка вкупе с кожаной фуражкой давали право их обладателю на бессудный расстрел, как то случилось с командиром Отдельного полка Спивцевым. Причем без всякого письменного решения «тройки»: просто хлопнули, и все. И нет больше товарища Спивцева. Списали товарища Спивцева в отрицание устным распоряжением товарища уполномоченного.

И эта бестолковщина продолжалась до вечера, пока телеграфисты не перестали получать ответы, поскольку их абоненты преспокойно ушли домой к женам и детям. А товарищ уполномоченный самой ЧК продолжал азартно играть в какие-то свои игры.

— Связи по линии больше нет, — доложил

полковник.

— Почему это — «нет»?

— Так рабочий день кончился. И связь кончилась. Теперь ночной связи тут нет, бандитов кругом много.

— Бандитизму объявлена всероссийская война.

— Так для этого и Отдельный полк создали! — не выдержав, в сердцах сказал начальник штаба, но тут же, впрочем, спохватился: — То есть это наша прямая обязанность.

— Наша прямая обязанность — уничтожить бандитский бронепоезд, — строго напомнил уполномоченный.

— До утра не получится.

— Тогда — спать всем. Я тут устроюсь. Койка при штабе предусмотрена?

— Предусмотрена. Но, может, ко мне? Перекусить надо…

— Здесь останусь, — твердо заявил Павел, опасаясь чужого дома в чужом поселке. — Пусть бойцы еду из общего котла принесут.

— А мне…

— А вы идите домой. В семь утра жду на службе.

— Есть быть в семь ноль-ноль.

Начальник штаба ушел. Павлу принесли кашу с добрым куском мяса, он плотно поел, решил прилечь и незаметно уснул крепким молодым сном без сновидений.

Сновидения должны были прийти позже, в полудреме перед пробуждением. Павлик с детства любил их, всегда надеялся увидеть, но вместо сновидений на рассвете увидел небритое лицо Кузьмы.

— Ты как тут оказался?

— Гада эта велела тебя, значит, в отрицание пустить. За ловушку на Просечной.

— Убить, что ли, меня пришел?

— Да не тебя, а ее. Как написала она новый лозунг на броне «Смерть большевикам!», так и решил я покончить и с нею, и с таким названием. Пустить его самого в отрицание.

— Кого его? Меня?..

— Да не тебя, не тебя, сказал же!..

Неизвестно, сколько времени они бы разговаривали на разных языках, если бы не появился начальник штаба. Он начал с того, что, не интересуясь местом, где ремонтируется бронепоезд после прорыва, тщательно, до мельчайших подробностей расспросил о его состоянии.

— Передок весь раскроили, — докладывал

Кузьма. — Входную стрелку мы с ходу проскочили, а вот выходную — на тихом ходу. Да и заряд там был потяжельше. Так что кормовую башню разобрать пришлось, там теперь — пулемет с круговым обстрелом. Еле-еле трое бойцов помещаются, такая теснотища.

— Лучше скажи, куда он ушел! — крикнул Павел, никак не понимающий, почему бывший полковник Генерального штаба не задает Кузьме самого главного вопроса.

— Все — в свое время, — сухо сказал начальник штаба Отдельного полка. — Бронепоезд никуда уйти не мог, ремонт требовался сложный. Боеспособность восстановлена?

— Вполне, — ответил Кузьма. — Ремонтировались на ветке, которая оказалась по ходу справа. Место укрытое, с одной стороны — болото, с другой — лес густой, без шума не пройдешь.

— Значит, атаковать его на той ветке было никак невозможно, — уточнил полковник.

— Да он ушел по этой ветке и будет пробиваться к югу, — с досадой сказал Кузьма. — Мне капитан, который начальник штаба, карту какую-то показывал. Какая-то станция его интересовала. Сборна, что ли…

— Заборна?

— Точно, Заборна! Говорил, что если проскочит ее, то все, путь на юг открыт. Там мост длинный, через пойму…

— Погоди, моряк…

Полковник начал торопливо листать подборку топографических двухверсток. Кузьма внимательно следил за ним, а на Павла уже никто не обращал никакого внимания. Здесь занимались делом, воевали всерьез, не отвлекаясь на детские игры за шахматной доской. Павел понял, что дело касается не пальбы по мишеням, а тактики, и примолк.

— Вот она, — облегченно вздохнул бывший полковник Генерального штаба и даже улыбнулся. — Действительно, пойма очень широкая, поэтому и мост такой несуразно длинный.

— Точно, — сказал Кузьма. — То-то он их беспокоил. «Проскочим, — говорили, — и — все. Считай, что на югах!»

— Товарищ уполномоченный! — Полковник выглядел настолько серьезным, что Павел тотчас же встал, одернув куртку. — Немедля вестового на станцию. Письменный приказ телеграфисту: связаться со станцией Заборна и предупредить гарнизон, что бандитский бронепоезд…

Полковник вдруг замолчал, подумал. Потом

сказал решительно:

— Я напишу, что телеграф должен передать.

— Вестовой! — крикнул Павел. — Ко мне! Срочная депеша!

27

Татьяна бежала напрямик, без цели и задачи, с одним-единственным инстинктивным чувством убежать как можно дальше. Убежать от всех — от людей в кожаных куртках, от психиатрической лечебницы, от доктора Трутнева, от собственного прошлого и собственного настоящего. То просветление, которое появилось у нее в больнице после встречи с Петром Павловичем и заставило ее поступать вполне разумно, даже вернуться в кабинет, взять деньги и браунинг, теперь вдруг исчезло. Осталось чисто звериное желание бежать. Бежать как можно дальше и спрятаться, забиться в самую глухую и глубокую нору. И больше ничего в Тане сейчас не было. Одна пустота.

Пошел дождь, мокрые ветки хлестали по лицу, тяжелая мокрая юбка путалась в ногах, но она, задыхаясь, продолжала яростно прорываться сквозь кусты, без дороги, цели и направления. А в висках вместе с бешеным стуком сердца билась одна мысль:

«Как, как я сюда попала?.. Где была прежде, что делала, почему оказалась в лечебнице?.. Почему меня преследуют, хотят убить, замучить до смерти или сгноить в глухой палате?.. Что произошло, что?.. Где я оступилась и до сей поры лечу в пропасть?..»

Это был ужас. Ужас, выключающий сознание и память, обессиливающий и угнетающий. Она ничего не могла вспомнить из своего прошлого не потому, что сошла с ума, а потому лишь, что этот ужас украл все, что было у нее раньше. Силы уходили только на удержание осколков воспоминаний, даже не на борьбу, нет! Татьяне сама борьба представлялась ужасной, ей сейчас было не до нее настолько, что даже мысль о возможности сопротивления ужасу не смела шевельнуться в ней.

«Я — ничья, ничья. У меня нет и не было родителей, я — подкидыш. О чем говорил этот доктор? Что лечил меня и моих сестер? Каких сестер, каких?.. Нет и не может быть никаких сестер, я — одна. Одна. Одна в целом мире…»

Она шла и шла, неизвестно куда. Ей казалось, что она идет прямо, но на самом-то деле кружила по лесу по затейливой спирали. И уже в сумерках рухнула в ельнике в полном изнеможении. И

благодатный сон обрушился на нее…

Проснулась она от озноба, сильного, как трясучка, даже зубы лязгали. И вся — мокрая насквозь: спала на мокрой земле, ночью выпала большая роса, и вся одежда — юбка, кофта, даже нательная больничная рубашка — было мокрым, хоть выжми.

Здесь же, где спала, она сняла с себя все одежды, старательно и неторопливо отжала рубашку, кофту, юбку. Она не пряталась, не приседала за еловыми ветками, а вела себя в соответствии со своими ощущениями. А ощущала она, что одна на всей земле.

Ах, похлебать бы сейчас чего-нибудь горяченького, отвару бы картофельного попить, чтобы внутри все согрелось, чтобы дрожь не била, чтобы озноб унять… Только где же, где же отвары эти?..

Татьяна брела сквозь мокрый от росы ельник, оступаясь и покачиваясь от невероятной усталости. Болела спина, ныл каждый суставчик, кружилась голова, подкашивались ноги. И от всей этой скопившейся немощи Татьяна просто шла вниз, потому что так было легче.

Ельник кончился мокрым покатым спуском к лесному озерку. Она, ни о чем не думая, спустилась к топкому берегу. Здесь никого не было

видно и слышно, но слабый ветерок принес горьковатый запах дыма. И Татьяна пошла на этот манящий теплом запах. Миновала береговые заросли тростника, повернула и увидела небольшой костерок, возле которого сидели двое мужиков с винтовками. Один был в истрепанной солдатской форме, второй — в гражданской одежде и фуражке с алым бантом. Оба сильно простужены, из их носов текло безостановочно. Солдат уж и не вытирал его, и сопли капали то на выцветшую гимнастерку, то на бороду, которая вся была увешана застывшими каплями. А второй, с алым бантом на фуражке, безостановочно шмыгал носом и все время утирался рукавом, уже блестевшим от соплей.

Вид у них был вполне мирным, и она пошла к ним. Нет, не к ним, а к костру, над которым висел солдатский котелок. И парок, парок слетал с этого котелка.

— Здорово, кума! — приветливо крикнул солдат, увидев ее. — Прошу к нашему котелку, мы гостям всегда рады.

Татьяна подошла, хотела сесть, но он задержал. Подстелил свою шинель, потянул ее за руку.

— Садись на шинельку, садись, застудишься. В лесу ночевала, что ль? Заблудилась или прята-

лась от кого? Мы — народная милиция, мы тут за все в ответе. Если видела бандитов — доложи.

Татьяна сидела молча, протянув к костру красные иззябшие руки.

— Испугана она, — сказал шмыгающий с бантом. — Оставь ее. Похлебки поест, согреется, сама расскажет. Ложка-то есть у тебя?

И опять она промолчала.

— Ну, ничего, я тебе свою дам. — Гражданский вздохнул. — Сильно баба напугана. До кондрашки, коли не поест.

— Так давай ей, коль сам есть раздумал, — сказал солдат. — Готово хлебово наше.

— Держи ложку. Она у меня ухватистая.

То ли запах похлебки, по которой томилось тело, то ли протянутая ложка что-то напомнили ей. Что-то из далекого неведомого прошлого, а только Таня вдруг поднялась, подошла к берегу озера и стала мыть руки и ложку.

— Знаешь, почему я ей ложку отдал? — жарко зашептал шмыгающий. — Груди у нее под рубахой шевелятся, будто живые. Ну, не могу я этого терпеть, не могу. Может, мы ее, это… За похлебку, а? Ей хорошо, и нам — сладко. А нет, так и силком не грех…

— Да погоди ты! — зло зашипел солдат. — Лож-

ку она моет. И руки. Не наших, значит, кровей. Наверняка из бывших, а кто такая? И откуда тут, в нашей местности?

— Так тем нам сподручнее, сподручнее!.. — продолжал талдычить свое мужик. — Стало быть, и жаловаться некому…

— А если разведка она? Если в лесу недобитки офицерские прячутся? Гляди, гляди, как идет. Наши бабы так не ходят…

Татьяна вернулась к костру, опустилась на расстеленную шинель и стала, обжигаясь, жадно хлебать из котелка. Милиционеры молча смотрели на нее, но сами есть не торопились.

— На руки ее погляди, на руки, — зашептал солдат. — Барские ручки-то, белые…

Терпеливо дождался, пока гостья, нахлебавшись, отложила ложку, и сурово сказал:

— Наелась? Теперь документ покажи, кто ты есть и откуда в наших краях вынырнула.

Плотно поев похлебки, Таня не просто наелась, а — успокоилась. Ужас куда-то отступил, и недалекое прошлое возникло в сознании.

— Из лечебницы я. Вот справка.

И, порывшись в карманах юбки, достала сложенную вчетверо бумагу на имя Агафьи Силантьевны Кузнецовой. Солдат прочел бумагу

вслух, и недоверчиво прищурился.

— Так выходит, что ты — Гунька Силантьевна?

— Да. Агафья Кузнецова.

— А по мужу как именуешься?

— А… Незамужняя я.

— Так. Незамужняя, стало быть? Годится. Тогда ты, незамужняя баба, должна понимать, как мы, служивые, по вас истосковались. И отказать нам тебе, ну никак невозможно. Здоровая, в сладком теле еще, сны, поди, грешные снятся. Снятся, а?.. Снятся, по глазам вижу, что снятся!.. Ну, расскажи, когда в последний раз мужика принимала?

— А заартачишься, силком завалим!..

— Молчи, — сказал солдат. — Она и по-доброму нам не откажет. Мы к ней — со всем нашим расположением, и она нам никак не откажет. Тем паче, что и сама того же хочет. Ну, хочет ведь, хочет, по глазам читаю!..

И мужики радостно заржали.

К такому обороту Татьяна была совершенно не готова. Она и представления не имела, как повела бы себя настоящая Гунька Силантьевна Кузнецова. Смеялась бы вместе с мужиками, стыдила бы их или со слезами просила о пощаде? Бросилась бы бежать, звать на помощь, угрожать, что пожалуется братьям?

Но постепенно и как-то незаметно для самой Тани эти растерянные мысли стали замещаться вполне осознанным гневом. В ней заговорило не только воспитание и брезгливость к двум грязным, потным, в соплях мужикам, но и чисто женское неприятие подобных предложений. Быть изнасилованной этими немытыми сопляками представлялось настолько омерзительным, что Татьяна вдруг как-то отрезвела. И, заставив себя улыбнуться, сказала:

— За похлебочку рассчитаться надо, верно? Так я с удовольствием с вами рассчитаюсь. Только в порядочек себя приведу.

— Да ты тут присядь, тут! — заржал солдат.

— Лучше там. Я быстренько, не задержу.

Встала, пошла к тростникам. А присев в тростниках, достала из кармана юбки пистолет, вогнала патрон в патронник и, спрятав браунинг за спиной, спокойно пошла к костру.

У костра в одних кальсонах приплясывал шмыгающий. Солдат тоже готовился, снимая через голову гимнастерку.

— Мы жребий бросили! — торжествующе закричал тот, что уже был в полной готовности. — Я — первый! Первый я!..

— Ну получай, если первый.

Татьяна вскинула браунинг и, не целясь, влепила пулю в лоб приплясывающему сопляку. А оставшиеся шесть пуль одну за другой выпустила в солдата. Подхватила шинель, швырнула в озеро браунинг и скрылась в лесу.

«Я — палач, — спокойно и отстраненно думалось ей. — Но ведь не с детства, не с тех сачков, которыми ловила бабочек, и не с удочки, когда таскала карасей из пруда. И даже не тогда, когда стреляла из мелкокалиберки по воронам. Нет, нет, палачами не рождаются, палачей делают. И меня сделал палачом Леонтий Сукожников. И я расстреляла его из маузера, и меня запихали в сумасшедший дом, и давали такие дозы успокаивающих, что я и вправду стала не в себе…»

Все возвращалось на свои места столь бурно, что Татьяна почти бежала в ритме этого возвращения. Она не знала, куда так спешит, лес был для нее всегда чужим, в нем с детства жили разбойники, волки и змеи, и даже за малиной дети ходили под зорким наблюдением взрослых. Но если в детстве это были всего лишь детские страшилки в сумерках, то ныне, в эпоху всероссийского отрицания, лес и впрямь стал убежищем для очень многих, не нашедших своего места в социальной сумятице или, наоборот, четко определивших

свою позицию в зависимости от власти в ближайшем уезде. Но она не могла не бежать куда-то от только что расстрелянных ею потных и похотливых мужиков.

Палач бежал с места казни.

«Леонтий — какое дурацкое имя! А ведь он был моим мужем. Мы ездили отбирать хлеб у крестьян. Это называлось излишками, хотя того, что оставалось многим семьям крестьян после нашего грабежа, не хватало на прокорм. И они прятали зерно где только могли. И если мы находили, то забирали это зерно. И эти двое — зачинщики беспорядков, их расстреляли. Тут же, без суда. Решением “тройки”, в которую входил следователь и он же — палач. А следователем была я…»

Шуршали под ногами сухие еловые иглы, хлестали по лицу еловые лапы, с шелестом уступал дорогу папоротник. А Татьяна продолжала бежать неведомо куда. И она еще не осознала, что от самой себя никуда не убежишь.

«Кто же готовит палачей? Нет, не исполнителей, а приказателей, решающих без всякого суда, кому жить, а кому — пулю в лоб? Когда они рождаются на свет Божий? Тогда, когда отрицание жизней становится самой основой государства, тогда и появляются палачи — кровожадный

феодал или столь же кровожадный марксист, поверивший в байки о всеобщем равенстве. Не равенстве прав, а непременном равенстве уровня жизни. Эта пещерная мечта о равном куске добычи легко усваивается, в нее с восторгом и искренностью верят миллионы людей, которым всегда казалось, что все господа бездельники, что их необходимо уничтожать без суда и следствия. Тогда приходят Леонтии Сукожниковы и получают мандат на право расправы… Мандат на право расправы — вот что такое их классовое чутье. Это всего лишь их классовая заскорузлая ненависть, рожденная из векового рабства и тысячелетней зависти… Коммунистический манифест — это же просто-напросто издевательская шутка, памфлет. Ведь только в памфлете можно говорить об обобществлении женщин и детей. Он возник тогда, когда в Европе появились группы, исповедующие всеобщее отрицание сложившихся государственных структур, основанных на строгом исполнении определенных задач. “Власть, полиция, жандармерия, армия — все долой! — провозглашали радикалы. — Мы наш, мы новый мир построим…” А построили хаос, казарму, мандаты вместо законов… А большевики просто пристроили к этому памфлету вековую

мечту русского мужика о скатерти-самобранке… И что осталось от прежнего порядка? Церковь? Русская православная церковь будет уничтожена. Значит, остался только Бог с его конечной справедливостью, когда всем воздастся по грехам земным…»

Лес бежал мимо нее или она — мимо леса?

Нашли ее через три дня монахини Свято-Парасковейского монастыря, посланные по ягоды. Маленькую, усохшую, жалко скорченную под пропотевшей солдатской шинелью…

28

Георгиевский кавалер старший унтер-офицер Иван Колосов старательно служил в регулярном стрелковом полку Красной армии. Определенный на должность командира роты, с обязанностями своими справлялся быстро и четко, был на отличном счету у командования и собственного боевого опыта не скрывал. Спрятавшийся за своей бородой, чужими документами и чужой судьбой штабс-капитан Александр Вересковский личного умения воевать не желал ни от кого прятать, потому что привык отвечать не только за себя самого, но и за вверенную его попечению роту.

Однако вскоре полк, занимавший позиции на

берегу небольшой, протекавшей по обширной пойме речки, стал таять. Маневренная Гражданская война, не имевшая сплошной линии фронта, часто меняла направления основных опасностей, делая из позиций главного удара позиции второстепенные, а то и просто запасные. Тогда начиналась перетасовка войск, которых всегда не хватало, а внутренние резервы молодой республики были давно исчерпаны. И в конце концов на этом, ныне второстепенном, направлении от всего полка остался один батальон с пулеметной командой мощностью в два пулемета да единственной легкой пушчонкой с тремя ящиками зарядов. Но основная опасность сместилась на юго-восток, и командование вполне обоснованно полагало, что для обороны моста наличных сил бывшего полка более чем достаточно.

Телеграфное сообщение со станции Просечная, подписанное уполномоченным Берестовым, пришло к командиру полка Матюхину вечером, и он тут же приказал собрать всех командиров на совещание. А командиров-то было всего ничего: комиссар, командиры двух оставшихся рот, пулеметной команды да артиллерист при единственной пушке со считанными снарядами. Матюхин прочел им содержание телеграммы и,

вздохнув, спросил:

— Так что же мы будем делать, товарищи командиры?

— Выполнять приказ! — строго сказал комиссар.

— Это правильно, — согласился Александр. — Вопрос в том, как мы его будем выполнять? С наличными силами и одной пушкой против бронепоезда мы не продержимся и часу.

— Значит, умрем! — крикнул комиссар.

Он был фанатично предан большевистской идее, но малость глуповат. Все это знали, а потому на него никто и не обращал внимания. Все внимательно слушали командира первой роты с Георгиевским крестом за личную храбрость.

— Умрем, и бронепоезд пройдет по нашим трупам через мост? — усмехнулся Александр. — Наша задача — не пропустить его. И я вижу только одну возможность: взорвать мост.

— Протестую! — заявил комиссар на всякий случай.

— Взрывчатка у нас есть, — вздохнул Матюхин. — Только ведь все равно ничего не выйдет.

— Почему?

— Бикфордов шнур забрали. Осталось аршин двадцать, не больше. А этого мало.

— Этого мало, — повторил Александр. — Всего-то на пятнадцать минут горения.

— Может, рельсы на мосту снять? — предложил командир.

— Бронепоезд этим не остановишь. Он откроет огонь из всех калибров по городу, и под этим прикрытием его ремонтники поставят новые рельсы. Нет, только рвать…

Александр задумался, прикидывая. Потом сказал:

— Необходима фотография моста с реки. Поищите в дворянских или купеческих альбомах.

— Все нетрудовые элементы высланы согласно постановлению большевистской ячейки, — с вызовом сказал комиссар. — А все ихние документы сожжены.

— Неразумно, потому что заодно вы сожгли и память. Поищите у фотографов, они обычно хранят негативы.

— Сделаем, — сказал Матюхин.

А комиссар почему-то выругался и вышел. Видно, пожалел, что в свое время не выслали куда подальше и фотографов.

У одного из фотографов нашелся негатив, на котором был мост во всю длину, снятый с реки. Он быстро отпечатал и доставил фото в штаб ба-

тальона еще мокрым, что, впрочем, не помешало Александру его внимательно изучить.

— Глубина реки под мостом?

— Глубоко, — сказал Матюхин.

— Мне необходима веревка с грузом и узлами через каждый аршин. Завтра замеряю сам.

На следующий день Александр с двумя гребцами замерил не только глубину реки под мостом, но и скорость ее течения вплоть до лежащего ниже залива. Потом велел пристать, вылез из лодки и медленно пошел по мосту, самым внимательным образом разглядывая каждый стык и каждую шпалу. Пересек реку и обширную пойму, вышел на противоположный берег и неторопливо стал подниматься по длинному крутому спуску.

Колея пролегала в глубоком каньоне. Песчаные откосы были кое-где покрыты клочковатой травой, вверху шумел лес. Александр осмотрел все и понял, что бронепоезд пойдет на мост на всех парах, поскольку его команда не знает, что у красных в резерве всего одна пушка да батальон стрелков. Пройдя чуть дальше, дошел до домика обходчика путей, который сразу же вышел навстречу.

— Завтра мимо тебя пройдет бронепоезд, — сказал Александр, протягивая ему ракетницу. — Про-

пустишь и тут же — ракету в воздух. Все понял?

— Так точно.

— Не выполнишь, расстреляю.

И пошел назад по спуску. На мосту снова остановился, прикидывая, куда ему придется падать, чтобы уйти до взрыва под воду. И только осмотрев все, вернулся на свой берег.

Он был очень доволен, сказав Матюхину:

— Взорву и с коротким шнуром. Глубина вполне достаточная, и, если я все рассчитал правильно, бронепоезд уйдет под воду целиком. Выдели мне двух самых опытных взрывников, а куда именно поставить взрывчатку, я им укажу на месте.

— В воду решил падать? А удар? По ушам удар придется, смотри. Оглохнешь, а то и вообще сознание потеряешь и — хана, брат.

— Ваты в уши натолкаю. А ты перед операцией их как следует стеарином зальешь.

Матюхин вздохнул.

— Не нравится мне все это. Но выхода, похоже, нет.

— Нет. И будет так, как я сказал.

— Значит, завтра, — командир покачал головой. — Может, выпьем сегодня? У меня спирт есть.

— Никогда не пью перед боем, потому и цел

пока. Ты лучше лодку в заливчик отправь. А старшим назначь дружка моего дьячка Богославского. Может, и выловят, если сознание потеряю.

— Об этом мог и не говорить.

— Вот завтра и выпьем. За упокой бронепоезда.

— Убежден?

Капитан улыбнулся.

— Если не убежден, никогда за дело не берись. На авось не воюют. Давай своих взрывников.

Взрывники оказались опытными, понимали с полуслова, и Александр быстро и надежно заложил мины на стыках рельсов впереди первой речной опоры. Расчет был на то, что тяжелый бронесостав, набрав на спуске скорость, не успеет затормозить перед развороченными рельсами, ударится с ходу об опору и уйдет на дно. Взрывники оценили его замысел:

— Толково, товарищ ротный. Уйдет с концами.

— Рвать буду сам по вашему сигналу. Как только стрелочник сообщит о проходе бронепоезда, белую ракету вниз по течению. А сейчас идите. Про сигнал не забывать. Белая ракета.

Взрывники ушли, и Александр остался один. Сидел на шпале, закутавшись в шинель, жалел, что не отдал оружие взрывникам, курил,

старательно, по-фронтовому пряча цигарку в рукав. Внешне он ничем не выдавал своего беспокойства, но волновался, как то всегда бывало на операциях, когда глупая случайность могла сорвать весь продуманный план. Ну, к примеру, захочется какому-либо бандиту из озорства или привычки к убийству прошить пулеметной очередью обходчика с флажком, и вся цепочка разрушится. Вся. И бронепоезд ворвется на мост раньше, чем бывший штабс-капитан успеет поджечь бикфордов шнур…

«Случай есть излом логики, ее вывих. И тогда начинает работать система неопределенности. Беспощадная, бессмысленная, губящая все и вся и даже самою себя. Я — кадровый офицер русской армии, не признающий большевистской власти, служу большевикам не за страх, а за совесть, рискуя собственной жизнью. Почему? Почему я так поступаю? Не потому ли, что все вообще случайно, что подо мною сама пустота, потому что пустота рождает только пустоту и ничего иного породить не может?..

Стоп, стоп. Когда включилась в России эта чудовищная система? Когда государь Александр Второй вышел из кареты, а Гриневецкий швырнул бомбу. Тогда благодаря случаю взошел на

трон Александр Третий, его сын. Случайно подавили людей на Ходынском поле. Случайно Керенский оказался сыном директора Симбирской гимназии и с детства боготворил Ленина. Случайно большевики захватили власть. Так включилась система, в которую была вовлечена Россия и которая в конце концов разрушила не державу, а сам русский народ. А Россия — это не территория, это — душа территории. И когда гибнет душа…»

Вспыхнула ракета, прочертив неторопливую кривую. Александр сбросил шинель, шагнул к взрывателям и поджег их. Не торопясь поджег и старательно раздул огонек трута. Плотно ладонями зажав уши, бросился в реку в рост, «солдатиком», ногами вниз.

Он ожидал сильного удара воды, но не предполагал, что тот окажется столь мощным. На мгновение он потерял сознание, но, когда ноги коснулись илистого грунта, волей заставил сознание вернуться. Оттолкнулся, вынырнул, но вместо воздуха вобрал полную грудь удушливого взрывного дыма и снова пошел ко дну, уже ничего не соображая.

От верной гибели его спасли гребцы, сквозь дым и смрад разглядевшие его голову, когда

Александр на миг вынырнул. Подгребли, Богославский нырнул, разыскал на дне обмякшее тело, вытащил. На берегу с трудом откачали.

— Живой, ротный? — с тревогой спросил Богославский.

— Бронепоезд… — еле пролепетал Александр.

— На дне! — хором ответили гребцы и расхохотались. — Полная хана бандитскому пугалу!

Это было единственное слово, которое тогда прошептал бывший штабс-капитан. Он впал в полное бесчувствие, смотрел невидящими глазами и не отвечал ни на какие вопросы. Контузия была столь сильна, что доктор, немедленно отправив его в лазарет, беспомощно развел руками, докладывая командиру батальона.

— Ни за что не могу поручиться.

— Лечи! — рявкнул Матюхин.

В лазарете Александра посетил сам командующий.

— Поздравляю, — сказал он, коснувшись неподвижной руки бородатого героя унтера. — Ты награжден орденом Боевого Красного Знамени. Награду будут вручать в Москве.

Но вместо того чтобы ответить «Служу трудовому народу!» или, по крайности, «Рад стараться!», больной сказал вдруг совершенно ясно и на от-

личном французском языке:

— Мерси, мон женераль.

Командующий был сам в недавнем прошлом поручиком царской армии, а потому расцвел в улыбке и неожиданно для всех поцеловал больного в губы.

— Поправляйтесь.

И вышел из лазарета.

Через месяц Александр выехал в Москву, где ему был вручен орден Боевого Красного Знамени. После торжественного вручения, когда было выпито по полстакана спирта и съедено аж по две копченых воблы, старший унтер-офицер Иван Колосов был направлен на курсы высшего командного состава, которые он и окончил «первым номером», как когда-то говорили в России. И назначен на Южный фронт командиром стрелкового полка.

Такую же боевую награду со следующим порядковым номером спустя полмесяца получил исполняющий обязанности начальника штаба стрелкового полка бывший прапорщик Владимир Николаев. Так уж случилось, хотя впоследствии от этой награды и обрушилась вся его дальнейшая жизнь.

29

А теперь вспомним о выселении кровопийцев-помещиков Вересковских по решению сельского схода. Собственно, это не воспоминание, это всего лишь спуск по спирали отрицания к ее первым виткам.

Сход позволил взять только по одному чемодану с личными вещами, но генерал в отставке Николай Николаевич тащил два. А когда его остановили и потребовали показать, он открыл оба баула и сказал одно слово:

— Золото.

Там и вправду было золото. Рукописи о доблести русских офицеров в никчемной войне с Японией. И его отпустили вместе с супругой Ольгой Константиновной, младшей дочерью Настенькой, старым дворецким и двумя горничными. А четверо старших детей упорхнули из гнезда, избрав разные сучки на корявом засыхающем древе России.

И до станции-то доковылять не успели, как дворецкий упал. Рухнул, как столб, с той лишь разницей, что у столба лица нет. А у него оно все кровью залилось. Николай Николаевич, баулы со своим бесценным золотом уронив, к нему

бросился:

— Что ты, друг мой?..

Дворецкий был денщиком генерала еще в ту, Русско-японскую. И под Мукденом был рядом. И всегда был рядом, всегда…

— Вас-то… — прохрипел последним хрипом старый денщик. — Вас-то за что, барин?..

А генерал Вересковский словно и не слышал ничего. Бормотал что-то, рубашку на груди павшему расстегивал, сердце пытался услышать…

— Не надо, Коля, — тихо сказала Ольга Константиновна, обняв мужа за плечи. — Упокоился он.

— Да?..

— Упокоился, — и перекрестилась. — Вечная ему память.

— Упокоился, — вздохнул генерал.

И тоже широко, торжественно перекрестился, хотя давно уж был убежденным атеистом. Аккуратно, на все пуговицы застегнул сюртук на дворецком, встал, поклонился в пояс.

— Похоронить надо бы.

— В церковь сначала, — строго поправила Ольга Константиновна. — Отпеть следует.

— Схожу в село. Помощи попрошу, сами не справимся.

И пошел. Сначала покойного вспоминал, как

тот в детстве играл с его детьми, как умел утешать их, как объяснял, что за былиночка растет и кому она нужна… И только на подходе к селу с некоторой озабоченностью стал думать, как ему к сельскому населению обращаться. Слово «мужики» казалось ему обидным, но ничего иного в голову не приходило.

А в селе никого видно не было. Видно не было, но ощущалась какая-то очень радостная суета. Николай Николаевич походил по улице, не решаясь заглядывать в избы, чтобы не мешать этой радости, никого из взрослых не встретил и остановился, чтобы, как то на Руси водится, почесать в затылке. И только почесал, как мужик на подводе подъехал.

— Тпру!

На подводе был комод и два кресла, почему-то знакомых Николаю Николаевичу. Но память он напрягать не стал, а обратился к мужику:

— Товарищ мужик…

— Чего тебе?

— Старичок умер, который денщиком моим был в Русско-японскую. И детей моих воспитывал. А упал прямо на дороге. Надо бы в церковь его…

— Чего? Твой лакей, ты и отпевай.

— Права такого не имею. А земле предать без отпевания…

— Вон лопата у плетня торчит, видишь? Иди и предавай.

— Ну как же? Хотя бы гроб…

— Чего?.. — с презрением протянул мужик. — Гроб, он мастерства и денег требует. Иди, чего стоишь? А то протухнет твой воспитатель.

— Но как же… Ведь покойник на дороге, надо же как-то… С уважением к смерти…

— Уважение… — недовольно протянул мужик. — Вот и окажи ему свое уважение. Бери лопату и давай отсюдова. А то и лопаты не дам, руками рыть будешь. Да не ту! Ишь, уцепил. Ржавую бери и мотай, не до тебя нам.

Схватив указанную мужиком лопату, Николай Николаевич заспешил к дороге, где у тела дворецкого и вещей оставались жена с дочкой да две горничных. А прибежав, узнал: одна из горничных — Машенька, самая молодая — заявила, что боится мертвяков, схватила свою корзину да и умчалась.

И ладно, если бы только горничная. Хуже, что подводу увели. Велели вещи на землю выгрузить и увели. Сказали, что, мол, самим нужна, барахла, дескать, много в доме осталось.

Сами схоронили дворецкого, хотя копать никто из них не умел. Не приходилось им копать. Кое-как, неумело, с косыми боками вырыли неглубокую могилку, с великим трудом опустили туда тело, засыпали. И пошли на станцию, еле волоча свои чемоданы и баулы.

А до станции было не близко. До нее молодые да если без вещей пешком добирались, а для взрослых всегда закладывали пролетку. И это в те, старые благословенные времена, которые кончились. Изошла Россия благословением до последней росинки.

Этот исход России был особенно впечатляюще заметен на бесчисленных российских станциях и полустанках. Толпы народа из городов и деревень, из сел и местечек сорвались с мест своих и заметались по всей Руси в тщетной мечте отыскать равновесие собственных душ. Одним казалось, что во всем виноваты большевики, неправедно захватившие власть и еще более неправедно использовавшие ее. Другим представлялось, что где-то — где-то хлебушек прямо на деревьях буханками растет. Иные стремились хоть куда, лишь бы от бандитов подальше, еще кому-то очень уж хотелось что-то продать подороже да купить подешевле. Кто-то у родственников

надеялся отсидеться в это беспокойное время, у знакомых, у земляков, да хоть у кого угодно, лишь бы подальше от…

От чего? От России?.. От России не спасешься, хотя и размеры ее вроде бы спасение обещают…

Только нет спасения от спирали отрицания, которая раскручивалась на безмерных русских просторах с чудовищной скоростью и устрашающей силой. С воем людским раскручивалась под барабанную трескотню выстрелов.

Поезда были схожи с передвижными рождественскими елками. Гроздьями висели люди, неясно, за что именно ухватившись, крыши ценились, как спальный вагон с гарантированной плацкартой, в паровозных тендерах набивалось людишек больше, чем угля, на переходных площадках, сцепках и буферах стояли или сидели на корточках, из разбитых окон торчали не только головы, но и ноги. А поезда трясло и раскачивало, и бог весть, сколько раз на крутых спусках составы отрывали колеса от рельс…

Вересковским на удивление повезло. Они сумели протиснуться в битком набитый тамбур все трое да еще и горничная со своей обширной корзиной. И если чемоданы с баулами кое-как, с шумом и спорами сумели пристроить к стенке,

то корзину Николаю Николаевичу пришлось держать самому. Руки скоро устали, и он поставил ее на собственную голову, а из корзины при толчках состава все время что-то сыпалось.

Он был терпеливым — работа требовала терпения, не обладал спасительной обывательской способностью кого-то обвинять в собственных неудобствах или в собственном непонимании, потому и Октябрьский переворот встретил без особого огорчения.

— Вероятно, таково желание большинства населения. В противном случае получим русский бунт.

В результате случай и впрямь оказался противным. Бунта избежать не удалось, на голове очутилась корзина, а народ куда-то понесло. Куда — никто не знал, но — понесло.

«Философия — всегда гипотеза, — размышлял он, всем телом уравновешивая неустойчивую корзину. — В жизни она неприменима, как, допустим, постулат об извечной победе добра над злом. Красиво звучит, но история некрасиво его опровергает. Философия есть утешение, не более того. Нельзя опускать перед нею руки по швам… Кстати, я не могу этого сделать, потому что нужно держать корзину…»

Вместо обычных двух часов поезд шел до города все четыре, и даже с некоторым гаком. Онемевшая от тяжести голова генерала соображала туго, но опоздание он отметил, решив, что оно есть следствие плохого качества угля. И тут же сделал вывод, что качество обеспечивает только отлаженная государственная машина, а иначе все рушится.

С этой праведной мыслью он со всем семейством, что имелось в наличии, плюс горничная, наконец-то прибыл на станцию города. Корзину пришлось снимать с генеральской головы Ольге Константиновне и горничной, потому что сам генерал весь одеревенел. Они поспешно освободили его от этой ноши, и Ольга Константиновна обеспокоенно спросила:

— Как ты себя чувствуешь?

— Конечно, по утрам приятно гулять по росе, — сказал Николай Николаевич, судорожно поводя сведенной шеей. — Зато здесь удобно работать. Никто не будет мешать. Есть квартира, которую бережет уважаемая Антонина Кирилловна и где мы прекрасно разместимся. И будем работать, работать, работать!

Ольга Константиновна настояла, чтобы взяли извозчика. Ее беспокоила переутомившаяся голо-

ва Николая Николаевича. А потому, едва выйдя на привокзальную площадь, весьма озадачившую ее мусором, щитами с кричащими листовками и отсутствием народа, все же робко крикнула:

— Извозчик!

И к ним тут же подкатил извозчик. То есть не совсем извозчик и даже как бы не извозчик вообще, а обычная крестьянская телега, чуть присыпанная сенной трухой, в которую была впряжена столь же обычная крестьянская савраска, с возницей, сидящим прямо за лошадиным хвостом, строго посередине и спиной к своим пассажирам.

Пребывая в состоянии смутного неузнавания собственного города, Вересковские молча сложили вещи в телегу и расселись сами, свесив ноги с обеих сторон этого крестьянского транспорта.

— Квартира генерала Вересковского, — сказала Ольга Константиновна. — Знаете, где она? Улицы теперь переименовывают…

Возница нерешительно обернулся. Нормальный возница, обросший неряшливой бородой. Внимательно вгляделся в пассажиров, спросил с робким недоумением:

— Ольга Константиновна? Вы? И Николай Николаевич — это, что же, тоже вы?..

— Господи! — всплеснула руками Ольга Константиновна. — Глазам не верю, Коля, Коля, глазам собственным. Это же присяжный поверенный господин Новгородцев Илья Иванович!

— А я — верю, — неожиданно сказал генерал и замолчал.

— Боже мой! Вы — на принудработах, Илья Иванович?

— Нет, Ольга Константиновна, я — член Союзизвоза.

— Чего член? — хмуро поинтересовался Николай Николаевич.

— Союзизвоза, — повторил бывший присяжный поверенный. — Если помните, Николай Николаевич, я лошадками увлекался, даже своя небольшая конюшня была. Скаковые лошади. Да. А потом пришли и забрали моих лошадок в Красную армию. А мне взамен вот этого одра оставили.

— Но вы же — присяжный поверенный. Вашими речами не только губерния зачитывалась.

— У них теперь — своя юриспруденция, — понизив голос, пояснил бывший присяжный поверенный. — Они руководствуются текущим моментом и пролетарским чутьем, как мне разъяснили в одном учреждении.

— Знаете, Илья Иванович, под давлением корзины, которую я вез на голове четыре часа, я стал неверно оценивать обстановку, — неожиданно сказал генерал. — Я допустил ошибку, признав, что большинство народа имеет неоспоримое право устанавливать свои законы. Это глубочайшее заблуждение, а заблуждение в законах способно породить только произвол. Только произвол!

— Поехали, поехали, — вдруг торопливо забормотал бывший присяжный поверенный, поспешно задергав вожжами. — Вы абсолютно правы, только запамятовали, как в таких обстоятельствах вырастают уши и языки. Слово и дело, дорогой Николай Николаевич. Слово и дело возродилось на Руси!..

И погнал свою лошаденку, уже не оглядываясь и тем паче не разговаривая. И пассажиры его уныло примолкли.

Так в молчании достигли собственного дома. Илья Иванович помог сгрузить немногочисленные пожитки, пожал генералу руку, поцеловал в щечку Настеньку, аккуратно приложился губами к руке Ольги Константиновны и отбыл. А они стояли и махали руками, пока бывший присяжный поверенный, а ныне член Союзизвоза не скрылся за ближайшим поворотом.

— Времена… — вздохнул генерал.

Куда более деятельная Ольга Константиновна поднялась на крыльцо, поискала звонок, не обнаружила его и постучала в дверь. Стучала долго и упорно, потому что за дверью кто-то двигался, но не торопился ее открывать. Наконец открыли, и на пороге появилась внушительная фигура Антонины Кирилловны. Руки, как говорится, в боки. И сказала:

— Здрасьте.

Неожиданность подействовала на Ольгу Константиновну куда в большей степени, чем на остальную семью, потому что она растерянно повторила:

— Здрасьте.

Это была новая, привнесенная победившим пролетариатом форма приветствия, но на нее обратила внимание только Ольга Константиновна. Супруг же ее ответил в том же духе, но куда более радостно:

— Здрасьте, уважаемая Антонина Кирилловна!

Глаза Антонины Кирилловны стали вдруг маленькими и злыми. Ольга Константиновна это сразу приметила, но ее супруг таких мелочей вообще не воспринимал.

— Вот, принимайте постояльцев на постоянное

место жительства!

— Каких таких постояльцев? Дом реквизирован согласно распоряжению советской власти для Коммуны социалистического быта. А вы давно выписаны, и никаких гвоздей, как говорится.

— Как же так, Антонина Кирилловна? — растерянно заговорил Николай Николаевич. — Вы же у нас служили, и вдруг…

— Я ни у каких генеральш не служила! — с надутым гневом сказала Антонина Кирилловна. — Я — старшая по дому, а значит, совслужащая. А вы идите лучше в милицию, пока вас не арестовали как бывших.

И со стуком захлопнула входную дверь.

— Куда же нам теперь? — испуганно спросила Ольга Константиновна, растерявшаяся едва ли не впервые в жизни.

— В милицию! — гаркнул как под Мукденом генерал. — Без промедления! Адрес указан точно!

Настенька заплакала, но Николая Николаевича это не остановило, и он уже подхватил вещи.

— Я лучше к землякам попрошусь, — робко сказала горничная.

— Отлично! Одной корзиной будет меньше.

Горничная поспешно подхватила свою корзину и ушла.

— Друг мой, но зачем же самим — в милицию?

— У тебя есть земляки? — спросил Николай Николаевич. — У меня тоже нет. Значит, наше место — в милиции.

И зашагал прямо по улице навстречу движению.

— Зачем же — по улице? — обеспокоенно спросила супруга, старательно семеня рядом.

— Скорее посадят!

Никто их не посадил, и они дошли-таки до милиции. Тут генерал сгрузил вещи и сказал:

— Ждать.

И вошел в здание милиции. За столом сидел молоденький милиционер с какими-то шевронами на рукаве. Увидев вошедшего в военной форме без погон, он встал.

— Слушаю вас.

— Прошу немедленно посадить меня вместе с семьей в тюрьму как бывшего генерала.

— Почему? — растерялся милиционер.

— Для пропитания и крыши над головой.

— Ваша фамилия…

— Вересковский. Николай Николаевич…

— А!.. — милиционер с облегчением улыбнулся. — Это — не к нам. Это — в Управление. От входа налево и еще — квартал.

— От входа налево и еще один квартал свободы! — объявил Николай Николаевич, появившись на улице. — Прошу всех оставаться на месте, за вами придут.

И пошел согласно милицейскому приказу. А семья осталась на месте в полном недоумении.

В Управлении он изложил свою просьбу дежурному. Дежурный, молча оглядев его, бросился в какой-то кабинет, велев обождать. Но почти тотчас же появился с улыбкой до ушей.

— Прошу вас, — и распахнул дверь.

Генерал шагнул в кабинет и остановился, потому что ему навстречу от стола шел немолодой человек, приветливо протянув руку.

— Здравствуйте, гражданин генерал. Очень рад, что пришли сами, но окончательно решать вопрос не уполномочен. Это — в ведении ОГПУ. Дежурный, проводи.

— Прошу за мной, — сказал дежурный.

И пошел вперед по длинному коридору. Николай Николаевич следовал за ним, заложив руки за спину. Он где-то видел или читал, что именно так ходят заключенные за конвоиром.

Вскоре они попали в соседнее здание, в пустых коридорах которого лишь изредка мелькали куда-то вечно спешащие сотрудники. На них никто

не обращал никакого внимания, они добрались до обитой кожей двери важного кабинета, возле которого стояли два вокзальных дивана.

— Присядьте, — сказал проводник. — Я доложу.

В этом кабинете сопровождающий задержался значительно дольше, чем в предыдущем. Наконец появился и распахнул дверь.

— Прошу.

Генерал вошел, дисциплинированно держа руки за спиной. За огромным дубовым письменным столом, явно позаимствованным из какого-то важного присутствия, сидело трое немолодых мужчин сурового вида и с оружием — маузеры Николай Николаевич углядел сразу.

— Присаживайтесь, Николай Николаевич, — сказал один из них, указывая на стоящее перед столом кресло.

Садиться, держа руки за спиной, было очень неудобно, но генерал кое-как плюхнулся в него.

— Мы знаем о разгроме вашего имения, которое находилось под государственной охраной. Виновные в этом будут наказаны, но мы понимаем, как вы оскорблены, — продолжал говорить старший из чекистов. — Это все отрыжка Гражданской войны, вы как виднейший историк это пони-

маете. А местные власти просто поторопились, не дав себе труда нам позвонить, перед тем как национализировали вашу городскую квартиру. Не беспокойтесь, вам будет предоставлена жилплощадь с учетом количества семейства.

— Я прошу посадить нас в тюрьму, — неожиданно заявил Николай Николаевич. — Там — кров и питание.

— Жилье мы вам гарантируем через… — старший глянул на часы, — скажем, через час-полтора. А пропитание заработаете сами, Николай Николаевич. Есть решение командования об открытии Высших курсов на окраине нашего города, в бывших стрелковых казармах. Место преподавателя военной истории пустует, вот вы его и займете. Мы решительно поддерживаем вашу кандидатуру…

На этом, собственно, и закончилась одиссея генерала Николая Николаевича Вересковского в родном городе. Пока.

30

Николай Николаевич с удовольствием принял предложение. И не только потому, что его семья (точнее — остатки его семьи) получила вполне сносное жилье в военном городке при курсах

подготовки командного состава Красной армии. Сама кабинетность его работы, ограниченная архивами да личными воспоминаниями, не предусматривала аудитории. Но те редкие выступления, которые выпадали от случая к случаю на его долю, нравились ему непосредственной связью с людьми, для которых, собственно, он всегда и трудился. Он очень ценил живое общение, любил отвечать на вопросы, всегда ожидал их, почему порою сознательно не договаривал что-то в лекциях.

Однако аудитория курсов не соответствовала той, где ему доселе приходилось выступать. Во-первых, ее совершенно не интересовала история давно отгремевших сражений, а уж тем паче гениальная прозорливость полководцев тех времен. А во-вторых, слушатели вообще не задавали никаких вопросов. Если генерал что-то не договаривал в расчете на общий разговор, это так и оставалось недоговоренным. Возникало ощущение, что история их не интересует. Не интересна она им вообще, как таковая.

Он никому не сказал о своем печальном открытии, стал читать свой курс военной истории без пробелов для вопросов, но ему было горько и досадно. И еще неизвестно, как бы сложилась

дальнейшая судьба Николая Николаевича, если бы однажды в отведенной ему каморке для подготовки очередного раздела лекций не раздался осторожный стук в дверь.

— Всегда открыто! — крикнул Николай Николаевич.

И вошел человек офицерской выправки в форме командира Красной армии, но без знаков различия.

— Разрешите представиться, Николай Николаевич. Слащёв. Преподаю на курсах маневренную тактику кавалерийских соединений. В известной мере ваш ученик, почему и позволил себе вторжение без приглашения.

— Генерал Слащёв?.. — Николай Николаевич не смог скрыть крайнего изумления. — Яков Александрович?

— Так точно.

— Извините, Яков Александрович, даже не предложил присесть. Прошу. Я полагал, что вы ушли с корпусом…

— Ушел с корпусом, а вернулся без оного. Один. Благополучно миновал границу с Румынией и тут же сдался властям. С последней надеждой быть похороненным в родной земле.

— Вы были там, за красным кордоном, и… Доб-

ровольно?

Слащёв горько усмехнулся.

— Я много думал. Много. И пока плыли, пока стояли на рейде в Галлиполи, и во время интернирования. Из России нельзя убежать. Невозможно убежать. Мы уносим ее с собой, в своей душе. И она живет там в звуках, в запахах, в ощущениях кожи. Даже огрубелые от клинка ладони не в состоянии забыть теплоту стволов молодых березок. Ностальгия — это звериная тоска по Родине, ею болеют только русские. Наваждение какое-то. Просто наваждение.

— Наваждение, — согласился Вересковский. — Где мы? Еще в Европе или уже в Азии?.. Мы — на меже. У нас межеумие, межепсихика, межевидение. Мы — имя прилагательное. Русские. То есть чьи-то. А остальные — имена существительные. Может такое быть? Нет. Но — есть. Вот в чем основа нашей национальной болезни. Нас тянет к какому-то из существительных. Как магнитом. Только непонятно, к какому именно.

Вересковский не ожидал такого начала беседы от боевого генерала, не понял его и попытался наивно спрятаться за привычные рассуждения ни о чем. Но Слащёв словно не слышал его:

— Меня воспитывали в провинциальной семье,

где полагали, что первейшей задачей дворянина является защита интересов народа, под которым понималось нечто весьма расплывчатое, неспособное защитить самое себя. Батюшка говорил мне, что государи приходят и уходят, но пока остается народ, жива и Россия.

— Да, да, безусловно, безусловно… — растерянно пробормотал Николай Николаевич.

— Большевики захватили власть насильственно, то есть против воли народа, которая была выражена большинством членов Учредительного собрания. Я не мог принять их незаконной власти, я не щадил ни себя, ни своих подчиненных в борьбе с ними. Я свято верил, что исправляю историческую ошибку в судьбе России. Верил искренне даже тогда, когда остатки моего корпуса прижали к Черному морю. Я решил уйти за кордон, обратиться к русским беглецам с воззванием о дальнейшей борьбе с большевиками и ради этой святой борьбы с узурпаторами пожертвовать средства для создания русской армии вторжения. И кто же откликнулся? Нищие русские офицеры, зарабатывающие кусок хлеба самой черной работой. Они готовы были вступить в мою гипотетическую армию добровольцами, но… — Слащёв махнул рукой и

замолчал.

— Но ведь промышленные тузы и банкиры уехали туда одними из первых, — сказал Вересковский.

— Ни один из них не откликнулся на мой призыв. И я понял первое: им не нужна Россия. Я пытался понять, что же происходит, стал читать газеты, журналы, посещать всяческие кружки и общества. И в конце концов понял второе и, наверно, главное.

Он опять замолчал, точно вдруг решил снова проверить свою мысль, прежде чем ее высказать.

— И что же — главное, Яков Александрович? — осторожно спросил Вересковский.

— Для России народ — понятие конкретное. Народ — это крестьянство. И большевики, отдав ему помещичьи земли, поступили разумно. Крестьянство в подавляющем большинстве воевало на их стороне, пока у него не начали силой отбирать хлеб. Отсюда следует, что я вопреки отеческим наставлениям воевал против собственного народа.

Напрасно Николай Николаевич пытался убедить Слащёва, что он берет чужой грех на душу. Яков Александрович угрюмо отмалчивался. Потом неожиданно встал, откланялся, пригласил к

себе чайку попить да побеседовать и — ушел.

А в четыре утра к Николаю Николаевичу Вересковскому вошли трое товарищей в кожаных куртках и товарищ в кожаной юбке. И двое понятых, соседей по дому. Пожилой интендант, читавший курс о фураже, конном транспорте, нормах, племенном отборе. С почтенной супругой, любезно приглашавшей Вересковских на чай. Оба — одетые, причесанные, перепуганные. А генерал — в халате и шлепанцах, которые с ног сваливались, неумытый, небритый, даже зубы не чищены. Растерялся, засуетился…

— Что? Что?.. Присаживайтесь, прошу.

— Это вы присаживайтесь, пока мы обыск не произведем. Вот ордер, все — по закону.

Николай Николаевич сел на указанное место, равнодушно воспринимая разгром его кабинета. Ольгу Константиновну вместе с Настенькой дама в кожаной юбке увела в другую комнату, он был один, мысли разбегались, жена и дочь были изолированы, и доносился звон разбиваемой посуды. А в кабинете летели на пол торопливо пролистанные книги, пособия по лекциям, папки с его записями. Что-то показывали понятым, приказывая где-то поставить свои подписи, что-то изымали в особые папки, понятым при этом не

показывая.

Сколько прошло времени, Николай Николаевич не ощутил. Карманные часы остались в спальне, а на часы кабинетные он почему-то избегал смотреть. Чужим стал этот кабинет, посторонние люди вели себя, как грабители, торопливо разыскивающие, где же спрятано нечто ценное. Рядом не было его Ольги Константиновны, которая просто положила бы руку на его плечо, и он сразу перестал бы ощущать себя таким ничтожно потерянным. Она, она была разумным началом семьи, но не было больше семьи, дома, детей, завтрашнего дня и утренней чашки морковного чая…

— Где наган?.. Лучше скажи, все равно ведь найдем. Но — с отягчающими последствиями.

— Позвольте, какой наган?..

— Из которого ты застрелил старшего преподавателя командных курсов товарища Слащёва.

— Убит?.. Яков Александрович убит?..

— Ну, ломать мы тут пока ничего не будем, имущество казенное. Ты нам все сам расскажешь. А не станешь говорить, мы супругу спросим. А может, и дочь чего знает… Одевайся, чего на меня зенки-то вылупил?..

Отвезли в город, сунули в одиночную ката-

лажку, но семью не тронули. Пока. И отправили телеграфное сообщение наверх, что де стараниями местных чекистов раскрыт и задержан убийца старшего преподавателя Слащёва некий Вересковский…

И, естественно, радовались часа полтора. Потому что через полтора часа пришла шифровка о немедленной отправке задержанного в Москву скорым поездом без всяких наручников в сопровождении одного сотрудника в штатском.

Еще одна шифровка определяла место содержания гражданина Вересковского Николая Николаевича в спецкоманде при Московском управлении НКВД со строгим предупреждением не использовать его на тяжелых работах и с уточнением: «раскапывать, а не закапывать».

Много было таинственного в этом странном исчезновении Николая Николаевича Вересковского. Никто не тронул его семью, вскоре начавшую регулярно получать вполне приличное содержание. Ольга Константиновна писала запросы, письма, жалобы во все инстанции вплоть до самых верхов, но ей неизменно отвечали, что о судьбе историка Вересковского Н.Н. нет решительно никаких известий. Она еще верила, еще надеялась, пока Настенька не окончила

какие-то курсы, получила диплом фельдшера и начала работать. Но как только это произошло, стала медленно угасать, пока не угасла совсем.

Однако навсегда исчезнувшему для родных и близких Николаю Николаевичу Вересковскому выпало на долю внести безымянный вклад в историю русской культуры.

Большевики беспощадно сокрушали храмы, распинали на их воротах священников, разгоняли монастыри, превращая их в застенки. Но то была борьба с реальным врагом в лице церкви, вокруг которой и существовала мощная крестьянская община, не сокрушив которую нечего было и рассчитывать на всеобщую покорность. Это был серьезный враг, с которым приходилось не столько бороться, сколько считаться.

Еще в 1920 году Наркомат юстиции издал декрет о вскрытии «…всех и всяческих мощей». Это бессмысленное деяние оказалось новым витком отрицания, породив беспрецедентное перетряхивание праха давно почивших предков. Для начала были вскрыты многие могилы знаменитых предков. Даже могилы национального героя России князя Багратиона не пощадили заступы святотатцев. Позднее, когда угар несколько спал, а власти вспомнили о Бородинском сражении,

ее восстановили, но… не на том месте, где она когда-то находилась.

И началось небывалое отрицание самих предков своих. Заключенные, назначенные в гробокопатели, по всем городам России вскрывали кладбища, срывая с останков кресты и обручальные кольца, цепочки и перстни, ордена, медали за храбрость, золотые коронки, браслеты — даже золоченые пуговицы с истлевших мундиров. Все это выбрасывалось наверх, где специалисты под бдительным оком чекистов определяли не только ценность металлов и камней, но и их возможную историческую значимость.

Такого история человечества еще не видывала. Даже варвары никогда не разрывали обыкновенных захоронений. Но у нас, в советской России, власти официально копались в прахе собственных предков своих в поисках золотишка для строительства небывало светлого будущего. Только какое же будущее может существовать без прошлого? Ведь глагол «БЫТЬ» всего лишь одна из форм глагола «БЫЛО».

Знаток военной истории профессор Вересковский, копаясь в прахе, отвлекал себя подобными размышлениями. Этим Николай Николаевич спасался, чтобы окончательно не впасть в некое

состояние отрицания. Да не в некое, а в то, в которое — сейчас он четко осознавал это — попала Россия. Некогда великая и славная в мире высочайшей нравственностью своей.

Ему выдали заступ и приказали вскрывать могилы на кладбище при Свято-Даниловом монастыре. Уже разогнанном, уже опутанном колючей проволокой и превращенном в застенок. Все отрицалось ныне. Все. Отрицался даже посмертный покой…

Монастырь был высокочтимым и захоронения — соответственно. Дворянские родовые склепы, купеческие монументы, фамильные захоронения — все здесь было богатым и памятным, а потому с особым остервенением сокрушалось бравыми чекистами во имя светлого царства социализма.

Все металлическое полагалось сдавать представителю органов. Золотые кольца, выломанные золотые зубы и челюсти, драгоценные камни, перстни, ожерелья шли заведенным порядком («Гражданин начальник, нашел!..») и — наверх, лично в руки, наверх. Если почерневший металл, — команда:

— Проверить на серебро.

А в могильной яме заступ Николая Николаевича стукнул о какой-то металл. Он руками

вытащил из жирной кладбищенской земли истлевшую кисть, на фаланге которой висел странный перстенек. Вересковский потер его, разглядел, что-то вдруг вспомнил… Да, да, именно вспомнил… А потому обрадованно закричал:

— Гражданин начальник, разрешите обратиться к гражданину археологу! Или — к историку, не знаю, кто сегодня на раскопках дежурит!..

— Золото нашел, что ли?

Слава богу, добродушный начальник попался. А то бы пропала эта находка. Отбросили бы ее в разрытую могилу…

— Нет, железо это! Но — странное, дозвольте посоветоваться!

Вылез Николай Николаевич из могилы с перстеньком. Показал его сначала, как водится, начальнику, тот кивнул:

— Полюбопытствовать хочешь? Ну, давай. Вон историки стоят.

Потрусил генерал, герой Мукденского сражения. Грязный, небритый, а глаза — горят.

— Граждане историки, разрешите обратиться.

— Николай Николаевич Вересковский? — еле слышно с величайшим удивлением спросил пожилой.

— Да, да, Сергей Васильевич, хорошо, что встре-

тились. Припомните, о чем Пушкин умолял Веневитинова? Деньги предлагал, любой обмен, в карты проиграть просил…

— Припоминаю, Николай Николаевич. Припоминаю. Но как же вы-то здесь оказались?

— Мелочи это, мелочи. Веневитинов из Италии перстенек железный привез. Будто бы из самой Помпеи.

— Господи, конечно помню. Но почему Академия за вас не похлопотала? Постеснялись обратиться?

— Вот этот перстенек.

Сергей Васильевич взял, осмотрел внимательно.

— Очень похоже, что — тот перстенек.

— Эй, копальщик! — окликнул конвоир.

— Иду, гражданин начальник! Сергей Васильевич, дорогой, будьте так любезны, передайте, пожалуйста, этот перстенек в Исторический музей. Непременно!

— Обязательно, Николай Николаевич. И от вашего имени.

Но Вересковский уже устало трусил к гражданину начальнику.

— Благодарю за разрешение, гражданин начальник.

И снова спустился в мокрую могилу. Снова зачвакала лопата, выбрасывая на поверхность жидкую грязь…

А к вечеру у него резко поднялась температура, отправили в санчасть и к утру он умер.

Умер счастливым, сделав свое дело на земле…

31

Татьяна очнулась в комнатке со сводчатым, ослепительно белым потолком. Она не понимала, где она и как здесь очутилась, но первая мысль ее была твердой и ясной: она — палач. Значит, не говорить, никому ничего не говорить об этом. А то — казнят. Ведь палачей казнят, она где-то читала об этом. Казнят, потому что существует возмездие…

Женское лицо в черном, наглухо, до бровей повязанном платочке наклонилось над нею. Таня хотела было прикрыть глаза, но заметила добрую улыбку на склонившемся лице.

— Здравствуй, богоданная сестрица наша. Ну как, пригрелась маленько, от лесной сыри да папоротниковой дурноты отошла? Вот и славно, вот и хорошо.

Уютным был голос, ласковым. «Но не поддаваться, не поддаваться. Палачей казнят, даже

невольных. А я — вольный палач. Вольный невольник. Или — невольница?

В нашем роду не было палачей, я — первая. А может, были? Нет, нет, за палачество дворянства не жалуют, только за отвагу в бою и верность государю. Батюшка рассказывал, что наш предок получил дворянскую шпагу в Полтавской битве из рук самого Петра Великого. Батюшка сам служил еще в турецкую войну, командовал полком и был ранен на Русско-японской, а Александр сейчас где-то бьется с большевиками, если, конечно, не убили его. Пуля — дура, да расстрел молодец… Кто так говорил, кто?.. Вон, вон из памяти, вон!..»

— …Попей, касатка, я питье тебе на меду принесла…

С ложечки поили, аккуратно и бережно, капельки не уронив. И приговаривали ласково, напевно приговаривали.

— Оно силу даст тебе, касатка. На травах оно настояно. Попьешь и поспишь, опять попьешь и опять поспишь.

В сон клонило, но Татьяна изо всех сил гнала от себя этот сон. Ей казалось, что непременно приснится что-то очень страшное. Или — услышится изнутри, что еще страшнее…

«…Именем советской власти!.. Именем трудово-

го народа!.. Именем большевистской партии!..»

Нет, нет, спать нельзя, нельзя. Лучше вспоминать время, когда еще не было этих имен, а был просто суд. Обвинение, защита, судья, присяжные. А ведь это и есть семья. Обвинение — отец, защита — мать, судья — ее традиции, а присяжные — дети, тети, дяди. Они судили по справедливости, они учитывали не только само преступление, но и характер обвиняемого — со зла совершил он проступок, по неосторожности или просто по глупости. И обиды были детскими, легко смываемыми слезами.

«Значит, нужно спрятаться в семье. В воспоминаниях о ней, об отце, маме, братьях и сестрах. Они — мое спасение. Они…»

Отец. Командовал дивизией в Русско-японскую, был ранен, вышел в отставку и стал писать о русском офицерском корпусе. Александр как-то спросил, почему именно о командирах рот, и отец ответил, что только так можно правдиво рассказать о геройстве русских офицеров в той идиотской войне.

— Русское командование даже не соизволило переписать боевые уставы с учетом появившихся на вооружении пулеметов, — вздыхал он. — И мои командиры рот шли в полный рост впереди

своих солдат с обнаженными саблями. И гибли сотнями. Сотнями!..

Своими трудами он строил памятник преданным военными чиновниками доблестным русским офицерам. У него была благородная цель, почему он столь целеустремленно и неистово работал.

А мама?.. Мама, положившая всю себя на то, чтобы воспитать из нас, детей, достойных граждан и порядочных людей. Чтобы мы умели любить и дружить, выбирать в юности интересное и полезное занятие по душе и честно служить ему всю жизнь. Мама, которая оставила город, светские знакомства, удобства, театры, концерты, как только у меня стали подозревать чахотку. И переехала в именье, в глухомань во имя спасения дочери. И — спасла, все зарубцевалось, только дочь оказалась палачом…

Нет!.. Только о прошлом, о прошлом. О детстве, оно безгрешно, в нем нет обид и проклятий, а есть только любовь…

Бал! Мама устроила бал, чтобы познакомить нас с молодыми соседями. Это было чудесно. Со мной танцевал Сережа Майков, внучатый племянник знаменитого поэта. И я ему нравилась, я чувствовала, что нравлюсь, девушкам это свой-

ственно. И партия была вполне приемлемой, и мама меня уговаривала, и сестры, а я…

А Павлик танцевал с Настенькой. Она была еще девчушкой, когда заболела, и доктор Трутнев…

Стоп. Об этом забыть. Ты — Агафья, то ли Ковалева, то ли Кузнецова. Ты — солдатка, у тебя мужа убили…

Нет, нет, нет!.. С доктором приехал какой-то травник, которого звали… Трансильванец — мама писала. Но это не имя, это — национальность. И это — забыть, забыть… А что же тогда вспоминать, если все забыто? Что?..

А то, что была девочка Танечка, барышня Таня, студентка исторического факультета Татьяна. И она… Она погибла. В лесу. Ее нет, и вопросов тоже быть не должно…

Татьяна напрасно беспокоилась, терзалась, убивала сама себя и убегала от самой себя. Монашкам монастырской обители Пресвятой Параскевы Пятницы было совершенно все равно, кого они отыскали в лесу умирающей под старой солдатской шинелью. Они лечили несчастную, свято исполняя взятый на себя обет заботы и помощи. Но Татьяне надо было сначала избавиться от страха, который она перенесла, от ужаса, который она творила собственными руками, от

яростной ненависти к самой себе. На это требовалось время, и если бы не монастырь, ей вряд ли удалось бы заново поверить в себя и начать жить сначала хотя бы под именем солдатской вдовы Агафьи Кузнецовой.

Но община монастыря Пресвятой Параскевы Пятницы накопила огромный опыт лечения искалеченных женских судеб и душ. Никто ничему не учил, никто не наставлял, не читал проповедей, а лаской, тихим словом и заботой латал дыры, пробитые в женском сознании. Поначалу Татьяне не позволяли вставать, кормили помалу, но часто, а непременную постную пищу подкрепляли настоями на травах, варенных в меду. И тело крепло, а ласка и тихие разговоры лечили душу, и вскоре Татьяна — Агафья для монастыря — сама попросилась помогать чем может.

Желание это встретили с радостью. Татьяну все поздравляли, сшили ей платье из небеленого холста, такой же платок и определили поначалу убирать монастырское подворье. Таня старалась, истово молилась, на беседе с матушкой игуменьей сказала, что хотела бы принять постриг.

— Труды твои и молитвы оценит святая Параскева Пятница и никто более, — сказала матушка. — Старайся, дочь моя, старайся. Ты

чиста и прилежна, но на все воля Ее.

Боже мой, как обрадовалась Таня! Истосковавшаяся, оплеванная и истоптанная душа ее жаждала спасения, как никогда и ничего не жаждала доселе.

А монастырь был бедным, не имел ни святых мощей, ни особо чтимых икон, ни даже кладбища с именитыми фамилиями. Жили скудно, работали от зари до зари, держали кур, уток да коз, которых легче было прокормить, потому что никаких покосов в монастырской собственности не было. И Татьяна вызвалась ходить за козами. Кормила их и поила, доила и сдавала молоко сестре-хозяйке, рвала в лесу веники на козью подкормку, придумывала им клички, и они вскоре стали на них отзываться. Она выводила их на заросший выгон, где никакая бы корова не прокормилась, а козы с удовольствием жевали жесткие сорные травы, потряхивая бородками.

«Вот оно, зимовье мое, — думалось ей. — Тихо, уютно, никто ни о чем не спрашивает. И дело у меня благое, общине помогаю, как могу и умею…»

Так бы оно, возможно, и случилось, только Россия сама утеряла все свои зимовья. Вздыбилась, остервенела и — понесла. Куда? Зачем?.. Да ни за чем. Просто попала в бесконечное колесо отри-

цания, остановиться уже не могла, и следующим отрицанием оказалась религия.

Когда есть отрицание, Бога нет.

Приехали перед обеденной трапезой семеро конных с тремя подводами под командой пожилого солдата с отрезанной по локоть левой рукой. Он приказал всем во дворе собраться и выступил с речью.

— Бога больше нет, граждане женщины. Учеными доказано, что это поповская выдумка, чтоб сосать соки из трудового народа. И вышло такое распоряжение, чтоб все церкви и монастыри порушить, нетрудовой элемент сослать в Соловки на принудительные работы для пользы дела, а обманутых ими распустить по домам, дав на первый прокорм неценную церковную утварь или, проще говоря, тварь, живность. Все ясно-понятно?

Промолчали женщины. Как в черном, так и в домотканом.

— Тогда волоките все убранство, — махнул единственной целой рукой самый главный. — Слесарям аккуратно ободрать оклады, а иконы — в общую кучу. В общий очищающий нас огонь.

Вот тогда закричали женщины. Солдаты по-

теснили их, руководство в церковь прошло, а через раскрытые настежь двери вскоре полетели иконы в окладах и без, книги, книги, бумаги какие-то. Черная мать-игуменья следом выбежала. И — руки к небесам:

— Проклинаю!.. Именем Господа нашего…

Связали ее, рот заткнули, чтобы криком никого не смущала.

— Монашек построить!.. — крикнул кто-то, заместитель или помощник. — Если орать начнут, связать и рядом с матушкой!..

Примолкли все, тихо плакали. Мужики-богоборцы тут же с икон снимали оклады, а сняв, отбрасывали в общую кучу, чтобы потом спалить вместе с книгами. Тут и однорукий вышел.

— Такая у меня мысль, товарищи, чтоб темным прислужницам черных этих монахинь какое-никакое материальное поддержание выделить. Я тут список этих темных дур нашел, вот им и отдадим монашенскую живность. Прямо по списку на пропитание.

Третьей по списку шла Агафья Кузнецова. И выдали ей козу.

— От имени советской власти, — сказал однорукий. — Чтоб помнила нашу большевистскую справедливость. Бери, Гунька, козу, чего на меня

уставилась?..

И погнала генеральская дочь черную козу с белым передничком на груди и белыми носочками на ножках. Упрямую, круторогую, но почему-то привязавшуюся к ней. А Татьяна боялась идти к своим, в Вересковку, боялась посмотреть им в глаза и увидеть приговор навсегда. Но невольно шла в ту сторону, потому что все остальные стороны света были еще страшнее. Шла неторопливо, тихо разговаривая с козой, подкармливая ее вкусными стебельками, и за это коза дважды в день позволяла себя доить. Так и кормились вдвоем, и спали, плотно прижавшись друг к дружке, и — потом, потом, когда пришло время, — Таня вспоминала этот путь с козочкой как самые светлые, безмятежные и счастливые дни своей путано непутевой жизни…

Так дошли до села Хлопово и поселились в ничейном сарае неподалеку, на пустоши, где и трава не росла. Но козе хватало сена, оказавшегося в сарае, Тане — молока, а деньги на хлеб и прочие надобности сначала зарабатывала любой работой в селе, а потом…

Совсем неподалеку именье Майковых было, через шоссе. Подъезд удобный, так его первым — железная дорога рядом — конфисковали и пре-

вратили в Дом отдыха и веселья для трудящихся. Веселья там хватало: отдыхающие от трудов праведных ночи напролет горланили песни, припевки, частушки да речовки. И строем ходили в столовую. «Ра-ра! Ра-ра-ра! Раз-два! Ра-ра-ра!..»

А в селе Хлопово издавна хрен засорял огороды. Хлоповцы в пищу его не употребляли, а Татьяна, на козьем пустыре которой тоже хрена хватало, стала готовить из него остренькую приправу. Приправа эта отдыхающим пришлась по вкусу и — покупали. Какой-никакой, а — приварок, Таня на него не только хлеб, но иногда и селедку в сельпо приобретала.

И была счастлива. Все-таки Господь правильно рассудил, что человек не должен знать, когда и как кончится его счастье. Это и гуманно, и мудро, и спасает даже кое-кого, как считает небывало терпеливый, угодивший аккурат в середину между диалектикой и Богом русский народ. И живет там съежившись, не потому что места ему мало, а потому что — между. Когда уж совсем невмоготу приходится, ворчать да копошиться начинает, и тогда возникает то, что когда-то гимназистка Танечка Вересковская назвала русотрясением.

Может быть, из-за этой дерзости Танечку, то бишь Агафью Силантьевну Кузнецову, не спасла

милость Господня? Нет. Просто пришел очередной круг отрицания. А с диалектикой не мог бороться не только товарищ Сталин, но и сам Господь Бог.

32

Прапорщик Владимир Николаев имел немалый боевой опыт, два боевых ранения, тяжелую контузию. Он многое знал, сдав во время госпитального лечения экстерном за весь недоученный курс, получил диплом инженера, но, пока шла война, не мог себе позволить уйти в тихую мирную жизнь.

Начальник штаба был унтером с двумя крестами и двумя классами церковно-приходской школы. Его заместитель и земляк кое-как осилил это учебное заведение, но не имел никакого боевого опыта, всю войну отважно потея в похоронной команде. А командир батальона больше всего любил баньку, где поддавал парку даже не квасом, а самогонкой, и веник вымачивал в той же самогонке. Никто, кроме него, не выдерживал такого хмельного удара, да и он вываливался из бани в состоянии потустороннем, что очень радовало краснорожего командира полка товарища Пятидеревцева, имевшего партийный стаж с шестнадцатого года, а потому и не имевшего

назначенного комиссара. Он был един в двух руководящих лицах, а следовательно, и неуязвим.

— Нет в полку должностей, — сказал он, кое-как посмотрев документы Николаева. — Назначаю временно исполняющим должность помощника начальника штаба.

— Как? Я же до ранения был исполняющим обязанности начальника штаба полка…

— Вот офицерье проклятое! — укоризненно покачал головой Пятидеревцев. — Всегда в должность лезет, ничем не уймешь. «Так точно!» должен отвечать без всяких яких!..

— Есть принять должность временно исполняющего обязанности помощника начальника штаба.

— Нет, не сработаемся мы с тобой, — вздохнул Пятидеревцев. — Я тут царь, бог и воинский начальник, понял меня? Заруби это себе на чем сподручнее.

На фронте было затишье, никаких активных действий полк не предпринимал, не считая регулярных пьянок земляков. Привыкший к дисциплине Николаев исполнял все обязанности, поскольку весь командный состав был втянут земляками в длительный загул. Единственной опорой Владимира Николаева был командир

второго батальона поволжский немец Кляйнер. Фронтовик, не только имеющий боевой опыт, но и отличающийся немецкой точностью и аккуратностью при исполнении служебных обязанностей.

— Как же эти земляки в пьянку вас не втянули? — поинтересовался как-то Николаев.

— Сказал, что не могу. Язва мучает.

— И вправду язва?

— Язва у нас не внутри, а снаружи.

Среди командиров рот тоже нашлись бывалые командиры, не зачисленные в земляки чаще всего по национальным признакам. Три еврея, два латыша, поляк, кто-то с Кавказа, один из Средней Азии, то ли казах, то ли узбек. Это были надежные люди, ненавидевшие своего полкового царя, бога и воинского начальника. На них можно было положиться, но двойной статус Пятидеревцева, соединяющего в одном лице командира и комиссара, не давал возможности действовать по собственной инициативе.

Если бы не неудержимая склонность командира полка к застольям с земляками, то все бы в судьбе Николаева пошло по иному пути. Но склонность уже переросла в страсть, бороться с которой члену партии большевиков с шестна-

дцатого года было не по силам.

— К свояку на недельку поеду, — как-то объявил он. — Свояк дочку замуж отдает. Выберете пока себе старшого, что ли.

И укатил на трех тачанках с бочкой вонючего спирта.

Старшого выбирать не стали. Им автоматически посчитали Владимира Николаева, так как других кандидатур просто не нашлось. И раздерганный пьянством командира и бесконечными переформированиями полк вздохнул с облегчением и некоторой надеждой. Неизвестно, правда, на что именно, поскольку партийный стаж пьяницы надежно прикрывал его должности со всех четырех сторон.

Вздохами дело бы, вероятнее всего, и ограничилось, если бы на второй день после отъезда Пятидеревцева перед полнопрофильными, нехотя вырытыми по упрямому настоянию Владимира Николаева окопами полка не показался конный разъезд соседей.

— В разведку выехали, а тут — казаки, — доложил командир отряда. — Да сабель пятьсот, не меньше. Ну, решил я к вам прибиться, вы уж извиняйте, хлопцы. У вас — окопы, а у нас…

Махнул рукой и замолчал.

— Гнались за вами? — спросил Николаев.

— Да мы тростниками ушли. Меж нашими позициями — болото в камышах да густой тростник вокруг него — конь со всадником не виден, если к луке припадешь, конечно.

— Молодец, правильное решение принял. Отведи коней за лесок, конников — в окопы вместе с моей пехотой, а меня скрытно доставишь к своему командиру. Боевая тревога!

Командиром соседнего полка, с которым из-за болота не имелось непосредственного фланговой соприкосновения, оказался пожилой питерский рабочий. Никакого фронтового опыта у него не было, о чем Николаев догадывался. Опытный командир в степи пошлет в разведку не кавалерийский разъезд, а пеших разведчиков, умеющих скрываться на голом месте.

— Почему не искали с нами хотя бы огневой связи?

— Болото, — неуверенно пожал плечами комполка.

— Его можно преодолеть?

— Так как сказать? Не пробовали.

— Белорусы в полку есть?

— Есть, — сказал угрюмо молчавший доселе комиссар соседнего полка. — Зачем тебе белорусы?

— Они — люди болотные. Отберите пятерку самых бывалых. И к ним — взвод для охраны и помощи. Кроме того, нам понадобятся веревки и крепкие шесты. Хочу это болото пощупать собственными ногами.

Командир посмотрел на комиссара, а тот сказал, как уронил:

— Надо.

Николаев усмехнулся:

— Насчет баньки побеспокойся, комиссар.

Пять часов по пояс в жидкой вонючей трясине нащупывали тропу, порою проваливаясь и по плечи. Тогда выручали веревки, и все начиналось сначала. Топь казалась непролазной, но упорная вера командира, всегда идущего впереди, позволяла надеяться, что твердый путь они непременно отыщут.

И — отыскали. Ряд вешек обозначил тропу, по которой по одному можно было выйти даже на два направления. В расположение обоих полков и в густые тростниковые заросли по берегу болота.

Вылезли грязные по горло. Банька была готова.

— Лично попарю, — сказал довольный комиссар.

— Ты лично тростники проверь. — Николаев с трудом разлепил забитый грязью рот. — Можно

ли в них нашу кавалерию спрятать, даже если коней положить придется.

— Будет сделано. Не сомневайся.

— И пешую разведку — в степь. Пусть змеями ползут туда и обратно, но чтоб точно установили, где противник, и ориентировочно — сколько его против наших полков.

Попарились знатно. Вышли чистые, разгоряченные. Командир им новое обмундирование подыскал, комиссар спирту предложил:

— После баньки сапоги продай, а — выпей.

— Это — после боя положено. До боя никогда не пью, бойцам запрещаю и тебе не советую. Я — к начальнику штаба. Приходи туда вместе с командиром.

Начальником штаба оказался пожилой, раненный еще в Первую мировую бывший подполковник. Он вдосталь навоевался, но семья осталась в Ярославле, почему он счел за благо добровольно вступить в Красную армию.

— Товарищ Николаев лично разведал болото, нашел проходы, — доложил комиссар. — Мне посоветовал спрятать там наш конный резерв и выслать в степь пешую разведку.

— Что ж, весьма грамотное решение, — осторожно, каждое слово ощупывая, сказал началь-

ник штаба.

— Станет грамотным, если мы в болото пару пулеметов скрытно протащим, — уточнил Николаев. — И спрячем их в тростниках.

— Задача? — спросил начальник штаба.

— Фланговый огонь в случае конной атаки противника.

— А конники тут при чем?

— Предполагаю, что пехоты как организованной боевой единицы противник не имеет. Иначе они не выслали бы в голую степь конный разъезд, товарищ начальник штаба.

— Интуиция — плохой советчик в предстоящем сражении.

— В этой алогичной войне, которой является наша Гражданская, она — главный козырь.

— Однако…

Неизвестно, сколько времени шел бы этот научный спор, если бы не вернулась пешая разведка.

— Казаки! Сотен тридцать, ежели не больше!.. Сомнут и порубают в капусту!..

— Погоди стращать, — перебил Николаев. — Артиллерия есть у них? Сколько батарей? Калибр?.. Не знаешь? Дерьмо ты, а не разведчик.

— Да не о том сейчас речь, — поморщился командир полка. — Ты, товарищ Николаев, человек

опытный, боевой. Ты скажи нам, что делать, как к атаке подготовиться.

— Казаки воюют в незнакомой местности, о наших болотах ничего не знают, значит, первое — не позволить их разведке пролезть в тростники. Пулемет туда и взвод хороших стрелков.

— Разумно, — согласился начальник штаба.

— Второе. В остатках нашего полка чудом сохранилась картечная батарея с боеприпасами. Необходимо перебросить ее на руках через болото по мною разведанной тропе и расположить впереди линии обороны в хорошо замаскированных капонирах.

— Отличное решение…

— Не всё. Немедленно собрать в соседних деревнях все бороны и разбросать их перед линией обороны зубьями кверху. Ни один казак на бороны своего коня не пошлет. Значит, строй атаки будет нарушен, и вот тут-то — не раньше! — накрыть их перекрестными картечными залпами.

После некоторых уточнений и согласований операция, разработанная Николаевым, была утверждена. Уж что-что, а воевать недоучившийся студент обучился.

Казачья вылазка с задачей прорвать фронт и выйти в тылы группировки красных была пол-

ностью сорвана. Понеся большие потери, казаки откатились далеко на юго-восток. Подальше от внезапного картечного обстрела с флангов и пугающе клыкастых борон, разбивших казачью лаву на отдельные группы.

За организацию этого боя помощник начальника штаба полка Владимир Николаев был награжден орденом Боевого Красного Знамени и отозван в Москву на Курсы высшего командного состава.

А в это время командир, а заодно и комиссар его полка парились в разного рода баньках в приятном кругу земляков. И ордена он, естественно, не получил, хотя его полк принимал участие в бою. Это так обозлило его, что он начал писать сначала жалобы и обвинения — дескать, почему орден дали помощнику начальника штаба его полка, а не ему лично. Постепенно обвинения переросли в доносы, и сколько безвинных людей оказалось арестованными по его доносам, знают только там, откуда приходила команда арестовать.

Но Николаев не интересовался судьбою своего командира. После курсов он успел повоевать, получить еще один орден и служил командиром дивизии в Приволжском военном округе.

В аду.

Все войны имеют свое начало и свой конец, свои утраты и свои приобретения, свою славу и свое бесславие. Все — в том числе и гражданские, когда одна из сторон признает бессмысленность дальнейшего сопротивления и соглашается на условия победителя. Так было в Соединенных Штатах Америки, Финляндии, Испании. Со временем проходят обиды и несогласия, и дети победителей и побежденных ставят общие памятники отцам — победителям и отцам — побежденным. Памятники, а не концлагеря.

В России победители большевики построили концлагеря, старательно срыв все могилы погибших. В том числе и могилы тех, кто когда-то погиб под красными знаменами.

Нет, у нас была не гражданская война, а война на уничтожение, в которой невозможно никакое согласие ни при каких условиях. Война на уничтожение не знает пощады. Большевики воевали не против дворян, не против буржуазии, не против крестьянства. Они воевали против всех классов общества, то есть против народа. В такой войне всегда существует враг, и поэтому наша Гражданская война никогда не кончалась, взяв лишь короткий перерыв на время Великой Отечественной войны. Она продолжается и сегодня,

она никак не может закончиться, потому что ее истинное содержание есть всего лишь ступень отрицания, запущенного в действие большевистским переворотом.

Отрицание второе

– Есть еще порох в пороховницах?
– Так точно, ваше благородие!
– Высыпать его к чертовой матери. В штыки пойдем отсюда в никуда.

1

Павел Берестов был на отличном счету у командования. Разгромил несколько бандитских отрядов, жестоко и стремительно подавил мятеж в уезде, получил Почетный знак чекиста за быстрое подавление тамбовского мятежа.

То было последнее крупное крестьянское восстание в центральной и практически уже большевистской России. Скорейшему подавлению его придавалась особая роль, почему командующим этим внутренним фронтом и был назначен один из самых талантливых и удачливых полководцев Красной армии бывший лейб-гвардии поручик Тухачевский. А в помощь ему Чека отрядила прославившегося решительностью при подавлении мятежей и недовольства особо уполномоченного Павла Берестова.

— Ваше дело, товарищ командующий, громить вооруженные силы противника, — сказал, представившись, Павел. — Мое — подчищать тылы, чтобы гнили не осталось.

— Подчищать тылы можно только после разгрома вооруженных сил противника, — сухо ответил командующий.

— Я буду делать это параллельно. Таковы данные мне полномочия, товарищ командующий.

Тухачевский молча пожал плечами, и процедура представления особо уполномоченного на этом завершилась.

Гражданская война миновала Тамбовскую губернию. Села и города ее были не тронуты, жители и не слыхивали о налетах, расстрелах, грабежах и деятельности карательных органов. Они без колебаний признали советскую власть, мирно трудились, собирали урожай, кряхтя, выдерживали наезды продотрядов, и все было спокойно.

Только остатки разгромленных в соседних губерниях отрядов отходили в ее леса, прятались в ее глухих деревнях, и уж чего-чего, а оружия у тамбовцев хватало. Его прятали в лесах откатившиеся сюда остатки банд, его — на всякий случай — хранили тамбовские фронтовики-крестьяне,

его на окраинах губернии собирали мальчишки и складывали в свои захоронки.

Кряхтение и ворчание миролюбивых тамбовских крестьян кончилось тогда, когда большевики продотряды, порою даже менявшие хлеб на городские изделия — мануфактуру, серпы, скобяные товары, — заменили продразверсткой. Объем этой дани определялся сельским советом, и большевики широко использовали его право определять, кому и сколько следует отдать хлеба, чтобы расколоть крестьянскую общину. Такая система картечью била по деревне, где страдали не только зажиточные, но и беднота, потому что чувство родства было основой сельской общины. Разори состоятельного крестьянина, и по миру вынужден будет пойти не только он, но и тот бедняк-родственник, которому он давал кров и работу.

Это была первая попытка расслоения сельского населения, до колхозов еще не додумались. А крестьянства, сплоченного общиной и церковью, большевики боялись. Три четверти населения России было неплохо вооружено и сражаться умело, что власть чувствовала не только по махновскому движению. Крестьянство было занозой в самом сердце большевистского переворота,

потому что как поступить с ним, не знали. Не было никакой крестьянской программы, когда большевики захватывали власть.

Пока Тухачевский теснил тамбовские вооруженные отряды, особо уполномоченный Павел Берестов за его спиной «чистил», как он выражался, тылы. Арестовывал, отправляя арестантские вагоны чуть ли не со всех станций, выгонял семьи арестованных из домов, забирая их имущество в пользу трудящихся, и даже расстреливал без суда. Когда Тухачевский узнал об этом, он немедленно вызвал к себе Павла. Телеграмма была короткой: «Не явитесь, привезут под конвоем».

Павел явился, поскольку директивы ссориться с командующими еще не поступало.

— По вашему приказанию…

— Кто дал вам право ссорить нас с крестьянством? Ваши тыловые расправы ежедневно поставляют мятежникам новых и новых обозленных бойцов. Немедленно отправляйтесь к своему начальству и доложите, что я решительно требую вашего отзыва. Кру-гом! Шагом марш!..

Прибыв в Москву, Павел тотчас же направился в ВЧК. Его попросили пояснить суть вопроса. Он изложил свою точку зрения, бумагу передали, и через полчаса Павел был принят самим Дзержин-

ским. Кратко доложил обстановку на Тамбовском направлении, обосновал необходимость своих действий и замолчал, ожидая уточняющих вопросов.

Дзержинский молчал. Худое, обтянутое пергаментной кожей лицо его ни разу не дрогнуло во время доклада. Он не мигая пристально смотрел на Павла желтыми глазами, в которых, казалось, ничего не было, кроме инквизиторской пристальности.

— Офицерье замучило вконец, — осторожно вздохнул Павел. — Того не тронь, этого не смей. Когда же мы с ними-то разберемся, Феликс Эдмундович? Уж невмоготу…

— Уже разбираемся, — почти не разлепив тонких, в ниточку сведенных губ, сказал Дзержинский. — По указанию Владимира Ильича в Холмогорах построен первый концентрационный лагерь для пленных офицеров, буржуев, нетрудовой интеллигенции, попов и прочих тайных врагов советской власти. Сейчас рассматривается вопрос о создании особого лагеря на Соловецких островах. Вот туда и поедут все бывшие офицеры, как только до конца исполнят свой долг перед большевиками.

— Поскорей бы… — от души вздохнул Павел. —

Сердце кровью обливается, Феликс Эдмундович.

— Ты получишь мандат на право бессудных расстрелов на месте. Помни, Владимир Ильич неустанно напоминает нам о революционной беспощадности. И предупреждает, что крестьянство воспроизводит кулаков и вредителей регулярно и в массовом порядке.

— Клянусь всегда быть беспощадным к врагам нашей партии!.. Только крестьяне в лесу прячутся…

— В лесу?.. — Дзержинский подумал. — Есть средство и против леса. Хорошее средство! В Гражданской войне мы его, правда, не применяли, почему оно и попало в мое ведомство. Но здесь же не армия, здесь — бандиты. Я передам в твое распоряжение отряд специального оружия. Действовать по обстановке, никогда не забывая о ленинской беспощадности! Руку, товарищ Берестов.

Павел вернулся в полыхающую Тамбовскую губернию на товарном составе. В него входили две платформы с цистернами, одна — с легким одноместным самолетом и классный вагон, где ехал Павел со специалистами по таинственному оружию и личной охраной и взвод хорошо вооруженной команды. Состав со специалистами он

оставил на тихом разъезде, а в штаб Тухачевского явился с мандатом и вооруженной группой.

— Вот мандат на право расстрелов на месте, подписанный Дзержинским, — сказал он, показав привезенные бумаги. — А это — мандат на право применения спецсредств в случае необходимости. Со мной откомандированы специалисты по применению этого специального оружия и одноместный аэроплан для распыления его над лесами.

— Иприт? — тихо спросил Тухачевский.

— Иприт.

— Ужасно…

— А когда гибнут наши бойцы, не ужасно?

— Там, в лесу, много деревень. За что же женщинам и детям такая мучительная смерть?

— Странный вопрос, — усмехнулся Павел. — За то, что их мужья и братья подняли оружие на советскую власть.

— Ужасно… — повторил командующий. — Вы же интеллигентный человек, вы же представляете, как они будут умирать… Они будут умирать в страшных, неописуемо страшных муках.

Павел молчал, опустив голову. Тухачевский подумал было, что в нем заговорила совесть, но в Павле просто шевельнулись воспоминания. О

родных в далекой Вересковке, об отце, матери, сестрах. Он был сентиментальным, что не мешало ему, впрочем, оставаться жестоким. Даже очень жестоким.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Я даю вам, товарищ командующий, две недели. Пусть ваши политбойцы объяснят бабам и старикам, что такое иприт. Пусть ваш политотдел распечатает листовки и распространит их на бандитской территории. Пусть вся армейская медслужба будет готова оказать пострадавшим помощь. Но через две недели…

Две недели нужны были ему, чтобы летчик облетал районы, которые должны были подвергнуться газовой атаке. Тухачевский этого не понял и благодарно потряс его руку.

— Я немедленно отдам такой приказ. Благодарю.

Павел вышел от командующего и настороженно огляделся. Верного телохранителя Кузьмы у крыльца не оказалось. Он стоял возле платформы, на которой привезли цистерны.

— Ты почему от крыльца отошел?

— Иприт? — спросил Кузьма, кивнув на платформы.

— Иприт.

— Так вот ты зачем в Москву гонял, — усмехнулся Кузьма. — Ну, тогда я пошел.

— Куда пошел?

— В деревню. Мараться в таком деле — совесть дороже. До смерти не отмоешься. Прощай.

И пошел неторопливо, не оглядываясь.

Как только особо уполномоченный ушел, Тухачевский послал три срочных шифровки. В Генеральный штаб, Главнокомандующему и лично товарищу Ленину. Он умолял запретить применение отравляющих веществ, цифрами доказывая, что сам, наличными силами справится с мятежниками. Он предупреждал, что весь цивилизованный мир никогда этого не простит, что престиж советской власти будет надолго подорван, что европейские партии социалистического толка потеряют доверие к Коммунистической партии большевиков.

Он получил только один ответ. От Ленина, где рекомендовалось любыми средствами подавить мятеж, наиболее авторитетных вожаков повесить в их селах, остальных расстрелять.

Леса Тамбовской губернии были залиты сильнодействующими отравляющими веществами, количество отравленных, искалеченных и больных осталось неизвестным, навеки похоро-

ненным в архивах мрачного ведомства Феликса Дзержинского.

Тухачевский стал одним из самых знаменитых героев Гражданской войны, получил звание Маршала Советского Союза в первой пятерке. Фамилия Тухачевского упоминалась часто, портреты его украшали стены многих зданий, их носили и на демонстрациях во время праздников. Он тогда был нужен и широко востребован, но в 1937 году во время расправы Сталина с руководством Красной армии на пародийном суде ему было предъявлено обвинение в отравлении целой губернии.

Особо уполномоченный Павел Берестов получил значок и звание Почетного чекиста.

Правда, позднее он вспоминал об этом с горечью. Министерство страха любило время от времени чистить свои ряды. И четвертый по счету хозяин Лубянки Ежов списал его в ад.

2

Жена одного из известнейших комдивов бывшего прапорщика Владимира Николаева Наталья Вересковская прошла всю Гражданскую войну рядом с мужем. Когда он получил дивизию, служила политбойцом при политотделе, вступила в пар-

тию большевиков, разъясняла бойцам текущий момент, открыла школу по ликвидации неграмотности, помогала мужу как только могла.

В конце Гражданской войны дивизию Николаева сняли с фронта, участия во взятии Крыма она не принимала. Дивизия после формального окончания Гражданской войны была переброшена под Москву в капитально отстроенной военный городок, где до революции располагалась какая-то отборная часть. Кирпичные двухэтажные казармы стояли строгими рядами вдоль главной улицы, замыкаясь отлично ухоженным плацем. Артиллерийский парк находился за жилыми корпусами, командиру полагался особняк рядом со штабом, а остальные офицеры жили в удобных отдельных квартирах.

По выходным дням в большом гимнастическом зале клуба непременнейшим образом устраивались танцы. Жены командиров, в основном недавние крестьянские хохотушки, с огромным удовольствием отплясывали под гармошку польку, кадриль и краковяк, а их мужья зачастую заказывали и «русского», из всех сил топоча сапогами по наборному паркету. Наташа попыталась было играть им на рояле, пылившемся здесь же, но они дружно отказались:

— Барская музыка!

Бывшие офицеры, которых в дивизии было много, не посещали эти пляски. Прежде всего это были работники штабов батальонов, полков и самой дивизии, а также почти все командиры частей, начиная с батальонов. Они с женами и дочерьми на выданье собирались вечерами в актовом зале с превосходным роялем, на котором попеременно играл кто-либо из присутствующих. Здесь в ходу были вальсы и даже мазурка, которую очень любила Наташа. А в перерывах отдыхали за приятными разговорами и чаем из самовара с колючим синеватым колотым сахаром. И кто-нибудь из бывших офицеров или их жен негромко пел под гитару старинные русские романсы.

Дивизию укомплектовали по боевой норме, заменили конный состав, артиллерию и пулеметы, но Николаеву это не очень-то нравилось.

— Чего вдруг зажурывся, комдив? — спросил пожилой добродушный комиссар, которого никто в расчет не принимал. — Гарно оружие тебе дали, чого ж еще треба?

— Ясности треба, комиссар, — вздохнул Николаев. — Боюсь, что в каратели нас готовят.

— А вот этого не бойся. Из нас примерную часть

создают. Вывеску для всей армии, потому скоро треба ждать инспекцию.

По стране своею кривой неизведанной дорожкой катился нэп. Командиры хмуро вздыхали:

— Снова буржуев выкармливаем.

— Та ну, — отмахивался комиссар. — Обнищала страна, а крестьянство-таки просто до невозможности. В казне — одни дыры, пусть уж их новые буржуи латают. Залатают — и нэпа никакого не будет. Прихлопнут декретом, и кончились все новые буржуи. А селянин останется с плугом да лошадкой.

Вечером комдив на командирские танцы не пошел, хотя танцевал лучше всех. Наташа рано вернулась домой. Владимир сидел хмурый, обложившись газетами и журналами.

— Ты почему на вечер не пришел?

— Мысль одну проверял. Насчет сивки-бурки с плугом.

— Что-то я тебя не понимаю.

— А тут и понимать нечего. Нэп — плацдарм для атаки на крестьянство. Вот мой вывод.

— Да что ты, Володя. В стране крестьянство составляет большинство населения. Какая атака? Во имя чего? И какими силами, если вся армия наша — сплошь крестьянская?

— Новая экономическая политика — задача тактическая. Сама по себе она ничего не решает, но тем не менее введена «всерьез и надолго», как сказал Владимир Ильич. Ну а какова же, по твоему мнению, задача стратегическая?

— Дать передохнуть народу.

— Народу?.. Да крестьяне бесплатно получили землю, исходя из количества едоков в семье. А любимчик Ленина Бухарин бросает лозунг «Обогащайтесь!». Кому он адресован? Нэпманам? Они просто перекупщики при полной стабилизации цен. Так кто же их снабжает продуктами? Правильно, крестьянство. Оно наконец-то дорвалось до больших семейных наделов, трудится до седьмого пота и — богатеет. Я смотрел статистику и утверждаю, что социальный состав крестьянства резко изменился. Бедняк ныне не тот, у кого огромная семья и крохотный надел, а лодырь или пьяница, который сдал свой надел в аренду и дрыхнет под окном в крапиве после очередного перепоя. Вот почему и были отменены всякие там комбеды. Что, разве я не прав?

— Я… Я не очень готова сейчас к такому разговору.

— У крестьянства — схроны, они мужики запасливые. Найти эти схроны невозможно, они не

под полом, а где-то в надежном месте.

— Подожди, какие схроны? С зерном, что ли?

— С оружием и боеприпасами. Во время нашей бестолковой войны крестьянин понял, что ему можно рассчитывать только на самого себя. А воевать он умеет. Какая стратегическая задача отсюда вытекает? Элементарная: сделать село кулацко-середняцким и объявить смертельную войну кулаку. Физически уничтожить самых активных и несговорчивых, семьи переселить в Сибирь, а из ленивых, бездеятельных, спившихся бедняков создать сельскохозяйственные артели, превратив их фактически в сельских рабочих, дать норму выработки, сурово взыскивать за неисполнение, а чтобы не разбежались, лишить паспортов, как то делала царская власть. Это отрицание самого многочисленного класса России, который очень скоро будет превращен в сельских рабов.

— Однако политика партии…

— Умоляю, давай разговаривать на русском языке. Никакая партия не обладает корпусом дипломатов, задача которых соблюсти интересы сторон. Она блюдет только свои интересы, и ее оружие не дипломатия, а террор. Кольцо, как ты видишь, замкнулось, мы пришли к началу наших

рассуждений.

На этом тогда и закончилась их первая серьезная стычка. А где-то дня через три Владимир сказал:

— Проверяющий из Москвы прибывает. Придется принять его, так что будь готова.

— Милый, где же мы денег возьмем?

— А не надо никаких денег. Выставь на стол наш с тобой паек, пусть проверяющий посмотрит, как живут командиры в подмосковной дивизии. А спирта я у артиллеристов прихвачу.

Но Наталья его не послушалась. И ее учили в детстве, как принимать гостей, и она в своем женском кругу учила этому же вчерашних деревенских хохотушек, а ныне жен среднего комсостава.

Фамилию председателя инспекционной комиссии Николаеву сообщили: комкор Колосов Иван Матвеевич. Фамилия казалась знакомой, но с самим комкором ему встречаться не приходилось.

Для встречи комиссии он выслал почетный кавалерийский эскорт, приказал выстроить в две шеренги бойцов с полной выкладкой вдоль единственной улицы военного городка, а сам со штабом ожидал у подъезда штабного корпуса.

Низкий длинный «Руссобалт» неторопливо

приближался. Владимир еще издали разглядел сидевшего на заднем сиденье руководителя инспекционной комиссии, и лицо его почему-то показалось ему знакомым. Он точно знал, что они никогда не встречались, и тем не менее этот человек кого-то ему напоминал. Кого?.. Наталью. Наталью Вересковскую, его собственную жену…

Машина остановилась на предписанном уставом месте, комкор с легкостью вылез из нее и пошел прямо на Николаева.

«Офицер, — подумал Николаев. — Выправку и отмашку левой рукой за петличками не спрячешь…»

Вскинул ладонь к фуражке, строевым шагом подошел к председателю комиссии и громко, отчетливо доложил:

— Товарищ комкор, штаб и комендантская часть выстроены для вашей встречи. Дивизия — на сборах в летних лагерях. Докладывает командир дивизии Николаев!

— Очень рад знакомству, — сказал комкор, протягивая руку. — Колосов Иван Матвеевич.

Затем, как водится, началась инспекция частей и подразделений, и наедине им остаться не удалось. Вечером, когда комиссия в полном составе собралась для обсуждения итогов первого дня,

комкор Колосов в конце заседания подвел итог:

— Как мы и предполагали, эта дивизия являет собой образец завтрашней преображенной Красной армии. Рад сообщить ее командиру, что уже принято решение о преобразовании ее в бронетанковую ударную дивизию. Через десять — пятнадцать дней вам, комдив Николаев, начнет поступать новая отечественная техника. Так что от души поздравляю.

Николаев горячо поблагодарил, не переставая при этом думать, как же ему заполучить комкора одного. И в конце концов, не найдя никакого предлога, все же рискнул:

— Товарищи командиры, очень хотел бы принять вас у себя дома, но жена плохо переносит беременность, так что извините, пожалуйста, вас примет мой заместитель. Но вас, товарищ комкор, я все же очень прошу оказать честь моему дому. Тут совсем рядом, пешочком прогуляемся.

— Ну, если товарищи не против…

Товарищи были не против, и комдив с комкором первыми вышли на вечернюю улицу уже притихшего городка.

— Вы очень похожи на мою жену Наталью Вересковскую. Она много рассказывала о вас, Александр, — шепотом сказал Николаев. —

Искренне рад нашей встрече.

— Во-первых, не Александр, а Иван, — тихо ответил комкор. — Во-вторых, я тоже рад. А в-третьих, Наталья действительно скверно себя чувствует?

— Наталья беременна, но чувствует себя превосходно. Я тебя хотел заполучить. Ради семейного свидания, дорогой товарищ комкор. Ты, поди, и не мечтал о таком звании на государевой службе?

— Мечтал — не мечтал, все равно не сбылись наши мечты, Владимир. Ты перешел к большевикам добровольно…

— Рота постановила, Александр, — строго сказал Николаев.

— Да ведь я ни в чем тебя не упрекаю, — вздохнул комкор. — Мы попали в шторм, вот и все наши объяснения. Они не морального, а скорее физического свойства. И поэтому ты вестового из дома отошлешь. Так, на всякий случай. Кстати, занавески на окнах в доме есть?

— Какие занавески, Саша! Наталья где-то настоящие шторы раздобыла. Она очень сумерки любит.

— Все мы любили сумерки, — вздохнул Александр. — Не осознавая, что это — сумерки России.

— Ты член партии? — спросил Владимир.

— Естественно, — усмехнулся Александр. — Когда плывешь по течению, учитывай перекаты.

— Как по-твоему, зачем ввели нэп?

— Основной принцип каждой власти — разделяй и властвуй. Обогащаются как раз те социальные группы, в которых большевики видят своих завтрашних врагов — крестьяне и буржуазия, какая еще уцелела. А разделив граждан уже не по сословному признаку, а на богатых и бедных, можно во спасение этих бедных загнать богатых на Соловки. И все, кроме бывших богатых, будут славить советскую власть. И мы опять получим Гражданскую войну в ином обличье.

Тут они подошли к дому комдива, разговор прервался, а встреча брата с сестрой была и радостной и горькой. О политике больше и не вспоминали. Вспоминали юность и детство, боевые эпизоды и смешные случаи, которые происходят и на такой жестокой и бессмысленной войне, какой была война отрицания, так и не закончившаяся в России. И они понимали, что этого дьявольского колеса не остановить.

Вскоре стали прибывать боевая техника, автомашины, новое вооружение. Николаев допоздна оставался в войсках, приходил безмерно усталым

и счастливым. Он был военной косточкой, а потому, естественно, не лишен честолюбия. Наташа благополучно родила сына, роды прошли легко, она быстро вернулась домой и все свои силы и время тратила только на ребенка. Сама кормила, отказалась от няньки или домработницы и была очень счастлива. И Владимир был счастлив, пока однажды, вернувшись домой, не услышал от жены:

— Необходимо как можно быстрее найти няню для ребенка.

— Что случилось? — опешил Николаев.

— Меня вызывают в Москву, на краткосрочные курсы.

— Какие курсы? У тебя — ребенок.

— Какой ребенок, когда вызывает Центральный комитет? Вот, изволь. Доставлен с нарочным.

И протянула ему пакет.

> «ЦК ВКПб срочно требует вашего приезда для обучения на Курсах специальной подготовки».

И — подпись, заверенная гербовой печатью.

Вернулась Наталья нескоро и какая-то не такая. Не прежняя спорщица, приверженица канонов, в которые поверила всей душой, раз и на

всю жизнь. Молча занималась ребенком, молча кормила мужа, молча прибирала дом, оттирая нанятую няньку даже от колыбели. А Владимир боялся ее расспрашивать, полагая, что она смертельно обижена тем, что ее не порекомендовали в председатели колхоза, который она и организовала после обучения на курсах. И — напрасно, потому что сама Наташа очень хотела выговориться, очиститься, но не могла на это решиться без настойчивых расспросов мужа. Они вдруг перестали понимать друг друга, точно работали на разных частотах одного диапазона.

Дело в том, что во время партийной командировки у нее случилась еще одна внезапная встреча, которая вначале очень ее обрадовала, а потом озадачила и даже напугала. И этот испуг мешал ей самой начать разговор, потому что получалось, что в их споре оказывался правым Владимир.

В районе, который выделили ей для агитации, предупредив, что председателя придется выдвигать из местных активных партийцев, было большое и когда-то богатое село. Сведущие люди посоветовали ей ехать прямо туда, чтобы потом вокруг организованного крупного колхоза создать более мелкие.

— Наглядный пример будет, товарищ Наташа.

Село действительно поражало количеством основательных домов с крытыми хозяйственными пристройками, степенными, столь же основательными хозяевами, неторопливостью и гостеприимством.

— У нас положено так. Сперва откушать просим, а потом и побеседуем с теплыми душами.

Распоряжался с виду хмурый, малоразговорчивый староста, которого все слушали в уважительном молчании.

— Кузьма, — представился он. — Воевал у товарища Дыбенко под городом Нарвой, был ранен и списан вчистую. В партии состою, текущий момент приветствую всей моряцкой душой. Но дело это новое для нас, треба обмозговать его и тут уж как мир скажет.

Обмозговать не успели, как в селе появились семеро конных бойцов в фуражках с красными околышами. Ехавший впереди командир, фуражка которого была почему-то кожаной, спрыгнул с седла, бросил поводья на луку седла, шагнул к Наталье и быстро отвел в сторону.

— Наташка!

— Павлик!

Наталья ахнула от неожиданности, ведь Пав-

лик как уехал в семнадцатом за аттестатом в гимназию, так и пропал для всех навсегда. Пропал окончательно, а тут вдруг…

— Павлик, Павлик!.. Почему не писал? Почему семью мучил?..

— Все расскажу, сначала — дело, — огляделся настороженно, заулыбался. — Кого вижу? Кузьма, здорово!.. Сколько лет, сколько зим…

— Здорово, Павел, — со странной скованностью сказал Кузьма, чуть ли не вытянувшись по стойке «смирно».

— Вот тебе и готовый председатель колхоза, Наталья, — официально порекомендовал Павел. — Свой человек, хозяин основательный. Вот к нему — никаких претензий, а что касается остального кулачья…

— Ты нарушаешь основную установку партии, Павел, — тихо сказала Наталья. — Только сход села может решить, кого из кулаков следует раскулачивать. Только общий сход.

— Давай, Наташа, поговорим по-мужски, — сказал, усмехнувшись, Павел. — А ты, Кузьма, ступай. И не сход собери мне, а партийный актив.

Он взял под руку Наталью, отвел подальше.

— Ты — полная дура или прикидываешься?

— Как ты смеешь?.. — Наталья гневно выдерну-

ла руку. — Мальчишка с монтекристо…

— Вот теперь мое монтекристо. — Он похлопал по деревянной коробке маузера. — Вручен лично Феликсом Эдмундовичем Дзержинским вместе со значком Почетного чекиста.

— Поздравляю, — криво усмехнулась Наталья. — И это обстоятельство, ты полагаешь, дает тебе право срывать важнейшее решение Центрального комитета нашей партии?

— Решение одно: ликвидировать крестьянство как класс мелких собственников. А мы, чекисты, — санитары. Мы разгребаем дерьмо, которое мешает стране двигаться вперед, к построению социализма в одной стране. Пока вы им рассказываете сказки о том, как лодыри да пьяницы вольготно будут жить в сельскохозяйственных поселениях, мы уже разработали план, чтобы ваши сказки стали былью наоборот.

— Что значит — наоборот? Болтун…

— А то, что они никогда не получат паспортов. Они вечно будут гнить в своих серых избах, получая начальное образование вроде церковно-приходского училища. И с них этого хватит. Их дело горбатить спины за никому неведомые трудодни. Не деньги, заметь, не плата натурой, а нечто неосязаемое, настолько неосязаемое, что

на него нельзя купить и коробка спичек.

— Ты хочешь вернуть рабство?

— Я ничего не хочу. Нет, неверно. Я хочу, чтобы обошлось без стрельбы, понимаешь? И тут уж все зависит от тебя, сестрица. От твоего умения морочить людям головы.

— А я не понимаю, не понимаю!.. — закричала вдруг Наталья, колотя маленьким кулачком в грудь брата. — Я решительно ничего не понимаю! Ты — провокатор, Павел?.. Провокатор?..

— До чего же у тебя удобная позиция, — вздохнул Павел. — Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не хочу понимать. А на севере тем временем строят концлагеря с колючей проволокой, вышками, вооруженной охраной и правом бессудного расстрела.

— Для… Для интеллигенции?

— В том числе. Но в основном — для кулаков и подкулачников. И я туда сегодня отправлю первую партию, для чего и прибыл.

— Только сельский сход может определить, кого следует считать кулаком-эксплуататором, Павел. Только сход, и никто более.

— Ошибаешься. Эти списки уже составлены нашими людьми в районе. Вот они. — Он похлопал по карману кожаной куртки. — И я буду

поступать согласно полученным нами сигналам, без всяких там свояков, братьев, сестер и добрых соседей. И поэтому собери актив в сельсовете, Кузьма тебе поможет. А я поставлю караул у дверей, пока не выполню свою задачу.

— Но…

— Все. Кончен разговор. Исполняй решение органов, как то и положено.

— Я…

— А ты тем временем будешь избирать правление колхоза открытым большинством голосов.

— Но это же произвол…

— Произвол, произвол. Мусорщики и занимаются произволом, чтобы партия всегда оставалась безгрешной. Иди и морочь им головы, ты в этом с детства поднаторела.

И Наталья пошла. Пошла, с ужасом понимая, что с машиной уничтожения сельской общины спорить бессмысленно. И — опасно. Очень опасно. Последнее ощущение тихо шевелилось в ее душе, и она боялась признаться, что этот унизительный страх уже закопошился в ней.

Павел поставил часового у дверей избы, где заседал актив. А пока под руководством Натальи этот актив с горящими глазами вырабатывал основы будущей колхозной жизни, чекисты Павла

на конфискованных подводах вывезли семнадцать семейств, которые числились в списках кулаками и подкулачниками. С собой им разрешалось брать только смену носильного белья да одежду на каждого ребенка. Их отвезли на станцию и погрузили в телячьи теплушки, в которых не было даже нар. И — увезли. Навсегда.

3

Захватив власть, большевики национализировали помещичьи и монастырские земли и передали их крестьянам, надеясь склонить тех на свою сторону. Однако Гражданская война, на которой, как известно, «белые пришли — грабють, красные пришли — тоже грабють», не способствовала уходу за этими землями. Мужиков и лошадей мобилизовывали обе воюющие армии, не хватало рабочих рук, семян, инвентаря, скота. Земля, столь щедро пожертвованная большевиками без выкупа, покрывалась сорняками, корни которых срастались в такую сеть, что их и пара волов не брала.

А главное было в том, что крестьянство перестало верить большевикам с их земным раем после дождичка в четверг. И сеяло теперь с расчетом — семью прокормить да на семена припрятать

так, чтобы никто не нашел. Ни люди в кожаных куртках, ни с красными околышами, ни соседи за плетнем. Помогала и порука в семье, что ни за что не скажут, где зерно, даже если наган матери в лоб уткнется. Помереть от голода куда страшнее, чем от пули.

Страх этот полной мерой испытал на себе город. А кроме мирных обывателей нужно было кормить армию — внешнюю и внутреннюю, милицию, чиновничью свору, партийцев, рабочих, детей-сирот, которых расплодилось после войны столько, сколько в России отродясь не было.

Надо сказать, что как крестьянство не верило большевикам, так и большевики не верили крестьянству. Прежде всего потому, что у власти не было никакой крестьянской программы в крестьянской стране. Для крестьян зажиточных услужливая пропаганда отыскала название «кулак», хотя в деревне эти «кулаки» исстари назывались «справными хозяевами». Да и мало их было, не поживишься, не устрашишь деревню арестом двух-трех семейств. Отсюда напрашивался вывод, что прежде чем ввести в деревне угодный власти порядок, надо сначала резко увеличить число «справных хозяев», а уж затем — громить их.

Да и стране требовался передых, поскольку она вконец была замордована. И тогда ввели новую экономическую политику — нэп, как называли по тогдашней любви к сокращениям не столько слов, сколько тех, кто ими пользуется.

И тут же появились товары, разрешение на торговлю, новые весомые деньги, льготы для села. А что особо требуется подчеркнуть, отдельные льготы бывшим бойцам Красной армии.

Казалось бы, все правильно: сражался за власть Советов, не щадя жизни, так вот тебе от власти — большое спасибо. Живи и обогащайся, дорогой товарищ боец. Только, как рассказывали, Феликс Эдмундович Дзержинский губы кривил в чекистской ухмылке.

А мужики по работе стосковались, только пустая та была работа. Ни тебе лошадок, ни тебе инвентаря, ни тебе помощников в семьях. Ни сынка, чтоб хоть лошадь под уздцы по борозде вел ровно, ни девчонки, что матери помогала бы да обед какой ни есть в поле носила. И больше того — нет никаких капиталов, чтоб для начала хотя бы зерна на посев купить.

Кузьма к тому времени немного обжился. Женился на вдовой солдатке с сынком лет двенадцати, а вскоре у них и девочка родилась. Вот и

все обжитье, потому что коня не было. Ни коня, ни денег, только два поля, сорняками заросшие, да большой покос на берегу речки.

И был введенный еще царем сухой закон, который и сейчас действовал, из-за чего все, конечно, маялись. И эту маету Кузьма не только собственным горлом чувствовал, но и наблюдал те же мучения у мужской половины населения.

Надо было с чего-то начинать. Кузьма был мужиком сметливым, почему и завел знакомства в соседней кавалерийской воинской части. И вскоре выяснил, что сухая царская докука больше всего сказывается на самочувствии заместителя командира по тылу. А в руках зама по тылу Ильи Семеновича — и списанные тачанки, и сбруя, и даже право выбраковки лошадей.

Стал к себе приглашать на чай. Гоняли чаи до седьмого пота, пока Илья Семенович не начинал вздыхать:

— Эх, чего бы не того бы!..

— А сухой закон?

— Так потому-то и вздыхаю.

— Потерпи до морозов. Через неделю рождественские ударят.

— Ну и что? Закон отменят, что ли?

— А то, что я изо льда умею один очень даже

неплохой напиточек делать. Заказанной крепости и по полному закону. Если ты мне пару выбракованных лошадок недорого отдашь.

— Да откуда у тебя деньги?

— А то уж моя забота.

Кузьма знал, что говорил. К тому времени уже открылись ипотечные банки, выдававшие ссуду под залог земли. Крестьянство привычно не верило ни городу, ни властям с их адвокатами, нотариусами, банками и тому подобными барскими выдумками. А Кузьма получил все документы на право владения землей, поехал в город и под эту землю взял солидный кредит. Так что за выбракованных лошадок ему было чем расплатиться. А кроме того, хорошо зная, что доносительство стало патриотическим подвигом, ожидал этого патриотического поступка, почему и запасся лицензией на домашнее изготовление безалкогольного рябинового напитка. Ситро «Рябинка».

Но сперва требовалось угостить тыловика обещанным спиртным, изготовленным без всякого самогонного аппарата. Этот секрет он знал, а потому по первому морозцу погнал в лес жену с ребятишками с заданием принести домой как можно больше хорошей, чуть тронутой морозом рябины. А сам выехал в город, где под припасен-

ную лицензию купил мешок сахару.

В новейшем проявлении общегосударственного патриотизма Кузьма не ошибся. Правда, приехали не чекисты, а милиция с понятыми.

— Сдайте нам свой самогонный аппарат. Это зачтется как добровольное признание.

— Нет у меня никакого аппарата. Ни в хате, ни во дворе. Ищите, раз такое распоряжение.

Все перерыли, ничего не нашли.

— А чего в кадушке вымачиваешь?

— Это рябина. А вот лицензия на изготовление безалкогольного напитка вроде ситро.

Все перетрясли по второму разу, даже во дворе, в хлеву, на сеновале. Уморился участковый. Ткнул в кадушку пальцем:

— А это как перегонять думаешь?

— Да никак. Это — ситро. Разбавлю колодезной водой, разолью по бутылкам и — в город. В оптовую продажу.

Ушла комиссия вместе с понятыми. Тут аккурат морозы подошли, и Кузьма перетащил кадушку с рябиной в холодные сени поближе к входным дверям. Два раза в день — на рассвете, когда корм скотине задавал, и вечером, перед сном, лед, что в кадушке намерз, во двор выбрасывал. И постепенно крепчал его напиток без всякого самогонного

аппарата, потому что замерзала только вода, а спирт оставался в целости и сохранности. И когда все само собой дозрело до кондиции, Кузьма принес шкалик тыловику.

— Нравится?

— Ну… Натуральная!

— Ставлю четверть, а ты мне — пару выбракованных коней.

— За коней надо деньги платить.

— Во сколько комиссия оценит, столько и заплачу. Только полудохлых не вздумай подсунуть, я в конях разбираюсь.

Однако рябиновка изо льда так понравилась заму по тылу, что коней он и впрямь поставил добрых и помог, чтобы комиссия недорого за них запросила. И Кузьма получил тягло на немалое количество залежной земли.

А руки, уставшие от бесконечной пальбы на всех фронтах, так по мирной работе стосковались, что он и вставал до зари, и спать со звездами ложился. Купил конную сенокосилку, усадил на нее приемного сына, чтобы тот заливные луга обкашивал, договорился с татарами о продаже. А сам в болоте по пояс осоку косил и на берег для сушки вытаскивал.

— Говорят, американцы какой-то трактор вы-

думали, — говорил он жене. — Узнавал я в городе. Есть такой, да пока не по зубам. Вот ужо сено продам татарам, тогда поглядим.

Он в город ездил, чтобы оглядеться по-хозяйски. Вот в такой оглядке он татар-овцеводов и обнаружил и договор с ними заключил на поставку сена.

Вся деревня приходила, чтоб на Кузьму поглядеть. Бабы завистливо ахали, а мужья их, цигарки из зубов не выпуская, цедили сквозь зубы, сплевывая:

— И чего надрывается? Будто картошки не хватит.

— Известно, чего. Кулак — он кулак и есть.

Еще нэп существовал, еще бухаринский лозунг «Обогащайтесь!» мелькал в газетных статьях, а власть исподтишка уже натаскивала лентяев на работящих крестьян. С того повелось и так будет всегда, пока советская власть не падет под тяжестью собственных преступлений.

Ничего подобного Кузьма и в сновидениях не видел. Это была его власть, это за нее он сражался, это она давала ему сейчас возможность трудиться с размахом и с удовольствием, а иначе работать он не умел. И порою весьма удивлял наблюдателей через плетень с неизменными

цигарками в зубах.

Так, однажды он привез четыре короба чистейшего речного песка и велел приемному сыну и жене аккуратно разбросать песок по пашне, подготовленной под посев. Старательно сам разровнял песок, после чего запряг пару в трехлемешный плуг и перепахал это засыпанное песком поле еще раз.

— Чего мужику неймется? — удивлялись зрители с цигарками.

И еще больше удивились, когда Кузьма привез еще таких же четыре короба с песком и повторил перепашку. И поверх — еще четыре короба чистого песка.

— Контуженный, видать, — вынесло приговор цигарочное присутствие и потеряло к нему интерес.

Россия больных не любит.

А уж когда Кузьма — это под русскую-то зиму! — привез какую-то странную красную да с тонкой кожурой картошку, так и вообще крест на нем поставили. Сбрендил мужик, ясное дело.

Да и сажал-то он ее не клубнями, а — глазками. А глазков в клубне, считай, от шести до восьми. Так он на шесть-восемь частей и делил каждый клубень и совал их в землю накануне первых

снегопадов.

А потом засыпал собственные посадки сперва рубленой соломой и сеном, а поверх — сплошной соломой. И опять зубоскалили мужики с неизменными цигарками, а вслед за ними и бабы, но примолкли, когда снег стаял, а вокруг его посадок так развезло, что не только сажать бы было еще невозможно, но даже картошку на семена перебирать рано. Потому примолкли, что у Кузьмы на посадке первые ростки проклюнулись и под весенним солнышком силу набирать стали.

Примолкли земляки. И цигарки навечно к нижним отключенным губам прилипли.

Уродилось у Кузьмы картошки столько, что пришлось двоих мужиков да трех баб нанять, чтоб убрали поскорее. И картошечка была — одна к одной. Вкусная, крупная, рассыпчатая, с тонкой кожурой, которую и срезать-то не надо — поскреб ножом да и в котел.

Вот тогда в Комитете бедноты взвыли:

— Кулак он! Не думает о светлом будущем!

И постановили — раскулачить и сослать в самые дальние районы, где картошка не водится.

Зарыдала жена. По-деревенски, навзрыд, на всю округу. А Кузьма погладил ее по голове и сказал:

— Не убивайся, мать. И в Сибири люди живут.

С ними вместе выслали и тех, кого они нанимали убирать картошку. Как подкулачников и — по всей строгости. С собой — только носильные вещи как взрослых, так и детей, продовольствия на пять дней на каждого едока и — все. Ни инструментов, ни орудий труда, ни гвоздя единого. Однако Кузьма, хорошо поняв классовую зависть, выдаваемую за классовую ненависть, умудрился спрятать в детских вещах, которые чекисты не прощупывали, два топора без топорищ, естественно. И то же самое посоветовал сделать «подкулачникам». Ножовку они исхитрились провезти и стамеску. Нужные вещи в той неизвестной пустыне сибирской, где намеревались их выбросить для медленного умирания. Новая власть особенно любила именно медленное умирание, когда человека приговаривали к расстрелу, а потом отправляли в тюрьму, где он каждый день ожидал этого расстрела, только его до этого последнего вызова по два-три месяца мурыжили.

Станцию выбрали глухую, далекую, где и поезда не останавливались. Долго тряслись до нее по разбитым проселкам на собственных лошадях и в собственных телегах. Пока до полустанка этого не доехали, а там чекисты велели выгружаться,

брать ручной багаж и идти на запасной путь, где ожидал товарный состав с распахнутыми настежь дверями.

— Грузись все в этот вагон, — сказал старший.

Бабы опять взвыли, а Кузьма спросил:

— Разрешите обратиться, гражданин начальник?

Доволен был «гражданин начальник» с двумя треугольниками на синих петлицах.

— Чего у тебя?

— Разрешите два заступа выдать. Дорога дальняя, холода. Непременно кто-то из стариков либо детишек помрет. Надо будет похоронить по-человечески, милосердие оказать.

— Кулак — а милосердие не забыл?

— Так ведь православный я.

— Православный? — несколько озадаченно переспросил стражник. — Ну, тогда топай в склад и скажи, что я лично велел выдать тебе шанцевый инструмент для похорон.

— Спасибо, гражданин начальник, — сказал Кузьма и поплелся на склад, с трудом скрывая радость.

«Шанцевый инструмент!»

И под эту служебную оговорку караульного получил две лопаты — заступ и совковую, кирку,

лом и саперную лопатку. И все это неторопливо отволок в загаженный скотом вагон.

— Спрячьте у стенки под сухим дерьмом.

А сам подумал: «Теперь не пропадем, где бы нас ни высадили. Не пропадем!..»

4

Ехали мучительно долго, по суткам отстаиваясь на глухих разъездах. Кормили похлебкой из брюквы с кусочками давным-давно пересушенной воблы. Два раза в день — утром и вечером. И на оправку выводили взрослых — дважды в день по полчаса, мужчин вместе с женщинами, а детей — трижды, но — по раздельности: сначала девочек, потом мальчишек.

И голодно было, и холодно. Кузьма ходил к конвоирам, долго просил, но добился, чтобы в вагон забросили три охапки елового горбыля. Устелили пол в одном из углов, заодно под него и лом с киркою спрятали, и гуртом клали детей на одеяла да всякую запасную тряпку подкладывали. Слава богу, не застудились девчонки, хотя, как и парнишки, ходили в соплях до колен.

А однажды, когда стояли на разъезде, охрана разрешила открыть двери с одной стороны для проветривания. И тут кто-то незамеченный,

проходя мимо этой двери, сбросил на пол мешок картошки, да и пошел себе не оглядываясь. Оттащили тот мешок подальше от дверей, стали спорить, как картошку делить, но Кузьма отогнал всех и рассыпал на пол весь мешок.

— Не подходить, пока нужную не отберу.

И отобрал семенную. С глазками.

— Дайте, бабы, полотняный мешочек.

Дали тут же. Кузьма осторожно, по одной опустил в него отобранную картошку. Завязал и сказал:

— Это — надежда наша. Куда бы нас ни завезли, картошка — всегда картошка. А потому пуще глаза берегите.

А везли их — ох, как долго! По дороге два старика, старуха да двое ребятишек богу души отдали, а их все гоняли с ветки на ветку, с колеи на колею. Она в конце концов в разъезд уперлась, и тогда их всех запихнули в два вагончика узкоколейки, по которой когда-то возили лес с генеральных порубок.

— Видать, на лесоповал, — решили мужики.

— Видать, нет, — сказал Кузьма. — По этой железке лет пять паровик не ходил.

Медленно тащились по кривой, горбатой узкоколейке. Наконец и она кончилась. Остано-

вились.

— На выход с вещами!

Выгрузились. Всех пересчитали, отвели за какие-то давным-давно опустевшие бараки, за которыми оказалось два гусеничных трактора с прицепами под брезентом. И всех мигом рассовали по этим прицепам, категорически запретив выглядывать. Поорали, покричали, поклацали затворами для устрашения и наконец медленно куда-то тронулись. Куда — неизвестно, выглядывать запрещено.

А как качало, как бросало! Бабы с малыми детишками на руках летали от стенки к стенке, стараясь подставлять собственные бока да спины, чтоб только маленьких уберечь.

Долго ли ехали так, никто и не помнил. Казалось, что всю оставшуюся жизнь…

Выгрузили их на старой порубке. Пни да ветки, болото да речушка, густота еловая кругом да мох по колена.

— Выживете, значит, докажете, что и впрямь кулаки, — недобро усмехнулся начальник конвоя.

Завыли бабы в голос.

— Погибель наша пришла-а!..

— Тихо, бабы, — сказал Кузьма. — Кулаком

советская власть обозвала тех мужиков, которые работать любят, а не перекуривать у плетня. Так и докажем им, что мы — кулаки. Докажем! И — выживем.

5

Все эти события — как семейные, так и всероссийские — для Настеньки прошли стороной. Она была старательна и очень работоспособна, почему вскоре и стала заведующей фельдшерским пунктом.

Только лекарств никаких не было, кроме пирамидона и касторки. Однако Настя не забывала травника Игнатия, который ее когда-то вылечил одними настоями из природных трав, цветов и одному ему ведомых корешков. Она по-детски тут же в него влюбилась, и до появления в их доме чекистов, арестовавших беженца-трансильванца, с радостью помогала ему собирать травы и коренья. Он охотно рассказывал ей, для чего и как именно их следует собирать, и она все эти знания старательно раскладывала по полочкам в своей хорошо тренированной стихами памяти. И теперь все эти знания вдруг пригодились.

При практически полном отсутствии лекарств в фельдшерском пункте неплохо лечили многие

болезни. Поэтому шли к Насте, и центр медицины, то бишь городская поликлиника, отошел как-то на второй план. Туда ходили только для получения справки о болезни, которую позднее назвали бюллетенем, а лечиться предпочитали у Насти Вересковской, заведующей фельдшерским пунктом. И Настя лечила весьма успешно, особенно тогда, когда дело касалось легочных заболеваний и разного рода ангин.

Только однажды утром подкатила машина к фельдшерскому пункту. Из машины вышли двое чекистов и без стука вошли в кабинет.

— В процедурную всегда надо стучаться, — сказала Настя. — На приеме могла быть женщина.

— Собирайтесь, — велел один из вошедших. — Поедете с нами.

— Придется обождать, пока я не закончу осмотр больного, — спокойно сказала Настя.

Она не чувствовала за собою никакой вины, а потому и не испугалась. В голосе ее не было решительно никакого намека на испуг. Для чекистов это было столь необычно, что они тут же дисциплинированно вышли в некоторой растерянности.

Закончив осмотр, Настя выглянула в окно. Машина ждала, и ей ничего не оставалось, как

предупредить ожидающих приема больных, что скоро вернется и просит ее подождать.

Однако скоро вернуться ей не удалось. А случилось так потому, что у начальника местной ЧК заболела единственная и горячо любимая дочь. Об этом он сказал Насте, едва она вошла в его кабинет.

— Вы — единственная, кто ее может спасти…

— Странный способ доставки фельдшера.

— Простите, хлопцы перестарались. Очень прошу немедля осмотреть девочку.

— Поехали, — тут же сказала Настя. — Только пошлите предупредить очередь, что я задерживаюсь.

Он послал верхового. Но велел сказать, что фельдшер может задержаться надолго.

Кондрат Семенович Березайко был суров и беспощаден. Не столько, может быть, от характера, сколько от истовой веры в необходимость уничтожения врагов Октябрьской революции. Однако и у жестокости всегда наличествует слабое звено. Этим слабым звеном была его единственная дочь, звонко названная Октябриной. Ее мать умерла при родах, и жестокий чекист сам выкормил ее из соски да жеваным хлебом.

Девочка мучительно металась в жару. Настя

без особого труда определила тяжелую ангину, мокрые хрипы в легких и общее истощение организма. Сказала сердито:

— Ребенка надо кормить про запас.

— Так ведь… — Кондрат Семенович растерялся. — Мать при родах померла. Кормил как умел.

— Дайте машину. Я привезу лекарства и кое-какую еду.

— А… Вернетесь?

— Я больных не бросаю. Тем более — детей.

Настя привезла свои лечебные средства, кое-какую еду для девочки и необходимые вещи для себя. Березайко выделил ей отдельную комнату, из которой была дверь в комнату ребенка, и этого ребенка предстояло спасти. Настя в детстве сама чудом не умерла при таком букете заболеваний. До сей поры ей не попадались столь тяжелые больные, и сейчас она лихорадочно листала свои старые записи, разыскивая рецепт, который когда-то продиктовал ей трансильванец. Это был настой на каких-то травах, Настя помнила только горький вкус и слабый запах полыни…

Нашла!..

— Вот. — Она показала Кондрату Семеновичу рецепт. — Я соберу эти травы и приготовлю настойку.

— Хлопцев пошлю.

— Нет, нет, это не так-то просто. Например, полынь надо собирать рано утром и следует брать только те листочки, с которых скатываются капли росы, не задерживаясь.

Она собрала травы, настояла их на родниковой воде, как рекомендовал Игнатий, и стала давать девочке по ложечке утром и перед сном. И очень скоро ребенок пошел на поправку, отеки горла и само воспаление исчезли, а хрипы в легких стали мягче и слабее.

— Ну, Кондрат Семенович, танцуйте. Через неделю вашу доченьку можно будет посылать по ягоды. Только питаться ей надо так, как следует девочкам. У вас крестьянская психология, по которой завтрашнего работника надо кормить больше, чем завтрашнюю мать. А все как раз наоборот: девочка должна закладывать в собственные запасники здоровье будущих детей. Так что — кормите. Больше молока, масла, овощей, мяса и особенно — рыбы. Не сушеной воблы, а свеженькой, только что пойманной.

— Выходи за меня замуж, — вдруг сказал он.

— Замуж?.. — Настя опешила. — Как так — замуж?

— Обыкновенное дело. Я пост хороший имею,

паек добрый, жалованье высокое. Нарожаем детишек, будет, на что выкормить.

— Вы, что же, влюбились в меня?

— Ты девица справная, работящая, детишек любишь, за собою следишь. — Угрюмый чекист только что пальцев не загибал, перечисляя достоинства Насти. — А любовь баре выдумали. От безделья.

— А вы не от безделья мне руку и сердце предлагаете?

— Ну что ты. Я — со всей серьезностью.

Он и впрямь был настолько преисполнен тяжеловесной серьезности, что Настя уже с трудом сдерживала смех.

— Значит, со всей серьезностью! Как интересно! И как неожиданно. Настолько неожиданно, что я должна серьезно подумать о вашем предложении лет этак сорок. Не меньше.

И звонко расхохоталась. А Кондрат Семенович вдруг потемнел лицом и тихо сказал:

— Твое счастье, что дочку мою выходила. Видеть тебя больше не хочу. Дочка помирать будет — не позову. Ступай с глаз моих.

Через два дня на двух телегах приехали трое в кожаных куртках и сказали, что она переводится заведующей фельдшерским пунктом в село Но-

воедедово. И дали час на сборы.

6

В Новодедове Насте понравилось. Село было большим, но, с ее точки зрения, в медицинском плане запущенным. Прежний фельдшер окончательно спился, в аптечке оказался только пирамидон, но Настя не унывала. У нее были с собою бесценная тетрадка с записями трансильванца и множество трав и настоев. Надо было восстановить веру сельчан в медицинскую помощь, и она начала сама обходить село. Каждый день, из дома в дом.

Настенька лечила только травами и настоями, и люди поправлялись, а ее авторитет возрастал с каждым днем. В особенности среди женской половины населения.

И как-то во время такого обхода она обнаружила в неказистой избе молодого парня с чудовищно распухшей рукой. От опухоли вверх, к локтю шли красные пятна, температура была высокой, и Настя с ужасом поняла, что это — гангрена. И что необходимо срочно ампутировать руку по локоть.

— Сейчас же доставьте парня в фельдшерский пункт. У него — заражение крови.

— Да нехай себе помирает, — равнодушно отмахнулся хозяин. — Приймак он, Федор этот, за хлеб кой-как отрабатывает. Да и лошадь мне сегодня самому нужна.

Настя бросилась к соседям, поговорила с женщинами, и подвода нашлась. На ней и доставили больного, потерявшего сознание по дороге.

Ей никогда не приходилось делать столь ответственных и сложных операций. Да и в пункте нет обезболивающих. Никаких. А резать было необходимо, и иного выхода тут не было.

Все это она лихорадочно продумывала, пока ехали к ее фельдшерскому пункту. И упросила женщин подержать парня, пока она будет отнимать гангренозную руку по локоть.

Четверо согласились.

Долго снилась Насте эта ее первая в жизни ампутация — без наркоза, по-живому. Но выхода тогда она не видела: парня ожидала мучительная смерть.

Спирту заставила выпить полстакана. Накрепко привязали, палку глубоко поперек рта заткнули и тряпками завязали на затылке, чтобы не вытолкнул. Настя волей заставила руки не дрожать и сделала первый надрез скальпелем.

А как действовала дальше, забыла напрочь.

Одно было ясно: гангрена не зашла дальше локтя, и Настя решила не отнимать до сгиба, а оставить — рисковала, конечно, — кусок руки, чтобы можно было когда-нибудь сделать протез. И парень, привыкнув к нему, сможет работать.

Федор долго болел, метался в жару, бредил. Настя сидела с ним все ночи, пока не прошел кризис, температура спала и Федор впервые заснул крепким сном выздоравливающего.

«Вытащила!»

Это не подумалось, а скорее ощутилось. Радость переполняла все ее существо. Каждую свободную минуту она забегала к своему больному в крохотную — на две койки — палату, чтобы перекинуться несколькими словами или хотя бы просто улыбнуться ему. И неумолимо заставляла пить укрепляющие настои на травах и кореньях. Это не было ни влюбленностью, ни тем более любовью. Это была безгрешная женская радость, что он — детище ее рук, знаний, терпения. Что-то сродни материнскому чувству, хотя сама она этого не осознавала.

Он оживлялся, когда она приходила, с удовольствием говорил с ней, но порою лицо восемнадцатилетнего юноши становилось мрачным, он явно переставал слушать ее, пребывая в своих

тяжелых думах.

— Что с тобою, Федя?

— Да вот, барышня… — Он тяжело вздохнул. — Калека я теперь, как есть калека. А ремеслам не обучен, ничего делать не могу, кроме как по крестьянской работе. Только кому же такой работник нужен?

— Ну я же тебе рассказывала про искусственную руку? Протез…

— Да какая же скотина протез этот поймет? Уж о коне и не говорю, даже смирная корова шарахаться будет.

— Не беспокойся ты об этом.

— А кормиться чем буду?

— Мне санитар при фельдшерском пункте положен. Оформлю тебя, жалованье получать будешь.

В конце концов Настя уговорила угнетенного потерей руки Федора. Оформила его санитаром, обучила обязанностям и очень обрадовалась, увидев, с каким пониманием он относится к травам и как точно разбирается в них. Он помогал ей как только мог, терпеливо и с пониманием относился к стонам и жалобам больных, а вскоре научился самостоятельно собирать травы и коренья и готовить отвары.

Некоторые травы трансильванец Игнатий собирал росными ночами. Настя строго следовала его указаниям, но по ночам одной на лугах ей было жутковато. Теперь они ходили с Федором вместе, и пугающая ночь стала таинственной, полной звуков, а потому по-своему прекрасной. И Настя любила эти прогулки.

Только во время одного из таких ночных сборов в селе раздался выстрел. Они не обратили на него особого внимания, но, когда вернулись в село, выяснилось, что убит председатель сельсовета. Кто убил, за что убил — ничего не было известно. Только дружно завыли бабы. В предчувствии, что ли.

Через день приехали чекисты во главе с товарищем Березайко. Окружили село, выгнали всех жителей на площадь перед церковью, но в фельдшерский пункт даже не заглянули.

— Кто убил?

— Да кто ж его знает? Нам то неизвестно.

— Неизвестно? — взревел Березайко. — Построить всех мужчин до двадцати отдельно! А баб с детишками — за церковную ограду. И — охрану, чтоб и не высовывались!

Построили мужчин, выгнали женщин с детьми за ограду.

— Не скажете, кто убил, лично расстреляю каждого седьмого мужика! Раз!.. Два!.. А ну, хлопцы, каждого седьмого вытолкайте из рядов и — к амбарной стенке!

Вытолкали из мужицкого строя каждого седьмого. Взвыли истошным воем бабы за оградой.

— Последний раз спрашиваю, кто убил председателя сельского совета? Не сознаетесь, пеняйте на себя.

Ничего, кроме воя да криков.

— На счет «три» открываю огонь. Раз!..

Замерев от ужаса, Настя и Федор слышали все через открытую в фельдшерском пункте форточку. Счет и — семь револьверных выстрелов. И ружейный залп в воздух, потому что бабы ринулись к воротам церковной ограды.

— Нам туда, Федор, туда. Там могут быть раненые. Я надену тебе на руку повязку с красным крестом, а сама возьму сумку.

Прибежали на площадь, стали в сторонке возле ограды. Охраняющий рыдающих женщин чекист отошел, что-то шепнул Березайко. Начальник нетерпеливо отмахнулся.

— Санитаров не трогать, пусть смотрят на беспощадность советской власти. И делают выводы.

Беспощадность была налицо — семь трупов у

бревенчатой стены пожарного сарая. И — строй мужчин, пока еще не ставших жертвами беспощадности.

— Советская власть умеет постоять за себя, — вдруг начал речь Березайко. — Грош цена той власти, которая не способна защищаться. Она за бедного человека, что и вызывает дикую ярость у глубоко затаившихся врагов. И правильно партия указала нам на особое обострение классовой борьбы. Кулаки и подкулачники попрятали обрезы и готовы стрелять наших сторонников, коммунистов и сочувствующих нам. И мы обязаны вскрывать эти язвы, обязаны покарать их носителей со всей пролетарской жестокостью. Ваше молчание прикрывает наших врагов, вот почему мы вынуждены идти на самые крайние меры. Но вы молчите…

— Да не знаем мы! Не знаем! — дико выкрикнула какая-то женщина. — Да хоть всех постреляйте, не знаем!..

— Вот, — с удовлетворением сказал чекист. — Не знаете, значит, покрываете. Не могут в селе не знать, где затаился кулацкий недобиток.

Вновь громко завыли, закричали, зарыдали бабы.

— Не знаем!.. Не знаем мы!..

— Врете!.. — гаркнул Березайко. — Врете по сговору, а это значит, что все вы замешаны в убийстве нашего товарища, сельского коммуниста. И я буду бороться со всей беспощадностью. Отсчитать каждого пятого!..

Чекисты отсчитали и взашей вытолкали к амбарной стене каждого пятого из мужицкого строя. Там еще валялись трупы, и мужики шли осторожно, чтобы, упаси бог, не наступить на мертвеца.

И все бабы за оградой враз замолчали.

— В последний раз спрашиваю всех вас, кто убил председателя сельсовета? — расстегивая клапан кобуры, спросил Березайко. — При счете «три» открываю огонь.

Но все молчали. Тишина стояла над селом, даже малые детишки не плакали.

— Раз!.. — Пауза была длинной до мучительной бесконечности. — Два!..

— Стойте!.. — закричал вдруг Федор.

Бросился вперед, закрыл собою обреченных мужиков.

— В чем дело?

— Я убил этого… Председателя. Расстреляйте меня, только не надо никого больше.

— Ага! — с удовлетворением сказал Березай-

ко, опуская наган. — Вот и славно, вот и все в порядке…

— Неправда! — крикнула Настя, кинувшись к главному чекисту. — Он не мог этого сделать, не мог! У него — алиби, мы вместе ночью травы собирали. Да и без руки он. Как он из обреза может…

— Ах, вы ночью по лугу гуляли?.. Цветики-цветочки…

— Мы травы собирали. Те самые, которыми я вашу единственную доченьку вылечила.

Опустил наган Березайко.

— Сначала следствие проведите…

— Отпустить всех, — вздохнув, сказал чекист. — Охрану вокруг села не снимать. Ко мне — следователя.

7

Отдельная, полностью укомплектованная и перевооруженная современным оружием дивизия комдива Николаева размещалась в удобных, еще царской постройки казармах. Время было голодным, но командиры получали усиленный паек, да и бойцы питались не в пример лучше, чем во многих регулярных частях. Казалось бы, тревожиться не было никаких причин, однако комдив нервничал, когда началось жесткое по-

слевоенное сокращение армии.

Сокращали в первую очередь бывших царских офицеров, создавших саму Красную армию и обеспечивших победу этой армии в кровопролитной гражданской мясорубке. Конечно, боевые награды и комкор Александр Вересковский — он же Иван Колосов — должны сыграть свою роль, но два ранения могут дать повод медкомиссии списать его в резерв, и здесь ни ордена, ни заступничество комкора Ивана Колосова уже ничем не помогут.

— Да перестань ты дергаться! — с раздражением сказала Наталья. — Никто тебя не тронет. А если тронет, я немедленно позвоню в Цека, и тот, кто это сделал, тут же вылетит с работы. Ты что, забыл, что твоя жена — двадцатипятитысячница нашей партии?

В военном городке безраздельно правила Наталья. Организовала женский клуб, члены которого занимались с детьми в ее присутствии, а в ее отсутствие с наслаждением обсуждали проблемы «Кто? С кем? И когда именно?». Больше жен дивизионных командиров решительно ничего не интересовало. Наталья была настолько выше этой дамской нравственной почесухи, что то ли не замечала ее, то ли игнорировала. Она раздобы-

ла в хозчасти дивизии тройку смирных лошадок и учила мальчишек и девчонок не только скакать на них, но и седлать, и кормить, и ухаживать. Она добилась разрешения приобрести несколько малокалиберных винтовок и устроила тир. А кроме этого, добровольцы из младших командиров занимались с ребятами строевой подготовкой и входившей в моду немецкой гимнастикой.

Когда Наташа появлялась в женском клубе, тут же начинались занятия хора, репетиции скетчей силами любителей, тренировки девочек в секции художественной гимнастики с обручами и лентами. Испуганные ее приходом дивизионные дамы немедленно забывали все сплетни и изо всех сил помогали своей командирше.

— Раз, два, три!.. Выше коленки, девочки!.. Начали…

А потом Наталья вдруг объявила мужу, что уезжает на несколько дней в Москву по срочному делу. Николаев никогда не вмешивался в бурную деятельность любимой женщины, а потому без лишних вопросов предложил оформить официальную командировку. Однако Наталья отказалась, сославшись на то, что ее отъезд не связан ни с какими надобностями дивизии. И уехала. А вернулась подлинным триумфатором,

привезя с собой не только разрешение на установку в военном городке радиоточки, но и радиста с полным оборудованием.

Вскоре линию для радио протянули, установили целых два репродуктора, и жизнь стала громкой, звонкой и четко регулируемой. Передачи начинались в семь утра и без перерыва шли до десяти вечера. Транслировали не только столичную радиостанцию имени Коминтерна, но и местные новости, если они того заслуживали. Это тоже определялось письменным распоряжением Натальи.

А вот дома строгая командирша была иной, но об этом никто не должен был знать. Очень любила сына, постоянно возилась с ним, играла, рассказывала сказки, читала ему стихи. С удовольствием варила вкусные борщи и готовила не очень вкусные вторые блюда, поскольку у нее всегда что-нибудь подгорало.

Семья была мирной. Комдив Владимир Николаев никогда не позволял себе делать жене замечания даже за пережаренные котлеты, а Наталья не только любила, но и уважала своего мужа.

Впрочем, это не мешало ей порою вдруг срываться, выплескивая мужу в лицо скопившееся

раздражение. Этим странным способом она боролась с несоответствующей ее идеалу командира дивизии слабостью, которую подозревала в нем.

— Извини, но ты непозволительно интеллигентен для красного командира и коммуниста!

— Непозволительно интеллигентным быть невозможно, Наташенька. Можно быть только непозволительно неинтеллигентным.

— Нельзя выделяться из общей массы, Владимир. В большинстве это — вчерашние крестьяне, они умеют таить обиды и когда-нибудь ты почувствуешь тяжесть этих обид!

— Предлагаешь мне изображать неинтеллигента? Сквернословить, пить водку стаканами, не пропускать ни одной женщины, не обсудив ее стати вслух, и орать на всех, кто ниже тебя по званию?

— Это отлично делает Александр. Поучись.

— Александра нет. Есть бывший унтер Иван Колосов.

— Знаешь, чего я боюсь? — вдруг тихо сказала Наталья. — Я боюсь, что этому мужицкому большинству скоро надоест вся русская интеллигенция разом. И гражданская, и военная. И тогда начнут стричь всех под одну гребенку. А при этом способе стрижки срезают те колоски, которые

привыкли высовываться от роду своего.

— Это не причина, чтобы перестать быть колоском.

Затрещал телефон. Николаев взял трубку.

— Комдив. Слушаю вас… — помолчал. — Есть.

Передал трубку Наталье.

— Наталья Николаева…

— Товарищ Наташа? — в трубке зарокотал баритон. — Вы проводили операцию по ликвидации в Оскольском уезде?

— Так точно.

— Срочно выезжайте в Оскол. Там получите дальнейшие указания. Желаю успеха.

И трубка загудела частыми гудками. Наталья положила ее на рычаг, растерянно глянула на мужа.

— Кажется, там что-то стряслось, — сказала она. — Я срочно выезжаю в Оскол.

8

С прибытием в Оскол поезд запоздал, почему Наталья пошла сразу в гостиницу, где и сняла номер. Однако чувство дисциплины было в ней заложено с детства, и она решила известить канцелярию указанного ей учреждения, что прибыла с опозданием, но завтра придет к началу

рабочего дня. Позвонив от администратора — в номере телефона не было, Наталья неспешно занялась разбором своего багажа, когда неожиданно постучали в дверь.

— Прошу! — крикнула она.

И вошел Павел.

— Господи, — вздохнула Наталья. — Опять — ты.

Обняла, поцеловала, отстранилась неожиданно. И без улыбки посмотрела прямо в глаза.

— Признайся, ты меня вызвал?

— Я. — Павел улыбнулся. — Соскучился.

— Где отец?

— Он числится за Москвой.

— Но он жив?

Павел пожал плечами.

— Выясню.

— А мама умерла, — вздохнула Наталья. — Они с отцом были единым целым. Теперь такой любви уже нет.

— Давай к делу, сестра, — сказал Павел. — Ты отвечала за коллективизацию в этой округе? Ты. А тебе известно, что в селе Семеновка два колхоза?

— Откуда же два? Я помогла организовать один.

— А теперь — два.

— Может быть, это естественно? Южные села большие.

— Мне известно, что второй колхоз создало кулачье с подкулачниками. И что они прибирают к рукам соседние земли. За самогон, за деньги, за старые долги. У меня там — свои люди. Они докладывают письменно. — Он похлопал по полевой сумке. — Здесь — имена наиболее зубастых хищников. Вот мы с тобой вдвоем и пойдем искоренять.

— Какое страшное слово… — вздохнула Наталья.

— Слово правильное. Собирайся.

— Искоренять? — невесело усмехнулась Наталья.

— Искоренять остатки твоей интеллигентности.

Выехали искоренять. Правда, неизвестно, что именно. То ли несовершенство поголовной коллективизации, то ли остатки интеллигентской слякоти. На трех пролетках со следователем и двумя исполнителями в кожанках и огромном мягком «руссо-балте». Наталье казалось, что это уже было в ее жизни, было… И поэтому она молчала. Да и Павел молча курил всю дорогу.

Въехали в центр большого села, где на площади

возле церкви уже столпился народ. Наталья не успела удивиться, сообразив, что Павел послал вперед вестового с соответствующим распоряжением.

— Тебя отвезут в первый колхоз, — сказал Павел. — Объясни им ситуацию ярко и красочно.

— Какую ситуацию?..

Но Павел не ответил. Вылез из машины и махнул рукой шоферу. Машина тронулась, свернула на пыльную улицу и поехала вниз, к мосту через речку. Переехала ее и оказалась во второй, заречной половине села, где была своя церковь — неказистая, деревянная — и своя немощеная площадь перед нею, на которой собралось много народу, в основном женщины.

Наталью встретил бабий бестолковый крик, в котором утопал смысл самого гнева. Однако она была опытным оратором. Не пытаясь никого перекричать, взобралась на тент машины, кое-как выпрямилась в полный рост и, достав револьвер, пальнула поверх платков.

И бабы враз озадаченно примолкли. Не давая им опомниться и вновь заорать каждая — свое, Наталья громко, а главное — четко выкрикнула:

— Беру слово! Слушать всем!..

Уж что-что, а говорить с возбужденной толпой

Наталья умела. Резко, как команды, выкрикивала короткие фразы, никогда не разъясняя их смысла. И получался рубленый на лозунги текст, в котором даже полуграмотным крестьянам разобраться было невозможно. И непонятные лозунги кирпичами ложились в память, строя фундамент того, что под конец провозгласила Наталья:

— Да здравствует родная советская власть!..

И женская толпа с искренним восторгом подхватила:

— Ура-а!..

— Тот колхоз, который спаивает ваших мужей, незаконный. Представители советской власти сейчас разбираются, кто и с какой целью его организовал. Справедливость восторжествует, можете не сомневаться. Для защиты ваших интересов у советской власти хватит и сил, и средств, чтобы навести порядок. Идите по домам, кормите детей, а когда все будет сделано, я лично приду к вам, и мы снова соберемся на митинг.

— Может, молочка зайдешь попить, дорогой товарищ женщина? — крикнула какая-то баба.

— Это с удовольствием, — улыбнулась Наталья. — Горло пересохло вас в чувство приводить.

Засмеялись бабы, обступили ее со всех сторон и неторопливо повели от двора до двора, везде

требуя откушать молочка из крынки. И Наталья не отказывалась, понимая, как важно сейчас окончательно закрепить достигнутое.

Так бы оно и случилось, если бы их веселую команду не нагнал косматый и очень рассерженный мужик.

— А чегой-то через мост вооруженный в коже не пускает? — сердито закричал он. — Я в кабак наладился, а он «назад!» кричит. Не велено, дескать, никого из нашего краю выпускать.

— Значит, обождать надо, — как можно спокойнее сказала Наталья, тоже весьма встревоженная неожиданным распоряжением Павла.

— Да ко мне кум приехал, а у меня — ни глотка! — продолжал громогласно возмущаться мужик. — А кабак вот-вот закроют. Солнце сядет, и закроют его. Ну и чем мне кума угощать? Избяным квасом?..

Он вопил на всю улицу, и у плетней уже начали появляться заинтересованные мужики.

— Издеваются над простым народом!.. — орал обиженный. — Уж и кума по-людски встретить нельзя!..

— Да что ж это творится такое? — загомонили мужики у плетней. — Все позапрещали, и в кабак по их дозволению…

— А мы сейчас спросим этого, который в кабак не пускает, — с глухой угрозой сказал кто-то от плетня.

Наталья поняла, что еще минута-другая, и эти возмущенные мужики пойдут с кольями пробиваться через мост. Это была пока еще тлеющая искорка восстания, но меры требовалось принимать немедленно.

— Это неразумное решение, — сказала она. — Ждите здесь, я распоряжусь, чтобы всех беспрепятственно пропускали…

И тотчас же пошла, не дав мужикам времени предложить свою помощь с кольями наперевес. Бегом спустилась к мосту, на котором стояли уже двое чекистов из отряда Павла.

— В чем дело, товарищи? Почему через мост не пускаете?

— А ты, товарищ, прислушайся, — сказал один из них.

Наталья замерла. Глухой далекий вой донесся до нее из гористой части села. Бабы ревели, как по покойнику.

— Что это?

— Выселение.

— Куда выселение?

— Сходи к товарищу начальнику, сама спро-

сишь.

— Никого через мост не пускать.

— Затем и поставлены.

— Строго!..

— Есть строго!

Забыв про машину, Наталья, задыхаясь, бежала в гору. И чем выше она поднималась, тем больше сплошной вой распадался на детские крики, вопли женщин и возмущенные выкрики мужчин. Общий вой распадался, но оставался единым сигналом великого бедствия.

Уже потеряв дыхание, она из последних сил вбежала на мощеную площадь перед каменной церковью верхней части села. На площади стояли обычные крестьянские телеги, в которые под конвоем чекистов грузились крестьяне. Женщины и дети, а мужчины стояли чуть в стороне под охраной. С плачем бабы с узлами и малыми детьми залезали на телеги, за ними чекисты выводили детей постарше. Они тоже были с узелками и тоже грузились в телеги. Девочки плакали, но парнишки молчали, крепко стиснув зубы.

На церковной паперти со скучающим видом стоял Павел. Операция была для него настолько обычной, что не требовалось никаких указаний. Его люди знали, для чего они сюда прибыли. Дей-

ствовали четко, быстро и отлаженно.

Наталья бросилась к брату. Ей не хватало воздуха, и она только смогла проговорить:

— Ты… Ты…

— Я, Наташка, исполняю приказ.

— Есть решение… Решение Цека…

— И есть распоряжение моего начальства. Подошло время срочно строить зоны. Ну, ограждение, бараки, кухни. А для этого нужен лес. Вот эти мужики и будут его валить.

— Но… Но женщины, дети…

— А женщин — в Казахстан. Там тоже надо строить, но из саманного кирпича. Они с детьми едут, палатные городки уже подготовлены, а подростков решено в детскую колонию.

— Зачем же их разлучать, Павел?

— Затем, что запомнят.

— Я… Я напишу в Цека.

— Ох, Наташка, не будь дурой. Мы ведь и реализуем постановление Цека, поняла? Ожидается большая чистка, а тюрьмы переполнены.

— Этого не может быть, не может… — Наталья залепетала неубедительно, по-женски, когда эмоции становятся единственным аргументом. — Такого постановления не может быть, не может. Я бы знала о нем.

— Ты что же, член Цека? — усмехнулся Павел.

— Нет, но я — двадцатипятитысячница, меня знают, я организовывала этот колхоз, меня специально вызвали сюда…

— Где я тебя и встретил, — перебил Павел. — В эпоху обострения классовой борьбы у каждого — свое оружие, сестричка. У тебя — слова, у меня — наган.

Он вдруг замолчал, странно посмотрел на Наталью.

— Мужа любишь? Он хороший мужик, смелый. Уговори его перевестись куда-нибудь подальше.

— Зачем? — насторожилась Наталья.

— Например, на Дальний Восток.

— Он — командир особой дивизии. В ней собраны лучшие кадры, она вооружена современнейшим оружием…

— Делай, что говорят, и забудь, кто говорил. Пожалуйста, уговори Владимира. Чего бы это ни стоило.

— Но я не понимаю…

— Поймешь, когда будет поздно. Вот чего я боюсь, Наташка. Это — очень серьезно. Очень. А сейчас — уезжай. Я пошлю за машиной, она отвезет тебя, куда скажешь.

— Но…

— Пока наганы не заговорили. По Маяковскому. «Ваше слово, товарищ маузер». Ребята, машину перегоните с той стороны села.

Отрицание третье

Надежда обманывает.
Боязнь силу отнимает.
Просьба унижает.

1

Фронтовые дороги и случайности мотали Александра Вересковского под именем Ивана Колосова от Днепра до Амура. Он с кем-то воевал, кого-то выселял, где-то читал лекции, пил с друзьями или скорее с сослуживцами, получил генеральское звание и еще один орден Боевого Красного Знамени, спал со случайными женщинами и в конце концов женился.

Тут закончились войны и стычки, он осел в каком-то барачном военном городке и погрузился в тусклую семейную жизнь. Тусклую потому, что жена оказалась капризной и привязчивой, как пластырь. Ежедневные мелкие склоки, в которых не было ни малейшей логики, доводили его до исступления, которое приходилось сдерживать, потому что ответной реакцией всегда была громкая истерика с падением на пол и визгом на

полгородка.

Терпение истощилось, но он, не показывая и тени этого истощения, начал писать бесконечные рапорты с просьбой перевести его «в Россию», как говорили в тех отдаленных местах. И когда наконец получил согласие, тут же развелся с женой и уехал с одним походным чемоданом.

В поезде он впервые за последнее время уснул спокойным крепким сном, а проснувшись свежим и отдохнувшим, вдруг понял, куда он едет. Нет, не от жены, не принимать под командование очередной гарнизон, нет. Он едет к Аничке Голубковой. В семью, когда-то спасшую его и прапорщика Богославского от неминуемой пули чекистов.

А ведь до крепкого сна в поезде он об Аничке и не вспоминал, как вообще о Смоленске. Такие воспоминания были опасными, их следовало изгонять из памяти, а он — позволил им всплыть. И понял, что более преданной женщины у него никогда не было.

Приехал в Москву, получил новое назначение и, не задерживаясь, тут же на подвернувшемся самолете вылетел принимать вверенное ему соединение. Приняв и познакомившись с командным составом, испросил двухнедельный

отпуск по семейным обстоятельствам.

И однажды вечером — специально ждал вечера! — постучал, как когда-то, в опасных ныне воспоминаниях, в освещенное керосиновой лампой окно патологоанатома с огромными ручищами Платона Несторовича Голубкова.

Окно открылось — тут привыкли к внезапным ночным визитам, — в проеме выросла фигура Голубкова.

— Кому понадобился?

— Мне. Только не вы, а Аничка.

Этот голос что-то напомнил Платону Несторовичу, почему он и крикнул не без радостного оттенка:

— Аничка, к нам — жданно-нежданный гость!..

И тут же не только закрыл окно, но и задернул его шторой. Как тогда. И Александр — тоже как тогда — пошел к входным дверям.

Дверь открыла Аничка. Повисла на шее, шепнула:

— Если бы ты опоздал на один час, я бы решила, что между нами все кончено.

— Значит, я успел. — Александр улыбнулся. — Успел, потому что знал предел твоего терпения.

Вечером был торжественный ужин в честь желанного гостя, ради которого Платон Несторович

тряхнул запасами спирта.

— Для начала извините за прямой вопрос, — сказал хозяин после первого тоста. — Вы — член партии?

— Я — един в двух лицах, Платон Несторович. — Вы мне дали документы на унтер-офицера Ивана Колосова. Так этот унтер Колосов — член партии большевиков и комкор Красной армии. А вот штабс-капитан Александр Вересковский, которому вы спасли жизнь, не принадлежит ни к какой партии и по-прежнему остался офицером.

— Еще раз прошу извинить меня, капитан. Это — перестраховка, не более того. В Смоленске свирепствуют органы.

— Они свирепствуют по всей стране, Платон Несторович. Это не всплеск бандитизма и безнаказанности, это — их программа. Стиль жизни. Настоящей и будущей.

— Мы ничего не знаем, — вздохнул Голубков. — В Смоленске выходят три газеты, но две из них слово в слово повторяют первую, которая называется «Правдой». Такого еще не бывало в России, начиная с девятнадцатого века. У меня ощущение, что мы постепенно погружаемся в Средневековье.

— На Дальнем пограничье, где мне довелось

закончить войну, из-за кордона приходили газеты. Их перехватывали чекисты где только могли, широко оповестив население, что человек, тотчас же не отнесший в Чека попавшую ему в руки газету, подлежит немедленному аресту. Комиссарам соединений разрешалось читать эти газеты с последующей их сдачей, но мой комиссар давал их и мне. Я расхрабрился и привез кое-какие выписки из этих газет.

— Это имеет отношение к погружению в Средневековье?

— Да, поскольку именно Средневековье и породило орден иезуитов. Их русские последователи и захватили власть в России. Вот что об этом пишет русская газета в Харбине. Цитата будет длинной, наберитесь терпения.

> СОСТАВ ПЕРВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА БОЛЬШЕВИКОВ,
>
> НАПИСАННЫЙ ЛЕНИНЫМ (на коленке в блокноте).
>
> Председатель Совнаркома – Ульянов (Ленин).
>
> Нарком по внутренним делам – Рыков.
>
> Земледелия – Милютин.
>
> Труда – Шляпников.

Комитет по военным и морским делам – Овсеенко (Антонов), Крыленко, Дыбенко.

Торговли и промышленности – Ногин.

Народного просвещения – Луначарский.

Финансов – Скворцов (Степанов).

По иностранным делам – Бронштейн (Троцкий).

Юстиции – Оппоков (Ломов).

Продовольствия – Теодорович

Почты и телеграфа – Авилов (Глебов).

По делам национальностей – Джугашвили (Сталин).

Нарком юстиции Оппоков (Ломов) так характеризует этот состав: «…Много преданнейших революционеров, исколесивших всю Россию… в кандалах прошедших от Петербурга, Варшавы, Москвы весь крестный путь до Якутии… Каждый из нас мог перечислить чуть ли не все тюрьмы России с подробным описанием режима. Мы знали, где бьют, как бьют, где и как сажают в карцер, но мы не умели управлять государством…»

Милютин восемь раз арестовывался, три раза бежал.

Антонов-Овсеенко приговаривался к смертной казни.

Крыленко арестовывался пять раз.

Ногин семь раз ссылался в Сибирь и на Север, шесть раз бежал.

Скворцов-Степанов пробыл в тюрьме и ссылке более восьми лет.

Бронштейн-Троцкий был сослан в Сибирь.

Авилов-Глебов сидел в крепости, тюрьме, трижды бежал из ссылки.

Джугашвили-Сталин, он же – Коба, Нижерадзе, Чижиков, Иванович, – известный бандит (ограбление Тбилисского замка, ограбление парохода, разбойные нападения на дорогах Северного Кавказа). Шесть раз ссылался, пять раз бежал.

Конечно, это чтение прерывалось вопросами, уточнениями, замечаниями, а потом наступило тягостное молчание. И нарушилось оно неопределенным вздохом Александра.

— Вот…

— А им — там, в Харбине, — можно верить? — запальчиво спросила Аничка. — Ведь эти люди — за рабочих!

— С армией Колчака ушли рабочие воткинских и ижорских заводов. Создали в ней Красную дивизию и воевали под красным знаменем против большевиков. Крестьянство поддерживало большевиков лишь в самом начале Гражданской войны в благодарность за прирезанные земли. Но как только большевики начали силой отбирать хлеб, взялось за оружие. Большевики не за рабочих, не за крестьян, Аничка. Большевики воюют за власть, и террор — их единственный союзник в этой войне против собственного народа.

— Россия — страна крестьянская, — сказал патологоанатом Голубков. — Мужик перестанет сеять хлеба больше, чем нужно на прокорм семьи и скотины, и что же тогда будут делать большевики?

— У меня перед вами преимущество двуличия, — усмехнулся Вересковский. — И в одной из них я — член большевистской партии. Власть скатилась в руки большевиков, как колобок, отсюда и полная неподготовленность их абсолютно случайного правительства. Сначала пытались подкупить земледельцев нарезкой помещичьих и государственных земель — результат известен. Тогда родилась идея создания сельских коммун, которые легко превратить в сельскохозяйствен-

ные концлагеря. Запретите людям выход за территорию, лишите документов и вы получите рабов, которые будут старательно поставлять вам пропитание.

— В крестьянской России?

— Да. Однако для этого сначала необходимо уничтожить наиболее активную и трудоспособную часть крестьянства. И начинается дикая агитация против невесть откуда появившегося кулака-мироеда. Он становится врагом советской власти номер один еще в то время, когда в Средней Азии, на Кавказе и Дальнем Востоке идут бои. И раскулачиванием, заметьте, занимаются органы ЧК. И они же имеют право бессудного расстрела — человеческая жизнь в руках «тройки».

— Раскулачивание, — тихо повторила Аничка.

— Совершенно верно. На Дальнем Востоке чекисты окружали села и расстреливали каждого десятого. Я спросил у комиссара, как же они себе это позволяют, и он объяснил, что у них директива на определенное число уничтоженных. А наша жизнь устроена так, что каждый стремится перевыполнить указание свыше. За это премия, почет и даже награды.

— Я же говорю — погружение, — проворчал Платон Несторович.

— Нет, дорогой Платон Несторович, — улыбнулся капитан. — Однажды вы нашли более точное определение этому парадоксу. Вы назвали его отрицанием отрицания и добавили, что Россия попала в колесо отрицания, которое будет истреблять ее народ, пока внешние и внутренние силы не остановят это колесо. Первыми в это колесо попали партии-конкуренты. Эсеры, эсдеки, меньшевики, кадеты. Вторыми — офицеры и иные чины белых армий. Затем — дворянство вообще как класс. Теперь — крестьянство, и тоже — как класс. Затем последует интеллигенция, поверьте. Уже сейчас часть интеллигентов стали заменять на узких специалистов, а к остальным приставили десятки надсмотрщиков. Тут и комиссары, и особо уполномоченные Совета обороны, и явные и тайные агенты Чека. Уже отслеживается каждый их шаг, каждое решение, уже не вольны они ни в подборе помощников, ни в найме надежных советчиков.

— И какую же цель, по-вашему, большевики преследуют? Может быть, у них вообще нет цели как таковой?

— Есть, — жестко сказал Александр. — Уничтожение России. Россия — не территория с населением, Россия — живой организм. Убейте

душу, и организм умрет. Он станет понятием географическим, но не духовным. Россия потеряет свою детскость и свою жестокость, свою наивность и свое упрямство, свою особую любовь и свою особую ненависть, свое лихое пьянство и свое отвращение к скупости. Она станет — как все. Станет населением географической зоны, как все прочие страны мира. И, следовательно, превратится в миф. Как Древняя Греция, как Древний Рим. Она утратит свое неповторимое лицо.

Наступило молчание. Вересковский виновато улыбнулся.

— Извините меня, я ведь пришел не ради этого надгробного монолога, Платон Несторович. Я пришел просить руки вашей дочери.

2

Наталье не понравился полный неприятных намеков разговор с Павлом. Он для нее на всю жизнь оставался младшим, ко всем его разглагольствованиям и пророчествам она относилась с внутренней иронией, но все же пересказала содержание последней беседы мужу в тот же вечер.

— Чушь, — поморщился Владимир. — Бросать лучшую дивизию и ехать черт-те куда? Зачем? В

страхе перед арестами бывших офицеров? Меня это не беспокоит, я и часа не воевал за Белое дело.

— Павел награжден именным маузером самим Дзержинским, — сказала Наталья, защищая брата скорее по фамильной привычке.

— Поздравь его от моего имени.

— Я к тому, что ему может быть многое известно.

— Возможно. Только армии это не касается. Разные ведомства, разные враги и разные способы борьбы с ними.

— Мне кажется, что именно это Павел и имел в виду.

Разговор тогда на этом и кончился. А через неделю Наталья получила персональный вызов в Москву на встречу товарища Сталина с женами командного состава Красной армии.

Самого товарища Сталина! Боже, как обрадовалась Наталья! Все в военном городке знали об этом персональном приглашении, все завидовали ей, предлагали свои небогатые наряды. Она ехала в Москву, в Кремль, и надо было не посрамить всего военного городка.

Встреча состоялась в Кремлевском дворце, где проходили партийные съезды и конферен-

ции. Зал был неполным — видимо, отбирали по особому списку, но овация, которой встретили женщины членов правительства, а чуть позже и самого товарища Сталина, была неистовой, долгой и громкой. Иосиф Виссарионович, улыбаясь в усы, успокаивал их и попросил слово для доклада. Наконец, зал угомонился и товарищ Сталин смог начать доклад глуховатым голосом.

Наталья была так взволнована, что первые слова прошли мимо ее сознания. Она начала слышать отдельные фразы, только чуточку успокоившись.

— …Вы — самые надежные тылы для своих мужей, позволяете им полностью отдать все силы и уменье обучению личного состава… мы окружены врагами, социальное противостояние достигло предела… наша гордость и мощь — любимая Красная армия засорена просочившимися врагами трудового народа…

Никто не записывал, потому что их предупредили, что стенограмма встречи будет выдана каждой участнице совещания. Наталья жадно слушала, мечтая о том, что она непременно выступит в прениях, которые были предусмотрены после перерыва. Она пока плохо представляла, о чем именно будет говорить, но как только то-

варищ Сталин начал объяснять необходимость социализации деревни для активного противостояния кулакам в союзе с подкулачниками, сразу поняла, что говорить следует только об этом. И первой подняла руку, когда желающим предложили выступить. Даже вскочила с места, как девчонка.

Поначалу говорила она очень путанно, горячо, сбивчиво. Но, постепенно успокоившись, рассказала главное. О том, что то ли сгоряча, то ли от недомыслия раскулачивают крепких середняков, наклеивая им ярлык подкулачников.

— Мне кажется, что такими поступками мы дискредитируем само указание правительства о коллективизации, дорогой товарищ Сталин.

Повисла пауза, никто не решался первым выразить свое отношение. И первым зааплодировал товарищ Сталин. Зал тотчас же взорвался овацией, но товарищ Сталин поднял руку и все мгновенно смолкли.

— Очень верное наблюдение, — сказал Сталин. — Это и есть головокружение от успехов, о чем будет принято соответствующее постановление.

Когда Наталья вернулась в дивизию, по радио уже дважды передавали стенограмму речи

товарища Сталина и его ответ жене комдива Николаева. И поэтому ее встречали не просто торжественно, но и празднично, накрыв в складчину стол с угощениями и скромными возлияниями. И она была хозяйкой за этим веселым и дружным столом.

А через три дня в излюбленные чекистами четыре утра прибыла легковая машина за Натальей Николаевой.

— Да не беспокойтесь, товарищ комдив, — широко улыбнулся старший из чекистов, когда Николаев открыл дверь. — Вашу супругу наверх востребовали, в Кремль. Тексты сверить, что ли.

— А почему в такую рань?

— Так ведь самолет на это время заказан. Спецрейс.

— Спецрейс!.. — восторженно воскликнула Наталья и ринулась одеваться.

Николаев прошел вслед за ней, молча отбросил шелковые чулки, кокетливую комбинацию, батистовое белье. Вытащил вместо него теплое, добавил два свитера, заставил надеть самое теплое платье и самые теплые сапожки…

— Зачем? Я же в Кремль!..

— Если в Кремль, переоденешься. А если мимо провезут — перезимуешь. И верь, Наташка, я

добьюсь твоего освобождения. Чего бы это ни стоило…

— Да что ты придумываешь! — возмутилась она. — Паникер!..

Но оделась тепло. И — не вернулась.

Через Генеральный штаб Николаев добился разрешения встретиться со следователем, который вел дело его жены.

— За что арестована моя жена?

— Ваша супруга Наталья Николаева находится под следствием. Меру пресечения определит суд.

— Сформулирую по-иному. В чем обвиняется моя жена?

— Ваша супруга слишком буквально поняла явно провокационный призыв Бухарина «Обогащайтесь». И организовала кулацкие колхозы именно по этому принципу. Следствие выясняет, почему это было сделано. По заблуждению или убеждению.

— И в том и в другом случае предполагается суд?

— Естественно. У нас лучшая в мире правовая система.

Николаев понял, что участь Натальи предрешена. Но ему необходимо было узнать, чем грозит его жене эта лучшая в мире правовая система.

— Я убежден, что моя жена ошибочно приняла спекулятивный призыв Бухарина в качестве руководства к действию.

— Если следствие это установит, полагаю, что суд ограничится высылкой ее в отдаленные районы на небольшой срок. Скажем, года на три.

— Ясно. — Николаев с трудом подавил вздох. — Благодарю за разъяснения и позвольте откланяться.

Он был настолько потрясен судьбою жены, что просто не заметил странной усмешки следователя. Следователь же этот, как только закрылась дверь за посетителем, тотчас снял трубку внутреннего телефона, набрал трехзначный номер и приглушенно сказал:

— Ты прав. Он приходил интересоваться. Как говоришь?.. Там встретятся?.. Я тоже так думаю.

И положил трубку на рычаг.

Через три дня комдив Николаев получил предписание народного комиссара вооруженных сил принять под свое командование Отдельную Дальневосточную дивизию.

Органы всегда действовали быстро и на редкость слаженно, как то было заведено еще их организатором и вдохновителем.

3

В первые дни осмотреться не довелось. Бабы ревели, мужики хмуро рыли землянки, настилали в них полы, обшивали холодные земляные стены жердями. Кузьма распределил, кому рыть, кому строить, кому утеплять, назначил старших и только после этого решил оглядеться.

Их привезли в низину между возвышенностью, поросшей соснами, и густым кустарником с противоположной стороны. Кузьма колупнул землю. Сырой подзол, воду бы отвести да песочку подсыпать, и пошла бы картошка. А песок — вон, под соснами. На носилках натаскать можно. Вот что там, впереди?..

— Вперед, ребятишки.

И впереди — кустарник. А когда миновали его, открылась могучая река, медлительная и величественная. Чуть левее журчал впадающий в нее приток. Вышли берегом к нему, и Кузьма вздохнул с облегчением:

— Не пропадем здесь, ребятки. Не пропадем. Узнайте тут насчет рыбки, только в воду не лезьте.

Узнали. В неглубокой стремительной речушке меж камнями живо металась рыба. Сроду ее здесь

никто не ловил, а из берегового лозняка быстро и просто было наплести не только верш, но и заборов в протоках, где кормилась серебряно поблескивающая рыба.

— Не пропадем!..

Кузьма был лишен суетного любопытства, зато сверх меры наделен любознательностью. Ему позарез необходимо было знать, куда его забросила судьба, есть ли соседи и как они живут в этих условиях. И не могут ли они помочь ему хотя бы советом.

Путь был один: сплавиться по реке вниз и вернуться назад, отталкиваясь шестами, по береговой отмели. Для этого было необходимо построить плот из крепких сухих бревен, вырубить шесты и набрать небольшую команду. Двоих взрослых мужиков и парней для разведки и помощи.

И вскоре за поворотом реки увидели добротную избу, навес подле нее, костер и четверых мужчин. Увидев плот, они замахали руками, и Кузьма тут же пристал к берегу.

Это были топографы. За домом просматривалась огромная поляна, размеченная колышками не только по периметру, но и внутри него. Топографы очень обрадовались неожиданным гостям,

а старший — по брови заросший бородой мужчина среднего возраста — сказал:

— Хорошо, сегодня поспели. Завтра за нами снизу катер придет, закончили мы тут.

— Построили чего?

— Строить строители будут. Мы — топографы, наше дело — разметка, а концлагерь — дело строителей.

— Концлагерь?..

— Приказано. Тюрьмы переполнены. А вы как в этих краях оказались? И много ли вас?

Кузьма откровенно рассказал о высылке. Что дети малые, что никаких инструментов не дали, что лопаты еле выпросили, чтобы умерших по дороге хоронить, и что обустраиваются помаленьку, землянки копают.

— Никаких землянок, — строго сказал бородатый. — Морозы тут такие, что земля метра на три-четыре промерзает. Только избы, да хорошо бы — на столбах, чтоб земли не касались. Мы поленились, да и времени не было, а вы — непременно над землей. Тут деревья могучие, а инструмент свой мы вам оставим, кроме специального, конечно. Ну, и обязательно — помещение для мяса и дичи. А то волки быстро разнюхают, тут их хватает. Да и медведи водятся,

нашего сотрудника один поломал, вон, до сей поры руку, как куклу, носит.

— Стрелять нам не из чего, — вздохнул Кузьма. — Рыбой надеемся прокормиться.

— Ружьишко, которым наш товарищ от медведя отбивался, мы вам дадим. Приклада, правда, нет, да вы сами сделаете.

— Вот за это — поклон вам. Приклад-то сделаем, тут и сомнений нет. А патроны?

— Ящик дам, больше не могу, уж извините.

— Спасибо. Значит, перезимуем. А перезимуем — жить будем. У нас — картошки полмешка.

— Картошку и нашу всю забирайте. Не с собой же ее увозить.

— Доски вырубать придется, — вздохнул Кузьма.

— Не придется, мы вам продольную пилу оставим. Срубите козлы и тягайте вверх да вниз. А запасы свои мы вам все отдадим. В этих местах без взаимопомощи пропадешь.

И все отдали, кроме своих топографических инструментов. Два мешка муки, по мешку соли и гороху, сахару, сколько нашлось, и даже лодку на пару распашных весел. Да, кроме того, научили, чего здесь опасаться кроме гнуса, от которого одно спасение: сплошь глиной обмазываться.

Энцефалитных клещей, змей, приблудных медведей, которые вовремя в берлогу не завалились, волков, а главное, холода.

— Дрова запасайте загодя, тут зима ранняя. И не забудьте о всяких травах от цинги. Ешьте черемшу, ложечник, сарану, а зимой — строганину из сырой рыбы. И — побольше. Вот вам образцы, чтобы с ядовитыми травами не перепутали. Икру из тайменя солите впрок, а от остальных рыб — чуть прожаривайте.

Кузьма возвращался от щедрых топографов с легким благодарным сердцем. Уж теперь-то они были спасены. Двигался против течения в лодке, к которой был прицеплен плот, и у него хватало времени подумать и разложить все по полочкам.

Во-первых, зарыть ямы, предназначенные под землянки. Это поручить мальчишкам и не забыть сказать, чтобы поверх положили взрыхленной дерновой землицы. А девочкам — они старательнее и глазастее — приказать пересадить на эту землю черемшу, ложечник и сарану. Старшей выдать для примера образцы, что дали топографы, и научить, как пересаживать.

Во-вторых, козлы для распила досок. Выделить старшего. Остальных мужиков и парней — в тайгу, за бревнами. Все обрезки — на дрова.

Ружье передать Антону: он тайком браконьерил, с охотой справится. К нему в подмогу — пару парнишек. А среди баб отыскать искусницу солить мясо впрок. И рыбу, которую наловят парнишки.

И — самое главное. Строить избы на сваях, баню — на сваях и навесы для мороженой и соленой рыбы и мяса — тоже на сваях.

Значит, по приезде — общий сход. Разъяснить положение, разбить по бригадам и готовиться к зиме. Тогда уцелеем, когда перезимуем.

По возвращении сделал все так, как замышлял по дороге, а потом добавил:

— У тайги законы суровые. Здесь выживает только тот, кто за другого держится и другому пособляет. Работать нам придется по четырнадцать, а то и по все пятнадцать часов в сутки без праздников, без воскресений, до упаду. Зимой отоспимся, а иначе — пропадем.

4

Новая метла по-новому метет. И если Менжинский, последователь Дзержинского, не трогал кадров своего предшественника, а Ягода — своего, то четвертый по счету хозяин Лубянки, Ежов, считал себя свободным в подборе собственных

блоков для личной опоры. Он приказал поднять личные дела наиболее отличившихся чекистов Дзержинского, и созданная его распоряжением специальная комиссия приступила к проверке.

И спустя несколько дней растерянный председатель комиссии лично Ежову доложил, что у почетного чекиста Павла Берестова, награжденного Знаком и личным почетным оружием, вообще нет никакого личного дела. Он награждался непосредственно Феликсом Эдмундовичем, но ни в каких списках, как говорится, не значился.

— Проверить тщательно через наших людей, — распорядился нарком. — Тайно, от истоков до устья.

Искали долго, поскольку дело было весьма запутанным. С одной стороны, особо уполномоченного ЧК никто не знал, но с другой — он, судя по документам, не зря получил Знак почетного чекиста и дарственный маузер. За ним числился бой на полустанке Просечная и справедливое наказание виновных, упустивших бандитский бронепоезд. Подавление Тамбовского мятежа и уничтожение вышеупомянутого бронепоезда по его сигналу. Он много и плодотворно трудился на ниве борьбы с кулачеством, был отменно беспо-

щаден и по-чекистски принципиален, расчищая крестьянские общины от кулаков и подкулачников.

Только вот настоящей фамилии его никто не знал. Не было никакого Берестова, не существовало его в природе, а дела его были и существовали. Дела, конечно, важнее фамилий, но беспощадный нарком внутренних дел требовал выяснения именно фамилии.

Следовало искать через родственников, но у почетного чекиста Павла Берестова отчества нигде не указывалось. Стали тасовать Берестовых разного рода и звания, разного социального и общественного положения. Кого посадили, кого случайно хлопнули, кого и допросить-то не решились, но толком ничего не прояснилось. Однако сверху нажимали, и бесконечный двигатель советского сыска шевелиться не переставал ни на минуту единую. «Дело» оказалось на контроле самого наркома.

Бурная сыскная деятельность пока никаких результатов не давала. Даже зацепочек не было, потому Настенька вместе со своим санитаром Федором спокойно жили в большом селе Новодедово. И успешно лечили сельчан травами, настоями и мазями, как то делал Игнатий Тран-

сильванец. И так же, как он, никогда не брали никакой платы за лечение.

Село это насторожило. Было в нем какое-то шевеление и даже ворчание, но фельдшерица и ее санитар не обращали внимания, продолжая лечить людей и собирать травы утром, вечером и даже ночью. И тогда к ним пришел учитель:

— Сход очень вас просит прийти.

Пошли. Все село собралось на площади перед церковью. Бабы низко кланялись, мужики вежливо сняли шапки. А староста сказал:

— Детишек вы наших лечите, баб лечите, мужиков, если что. А денег не берете ни копеечки. А сами с раннего утра, всеми вечерами да еще и ночью в три руки травы да коренья собираете нам на пользу. И потому наш учитель в город съездил и там узнал, сколько стоит кисть железная…

— Протез, — тихо подсказал учитель.

— Что?.. Да. И мы на него всем обществом денег собрали. Завтра бричку заложим, и поедете вы с учителем этот… протез покупать. Чтоб, значит, в четыре руки травы собирать нам в пользу.

Так оно и случилось, а вскоре на радость всему селу Настенька обвенчалась со своим санитаром Федором.

Только время сказок кончилось, заменившись

по закону отрицания на время советское. И в этом советском времени суд творил уродливый карлик, называемый народным комиссаром внутренних дел.

Пока созданная им комиссия искала таинственного особо уполномоченного ЧК Берестова, его аппарат последовательно избавлялся от собственных старых сотрудников. В конце концов очередь дошла и до товарища Березайко. Он упорно отрицал все выдвинутые против него обвинения, но за дело принялись молотобойцы органов, и весьма скоро Березайко стал признавать все, в чем его обвиняли, а затем «давать показания» и против знакомых и родственников. Так признания дошли и до скромного фельдшера, спасшего его дочь от тяжелой болезни какими-то вредными травами.

Чекисты прибыли в Новодедово ровнехонько в четыре утра, как то было завещано их организатором и вдохновителем. Однако застать фельдшерицу врасплох не удалось: она привыкла к ночным вызовам. Забрали ее и санитара с протезом. Привезли в Москву, на Лубянку. Но и самые изощренные допросы ничего не дали, потому что Настенька ни в чем не чувствовала себя виноватой. Да и сами следователи были в

известной растерянности: ну, лечила травами и настоями, так это же не возбраняется? Однако арестованных Лубянкой, как правило, не отпускали, почему и было принято соломоново решение «тройки»: сослать на три года обоих задержанных в лагерь общего режима с разрешением лечебной практики.

И — сослали. Но не по этапу, а в арестантском вагоне.

Дворянская дочь Анастасия Вересковская попала в спираль отрицания вместе с крестьянским сыном Федором.

А вот нащупать ниточку, идущую от нее к объявленному во всесоюзный розыск особо уполномоченному ЧК Павлу Берестову, никому из следователей так и не пришло в голову.

Пассажирский поезд с арестантским вагоном неторопливо полз по неимоверно длинному хребту российского динозавра, постепенно приближаясь к колымским лагерям.

5

Ехали мучительно долго, хотя им выделили отдельное санитарное купе. До места заключения железную дорогу еще не достроили и пришлось трястись на грузовиках по знаменитому Колым-

скому тракту.

У ворот выгрузились, по команде построились по пятеркам. Из ворот вышел лейтенант, строго оглядел колонну по пять человек, гаркнул неожиданно:

— Медицина — вперед без досмотра!

Настенька и Федор с вещами нерешительно прошли в большой пустынный двор, со всех сторон окруженный деревянными бараками. И остановились в растерянности, не зная, куда идти.

— Медчасть убирают, — сказал сержант у входа. — Идите пока в седьмой барак.

На каждом бараке черной краской жирно был выведен номер, и они пошли в указанный барак. И остановились, перешагнув порог.

Вдоль всех трех стен его проходили двухэтажные нары, на которых сидели и лежали заключенные. Центр был отдан в распоряжение парнишек, которые с упоением гоняли тряпичный мяч. Население барака при их появлении на миг примолкло, а потом разразилось единым выдохом:

— Баба!..

И тут же подростки, чувствительно оттолкнув их, бросились к корзине и чемоданам. Однако

они не успели ни оттащить их, ни тем более открыть, как откуда-то с нар прогремел внушительный бас:

— Сявки, брысь!.. Медицина в законе. Если кто посмеет их тронуть, кусками в сортире утоплю!

Настя и Федор продолжали растерянно стоять у входа под пристальными взглядами заключенных. Пока сержант у ворот не сказал:

— В санчасть проходите, там, поди, уже убрали. Левее ворот отдельный домик, сразу увидите.

Прошли в указанный домик. Настя первой поднялась на крыльцо, осторожно постучала в дверь.

— Входите, не заперто!

Настя открыла дверь и перешагнула порог. И, бросив вещи, вдруг закричала:

— Игнатий!..

И повисла на шее трансильванца.

Счастливой встрече Настя и Игнатий были обязаны распоряжению наркома Ежова, хотя так и не узнали об этом. Он с маниакальным упорством чистил чекистские ряды, избавляясь от всех, кого зачисляли в них его предшественники, на самом главном для советской власти посту сторожевого пса.

Одновременно с этой общесоветской чисткой

продолжала свою деятельность и комиссия по розыску таинственного особо уполномоченного ЧК Павла Берестова. Она перерыла Гималаи бумаг, допросила с пристрастием и без тысячи граждан, но пока не могла отчитаться перед страшным наркомом хотя бы крохотными, но чуточку реальными следами неизвестного особо уполномоченного. И не ясно, как бы повернулось дело, если бы Ежов по личному указанию товарища Сталина не начал сокрушать собственную армию.

Дело было не в том, что товарищ Сталин, Великий вождь советского народа, вдруг испугался собственной армии. Дело было в уязвленном самолюбии, и чем больше фильмов о Гражданской войне и ее героях появлялось на экранах, тем все болезненнее он ощущал уколы этого самолюбия.

Он оказался вне красного эпоса, высвеченного беспощадным экраном. С невероятным упорством и настойчивостью он занимался борьбой с голодом, оживлял промышленность, ставил под ружье все новые и новые дивизии, но никогда не скакал с обнаженной шашкой во главе атакующей красной конницы. У него не было ни одного боевого ордена, ни одного шрама на теле и ни одного боевого друга. И наконец-то пришло

время оставить в армии только таких же, как он. Не бряцающих орденами.

Чистка армии превратилась в поголовное истребление ее командного состава вплоть до командиров полков. Расстреляны были четыре маршала из пяти, почти все командующие армиями, корпусами и дивизиями. А тех, кого не ставили к стенке в подвалах Лубянки, ссылали в концлагеря без объявления сроков содержания. То ли навечно, то ли до расстрела.

Отрицание четвертое

Шагай вперед, смелее топай,
Да после нас – хоть два потопа!

1

Колеса отрицания отрицания катились по Советскому Союзу, множество мелких колесиков, потому что каждая республика, каждая область, каждый район стремились заслужить одобрение властей дикой самостоятельностью.

А многочисленные комиссии тем временем продолжали свою деятельность. В том числе и комиссия по розыску таинственного особо уполномоченного ЧК Павла Берестова. Без всякого, правда, успеха.

Но уже готовилась новая гекатомба. На сей раз облаченная в командную форму начальствующего состава. Вопрос был предрешен, но от видимости хоть какого-то суда отказаться так и не решились. Хотя бы для общественности, если не своей собственной, то — иностранной. Так, для порядка.

Лубянка занялась поисками любых компроме-

тирующих материалов на высшее руководство армией. Создали еще одну комиссию, но ей искать было куда проще. По списку высшего командного состава.

И по этому списку комиссия очень быстро вышла на комдива Владимира Николаева. Однако он служил на Дальнем Востоке, который приказано было пока не трогать: японцы рядом. Но супруга этого Николаева Наталья Николаева числилась в лагере. И туда немедленно выехал следователь Лубянки.

Допрос, к огорчению следователя, ничего не дал: супруга комдива рассказывала о его преданности, доблести и орденах. Но следователь был настойчив, выяснил, что девичья фамилия заключенной Вересковская и что из всей родни она общается только с младшим братом Павлом. Он ей написал письмо, подписанное Павлом Берестовым, сообщил, что служит в органах, и обещал посодействовать ее освобождению по своим каналам. Правда, обратного адреса на письме не было, но Наталья полагала, что Павел как человек общительный вполне мог переписываться с кем-либо из Вересковки.

Это ничего не давало для раскручивания «дела» против комдива Владимира Николаева, зато чуть

прояснило ситуацию для следователей из комиссии по розыску особо уполномоченного Павла Берестова. И тут же опытнейшие следопыты с Лубянки были направлены в Вересковку.

Только никакого села там не оказалось. Возможно, специалисты по розыску и умели брать след, но как раз следа-то там и не было. И села-то с этим названием там отродясь не существовало (Наталья называла так Хлопово по детской привычке), да и город разросся, поглотив соседние деревни.

Доложили по команде, оттуда сведения поступили в другую команду, которая, поковырявшись в бумагах, разыскала сосланную на три года заведующую фельдшерским пунктом Анастасию Вересковскую. Это был слабый отпечаток утерянного следа, но в лагерь, где она содержалась, все же выехал некий работник органов.

Представившись и успокоив несколько растерянную Настю, он сказал:

— Я потревожил вас с единственной целью уточнить состав вашей семьи. Точнее — семьи Вересковских. Мы намерены учесть потери перед переписью населения. Чисто статистические данные.

— У нас была большая семья. — Настя вздохну-

ла. — Два брата, три сестры, отец с матерью. Из сестер, кажется, я осталась одна. Мама умерла, отец, вероятно, тоже. А братья… Про старшего, Александра, ничего не знаю, а младший — Павел, мне несколько раз писал. Правда, в первом письме он подписался Павлом Берестовым, сказав, что это — служебный псевдоним. Но это, как он выразился, для служебного пользования, он по-прежнему считает себя Вересковским.

Этот разговор ничего не дал для «дела о кондиве Николаеве», но комиссии по поискам особо уполномоченного Берестова придал известный импульс для продолжения работы.

И вновь завертелась обильная секретная переписка. Снова и снова всплывали географические точки активной деятельности особо уполномоченного Берестова. Станция Просечная, телеграммы по различным адресам, в том числе и в городок Заборна. Именно там при взрыве моста, отважно осуществленного неким Иваном Колосовым, и был уничтожен бандитский бронепоезд.

И в конце концов старательные следопыты вышли на телеграфиста, который под угрозой браунинга передал телеграмму, чтобы этот бронепоезд попытались задержать именно на Просечной. Телеграфист оказался настолько

перепуганным этим требованием, что хорошо запомнил лицо человека, угрожавшего ему пистолетом.

Далее члены комиссии занялись самой станцией Просечная. И начальник охраны станции с удовольствием поведал о бое с бронепоездом и отказе соседнего отряда в помощи. А потом — и о Павле Берестове, под командой которого он оказал содействие особо уполномоченному в наказании командования сводного полка и остался его другом.

— Письмо написал, — с гордостью поведал он. — В Крым приглашает. У его жены в Гурзуфе — собственный дом.

Дальнейшее было делом техники. Через неделю крымские чекисты доставили в Москву Павла Берестова.

Дело о самозванце рассматривала специальная коллегия Наркомата внутренних дел. Павел держался не только спокойно и с достоинством, но даже и с некоторым вызовом.

— На юге России не было ни одного чекиста, и в этом причина, почему я рискнул присвоить себе это высокое звание. Не будь его у меня, и бандитский бронепоезд, и Тамбовское восстание принесли бы нашей стране куда больше горя и

несчастья. Я уже не говорю о борьбе с кулачеством…

Коллегия при одном воздержавшемся приняла окончательное решение. Осудив, как непозволительное деяние, самовольное принятие решений под прикрытием присвоенного самому себе высокого звания особо уполномоченного, она постановила признать его действия обоснованными, исходя из сложившейся на юге страны обстановки. Исходя из этого, коллегия решила объявить Павлу Берестову благодарность, присвоить командирское звание, а награды, выданные самим товарищем Дзержинским, — Почетный знак и именной маузер, — считать наградами вполне им заслуженными.

Однако при этом коллегия направила его начальником закрытого лагеря НКВД в Архангельской области.

Вряд ли Павел отделался бы столь легко, если бы не уже запланированная акция сверху. Акция предусматривала создание нескольких концлагерей специального назначения, и для начала решили воссоздать бывший лагерь уничтожения белых офицеров, уже полуразрушенный к тому времени, поскольку офицеры были поголовно расстреляны. И лучшую кандидатуру, чем Павел

Берестов, трудно было найти. Он был обязан самому НКВД за сохранение жизни, получение легального звания командира-чекиста, а значит, будет работать, чтобы оправдать этот неожиданный подарок.

— От вас требуется не просто восстановить лагерь, но и усилить его. Двойной ряд колючей проволоки, вышки через каждые пятьдесят метров, ров вокруг всего лагеря с единственным подъемным мостом. Подземные карцеры с одиночными бетонными камерами.

Готовилась гигантская по своему размаху акция по разгрому Красной армии.

2

Павел понимал, что его спасли от концлагеря, если не расстрела, только какие-то планы завтрашнего дня. Планы, заключительная часть которых поручена ему, самозванному особо уполномоченному, только потому, что он во имя спасения собственной шкуры будет исполнять все приказы и распоряжения без размышлений, а уж тем паче разговоров. Но все же спросил:

— Как расплачиваться с рабочими?

— Тебя, товарищ Берестов, проводят в седьмой кабинет.

Провели. В кабинете ожидало трое мужчин: лейтенант в форме НКВД и двое гражданских средних лет. Один — с усами под Сталина — полнеющий здоровяк с синими глазами, второй — худощавый и в очках на длинном носу.

— Твои помощники, — сказал лейтенант. — Савченко Степан Васильевич, твой заместитель по хозяйственной части. Второй — Захаров Алексей Савельевич — инженер. Специалист по обустройству спецобъектов.

— А ты?

— Я — лейтенант Сергей Воробьев — командир роты охраны.

— Ну а как с рабочими?

— Прорабы и бригадиры — из бывших контриков, — пояснил заместитель по хозяйственной части. — А рабочая сила — заключенные с хорошим поведением. Так что насчет этого не беспокойся, товарищ начальник.

— Так их же кормить надо…

— Повара уже на месте, — улыбнулся лейтенант Воробьев. — Муж с женой. Срок за хищения почти отсидели, теперь за нами числиться будут.

— А продукты? — Павел не столько хотел знать все подробности, сколько показать свою хозяйскую предусмотрительность.

— Туда железнодорожная ветка проложена. Там пленное офицерье сидело, а их много было, сам понимаешь. Наиболее опасных расстреляли согласно спискам, остальных переправили на Соловки.

— Значит, надо брать билеты на ближайший поезд.

— У нас специальный состав, — сказал Савченко. — Пассажирский вагон с питанием, три платформы с колючей проволокой, две — с оборудованием и инструментом и вагон с охраной.

Выехали на следующий день. Павел пришел в купе Алексея Савельевича, поднаторевшего на строительствах лагерей разного назначения, и попросил ознакомить его с проектом восстановления бывшего концлагеря.

— Там вопрос не в восстановлении прежней зоны, а в реконструкции ее в зону особо строгого режима. Отсюда прежде всего задача всемерного укрепления старого лагеря…

Далее он повторил то, что Павлу говорили в Москве. Но он все равно слушал с огромным интересом. Стать начальником такого лагеря — свидетельство особого внимания московского начальства. Он был жесток от природы, и для него отличиться прежде всего означало прояв-

лять жестокость. Твердость и жестокость…

— Распорядитесь вырыть глубокий ров между заборами из колючей проволоки вокруг всего лагеря. И только одни ворота с подъемным мостом через ров…

— Там — слабый грунт. Ров оплывет.

— Это — ваша проблема. Укрепите бревнами, залейте бетоном…

— Понял вас, товарищ начальник. Понял. Мышь не проскочит, не берите в голову…

Ехали долго, отстаиваясь на разъездах на однопутной колее. Пили водку, играли в карты, рассказывали анекдоты, травили байки. И все — смачно, с матерщиной и гоготом. Павел слушал внимательно, громко смеялся, надеясь хоть по их намекам понять, для кого предназначался этот особо укрепленный концлагерь со сворой натасканных на людей собак. Но спрашивать ни о чем не решался. Он уже постиг законы молчания этого ведомства страха.

Наконец добрались. Глушь, граница тайги с тундрой, гнус, болота, сырость, даже летом пронизывающая до костей.

— Здесь и расстреливать не надо было, — вздохнул Степан Васильевич. — Дохли как мухи.

— В первую очередь, я полагаю, отремонти-

ровать бараки для… — начал было Алексей Савельевич.

— В первую очередь — колючую проволоку в два ряда, — прервал Павел. — Потом — дом для руководства и бараки. Работать всем, невзирая на должности, в две полных смены.

— Не слабо… — усмехнулся лейтенант Воробьев.

— Не слабо, — за Павла ответил Савченко. — Но правильно. А то пока заключенных пригонят, тут окончательно все развалится.

— Не только, — добавил особо уполномоченный Берестов. — Арестанты разбегутся. Кругом — леса, а летом русский человек в лесу — как дома. И поест, и укроется, и переночует. В этих дебрях их и с собаками не найдешь.

Работали до седьмого пота всем составом, кроме поваров. Только поставили столбы, натянули колючую проволоку, начали ставить вышки, как прибыл первый эшелон с заключенной интеллигенцией.

— Кормить арестантов по норме, — предупредил Павел. — Если обнаружу недостачу продуктов, пойдете на арестантские работы.

Присланной интеллигенции дали сутки отдохнуть, а потом начались их четырнадцатичасовые

рабочие дни. Эти работы контролировались Алексеем Савельевичем, и Павел ему полностью доверял. Он и лично следил за работами, подписывал многочисленные справки да ведомости, по окончании работ проводил совещания с руководящим составом.

И постепенно, не ставя перед собою особой задачи, знакомился с заключенными, присланными на стройку. А вечером его однажды потянуло написать Настеньке письмо.

Адреса он не знал. А потому со свойственной ему бесцеремонностью запросил ее местонахождение в НКВД. Под предлогом проверки своих подопечных.

Как уж ее нашли, одному ведомству известно. Может быть, там решили, что начальнику колонии особого режима это чрезвычайно важно по каким-то своим соображениям. Пришло официальное уведомление, что его сестра Настасья Вересковская заключена в лагерь на три года с правом занимать должность заведующей фельдшерским пунктом. Она вышла замуж и теперь значится под фамилией Игнатьева.

Павел тут же написал ей письмо, а затем и запрос в собственное ведомство с просьбой откомандировать в его распоряжение фельдшера

Игнатьеву со всем ее персоналом, поскольку у него на важнейшей секретной стройке болеют рабочие, а медицинской помощи никакой нет.

Через месяц приехала Настя с мужем Федором, санитаром с протезом вместо правой руки. И с Игнатием Трансильванцем, который числился ее заместителем по лечению травами.

3

В мае тридцать восьмого и грянуло то, ради чего так старался особо уполномоченный Павел Берестов. В газете «Правда» было опубликовано сообщение ТАСС о раскрытии военного заговора против советского народа и лично против товарища Сталина. И мгновенно, точно по мановению волшебной палочки, по всей стране начались многочисленные демонстрации трудящихся и митинги. Еще до всякого следствия, а уж тем более решения суда как демонстрирующие, так и митингующие требовали одного:

— Смерть!..

Еще вчера они поклонялись своей рабоче-крестьянской Красной армии и боготворили ее вождей, героев Гражданской войны. А теперь неистово кричали хором и в розницу:

— Смерть!..

А со всех стен и заборов глядели торопливо намалеванные плакаты:

«ЕЖОВЫЕ РУКАВИЦЫ». «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»

И во всю мощь гремело радио:

— …Кровавые наймиты империализма свили змеиные гнезда в самом сердце нашей родной Красной армии… Наши отважные чекисты схватили за руки двурушников в форме Красной армии… Изверги в военной форме планировали убийство товарища Сталина и расчленение всего Советского Союза…

«Офицерский лагерь смерти, — усмехнулся про себя Павел. — Так вот что я строю с бетонным рвом и двойной колючкой… Полное отрицание, как любила выражаться товарищ Анна…»

Первые заключенные военные прибыли очень скоро: Павел еще не успел достроить обзорные башни вдоль периметра лагеря. Не только растерянные и перепуганные, но и в большинстве без сапог, которые силой отобрала конвойная команда. Это настолько возмутило Павла, что он категорически отказался принимать этап, пока арестованным не вернут сапоги.

— В Москву назад повезешь, понял?.. — орал он в лицо младшему лейтенанту, начальнику этапа. — У меня — прямое подчинение самому

наркому! И я немедленно доложу ему по телеграфу, в каком виде ты доставил мне команду. До Москвы не успеешь доехать…

— Да ведь мои хлопцы… — неуверенно залопотал тот.

— Всем разуться! — закричал младший лейтенант. — Немедленно вернуть обувку по принадлежности!

Несмотря на наспех споротые нарукавные шевроны и петлицы, Павел не сомневался: перед ним представители высшего командного состава Красной армии, которых почему-то не расстреляли. Зато увезли медленно умирать в концентрационный лагерь на границе тайги и тундры.

— День на отдых после марша, — сказал он. — Завтра с пяти утра приступаете к работе. Работа — четырнадцать часов с получасовым перерывом на обед. Все. Увести в барак, усиленная охрана.

На следующее утро еще до построения на работы к Павлу, стоявшему в стороне, подошел бородатый арестант в диагоналевой форме без знаков отличия. Сняв фуражку и по-офицерски щелкнув каблуками, громко, как положено, обратился:

— Заключенный Колосов. Разрешите вопрос,

гражданин начальник!

— Слушаю вас.

Арестованный Колосов вдруг замолчал, и Павел заметил, как он оглянулся, нет ли кого поблизости. И спросил:

— Секрет?

— Секрет, — тихо подтвердил Колосов. — Если я побреюсь, секретом быть перестанет.

— Я кого-то узнаю?

— А кто тебе тир строил для стрельбы из монтекристо, Павлик?

— Александр?.. — еле слышно выговорил пораженный Павел. — Ты?.. Почему — красный генерал? Почему — Колосов?

— Ну, не мог же я стать красным генералом по фамилии Вересковский? Гражданская война, брат.

— Здесь — лагерь уничтожения, Саша.

— Знаю, — спокойно сказал Александр. — Дай мне два дня оглядеться, Павлик. Потом сделай так, как я скажу.

— Попробую…

— Не попробуешь, а исполнишь. Все, как скажу. Вересковские не сдаются, брат мой по крови.

— Вересковские не сдаются, — повторил Павел. — Здесь Настя.

— А Татьяна чем у тебя заведует?

— Татьяна сгинула. И концов так никто и не нашел. А Наташа в лагере умерла.

— Ладно, хоть трое живыми остались. — Александр вздохнул. — Настеньку повидать разрешишь, гражданин начальник?

— Ну, о чем спрашиваешь?

— И на том спасибо.

И громко добавил:

— Разрешите идти, гражданин начальник?

— Идите.

В этот день Александр после бани не стал отдыхать, как остальные. Неторопливо обошел лагерь, настороженно и внимательно осмотрев все что мог, и только после этого зашел в фельдшерский пункт.

Настя до слез обрадовалась появлению старшего брата, которого считала давно погибшим. Накрыла стол всем, что только нашлось в доме, и даже налила полстакана спирта. Александр тоже был очень взволнован, расспрашивал о ее одиссее, обнял ее мужа.

— Исчезли Вересковские, Настенька, — сказал он. — Ты — Игнатьева, Павел — Берестов, я — Колосов. Исчезла наша фамилия…

Расставаясь, Александр попросил дать ему ре-

зиновую трубку.

— Побольше и подлиннее.

— Зачем тебе, Саша?

— Не спрашивай. Легче будет на допросах.

Не спросила, хотя и не очень поняла. Александр старательно спрятал трубку, расцеловался с сестрой, обнял трансильванца, крепко пожал руку Федору и ушел. И больше не появлялся. А Настю потом и впрямь допрашивали.

На следующий день Александр одним из первых явился на перекличку и развод по работам и сразу же подошел к Павлу.

— Разрешите обратиться, гражданин начальник!

— Слушаю.

— Прошу назначить на строительство надзорных вышек, гражданин начальник. Я — плотник, дело знакомое.

— Передайте бригадиру, что я не возражаю.

— Тогда, если позволите, еще одна маленькая просьба. Мне в хромовых сапогах да и в форме из диагонали трудновато будет там с бревна на бревно перебираться. Хотелось бы попроще чего-нибудь.

— Скажите бригадиру, чтобы он заменил ваше генеральское одеяние на что-нибудь рабочее.

— Благодарю, гражданин начальник! Разрешите идти?

— Что ты задумал, Александр? — тихо спросил Павел.

— Замаливать свои грехи работой на благо мирового пролетариата.

— Ну, иди, — с досадой сказал Павел. — Замаливай.

Александр получил грязную рабочую одежду, корявые, но по крайней мере целые сапоги и одним из первых полез на вышку, сунув топор за ремень. Павел настороженно проводил его взглядом, убедился, что брат включился в работу, и занялся своими делами.

От рабочей суеты его оторвал крик:

— Плотник с вышки сорвался!

Павел глянул, успел заметить, что Александр летит в воду, так и не выпустив топора из рук, крикнул:

— Конвой, вытащить!

Никто уже не работал. Заключенные столпились вдоль внутренней колючей проволоки, отгораживающей канал, охрана спустила на воду две лодки, в которых кроме гребцов сидели охранники с баграми, шум стоял невероятный. Молчал только Павел.

«Неужели и вправду сорвался? — растерянно думал он. — Он же плавать меня учил, он как выдра в воде…»

Любовь к старшему брату боролась в нем с ответственностью начальника лагеря. Если тела не найдут, его ждут крупные неприятности. А если найдут, значит, он потерял любимого брата…

Александр и вправду отлично плавал и нырял. Еще вчера, разглядывая канал, он увидел узкую протоку. Устье реки, водой которой и заполняли канал. Конечно, она была перегорожена колючей сеткой, чтобы кто-либо из заключенных не вздумал этим устьем воспользоваться, но у него имелась полая резиновая трубка, которую он вчера выпросил в фельдшерском пункте. Это давало шанс, которым грех было не воспользоваться.

Еще барахтаясь на бетонном дне, он сунул топор за ремень и под водой поплыл к сетке в углу рва. Добравшись до нее, он осторожно высунул конец шланга наружу, кое-как прикрепил его к колючке, позволил себе немного отдышаться и нырнул опять.

Он хорошо видел под водой: бетонный канал еще не накопил мути и был совершенно прозрачен. Как он и предполагал, сетка не крепилась к дну канала, свисала свободно. Александр приподд-

нял ее от дна, пролез под нею в русло болотной речушки, подышал про запас и, оторвав трубку от колючей проволоки, поплыл вдоль самого дна. Вскоре начались тростниковые заросли, он забился в них, отдышался и стал сквозь тростники пробираться вверх по речке.

Вскоре послышался шум самолета. Александр тут же с головой укрылся под воду, дыша через трубку. Несколько раз «кукурузник» пролетал над ним, но бывалый офицер не шевелился, чтобы не дрогнули верхушки тростника. А начал двигаться только тогда, когда гул самолета затих, да и самого самолета нигде не было видно.

Передвигался по тростниковым зарослям осторожно, стараясь, чтобы не очень колыхались вершинки. Нашел песчаную отмель, снял с себя все вплоть до белья, отжал воду сколько мог и разложил одежду на песке для просушки. А сам голым опять забрался в тростники.

Комары жрали немилосердно. Александр отбивался от них веничком из вершинок тростника и думал.

По туповатой логике чекистов — а он полагал ее таковою, беглец должен был попытаться уйти в лесотундру, чтобы в конце концов спрятаться в тайге. Значит, он должен идти в сторону прямо

противоположную. То есть на запад. Минуя села и города, пересекая реки, железные и шоссейные дороги, но забирая все время чуть на север. К Мурманску.

Очень опасно и очень далеко. Сил хватит, если будет еда. Значит, сейчас, пока станут шуровать в лесотундре, надо озаботиться каким-либо провиантом.

А он — под ногами. К черту брезгливость, когда все помыслы, как бы поскорее дойти. Родина прокормит, она же — дом твой родной…

Шел, ни о чем не думая. Даже Аничку гнал из воспоминаний. Он шел не ради собственного спасения, он шел ради того, чтобы дойти и рассказать миру, какой террор развязал Сталин.

4

Аничка, окончив Смоленский педагогический институт, преподавала немецкий язык в средней школе. Школа располагалась совсем близко от дома, и она успевала приготовить завтрак и обед еще до школы. Только вот гости более не появлялись, видно, размели их события, с каждым месяцем казавшиеся все страшнее. Так что Платону Несторовичу Голубкову вечерами приходилось философствовать в одиночестве.

А Аничка думала о любимом. Ее герое, ее единственном и неповторимом Александре Вересковском.

Сначала он писал ей регулярно, обещал забрать к себе. Потом — все реже и реже, но все же писал, и она ждала. Потом… Потом начался разгром Красной армии, и Аничка поняла, что Александр ей уже никогда не напишет, потому что боится за нее. И с ужасом ждала ареста как законная жена изменника родины. Собрала чемоданчик с бельем и теплой одеждой, два шерстяных платка взяла, кое-что из еды на первые дни. Сухари, кусок сала, сахару. И стала ждать.

И — дождалась. Приехали на сей раз, правда, не в четыре утра, заповеданных товарищем Дзержинским, а уже в сумерках. Машина, пророкотав, осветила вдруг окна яркими фарами, но сразу же потушила их. И застучали в дверь.

— Открой, Аничка, — невозмутимо сказал Платон Несторович. — Стучат, кажется.

Анна открыла, загнав ужас куда-то в глубины души. Вошли двое в форме, а с ними — худощавый гражданский в очках на тощем носу. И — по виду — перепуганный куда больше, чем Аничка.

— Гражданин Голубков Платон Несторович? — спросил, видимо, старший из тройки.

— Пора? — спокойно осведомился патологоанатом. — Не тот ты чемоданчик собирала, Аничка.

— Собери отцу вещи, — сказал второй в форме. — Мы бы твоего отца за длинный язык и раньше упекли куда следует, да специалиста на его место не было. А нам без таких специалистов, сама понимаешь. А теперь вот, нашелся, стало быть. Кирпичников Владимир Петрович.

Он неторопливо болтал, пока Аничка собирала отцовские вещи, выбросив свои из чемоданчика. А найденный заботливым НКВД новый патологоанатом стоял молча, понурив голову.

— Копаетесь, копаетесь!.. — строго заметил старший.

Аничка молча передала отцу собранный чемоданчик. Платон Несторович обнял дочь, крепко прижал к груди.

— Не лей слез понапрасну, — сказал он. — Будешь умницей, глядишь, и увидимся еще. Обещаешь?

— Обещаю, — еле слышно шепнула Аничка, боясь, что слезы вот-вот хлынут рекой.

— Ну и славно. Держись, Аничка моя…

И, не оглядываясь, пошел к выходу. Старший молча проследовал за ним, а разговорчивый второй сказал:

— Квартира у тебя казенная, товарищ Аничка. Ну, как вы тут делить ее будете, дело не мое. Лучше всего — по совести.

И вышел.

— Мне съехать? — тихо спросила Аничка Владимира Петровича Кирпичникова.

— Видимо, придется, — смущенно вздохнул он. — Это теперь — место моей работы, а у меня — семья. Так что, извините, бога ради.

— Ничего страшного. — Аничка из последних сил улыбнулась. — Сниму комнату где-нибудь на Покровке. Я — учительница. Преподаю немецкий язык в здешней школе.

— Ну, это проще. — Владимир Петрович тоже улыбнулся. — У меня есть домик на спуске с Покровки. Маленький участок, зато три груши. Это недалеко отсюда. Платы я с вас никакой не спрошу, а вот участок подарить не смогу. Вам придется выплатить за него, но — в рассрочку, по самым льготным условиям и необязательно каждый месяц.

— Спасибо вам, Владимир Петрович. — Аничка улыбнулась уже от души. — Чур, груши — пополам.

— Я там вырос, в этом домике, — сказал Кирпичников. — И перевоз вам ничего не будет стоить,

потому что все ломовые — мои друзья с детства и погрузят, и перевезут бесплатно… Так что берите всю мебель.

— Спасибо, но…

— Не всю, извините. Вся не влезет, домик маленький. Я вам сначала покажу его, и вы сами решите, что там может разместиться.

На следующий день они пошли к домику на Покровской горе, где жил Владимир Петрович с женой и маленьким сыном. Жена его с радостью приняла Аничку, тут же расцеловалась и тут же перешла на «ты», как то водилось в те времена. Что-то трещала насчет базара, который совсем рядом, на Вокзальной площади. Что до Днепра рукой подать, а в центр, к «часам», ходят трамваи от этой самой площади…

Аничка ее не слышала. Она впервые в жизни увидела, сколь гармонично можно вписать жилое строение в ландшафт, не портя самого вида, что распахивался с маленькой терраски, нависшей над обрывом. По дну рва, которые образовывали два противоположных обрыва, шла тропинка к калитке, ведущей к водокачке и Вокзальной площади. А сама терраска осенялась могучим тысячелетним дубом, чудом уцелевшим с древнейших времен, когда и самого-то Смолен-

ска еще не было…

Ее водили по саду со знаменитыми грушевыми деревьями, плодоносящими каждый год. По крохотным комнатам крохотного дома, похожего на игрушку, только не под новогодней елкой, а под дубом. Что-то говорили, объясняли, а она думала лишь о том, что ей выпало если не счастье, то утешение жить в домике под тысячелетним дубом. Хоть и одной…

Но для этого требовалось переселиться. Сначала вывезти вещи из сказочного домика в служебную квартиру нового патологоанатома. Потом перевезти ту мебель, которая влезет в домик под дубом. Аничка так спешила переселиться, что кроме своих вещей взяла лишь отцовское любимое кресло, стол да четыре стула, кровать и — книги навалом. Навалом потому, что два огромных книжных шкафа просто не могли разместиться в домике из-за низкого потолка, и Аничка везла книги россыпью, но — все до единой. Здесь она намеревалась ждать отца, которого безусловно не могли не отпустить.

Имелось одно неудобство в ее сказочном домике: рядом не было воды. За нею приходилось каждое утро отправляться по тропинке в овраге до калитки, ведущей к Вокзальной площади.

Здесь стояла будка, в которой выдавали воду по талонам. Талоны получали помесячно по месту прописки, но самым замечательным было то, что эти талончики в окошке лапками принимала ручная белая крыса без хвоста. Принимала и сама накалывала на гвоздик, а потом долго и старательно умывалась. Заведовал этой раздачей пожилой дядюшка Карл, всегда расспрашивающий о здоровье и настроении. И Аничка очень быстро научилась носить воду на коромысле, который остался от прежних хозяев.

Электричества в домике не было, но прежние хозяева оставили целых три лампы, из которых одна с круговым фитилем — она называлась «Молния» — давала достаточно света, чтобы читать по вечерам. Керосину она потребляла, правда, много, но Аничка не только преподавала немецкий язык в десятилетке возле Покровских госпиталей, но давала и уроки частные. Не детям — с них бы она не взяла ни копейки, Аничка давала уроки их родителям, друзьям и соседям этих родителей. Тогда знать немецкий язык было весьма престижно, и порой ей даже приходилось отказывать новым желающим.

Но подступала осень, осыпались каштаны, летела листва и с других деревьев, и только могу-

чий дуб не желал расставаться со своею листвой. Он щедро сбрасывал желуди, и Аничка аккуратно собирала их. Они были настолько совершенной формы, что не собирать их у нее просто не было сил. С ними по красоте могли поспорить только каштаны, но они были далеко в городе, в основном в Лопатинском саду. Аничка несколько раз ездила в этот сад, собирала каштаны, выковыривая их из колючих панцирей, но здесь ей всегда горько думалось о невесть куда сгинувшем муже, бывшем штабс-капитане Александре Вересковском…

Осень несла печаль. Аничка по вечерам все чаще и чаще отвлекалась, и странная безадресная грусть окутывала ее черным безнадежным покрывалом. Ей казалось, что все уже в прошлом, что впереди — одиночество в одиноком домике, в котором ей и суждено состариться.

Аничка уже не читала. Тусклыми, бесконечно длинными вечерами по привычке брала книгу, садилась перед печкой, которая топилась хворостом, потому что рубить дрова Аничка не умела, раскрывала книгу на закладке и роняла на колени. Читать не хотелось, думать было не о чем, и она просто сидела у окна до позднего вечера. Тогда ложилась в постель, накрываясь всем, чем

только можно было укрыться, и тягостно ждала, когда же придет сон.

И как-то утром выпал первый снег, нежный и пушистый. Аничка всегда любила его, а теперь пришла в ужас, потому что снег надо было чистить, чтобы не оказаться отрезанной от выхода в город. А чистить ей раньше не приходилось, и она понимала, что ей никак с этим делом не справиться. И она пришла в такое отчаяние, что даже не расслышала скрипа этого первого снега под тяжелыми мужскими шагами. И стука в дверь не расслышала. Услышала голос:

— Простите, не подскажете, как мне Анну Колосову найти? Сказали, где-то здесь…

Поначалу Аничка даже не сообразила, что она и есть Колосова, а не Голубкова. Колосова по давно исчезнувшему мужу. Потом вскочила:

— Я!..

Распахнула дверь. Перед нею стоял бывший прапорщик Алексей Богославский. Взвизгнула, как девчонка, и повисла у него на шее.

5

Богославский был в потрепанной военной форме со споротыми петличками и шевронами. Рыжая щетина покрывала щеки, подбородок

отвисал жидкой, еще не оформившейся бороденкой, глаза блестели усталым, каким-то прибитым упрямством.

— Войдем? — тихо спросил он.

Аничка отстранилась. Он вошел, крепко прихлопнул дверь и закрыл ее на щеколду.

— Так теперь надежнее. Есть, — сказал он. — Три дня голодом морили.

— Сейчас, сейчас! — Она бросилась на кухню, а Богославский тяжело опустился на стул.

— А где Александр? — из кухни крикнула Аничка.

— Спирту у тебя не найдется?

— Немного есть. Отлила из папиных запасов. Он арестован, а меня переселили сюда.

— Знаю. Я ведь сначала по старому адресу пошел.

— А что же все-таки с Александром?

— Тащи еду, спирт и два стакана. Все расскажу.

Аничка примолкла, поняв, что добрых вестей она не услышит. Молча принесла кастрюлю с борщом, накрыла на стол, поставила два стакана. Разлила борщ по тарелкам, положила фляжку со спиртом и села напротив, сухими глазами вглядываясь в бывшего прапорщика.

Богославский молча разлил спирт, поднял

стакан.

— За упокой души. Не чокаясь.

И встал. И Аничка встала, качнувшись, но успев опереться о стол.

Выпили. Постояли, склонив головы. Две слезинки сползли по Аничкиным щекам. Ровно две, она умела «властвовать собой».

— За что? — спросила, помолчав.

Богославский жадно хлебал борщ. Вытер рот рукавом.

— Расстреляли весь высший комсостав. Сталин армию чистил.

— Как тебе удалось уцелеть?

— А я — мелкая сошка. Был при комкоре, то бишь, твоем муже, порученцем, забрали в НКВД. Вот.

И положил на стол растопыренные пятерни без последних суставов трех пальцев и с не разгибающимися ладонями.

— Били?.. — с ужасом и почему-то шепотом спросила Аничка. — Там бьют?..

— Если бы били — полдела. Пытают. И очень изощренно. Но я все вытерпел, и они совершенно неожиданно отпустили меня. Я понял, что отпуск у меня временный, пошел в Москве на толкучку и у карманников купил паспорт на фамилию

Иванов. И удрал в тот же день в Смоленск. Если позволишь пожить, все буду делать. Несмотря, что руки — как крюки. Приловчился.

— Я буду счастлива, дорогой мой. Мы с отцом однажды вас неплохо спрятали, и я убеждена, что никто вас и здесь не найдет.

— Мне повезло, — сказал Богославский. — Энкавэдэшники для острастки сунули меня с перебитыми пальцами к уголовникам. А те не только подлечили мои изуродованные руки, но и сказали, у кого именно можно достать паспорт на толкучке. Причем бесплатно, сославшись, что какой-то там Серый заплатит сам. Вот так я и стал Ивановым.

Больше ни о погибшем Александре Вересковском, ни о себе они не говорили. Они вообще мало разговаривали. Богославский поднимался еще до зари и тихо выходил из дома, не скрипнув ни единой половицей. Убирал снег, который порою заваливал саму входную дверь, чистил дорожки. Особенно старательно ту, по которой каждое утро учительница немецкого языка ходила в школу-десятилетку. К этому времени был готов завтрак, после которого Анна шла в школу, а Богославский прочищал тропочку к калитке, ведущей на Вокзальную площадь и в будочку с

ручной белой крысой. Дядя Карл отпускал ему воду по талончикам, Богославский относил воду домой и тут же шел пилить и колоть дрова.

Он не только делал все на участке, но и в доме. Убирал, протирал пыль, мыл посуду. Только никогда ничего не готовил, сказав:

— Ты так вкусно готовишь борщ, Аничка, что я лучше и пробовать не буду заменять тебя на кухне.

Аничка готовила из рук вон плохо, но была так польщена, что расцвела в улыбке.

Неизвестно, как бы дальше развивались события в маленьком домике на Покровской горе, если бы не занемог дядя Карл, заведовавший раздачей воды по талонам. К тому времени он очень сдружился с Алексеем Богославским, а потому и сказал откровенно:

— Заболеваю я, Алексей. Старая болезнь, еще с Гражданской. Что, если я тебя порекомендую на мое место, а ты меня к себе положишь? Договорись с хозяйкой своей, боюсь я больниц, а родственников у меня нет. Ни единого.

Аничка, естественно, не отказала, поставив, правда, одно условие: дядя Карл должен был переехать к ним со своей белой бесхвостой крысой. И когда в управлении водоснабжения Алексея

утвердили на место заболевшего, дядю Карла Богославский на руках перенес в домик под вековым дубом. И белая крыса сидела у своего хозяина на груди.

Аничка пригласила знакомых врачей из военного госпиталя. Врачи тщательно осмотрели больного и, проведя закрытый консилиум, сказали Анне:

— Безнадежен. Можем взять, чтобы не обременять вас…

— Ни в коем случае! — категорически отказалась Аничка. — Я постараюсь обеспечить дяде Карлу все удобства…

— Удобства не спасут, — вздохнули доктора. — Но воля ваша, товарищ Голубкова.

Через неделю дядя Карл скончался. Похоронили его как могли по своим доходам, справили поминки, отметили девятый день и только тогда поняли, как изменилась сама их жизнь. Осиротевшая крыса привязалась к Аничке, не отходя от нее ни на шаг. А Алексей Богославский с липовыми документами на некоего Иванова стал советским служащим. Выдавал воду по талонам, получал заработную плату, вступил в профсоюз коммунальщиков.

Несмотря на занятость (семь часов без переры-

ва на обед), Алексей не уменьшил своих работ по дому. Вставал в пять утра, колол дрова, разжигал огонь в печурке, возился во дворе, только воду стал носить по вечерам, когда кончалась раздача воды населению.

Анна по-прежнему каждое утро ходила в школу, а также учила немецкому языку всех желающих за небольшую плату, жили они сейчас значительно лучше. Дома она занималась кухней, научившись готовить вкуснее, а вот разговаривать стали куда меньше. Алексей, устав за день, рано ложился спать, Аничке, которая снова начала читать, книги доставляли больше удовольствия, чем отрывочные беседы с Богославским ни о чем. Это постепенно становилось даже не привычкой, а стилем их жизни, и Аничка была очень удивлена, когда он вдруг заговорил. Смущенно, опустив голову и глядя в стол.

— Ты — вдова, Аничка. Мой командир, а твой законный муж Александр Вересковский погиб.

— Я знаю, — тускло ответила она, не отрываясь от книги.

— Ты — одна, и я — один. А живем вместе. И чем дольше живем, тем я все больше люблю тебя. Одна ты у меня, одна в целом свете. Выходи за меня, распишемся по закону. А?..

Это «а?» прозвучало столь робко и искренне, что Анна заплакала, уронив книгу на колени.

— Не распишут нас, Алешенька. В паспорте у меня — штамп, что я замужем за Александром…

— Я в милицию схожу. Попрошу справку, что расстрелян он в тридцать восьмом по военному заговору. Предъявим в районный загс справку, они штамп аннулируют…

Так начались хождения, в результате которых в лабиринты НКВД оказались втянутыми их родственники, друзья, знакомые и они сами.

6

— Приходите через неделю, — сказали в милиции. — Запрос длительный, а ответ — еще длиннее.

Неделя превратилась в бесконечность. Поняв это, Аничка махнула рукой на штамп в паспорте, и они стали жить как муж и жена, и это стало единственным счастьем в их жизни.

В районном отделе НКВД, куда милиция переслала запрос, немедленно связались с Москвой по своим каналам. Это дело попало к пожилому следователю, и он не усмотрел в нем ничего, кроме естественного желания некой гражданки Колосовой избавиться от штампа в паспорте. Так

бы, вероятно, и произошло, и колесо отрицания не включилось бы в смертельный круг, если бы накануне в отдел не прибыл стажер в чине младшего лейтенанта с красными петлицами. Он полыхал воспаленным пламенем желания самому раскрыть хоть какой-нибудь очередной заговор, и в запросе о судьбе бывшего командира корпуса усмотрел такую возможность. И стал искать в архивах какие-либо документы, относящиеся к этому делу.

А тут еще из Москвы ответили, что бывший комкор не расстрелян, учитывая его пролетарское происхождение, а сослан бессрочно в концлагерь специального назначения. Стажер настоял, чтобы в концлагерь был срочно послан запрос, жив ли еще бывший командир корпуса пролетарского происхождения.

Ответ пришел неожиданно быстро:

> «Заключенный Колосов Иван Матвеевич сорвался с вышки и утонул в обводном канале. Начальник концлагеря *Берестов*».

— Утонул, — сказал следователь. — Закрываем дело.

— А где медицинское заключение? — спросил

настырный практикант. — Без медицинского свидетельства труп считается пропавшим без вести и объявляется в розыск. Так написано в инструкции.

— Да утоп он, утоп! — уже с раздражением ответил следователь. — Могло в ил засосать…

— Ил во рву специального концлагеря? — недоверчиво прищурился помощник. — Что-то не верится. Кто там начальником?

Как ни раздражался начальник, а запросил. Некто Павел Берестов, послан за самозванство исправляться. И тотчас же въедливый практикант заставил запросить официальное требование, чтобы указанный Павел Берестов немедля выслал акт медицинского свидетельства о гибели бывшего комкора Ивана Матвеевича Колосова.

Вот тут Павел испугался до липкого пота. По его приказанию заключенные дважды протралили обводной канал и ничего не нашли. И Павел понял, что Александр умудрился каким-то образом удрать из концлагеря особого режима. Пока не было никаких запросов, он не очень беспокоился и даже радовался, что старшему брату удалось спастись. Но теперь запрос поступил, и следовало думать, как спастись самому.

Следует отметить, что к тому времени Павел

решительно отказался от помощи вредной интеллигенции, от которой в строительстве толку было мало. И стал требовать бытовиков с рабочими навыками. Но начальники бессчетных лагерей Гулага отсылали к нему не смирных бытовиков, а прежде всего возмутителей спокойствия их собственных лагерей. И в основном это была блатная публика, сидевшая, естественно, не за разбои и убийства. Но — блатная, то есть строго подчинявшаяся воровскому кодексу поведения в первую очередь.

Павел об этом просто не знал. Он знал одно: во что бы то ни стало следует заручиться медицинским свидетельством о гибели комкора Колосова. И сразу же пошел в фельдшерский пункт.

Недавно поступивший в лагерь патологоанатом Голубков, которого он перевел с общих работ к заведующей фельдшерским пунктом Насте Игнатьевой, встретил его на крыльце — сработал хорошо налаженный аппарат наблюдения блатной публики, о чем Павел и не подозревал.

— Немедленно напиши заключение о гибели в канале Колосова Ивана Матвеевича, — категорически приказал он.

— Вы нашли труп? — поинтересовался Платон Несторович.

— Нет никакого трупа, и ты это отлично знаешь! — раздраженно крикнул Павел. — Мне нужно заключение, а не труп.

— Сожалею, но вынужден отказать категорически. Нет трупа — нет заключения.

— А в карцер на пятнадцать суток не хочешь?

Павел и не заметил, как за его спиной выросла толпа блатной братвы из всех бараков. Но именно из этой толпы и раздался вопрос.

— Ты что, начальничек, не знаешь, что Серый объявил медицину в законе? А у него ножички длинные и до тебя, начальничек, достанут.

— Молчать!.. — крикнул Павел и, выхватив именной маузер, выстрелил в воздух. — Охрана, ко мне!..

Прибежал лейтенант Воробьев, на бегу расстегивая клапан кобуры. Но пробиться на крыльцо к Павлу не смог: зэки стояли сплошной стеной. И пояснили:

— Медицина — в законе, так сказал Серый.

— Какой еще Серый? А ну, дайте пройти…

Пока он препирался с блатными, подошел спец по строительству концлагерей Захаров. Павел продолжал орать на крыльце, а Голубков отвечал одно и то же:

— Будет труп — будет акт. Без трупа ничего

писать не стану.

— Уйди, начальничек! — орала возбужденная толпа блатных, из которых кое-кто уже запасся железными прутьями бетонной арматуры. — Медицина в законе!..

— Вызвать караул! — кричал Павел. — Весь! С полными патронташами!

— Не сметь! — вдруг крикнул специалист по строительству инженер Захаров. — Уйди, Павел! Уйди, если не хочешь полного разгрома всего строительства! Я три бунта чудом пережил…

— Без медицинского…

— Ты в толпу посмотри, дурень! Тебя же убьют!

Это подействовало. Павел вгляделся в толпу и опустил маузер.

Толпа была уже вооружена не только кусками арматуры, но и заточками, дубинками, самодельными ножами.

— Граждане заключенные! — крикнул Захаров. — Ошибочка вышла, извините. Ваша правда — медицина в законе!

— Младший лейтенант Берестов, прошу пройти ко мне в кабинет, — в наступившей вдруг тишине сказал незаметно подошедший Савченко.

И пошел, не оглядываясь. Павел потоптался на

крыльце и нехотя двинулся за ним.

— Инцидент исчерпан, граждане заключенные, — с облегчением вздохнул специалист по строительству концлагерей Захаров. — Прошу бригадиров собрать бригады.

Когда Павел вошел в кабинет своего заместителя, Савченко сидел за столом. Молча указал на стул, стоявший напротив него через стол, сунул Павлу в нос раскрытую красную книжечку.

— Майор госбезопасности, ознакомился? — хмуро спросил он, когда Павел ошалело глянул в его удостоверение. — Кончилась твоя служба в нашей конторе, Берестов. Не изучил ты обстановки, не знаешь людей. Все — с кандачка, все — нахрапом, как нутро подсказывает. Поссорил нас с рабочей силой, а это ведь — наши социально близкие. Они нам помогают, мы — им. А ты даже не знаешь, кто такой Серый. А Серый — вор в законе, первый из паханов. И коли он сказал медицину не трогать, изволь его послушаться. А то ведь не просто тебя пристукнут, ты само строительство важнейшего объекта сорвешь.

— Я не… — робко начал было Павел.

— Ты — «не», это точно. Поэтому срочно пиши правду, что тело утонувшего комкора Колосова нигде не обнаружено, а поэтому считать его не

мертвым, а пропавшим без вести. Проси известить об этом наши управления в примыкающих областях. Заодно поинтересуйся, кому потребовались сведения о враге народа Колосове Иване Матвеевиче. Все понял? Исполняй.

Павел вышел, а Степан Васильевич тут же составил срочную депешу в НКВД. В ней он сообщал, что находящийся под подозрением Павел Берестов не соответствует своему назначению, поскольку стремится поссорить с социально близкими. Ответ пришел через два дня. Куда быстрее, чем из Смоленского управления.

«Срочно прислать начальника Спецстроя Павла Берестова в Москву».

7

— Ну, давайте анализировать, — радостно потирая руки, сказал практикант в далеком от специального концлагеря Смоленске. — Кто запрашивал развод с неизвестно куда подевавшимся бывшим командиром корпуса Иваном Колосовым? Его законная супруга Анна Колосова, в девичестве — Голубкова. А теперь хочет стать Ивановой.

— Мало ли их, Ивановых этих, — недовольно

пробурчал старший следователь.

— Много, — согласился стажер. — Потому я и хочу в его лицо для начала посмотреть. Завтра вызовем его в милицию… Ну, для уточнения даты рождения, что ли. А я к назначенному времени подойду и лично на него посмотрю. Так, чтобы удостовериться.

— В чем?

— Пока не знаю. Но погляжу.

И пошел, заранее согласовав время с начальником милиции. А вернулся после встречи с Ивановым алый от непонятного возбуждения.

— У нас он побывал, в НКВД!.. Ладони у него не разгибаются после наших допросов с пристрастием. А потом он вдруг в Смоленске, вдруг — Иванов. И паспорт не поддельный, сам проверял. Срочно командируйте меня в Москву, я выясню, почему пытали и почему отпустили.

Тем же вечером энергичный стажер, взявший след, как хорошая гончая, укатил на поезде в Москву. И только через неделю позвонил по служебному телефону.

— Настоящая фамилия Иванова Богославский. Был личным порученцем комкора Колосова, исчезнувшего неизвестно куда. Советую немедленно взять под стражу. А заодно и его сожительницу

Анну Голубкову.

— Но почему его отпустили?

— Выясняю. Доложу завтра. Но вы все-таки их арестуйте.

И положил трубку. Следователь арестовал Богославского с невенчанной женой силами милиции, но при личном присутствии. Обыск ничего ровнехонько не дал, допрос тоже, и арестованных временно отправили в следственный изолятор на неопределенный срок.

Практикант позвонил на следующий день к вечеру.

— Докладываю. Поскольку местные молодцы из нашей конторы уморились допрашивать Богославского, его сунули к уголовникам. Те Богославского и пальцем не тронули, и тогда решили временно его отпустить, лишив денег и документов. Хотели проверить, к кому он пойдет за помощью, а он пошел на толкучку и пропал с глаз наблюдения. И очутился в Смоленске с настоящим паспортом на фамилию Иванова. Завтра пойду на толкучку и попытаюсь выяснить, кто и за какие деньги продал ему паспорт. Вечером доложу результаты расследования.

Вечером не доложил, не было никакого звонка. Старший следователь ждал всю ночь, не

дождался и официально запросил Москву, куда подевался его стажер.

— Позвоните завтра в это же время.

Так ответили. Он позвонил на следующий день.

Ответ пришел по спецсвязи: «Ваш сотрудник убит ножом на толкучке. Прочесывание никаких результатов не дало».

8

Павел прибыл в Главное управление НКВД ранним утром. Перед этим зашел в вокзальный ресторан, плотно позавтракал, позволив себе сто грамм коньяка. Он не чувствовал себя виноватым не потому, что был чудовищно легкомысленным, опираясь на удачу куда чаще, нежели на расчет. Он располагал документами и, несмотря на злой тон своего заместителя, оказавшегося майором НКВД, рассчитывал, что их хватит, чтобы оправдать скандальную ссору с социально близкими. Он запасся письмом караульных, их начальника Сергея Воробьева и вольных мастеров, что некий заключенный Колосов Иван Матвеевич действительно сорвался с вышки. А то, что патологоанатом заключенный Голубков отказался выдать официальное заключение, объясняется

вечной конфронтацией узких специалистов с администрацией лагеря.

Вопроса скандала с уголовниками он вообще избегал. Конечно, майор Савченко об этом уже уведомил московское начальство, но, во-первых, в каких инструкциях написано, что работник НКВД обязан знать воровские законы? И, во-вторых, скандала-то никакого и не было. Были крики, мат-перемат, кто-то замахал палками, но порядок был наведен быстро и четко.

К началу рабочего дня Павел вошел в подъезд Наркомата внутренних дел.

— Приветствую, — сказал.

Дежурный лейтенант на приветствие не ответил. Молча взял пропуск, сверил его с каким-то списком, положил пропуск Павла в нагрудный карман и кивнул головой.

— Прямо по коридору.

И пошел за ним следом. Шаг в шаг.

— Я знаю дорогу, — недовольно сказал Павел.

— Я исполняю приказ, — холодно ответил лейтенант. — Пока прямо. На втором повороте — налево.

По спине Павла пробежал холодок. Так его еще никогда не встречали в родном управлении. Его, награжденного Знаком почетного чекиста и

именным оружием самим Дзержинским…

— Стоять. Лицом к кабинету номер четырнадцать.

Павел остановился. Сказал с раздражением:

— Может, прикажете и руки назад?..

— Я исполняю приказ, — повторил дежурный и постучал в дверь, обитую черным дерматином с медными гвоздиками.

За дверью что-то буркнули, и лейтенант чуть подтолкнул Павла.

— Входите.

Павел вошел в кабинет. Напротив двери за массивным столом сидел худощавый комиссар госбезопасности.

— Разрешите представиться… — громко начал Павел.

— Не надо. — Комиссар тускло посмотрел на него. — Все оружие, все значки и документы — на стол.

— Что это значит? Я награжден…

— Это значит, что вы, гражданин Берестов, находитесь под следствием. И пока оно будет длиться, местом вашего заключения определен концлагерь. До предъявления вам обвинения будете исполнять в нем должность помощника начальника снабжения. В лагерь как подследственный

проследуете пассажирским транспортом с двумя сопровождающими в штатском. По окончании следствия либо самостоятельно проследуете в Москву, что вряд ли, либо останетесь в лагере на определенный судом срок.

— Я.. — Павел поперхнулся, откашлялся. — Прошу извинить, слишком все неожиданно. Я лишен воинского звания?

— До суда нет. Но в лагерь проследуете в штатском. Пока подберут одежду, сопровождающих и маршрут, будете временно содержаться в служебном изоляторе.

И Павел прямо из комиссарского кабинета отправился в служебный изолятор. Он понял, что карьера его рухнула бесповоротно, но с присущей ему упрямой самоуверенностью еще на что-то надеялся. Не столько, может быть, на прежние заслуги, сколько на прежнюю жестокость, без которой эта власть обойтись никак не могла. Ей просто необходимы были палачи, и рано или поздно эти палачи должны были быть призваны.

Через три дня он в гражданской одежде выехал в дальнюю дорогу на пассажирском поезде в отдельном купе, сопровождаемый двумя молчаливыми сотрудниками НКВД тоже в штатском.

Это было мучительное путешествие через всю страну. Мало того, что поезд тащился с черепашьей скоростью, останавливаясь даже на полустанках: ехать пришлось в полном молчании. Сотрудники не спускали с него глаз, сопровождая даже в уборную, и никогда не разговаривали не только с ним, но и между собой. Они читали какие-то книжки, но, когда Павел попросил дать ему почитать хоть что-нибудь, один из них буркнул, не глядя:

— Для служебного пользования.

Наконец, вышли на каком-то богом позабытом полустанке. Кругом — мертвая тишина и еще более мертвая глушь. Здесь ожидал закрытый вездеход, в кузов которого посадили Павла с одним охранником. Второй сел с шофером, но охранники менялись, а Павел продолжал путешествие в абсолютно замкнутом, без единой щели фанерном кузове.

После неимоверной тряски наконец-то прибыли к месту назначения. Охранник, сидевший рядом с шофером, вышел, и вскоре вездеход куда-то въехал и остановился. Задние двери распахнулись, и Павел, покачиваясь, вышел и огляделся.

Картина оказалась знакомой. Длинный, плос-

кий, как доска, параллелепипед, обнесенный высоким забором в два ряда, голая площадь перед воротами и ряды строгих одноэтажных бараков. Возле них стояли и ходили люди в одинаковой серой одежде, но никто из них даже не приближался к плацу, который начинался от ворот.

Старший из сопровождавших прошел в домик администрации лагеря и вскоре вернулся с немолодым майором и худощавым гражданским в больших роговых очках, который напомнил Павлу специалиста по строительству концлагерей на его прежней работе. Звали специалиста по снабжению Юрием Андреевичем.

— Ваш подопечный, — сказал ему старший. — Использовать только по снабжению. Житье определите не в бараке, а в караульном помещении. Обед — соответственно из караульного котла.

— Вопросов нет, — поспешно сказал майор — начальник лагеря.

— Выход из лагеря для него свободный, но к вечерней поверке гражданин Берестов обязан быть в лагере, хотя и не подлежит общей перекличке, поскольку он находится под следствием…

А Павел смотрел на заведующего снабжением, и у него возникало странное чувство, что он уже

однажды был в этом лагере…

Вечером начальник лагеря в майорском звании пригласил к себе Павла. Именно пригласил, а не потребовал явиться, и Павел почему-то насторожился.

Но скоро успокоился. Майор с мельчайшими подробностями рассказывал, как оборудован лагерь, как охраняется, какие приняты меры безопасности.

— Кормежка заключенных, конечно, маловата, и тут то хорошо, что нас поняли и прислали на подмогу тебя, товарищ Берестов. Думаю, наладишь какой ни есть, а приварок. Тут неподалечку крепкий мужик живет, из высланных кулаков. Однако обжился. Нам — не для лагеря, конечно, а для руководства — рыбу поставляет копченую, икру красную отменного качества. Но знаю, что для общего стола и капусту поставит, и картошку, и рыбу соленую…

Тут внесли кипящий самовар, молча накрыли стол на две персоны. Хозяину и гостю, как того требовал обычай. Хозяин пил чай с блюдечка, громко дуя на него и со всхлипом всасывая. Отдувался, вытирал пот. Мысли его приобрели иное направление.

— Я сам — из местных, село мое — верстах в

трех отсюда. Удобство, конечное дело, семья там живет, дети учатся в школе-десятилетке. Только вот иностранного языка там нету. Местных учителей с такими знаниями у нас не водится, а из России кто же за тридевять земель поедет? И тут повезло мне. Полгода назад с этапом поступила пара: он — столяр хорошей руки, а она — аж два языка знает! Ну, французский нам ни к чему, а немецкий — да ради бога, даже зарплату ей платят. Ну, правда, я ее каждое утро на коляске туда отправляю…

До этого Павел слушал меньше чем вполуха, потому что его раздражало всасывание чая гостеприимным хозяином. Но с этого места рассказа бесхитростного майора стал слушать очень даже внимательно.

— Анна Платоновна ее зовут, — с удовольствием продолжал майор. — Не только что детей учит — кружок для конвойных командиров создала. А еще с ребятней занимается. Кружок драматический организовала, девочек танцам учит и обхождению…

Мотал на ус Павел эти откровения. Вот оно, вот то, чем оправдается он перед следствием. Самовольное расконвоирование ссыльной за антисоциалистическую деятельность… Нет, тут

спешить неразумно, разобраться надо. Соседей расспросить… Стоп, каких таких соседей? Да тех, кто к майорскому столу икорку с копченой рыбкой поставляет. Вот и разведаем, потолкуем по душам. Может, с этой целью его сюда и сослали? Может, сигналы от честных граждан уже поступили в Главное управление?.. И поэтому его — экспедитором, чтобы со стороны узнал…

Тут нельзя было торопиться, чтобы гостеприимный хозяин, упаси бог, ничего бы не заподозрил. Тут следовало все сначала пронюхать, сопоставить, послушать, а уж потом покопать глубже.

Павел имел в виду того таинственного поставщика, который регулярно присылал к начальственному столу копченую рыбу и вкуснейшей засолки свежую икорку. Уж он-то, по мнению Павла, знал, за что и почему поставляет эти деликатесы.

— А как с ним расплачиваются? — спросил он Юрия Андреевича.

— Гвоздями, шурупами, скобяным товаром, — как-то нехотя сказал заведующий снабжением. — Тем, чего в тайге днем с огнем не сыщешь. Вот с ним вы в основном и будете связываться. Надо чтобы он не только деликатесы к начальственным столам поставлял, а чтоб заключенным

было для приварка. Ну, там рыбки сушеной, может, картошка у него есть. Он неподалеку отсюда живет, на берегу реки.

— Как-нибудь время выберу заглянуть, — неопределенно сказал Павел, зевнув изо всех сил.

Он не хотел поступать по советам начальства, подозревая их всех в совместном сговоре. Его целью было во что бы то ни стало раскрыть этот сговор, выяснить цели его, а уж потом представить докладную, куда следовало. А уж куда следовало представлять материалы подобного рода, он знал.

— Решил село навестить, — сказал он своему непосредственному начальнику, отвечающему за снабжение. — Пора с соседями познакомиться. Как думаете?

— Завтра утром майор коляску с учительницей Анной Платоновной пошлет, с нею и доедете.

— Прогуляюсь, — улыбнулся Павел. — Полюбуюсь окрестностями. Знание местности всегда пригодится. Может, и в село загляну.

В село он заглядывать не собирался. Сделав крюк, чтобы запутать возможное наблюдение, резко свернул вниз, к реке. Кое-как пробравшись сквозь заваленный буреломом лес, проломился

сквозь густой кустарник и вышел на пологий берег то ли огромной, степенно текущей реки, то ли столь же огромного озера. И пошел вдоль берега у самой кромки воды.

А завернув за мысок, увидел на берегу крепкого мужика в меховой безрукавке, склонившегося над лодкой. Подошел ближе, окликнул:

— Эй, товарищ!

Мужик, выпрямившись, оглянулся. И Павел онемел от неожиданности. Даже спросил почему-то шепотом:

— Кузьма?..

— Здорово, Павел, — невозмутимо, а скорее безразлично сказал Кузьма. — Нашел, значит?

— Кузьма! — радостно крикнул Павел и бросился к старому помощнику, явно намереваясь обнять.

Однако Кузьма от объятий отстранился:

— И притом от тебя пахнет.

Павел криво усмехнулся, но спросил о другом:

— Ты вроде и не удивился?

— А чего удивляться, когда я знал, что ты — в лагере?

— Откуда?

— От начальника кавэчэ. Он ко мне частенько заглядывает.

Начальники культурно-воспитательной части концлагерей официально занимались досугом заключенных. Самодеятельность, концерты, разрешенные фильмы. А неофициально все они были представителями чекистских органов и обязаны были регулярно докладывать наверх о нарушениях.

— Вот с такой же задачей меня и подсадили в лагерь с правом выхода без охраны, — зло сказал Павел. — Сначала оклеветали — для прикрытия, разумеется. А потом — сюда. Разоблачить сговор руководства.

— Сговор? — безразлично спросил Кузьма. — И какой же там может быть сговор?

— Начнем с того, что майор караульной службы не только без сопровождающего отпускает в село некую Анну Платоновну, но и подает ей коляску утром и вечером. А она осуждена по 58-й, контрреволюционная агитация.

— Она немецкий язык хорошо знает. Вот и преподает его в школе и в кружке для желающих.

— Во-во. А ты им деликатесы к столу поставляешь.

— Да, ты же по должности помощник начальника продовольствия. Кстати подвернулся. Тут, понимаешь, таймень икряной в вершу попал, а

икры в нем — кадушка. Подсоби вытащить, один не управлюсь. Здоров он больно. Садись на весла, чего стоишь?

Павел хотел еще что-то сказать, но передумал и сел на весла. Кузьма устроился на корме. Сказал:

— Протоку впереди видишь? Там он отлеживался и там же в вершу угодил. Правь прямо, там укажу куда.

Добрались до протоки. Она была узкой, грести пришлось одним веслом. Высокий прибрежный тростник почти смыкался над головой.

— Омут впереди. Как вплывем, тише греби, — шепотом сказал Кузьма. — Он — чуткий, как чекист.

Павел промолчал, хотя очень хотелось разъяснить, что чекисты не чуткие, а бдительные.

— Вот то самое место, — сказал Кузьма, глядя за корму. — Иди сюда, глянешь, как его сподручнее вытащить.

Павел прошел на корму. Кузьма пропустил его, оказавшись позади.

— Видишь его?

— Да нет… — сказал Павел, наклонившись и вытянув шею.

— Ну, сейчас увидишь…

Кузьма неожиданно рубанул его по вытянутой

шее ладонью. От левого плеча к правому. И Павел без звука полетел в черную воду вниз головой…

Кузьма обождал, пока не исчезли пузырьки воздуха на поверхности. Сказал:

— Одной гадиной на свете меньше стало.

Вздохнул, снял кепку.

— Господи, спиши мне грехи мои.

И широко перекрестился на восток.

Отрицание пятое

Из служебного донесения НКВД Карельской автономной республики:

> «Оперативники обнаружили человеческий скелет в семи километрах от лагеря особого назначения. Опознанию не подлежит, сквозь кости уже кусты проросли. Единственным предметом опознания может служить резиновый медицинский шланг…»

Отрицание шестое

Приняв Отдельную дивизию на Дальнем Востоке, Владимир Николаев явился представиться командующему всеми вооруженными силами Дальнего Востока Маршалу Советского Союза Василию Константиновичу Блюхеру. Маршал выслушал представление стоя, протянул руку, крепко пожал.

— Наслышан о тебе, комдив, хорошо наслышан. И очень рад, что судьба свела нас. За это и по рюмочке не грех принять.

Прошли в маршальскую комнату отдыха, где молчаливый адъютант быстро накрыл стол, расставил закуски и тотчас же удалился. Выпили за знакомство, за совместную работу, и Василий Константинович сказал:

— Ты — отменный оперативник, комдив, твои операции в Военной академии разбирать надо. Разбирать и учиться, как продуманно они планируются. Ознакомься с дивизией, обживись, а потом я тебя начальником штаба к себе перетащу.

— Это — при втором свидании обсудим, товарищ маршал…

— Да брось ты этих маршалов! — с неудовольствием сказал Блюхер. — Их луганский слесарь, он же почему-то «боевой нарком», выдумал. Ты хоть одну его операцию знаешь? И я не знаю. Не знаю я, кто Царицын тогда отстоял, но знаю, что никак не Клим Ворошилов. Рыхлый он внутри. Интриги плести — это пожалуйста, но чтоб операцию практически без потерь провести — это извините. Здесь комдив Николаев требуется.

Долго он еще ворчал по поводу невесть откуда появившихся паркетных маршалов, потом сказал:

— Ладно, черт с ними. Принимай дивизию, но о моем предложении не забудь. Договорились?

— Договорились, Василий Константинович.

Николаев уехал знакомиться со своей Отдельной дивизией. Дело было привычным, командный состав его полностью устраивал, дисциплина в дивизии тоже. Только начал заниматься сержантским составом, как его внезапно вызвал Блюхер.

— В Москву требуют, — сказал он. — Вот там я, если ты не против, и поставлю вопрос о твоем переводе под мое крыло.

На этом они тогда и расстались. Маршал Советского Союза, пять раз награжденный орденом

Боевого Красного Знамени, был расстрелян без особой судебной волокиты. А через месяц после этого комдив Владимир Николаев был арестован.

Но уничтожение основных военных кадров уже шло на убыль. Сталин учуял рост гитлеровской угрозы и решил подстраховаться. Это и спасло Николаева от неминуемого расстрела, и его, лишив всех орденов и званий, сослали в Читинский централ.

Он вошел в камеру со споротыми нашивками и шевронами, с узелком в руке. И к нему сразу же шагнул стройный, подтянутый человек тоже без шевронов и нашивок.

— Комдив Николаев? — радостно сказал он, протягивая руку. — Очень рад, нашего полку прибыло. Старший по камере Рокоссовский Константин Константинович.

В камере их оказалось четверо. В сороковом году Рокоссовского освободили с возвращением ему прежнего воинского звания. Однако на редкость бесстрашный и упрямый Рокоссовский потребовал, чтобы освободили всех, иначе он не покинет камеру. И добился своего.

Константин Константинович взял Николаева начальником Оперативного отдела. Они вместе

прошли всю Великую Отечественную войну, Николаев получил Героя Советского Союза и пулю в сердце от немецкого снайпера в самом конце войны. Отрицание продолжало работать.

Отрицание последнее

Агафья Силантьевна Кузнецова по-прежнему тихо жила на пустыре рядом с селом Хлопово вместе с козочкой, в обнимку с которой и спала, греясь ее теплом и отдавая ей тепло собственное. Денег от продажи хрена отдыхающим хватало на скромное проживание. И это было ее вымученным счастьем, и ни о чем ином она не мечтала.

Только однажды к селу подъехали две черные машины. Из одной вышел мужчина в кожаном черном плаще. Что-то спросил, вернулся в машину, они тут же развернулись, выехали на выгон и остановились перед ее сараем. Из первой вылезли двое, подошли к ней.

— Татьяна Сукожникова?

— Я?.. — И сердце остановилось. — Нет, нет, что вы? Я — Агафья Силантьевна Кузнецова. Вот… Вот справка. Я в психбольнице…

— Справочку доктор Трутнев дал? Сам дал и сам же признался. Прошу в машину.

— В какую машину? Зачем? За что?..

— За то, что вы убили командира чоновского отряда Леонтия Сукожникова. Верного чекиста и нашего товарища. Всадили в него все пули из

маузера. В машину.

— Я… Я…

— Силой вас тащить, что ли?

Обняла Танечка свою козочку, поцеловала в холодный черный носик и пошла во вторую машину.

Машины развернулись, тронулись, и козочка побежала за ними, вопя на всю округу. И тогда из последней машины высунулся человек и выстрелил ей в голову.

У козочки подогнулись передние ноги, и она рухнула на собственные рожки.

Дернула два раза ногами и — замерла навсегда.

2004